М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ СЕМНАДЦАТЫЙ

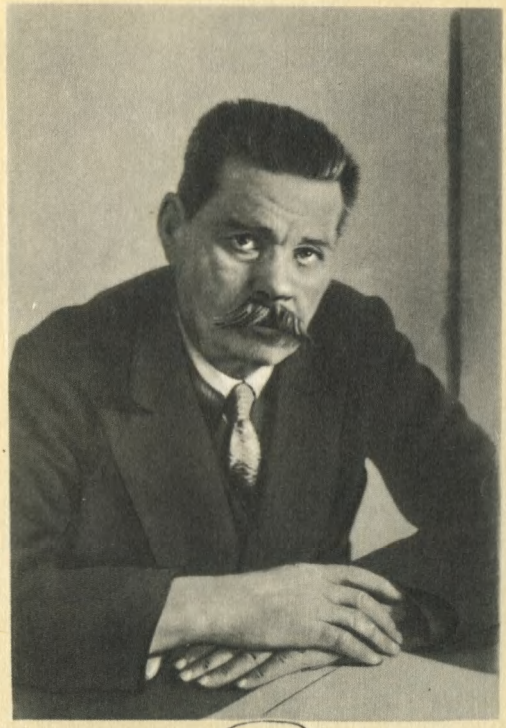
«ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА. ВОСПОМИНАНИЯ»

«РАССКАЗЫ 1922—1924 годов»

1922—1924

МОСКВА · 1973

Г $\frac{0731\text{-}0247}{042(02)\text{-}73}$ Подписное



А. М. ГОРЬКИЙ
Фотопортрет с дарственной надписью «Школе в Порубе».
Мариенбад, 1924 г.

ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА. ВОСПОМИНАНИЯ

ГОРОДОК

...Сижу за городом, на лысых холмах, едва прикрытых дерном; вокруг чуть заметны могилы, растоптанные копытами скота, развеянные ветром. Сижу у стены игрушечно-маленького кирпичного ящика, покрытого железной крышей,— издали его можно принять за часовню, но вблизи он больше похож на конуру собаки. За дверью его, окованной железом, хранятся цепи, плети, кнуты и еще какие-то орудия пыток,— ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах. Они оставлены в память городу: не бунтуй!

Но горожане уже забыли: чьи люди перебиты здесь? Одни говорят: это казаки Степана Разина; другие утверждают: это мордва и чуваши Емельяна Пугача.

И только всегда пьяный старик-нищий Затинщиков хвастливо говорит:

— Мы при обоих бунтовали...

С бесплодного холмистого поля дома́ города, серые, прижатые к земле, кажутся кучами мусора; там и тут они заросли по крыши густой пыльной зеленью. В грудах серого хлама торчит десяток колоколен и пожарная каланча, сверкают на солнце белые стены церквей,— это вызывает впечатление чистеньких полотняных заплат на грязных лохмотьях.

Сегодня праздник. До полудня горожане стояли в церквах, до двух часов ели и пили, теперь они отдыхают. Город безмолвен, не слышно даже плача детей.

День мучительно зноен. Серо-синее небо изливает на землю невидимый расплавленный свинец. В небе есть что-то непроницаемое и унылое; ослепительно бе-

лое солнце как будто растеклось по небесам, растаяло. Жалкие рыжеватые былинки на могилах неподвижны и сухи. Земля потрескивает, шелушится на солнце, как сушеная рыба. Влево от холмов, за невидимой рекою, над голыми полями струится марево, в нем качается, тает ушастая колокольня заречной слободы,— сто лет тому назад слобода эта принадлежала знаменитой Салтычихе, прославившей имя свое изощренным мучительством крепостных рабов.

А город — накрыт облаком какой-то мутной, желтоватой пыли. Может быть, это — дыхание спящих людей.

Странные люди живут в этом городе. Владелец войлочного завода, человек солидный, неглупый, четвертый год читает Карамзина «Историю Государства Российского», дошел уже до девятого тома.

— Велико сочинение! — говорит он, уважительно поглаживая кожаный переплет книги.— Царская книга. Сразу понимаешь — мастак сочинял. Зимним вечером начнешь читать и — все дела житейские забудешь. Приятно. Большое утешение человеку — книга! Ежели она с высоты разума написана...

Однажды, играя пышной бородою своей, он предложил мне с любезной улыбочкой:

— Хотите интересненькое поглядеть? У меня, на задворках, доктор живет, а к нему, на свидания, барыня одна — не наша, приезжая — ходит. Я с чердака в слуховое окно гляжу, как они забавляются; окошко у них наполовину занавешено, и через верхнее стекло очень подробно видать забавы ихние. Я даже бинокль у татарина, по случаю, купил и кое-когда приятелей приглашаю для забавы. Очень интересное распутство...

Парикмахер Балясин называет себя «градским брадобреем». Он — длинный, тонкий, ходит, развернув плечи и гордо выпячивая грудь. У него голова ужа — маленькая, с желтыми глазами, взгляд ласково-недоверчивый. Город считает его умным человеком и лечится у Балясина более охотно, чем у земского доктора.

— У нас естество простое, а доктора — это для образованных людей,— говорят горожане.

Парикмахер ставит банки, пускает кровь, недавно срезал пациенту мозоль, и пациент умер от заражения крови. Кто-то пошутил:

— Усердный; ему говорят: срежь мозоль, а он всего человека срезал с земли...

Балясина одолевает мысль о непрочности бытия.

— Я думаю — врут ученые,— говорит он.— Неизвестна им точность ходов солнца. Я вот гляжу, когда солнышко заходит, и думаю: а вдруг не взойдет *оно* завтра? Не взойдет и — шабаш! Зацепится за что-нибудь,— за комету, скажем,— вот и живи в ночи. А то — просто остановится по ту сторону земли, тут нам и крышка навечной тьмы. Надо полагать — у солнца тоже есть свой характер. Придется нам тогда, для жизни, леса жечь, костры раскладывать.

Похохатывая, щуря глаза, он продолжает:

— Ха-арошее небо у нас будет тогда: звезды есть, а — ни солнца, ни месяца! Вместо месяца черный шарик будет торчать, коли верно, что месяц у солнца свет занимает. Как хошь, так и живи — ничего не видать. Для воров — удобно, а для всех других сословий — очень неприятно, а?

Однажды, подстригая мне волосы, он сказал:

— Ко всему люди привыкли, ничем их не испугаешь, ни пожарами, ничем. В иных местах — наводнения бывают, землетрясения,— у нас ничего! Холеры — и то не было, а кругом везде — холера. Человеку же хочется необыкновенного чего-нибудь, страшного. Страх для души, как баня для тела, очень здорово...

Одноглазый арендатор городской купальни — он же «картузник», делает фуражки из старых брюк — человек, которого город не любит, боится. Встречая его на улицах, горожане опасливо сторонятся и смотрят вслед ему волками, а иной идет прямо на картузника, наклоня голову, точно собираясь боднуть его. Тогда картузник уступает дорогу и сам смотрит в затылок дерзкого человека, прищурив глаз, усмехаясь.

— За что вас не любят? — спрашиваю я.

— Я — беспощадный,— хвастливо говорит он.— У меня такой навык, что я — чуть кто неправильно действует,— сейчас его к мировому тащу!

Белок его глаза воспален, пронизан сетью кровавых жилок, и в этой сетке гордо сверкает рыжеватый круглый зрачок. Картузник коренастый, длиннорукий, ноги у него — колесом. Похож на паука.

— Действительно — меня не уважают, потому как я права знаю,— рассказывает он, свертывая папиросу из махорки.— Чужой воробей в мой огород залетит — пожалуйте к мировому! Я из-за петуха четыре месяца судился. Даже сам судья сказал мне: «Ты, говорит, напрасно человеком родился, по характеру ты — овод!» Даже били меня за мою беспощадность, однако бить меня — невыгодно. Бить меня — всё равно как железо каленое, только руки обожгешь. После битья я такое начинаю...

Он пронзительно свистнул. Он действительно кляузник, местный судья завален его жалобами и прошениями. С полицией картузник живет в дружбе; говорят, он любит писать доносы и ведет какую-то книгу, куда вписывает различные прегрешения горожан.

— Зачем вы делаете это?

Он отвечает:

— Потому что уважаю мои права!

Лысый толстый Пушкарев, слесарь и медник — вольнодумец, атеист. Поджимая дряблые губы, странно изогнутые, цвета дождевых червей, он говорит сиплым басом:

— Бог — это выдумка. Над нами ничего нет, только один синий воздух. И все наши мысли — от синего воздуха. Синё живем, синё думаем — вот где загадка. Вся суть жизни моей, вашей — очень простая: были и сгнили.

Он — грамотен, много прочитал романов, особенно хорошо помнит один: «Кровавая рука».

— Там французский архерей взбунтовался и обложил войском город Ларошел. А против него действовал

капитан Лакузон,— что делал, сукин сын! Даже слюнки текут, когда читаешь. Шпагой действовал он — без промаха, ткнет и — готов покойник! Замечательный воин...

Пушкарев рассказал мне:

— Сижу я, вот эдак же, вечером, праздник, читаю; вдруг заявляется земский счетчик,— статистик, поихнему: «Желаю, говорит, познакомиться с вами».— «Ну что ж, говорю, познакомьтесь». А сам — боком сижу к нему. Он и то и сё,— прикинулся я дураком, мычу и всё гляжу в сторону, в стенку. «Слышал я, говорит, что вы в бога не верите?» Ну, тут я на него и вскинулся: «Это — как так? — говорю.— Разве это допускается? А — церкви зачем, попы, монахи, а? А ежели я в полицию заявлю, что вы меня к неверию склоняете?» Испугался он: «Извините, говорит, я думал...» — «То-то, вот, говорю, думаете вы, о чем не надо. Мне эти ваши мысли ни к чему». Выкатился он от меня, как мячик. Потом, вскоре, застрелился. Не люблю я этих земских, фальшивый народ. Сосут мужика, тем и живы. Некуда девать ученых этих, ну — наладили им земство. Считайте! Они считают. Человеку всё едино, что делать, только жалованья ему побольше давай...

А часовщик Корцов, по прозвищу Лягавая Блоха, маленький волосатый человечек с длинными руками,— патриот и любитель красоты.

— Нигде нет таких звезд, как наши, русские! — говорит он, глядя в небо круглыми глазами, плоскими, как пуговицы.— И картошка русская — первая, по вкусу, на всей земле. Или — скажем — гармонии, лучше русских нет! Замки. Да — мало ли чем можем мы нос утереть Америкам этим!

Он сочиняет песни и, выпивши, сам поет их. Стихи его как будто нарочно, надуманно нелепы, но песня, которую он поет чаще других, такова:

Сиза птичечка, синичка,
Под окном моим поет,
Она маленько яичко
Послезавтрея снесет.

Я скраду яичко это,
Положу в гнездо сове,
Пусть что будет, то и будет
Моей буйной голове.

Ах, к чему мне ночью снится,
Будто череп мой клюет
Та сова, ночная птица,
Что, одна, в лесу живет?

Корцов поет эту песню на удалой, веселый мотив. А череп у него аккуратно кругл, совершенно гол, только от уха до уха на затылке висит рыжеватая бахрома кудрявых волос.

Он любит восхищаться красотой природы, хотя окрестности города пустынны, вспухли бесплодными холмами, изрезаны оврагами, нищенски некрасивы. Но часовщик, стоя на берегу мутной, пахучей реки, отравленной войлочными заводами, восклицает с искренним чувством лирического восторга:

— Эх, красота же! Ширь, гладь. Иди куда хошь. До смерти люблю я эту красоту нашу!

Двор его дома грязен, густо зарос крапивой и репьем, забросан обломками дерева, железа, посреди двора гниет широкий диван, из его сиденья торчат клочья волоса. В комнатах пыльно, неуютно, всё сдвинуто с места, к цепям стенных часов привешен, вместо гири, кусок свинцовой трубы. Где-то в углу стонет и ворчит больная жена, а по двору молча шмыгает сестра ее, старая дева, желтая, худая, с оскаленными зубами; на ногах у нее опорки мужских сапог, подол подоткнут до колен и обнажает икры ног в синих узлах вен.

Корцов изобрел замок, который заряжается тремя ружейными патронами и стреляет, если в него всунуть ключ. Замок весит двенадцать фунтов и имеет вид продолговатого ящика. По-моему — он должен стрелять в небеса, а не в того, кто решится отпереть его.

— Нет, прямо в морду угодит! — заверяет изобретатель.

Его любят как чудака. А может быть, горожанам нравится, что он несчастливо играет в карты, все обы-

грывают его. Ему нравится сечь детей, говорят, что сына своего он засек до смерти, но это не мешает знакомым приглашать Корцова как знатока дела для экзекуций над мальчишками, опустошающими сады и огороды.

Не спеша, заложив руки за спину, ходит по городу Яков Лесников, высокий, тощий, с длинной и узкой бородою и большим, унылым носом. Нечесанный, грязный, он одет в какой-то балахон, подобие монашеской рясы, на вихрах его полуседых и жестких волос торчит студенческая фуражка. Большие водянистые глаза напряженно вытаращены, как будто этого человека одолевает сон, а спать ему нельзя. Позевывая, он смотрит вдаль, через головы людей и спрашивает встречных:

— Ну — как?

Ответы, видимо, не интересуют его, да они, наверное, знакомы ему:

— Так себе. Ничего. Живем.

Он славится как женолюб и великий распутник. Корцов, не без гордости, говорил мне:

— Он даже с испанкой жил! Ну а теперь, конечно, и мордовками не брезгует...

Говорят, что Лесников — «незаконный» сын знатного лица, архиерея или губернатора. У него есть несколько десятин огородной земли и лугов, он сдает землю эту в аренду слобожанам и одиноко живет на квартире у моего соседа, больного чиновника казначейства.

Как-то вечером он валялся в саду, на траве, под липой, пил пиво со льдом и рычал, зевал. К нему подошел домохозяин, худенький, кисловато-любезный человечек в очках.

— Что, Яша?

— Скушно,— сказал Лесников.— Вот думаю,— чем бы заняться?

— Поздно тебе заниматься делами...

— Пожалуй — поздно.

— Староват.

— Да.

Помолчали. Потом Лесников, не торопясь, проговорил:

— Очень скушно. В бога, что ли, поверить?

Чиновник — одобрил:

— Это — не плохо. Все-таки — в церковь ходить будешь...

А Лесников, с воем зевнув, сказал:

— Во-от...

Зимин, торговец галантерейным товаром, хитрый мужик, церковный староста, сказал мне:

— От ума страдают люди, он всей нашей путанице главный заводчик. Простоты нет у нас, потеряли простоту. Сердце у нас — честное, а ум — жулик!..

Сижу, глотая знойный воздух, вспоминаю речи, жесты, лица этих людей, смотрю на город, окутанный горячей опаловой мутью. Зачем нужен город этот и люди, населяющие его?

Здесь Лев Толстой впервые почувствовал ужас жизни — «арзамасский», мордовский ужас, но — неужели только для этого жил и живет город от времени Ивана Грозного?

Я думаю, что нет страны, где люди говорили бы так много, думали так бессвязно, беспутно, как говорят и думают они в России, а особенно — в уездной.

Арзамасские мысли случайны и похожи на замученных мальчишками, полуощипанных птиц, которые иногда, со страха, залетают в темные комнаты, чтоб разбиться насмерть о непроницаемый обман прозрачных, как воздух, стекол окна. Бесплодные «синие» мысли.

Подсматриваю я за этими людьми, и мне кажется, что прежде всего они живут глупо, а потом уже — и поэтому — грязно, скучно, озлобленно и преступно. Талантливые люди, но — люди для анекдотов.

С реки доносится шум и плеск воды,— прибежали мальчишки купаться. Но их мало в городе, большинст-

во ушло в лес, в поле и овраги, где прохладно. В садах поднимается голубой дымок, это проснулись хозяйки и разжигают самовары, готовясь к вечернему чаю.

Пронзительно верещит тонкий голос девочки:

— Ой, ма-амонька, ой, ро́дная, ой, не бей меня по животику...

И — точно в землю ушел этот вопль.

Зной всё тяжелее. Солнце как будто остановилось. Земля дышит сухим, пыльным жаром. Кажется, что небо стало еще более непроницаемым,— очень неприятна и даже тревожна эта тусклая непроницаемость небес. Можно думать, что это не то небо, как везде, а — особенное, здешнее, плоское, отвердевшее, созданное тяжелым дыханием людей странного города. Мреет сизая даль, приобретая цвета́ стекла, выгоревшего на солнце, и, как будто становясь плотнее, она близится к городу прозрачной, но непроницаемой стеною.

Черненькими точками бестолково мелькают мухи, это снова напоминает о непроницаемости стекла.

А тяжелое, горячее безмолвие — всё гуще, тяжелее.

В тишине певуче звучит полусонный, разнеженный голос женщины:

— Таисья,— одеваисся?

И такой же голос, но более низкий, томно отвечает:

— Одеваюся.

Молчание. И — снова:

— Таисья, ты — голубо́?..

— Я — голубо-о́...

ПОЖАРЫ

Темной ночью февраля вышел я на Ошарскую площадь — вижу: из слухового окна какого-то дома высунулся пышный, лисий хвост огня и машет в воздухе, рябом от множества крупных снежинок,— они падали на землю нехотя, медленно.

Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызет что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости.

Смотрел я на эти лисьи хитрости огня и думал: «Надо стучать в окна домов, будить людей, кричать — пожар». Но кричать и двигаться не хотелось; я стоял, очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке крыши уже мелькали петушиные перья, верхние ветки деревьев сада золотисто порозовели, и на площади стало светлее.

«Надо будить людей»,— внушал я сам себе и — молча смотрел до поры, пока не заметил фигуру человека посреди площади; человек прижался к нелепой чугунной колонне фонтана и, зрительно, был почти неотделим от нее. Я подошел к нему. Это — Лукич, ночной сторож, кроткий старик.

— Ты что же? Свисти, буди людей!

Не отрывая глаз от огня, он сонным или пьяным голосом ответил:

— Сейчас...

Я знал, что он не пьет, но видел в глазах его пьяную улыбку удовольствия, и меня не удивило, когда он, вполголоса, захлебываясь словами, начал бормотать:

— Ты гляди, как хитрит, а? Ведь что делает, гляди-ко ты! Так и жрет, так и жрет, ну — сила! А малое время спустя назад маленький огонечек высунулся около трубы, с долото, не больше, и начал долбить, и пошел козырять. До чего это интересно, пожар, ах, господи...

Он сунул в рот себе свисток и, качаясь на ногах, огласил пустынную площадь режущим уши свистом, замахал кистью руки — торопливо затрещала трещотка. Но глаза его неотрывно смотрели вверх,— там, над крышей, кружились красные и белые снежинки, скоплялся шапкой черный, тяжелый дым.

Лукич ворчал, усмехаясь в бороду:

— Ишь ты, разбойник... Ну, давай будить людей... Давай, что ли...

Мы бегали по площади, стучали в окна и двери, завывая:

— Пожа-ар!

Я чувствовал, что действую энергично, однако — неискренно, а Лукич, постучав в окно, отбегал на сре-

дину площади и, задрав голову вверх, кричал с явной радостью:

— Пожа-ар, э-ей!

...Велико очарование волшебной силы огня. Я много наблюдал, как самозабвенно поддаются люди красоте злой игры этой силы, и сам не свободен от влияния ее. Разжечь костер — для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку.

Пожар на Суетинском съезде в Нижнем; горят дома над узкой щелью оврага; овраг, разрезав глинистую гору, круто спускается из верхней части города в нижнюю, к Волге. Пожарная команда не могла, по условиям местности, подъехать близко к пожару, машины и бочки воды стоят на съезде, внизу, шланги протянуты вверх по срезу оврага, а сверху падают вниз головни, катятся огненные бревна. Густая толпа зрителей стоит на другой стороне съезда, оттуда пожар прекрасно виден, но несколько десятков людей спустились вниз, где их сердито ругают пожарные и где падающие по откосу бревна легко могут переломать им ноги.

Чтоб видеть, как огонь пожирает старое дерево ветхих домов, люди должны неудобно задирать головы вверх, на лица им сыплется пепел, кожу кусают и жалят искры. Это не смущает людей, они ухают, хохочут, орут, отбегая от бревна, которое катится под ноги им, ползут на четвереньках по крутому срезу противоположной пожару стороны оврага и снова, черными комьями, прыгают вниз. Эта игра особенно увлекает солидного человека, в щегольском пальто, в панаме на голове и в ярко начищенных ботинках. У него — круглое, холеное лицо, большие усы, в руке палка с золотым набалдашником, он держит ее за нижний конец, размахивает ею, как булавой, и, отбегая от бревна, падающего сверху, орет басом:

— Ур-ра-а!

Зрители подзадаривают его криками, над его головою кружится, сверкая, золотой шарик палки, на полях панамы черные пятна погасших угольков, черной змеею развевается под его подбородком развязав-

шийся галстук. Но человек этот ничего не видит и, кажется, не слышит, у него цель храбреца мальчишки: подождать, пока горящее бревно подкатится вплоть к ногам людей, и отпрыгнуть от него последним. Это неизменно удается ему, он очень легок, несмотря на высокий рост и плотное тело. Вот-вот бревно ударит его, но — ловкий прыжок назад, и опасность миновала:

— Ур-ра-а!

Он даже несколько раз прыгал вперед, через бревно, и за это какие-то дамы, в толпе зрителей наверху, рукоплескали ему. Их много наверху, пестро одетых женщин, некоторые стоят, раскрыв зонты, защищаясь от красного дождя искр.

Я подумал: наверное, этот человек влюблен и показывает даме своей ловкость и бесстрашие,— достоинства мужчины.

— Ур-ра-а! — кричит он. Панама его съехала на затылок, лицо побагровело, а вокруг шеи всё развевается черная лента галстука.

Потрясающе ухнув, заглушив криком жадный треск огня, пожарные вырвали баграми несколько бревен сразу, и бревна, дымясь, сверкая золотом углей, неуклюже подпрыгивая, покатились по откосу оврага. Чем ниже, тем быстрее становилось их тяжелое движение, вот, взмахивая концами, переваливаясь одно через другое, они бьют по булыжнику мостовой.

— Ур-ра-а,— дико кричит человек в панаме и, взмахнув палкой, перепрыгивает через бревно, а конец другого лениво бьет его по ногам,— человек, подняв руки, ныряет в землю, и тотчас же пылающий конец третьей, огромной головни тычется в бок ему, как голова огненной змеи.

Толпа зрителей гулко ахнула, трое пожарных быстро отдернули игривого человека за ноги, подняли и понесли его куда-то, а среди горящих бревен, на булыжнике мостовой, осталась панама, пошевелилась, поежилась и вдруг весело вспыхнула оранжевым огнем, вся сразу...

В 96 году в Нижнем Новгороде горел «Дом трудолюбия»; в нижнем этаже его вспыхнула пакля, огонь

быстро накалил железную лестницу во второй этаж и застиг там старух-работниц. Все они, кажется более двадцати, были задушены смолистым дымом и сгорели.

Я застал уже конец пожара; провалилась крыша, в огромном кирпичном ящике с железными решетками на окнах буйно кипел и фыркал огонь, извергая густейший, жирный дым. Сквозь раскаленное железо решеток на окнах дым вырывался какими-то особенно тяжелыми, черными клубками и, невысоко вздымаясь над пожарищем, садился на крыши, угарным туманом опускался в улицы.

Со мною рядом стоял человек дурной славы, домовладелец Капитон Сысоев, *крепкий здоровяк*, несмотря на его пятьдесят лет и распутную, пьяную жизнь.

На бритом скуластом лице его глубоко в костлявых ямах спрятаны узкие беспокойные глазки. Одет он неловко, небрежно, всё на нем как бы с чужих плеч, весь остро неприятен и, видимо, знает об этом,— он смотрит на людей вызывающе, с подчеркнутой наглостью.

А на пожар смотрел взглядом человека, для которого вся жизнь и всё в ней — только зрелище. Говорил цинично о «зажаренных» старушках и о том, что хорошо бы всех старушек сжечь. Но что-то беспокоило его, он поминутно совал руку в карман пальто, выдергивал ее оттуда, странно взмахивал ею и снова прятал, искоса поглядывая на людей. Потом в пальцах его явился маленький сверток бумаги, аккуратно перевязанный *черной ниткой*, *он несколько раз подбросил* его на ладони и вдруг ловко метнул в огонь, через улицу.

— Что это бросили вы?

— Примета у меня есть одна,— ответил он, подмигнув мне, очень довольный, широко ухмыляясь.

— Какая?

— Ну нет, не скажу!

Недели через две я встретил его у адвоката Венского, кутилы, циника, но очень образованного человека; хозяин хорошо выпил и заснул на диване, а я, вспомнив о пожаре, уговорил Сысоева рассказать мне о его «примете». Прихлебывая бенедиктин, разбавленный коньяком,— пойло, от которого уши Сысоева

вспухли и окрасились в лиловый цвет,— он стал рассказывать в шутливом тоне, но скоро я заметил, что тон этот не очень удается ему.

— Я бросил в огонь ногти мои, остриженные ногти,— смешно? Я с девятнадцати лет сохраняю остриженные ногти мои, коплю их до пожара, а на пожаре бросаю в огонь. Заверну в бумажку вместе с ними три, четыре медных пятака и брошу. Зачем? Отсюда и начинается чепуха...

— Когда мне было девятнадцать лет, был я забит неудачами, влюблен в недосягаемую женщину, сапоги у меня лопнули, денег — не было, заплатить университету за право учения — нечем, а посему увяз я в пессимизме и решил отравиться. Достал циан-кали, пошел на Страстной бульвар, у меня там, за монастырем, любимая скамейка была, сижу и думаю: «Прощай, Москва, прощай, жизнь, чёрт бы вас взял!» И вдруг вижу: сидит рядом со мною эдакая толстая старуха, черная, со сросшимися бровями, ужасающая рожа! Вытаращила на меня глаза и — молчит, давит. «Что вам угодно?» — «Дай-ко мне левую руку, студент»,— так, знаете, повелительно требует, грубо...

Рассказчик посмотрел на храпевшего хозяина, оглянул комнату — особенно внимательно ее темные углы — и продолжал тише, не делая усилий сохранить искусственно веселый тон.

— Протянул я ей руку и — честное слово — почувствовал на коже тяжесть взгляда ее выпуклых глаз. Долго она смотрела на ладонь мою и наконец говорит: «Осужден ты жить» — так и сказала: осужден! — «Осужден ты жить долго и легко, хорошо». Я говорю ей: «Не верю в эти штучки — предсказания, колдовство...» А она: «Потому, говорит, и уныло живешь, потому и плохо тебе. А ты попробуй, поверь...» Спрашиваю, посмеиваясь: «Как же это можно — попробовать верить?» — «А вот, говорит, остриги себе ногти и брось их в чужой огонь, но — смотри — в чужой!» — «Что значит — чужой огонь?» — «Ну, говорит, как это не понять? Костер горит на улице в морозный день, пожар, или сидишь в гостях, а там печь топится...»

— Потому ли, что умирать мне, в сущности, не хо-

телось,— ведь все мы умираем по нужде даже и тогда, когда нам кажется, что это решено нами свободно; или же потому, что баба эта внушила мне какую-то смутную надежду, но самоубийство я отложил, до времени. Пришел домой, остриг ногти, завернул в бумажку, ну-ко, попробую колдовство?

— Не прошло недели, как утром вспыхнул пожар на Бронной, против дома, где я жил. Привязал я к ногтям моим старый гвоздь и швырнул их в огонь. «Ну, думаю, готово: жертва принесена,— чем ответят мне боги?» Был у меня знакомый математик, он знаменито играл на биллиарде и бил меня, как слепого. Предлагаю ему, чтоб испробовать силу колдовства: «Сыграем?» Пренебрежительно спрашивает: «Сколько очков дать вперед?» — «Ничего, ни нуля». Можете себе представить, что со мной было, когда я обыграл его! Помню — ноги дрожали от радости и точно меня живою водой спрыснуло. «Стой, думаю, в чем дело? Совпадение?»

— Иду к моей недосягаемой даме,— а вдруг и у нее выиграю? Выиграл, и с такой необыкновенной легкостью, что это испугало меня, да — так, что я даже сна лишился. Еще одно совпадение? Живу между двух огней: между любовью первой, жадной, и — страхом. По ночам вижу эту бабу: стоит где-нибудь в углу и требовательно смотрит на меня тяжелым взглядом, молча двигает бровями. Сказал возлюбленной моей, а она была, как все актрисы, а плохие — особенно, суеверна, разволновалась страшно, ахает и убеждает: «Стриги ногти, следи за пожарами!» Я — стригу и обрезки храню, ни на минуту не забывая, что всё это глупо и что, может быть, вся штука в том, что, когда человек потерял веру в себя, ему необходимо запастись верой в какую-нибудь темную ерундищу. Но соображение это не гасит тревоги моей. Накопил я обрезков ногтей порядочно, бросил в огонь, и — снова чертовщина: является ко мне лысенький человечек с портфелем. «У вас, говорит, в Нижнем Новгороде померла двоюродная тетка, девица, и вы единственный наследник ее». Никогда ничего не слышал я о тетке и вообще родственниками был беден, так же, как они деньгами. Да и было их всего двое: дед со стороны матери, в богадель-

не, да какой-то многодетный дядя, тюремный инспектор, которого я никогда не видал. Спрашиваю лысенького: «Вы не дьявол будете?» Обиделся: «Нет, говорит, я частный поверенный и тети вашей старый друг».— «А может, говорю, вас старуха прислала?» — «Ну да, говорит, конечно, старуха, ей пятьдесят семь лет было». Смотрю на него почти с ненавистью и предупреждаю: «Платить мне за труды ваши — нечем».— «Заплатите, когда я введу вас во владение имуществом». Чрезвычайно гнусный старичок, навязчивый такой, надутый, и явно презирал меня. Привез он меня сюда, и очутился я домовладельцем. Почему-то мне казалось, что получу я деревянный домик в три окна, пятьсот рублей деньгами и корову, но оказалось: два дома, магазины, склады, квартиранты и прочее. Богато. Но чувствую я себя неладно, управляет жизнью моей какая-то чужая, таинственная воля, и растет у меня эдакое особенное отношение к Его Сиятельству огню: отношение дикаря к существу, обладающему силою обрадовать и уничтожить. «Нет, думаю, чёрт меня возьми, этого я не хочу, нет!» И начал превращать богатства мои в дым и пепел: завертелся, как пес на цепи, закутил. А ноготки стригу, храню и на пожарах бросаю в «чужой огонь». Не могу точно сказать вам, зачем делал это и верил ли я в колдовство, но бабищу забыть не мог и не забыл до сего дня, хотя, надеюсь, она давно уже скончалась. Одолело меня эдакое жуткое любопытство — в чем дело? Университет бросил, живу скандально, чувствую в себе эдакую беспокойную дерзость, всячески испытываю терпение полиции, силу здоровья, благосклонность судьбы. И всё сходит мне с рук благополучно. Но вместе с этим кажется мне: вот кто-то придет и скажет: «Пожалуйте!» Кто придет, куда поведет — не знаю, но — жду. Начал читать Сведенборга, Якова Беме, Дю-Преля — ерунда. Явная ерундища, даже обидно. А ночью проснусь и — жду. Чего? Вообще. Ведь если одна чертовщина возможна, почему же не быть другой, еще хуже или еще лучше? Решительно ничего не делаю в поощрение удач и удивляюсь: почему я не схожу с ума? Богатый холостяга, женщины любят, в карты играю до отвращения удач-

но. И даже среди друзей — ни одного негодяя, ни одного жулика, все пьяницы, но — порядочные люди. Так жил я до сорока лет, а в эти годы каждый мужчина должен пережить некий кризис,— будто бы это обязательная повинность. Жду кризиса.

— В Киеве, на контрактах, повздорил я с каким-то гонористым поляком, он меня вызвал на дуэль. Ага, вот он, кризис! Накануне дуэли пожар на Подоле, загорелись какие-то еврейские лачуги. Поехал я на пожар, бросил ногти в огонь и мысленно требую, чтобы завтра убили меня или тяжело ранили, по крайней мере. Но вечером в тот же день мой поляк ехал верхом, а лошадь испугалась чего-то, сбросила поляка, он переломил себе правую руку и разбил голову. Извещает меня об этом секундант его, я спрашиваю: «Как это случилось?» — «Старуха какая-то бросилась под лошадь». Старуха? Старуха, чёрт вас возьми? Совпадение, дьяволы?

— Тут, первый и единственный раз в жизни, я испытал припадок какой-то бешеной истерии, и меня отправили в Саксонию, в горы, в санаторию. Там я рассказал всё это профессору. «О,— говорит немец,— это интереснейший случай». И определил случай, как насекомое, по латыни. Потом он поливал меня водой, гонял по горам месяца два, толка из этих прогулок не вышло. Чувствую я себя скверно и скучаю о пожарах. Понимаете? Скучаю. О «чужом огне». И — коплю остриженные ногти. Сам внутренно усмехаюсь: ведь — ерунда же всё это, дрянь и пакость. А дома́ я уже заложил, деньги у меня на исходе. «Ну-ко, что теперь будет?» — думаю. Путешествую. Нюренберг, Аугсбург — скучно. Сидя в вестибюле гостиницы, бросил ногти в камин. Через день, лежу в постели, ночью, стучат в дверь: телеграмма — один из трех моих билетов внутреннего займа выиграл пятьдесят тысяч, а другой — тысячу. Помню, сидел я в постели, озирался и ругал кого-то дикими словами. Страшно было мне, как никогда, так глупо, по-бабьи страшно.

— Ну, всю эту ерундовую канитель долго рассказывать, да и однообразна она. Тридцать четыре года живу я в ней. Честное слово — я делал всё для того,

чтоб разориться, свернуть себе голову, но, как видите, благополучен. В конце концов я устал от этого и махнул рукою: будь что будет!

Ему, видимо, стало тяжко, скуластое лицо обиженно и сердито надулось, узенькие зоркие глазки потускнели.

— И всё еще бросаете ногти в огонь? — спросил я.

— Ну а — чем же мне жить, чего ждать? Ведь должна же кончиться эта идиотская чертовщина? Или — нет? Может быть, я и не умру никогда?

Он усмехнулся и закрыл глаза. Потом, закурив сигару, глядя на конец ее, сказал негромко:

— Химия — это химия, но все-таки в огне скрыто, кроме того, что мы знаем, нечто, чего нам не понять. И прячется огонь невероятно искусно. Так — никто не прячется. Кусочек прессованного хлопка или несколько капель пикриновой кислоты, несколько гран гремучей ртути, а между тем...

Он щелкнул языком и замолчал.

— Мне кажется,— сказал я,— что всё это очень удачно объяснено вами в словах: когда нет веры в свои силы, нужно верить во что-нибудь вне себя. Вот вы и поверили...

Он утвердительно кивнул головою, но, очевидно, не понял или не слышал моих слов, потому что спросил, нахмурясь:

— Но — ведь глупо же это? Зачем ему нужны мои ногти?

Года через два он умер на улице от «паралича сердца», как сказали мне.

Священник Золотницкий за какие-то еретические мысли тридцать лет просидел в монастырской тюрьме, кажется — в Суздале, в строгом одиночном заключении, в каменной яме. В медленном течении одиннадцати тысяч дней и ночей единственной утехой узника христолюбивой церкви и единственным собеседником его был огонь: еретику разрешали самосильно топить печку его узилища.

В первых годах столетия Золотницкого выпустили

на свободу, потому что он не только забыл свое еретичество, но и вообще мысль его не работала, почти угаснув. Высушенный долголетним заключением, он мало чем напоминал жителя поверхности земли, ходил по ней, низко склоня голову и так, как будто он идет всё время вниз, опускается в яму, ищет, куда бы спрятать хилое, жалобное тело свое. Мутные глаза его непрерывно слезились, голова тряслась, и бессвязная речь была непонятна. Волосы бороды уже не седые, а «впрозелень»; зеленоватый, гнилой оттенок волос был ясно заметен даже на темных щеках тряпичного, старческого лица. Полуумный, он, видимо, боялся людей, но из боязни пред ними скрывал это. Когда с ним заговаривали, он поднимал сухонькую, детскую руку так, как будто ждал удара по глазам и надеялся защитить их этой слабой, дрожащей рукою. Был он тих, говорил мало и всегда вполголоса, робко шелестящими звуками.

Он вышел из тюрьмы огнепоклонником и оживлялся только тогда, если ему позволяли разжечь дрова в печке и сидеть пред нею. Усаживаясь на низенькой скамейке, он любовно зажигал дрова, крестил их и ворчал, тряся головою, все слова, какие уцелели в памяти его:

— Сущий... Вечный огонь. Иже везде сый. Попаляяй грешные...

Тыкал горящие поленья коротенькой кочергою, качался, как бы готовясь сунуть в огонь голову свою; воздух тянул в печь зеленые тонкие волосы его бороды.

— Всесилен есть. Никому же подобен. Лик твой да сияет во веки веков. И бегут... Тако да бегут... От лица огня... Яко дым от лица огня... Тебе хвала, тебе слава, купина...

Его окружали сердобольные люди, искренно изумляясь и тому, до чего можно замучить человека, и тому, как все-таки живуч и вынослив человек.

Велик был ужас Золотницкого, когда он увидал электрическую лампочку, когда пред ним таинственно вспыхнул белый, бескровный огонь, заключенный в стекло.

Старик, присмотревшись, замахал руками и жалобно стал бормотать:

— И его — ох! — и его... Почто вы его? Не дьявол ведь! Ох,— почто?

Долго не могли успокоить старого узника; из его мутных глаз текли маленькие слезинки, весь он дрожал и, горестно вздыхая, уговаривал окружающих:

— Ой, рабы божие...— почто? Лучик солнечный в плен ввергли... Ох, людие! Ох, побойтесь гнева огненного...

И дрожащей сухонькой рукою он осторожно дотрагивался до людей, всхлипывал:

— Ой, пустите его...

...Мой патрон А. И. Ланин, войдя в кабинет, сказал раздраженно и устало:

— Был в тюрьме, у подзащитного, оказался такой милый, тихий парень, но — обвиняется в четырех поджогах. Обвинительный акт составлен убедительно, показания свидетелей тяжелые. А он, должно быть, запуган, очумел, молчит. Чёрт знает, как я буду защищать его...

Через некоторое время, сидя за столом и работая, патрон, взглянув в потолок, сердито повторил:

— Наверное, парень невиновен...

А. И. Ланин был опытный и счастливый защитник, он красиво и убедительно говорил на суде; раньше я не замечал, чтоб судьба подзащитного особенно волновала его.

На другой день я пошел в суд. Дело о поджоге слушалось первым. На скамье подсудимых сидел парень лет двадцати, в тяжелой шапке рыжеватых кудрявых волос. Очень белое «тюремное» лицо, широко раскрытые серо-голубые глаза, золотистые, чуть намеченные усики и под ними ярко-красные губы. Серый халат обидно искажает парня, его хочется видеть в малиновой рубахе, плисовых шароварах, в сапогах «с набором», с гармоникой или балалайкой в руках. Когда председательствующий В. В. Бер или обвинитель обращаются к подсудимому с вопросами, он быстро вскакивает и, запахивая халат, отвечает очень тихо.

— Громче,— говорят ему.

Он откашливается, но говорит всё так же тихо. Это сердит судей, сердит присяжных. В зале скучно и душно, мотылек бьется о стекло окна, и этот мягкий звук усиливает скуку.

— Итак, вы не сознаетесь?

Перед судьями длинный одноглазый старик, лицо у него железное, от ушей с подбородка висят прямые седые волосы. На вопрос: чем он занимается? — старик глухо, могильно отвечает:

— Христа ради живу...

Потом, склонив голову набок, он гудит:

— Шел я из города, сильно запоздамши, солнышко давно село, и подхожу к ихой деревне, и вот светится маленько в темноте-то, да вдруг — как полыхнет...

Обвиняемый сидит, крепко держась за край скамьи, и, приоткрыв рот, внимательно слушает. Взгляд его странен, светлые глаза сосредоточенно смотрят не в лицо свидетеля, а в пол, под ноги его.

— Я — бежать, а он — чешет...

— Кто?

— Огонь, пожар...

Обвиняемый качнулся вперед и спросил неожиданно громко, с явным оттенком презрения, насмешки:

— Это когда же было?

— Сам знаешь когда,— ответил нищий, не взглянув на него, а парень встал, строго нахмурив брови и говоря суду:

— Врет он; с дороги из города не видать того места, где загорелось...

В него вцепился обвинитель, остроносенький товарищ прокурора; взвизгивая, он стал кусать парня вопросами, но тот снова отвечал тихо, неохотно, и это еще более восстановило суд против его. Так же неясно, нехотя обвиняемый отвечал и на вопросы защитника.

— Продолжайте, свидетель,— предложил Бер.

— Бегу, а он прыг через плетень прямо на меня.

Парень усмехнулся и что-то промычал, двигая по полу ногами в тяжелых «котах» арестанта.

Нищего сменил толстый мужик, быстро и складно, веселым тенорком он заговорил:

— Давно у нас догадка была на него, хоша он и тихий и некурящий, ну, заметили мы, однако: любит баловать с огнем... Еду я из ночного, облачно было, вдруг у шабра на гумне ка-ак фукнет, вроде бы из трубы выкинуло...

Обвиняемый, толкнув локтем солдата тюремной команды, вскочил на ноги и отчетливо, с негодованием почти закричал:

— Да — врешь ты! Из трубы,— эх! Что ты знаешь? Чать не сразу бывает — фукнуло, полыхнуло! Слепые. Сначала — червячки, красные червячки поползут во все стороны по соломе, а потом — взбухнут они, собьются, скатятся комьями, вот тогда уж и полыхнет огонь. А у вас — сразу...

Лицо его покраснело, он встряхивал головою и сверкал глазами, очень возбужденный, говоря поучительно и с большой силою. Судьи, присяжные, публика — все замерли, слушая, А. И. Ланин, привстав, обернулся к подзащитному и удивленно смотрел на него. А он, разводя руки кругами и всё шире, всё выше поднимая руки, увлеченно рассказывал:

— Да — вот так, да — вот так и начнет забирать, колыхается, как холст по ветру. В это время у него повадка птичья, тут уж его не схватишь, нет! А сначала — червяки ползут, от них и родится огонь, от этих красных червячков, от них — вся беда! Их и надо уследить. Вот их и надо переловить да — в колодцы. Переловить их — можно! Надо поделать сита, железные, частые, как для пшеничной муки, ситами и ловить, да — в болото, в реки, в колодцы! Вот и не будет пожаров. Сказано ведь: упустишь огонь — не потушишь. А — они, как слепые всё равно, врут...

Ловец огня тяжело шлепнулся на скамью, потряс головою, приводя в порядок растрепавшиеся кудри, потом высморкался и шумно вздохнул.

Судебное следствие покатилось, как в яму. Подсудимый сознался в пяти поджогах, но озабоченно объяснил:

— Быстры они больно, червячки-то, не устережешь их...

В. В. Бер скучно сказал обычную фразу:

— Ввиду полного сознания подсудимого...

Защитник возбудил ходатайство о психиатрической экспертизе, судьи пошептались и отказали ему. Обвинитель произнес краткую речь, Ланин говорил много, красноречиво, присяжные ушли и через семь минут решили:

— Виновен...

Задумчиво выслушав суровый приговор, осужденный, на предложение А. И. Ланина обжаловать решение суда, сказал равнодушно, как будто всё это не касалось его:

— Ну что ж, пожалуйтесь, можно...

Солдат, вкладывая саблю в ножны, что-то шепнул парню, парень, резким движением запахнув халат, ответил громко:

— Я ж говорю: как слепые...

В 93-м или 94-м году за Волгой, против Нижнего Новгорода, горели леса,— огонь охватил сотни десятин. Горький опаловый дым стоял над городом, в дыму висело оранжевое солнце, без лучей, жалкое, жуткое; особенно неприятно было видеть, как тусклое отражение ощипанного солнца колеблется в мутной воде Волги, как бы нехотя опускаясь на грязное дно ее.

Луга за Волгой окрасились в бурый цвет, в городе тоже все краски поблекли. В дымной, чадной мгле всё звучало глуше, сады обеднели пчелами, бабочками, и даже неукротимо бойкие воробьи стали тише чирикать, медленней летать.

Тяжело было смотреть, как за Волгой снижается обесцвеченное солнце, уходя в землю, а пышных красок вечерней зари — нет. По ночам из города видно: над черною стеной дальнего леса шевелит зубчатым хребтом огненный дракон, ползет над землей и дышит в небо черными облаками, напоминая Змея Горыныча древних сказок.

Дым наполнял улицы, просачивался в комнаты домов, город превратился в коптильню людей. Ругаясь, кашляя, люди по вечерам выходили на крутой берег реки, на Откос и, глядя на пожар, ели мороженое,

пили лимонад, пиво, убеждая друг друга, что это мужики подожгли леса. Кто-то мрачно сказал:

— Первая репетиция пьесы «Гибель земли».

Знакомый поп, глядя в даль красными глазами пьяницы, бормотал:

— Апокалипсическая штучка... а пока выпить надо...

Шутки казались неуместными, очень раздражали, и всё, что говорилось в эти мутные, удушливые дни, както особенно едко обнажало нищету и скуку обыденной жизни.

Пехотный офицер, мечтатель, сочинявший «Ботанику в стихах для девиц среднего возраста», предложил мне ехать с ним на пожар,— там работала часть солдат его роты. Мы поехали душной ночью на паре обозных лошадей, парóм перевез нас в село Бор, и сытые лошади, сердито фыркая, побежали по песчаной дороге в чадную мглу. Недвижимо обняв тихие поля, она кутала дали серой кисеей, сквозь нее медленно пробивался скучный рассвет, и чем ближе к лесам подъезжали мы, тем более голубел дым, горько царапая горло, выедая глаза.

Солдат на козлах громко чихал, а офицер, протирая пенсне, покашливая, хвастал красотою своих стихов, отважно рифмуя гелиотроп и гроб.

Трое мужиков с лопатами и топорами уступили нам дорогу, пехотный поэт крикнул им:

— Где работает воинская часть?

— Не знаем...

Солдат, придержав лошадей, спросил:

— Где тут солдаты?

Мужик в красной рубахе указал топором влево от дороги:

— А — эвон...

Через несколько минут мы подкатились к перелеску, в густой чаще ельника и сосняка возились люди в белых рубахах, подбежал фельдфебель и, козыряя, отчеканил, что всё благополучно, только чувашин обжегся немного. Затем он «осмелился доложить», что, по его разуму, работать здесь бесполезно:

— Место погибшее, огонь идет верхом, полуколь-

цом, сожжет клинушек этот, а дальше ему есть нечего, сам погаснет...

И, указав длинной рукою вправо, предупредил:

— А там — торфяник, сухое болотце, там огонь низом ползет сюда. Люди беспокоятся...

Офицер тоже обеспокоился, видимо, не зная, как нужно распорядиться, но тут из леса медведем выломился большой бородатый мужик, с палкой в руке, с медной бляхой на груди, снял шапку, осеянную пеплом, и замер, глядя на офицера немым взглядом синих глаз.

— Староста?

— Так точно.

— Ну, что?

— Горит.

— Надо бороться с огнем,— посоветовал офицер.— Лес — наше богатство. Да... Лес, это, брат, не просто деревья, а — общество разумных существ, как, например, ваше село...

— У нас — деревня...

По земле, под ногами у меня, темной кружевной полосою ползли муравьи, обегая навозного жука, он поспешно катил свой шарик. Я пошел посмотреть, откуда переселяется муравейник. Странный хруст колебался вокруг, некто невидимый шел рядом со мною, приминая траву, шелестя хвоей. И в движении ветвей было что-то неоправданное, непонятное.

Сзади меня очутился староста, жалуясь:

— Третьи сутки гуляю. Начальство будете? А-а, поглядеть желательно? Это — ничего! Идемте, я вас на холмик провожу, недалеко тут, с него хорошо видать...

Песчаный холм осеняли десятка два мощных сосен, кроны их, точно чаши, были налиты опаловой мутью. Перед холмом, в котловине, рассеянно торчали чахлые елки, тонкоствольные березы, серебристая осина трепетала пугливо; дальше деревья соединялись всё плотнее, и между ними возвышались сосны, покрытые по бронзовым стволам зеленоватой окисью лишаев.

У корней деревьев бегали, точно белки, взмахивая красными хвостами, веселые огни, курился голубой

дымок. Было хорошо видно, как огонь, играя, влезает по коре стволов, извивается вокруг их, прячется куда-то, а вслед за ним ползут золотые муравьи, и зеленоватые лишаи становятся серыми, потом чернеют. Вот снова откуда-то выбежал огонь, грызет порыжевшую траву, мелкий кустарник и — прячется. И вдруг между корней кружится, суетится целая толпа красных бойких зверьков.

Опираясь руками на палку, староста ворчит:

— Наши там... спаси бог...

Людей не видно, но сквозь хруст, шорох и отдаленный глухой вой доносились из леса дробные удары топоров, гулкое уханье и тяжкий, скрипучий шум падения деревьев. Темненьким комочком подкатилась под ноги мне полевая мышь, белым мячом мелькнул по болоту зайчонок.

А щебета птиц не слыхать, хотя леса Заволжья богаты певчей птицей. И — ни пчел, ни шмелей, ни ос в тяжелом воздухе, в синеватой, опьяняющей, жаркой мгле. Было грустно видеть, как зеленое мертво сереет или покрывается рыжей ржавчиной и часто, не вспыхнув огнем, листья осины сыплются на землю пепельными бабочками, жалобно обнажая тонкие ветки. Но иногда лист, иссушенный жарою, вдруг весь вспыхнет и осыпается сотнями желтых и красных мотыльков. Я видел, как нижние лапы пышных елей там, далеко, быстро теряют бархатный темно-зеленый лоск, рыжеют, ржавеют и, сразу озолотясь, брызгают во все стороны густым дождем красноватых искр, похожих на запятые. Вот искры с легким, веселым треском дружно взвились вверх, осеяв всю пирамиду елки, взвились, исчезли, а дерево стало черным, и лишь кое-где на концах голых веток мелькают маленькие желтые цветы огней. Вот еще так же быстро расцвела и погибла ель, еще и еще... Что-то прозвучало, лопнув, как гнилое яйцо, и по болоту, извиваясь, поползли во все стороны красно-желтые змеи, поднимая из травы острые головки, жаля стволы деревьев. Быстро желтел мелкий березовый лист, когда по белому стволу, по смолистым стружкам коры гибко вползал огонь, ветви курились синим дымом, удивительно красиво вились, тихонько посвисты-

вая, его тонкие струйки. И в тихом свисте горения, казалось, звучат начала каких-то песен, странных и глубоких.

Непобедимо влекло вперед, ближе и ближе к огню. Староста ахал и тоже незаметно спускался с холма, помахивая палкой, восклицая:

— А, господи, чудеса твои... ах ты, господи!

Гул в лесу вдруг замолк, его сменил тревожный волчий вой:

— У-у-у...

— Побежали,— сказал староста, прислушиваясь, хмурясь.

И — точно: слева от нас, далеко, в деревьях замелькали фигуры людей; их словно выбрасывало из леса, так быстро выскакивали они. А справа, на болоте, явилось два солдата, в сапогах, серых от пепла, в рубахах без поясов; они вели коротконогого мужика, держа его под руки, как пьяного. Мужик фыркал и плевался, кропя встрепанную бороду и разорванную рубаху свою брызгами крови; нос и губы у него были разбиты, а неподвижные, точно слепые, глаза улыбались жалкой ребячьей улыбкой.

— Куда это вы его? — строго спросил староста.

Солдат-татарин, добродушно ухмыляясь, ответил:

— Поджог делал, огонь тащил место на местам!

Его товарищ сердито добавил:

— Поджигал, мы видели! Раздувал.

— Ну-у, видели, как жа-а! Закуривал я...

— Нам за вами приказано глядеть, а он зажег ветку и подкладывает...

— Ну-у, ка-ак жа-а! Зажег! К сапогу пристала...

Солдат ударил мужика по шее.

— Нет, погоди, ты не бей,— внушительно сказал староста.— Этот — наш мужик. Этот мужик, я тебе скажу,— не в разуме...

— Сади его на цепь...

Сердито, но неохотно заспорили, а по болоту кружились огни, встречая мужиков, бежавших из лесу. Человек семь, тяжело подпрыгивая, направлялось к нам, вот они подбежали и свалились на песок у холма, кашляя, хрипя, ругаясь.

— Чуть не захватило...

— Птицы сколь погибло...

При виде злых, измученных мужиков солдаты стали миролюбивее и, оставив избитого ими, ушли сквозь теплый дым,— он становился синее и всё более едким. По болоту хлопотливо бегали огоньки, окружая стволы деревьев, блекла и скручивалась, желтея, листва ольхи и берез, шевелились лишаи на стволах сосен, превращаясь во что-то живое, похожее на пчел.

На холме стало жарко, трудно дышать, мужики, передохнув, один за другим уходили в чащу, выше на холм; староста угрюмо журил избитого:

— Завсегда у тебя скандал, Микита. Ни пожар, ни крестный ход, ничего тебе не скушно...

Мужик молчал, ковыряя черным пальцем передние зубы.

— И верно, что на цепь тебя сажать надобно...

Вынув палец изо рта, мужик крепко вытер его подолом рубахи. Он ворочал головою, неподвижные глаза его шарили по болоту, следя за струйками дыма. Всё болото курилось, всюду из черной земли возникали голубые и сизые кудри дыма. И везде, вслед за ними, из торфа острым бугорком выскакивал огонь, качался, кланялся, исчезал, на месте его являлось красновато-золотое пятно, и во все стороны от него тянулись тонкие красные нити, сами собою связываясь в узлы новых огней.

Вдруг у подножия холма вспыхнул неопалимой купиною куст можжевельника, староста, взмахнув палкой, попятился.

— Ишь ты, как... Уходить надо отсюдова...

И, тяжело шагая по песку между сосен, он ворчал:

— Хожу вот, а — чего хожу? Что может сделать человек против такого огня? А своя работа стоит! Может, не мене тыщи людей время теряют эдак-то вот...

Спустились по зарослям кустарника в лощину, на дне ее тускло блестел ручей, дым здесь осел гуще, и даже ручей казался густою струей дыма. Поднялась из травы куропатка и камнем упала в кусты, быстро прополз маленький ужишка, а за ним к ручью скатился комком еж.

— Догонит,— сказал Никита и быком, наклоня голову, полез сквозь кусты.

— Ты, гляди, не дури,— крикнул ему староста и, сбоку осторожно взглянув на меня, заговорил: — Не в разуме маленько он. Троекратно горел, ну и того... Солдаты, конечно, хвастают, поджогами он не занимается, ну все-таки разум свихнулся, к озорству тянет...

Дым выедал глаза, они заливались слезами, крепко щекотало в носу, и было трудно дышать. Староста громко чихнул, озабоченно оглянулся, помахивая палкой.

— Скажи на милость, куда его метнуло!

Впереди нас по можжевельнику, в лощину, воробьиными прыжками спускались огоньки, точно стая красногрудых снегирей, в траве бойко мелькали остренькие крылья, кивали и прятались безмолвно птичьи головки.

— Микита? — крикнул староста и прислушался. Был слышен сухой хруст, предостерегающее шипение и тихонький свист. Где-то, очень далеко, шумели люди.

— Пес,— сказал староста.— Не сгорел бы. Ему огонь — как пьянице вино. Где пожар — он первый бежит сломя голову. Прибегет, вытаращит глаза и стоит, как всё равно гвоздями пришитый к земле. Ни помочь людям, ничего, стоит и стоит, ухмыляется. Бивали его за это. Прогонят с одного места, он на другом приклеится. Полонен огнем...

Оглядываясь назад, я видел, что огни, спускаясь всё ниже, торопятся поспеть вслед за нами, а вода ручья, кое-где покраснев, светится золотом.

— Мики-ита-а?

Встречу нам, лесом, бежал кто-то, староста остановился, протирая слезящиеся глаза, из-за деревьев выскочил парень без рубахи, она была наверчена на голове его чалмою.

— Куда гонишь?

Сильно двигая ребрами, отмахивая рукою назад, парень задыхался, бормотал:

— Там все разбежались... верхом пошло... не ходите туда. Сразу настигло... Ух, испугался я, господи...

— Ну куда ж тут идти? — сам себя спросил староста.— Айдате прямо, что ли! Не знаем мы этот лес, зря согнали нас сюда. Плутай тут, а — какой толк? Только одним живешь, как бы от начальства укрыться.

Он говорил всё более озлобленно.

— Житье! Утопленник ли, покойника ли, жертву убийства, найдут где, на дороге, лес ли горит,— на всякий этот случай требуется мужик. А у него — свое дело! Он чего требует? Одного: дайте ему спокой жизни. Боле — ничего... Микита-а? Чёрт бы те драл...

Пройдя с версту редким молодым сосняком, мы вылезли на поляну, на ней сидело и лежало полсотни мужиков, несколько баб принесли на коромыслах ведра квасу, хлеб. Увидав старосту, люди хором завыли:

— Долго мы тут дым глотать будем? Работа у нас...

Синеватые дымки ползали в траве, гладили заступы, топоры. Сверху дождем сыпался мелкий серый пепел, невидимый в опаловой мгле, от него посерели бороды мужиков, посерела трава и широко распростертые лапы сосен покрылись как бы пенькою. Это был верный признак, что пожар идет верхом.

— Убирайсь отсюдова! — командовал староста.— Иди в поле...

Мужики тяжело поднялись и, покрикивая друг на друга, на баб, пошли просекой в бесконечную серую дыру.

Вплоть до ночи бродил я с ними по лесу и полю, вокруг нас воинственно гарцевали на сытых лошадях двое урядников, бестолково перегоняя толпу с места на место. Один из них, черненький, бойкий, размахивая нагайкой, кричал:

— Дьяволы, небойсь, как бы ваше горело...

Вечером я лежал в поле на сухой, жаркой земле,— смотрел, как над лесом набухает, колеблется багровое зарево и Леший кадит густым дымом, принося кому-то обильную жертву. По вершинам деревьев лазили, перебегали красные зверьки, взмывали в дым яркие ширококрылые птицы, и всюду причудливо, волшебно играл огонь, огонь.

А ночью лес принял неописуемо жуткий, сказочный вид: синяя стена его выросла выше, и в глубине ее,

между черных стволов, безумно заметались, запрыгали красные мохнатые звери. Они припадали к земле до корней и, обнимая стволы, ловкими обезьянами лезли вверх, боролись друг с другом, ломая сучья, свистели, гудели, ухали, и лес хрустел, точно тысячи собак грызли кости.

Бесконечно разнообразно строились фигуры огня между черных стволов, и была неутомима пляска этих фигур. Вот, неуклюже подпрыгивая, кувыркаясь, выкатывается на опушку леса большой рыжий медведь и, теряя клочья огненной шерсти, лезет, точно за медом, по стволу вверх, а достигнув кроны, обнимает ветви ее мохнатым объятием багровых лап, качается на них, осыпая хвою дождем золотых искр; вот зверь легко переметнулся на соседнее дерево, а там, где он был, на черных, голых ветвях зажглись во множестве голубые свечи, по сучьям бегут пурпуровые мыши, и при ярком движении их хорошо видно, как затейливо курятся синие дымки и как по коре ствола ползут, вверх и вниз, сотни огненных муравьев.

Иногда огонь выползал из леса медленно, крадучись, точно кошка на охоте за птицей, и, вдруг подняв острую морду, озирался — что схватить? Или вдруг являлся сверкающий, пламенный медведь-овсяник и полз по земле на животе, широко раскидывая лапы, загребая траву в красную огромную пасть.

Выбегала из леса толпа маленьких человечков в желтых колпаках, а вдали, в дыму, за ними, шел кто-то высокий, как мачтовая сосна, дымный, темный,— шел, размахивая красной хоругвью, и свистел. Прыжками, как заяц, мчится куда-то из леса красный ком, весь в огненных иглах, как еж, а сзади его машет по воздуху дымный хвост. И по всем стволам на опушке леса ползают огненные черви, золотые муравьи, летают, ослепительно сверкая, красные жуки.

Воздух всё более душен и жгуч, дым — гуще, горчей, земля всё жарче, сохнут глаза, ресницы стали горячими, и шевелятся волосы бровей. Сил нет лежать в этой жгучей, едкой духоте, а уйти не хочется: когда еще увидишь столь великолепный праздник огня? Из леса, горбато извиваясь, выползает огромная змея,

прячется в траве, качая острой башкой, и вдруг пропадает, как бы зарываясь в землю.

Я съеживаюсь, подбираю ноги, ожидая, что змея сейчас появится где-то близко, это она меня ищет. И жуткое сознание опасности опьяняет, мучает еще более остро, чем жара, дым.

...Облака на западе грубо окрашены синим и рыжим. В жемчужном небе, над мохнатой ватагой ельника, повис истаявший, почти прозрачный обломок луны. Ельник разбрелся по болоту, дошел до горизонта и сбился в темную кучу,— там ему грозит красным каменным пальцем труба фабрики.

В полдень пролил обильный дождь, а потом, вплоть до вечера, землю сушило знойное солнце; теперь земля сыра, воздух влажно душен. Болото вспухло скукой; скука тоже влажная, потная.

Фельдшер Саша Винокуров ходит медведем, на четырех лапах, по холму, засеянному рожью, ставит сеть на перепелов, а я лежу под кустом калины и думаю вслух:

— Хорошо бы начать жизнь сначала, лет с пятнадцати...

Продолжая беседу, Саша говорит жирным шёпотом:

— Существующая обстановка жизни — никому не нравится.

Он скатился с холма под куст ко мне, вытер испачканные грязью ладони о голенища сапогов и осматривает «манки» — перепелиные дудки. По лбу его, на лысину, вздымаются волнистые морщины, глаза округлились, точно у рыбы.

Он — интересный. Сын судейского чиновника, он, «не в силах поднять тяжесть гимназической науки и гонимый варварством отца», убежал из дома, года два путешествовал по тюрьмам и этапам, как безымянный бродяга, затем, «измученный до потери памяти даже о том, чего нельзя забыть», возвратился к отцу, «был сунут, как мертвая мышь в муравьиную кучу», вольноопределяющимся в пехотный полк и попал в школу военных фельдшеров. Отслужив положенный срок

в солдатах, семь лет плавал на пароходах «Добровольного флота» и —

— Пил всемирные алкогольные напитки, не потому, что пьяница, а — надо же чем-нибудь заявить людям об оригинальности характера! Пил в таком количестве, что на меня приходили смотреть даже англичане. Стоят истуканами, пожимают плечами, улыбаются, им — лестно: вот это — потребитель! Есть для кого джин и виски делать. Один даже намекнул мне: «А вы, говорит, не пробовали ванну брать из виски?» А впрочем, англичане — хороший народ, только язык у них хуже китайского...

— Незаметно для себя очутился я в Персии, женатым на горничной английского купца; очень милая женщина, но — оказалась пьяница, а может быть, что я ее споил. Через два года она скончалась от холеры, а я перебрался в самый безобразный город на свете, в Баку, потом — сюда, в этот лягушатник. Тоже — город, чёрт его раздери на тонкие полоски.

— Саша,— прошу я,— расскажите, как вы путешествовали в Китай?

— Путешествуют обыкновенно: садятся на пароход, остальное — дело капитаново,— говорит он, разбирая дудки.— А капитаны — все пьяницы, ругатели и драчуны, таков закон их природы. Дайте папироску!

Зажег папиросу, понюхал одной ноздрею струйку дыма.

— Табачок — легковейный, пур ля дам [1].

Винокурову за пятьдесят, но это человек крепкий. Его солдатское, деревянное лицо освещают ясные глаза; взгляд их спокоен,— взгляд человека, который много видел, отвык удивляться и чужд тревог. Смотрит он как-то через людей, мимо их, относится к ним снисходительно, немножко по-барски. Он не занимается медициной:

— Догадался, что медицина — наука слепая.

У него в городе «Кефирное заведение и торговля болгарской сывороткой с доставкой на дом по способу И. Мечникова».

---

[1] дамский *(искаж. франц.)*.

— Расскажите что-нибудь,— настаиваю я.

— Удивляюсь вашей ненасытности! И куда вы складываете всю эту труху слов людских? Что же рассказать?

— Что видели.

— Н-ну-у! Это — на год. Видел я всё, что полагается, все препятствия. Почему — препятствия? А — как это назвать? Отвалит пароход от пристани, перекрестишься, ну, везите, куда назначено. И плывешь день, ночь, день, ночь; кругом — пустота моря и небес, а я человек спокойный, мне это нравится. Однако — гудок, значит: приехали куда-то. Остановка эта и кажется препятствием. Как будто: шел ночью и вдруг наткнулся на забор.

— Н-ну, тотчас на палубе зачинается истерическая суета этих бесподобных пассажиров. Пассажиры — совершенно особенный тип народа, самый бессмысленный тип. Человек в море, на палубе судна, приобретает смешную детскость, не говоря о том, что почти всех унизительно тошнит. И вообще — в море замечаешь, что человек еще больше пустяк, чем на суше,— в этом я и вижу поучительное достоинство морских путешествий. В заключение же прямо скажу: на поверхности земли и воды нет ничего хуже пассажиров.

— Для бездельника — везде скучно, а на морях скука особенно ядовита, пассажиры же, по натуре своей, все бездельники. От скуки они даже сами себя теряют до того, что, несмотря на высокий чин, ордена, богатство и прочие отличия, обращаются с кочегаром, как с равным себе; я самолично наблюдал такой случай. Как собаки на овсянку, бросаются они к бортам наслаждаться окрестностями чужих берегов. Пожалуйста, наслаждайся, но — не суетись! Однако у них немедленно начинается топот ног и разногласие: «Ах, смотрите, ах, поглядите!» Между прочим — смотреть не на что: всё вполне обыкновенно — земля, постройки, люди меньше мышей. И всегда, в этот час, разыгрывается какая-нибудь несчастная случайность: в Александрии проклятая горничная растяпала у меня драхмовую склянку ацидум карбоникум [1], конечно, запах

[1] карболовая кислота (acidum carbolicum — *лат.*).

по всему первому классу, помощник капитана обру шил на меня такие слова, что какая-то дама, в раздражении чувств, подала жалобу капитану, но, по ошибке, тоже на меня. Или, например: прищемило девочке палец амбулаторной дверью, а папаша ее тычет мне палкой в селезенку, потому что он дипломат. И всё в этом роде: неожиданно и глупо.

— Кратко говоря — на этом земноводном шаре я не видел ничего необыкновенного; везде одинаково оскорбляют и словом и действием; особенно прилежно на азиатском полушарии, но и на других тоже. Два полушария, говорите? Я считаю это ошибкой умозрения: если, взглянув на дело строго практически, резать этот шар наш по линии любого градуса от полюсов, то мы обязательно получим столько полушариев, сколько имеем градусов, а можно и больше. Дайте папироску!

Закурив, прищурясь, он сказал:

— Курить не следовало бы, перепел дыма не любит.

И продолжал спокойно, вполголоса:

— Изредка бывают случайности интересные, но для спокойствия души лучше, чтоб их не было. Например: в Китайском море,— есть и такое, хотя от других морей ничем не отличается,— так вот: идем мы этим самозванным морем в Гонконг с большим опозданием, и ночью, в кромешной тьме, замечен был вахтой необыкновенный огонь. Я, младший помощник капитана, боцман и буфетчик играли в преферанс, вдруг слышим: «Пожар на море...»

— Конечно — пошли смотреть, даже не доиграв пульку. Когда люди находятся в долгом плавании, то всякие пустяки возбуждают их интерес, даже на дельфинов смотрят с удовольствием, хотя несъедобная рыба эта похожа на свинью, в чем и заключается весь комизм случая. Итак — наблюдаю: обыкновенная душная ночь, жарко, точно в бане, небеса покрыты черным войлоком и такие же мохнатые, как это море. Разумеется — кромешная тьма, далеко от нас цветисто пылает небольшой костерчик и так, знаете, воткнулся остриями огней и в небо и в море, ощетинился, как, примерно, еж, но — большой, с барана. Трепещет и

усиливается. Не очень интересно, к тому же мне в картах везло.

— У людей, как я заметил, есть эдакое идольское пристрастие к огню. Вы тоже знаете, что высокоторжественные царские дни, именины, свадьбы и другие мотивчики человеческих праздников — исключая похороны — сопровождаются иллюминациями, игрою с огнем. Также и богослужения, но тут уже и похороны надо присоединить. Мальчишки даже и летом любят жечь костры, за что следует мальчишек без пощады пороть во избежание губительных лесных пожаров. В общем скажу, что пожар — зрелище, любезное каждому, и все люди стремглав летят на огонь, подобно бабочкам ночным. Бедному приятно, когда богатый горит, и у всякого зрячего человека есть свое тяготение к огню, это известно.

— Пассажиры выметнулись на палубу и, наслаждаясь зрелищем, ведут легкий спор: что горит? Как будто им неизвестна очевидность — в море могут гореть только суда различных наименований; среди таких обширных вод все другие человеческие постройки невозможны, как это понятно даже и глухонемому ребенку. Удивительно, что пассажиры не понимают простого: обилие лишних слов не может способствовать рассеянию скуки жизни.

— Ну-у, я скромно слушаю оживленный разговор заинтересованных зрелищем, и — вдруг женский возглас: «Но ведь там должны быть люди!»

— Я даже усмехнулся: какое легкомыслие! Само собою понятно, что ни одно судно не может выйти в море без людей, а она только сейчас догадалась об этом. И снова кричит: «Их нужно спасти!»

— Начался спор: одни соглашаются — нужно, другие, подел витее, указывают, что мы и без этого идем с опозданием. Но дама оказалась женщиной навязчивой и бойкой,— после я узнал, что она ехала из Карса в Японию, к сестре, которая была замужем при посольстве, а также по причине туберкулеза легких,— так, говорю, оказалась она весьма назойливой,— требует спасения погибающих людей и подбивает пассажиров послать капитану депутацию просить его о по-

мощи горящему судну. Ей основательно возражают, что, может быть, судно китайское и люди на нем — тоже китайцы, но это нисколько не успокоило ее, наоборот: истерическим визгом она довела каких-то троих до того, что они отправились просить капитана и, хотя он опирался на опоздание, доказали ему, что будто есть морской закон о подаче помощи в несчастиях, и даже пригрозили составить протокол.

— К полному торжеству забияки, капитан изменил курс, и потёпали мы по мохнатому морю, по кочкам волн, в кромешную тьму, на огонь этот. Команда, серчая, трудится, готовясь спустить шлюпки; подъехали мы близко, видим: горит дрянненькое китайское суденышко о двух мачтах, около него ныряют две лодочки с людьми, орут люди, воют, а на горящем судне, на носу его, стоит высокий тонкий человек; стоит и стоит. Огонь полышет совершенно серьезно, корма уже вся в огне, мачты — как свечи, даже на кубрике хлещет пламя, а человечек этот точно часовой — недвижим. Видно его очень прозрачно.

— Наша команда приняла людей из лодки,— было их семь человек, из другой лодки трое, от преждевременного страха, бросились в воду, все утонули. Спасенные объявили, что на судне остался хозяин их и желает погибнуть вместе с имуществом. Матросы наши очень звали его: «Прыгай, чёрт, в воду!» Но — ведь не арканом же его тащить? Возиться с его упрямством было некогда, капитан пронзительно свистит. В самые те минуты, когда огонь охватил носовую часть судна, видел я очень прозрачно, как этот азиат запрыгал, вдруг весь вспыхнул огнем, схватился за голову руками и нырнул в огнище, словно в омут.

— Но суть случая, конечно, не в поведении китайца, народ этот совершенно равнодушен к себе по причине своей многочисленности и тесноты населения; они даже до того дошли, что в случаях особо заметного избытка людей жеребий бросают: кому умирать? И жеребьевые умирают вполне честно. Когда же у них в семье родится вторая девочка, так ее швыряют в реку; больше одной девицы на семью не выносят они.

— Но суть, говорю, не в них, а в поведении чахо-

точной этой дамы, кричит она капитану: почему он не приказал погасить огонь на судне? Он ей внушает: «Сударыня, я не пожарный!» А она кричит: «Но ведь погиб человек!» Ей объясняют, что это очень обыкновенный случай даже и на суше, а она — свое: «Знаете ли вы, что такое человек?» Конечно,— все насмешливо улыбаются. А она, как собачка комнатная, прыгает на всех и верещит: «Человек, человек...» Зрители, обижаясь, отходят от нее, тут она — к борту и плакать. Подошел к ней один сановник, так сказать — вельможа,— забыл я имя его! — и внушительно предложил успокоиться: «Сделано,— сказал,— всё, что можно было сделать...» Но она с ним обошлась невежливо. Тогда я говорю ей совершенно почтительно: «Сударыня, позвольте предложить вам валерьяновых капель...» Она, не глядя на меня, шепчет: «О идиоты...» Признаюсь, что, несмотря на мою скромность, это обидело меня. Но всё же как можно деликатнее говорю: «Сударыня, скандал, вызванный благородством вашего сердца, возмущает и мое...» Но и деликатность мою отвергла она,— кричит стремительно прямо в нос мне: «Уйдите прочь...»

— Ну, тут я, разумеется, отошел, великодушно оставив пред нею рюмку с эфирно-валерьяновыми каплями. Встал в сторонку, слушаю, как она сморкается, хлюпает. Стою и чувствую: есть что-то очень обидное для меня в этих слезах о неизвестном китайце. Не может же быть, чтобы она всегда искренно плакала обо всех погибающих на ее глазах от разных причин. В Сингапуре сотни индейцев от голода издыхали,— никто из наших пассажиров слез не проливал. Положим, это — чужой народ, но, однако, на моих глазах десятки наших, русских, матросов, портовых рабочих и других людей рвало, ломало, давило при полном равнодушии пассажиров, если не считать страха и содрогания нервов от непривычки видеть обильную кровь.

— Думал я, думал по поводу этого случая с женщиной, неприятно много думал, но так ничего и не решил...

Винокуров подергал свои усы, прислушался, потом сердито сказал:

— Подозреваю в этом поступке бесполезность.

Ночь. В мутно-синем небе тусклые звезды. Обломок луны куда-то исчез. Низенькая тощая ель, недалеко от нас, потемнев, стала похожа на монаха.

Саша Винокуров предлагает идти в сторожку лесника и там подождать до рассвета, когда проснутся перепела. Идем. Тяжело шагая по мокрой траве, он внятно говорит:

— Когда очень горячо — не разберешь: солоно ли?

А. Н. ШМИТ

По Большой Покровке, парадной улице Нижнего Новгорода, темным комом, мышиным бегом катится Анна Николаевна Шмит, репортерша «Нижегородского листка». Извозчики говорят друг другу:

— Шмитиха бежит скандалы искать.

И ласково предлагают:

— Мамаша,— подвезти за гривенничек?

Она торгуется, почему-то всегда дает семь копеек. Везут ее и за семь,— извозчики и вообще все «простые» люди считают Анну Шмит «полуумной», блаженной, называют «мамашей», хотя она, кажется, «дева», они любят услужить ей даже — иногда — в ущерб своим интересам.

С утра, целый день Анна Шмит бегает по различным городским учреждениям, собирая «хронику», надоедает расспросами «деятелям» города, а они отмахиваются от нее, как от пчелы или осы. Это порою заставляет ее употреблять приемы, которые она именует «американскими»: однажды она уговорила сторожа запереть ее в шкаф и, сидя там, записала беседу земцев-консерваторов, — подвиг бескорыстный, ибо сведения, добытые ею, не могли быть напечатаны по условиям цензуры.

Глядя на нее, трудно было поверить, что этот кроткий, благовоспитанный человек способен на такие смешные подвиги соглядатайства.

Она — маленькая, мягкая, тихая, на ее лице, сильно измятом старостью, светло и ласково улыбаются сапфировые глазки, забавно вздрагивает остренький,

птичий нос. Руки у нее темные, точно утиные лапы, в тонких пальцах всегда нервно шевелится небольшой карандаш,— шестой палец. Она — зябкая, зимою надевает три и четыре шерстяных юбки, кутается в две шали, это придает ее фигурке шарообразную форму кочана капусты.

Прибежав в редакцию, она, где-нибудь в уголке, спускает две, три юбки, показывая до колен ноги в толстых чулках крестьянской шерсти, сбрасывает шали и, пригладив волосы, садится за длинный стол, среди большой комнаты, усеянной рваной бумагой и старыми газетами, пропитанной жирным запахом типографской краски.

Долго и молча пишет четким мелким почерком и вдруг, точно ее невидимо толкнули, вздрогнув, быстрым движением вскидывает голову, оглядывается, как будто впервые и случайно нашла себя в этой комнате. Ее глаза строго синеют, мятое лицо резко изменяется, на нем выступают скулы,— видимо, она крепко сжала зубы. Так, оглядывая всех и всё потемневшим взглядом, она сидит недвижимо минуту, две. Казалось, что в эти минуты Анна Шмит преодолевает припадок острого презрения ко всему, что шумело и суетилось вокруг ее, а один из сотрудников, А. В. Яровицкий, шептал мне:

— Анюту захлестнула волна инобытия...

Многочисленные юбки Анны Шмит сильно потрепаны, ботинки в заплатах, кофточки простираны до дыр и неискусно заштопаны. Ее мать, больная старуха лет восьмидесяти, могла питаться только куриным бульоном, для нее необходимо было покупать ежедневно курицу, это стоило шестьдесят-восемьдесят копеек, то есть — тридцать-сорок строк, а печатала Шмит, в среднем, не более шестидесяти строк.

Говоря о матери, она становилась похожа на девочку-подростка, которая любит мать и считает ее высшим авторитетом во всех вопросах жизни. Было странно и трогательно слышать из уст старухи мягкое, детское слово — мама.

Мне говорили, что эта мама старчески эгоистична и раздражительна; если курица оказывалась жестка или

надоедала ей, старуха топала ногами на дочь и бросала в нее ложками, вилками, хлебом. Ко мне Анна Шмит относилась очень внимательно, но, не замечая в ней ничего интересного, я уклонялся от ее несколько назойливых вопросов,— они почти всегда касались интимных сторон жизни. Обычно же она говорила мало и почти всегда о «делах» города, газеты. В бесцветных речах ее я не мог уловить ни одного оригинального, меткого слова, которое навсегда всосалось бы в память, а я был очень лаком до таких слов,— они, точно лучики солнца, освещая темноту души ближнего, вдруг покажут какую-то неожиданную частицу ее и тем причастят тебя духу человека.

Убогость внешнего облика Анны Шмит безнадежно подчеркивалась убожеством ее суждений о политике города и государства, и это давало право всем в редакции относиться к ней так же, как относились извозчики,— считать ее «блаженной», недоумком.

Тем более сокрушительно изумлен был я, когда священник Ф., талантливый организатор публичных прений с бесчисленными сектантами нижегородского края, сказал мне, неприязненно наморщив свой нос:

— Хитрейшая старушонка эта ваша Шмит! Весьма искусный ловец человеков. Вредное существо.

Не веря искренности изумления моего, иронически ухмыляясь, он говорил в ответ на мои вопросы:

— Будто не осведомлены? Трудновато допустить сие при наличии хорошо известного мне любопытства вашего в отношении к людям...

Он страдал какой-то неизлечимой болезнью, его аскетически костлявое, христоподобное лицо было обтянуто темной кожей, глаза лихорадочно сверкали, он часто облизывал губы бурым языком и нервозно ломал длинные пальцы, так что они трещали. В спорах с «еретиками» он был ехиден, ловко пользовался искусством эристики и умел раздражать противников так, что они оплошностями своими всегда облегчали ему словесные победы. Мне очень нравилось наблюдать его фокусы, но казалось, что этот человек с лицом великомученика не любит ни бога, ни веры, ни людей, жизнь опротивела ему, он ходит на прения, как

ходил бы в трактир играть на биллиарде,— он напоминал мне актера, который читает роль правоверного еврея в пьесе «Уриэль Акоста». Похрустывая пальцами, он выспрашивал меня:

— И того якобы не знаете, что эта Шмит находится в переписке с философом Владимиром Соловьевым, коего справедливо обвиняют в уклоне к ереси католической?

Я сказал:

— Это так же неожиданно для меня, как если бы вы, отец Александр, оказались вдруг не священником, а пожарным.

К вящему изумлению моему священник расхохотался и, сквозь смех, стал уличать меня:

— Вот вы и проговорились! Ох, плохой дипломат вы! Значит — с учеником ее, пожарным Симаковым,— знакомы?

После настоятельных и даже сердитых заявлений моих, что я не знаю пожарного, священник, не скрывая недоверия своего, лениво рассказал мне, что Анна Шмит организовала религиозный кружок, способный развиться в секту, в кружке этом — извозчики, мастеровые, какой-то тюремный надзиратель и пожарный.

— Народ наш любит словесность и привержен к сказкам. Пожарный этот беспоповцем был, а ныне Шмитихин пламенный адепт. Но, по природе своей дурак, он есть самый болтливый из прозелитов новой секты, и, ежели вы желаете ознакомиться, как ерундословие старухи этой укладывается в мозгах простецов, вы с ним познакомьтесь. Он бывает на прениях у меня, рычит нелепо...

Лука Симаков, рядовой гренадерского полка — большой, грузный человек с черными, щеткой, усами и синим, гладко обритым черепом. Щеки у него тоже синие, а толстая нижняя губа цвета сырой говядины. Левый, темный глаз меньше правого и тревожно забегает к виску, особенно далеко в те минуты, когда Лука волнуется и жесткой ладонью, размером с небольшую лопату, крепко трет череп свой, трет так, что слышен

треск волос. А правый глаз его, большой, выпуклый, почти неподвижен, тускл и, окруженный очень длинными ресницами, напоминает какое-то насекомое.

В темненьком трактире, навалясь грудью на стол, он глухим голосом поучал меня:

— По-твоему — как надо Христа понимать?

Луку не надо было выспрашивать, слова лились из его рта, как ручей из трещины в камне. Он говорил с тем буйным напором верующего, который исключает возможность возражений:

— Христос — это лёгость!

«Лёгостью» зовется тонкая веревка, с грузом на конце, ее матросы пароходов бросают на пристань, подчаливаясь к ней.

— Не то-о! — с досадой сказал Лука.— Лёгость — легкость, понял? Христос — легкость, с ним жить легко. Насчет чалки — это подходящее,— причаливай через Христа к истинной вере. Только — ты пойми! — Христос не естество и не существо, он просто одно слово...

— Логос?

Симаков удивленно вскричал:

— Во-от!

И еще подвинулся ко мне, спрашивая:

— Откуда знаешь? Кто научил? Мамаша? Какова старушка-то? — уже шёпотом продолжал он.— Ведь — так себе, вроде нищей. Мы — наряжаемся, хвастаем, а она, святость, неприметна. И в мухе сокрыта премудрость...

— А слово это ты никому не говори,— предупредил он меня.— Особенно, чтобы попы не услыхали,— попам оно яд. Ежели они услышат это слово — тебе будет плохо!

Потом он сообщил мне как великую тайну, что Христос — жив, живет в Москве, на Арбате.

— Это всё выдумано попами, будто он на кресте помер, а после воскрес, вознесся,— нет, он на земле, около людей. Слово — не убьешь! Ну-ко, убей-ко — да? Вот я тебе говорю слово — да, а ты его убей! Понял?

Часа два слушал я темные речи пожарного; уходя, он покровительственно обещал:

— Ты погоди, я тебя сведу с самой мамашей! Она тебя обучит.

О моем знакомстве с пожарным Шмит узнала раньше, чем я успел сказать ей. Беспокойно постукивая карандашиком по ногтям, она спрашивала:

— Что говорил вам этот простец божий?

Узнав, что Лука рассказал мне о Христе, живущем в Москве, на Арбате, она еще более тревожно стала шаркать карандашом по ногтям, говоря:

— Он — не совсем разумен, он несколько раз сильно угорал на пожарах, это очень отразилось на нем.

Глаза ее потемнели, и что-то суровое светилось в них, она плотно сжала губы, и маленькое личико ее огорченно сморщилось.

— Если вы серьезно интересуетесь этими вопросами,— можно поговорить, я свободна в Троицын день...

И тотчас же спросила, усмехаясь:

— Но — ведь вы из любопытства, от скуки, да?

Я сказал, что мне жить — не скучно и что желание знать, как думают люди, я бы не назвал простым любопытством.

— Конечно — нет, конечно! — тихонько воскликнула Шмит, и вдруг вполголоса, складно, языком привычного оратора, быстро крутя карандаш темными пальцами мумии, она заговорила о том, как люди далеки друг другу, как мало у них желания и умения проникнуть в сокровенное души ближнего.

— В мутном потоке жизни мы плаваем немы, как рыбы. «Мир мирови твоему даруй», молимся мы, но ведь мир — гармония душ, их всеобщая связь, а — как связаться с немой, непостижимой?

Ее позвали в контору, и, уходя, она ласково попросила:

— А над Лукою вы не смейтесь, это безумец Христов, такими строится истинная вера.

В Троицын день, вечером, она пришла ко мне, одетая празднично: в коричневой юбке, с заплатой на подоле,— кусок юбки был, очевидно, вырван гвоздем или зубами собаки; синюю сарпинковую кофточку украшал на груди голубой бант, а на ногах блестели новые калоши, хотя погода стояла сухая и жаркая. Оказалось, что Шмит отдала ботинки чинить, но сапожник не успел сделать это, и вот она гуляет в калошах.

Мы пили чай с вишневым вареньем и сушками,— я знал, что это любимые лакомства Анны Николаевны. А к полуночи я узнал, что старенькая забавная репортерша провинциальной газеты Анна Шмит — воплощение одной из жен-мироносиц, кажется — Марии Магдалины, которая, в свою очередь, была воплощением Софии, Вечной Премудрости. На расстоянии от Марии Магдалины до Анны Шмит Вечная Премудрость воплощалась, разумеется, не однажды, одним из ее воплощений была Екатерина Сиенская, другим — Елизавета Тюрингенская, был и еще ряд воплощений, уже не помню имен их.

В начале речи Анны Шмит мне было несколько неловко слушать ее,— всё, что говорила она, никак не объединялось с ежедневной курицей, резиновыми калошами и всем прочим во внешнем облике воплощения Вечной Премудрости. Я сидел, опустив голову, стараясь не видеть, как это воплощение, разламывая сушки, поддевая их рогульками липкие ягоды варенья, обсасывает их тонкими губами; смешно было слушать, как сушки хрустят на зубах.

Но — предо мною сидел незнакомый мне человек, он говорил очень складно, красиво уснащал речь свою цитатами из творений отцов церкви, говорил о гностиках, о Василиде и Энойе; голос его звучал учительно и властно, синие зрачки глаз расширились и сияли так же ново для меня, как новы были многие мысли и слова. Постепенно всё будничное и смешное в этом человеке исчезло, стало невидимо, и я хорошо помню радостное и гордое удивление, с которым наблюдал, как из-под внешней серенькой оболочки возникают, выбиваются огни мышления о зле жизни, о противоречии плоти и духа, как уверенно и твердо звучат древние слова

искателей совершенной мудрости, непоколебимой истины. Об Анне Шмит напоминал только карандашик, неустанно и всё быстрей вертевшийся в ее сухоньких, темных пальцах мумии. Она как будто немного охмелела, рисуя карандашом в воздухе капризный узор путей мысли, она подскакивала на стуле и, улыбаясь, с радостью говорила:

— Вы представьте себе безысходный ужас Дьявола...

На подбородке Анны Шмит блестела рубиновая капелька варенья.

Подняв правую руку над головою, она сказала:

— И Христос — жив есть!

Я узнал, что Христос — это Владимир Соловьев, он же — Логос; Христос непрерывно воплощается в того или иного человека и вечно — среди людей. Но воплощения Софии не подвергаются воздействию разрушительных влияний суетного мира сего с той легкостью, как воплощения Логоса, особенно враждебные Дьяволу.

— Чистая духовность Логоса не претерпевает искажения, но человек, воплощающий в себе Логос, нередко затемняет ее черной мудростью Сатаны.

Она вынула из кармана юбки кожаный пакетик, а из него осторожно достала несколько писем:

— Это письма Соловьева,— вот, послушайте, как трудно ему...

Многозначительно подчеркивая отдельные слова, она прочитала несколько отрывков; я ничего не понял в них, но в одном Соловьев цитировал слова Фридриха Великого, сказанные им на поле какой-то битвы солдатам своим, которые побежали от врага:

«Подлецы! Разве вы хотите жить вечно?»

Слова эти напомнили мне четверостишие Соловьева:

В лесу — болото,
В болоте — мох;
Родился кто-то,
Потом — издох.

Вспомнил я и эпитафию его:

Под камнем сим лежит
Владимир Соловьев.
Сначала был пиит.
А после — философ.
Прохожий! Научись из этого примера,
Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера.

Я спросил Шмит: что думает она об этих шутках?

Она откинулась на спинку стула, ее острый носик покраснел, а зрачки стали совершенно синими, и в голосе ее мне послышался гнев:

— Кто сказал вам, что это его, что это им написано? Нет, нет, это клевета! Это шутки его товарищей...

Но вскоре серенькая старушка, похожая на самку воробья, говорила о человеке шумной славы, о философе, искуснейшем диалектике и талантливом поэте, тоном матери, встревоженной поведением сына.

— Вы знаете,— даже самого Христа Дьявол соблазнял славою земной.

Эти слова она сказала, как бы утешая кого-то, и так вопросительно, почти умоляюще посмотрела на меня, что я счел нужным откликнуться ей:

— О да...

— Он слишком тяготеет к людям, потому что добр. Но человек только тогда силен против соблазнов, когда умеет во всех окружениях оставаться самим собою. Христос тяготел к людям после того, как укрепил дух свой в пустыне, а Соловьев идет к ним преждевременно...

Она именовала Соловьева хрустальным сосудом Логоса, святым Граалем, величайшим сыном века и — ребенком, который, плутая в темной чаще греха, порою забывает невесту, сестру и матерь свою — Софию, Предвечную Мудрость.

— Понимаете? Невесту и мать...

Иногда мне казалось, что в словах Анны Шмит слышу я обиду влюбленной женщины, даже сентиментальность старой девы, но это мелькало в ее речах бледненькими искрами, тотчас же заменяясь покровительным отношением к Соловьеву, как человеку, которым надо руководить на путях жизни.

Понизив голос, она рассказывала как тайну:

— Его соблазняют люди, но еще более настойчиво — черти. Он знает это. В одном письме он пишет, что черти заглядывают в окна к нему, а один даже спрятался в сапог и всю ночь сидел там, дразнился, шумел...

О чертях она говорила так же просто, как говорят о реальном: тараканах, комарах.

— И еще — слава; слава делает человека актером,— памятно сказала она.— Если на человека пристально смотрят, он начинает прятаться в различных выдумках, он хочет быть таким, как приятнее людям. Вы знаете это?

Я, к сожалению, это знал. И всё с бóльшим трудом верил ушам и глазам своим, наблюдая, какие верные мысли горят в душе этого незаметного человечка. Она снова заговорила о пустыне, о великом значении самосозерцания и одиночества и говорила на эту тему так много, что, помню, у меня скользнула мысль: не слишком ли одинок этот человек, и не потому ли он так откровенен со мною? Как маленькая птица, отбившись от стаи, она летит над морем к далекому, в ночи, огню, к маяку, на невидимый и неведомый берег. Этот маяк — Владимир Соловьев, и это всё, чем освещена и осмыслена ее тихая, одинокая жизнь среди здравомыслящих людей.

— Разве Христос не испытал человеческого страха пред судьбою? — вдруг спросила она и тотчас, закрыв глаза, стала читать нараспев, как псалом, чьи-то стихи:

Душа во плоть с небес сошла,
Но ей земная жизнь мила,
Душа срастается с землею
И, как усталая пчела,
Пьет сладкий яд земного зла.

Стихи были длинные, Анна Шмит читала их тихо, для себя, и только две последние строки выговорила громко, с торжественной угрозой, открыв влажные глаза и высоко взмахнув карандашом:

И вечности колокола
Души умершей не разбудят.

Поздно за полночь я пошел провожать ее. По улицам шмыгал ветер, вздымая пыль, шелестя березками; березки были привязаны к тумбам, а некоторые уже валялись на земле. Бродили пьяные, где-то неистово закричала женщина, из подворотни выскочил черный котенок, Шмит брезгливо оттолкнула его ногою:

— Точно чёртик.

К нам привязался пьяный почтальон, бестолково рассказывая о какой-то обиде, нанесенной ему, он стучал кулаком в грудь свою и спрашивал, всхлипывая:

— Разве я ему — враг?

— Идемте скорее,— сказала Шмит и, быстро шагая, тоже пожаловалась:

— Разве это — праздник? Разве так надо праздновать?

После этого, встречая в редакции Анну Шмит, я стал ощущать непобедимую неловкость; я не мог относиться к ней, как относился раньше, не мог говорить о пустяках лениво текущих буден. Она же, видимо, иначе истолковав мою сдержанность, стала говорить со мною сухо и неохотно. Ее сапфировые глаза смотрели мимо меня на карту России, засиженную мухами так, как будто на всю русскую землю выпал черный град.

Мне очень хотелось познакомиться с учениками Шмит, но она сказала:

— Едва ли это интересно для вас, простые люди, очень простые...

А Лука Симаков, потирая череп, тревожно двигая косым глазом, сообщил мне:

— Не понравился ты мамаше, не велела она мне говорить с тобой.

Но минуты через две, прижимая меня тяжким телом своим в угол казарменной клетки, где он жил, пожарный шептал:

— Христос прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они ему враги, конечно! А Христос скрылся под Москвой, на станции Петушки. Скоро всё будет известно царю, и вдвоем они неправду разворотят в трое суток! Каюк попам! Истребление!

В нелепых словах Луки чуялось слепое озлобление сектанта и — страх пред чем-то, чего он не мог выразить; неизбывный темный страх этот сверкал в его левом глазу, всё время забегавшем к виску. Из двух, трех бесед с ним я вынес впечатление почти жуткое: Христос чудился пожарному мстительным и мрачным существом, оно враждебно присматривается к жизни людей откуда-то из темного угла и ждет минуты, чтоб выпрыгнуть оттуда.

— Церквы разрушить хочет,— шептал мне пожарный.— Он с того начал,— помнишь, в Ерусалиме? Во-от...

Все-таки он познакомил меня с одной ученицей Анны Шмит, портнихой-одиночкой Палашей, девицей лет тридцати. Коротконогая, сутулая, без шеи, с плоским лицом и остренькими стеклянными глазками, она была фальшиво мягка на словах и, видимо, очень недоверчива к людям. Жила она в глухом переулке над оврагом, в ее двух комнатах неустанно гудели черные большие мухи, звонко стукаясь в тусклые стекла окон. На подоконнике недвижимо сидел жирный кот, очень редкий — трех шерстей: рыжей, белой и черной; меня очень удивило отношение кота к мухам: они садились на голову его, ползали по спине,— кот неподвижно смотрел в окно и ни разу не встряхнул шерстью, чтоб согнать мух.

Нараспев, словами, неестественно и как бы нарочно искаженными, Палаша говорила, ловко пришивая пуговицы к пестрой батистовой кофточке:

— Жисть нашая, миленький мой господин, совсем безбожная и настолько грешная, что даже — ужасть! А Христос невидимо коло ходит,. печалуется, сокрушается: ох вы, людие бессчастное! И на что разделил я душеньку свою промеж вас? На поругание, на глумление...

Потом она читала стихи из апокрифа «Сон богородицы», а кончив неприятно унылое чтение, объявила мне:

— Истинное имечко богоматери — не Мария, а Енохия, родом же она от пророка Еноха, который был не еврей, а грек.

Когда я спросил ее, знает ли она Анну Николаевну Шмит, Палаша, наклонив голову, перекусывая нитку, ответила вопросом:

— Шмит? Не русская, значит.

— Но ведь вы знаете ее!

— А — кому это известно? — спросила Палаша, почесывая мизинцем свой широкий нос и озабоченно разглядывая кофточку.— Ежели это вам Симаков сказал,— вы ему веры ни в чем не давайте, он человек испорченный, вроде безумного.

А Симаков говорил мне о Палаше:

— Это, брат, девица мудрая, она вроде крыла мамаше служит, она да еще один человек высоко возносят ее над людьми...

Я не сумел понять, как и что восприняла портниха от Анны Шмит; чем настойчивее расспрашивал я об этом, тем более многословно и фальшиво Палаша говорила о Симакове, о кознях Дьявола.

— Бросает нас злой дух, как мальчишка камни с горы, катимся мы, вертимся, бьем друг друга, и не видать нам спасенья...

Приглаживая ладонями рыжеватые волосы, и без того гладко, туго наклеенные на череп, Палаша смотрела стеклянными глазками на меня, и взгляд ее говорил:

«Ничего ты у меня не выпытаешь!»

Заходил я к ней еще раза два, она принимала меня ласково, охотно и даже сладострастно рассказывала мне жития великомучениц, я слушал и смотрел на кота.

— И секли ее злодеи римляне по белому телу, по атласным грудям каленым прутьем железным, и лилась, кипела ее кровушка,— выпевала Палаша.

Мухи гудели. Кот равнодушен, неподвижен, в комнате пахнет кислой помадой...

Вскоре, заболев, я уехал в Крым и с той поры не встречал больше Анну Шмит, нижегородское воплощение Софии Премудрости.

ЧУЖИЕ ЛЮДИ

В журнале «Врач» напечатана корреспонденция из Владивостока:

Здесь среди босяков умер врач А. П. Рюминский. Когда несчастный заболел, его отвезли было в городскую больницу, но там его не приняли за неуплату денег за прежнее время, и А. П. пришлось умирать в участке. Босяки устроили покойному теплые проводы, причем один из них сказал следующую прощальную речь: «Ты жил между нами, покинутый и забытый своими... То горе жизни и те пороки, которые мы носили и делили вместе, были нашим общим несчастием. И вот мы здесь... собрались проводить тебя в желанную для всех нас могилу...»

Я дважды встречал этого человека: в 91-м году около Майкопа, на Лабе, а потом, лет через десять, в Ялте. На шоссе, над Лабою, компания ростовских босяков «била щебенку». Я набрел на них вечером, когда они, кончив работу, готовились пить чай. Толстый бродяга с длинной седою бородой озабоченно прилаживал чайник над маленьким костром; в стороне, под кустами, лежало трое его товарищей и сидел на куче булыжника кто-то в чесунчовом костюме, в широкой соломенной шляпе и белых туфлях. Он держал в пальцах папиросу, отсекал взмахами тоненькой трости серый дымок табака и, не глядя на людей, спрашивал их:

— Так — как же, а?

На синеватой воде быстрой Лабы колыхались кумачовые отблески зари; рыжая бритая степь дышала жаром, за рекою сверкали, точно груды парчи, огромные ометы соломы, в туманной дали поднимались к небу лиловые горы, и где-то далеко торопливо тарахтела молотилка.

Человек с опухшим лицом больного водянкой грубовато сказал:

— Вы, барин, бросьте очки втирать мне, я сам фельдшер...

— Вот как?

— Да. Так-то вот...

— Вот как? — повторил барин, помахивая тростью, отсекая дым. И, взглянув на меня странными глазами, спросил:

— А вы кто, молодой человек?..

— Молодой человек,— ответил я; босяки одобрительно взглянули на меня.

Выпуклые глаза «барина» очень ярки и, улыбаясь насмешливой улыбкой, точно присасывались к лицу моему. Этот сухой, хватающий взгляд вызвал у меня неприятное ощущение щекотки и навсегда остался в памяти моей. Тонкое, холеное, чисто выбритое лицо человека было надменно. Когда один из босяков, лениво переваливаясь с бока на бок, коснулся его ног, человек быстро отдернул маленькие ноги свои и предостерегающе поднял трость белой изящной рукою. На пальце его золотой перстень с крупным опалом, «камнем несчастия», в радужной игре опала было что-то общее с блеском глаз надменного человека. Ленивеньким, но раздражающим, задорным баритоном он всё выспрашивал людей: кто они? Отвечали ему неохотно, грубо, но это не смущало его, он переводил крепко обнимающий взгляд с одного лица на другое и назойливо говорил:

— А что же будет, если все начнут жить так же безответственно, как вы?

— Мне какое дело? — сердито пробормотал фельдшер, а бородатый, у костра, спросил хрипящим голосом:

— Вы — кому отвечаете?

И победоносно добавил:

— То-то!

С чудесной быстротою, незаметно, степь покрылась южной ночью, на потемневшем небе вспыхнул густой посев звезд, на реке заколыхался черный бархат, засверкали золотые искры. В торжественной траурной тишине стал почему-то сильнее слышен горький запах дыма.

Люди, достав из котомок хлеб и вкусное сало, начали есть, а барин, щелкая тростью по своим туфлям, всё спрашивал:

— Но что же будет, если порвать все связи с жизнью?

Седой угрюмо ответил:

— Ничего и не будет.

Где-то за рекою уныло скрипела арба, посвистыва-

ли суслики. Костер угасал, красненькие искры прыгали в воздух, бесшумно откатывались в сторону круглые угли сгоревших веток.

— Аркадий Петрович! — донесся издали звонкий женский голос. Человек с перстнем ловко встал на ноги, сбил пыль с брюк ударами трости и, сказав: «До свидания!» — пошел берегом реки в темноту. Его проводили молча.

— Кто это? — спросил я.

— А чёрт его знает...

— Тут, у казаков живет, на даче, что ли...

— Назвался — доктором.

Отвечали намеренно громко, явно желая, чтоб человек слышал, как говорят о нем. Тоненький рыжий босяк с язвами на лице вытянулся на земле вверх лицом и сказал:

— До звезды — не доплюнешь.

А фельдшер сердито проворчал:

— В Турцию надо пробираться, братья. Хороший народ турки. Надоело мне здесь...

...Однажды, не встретив Д. Н. Мамина-Сибиряка в городском саду Ялты, обычном месте наших свиданий, я пошел к нему в пансион и, войдя в комнату Мамина, сразу наткнулся на выпуклые глаза. Яркий блеск их тотчас напомнил мне вечер на Лабе, босяков и доктора в чесунче.

— Вот, знакомьтесь,— сказал Дмитрий Наркисович, махнув на гостя короткой, толстой рукою,— интересная миазма!

Гость приподнял голову и снова опустил ее, упершись подбородком в край стола; так — голова его казалась отрезанной. Сидел он согнувшись, далеко отодвинув стул, руки его были скрыты под столом. С обеих сторон лысого черепа рогато и задорно торчали вихры сивых волос, открывая маленькие уши. Мочки ушей оформлены резко, как будто вспухли. На бритом лице воинственно топорщились серые усы. На нем синяя рубаха, оторванный ворот ее не застегнут, обнажает кусок грязной шеи и мускулистое правое плечо. Сидит

он так, как будто приготовился перепрыгнуть через стол, а под столом торчат его босые ноги в татарских туфлях. Зорко присматриваясь ко мне, он говорит знакомым ленивеньким баритоном:

— Есть такой грибок, по-латыни его зовут: мерулиус лакриманс,— плачущий; он обладает изумительной способностью втягивать влагу воздуха. Дерево, зараженное им, гниет с чудовищной быстротой. Достаточно, чтоб одна балка построенного вами дома была поражена этим грибком, и — весь дом начинает гнить.

Подняв голову, доктор стал медленно высасывать пиво из стакана, двигая острым кадыком; кадык и щеки его были покрыты темной густой шерстью.

Мамин, уже сильно выпивший, внимательно слушал, выкатив свои огромные круглые глаза. Под его армянским носом дымилась любимая коротенькая трубка, он покачивал головою и сопел, втиснув круглое, тучное тело свое в плетеное кресло.

— Всё врет, миазма,— сказал он, когда гость начал пить, а гость, опустошив стакан, снова наполнил его и, облизывая намокшие в пене усы, продолжал:

— Так вот: русская литература — нечто очень похожее на этот грибок; она впитывает всю сырость жизни, грязь, мерзость и неизбежно заражает гниением здоровое тело, когда оно соприкоснется с нею.

— А? — спросил Мамин, толкнув меня локтем.— Каково?

— Литература — такое же болезнетворное, гнилостное начало, как этот плачущий грибок,— невозмутимо и настойчиво повторил гость.

Мамин начал тяжело ругать злого критика и, схватив пустую бутылку, застучал ею по столу. Боясь, как бы он не стукнул по лысому черепу гостя, я предложил ему пойти гулять, но гость встал и бесцеремонно — кажется, искусственно — зевнул.

— Это я пойду гулять,— сказал он, усмехаясь, и ушел, шагая легко, быстро, как привычный пешеход.

Дмитрий Наркисович рассказал мне, что человек этот привязался к нему в порту, заинтересовал его своим злоречием и второй день раздражает, всячески порицая литературу.

— Присосался, как пиявка. Отогнать — духа не хватает, все-таки он интеллигентный подлец. Доктор Аркадий Рюминский, фамилия от рюмки, наверное. Умная бестия, злая! Пьет, как верблюд, а не пьянеет. Вчера я с ним целый вечер пил, он рассказал мне, что пришел сюда повидаться с женой, а жена у него будто бы известная актриса...

Мамин назвал имя, громкое в те годы.

— Действительно, она здесь, но, наверное, эта миазма врет!

И, свирепо вращая глазами, он стал издеваться надо мною:

— Это — ваш товар, ваш герой, очень хорош! Лгунище. Все неудачники — лгуны. Пессимизм — ложь потому, что пессимизм — философия неудачников...

...Дня через два, поздно ночью, гуляя на холме Дарсан, я снова встретил доктора: он сидел на земле, широко раскинув ноги, пред ним стояла бутылка вина и на листе бумаги лежала закуска — хлеб, колбаса, огурцы.

Я снял шляпу. Вздернув голову, он присмотрелся ко мне и приветствовал жестом, воскликнув бойко:

— Ага, узнал! Хотите составить компанию? Садитесь.

И, когда я сел, он, подавая бутылку, измерил меня цепким взглядом.

— Из горлышка, стакана нет. Странная штука; как будто я уже встречал вас в детстве моем?

— В детстве — нет.

— Ну да, я лет на двадцать старше вас. Но — детством я называю время лет до тридцати; всё то время, которое я прожил в условиях так называемой культурной жизни.

Барский баритон его звучал весело, слова соскакивали с языка легко. Крепкая холщовая рубаха солдата, турецкие шаровары и сапоги на ногах показывали, что человек этот хорошо заработал.

Я напомнил ему, где видел его впервые; он внимательно выслушал меня, ковыряя в зубах былинкой, потом знакомо воскликнул:

— Вот как? Чем же вы занимаетесь? Литератор? Ба! Вот как! Ваше имя? Не знаю, не слыхал. Впрочем, я вообще ничего не знаю о современной литературе и не хочу знать. Мое мнение о ней вы слышали у этого, у Сибиряка — он, кстати, удивительно похож на краба! Литература,— особенно русская,— гниль, ядовитое дело для людей вообще, маниакальное для вас, писателей, списателей, сочинителей.

В этом тоне, но очень добродушно и с явным удовольствием, он говорил долго, я же слушал его терпеливо, не перебивая.

— Не возражаете? — спросил он.

— Нет.

— Согласны?

— Нет, разумеется.

— Ага! Возражать мне — ниже вашего достоинства, так?

— Тоже нет. Но — ниже достоинства литературы.

— Вот как? Это — хорошо...

Запрокинув голову, закрыв глаза, он присосался к горлышку бутылки, выпил и, крякнув, повторил:

— Это — хорошо. Слышу голос человека церкви. Вот так, когда для кузнеца церковь — кузница, для матроса — его судно, для химика — лаборатория, только так и можно жить, никому не мешая своей злобой, капризами, привычками. Жить хорошо — значит жить полуслепым, ничего не видя и не желая, кроме того, что нравится. Это — почти счастье, уютный уголок, куда человек воткнулся носом, эдакий маленький полутемный чуланчик. Шатобриан — читали «Записки из могилы»? — говорит: «Счастье — пустынный остров, населенный созданиями моего воображения».

Он говорил, как человек, только что освобожденный из камеры одиночного заключения, точно желая убедиться: не забыты ли им слова?

В городе, где-то близко, звучал рояль, по набережной щелкали подковы лошадей, черная пустота висела над городом, вдали ползал золотой жук — огонь судна, напоминая о широте моря. Человек смотрел вдаль, и глаза его напомнили мне опал перстня, хвастливо блестевший вечером, на берегу Лабы.

— Счастье — это когда человек хорошо выдумал себя и любит выдумку о себе,— негромко говорил он, и вспыхивала папироса, освещая тонкий прямой нос, щетку усов и темный подбородок.

— Любить себя доступно и свинье, собаке, каждому животному, это — инстинкт. Человек должен любить только то, что он сам создал для себя.

Я спросил:

— А что любите вы?

— Мое завтра,— быстро ответил он,— только мое завтра! Я имею счастье не знать, каково оно будет. Вы — знаете это: проснувшись, вы будете писать или делать что-то другое, обязательное для вас, потом увидите толстого рака Мамина или еще каких-то знакомых; вы, наверное, носите ваш костюм уже не первый месяц. А я не знаю, что стану завтра есть, что буду делать, с какими людьми позволю себе говорить. Вы, конечно, думаете, что пред вами алкоголик, беспутный, отверженный человек? Вы ошибаетесь, если так. Я терпеть не могу водку, пью только вино, редко — пиво, и я не отверженный, а — отвергнувший.

Воодушевление этой речи не позволяло сомневаться в искренности человека. Я попросил: не расскажет ли он, что побудило его отвергнуть обычные условия жизни интеллигентного человека? Хлопнув меня ладонью по колену, он шутливо воскликнул:

— Хотите запастись материальцем?

Затем охотно и немножко хвастливо, любуясь своей речью, как адвокат, он начал рассказ о себе,— рассказ, в котором, вероятно, было не меньше правды, чем во всякой другой автобиографии.

— Сознательную жизнь мою я начал ошибкой: увлечением естественными науками, биологией, физиологией — науками о человеке. Естественно, что это увлечение толкнуло меня на медицинский факультет. С первого же курса, препарируя трупы, я задумался о ничтожестве человека, почувствовал чью-то злую иронию надо мною, и у меня стала развиваться брезгливость к людям и отвращение к себе, человеку, который обязан быть трупом. Мне следовало бросить это грязное дело, но — я упрям и захотел победить себя. Вы

пытались побеждать себя? Это так же невозможно, как, отрезав свою голову, заменить ее головою ближнего, это невозможно не только потому, что ближний едва ли согласится на такой обмен.

Ему понравилась шутка, он сочно засмеялся, потом, закрыв глаза, глубоко вдохнул соленый свежий ветер.

— Хорошо пахнет море... Итак, я задумался: что такое и где — душа, разум и так далее? Скоро мне стало ясно, что разум, навеки полуслепая собака Сатаны, зависит от функций организма, а мир особенно отвратителен, когда у меня ноют зубы, болит голова или печень. Мышление — функционально, только воображение независимо. Это недурно понимал один английский епископ, но — не думайте, что я идеалист или какой-либо другой «ист». Неистово враждую со всякой философией, хотя — хотя, конечно, понимаю, что философия — неизлечимая болезнь мозга. Кратко говоря, я — человек, который отказался принимать пустяки серьезно, обманывая себя и других. То, что именуется культурой, вся внешняя и внутренняя мишура, увлекающая людей всё глубже и далее в хаотическую бесполезность,— впрочем, вы, наверное, поклонник культуры? Я не хотел бы огорчить вас...

— Огорчайте,— и разрешил ему и попросил я.— Мне так хочется понять: что за человек вы?

— Вот как? Ну что ж...

Сотней ловко сказанных слов этот человек разрушил культуру в пыль и прах. Он сделал это с веселой яростью, подобной ярости гимназиста, который, кончив учиться, уничтожает учебник. Свежесть ночи, сжимая, умаляла доктора; засунув руки в рукава рубахи, он скорчился и, тоненький, гибкий, стал похож на подростка. Внизу, далеко, во тьме, повис растрепанный пучок огней, он плыл на север, откуда тьма дышала сыростью. В окнах домов города, вздрагивая, исчезали желтые пятна, и казалось, что дома, один за другим, быстро низвергаются в черноту моря.

— Я был красив, ловок, умел говорить забавно, и меня очень любили женщины. На одной из них, актрисе, я женился, когда мне было тридцать лет; женился

из упрямства, она любила меня меньше других. В то время я уже чувствовал, что всё это: театрики, концертики, разговорчики о литературе, ахи и охи по вопросам политики — не для меня. После того, как увидишь человек двадцать, тридцать, а то и сотню людей, которых неизвестно зачем грызут и убивают мучительнейшие болезни,— Чайковский, Островский, Достоевский и прочие подобные напоминали мне равнодушнейшую и противную старуху Букину, сиделку больницы; она имела гнусную привычку утешать больных и умирающих, сладко рассказывая им про ужасы ада. Я чувствовал себя в культуре чем-то вроде приказчика в магазине модных вещей: лично мне эти вещи не нужны, а приходилось возиться с ними, даже пользоваться ими и хвалить: из вежливости. Жизнь суть драка; вежливость же — тот фиговый лист, которым можно прикрыть скотское и звериное в человеке. У меня хорошая талия, я не любил подтяжек, брюки и без них сидели хорошо, а жена требовала, чтоб я носил подтяжки,— все носят! И — представьте! — на этой почве — подтяжки, галстухи, книги — мы с женою драматически ссорились. Я думаю, что она часто устраивала мне сцены из профессиональных побуждений, для практики. Она часто говорила мне: «О, Аркадий, нигилизм не в моде!» Она — не глупая женщина, и даже говорили, писали — талантлива.

Доктор засмеялся,— не очень весело, как показалось мне. Потом, извиваясь на земле, сказал:

— Кажется, будет дождь, чёрт его возьми!

Вынул из кармана брюк войлочную крымскую шляпу и туго натянул ее на свой лысый череп.

— Рассказывать — долго. И — скучно. Мораль — проста: если я осужден на смерть, я имею право жить, как хочу. Человеческие законы совершенно не нужны мне, если стихийный закон всеобщего уничтожения обязателен и для меня. Вы меня встретили там, на Кубани, как раз в те дни, когда я догадывался об этом. Но, разумеется, идея пришла постфактум [1], как говорили римляне, лучшие люди мира, ибо всякий сенти-

[1] после сделанного *(лат.)*.

ментализм, гуманизм и прочее такое было органически, решительно враждебно им. Идеи всегда являются после фактов, их вызывает наша дурная привычка оправдываться, объясняться. Зачем оправдываться? Не знаю. Да. В сущности, я отошел, потому что захотел, а объяснение явилось потом. Уродливо много в жизни нашей обязанностей, ответственностей и прочих комедий. Не хочу комедии, сказал я сам себе и — раскланялся с культурой. С того дня прошло — лет десять. Я прожил их очень интересно, вполне независимо и надеюсь так же прожить еще лет десяток. Ну-с, спасибо за компанию и — до свидания в лучшем мире!

— Это — в каком?

— О, разумеется — здесь, на земле, но в том, где я живу. Надеюсь, что вы сопьетесь и это возвратит вас на правильный путь — прочь от пустяков, прочь!

Он быстро пошел вниз, в сторону Мордвиновского парка, и вслед ему стеклянными бусами посыпался дождь, зашуршала трава... Дня два искал я его в кофейнях базара, в ночлежках, в порту, но не нашел. Хотелось еще раз послушать его речи.

Мамин-Сибиряк написал рассказ о встрече босяка-доктора с его женою, знаменитой артисткой. Не помню, как озаглавлен этот рассказ. Босяк изображен в нем несчастненьким пьяницей и не похож на человека, каким доктор Рюминский захотел показаться мне.

Людей такого типа,— людей, по их словам, сознательно ушедших от «нормальной» жизни,— должно быть, немало на Руси. Вот еще заметка «Нового времени» о человеке, видимо, подобном доктору Рюминскому.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ БРОДЯГА

Во время одной из облав, устроенных чинами полиции, задержан,— по словам «Варшавского курьера»,— оригинальный бродяга, некто Г., человек уже пожилой, лет 50. Все документы его оказались в порядке, и он не мог только указать своего места жительства. По наведенным справкам, Г. оказался состоятельным человеком, любящим сильные ощущения. Интересуясь жизнью бродяг и бездомных, он, после смерти жены, поместил

дочь в один из пансионов, а сам начал бродячую жизнь профессиональных бродяг, ночуя в печах кирпичных заводов и т. п. Только зимой, во время сильных морозов, Г. возвращается в Варшаву и переживает морозы в одной из гостиниц. Захваченный вместе с толпой бродяг, Г. обещал переменить образ жизни, «хотя,— добавил он,— ручаться за это не могу».

В 90-х годах я собирал заметки на эту тему и собрал их десятка три, но в 905 году пакет, в котором они хранились, отобранный у меня при обыске, был потерян в Петроградском жандармском управлении. Лично я встретил таких людей тоже немало. Особенно памятен для меня Башка, человек, которого я видел на постройке железной дороги Беслан — Петровск.

В тесной горной щели, среди суетливой толпы рабочих, он сразу привлек мое внимание: он сидел на солнечной стороне ущелья, в груде взорванных динамитом камней, а у ног его сверлили, дробили и возили камень пестрые, шумные люди. Полагая, что этот человек «начальство», я пробрался к нему и спросил: нет ли работы? Тоненьким, сверлящим ухо голосом он ответил:

— Я не идиот, я не работаю.

Уже не впервые слышал я слова такого тона, они не удивили меня.

— Что же вы делаете здесь?

— Видишь — сижу, курю,— сказал он, оскалив зубы.

В широкой разлетайке, в котелке с оторванными полями, он напоминал летучую мышь. Его маленькие острые уши торчали настороженно. У него большой лягушачий рот; когда он улыбнулся, нижняя губа дрябло опустилась, открыв плотную линию мелких зубов. Это сделало улыбку холодной и злой. Глаза его — необыкновенны: в узком золотистом кольце белков мерцают темные круглые зрачки ночной птицы. Лицо — голое, точно у пастора, ноздри длинного тонкого носа уродливо сплющены. В длинных пальцах музыканта он держал толстую папиросу, быстрым жестом совал ее в рот, глубоко втягивал дым и кашлял.

— Вам вредно курить.

Он ответил очень быстро:

— А тебе — говорить, сразу видно, что глуп...

— Спасибо.

— Носи на здоровье.

И, помолчав минуту, искоса посмотрев на меня, он посоветовал несколько мягче:

— Уходи, здесь работы нет!

В небесах над ущельем озабоченно хлопотал ветер, сгоняя облака, точно стадо овец. На солнечной стороне ущелья качались рыжие осенние кусты, сбрасывая мертвый лист. Где-то близко рвали камень, гулкий гром перекатывался по горам; визжали колеса тачек, мерно стучал молот, загоняя в горную породу стальные «иглы», высверливая глубокие дыры для зарядов.

— Жрать хочешь? — спросил горбун.— Сейчас засвистят к обеду. Сколько вас шляется по земле,— заворчал он, сплюнув.

Пронзительный свисток разрезал воздух,— точно металлическая струна хлестнула по ущелью, заглушив все звуки.

— Иди,— сказал горбун.

Быстро разбрасывая по камням свои руки, ноги, ловко цепляясь ими, он, точно обезьяна, бесшумно и уродливо скатился вниз. Обедали, сидя на камнях и тачках вокруг котлов, ели кашицу из проса с бараньим салом, горячую и очень соленую. За нашим котлом шесть человек, не считая меня. Горбун вел себя, как власть имущий; отведав кашицу, он сморщил голое свое лицо и, грозя ложкой старику в дамской соломенной шляпе, закричал сердито:

— Опять пересолил, подлец!

Пятеро людей зарычали, большой черный мужик предложил:

— Вздуть его надо...

— Кашу варить можешь? — спросил меня горбун.— Не врешь? Смотри же! Вот этого попробуем,— распорядился он, и все согласились с ним.

После обеда горбун ушел в барак, а старик кашевар, добродушный и красноносый, показывая мне, где лежит сало, просо, хлеб и соль, вполголоса говорил:

— Ты не гляди, что он горбат, он — барин, помещик, предводителем дворянства был, да-а! Голова!

Он у нас вроде бы старосты, да-а! Все счета-расчеты ведет, ух строгой! Он — редкой, да-а...

Через час в ущелье снова загрохотала работа, забегали люди, а я стал мыть в ручье котлы и ложки, зажег костер, повесил над ним чайники с водой, потом принялся чистить картофель.

— Был поваром? — раздался тонкий голос горбуна; он подошел неслышно, встал сзади и внимательно смотрел, как я действую ножом. Когда он стоял, его сходство с летучей мышью увеличивалось.

— В полиции не служил? — спросил он и тотчас же сам себе ответил:

— Впрочем — молод.

Взмахнув крыльями разлетайки, точно нетопырь, он прыгнул на камень, на другой, быстро взобрался на гору и сел там, густо дымя папиросой.

Моя стряпня понравилась, рабочие похвалили меня и разбрелись по ущелью, трое начали играть в карты, человек пять стали мыться в горном холодном ручье; где-то, среди камней и кустов, запели казацкую песню. В этой группе было двадцать три человека, считая меня и горбуна, все они обращались к нему на «ты», но уважительно и даже как будто со страхом.

Он молча сел на камень у костра, разгребая угли длинной палкой, около него, не спеша, собралось человек десять; черный мужик, точно огромная собака, растянулся у его ног, тощенький бесцветный парень просительно сказал:

— Да — не возитесь! Тише...

Горбун заговорил, ни на кого не глядя, внушительно и звонко:

— Значит: есть судьбы, подсудьбинки и доли...

Я удивленно взглянул на него; заметив это, он строго спросил:

— Ну?

Все уставились на меня, чего-то ожидая; смотрели — неприязненно. Помолчав, плотнее окутав плечи, горбун продолжал:

— Доли — это вроде ангелов-хранителей, только их приставляет к человеку Сатана.

— А — душа? — тихонько спросил кто-то.

— А душа — птица, которую ловит Сатана,— вот!

Говорил он чепуху, но — страшную. Он, видимо, знал статью Потебни «О доле и сродных с нею существах», но серьезное содержание научной статьи у него смешалось со сказками и мрачными вымыслами. К тому же он скоро утратил простоту речи и заговорил литературно, почти изысканным языком.

— С начала дней своих человечество окружено таинственными силами, понять их оно не может, бороться с ними — не умеет. Древние греки...

Его острый, напряженно звенящий голосок, непонятные сочетания слов и, должно быть, жутковатый внешний облик его — всё это действовало на людей подавляюще: они слушают молча и смотрят в лицо учителя, как верующие на икону. Птичьи глаза горбуна мерцают напряженно, дряблая губа его шевелится и как будто пухнет, становясь всё толще, тяжеле. И мне кажется, что в его мрачных выдумках есть нечто, чему он сам верит и чего боится. Лицо его умывают красноватые отблески костра, а оно становится всё более темным и угрюмым.

Над ущельем недвижимо повисли серые облака; в сумраке огонь костра густеет, становясь всё красней, камни растут, суживая глубокую щель горы. За спиною у меня ползет, плещет ручей и что-то шуршит, точно еж идет в сухой траве.

Когда стало совсем темно, рабочие, озираясь, пошли в барак, кто-то сокрушенно, вполголоса сказал:

— Вот она, наука-то...

Ему — еще тише — ответили:

— До чертей дошла...

Горбун остался у костра, ковыряя палкой угли. Когда конец палки загорался, он, подняв ее, держал в воздухе, как факел, и смотрел совиными глазами на желтые перья огня. Перья, отрываясь, улетали в воздух, тогда он быстро крутил палкой, и в воздухе, над головой его, являлся красный нимб. Голова его, в котелке без полей, напоминала чугунную гирю, воткнутую дужкой в широкие плечи горбуна.

Два дня наблюдал я, стараясь понять: что это за человек? Он тоже присматривался ко мне подозритель-

но и зорко, но не разговаривал со мною и на вопросы мои отвечал грубо. После ужина, у костра, он рассказывал людям устрашающее:

— Тело человека построено, как пемза, или губка, или хлеб, оно ноздревато, понимаете? И по всем ноздрям его течет кровь. Кровь — жидкость, в которой плавают миллионы невидимых глазу пылинок, но пылинки эти живые, как мошки, только — мельче мошек.

И, повысив голос почти до визга, он сказал:

— Вот в эти пылинки и вселяются черти!

Я хорошо видел, что его рассказы пугают людей. Мне хотелось спорить с ним, но, когда я ставил ему вопросы, он не отвечал мне, а слушатели, толкая меня ногами и локтями, ворчали:

— Молчи!

Если осколок камня рассекал человеку кожу на лице или на ноге, горбун таинственным шёпотом заговаривал кровь. У одного парня вздулся огромный флюс, горбун слазил на гору, собрал там каких-то корней, трав, сварил их в чайнике, сделал из бурой горячей кашицы припарку и, трижды перекрестив парня, сказал что-то смешное о камне Алатыре и о том, как Аллилуйя сидела на нем.

— Ну, ступай!

Я не заметил, чтоб он усмехнулся, хотя он имел достаточно оснований смеяться над людьми. Его лицо всегда было недоверчиво надуто, уши насторожены. С утра он влезал на солнечную сторону ущелья и черной птицей сидел там в камнях, покуривая, наблюдая за возней людей внизу. Люди иногда звали его:

— Башка!

Он быстро скатывался оттуда, и меня всегда удивляла ловкость, с которой он цеплялся руками и ногами за камни, изуродованные динамитом. Он примирял ссоры, беседовал с десятником, и его тонкий голосок не тонул в грохоте работы.

Десятник, толстый человек с деревянным лицом солдата, слушал его почтительно.

— Кто этот человек? — спросил я десятника, когда он раскуривал трубку у костра.

Оглянувшись, он ответил осторожно:

— Пес его знает. Колдун, что ли. Оборотень какой-то...

Все-таки мне удалось побеседовать с горбуном. Когда он, прочитав очередную лекцию о чертях и микробах, о болезнях и преступлениях, остался у костра, я спросил его:

— Зачем вы говорите им всё это?

Он взглянул на меня, сморщив переносье, отчего нос стал еще острей, и горящей палкой хотел ткнуть в ногу мне. Отодвинув ногу, я показал ему кулак. Тогда он уверенно пообещал мне:

— Завтра тебя вздуют.

— За что?

— Вздуют.

Странные глаза его сердито блеснули, дряблая губа отвалилась, обнажив зубы, он сказал:

— У-у, р-рожа!

— Нет, серьезно! Ведь не верите же вы в эту чепуху?

Он долго молчал, ковыряя палкой угли, размахивая ею над головою своей, и снова над нею мелькал, кружился красный нимб.

— В чертей? — неожиданно спросил он.— Почему же не верить в чертей?

Голосок горбуна звучал ласково, но фальшиво, и смотрел он на меня нехорошо.

«Велит избить»,— подумал я.

А он, всё так же ласково, стал спрашивать: кто я, где учился, куда иду? И, видимо, незаметно для себя, изменил тон, в словах его я почувствовал барское снисхождение, смешную небрежность «высшего» к «низшему». А когда я снова спросил его о вере в чертей, он, усмехаясь, заговорил:

— Ведь ты веришь во что-нибудь? В бога? В чудеса?

И — подмигнув:

— Может быть — в прогресс, а?

Огонь румянил его желтое лицо, и над верхней губой сверкали серебряные иголочки редких, коротко подстриженных усов.

— Семинарист? Сеешь в народе «разумное, доброе, вечное»? Так?

Качнул головою, добавив:

— Дурачина! Я сразу понял, какая ты птица, я знаю эти ваши штуки...

Но, говоря, он подозрительно озирался, и что-то беспокойное явилось в нем.

На золоте углей извивались лиловые языки, цвели голубые цветы. В темноте над костром возник светлый колокол, мы сидели под его куполом, отовсюду на него давила сыроватая тьма, он дрожал. Тяжелая тишина осенней ночи наполняла воздух, разорванные камни казались сгустками тьмы.

— Подложи дров.

Я бросил на угли охапку сучьев, колокол наполнился густым дымом, стало еще темнее и тесней, потом сквозь сучья с треском поползли желтые змеи, свились в клубок и, ярко вспыхнув, раздвинули границы тьмы. И в то же время раздался голос горбуна, первые слова его прозвучали неясно, исчезли, не понятые мною. Он говорил тихо, как будто засыпая.

— Да, да, черти — не шутка... Такая же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин...

— Вы — серьезно?

Он не ответил, только качнул головою, как бы стукнув лбом по невидимому, беззвучному, но твердому. И, глядя в огонь, тихонько продолжал:

— Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все...

«Шутит?» — подумал я. Но если он шутил, то — изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и легкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

— Черти голландские — маленькие существа цвета

охры, круглые, как мячи, и лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им человек может сказать губернатору — «дурак!», изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да — да! Это — черти неосмысленного буйства...

— Черти клетчатые — хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими же тотчас разрушаемые узоры, отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение — пресекать пути человека, куда бы он ни шел... куда бы ни шел...

— Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным острием. Они в черных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумия. Это — друзья пьяниц.

Горбун говорил всё тише и так, как будто затверживал урок. Жадно слушая, я недоумевал, что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

— Страшны черти колокольного звона. Они — крылаты, это единственно крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки, и, пронизывая человека, обжигают его любострастием. Живут они, должно быть, на колокольнях, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

— Но еще страшнее черти лунных ночей. Это — пузыри. В каждой точке окружности каждого из них непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно голубоватое, очень печальное, с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали, вверх и вниз, вверх и вниз, и внушают человеку неотвязную мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: на земле, среди людей, я живу только еще в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит

для меня после смерти, когда мой дух унесется в беспредельность вселенной и там, навсегда неподвижно прикованный к одной точке ее, ничего, кроме пустоты, не видя, будет навеки осужден смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия — только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И — неподвижность. Пустота...

Он держал палку в костре неподвижно, и зубастые огоньки тихонько подбирались по ней к его руке. Когда коже руки стало горячо, горбун, вздрогнув, взмахнул палкой, согнал с нее огни, соскреб угольки обгоревшего конца палки о камни,— она густо дымилась. Потом он снова начал дымящейся палкой отгребать угли из костра и дробить их, брызгая искрами. Замолчал.

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

— Вы серьезно верите...

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

— Пошел прочь!

И погрозил мне дымившейся палкой:

— Завтра вздуют тебя!

Этого мне не хотелось, но я был уверен, что это вполне возможно. И, когда горбун отправился в барак, спать,— я ушел по дороге во Владикавказ.

ЗНАХАРКА

...На завалине ветхой избы сухонький старик Мокеев, без рубахи, греет изношенную кожу свою на ярком солнце июня, чинит бредень крючковатыми пальцами. Под кожей старика жалобно торчат скобы ключиц, осторожно двигаются кости ребер.

День — великолепен; честно работает солнце, отлично пахнет цветущая липа, в жарком воздухе — тихая музыка: гудят пчелы; во дни косьбы они трудятся как будто особенно упорно.

— Прохожий один сказывал,— сипит Мокеев,— дескать, человечье житье — благо, и выходит так, что не одни господа, а всяк человек, хоша бы и мужик,

— Здак только мордва била медведей, это требует силы звериной. Семнадцатый зверь, все-таки, ребро ей вышиб, а трехсотый который-то, шею свернул ей несколько, — видал ты, как медведю она шеей владеет? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сороковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно, — сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, на столицы наехал, так у него ружья были и двустволки не великие, и рогатины и ножики отрывные. А сороковой ничем не постеснился, ободрал ему уши и бороду, вместе со щекой.

— Почему — индей? Так уж родился, что у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подластны, вроде бы плечные наши, как татары, или — чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индеям, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ — важный, басовитый. Девок индей этот перепортил у нас за ниву, за весну, штук пять, не менее. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином — народ своего обычая. Звали — то его как? А звали его — Федор Карлыч. Ха-зрошай барын . . .

Мокеев говорил точно с горы скал извилистой дорогой и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось, что мотек я и спросил: где живет Иванята?

— А вон-те, избенка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут . . .

Когда я подошел к чистенькой избе Иванки, в открытых ворот

1) Примечание. В 60-х годах XIX столетия мордвин Кузьма Петрович развил кипучую общественную деятельность среди мордвы-мокши и эрзи-населения Нижегородской губернии.

«ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА. ВОСПОМИНАНИЯ».
Часть гранки отдельного издания с правкой М. Горького.

тоже — благородие. А мы говорим: благой, так это будет несуразен, буен,— нехорош, стало быть. У нас всё — по-своему...

Он уже с полчаса упражняется в словесности, и его сиплое воркованье хорошо слито с тихим гулом пчел, с чириканьем воробьев, с песнями невидимых жаворонков. Из-за речки доносится звон кос, шарканье точильных лопаток, но все эти звуки не мешают слышать спокойную тишину синего, благоуханно чистого, очень высокого неба. Всё вокруг по-русски просто и чудесно.

— Князья-то, Голицыны-то, конешно — князи; тут как хошь дрягайся, оно так и будет — князи! Я и вначале внушал мужикам — бросьте, али князей пересудишь? А Иваниха натравила их, мужиков... Здорово, Иваниха!

Неслышно подойдя, с нами поравнялась коренастая баба в темном сарафане, в синем платке на уродливо большой голове, с палкой в одной руке, с плотной лыковой корзиной в другой; корзина полна пахучими травами, кореньями. С трудом приподняв тяжелую голову, баба глухо и сердито ответила:

— Здравствуй-ко, болтун...

Ее грубое, мужское лицо, скуластое и темное, украшено седыми усами, исчерчено частой сетью мелких морщин, щеки ее обвисли, как у собаки. Коровьи глаза мутны, красные жилки на белках делают взгляд ее угрюмым. Пальцы левой руки непрерывно шевелятся, я слышу сухой шорох их кожи. Указав на меня палкой, она спросила:

— Это кто?

Мокеев стал многословно объяснять, что я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными, что в воскресенье будет мирской сход,— не дослушав его, старуха осторожно склонила голову и дотронулась палкой до моего колена.

— Зайди ко мне.

— Куда?

— Скажут. Через часок...

И пошла прочь, странно легко для ее возраста и тяжелого, неуклюжего тела.

С тою гордостью, с какой старики в деревнях рассказывают о своем, необыкновенном, Мокеев рассказал мне, что Иваниха — знахарка, известная всему уезду:

— Ты только не считай, что ведьма,— нет, это у ней от бога! Ее и в Пензю возили, девицу лечить безногу, дак она безногу эту сразу — замуж! И пошла ведь девица, пошла, братец мой! «Дураки,— говорит родителям ейным,— детей, говорит, родите, а — для чё, не знаете». А родители — пребогатые фабриканты. Скота, человека, даже гуся, куру — она всех лечит, ей всё едино. В Нижний требовали: обмер там чей-то мальчик и лежит, недели две лежал, хоть в землю закопать! А она ему где-то иглой уколола, дак он к потолку взвился, мальчонко-то, ей за то — двадцать пять рублев да шерстяное платье — получи!

— У нас она — первый человек, ее и на сходе уважают, слушают, даже становой боится. Она ему три зуба выдрала с корнями, дак корни-те по вершку оказались, и с крючьями на концах. Никто не мог выдрать их, а она — всё может! Она — бесстрашной жизни и всем тайностям владыка. Взглянет на тебя да как спросит внезапу: «Ты чего думаешь?» Дак ты ей тут, в душу твою, как дверь отворишь: на, гляди!

Мокеев начал говорить с хвастливой гордостью, но скоро, понизив сипучий старческий голосок, он сказывал уже со страхом. Крючковатые пальцы его, запутавшись в нитях невода, перестали работать, бессильно легли на острые колени.

Я узнал, что Иваниха — дочь некрещеного мордвина, охотника на медведей и колдуна, убитого во время мордовского движения сороковых годов.

— Отец-то ее самому Кузьке, мордовскому богу *, бунтарю, приятелем был...

После смерти отца Иваниха осталась подростком-сиротою, ее окрестили, когда она была уже взрослой девицей, и вскоре после этого на ней женился лесник.

---

* В 50-х годах XIX столетия мордвин Кузьма пытался развить культурно-национальное движение среди мордвы — мокши и ерзи,— населяющей Нижегородскую губернию.

Три года она, бездетно, прожила с ним, а на четвертый, весною, лесника задрал медведь. Иваниху оставили в лесной сторожке, и она начала бить медведей,— леса Сергача славились обилием этого зверя, и до семидесятых годов XIX века мужики «сергачи» были лучшими дрессировщиками и «поводырями» медведей на всю Россию. Била Иваниха зверя «по-мордовски»: обкладывала правую руку лубками, окручивала ее, до плеча, сыромятным ремнем, в кисть брала нож, а в левую руку — короткую, вроде тяпки, секиру. Когда зверь шел на нее, разинув пасть, она била его тяпкой по лапам и, сунув нож в пасть, вспарывала горло медведю.

— Эдак только мордва била медведей, это требует силы зверячьей. Семнадцатый зверь все-таки ребро ей вышиб, а тридцать который-то шею свернул ей несколько,— видал ты, как неладно она шеей владает? От этого. До сорокового зверя она не дошла, забоялась, сороковой медведь — сроковой, судьбинный охотнику, редкие от него уходят живы. Это всему миру известно,— сороковому медведю указан срок жизни охотника.

— У меня, годов с двадцать назад время, жил один индей, знаменитый охотник, из столицы наехал, дак у него ружья были и двустволки, и всякие, и рогатины, и ножики страшенные, а сороковой ничем не постеснился, ободрал ему ухо и бороду, вместе со щекой.

— Почему — индей? Так уж родился, чин у него был — граф, а родом он индей, такой народ есть за Каспийским морем. Там их много живет; волосом синеваты и пьяницы. Персияне? Нет, это другой народ, эти нам подвластны, вроде бы пленные наши, как татара али — чуваша, мордва, а индей — вольный народ, люди самобытного царя. Им, индеям, полагается золотой зуб во рту, для отлички от других людей. Народ — важный, басовитый. Девок индей этот перепортил у нас за зиму, весну штук пять, не мене. После увезли его лечить. Без бороды у них не допускается жить, стыдно, тем они и похожи на нас, а во всем ином — народ своего обычая. Звали-то его как? А звали его — Федор Карлыч. Ха-ароший барин...

Мокеев говорил, точно с горы ехал извилистой до-

рогой, и, вероятно, кончил бы речь не раньше ночи, но мне показалось, что час истек, и я спросил: где живет Иваниха?

— А во-он-те, избеночка аккуратная на отшибе. Такого дела люди завсегда в сторонке живут...

Когда я подошел к чистенькой избе Иванихи, в открытых воротах стоял воз свежескошенной травы, ось телеги задела за верею, белоголовый подросток тужился попятить буланую лошадь и не успевал в этом. Иваниха, стоя на крыльце, мыла руки под глиняным рукомойником, сердито покрикивая:

— Выпряги! Выпряги, говорю...

Парнишка молча бил лошадь по морде и шипел. Старуха сошла с крыльца, быстро выпрягла коня, приподняла оглобли, наклонилась, упираясь в землю чугунными ногами, вытолкнула телегу на аршин за ворота, ловко обернулась, впряглась в оглобли и легко вкатила телегу во двор, сказав:

— Неслух. Дурак.

— Дак у тея — сила,— обиженно отозвался парнишка, уводя лошадь под поветь.

— Мне — сёмой десяток. На что годитесь, баловни?

Увидав меня, испытующе смерила взглядом и пригласила:

— Пожалуй-ко, в избу-то...

Вечернее солнце пристально смотрело в открытые окна избы, на чисто вымытом полу катались пушистые котята; аромат сухих трав наполнял светлую комнату, в переднем углу фыркал паром чистенький самовар. У печи, на полках, блестели бутылки, стеклянные банки, жестяные коробки из-под сардин. Под полатями висели пучки трав: зверобой, буквица, медвежья капуста — некрасивое растение сырых мест, корешки бодяги, болиголова и какие-то сучья в маленьких связках.

Купечески держа блюдце на растопыренных пальцах, Иваниха спрашивала:

— Что в городе говорят? Земли-то мужикам дадут ли? Глядите — сердятся мужики! Сказал бы ты Голицыным-то,— чего они? Девять лет судятся бесстыдно, а толку ни себе, ни людям. Мотают мужиков. Будто

волю дали, а где она, воля? Повесили мужиков над землей, толкутся они, как мошки, вот и вся воля!

Ее темное лицо с тряпичными щеками угнетающе безобразно. Кровавые глаза смотрят в блюдечко, на верхней губе шевелятся мокрые белые усы, на шее, под левым ухом, волосатая бородавка. Иваниха громко грызет сахар, чмокает, и ничто, кроме высоко вспухшей груди, не напоминает в ней женщину.

Я осторожно выспрашиваю ее, как она била медведей, она отвечает неохотно и как бы нарочито углубляя глухой ворчливый голос.

— Сильна была. Меня, в те поры, только два мужика могли одолеть во всей округе. Кроме мужа. Да и мужа я поборола бы, только — нельзя: муж. Шутя я его и борола, а всерьез — нельзя, не смела этого. Тут у нас мужик лесной, крепкий.

Вспотев, она сняла платок с головы, и в жесткой гриве ее волос обнажились толстые седые пряди. Вытерла платком иссеченное морщинами лицо и окутала им надломленную шею. Ладони рук ее были емки, точно ковши, пальцы же непрерывно шевелились, как бы разбирая, распутывая моток пряжи. Это было неприятно видеть. И вся Иваниха как-то нечеловечески тяжела.

О сороковом медведе она сказала:

— Медведь-зверь — богу служит, Кереметь на медведях в небе ездит, солнце возит. Солнце-то большое, с хороший пруд, тяжелое, всё из чистого золота. Люди тоже богу нужны. Пчела служит человеку, человек — богу. Кереметь сказал: «Бей медведя, покуда я терплю, побьешь много — солнце встанет, помни! Тогда пошлю на тебя сильного, он тебя убьет». Человек согласился: человеку скота жалко. Меды жалко, овсы. Медведь много портит.

Почесав концом ножа кожу на голове, она плюнула на ладонь и, пригладив слюною взбитые волосы, уставила в лицо мне свой мутный, подавляющий взгляд. Нос у нее широкий, ноздри вывернуты, как у верблюда.

— Вот тебе, молодому, надо знать: баба есть такая, как сороковой медведь. С тремя любишься — ничего, и с девятью — ничего, а встанет на пути твоем четвер-

тая, или там седьмая, и — конец тебе. Приворожит, привяжет, кроме ее нет у тебя свету, будешь жить, как слепой. Это — судьбинная баба, ее Кереметь в наказание посылает. Богу — детей надо, людей. А когда одна голая игра, без детей, это он не любит. Не надо это ему...

— Вы в церковь ходите? — спросил я.

Она как будто удивилась, отвечая угрюмо:

— Мы ходим. Зачем не ходить? У нас церковь хорошая, князьями строена. И поп хороший, умный. Его пчела любит. Мы тут смирно живем, хорошо. Леса округ.

Котята влезли ей на колени, она сгребла огромной лапой своей двух, подняла зверьков к лицу, спросила:

— Ну, что?

И, налив молока в свое блюдце, тут же, на столе, сунула им блюдечко,— этого не сделала бы простая баба.

— Лакайте. А третий где? Братишка?

Братишка грыз мой сапог, я поднял котенка и поставил его на стол.

— Это вот умные звери, они никому не верят,— сказала Иваниха.— И память у них крепка: побей его, он это помнит. Через пять лет вспомнит, когда и не ждешь. А у людей память слаба: не помнят они, кто их бьет...

Сильно завечерело, уже пригнали стадо, по улице шли мужики, плыли мимо окон косы, отражая красноватый заревой свет, в окна заглядывали бабы.

— Ну, надо мне сходить в улицу,— сказала Иваниха.— Ты почто остановился у Мокеева? Эта семья несчастливая. Ты вдругорядь у меня остановись. Я заезжих люблю.

И, провожая меня за ворота, крикнула какой-то бабе:

— Марь, ногу перевязала?

— Ой, матушка, неколи...

— Дура. Не тронь уж, я сама...

После ужина Мокеев, позвав меня на реку ставить верши, дорогой рассказал, что Иваниха еще недавно, лет десять тому назад, занималась обучением парней технике любви.

— Пятак брала али фунт баранок, она баранки любит с анисом. Сначала — смеялись над ней, после — привыкли. А она ругалась: дураки, кричит. Это у нее первое дело дураком ругать. «За лошадями, кричит, следите, за коровами следите, скот — жалеете, а девок не жалеете?» Это она, пожалуй, верно кричала. Парни — медведи, делу этому у собак, у скотов глазами учатся, а женятся и начнут девок зря ломать, ничего не умеют. Иной с первого разу жену испортит, а после — бьет, не сладка, не охоча...

Светила луна, в воздухе стоял густой влажный запах свежескошенной травы. Старик запнулся за обнаженный корень дерева, выругался крепко, потом призвал бога и, прихрамывая, перескочил к другому рассказу.

— Ее боятся, Иваниху. Почитают. Она, брат, ух какая! Прямо скажу...

Подумав, он сказал:

— Полезная. Хотели ее из лесу, из сторожки прогнать, чиновник приехал,— гонит и гонит. «Нет, говорит, ни моды такой, ни закону, чтобы лес сторожила баба. Никогда, говорит, не было этого». Ему докладывают: «Да она хоть и баба, а страшнее лешего». Не верит. Дак она сама пошла на него, как на медведя, обернула кожей руку, нож взяла, всё как надо. Тут он испугался: «Ну те, говорит, к лешему! В Сибирь бы, говорит, надо тебя, чёрта!» Так она и осталась сторожихой, а после сама ушла из лесу, на ее место кум Яков вступил, его в ту же зиму, пьяного, волки сожрали. Край у нас хороший, тихий край,— заключил старик, несколько неожиданно, а всё же с полным убеждением.

Ласково, осторожно выходила из лесов ночь, покрывая луга и поля теплыми тенями, тишина замерла над синей ленивенькой речкой, и вокруг луны, как пчелы над цветком, сверкали звезды...

...Месяца через три, в праздничный день, мне снова довелось быть в Березянке. Я остановился у Иванихи, собрал мужиков, рассказал им, насколько за это время подвинулось их дело, и, осенним вечером, сидя со старухой за чаем, слушал ее речи. Она рассказывала о событиях лета, о пожаре, уничтожившем, по счастью,

только три избы, о том, кто чем болел, кто кого избил, о людях, объевшихся грибами, о девочке, которая чего-то испугалась в лесу и обезумела.

— Сидит на печи, в темном уголку, и поет днем, ночью: «Мамонька, бежим, ро́дная, бежим!»

Потом, шевеля пальцами, спросила строго:

— Про землю-то не решили там, у вас?

И когда я ответил: нет еще! — она, недоверчиво взглянув на меня, посоветовала:

— Ты не скрывай. Гляди, болеют мужики об земле...

За окном ветер тряс деревья, хлестал в стекла дождем, гудел в трубе, деревню удушливо обняла осенняя русская скука, та скука, тоскливей которой только безнадежная, смертельная болезнь.

Мне хотелось спросить знахарку о Керемети: какой это бог? И когда она, кончив пить чай, перемыв и убрав посуду, села к столу вязать чулок, я осторожно начал выспрашивать.

Неприятно поджав толстые губы, быстро шевеля пальцами, поблескивая сталью спиц, она отвечала неохотно, верблюжьи ноздри ее съежились и темный нос стал острей.

— Я не поп, бога не знаю,— говорила она.

— А Кереметь — хороший бог?

— Бог — не лошадь, по зубам не узнаешь. Не взглянешь ему в зубы-то...

Она долго отвечала так, сердито и сдержанно, но мне удалось какими-то словами задеть ее, и, раздув ноздри, обнажив зеленоватые зубы овцы, еще быстрее перебирая спицы, она заворчала раздраженно:

— Что ты стучишь, как бондарь,— бог, бог? Человека нельзя отдавать богу, как девку старику, нельзя насильно тащить к богу. Не семья будет. Правды не будет.

С удивлением я заметил, что старуха строит речь свою как будто не по-русски, хотя вообще она говорила сочно и складно. Резким жестом она дернула платок на голове, лоб ее стал выше, а из-под мохнатых бровей на меня внушительно уставились другие глаза — светлее, меньше. И всё мятое лицо ее тоже стало меньше, тверже.

— Ваш бог — веру любит, Кереметь — правду,—

говорила она.— Правда выше веры. Кереметь знает: бог с человеком в дружбе — будет правда! Человечья душа — его душа, он ее чёрту не даст. Ваш бог, Христос, ничего не хочет, только веры хочет. Кереметь — человека хочет, он знает: бог с человеком — правда, а один бог — это неправда. Он — бережливый. Зверя, рыбу, пчелу — это он дает человеку. Землю дает. Он человеку пастух. Не поп пастух, бог пастух. А у вас — поп. Христос говорит: верь, а Кереметь: делай правду! Сделаешь — друг мой будешь. За деньги правду не сделаешь. Попы — деньги любят. Они Христа с Кереметью стравили, как собак, дерутся оба, сердятся, ваш — на нас, наш — на вас.

Она перестала вязать чулок, бросив на стол шерсть и спицы, и, шлепая губами, говорила глухо, угрюмо:

— Мордва не люди стали, кому верить — не знают. И вы — не люди. Кереметь сердит на вас, мешает жить, оба они мешают, один — вам, другой — нам. Злые оба. Бог человеком питается, а человек стал тоже злой, горький стал...

Посветлевшие глаза старухи блестели укоризненно и жестко, она становилась всё меньше похожа на русскую, и что-то властное звучало в ее словах. Медленно разгибая сломанную шею, она точно намеревалась ударить меня головою, и это было так неприятно, что я выпрямился на стуле. И всё чаще встречались в ее речи слова, чужие мне, мордовские слова. Мое движение, видимо, несколько успокоило ее, она схватила чулок со стола, и снова быстро замелькали спицы. Помолчав, она заговорила тише:

— Бог злой, человек злой, поп хуже всех злой. Людей надо разделить честно: тех — этому богу, этих — тому. Тогда боги будут жить дружно. У каждого свое стадо. Хорошие хозяева враждой не живут. Вы говорите: «Бог правду видит, да не скоро скажет» — зачем не скоро? Знаешь — сейчас скажи! Кереметь знает: правда лучше веры. Он говорил, а когда его травить стали — замолчал. Обиделся,— живите без меня. Это плохо нам. Это — чёрту хорошо...

Ко мне приплыли мокрые мужики; отфыркиваясь, вытирая ладонями бороды, они уселись на лавку и повели

осторожную беседу о городе, о земле, нащупывая: нет ли каких признаков, что жизнь станет легче? Не нащупали.

А когда они, тяжко вздыхая, ушли, Иваниха попросила меня:

— Ты не сказывай в городе, как мужики говорили. Губернатору не сказывай, пожалуйста...

Спать она легла на печи, а я на полатях, в душном запахе сушеных трав.

Среди ночи меня разбудил визг ветра в трубе и тяжелый, булькающий шёпот. Осторожно взглянув с полатей вниз, я увидал, что Иваниха, стоя на коленях, молится. Сверху она казалась бесформенной грудой чего-то серого, угловатого, похожего на камень. Ее необыкновенный, глухой голос странно булькал, казалось — это яростно кипит вода или полощут горло. Потом из этого кипения возникли странные сочетания слов.

— Ая-яй, Христос, ая-яй... Стыдно, Христос!.. Илья сердится, ты сердишься, Кереметь тоже. Ты — сильный, за тобой идет много людей. Тебе надо быть добрым. Кто будет добрый к людям, когда бог злой? А-я-яй, Христос! Ты слушай меня, слушай, я много знаю! Бабы твои мучаются, мужики мучаются — зачем? Э-эх...

Не крестясь, она размахивала руками, то простирая их к темным пятнам окон, то прижимая к бедрам, или била ладонями по грудям. И всё шептала, глухо, но горячо упрекая, захлебываясь словами:

— Кереметь попы твои гонят, ох! Как можно? Кереметь — хуже тебя разве? Э-э, плохо, Христос! Бог бога гонит — чему учит людей? Ох, ты, Христос, нехороший бог, завистлив ты, злой, не человечий ты бог, нет! Трудно людям с тобой! Что делаешь? Иван — зачем помер молодой? Мишка,— одно дитя, такой светлый Мишка,— зачем? Корова Гусевых пала, ай-ай-яй! Не жалко тебе своих, а? Чужих ты уж не пожалеешь, нет! Ой, плохо! Кому служишь, Христос? Каким людям служишь, а? Вот я, баба, людям служу, твоим помогаю, и татарам, и чуваше — мне всё равно, видишь? А ты — кому? Поп твой говорит: ты — для всех, а ты и своих не любишь, нет! Стыдно тебе, ох, не так надо?! Я правду го-

ворю: эй, стыдно тебе! Смотри на твои люди — хорошие люди, а как живут? Э, Христос! Ты знаешь: бог живет хорошо, когда слушает людей, люди — когда бога слушают. Ты слушай меня, я говорю не плохо, я правду говорю, ты понимай: богу надо знать правду лучше людей, а я, человек, старуха, знаю правду лучше тебя, прежде тебя знаю, э-эх ты, Христос...

Так она укоряла Христа долго; очень жутко гудел ее глухой голос, кипящие слова, булькая в горле ее, звучали то жалобно, то горько и гневно.

Тонкими плетями хлестал дождь по соломе крыши, тонко и зло взвизгивал ветер, приглушая сердечную жалобу человека.

...На рассвете я уехал из деревни и увез в памяти моей одну из лучших бесед человека с богом, может быть, самую лучшую из всех, какие довелось слышать мне.

«Э, Христос...»

ПАУК

Ермолай Маков, старик, торговец «древностями»,— человек длинный, тощий и прямой, как верстовой столб. Ходил он по земле, как солдат на параде, смотрел на всё огромными глазами быка,— в серовато-синем, мутном блеске их было что-то унылое и тупое. Он казался мне глупым, в этом особенно убеждала меня своенравная и капризная черта его характера: принесет продавать чернильницу подъячего, жалованный ковш целовальника или древнюю монету, упорно торгуется, продаст и вдруг могильным голосом скажет:

— Нет, не хочу.

— Почему?

— Охоты нет.

— Зачем же ты целый час болтал зря?

Он молча сунет вещь в бездонный карман своей поддевки, вздохнет тяжко и уходит, не простясь, как будто крепко обиженный. Но через день, а иногда — через час, неожиданно является, кладет вещь на стол:

— Бери.

— А что ж ты прошлый раз не продал?

— Охоты не было.

Он был не жаден на деньги, помногу давал нищим, а к себе относился небрежно: ходил зиму и лето в старенькой, на вате, поддевке, в теплом измятом картузе, в худых сапогах. Жил — бездомно, переходя от поместья в поместье, из Нижнего в Муром, из Мурома в Суздаль, Ростов, Ярославль, и снова являлся в Нижнем, всегда останавливаясь в грязненьких «Номерах» Бубнова; их населяли торговцы канарейками, шулера, сыщики и всевозможные искатели счастья — они искали его, лежа на продавленных диванах, в облаках табачного дыма. Среди этого человечьего мусора Маков пользовался особым вниманием, как «ходовой» человек и хороший рассказчик; рассказывал же он всегда о том, как разрушаются — «хизнут» — старые «дворянские гнезда». Говорил он об этом с глухой, унылой злобой, особенно густо и настойчиво подчеркивая легкомыслие помещиков.

— Шары гоняют. Очень любят они шары гонять деревянными молотками,— игра такая. И сами как шары эти стали,— совсем безмысленно катаются туда-сюда по земле.

Однажды, туманной ночью осени, я нашел Макова на пароходе, по дороге в Казань. Едва шевеля колесами, пароход слепо и осторожно сползал, сквозь туман, по течению; в серой воде и сером тумане расплывались, таяли его огни, глухо и непрерывно ревел гудок; было тоскливо, как в тяжелом сне. Маков сидел на корме, одиноко, точно прячась от кого-то. Мы разговорились, и вот что он рассказал:

— Двадцать третий год живу я в неизбывном страхе, и нет мне спасения от него. А страх мой, сударь, особый: вселена в плоть мою чужая душа. Было мне, сударь, тридцать годов, и водился я с одной бабой, не иначе как — ведьмой. Муж у нее — приятель мой — был добрый человек, а — больной, умирал. И в ночь, когда помер он, а я — спал, бабенка эта окаянная изняла из меня мою душу, а его душеньку заключила в мою плоть. Ей было выгодно это, муж-ет был ласковее меня к ней, треклятой. Помер он, и — сразу стало мне заметно: не тот я человек. Бабу эту, прямо скажу, не лю-

бил я, просто — баловался с нею, а тут вижу: влечется к этой бабе душа моя. Как же это? Неприятна женщина мне, а оторваться от нее — не могу. Все мои отличные качества дымом исчезли, нудит меня неведомая грусть, стал я робок с ней и вижу: серовато всё вокруг, как золой опылено, а баба эта — лицо огня! Играет со мною, зализывая меня во грех, по ночам. Тут и понял я: подменила она душу мне, чужой душою живу. А — моя-то, настоящая-то моя, богом данная мне,— где же? Испугался я...

Тревожно гудел гудок, глухой гул его упирался в туман, пароход, точно ущемленный, ворочал кормою, урчала и плескалась вода под нею, темная и жирная, как смола. Старик, прислонясь спиною к борту, передвигал ноги в пудовых сапогах, нелепо шарил руками вокруг себя и тихонько говорил:

— Испугался я, пошел на чердак, изделал петлю, привязал к стропилу,— углядела меня прачка, зашумела — вынули из петли. И после того очутилось около меня несообразное существо: шестиногий паук, величиной с небольшого козла, бородат, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока — в голове, а третье — меж грудями, вниз, в землю глядит, на мои следы. И куда ни иду, он невступно за мной перебирается, мохнатый, на шести ногах, вроде бы тени лунной, и никому его не видать, кроме меня,— вот он здесь, а ты его не видишь, вот он!

Протянув руку влево от себя, Маков погладил что-то в воздухе, на высоте вершков десяти от палубы; потом, вытирая руку о колено, сказал:

— Мокрый.

— Что же ты, так двадцать лет и живешь с пауком? — спросил я.

— Двадцать три. Ты думаешь — безумен я? Вот ведь стража моя, вот он прихилился, паук-от...

— А с докторами не говорил ты о нем?

— Полно-ка, сударь, что тут доктор может? Ведь это не нарыв, ножиком не отрежешь, микстуркой не вытравишь, мазями не затрешь. Доктор его не видит, паука-то.

— Говорит с тобой паук?

Маков удивленно взглянул на меня и спросил:

— Смеешься, что ли? Как же паук говорить может? Он мне для страха дан, чтоб я собой не располагал, не погубил бы чужую душу. Ведь душа-то во мне чужая, вроде бы — краденая. Лет десяток назад тому задумал я утопиться,— бросился с баржи в воду, а он, паук, вцепился лапами в борт да и в меня, я и повис за бортом. Ну, притворился я, будто нечаянно за борт упал. После матросы говорят: поддевка удержала меня, зацепилась за что-то. А — вот она, поддевка-то, какая поддела меня...

Старик снова погладил, потрогал рукою влажный воздух.

Я молчал, не зная, что сказать человеку, который живет бок о бок с таким странным созданием воображения своего, живет, а — не совсем безумен.

— Давно я хотел потолковать с тобой про этот случай,— говорил он тихо и просительно.— Ты говоришь обо всем смело, верю я тебе. Скажи мне, сделай милость, как, по-твоему: от бога паук этот охрана мне али от дьявола?

— Не знаю.

— Подумал бы ты... Я полагаю — от бога, это он охраняет, бережет чужую душу во мне. Ангела приставить не захотел, недостоин я ангела. А вот паук — это умнее. Страшный, главное. Долго не мог я привыкнуть к нему.

Сняв картуз, Маков перекрестился и сказал тихонько, воодушевленно:

— Велик и благодетелен бог наш, господин и отец разума, пастырь душ наших.

...Через несколько месяцев, лунной ночью, я встретил Макова на одной из глухих улиц Нижнего Новгорода, он шел по тротуару, прижимаясь к заборам, как бы уступая дорогу кому-то.

— Что — жив паук?

Старик усмехнулся, наклонясь, провел рукою по воздуху и ласково сказал:

— А — вот он...

Спустя три года я узнал, что в 905-м году Макова ограбили и убили где-то около Балахны.

МОГИЛЬЩИК

Когда я подарил кладбищенскому сторожу Бодрягину давно желанную им гармонику, он — одноглазый, лохматый — крепко прижал правую свою руку к сердцу и, сияя радостью, закрыв свой одинокий, милый, а порою жуткий, глаз, сказал:

— Эх-х...

Задохнулся от возбуждения, потряс плешивой головою и одним дыханием произнес:

— Умрете вы, Лексей Максимыч, ну, уж я за вами поухаживаю!

Он брал с собою гармонику даже тогда, когда рыл могилы и, уставая работать, поигрывал любовно и тихонько польку. Он иногда называл ее с французским «прононсом» — «Трен-блан», а иногда «Дрянь-брань». Это была единственная пьеса, которую он умел играть.

Случилось, что он заиграл в то время, когда неподалеку от него священник служил панихиду. Кончив служить, он подозвал Бодрягина и стал ругать его:

— Усопших оскорбляешь, скот!

Бодрягин жаловался мне:

— Конечно, это я нехорошо сделал, а все-таки: как он может знать — что́ покойнику обидно?

Он был уверен, что ада — нет; души хороших людей отлетают после смерти тела в «пречистый» рай, а души грешников, оставаясь в теле, живут в могилах до поры, пока тело не сгниет.

— После того земля выдыхает душу на ветер и ветром разносит ее в бесчувственную пыль.

Когда зарыли в могилу труп любимой мною шестилетней девочки Николаевой и все разошлись с кладбища,— Костя Бодрягин, подравнивая глиняный холмик могилы ударами лопаты, утешал меня:

— Ты, друг, не горюй! Может, на том свете иными словами говорят, лучше нашего-то, веселее. А может, и не говорят ничего, а только на виловончелях играют.

Музыку он любил до смешного и опасного самозабвения: услышит вдали звуки военного оркестра, шарманку или рояль и тотчас весь насторожится, вытянув

шею в направлении звука, заложив руки за спину, замрет, широко открыв свой темный глаз, как будто слушая глазом. Иногда это случалось с ним на улице, дважды его сшибали лошади и многократно били кнутами извозчики, когда он, очарованный, стоял, не слыша криков предостережения, не видя опасности.

Он объяснял:

— Услышу музыку и — словно на дно речное мырну!

Он «путался» с кладбищенской нищей Сорокиной, пьяной бабой, старше его лет на пятнадцать,— ему было уже за сорок.

— Зачем она тебе? — спросил я.

— А — кто ее утешит? Некому опричь меня. Я же люблю утешать самых безутешных. Своего горя у меня нет, вот я чужое и одолеваю.

Мы говорили, стоя под березой, в потоках неожиданно хлынувшего июньского ливня.

Костя с наслаждением ежился под ударами дождя о его череп, голый, угловатый, и бормотал:

— Мне приятно, когда мое слово слезу сушит...

У него был, видимо, рак желудка, он выдыхал гнилой запах трупа, не мог есть, страдая рвотой, но работал бодро, ходил по кладбищу весело и умер за картами, играя с другим сторожем в дурачки.

Н. А. БУГРОВ

...В 901-м году, выпустив меня из тюрьмы, начальство применило ко мне очень смешную меру «предупреждения и пресечения преступлений» — домашний арест. В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую — другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них.

Кухонный страж помогал кухарке носить дрова, чистить овощи, мыть посуду; страж прихожей открывал двери посетителям, раздевал их, подавал галоши, а когда у меня никого не было, он, заткнув неуклюжей фигурой своей дверь в мою комнату, спрашивал бабьим голосом:

— Господин Горьков,— извините! — как же это? Говорится: небеса, небесный, а — вдруг: бес основания? Какое же основание? Основание грехов наших?

Изрытое оспой лицо солдата украшал тупой нос, дряблый, как губка, под носом торчали кустики черной шерсти, раковина его левого уха была разорвана поперек, левый глаз косил, забегая в сторону уха.

— Люблю читать жития священномучеников,— говорил он тонким голосом и почему-то виноватым тоном.— Необыкновенные слова там попадаются...

И конфузливо спрашивал:

— А — извините! — непо́рочный значит непоротый? Примерно: непо́рочная дева?

Наскоро объяснив ему различие между поркой и пороком, я просил:

— Вы, пожалуйста, не мешайте мне.

— Хорошо,— благосклонно говорил он.— Ничего, пишите...

И через пять, десять минут снова звучал раздражающий голосок:

— А — извините меня...

Однажды, часов в семь утра, я был разбужен его словами:

— Спит еще, на свету лег...

Чей-то другой голос спросил:

— И ночью сторожишь?

— А — как же? По ночам они и действуют...

— Буди. Скажи — Зарубин пришел.

Через четверть часа предо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин, тяжелая голова его тряслась, он отирал бороду клетчатым платком и, глядя в лицо мне выцветшими глазами, сипло говорил:

— Знакомиться с личностью твоей пришел. Хотел я в тюрьму к тебе прийти,— прокуроришко не пустил.

— Зачем это нужно было вам?

Он хитроумно подмигнул мне:

— Надобно их тревожить, владык наших, воевод этих! Они думают — нет сопротивления им в делах беззаконных. А я вот показываю: врете, есть сопротивление!

— Господин Горький, — извините! — наверное это! Говорится: небесен, небесный, а — вдруг: без основания? Какое же основание [illegible]? Основание грехов наших?

Я [illegible] сказал, что существует еще без порядка, и что он, [illegible] работает только на этого личного бога.

Изрытое оспой лицо солдата украшал тупой нос, крупный как губка, над носом торчали кустики черной шерсти, раковина его левого уха была разорвана поперек, левый глаз косил, забегая в сторону уха, — солдат смотрел на меня исподлобья и улыбался, как виноватый, которому сказали что-то, почему он хотел бы верить, но — не смел.

— Люблю читать жития священномучеников, — говорил он, тонким голосом и, почему-то, виноватым тоном. — Необыкновенные слова там попадаются ...

И конфузливо спрашивал:

— А — извините! — непорочный, значит непоротый? Примерно: непорочная дева?

Изскоро об'яснил ему различие между поркой и пороком, я просил:

— Вы, пожалуйста, не мешайте мне.

— Хорошо, — благосклонно говорил он. — Ничего, пишите...

И через пять, десять минут снова звучал раздражающий голосок:

— А, — извините меня ...

Однажды, часов в семь утра я был разбужен его словами:

— Спит еще, на свету лег ...

Чей-то другой голос спросил:

— И ночью сторожишь?

— А как же? По ночам они и действуют ...

— Будя. Скажи — Зарубин пришел.

Через четверть часа предо мною сидел, кашляя и задыхаясь, старик Зарубин, тяжелая голова его тряслась, он отирал бороду клетчатым платком и, глядя в лицо мне, выцветшими глазами, сипло говорил:

— Познакомиться с личностью твоей пришел. Хотел я в тюрьму к тебе придти, — прокуроришко не пустил.

— Зачем это нужно было вам?

Он хитровато подмигнул мне:

— Надобно их тревожить, вздым иных, повод стих. Они

«ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА. ВОСПОМИНАНИЯ».
Страница верстки очерка «Н. А. Бугров» с правкой М. Горького.

Оглядел комнату прищуренными красными глазами кролика.

— Не богато, однако, живешь, скудно. А слух идет — большие деньги даны тебе иностранцами за книгу о Гордееве, за позор купечества нашего. Ну, все-таки книга, стоящая внимания; хоша и сочинение — а правда есть! Читают ее согласно; верно, говорят, списал, народ мы — такой! Яков Башкиров хвастает: «Маякин — это я! С меня списано, вот глядите, каков я есть умный». Бугров даже читал, Николай Александров. «Книжка, говорит, для нас действительно горькая!» Я ведь вроде как бы от него и пришел: почет тебе! Не верит он, что ты из простых, даже будто из босяков, хочет самолично поглядеть на тебя. Одевайся, едем к нему чай пить.

Ехать к Бугрову я отказался, это очень рассердило старика, он тяжело встал со стула, мотая трясущейся головою и брызгая слюной.

— Гордость твоя — глупая! Бугров не грешнее таких, каков ты есть. А что из дома выходить без полицейского не велено тебе, так ему, Бугрову, наплевать густо на законы и запреты ваши.

И, не простясь, старик ушел, сердито шаркая ногами. Провожая его, полицейский спросил:

— Несогласие обнаружено?

Зарубин крикнул на него:

— А ты — молчи!..

Миллионер, крупный торговец хлебом, владелец паровых мельниц, десятка пароходов, флотилии барж, огромных лесов,— Н. А. Бугров играл в Нижнем и губернии роль удельного князя.

Старообрядец «беспоповского согласия», он выстроил в поле, в версте расстояния от Нижнего, обширное кладбище, обнесенное высокой кирпичной оградой, на кладбище — церковь и «скит»,— а деревенских мужиков наказывали годом тюрьмы по 103 статье «Уложения о наказаниях уголовных» за то, что они устраивали в избах у себя тайные «молельни». В селе Поповке Бугров возвел огромное здание, богадельню для старообряд-

цев,— было широко известно, что в этой богадельне воспитываются сектанты-«начетники». Он открыто поддерживал тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе и вообще являлся не только деятельным защитником сектантства, но и крепким столпом, на который опиралось «древлее благочестие» Поволжья, Приуралья и даже некоторой части Сибири.

Глава государственной церкви, нигилист и циник, Константин Победоносцев, писал — кажется, в 901-м году — доклад царю о враждебной, антицерковной деятельности Бугрова, но это не мешало миллионеру упрямо делать свое дело. Он говорил «ты» взбалмошному губернатору Баранову, и я видел, как он, в 96 году, на Всероссийской выставке, дружески хлопал по животу Витте и, топая ногою, кричал на министра двора Воронцова.

Был он щедрым филантропом: выстроил в Нижнем хороший ночлежный дом; огромное, на 300 квартир, здание для вдов и сирот, прекрасно оборудовал в нем школу; устроил городской водопровод, выстроил и подарил городу здание для городской думы, делал земству подарки лесом для сельских школ и вообще не жалел денег на дела «благотворения».

Дед мой сказывал мне, что отец Бугрова «разжился» фабрикацией фальшивых денег, но дед обо всех крупных купцах города говорил как о фальшивомонетчиках, грабителях и убийцах. Это не мешало ему относиться к ним с уважением и даже с восторгом. Из его эпических повестей можно было сделать такой вывод: если преступление не удалось — тогда это преступление, достойное кары, если же оно ловко скрыто — это удача, достойная хвалы.

Говорили, что Мельников-Печерский «В лесах» под именем Максима Потапова изобразил отца Бугрова; я так много слышал плохого о людях, что мне было легче верить Мельникову, а не деду. О Николае Бугрове рассказывали, что он вдвое увеличил миллионы отца на самарском голоде начала восьмидесятых годов.

Обширные дела свои Бугров вел сам, единолично, таская векселя и разные бумаги в кармане поддевки. Его уговорили завести контору, взять бухгалтера; он

снял помещение для конторы, богато и солидно обставил его, пригласил из Москвы бухгалтера, но никаких дел и бумаг конторе не передал, а на предложение бухгалтера составить инвентарь имущества задумчиво сказал, почесывая скулу:

— Это — большое дело! Имущества у меня много, считать его — долго!

Просидев месяца три в пустой конторе без дела, бухгалтер заявил, что он не хочет получать деньги даром и просит отпустить его.

— Извини, брат! — сказал Бугров.— Нет у меня времени конторой заниматься, лишняя она обуза мне. У меня контора вся тут.

И, усмехаясь, он хлопнул себя ладонью по карману и по лбу.

Я часто встречал этого человека на торговых улицах города: большой, грузный, в длинном сюртуке, похожем на поддевку, в ярко начищенных сапогах и в суконном картузе, он шел тяжелой походкой, засунув руки в карманы, шел встречу людям, как будто не видя их, а они уступали дорогу ему не только с уважением, но почти со страхом. На его красноватых скулах бессильно разрослась серенькая бородка мордвина, прямые редкие волосы ее, не скрывая маленьких ушей с приросшими мочками и морщин на шее, на щеках, вытягивали тупой подбородок, смешно удлиняя его. Лицо неясное, незаконченное, в нем нет ни одной черты, которая, резко бросаясь в глаза, навсегда оставалась бы в памяти. Такие неуловимые, как бы нарочито стертые, безглазые лица часто встречаются у людей верхнего и среднего Поволжья,— под скучной, неопределенной маской эти люди ловко скрывают свой хитрый ум, здравый смысл и странную, ничем необъяснимую жестокость.

Каждый раз, встречая Бугрова, я испытывал волнующее двойственное чувство — напряженное любопытство сочеталось в нем с инстинктивною враждой. Почти всегда я принуждал себя вспоминать «добрые дела» этого человека, и всегда являлась у меня мысль:

«Странно, что в одном и том же городе, на узенькой полоске земли могут встречаться люди столь решитель-

но чуждые друг другу, как чужды я и этот „воротило“».

Мне сообщили, что будто, прочитав мою книжку «Фома Гордеев», Бугров оценил меня так:

— Это — вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких — в Сибирь ссылать, подальше, на самый край...

Но моя вражда к Бугрову возникла за несколько лет раньше этой оценки; ее воспитал ряд таких фактов: человек этот брал у бедняков родителей дочь, жил с нею, пока она не надоедала ему, а потом выдавал ее замуж за одного из сотен своих служащих или рабочих, снабжая приданым в три, пять тысяч рублей, и обязательно строил молодоженам маленький, в три окна, домик, ярко окрашенный, крытый железом. В Сейме, где у Бугрова была огромная паровая мельница, такие домики торчали на всех улицах. Новенькие, уютные, с цветами и кисейными занавесками на окнах, с зелеными или голубыми ставнями, они нахально дразнили людей яркостью своих красок и как бы нарочно подчеркнутым однообразием форм. Вероятно, эти домики, возбуждая воображение и жадность, очень способствовали развитию торговли девичьим телом.

Забава миллионера была широко известна,— на окраинах города и в деревнях девицы и парни распевали унылую песню:

Наверно, ты Бугрова любишь,
Бугрову сердце отдала;
Бугрову ты верна не будешь,
А мне по гроб страдать дала!

На одной из таких «испробованных девиц» женился мой знакомый машинист, тридцатилетний вдовец, охотник по птице и птицелов, автор очень хорошего рассказа о жизни пернатых хищников, напечатанного, кажется, в журнале «Природа и охота».

Хороший, честный человек, он так объяснял мотивы женитьбы:

— Жалко девушку, обижена, а — хорошая девушка! Не скрою: за ней четыре тысячи приданого и домик.

Это — меня подкупает. Буду жить тихо, учиться начну, писать...

Через несколько месяцев он начал пить, а на масленице был избит в пьяной драке и вскоре помер. Незадолго перед этим он прислал мне рукопись рассказа о хитростях лисы в ее охоте за лесной птицей,— помню, рассказ был начат так:

«Ярко и празднично одет осенний лес, а дышит он унынием и гнилью».

Ко мне пришла женщина, возбужденная почти до безумия, и сказала: ее близкий друг заболел в далекой ссылке, у Полярного круга. Она должна немедля ехать к нему, нужны деньги. Я знал, что речь идет о человеке недюжинном, но у меня не было крупной суммы, нужной на поездку к нему.

Я пошел к чудаковатому богачу Митрофану Рукавишникову; этот маленький, горбатый человечек жил,— как Дезэссент, герой романа Гюйсманса,— выдуманной жизнью, считая ее очень утонченной и красивой: ложился спать утром, вставал вечером, к нему ночами приходили друзья: директор гимназии, учитель института благородных девиц, чиновник ведомства уделов, они всю ночь пили, ели, играли в карты, а иногда, приглашая местных красавиц «свободной жизни», устраивали маленькие оргии.

В полумраке кабинета, тесно уставленного мебелью из рога техасских быков, в глубоком кресле, сидел, окутав ноги пледом, горбун с лицом подростка; испуганно глядя на меня темными глазами, он молча выслушал просьбу дать мне денег взаем и молча протянул двадцать пять рублей. Мне было нужно в сорок раз больше. Я молча ушел.

Дня три бегал по городу, отыскивая деньги, и, случайно встретив Зарубина, спросил: не поможет ли он мне?

— А ты проси у Бугрова, этот даст! Едем к нему, он на бирже в сей час!

Поехали. В шумной толпе купечества я тотчас увидал крупную фигуру Бугрова, он стоял, прислонясь

спиною к стене, его теснила толпа возбужденных людей и вперебой кричала что-то, а он изредка, спокойно и лениво говорил:

— Нет.

И слово это в его устах напоминало возглас «цыц!», которым укрощают лай надоевших собак.

— Вот — самый этот Горький,— сказал Зарубин, бесцеремонно растолкав купечество.

С лица, измятого старостью, на меня недоверчиво и скользко взглянули маленькие усталые глазки, веко одного из них было парализовано и отвисло, обнажая белок, расписанный красными жилками, из угла глаза, от переносицы, непрерывно стекала слеза. Зрачки показались мне мутными, но вдруг в них вспыхнули зеленькие искры, осветив на секунду это мордовское лицо умильной усмешкой. И, пожимая руку мою пухлой, но крепкой рукою, Бугров сказал:

— Честь городу нашему... Чайку попить не желаете ли со мною?

В «Биржевой» гостинице, где всё пред ним склонилось до земли и даже канарейки на окнах почтительно перестали петь,— Бугров крепко сел на стул, спросив официанта:

— Чайку, брат, дашь?

Зарубина остановил какой-то толстый красноносый человек с солдатскими усами, старик кричал на него:

— Полиции — боишься, а совести — не боишься!

— Всё воюет языком неуемным старец наш,— сказал Бугров, вздыхая, отер слезу с лица синим платком и, проткнув меня острыми лучами глаз, спросил:

— Слыхал я, что самоуком дошли вы до мастерства вашего, минуя школы и гимназии? Так. Городу нашему лестно... И будто бедность большую испытать пришлось? И в ночлежном доме моем живали?

Я сказал, что, будучи мальчишкой, мне случалось по пятницам бывать у него на дворе,— в этот день он, в «поминок» по отце, давал нищим по два фунта пшеничного хлеба и по серебряному гривеннику.

— Это ничего не доказует,— сказал он, двигая серенькими волосами редких бровей.— За гривенником

и не бедные люди приходили от жадности своей. А вот что в ночлежном жили вы,— это мне слишком удивительно. Потому что я привык думать: из этого дома, как из омута, никуда нет путей.

— Человек — вынослив.

— Очень правильно, но давайте прибавим: когда знает, чего хочет.

Говорил он солидно, как и подобало человеку его положения, слова подбирал осторожно,— должно быть, осторожность эта и делала его речь вычурной, тяжелой. Зубы у него мелкие, плотно составлены в одну полоску желтой кости. Нижняя губа толста и выворочена, как у негра.

— Откуда же вы купечество знаете? — спросил он, а выслушав мой ответ, сказал:

— Не всё в книге вашей верно, многое же очень строго сказано, однако Маякин — примечательное лицо! Изволили знать такого? Я вокруг себя подобного не видал, а — чувствую: таков человек должен быть! Насквозь русский и душой и разумом. Политического ума...

И, широко улыбаясь, он прибавил весело:

— Очень поучительно подсказываете вы купцу, как ему жить и думать надобно, о-очень!

Подошел Зарубин, сердито шлепнулся на стул и спросил не то — меня, не то — Бугрова:

— Дал денег?

Вопрос его так смутил меня, что я едва не выругался и, должно быть, сильно покраснел. Заметив мое смущение, Бугров тотчас шутливо спросил:

— Кто — кому?

Я в кратких словах объяснил мою нужду, но Зарубин вмешался, говоря:

— Это он не для себя ищет денег, он живет скудно...

— Для кого же,— можно узнать? — обратился ко мне Бугров.

Я был раздражен, выдумывать не хотелось, и я сказал правду, ожидая отказа.

Но миллионер, почесывая скулу, смахивая пальцем слезу со щеки, внимательно выслушал меня, вынул бумажник и, считая деньги, спросил:

— А — хватит суммы этой? Путь — дальний, и всякие случаи неудобные возможны...

Поблагодарив его, я предложил дать расписку,— он *любезно усмехнулся:*

— Разве что из интереса к почерку вашему возьму...

А посмотрев на расписку, заметил:

— Пишете как будто уставом, по-старообрядчески, каждая буковка — отдельно стоит. Очень интересно пишете!..

— По Псалтырю учился.

— Оно и видно. Может — возьмете расписочку назад?

Я отказался и, торопясь передать деньги, ушел. Пожимая мне руку с преувеличенной любезностью, Бугров сказал:

— Будемте знакомы! Иной раз позвольте лошадь прислать за вами,— вы далеко живете. Весьма прошу посетить меня.

Спустя несколько дней, утром около восьми часов, он прислал за мною лошадь, и вот я сижу с ним в маленькой комнатке, ее окно выходит во двор, застроенный каменными складами, загроможденный якорями, железным ломом, лыком, рогожей, мешками муки. На столе шумно кипит маленький самовар, стоит блюдо горячих калачей, ваза зернистой икры и сахарница с разноцветными кубиками фруктового — «постного» — сахара.

— Рафинада — не употребляю,— усмехаясь, сказал Бугров.— Не оттого, что будто рафинад собачьей кровью моют и делают с ним разные... мапулярии, что ли, зовется это, по-ученому?

— Манипуляции?

— Похоже. Нет, постный сахар — вкуснее и зубам легче...

В комнате было пусто, — два стула, на которых сидели мы, маленький базарный стол и еще столик и стул в углу, у окна. Стены оклеены дешевыми обоями, мутно-голубого цвета, около двери в раме за стеклом — расписание рейсов пассажирских пароходов. Блестел недавно выкрашенный рыжий пол, всё вылощено, скучно

чисто, от этой чистоты веяло холодом, и было в ней что-то «нежилое». Воздух густо насыщен церковным запахом ладана, лампадного масла, в нем кружится большая синяя муха и назойливо жужжит. В углу — икона богоматери, в жемчужном окладе, на венчике — три красные камня; пред нею — лампада синего стекла. Колеблется сиротливо голубой огонек, и как будто по иконе текут капельки нота или слез. Иногда муха садится на ризу и ползает по ней черным шариком.

Бугров — в сюртуке тонкого сукна, сюртук длинен, наглухо, до горла, застегнут, похож на подрясник. Смакуя душистый чай, Бугров спрашивает:

— Так, значит, приходилось вам в ночлежном доме живать?

Голос его звучит сочувственно, точно речь идет о смертельной болезни, которую я счастливо перенес.

— Трудно поверить,— раздумчиво отирая слезу со щеки, продолжает он.— Босяк наш — осенний лист. И даже того бесполезнее, ибо — лист осенний удобряет землю...

И, в тон жужжанию мухи, рассказывает:

— У нас тут, на берегу, подрядчик есть, артель грузчиков держит, Сумароков по фамилии; так он — знаменитого лица потомок, в Екатерининны времена его дед большую значительность имел, а внук — личность дерзкая, живет вроде атамана разбойников, пьянствуя с рабочими своими, и прикрывает их воровство. Ведь вот какая превратность! А вы — наоборот. Трудно понять, на каких весах судьба взвешивает людей... Возьмите икорки еще!

Не спеша жует калач, громко чмокая, и скользящим взглядом щупает меня.

— Книг я не читаю, а ваши сочинения — прочитал, посоветовали. Очень удивительных людей встречали вы. Например: в одну сторону идет Маякин, в другую — «проходимец» этот,— как его?

— Прсмтов.

— Да. Одни, души не щадя, стараются для России, для всех людей нашего государства, а другой — расковыривает всю жизнь похабным языком, грязным шилом умишка своего. А вы и о том и о другом рассказываете...

не умею выразить как, как будто о чужих вам, не русских людях, но как будто и родственно, а? Не совсем понимаю это...

Я спросил: читал ли он рассказ «Мой спутник»?

— Читал. Весьма занятно.

Он откинулся на спинку стула, стирая пот с лица большим платком с цветной каймою, потом — взмахнул им, как флагом.

— Ну, это, конечно, человек дикий, не русский. А этот, «проходимец» — правда? Маякин же, говорите, не совсем правда?

Качая головой с желто-седыми волосами, плотно примасленными к черепу, он негромко сказал:

— Есть в этом опасность. Государство наше, говорят, дом, который требует ремонта, перестроить надо-де его! Так-с. Ну, а какой же силой? Сила-то где, по-вашему? Как же всех людей включить в это дело, когда одни свободно пасутся, как скот на подножном корму, и ничего боле не желают? А как же Маякин-то? Хозяин-то? Он, души не жалея, делу государственному жертвует всей силой и совестью, а другим — наплевать на него, а?

Значительный этот разговор был прерван мухой — она слепо налетела на слабый огонек лампады, взныла и, погасив его, упала в масло. Бугров встал, вышел за дверь и крикнул:

— Эй!

Явилась миловидная девушка, одетая, как монахиня, в темное, поклонилась нам, прижав руки к животу, и, положив на стол несколько телеграмм, молча стала оправлять лампадку. Потом, с таким же поклоном, не поднимая глаз, исчезла, перебирая пальцами кожаную лестовку, висевшую на поясе у нее.

— Дела доспели, извините,— сказал Бугров, скользя глазами по квадратным бумажкам телеграмм. Вынул из кармана огрызок карандаша, наморщив нос, поставил на бумагах какие-то знаки и небрежно бросил их на стол, говоря:

— Пойдемте отсюда...

Привел меня в большой зал с окнами на берег Волги; на крашеном полу лежали чистые половики, небеленого холста, по стенам стояли стулья. У одной из

них — кожаный диван. Скучно пусто, и всё тот же церковный, масляный запах. А в стекла окон непрерывно стучится буйный, железный гул трудового дня, на реке свистят пароходы...

— Хороша картинка? — спросил Бугров, указывая на стену,— там висела копия Сурикова «Боярыня Морозова», а против ее, на другой стене,— превосходное старое полотно — цветы, написанные удивительно тонко и благородно. Медная пластинка внизу рамы говорила, что это работа Розы Бонёр.

— Вам эта больше нравится? — улыбаясь, спросил старик.— Я ее в Париже купил; иду по улице, вижу — в окне картина и на ней цифра — десять тысяч! Что такое? — думаю. Пригляделся — цветы и боле ничего. Искусно, однако же и цена. Три тысячи целковых ведь. Послал знакомого спросить: почему так дорого? Тот спросил — редкость, говорит. Опять пошел, посмотрел. Нет, думаю, дудки! А наутро говорю приятелю-то: «Поди-ка, возьми ее мне».

Он засмеялся.

— Каприз, конечно. Но — так она мне понравилась — нельзя оставить...

Всё вокруг блестело холодной нежилою чистотой, вызывая мысль о скучной, одинокой жизни.

— Вы меня извините,— надо на биржу идти,— сказал Бугров.— Не удалось нам кончить интересную нашу беседу, очень жалею. Позвольте обеспокоить вас вдругорядь... До свиданьица!

Он часто присылал за мною лошадь, и я охотно ездил к нему пить утренний чай с калачами, икрой и «постным» сахаром. Мне нравилось слушать его осторожно щупающие речи, следить за цепким взглядом умных глаз, догадываться — чем живет этот человек вне интересов своего купеческого дела и в чем, кроме денег, сила его влияния?

Мне казалось, что он хочет что-то вытянуть из меня, о чем-то выспросить, но он, видимо, не умел сделать это или неясно понимал, чего хочет.

Часто возвращался к скучному вопросу:

— Как же это случилось, что вы, странствуя по путям опасным и даже гибельным, все-таки вышли на дорогу полезного труда?

Это раздражало меня. Я говорил ему о Слепушкине, Сурикове, Кулибине и других русских самоучках.

— Скажите, какое обилие! — нехотя удивлялся он, задумчиво почесывая скулу, безуспешно пытаясь прищурить больной глаз. И, прищуривая здоровый, назойливо спрашивал:

— Ведь в жизни без основания, без привязки к делу,— большой соблазн должен быть, как же это не соблазнились вы? В дело-то как вросли, а?

Но наконец он все-таки поймал мысль, которая тревожила его:

— Видите ли, что интересно: вот мы живем сыто и богато, а под нами водятся люди особых свойств, подкапывают нашу жизнь. Люди — злые, как вы рассказываете о них в книжках ваших, люди — без жалости. Ведь ежели начнет этих людей снизу-то горбом выпирать,— покатится вся наша жизнь сверху вниз...

Говорил он улыбаясь, но глаза его, позеленев, смотрели на меня сухо и пронзительно. Сознавая бесполезность моих слов, я довольно резко сказал, что жизнь насквозь несправедлива, а потому — непрочна, и что — рано или поздно — люди изменят не только формы, но и основания своих взаимоотношений.

— Непрочна! — повторил он, как бы не расслышав слова — несправедлива.— Это верно — непрочна. Знаки непрочности ее весьма заметны стали.

И — замолчал. Посидев минуту, две, я стал прощаться, убежденный, что знакомство наше пресеклось и уж больше не буду я пить чай у Бугрова с горячими калачами и зернистой икрой. Он молча и сухо пожал руку мне, но в прихожей неожиданно заговорил, вполголоса, напряженно глядя в угол, где сгустился сумрак:

— А ведь человек — страшен! Ой, страшен человек! Иной раз — опамятуешься от суеты дней, и вдруг — сотрясется душа, бессловесно подумаешь — о господи! Неужто все — или многие — люди в таких же облаках темных живут, как ты сам? И кружит их вихорь жизни так же, как тебя? Жутко помыслить, что встреч-

ный на улице, чужой тебе человек проникает в душу твою и смятение твое понятно ему...

Говорил он нараспев, и странно было мне слушать это признание.

— Человек словно зерно под жёрновом, и каждое зерно хочет избежать участи своей,— ведь вот оно, главное-то, около чего все кружатся и образуют вихорь жизни...

Он замолчал, усмехаясь, а я сказал первое, что пришло в голову:

— С такими мыслями — трудно жить!

Он чмокнул губами.

Вскоре он снова прислал за мною лошадь, и, беседуя с ним, я почувствовал, что ему ничего не нужно от меня, а — просто — скучно человеку и он забавляется возможностью беседовать с кем-то иного круга, иных мыслей. Держался он со мною всё менее церемонно и даже начал говорить отеческим тоном. Зная, что я сидел в тюрьме, он заметил:

— Это — зря! Ваше дело — рассказывать, а не развязывать...

— Что значит — развязывать?

— То и значит: революция — развязка всех узлов, которые законами связаны и людей скрепляют для дела. Или вы — судья, или — подсудимый...

Когда я сказал ему о назревающей неизбежности конституции, он, широко улыбаясь, ответил:

— Да ведь при конституции мы, купечество, вам, беспокойным, еще туже, чем теперь, гайки подвинтим!

Но о политике он беседовал неохотно и пренебрежительно, тоном игрока в шахматы об игре в шашки.

— Конечно,— всякая шашка хочет в дамки пролезть, а все другие шашки от этого проигрывают. Дело — пустенькое. В шахматах — там суть игры — мат королю!

Несколько раз он беседовал с царем Николаем.

— Не горяч уголек. Десяток слов скажет — семь не нужны, а три — не его. Отец тоже не великого ума был, а все-таки — мужик солидный, крепкого запаха, хозяин! А этот — ласков, глаза бабьи...

Он прибавил зазорное слово и вздохнул, говоря:

— Не по земле они ходят, цари, не знают они, как на улице живут. Живут, скворцы в скворешнях, во дворцах своих, но даже тараканов клевать не умеют и — выходят из моды. Не страшны стали. А царь — до той минуты владыка, покуда страшен.

Говорил он небрежным тоном, ленивенькими словами, безуспешно пытаясь поймать ложкой чаинку в стакане чая.

Но вдруг, отбросив ложку, приподнял брови, широко открыл зеленые, болотные глаза.

— Вот над этим подумать стоит, господин Горький,— чем будем жить, когда страх пропадет, а? Пропадает страшок пред царем. Когда приезжал к нам, в Нижний, отец Николая, так горожане молебны служили, благодарственные богу, за то, что царя увидать довелось. Да! А когда этот, в 96-м, на выставку приехал, так дворник мой, Михайло, говорит: «Не велик у нас царек! И лицом неказист и роста недостойного для столь большого государства. Иностранные-то, глядя на него, поди-ко, думают: ну, какая там Россия, при таком неприглядном царе!» Вот как. А он, Михайло, в охране царской был. И никого тогда не обрадовал царев наезд,— как будто все одно подумали: «Ох, не велик царек у нас!»

Он взглянул в угол на умирающий сапфировый огонек лампады, встал, подошел к двери и, приоткрыв ее, крикнул:

— Лампаду оправьте, эй!

Бесшумно, как всегда, вошла, низко кланяясь, темная девица, встала на стул, оправляя лампаду, Бугров смотрел на ее стройные ноги в черных чулках и ворчал:

— Что это у вас в этой горнице лампада всегда плохо горит?

Девица исчезла, уплыла, точно обрывок черной тучи.

— Вот и о боге — тоже,— заговорил Бугров.— Даже в нашем быту, где бога любят и берегут больше, чем у вас, никониан,— даже у нас, в лесах, покачнулся бог! Величие его будто бы сократилось. Любовности нет к нему, и как бы в забвение облекается. Отходит от

людей. Фокусы везде, фокусами заслоняют чудо жизни, созданной им. Вот послушайте случай.

Вдумчиво, крепкими, тяжелыми словами, он рассказал: в глухое лесное село Заволжья учитель привез фонограф и в праздник в школе стал показывать его мужикам. Когда со стола, из маленького деревянного ящика, человечий голос запел знакомую всем песню, мужики встали, грозно нахмурясь, а старик, уважаемый всем селом, крикнул:

— Заткни его, так твою мать!

Учитель остановил аппарат, тогда мужики, осмотрев ящик и цилиндр, решили:

— Сжечь дьяволову игрушку!

Но учитель предусмотрительно запасся двумя баликами церковных песнопений. Он с трудом уговорил мужиков послушать еще, и вот ящик громко запел «Херувимскую». Это изумило слушателей до ужаса, старик же надел шапку и ушел, толкая всех, как слепой; за ним, как стадо за пастухом, молча ушли и мужики.

— Старик этот,— строго рассказывал Бугров, глядя в лицо мне прищуренными глазами,— придя домой, сказал своим: «Ну, кончено. Собирайте меня, умереть хочу». Надел смертную рубаху, лег под образа и на восьмой день помер — уморил себя голодом. А село с той поры обзавелось бесшабашными какими-то людьми. Орут, не понять — что, о конце мира, антихристе, о чёрте в ящике. Многие — пьянствовать начали.

Постучав по столу пухлым пальцем, он продолжал с тревогой и горечью:

— Бог дал человеку лошадь для работы, а тут по улице бежит вагон — кем движим? Неизвестно. Я ученых спрашивал: «Это что значит — электричество?» — Сила, говорят, а какая — неведомо. Даже — ученые! А каково мужику видеть это? Ведь ему не скажешь, что бог вагоны по улицам гоняет. А что не от бога, то — от кого? То-то. Да тут еще телефоны и всякое другое. У меня артельщик — умный парень, грамотей — до сего дня, к телефону подходя,— крестится, а поговорив, руки мылом моет — вон как! Всё — фокусы. Польза в них есть, я — не против этого, я только спрашиваю: как понять это мужику, лесному-то человеку? Зверя

он тонко понимает, рыбу, птицу, пчелу, но — если деревянный ящик молитвы поет, значит — зачем церковь, поп и всё прочее? Как будто не надобно церковь?! И — где в этом бог? Это он, что ли, ангела в ящик посадить изволил? Вопрос!

Откусив кусочек фруктового сахара, Бугров жадно выпил чай, вытер усы и продолжал, убедительно, тихо:

— Наступило время опасное, больших тревог души время! Вот вы говорите — революция, воскресение всех сил земли. Какие силы-то, какие, откуда они? Народ этого не понимает. Вы забегаете вперед да вперед и всё дальше, а мужик отстает всё больше. Вот о чем подумай...

И вдруг предложил, почти весело:

— Поедемте со мною в Городец, разгуляемся?

Как земля, всякий человек облечен своей атмосферой, невидимым облаком истечений его энергий, незримым дымом горения его души.

Бугрова окружала атмосфера озабоченной скуки, но порою эта скука превращалась в медленный вихрь темных тревог. Он плутал, кружился по пустым своим комнатам, как пленный зверь, давно укрощенный усталостью, останавливался пред картиной Розы Бонёр и, касаясь тупым желтым пальцем полотна, говорил задумчиво:

— На земле-то, в садах у нас, будто и не бывает таких затейных цветов. Хороши. Не видал таких...

Казалось, что он живет, как человек, глазам которого надоело смотреть на мир и они слепнут, но иногда всё вокруг его освещалось новым светом, и в такие минуты старик был незабвенно интересен.

— Вот говорите,— Маякин — лицо выдуманное? А Яшка Башкиров доказывает, что Маякин — это он, Башкиров. Врет! Он — хитер, да не так умен. Это я к тому, что цветы можно выдумать, а человека — нельзя! Сам себя он может выдумать, и это будет — горе его. Вы же сочинить не можете человека. Значит — похожих на Маякина вы видели. И, ежели имеются, живут люди, похожие на него,— хорошо!

Он нередко возвращался к этой теме.

— В театрах показывают купцов чудаками, с насмешкой. Глупость. Вы взяли Маякина серьезно, как человека, достойного внимания. За это вам — честь.

И, время от времени, всё спрашивал:

— Так, значит, вы в ночлежном доме живали? До чего это не похоже на правду!

Однажды он спросил:

— А что вы — различие между людями видите? Примерно — различие между мною и матросом с баржи?

— Не велико, Николай Александрович.

— Вот и мне тоже кажется: не велико для вас различие между людей. Так ли это? По-моему, очень тонко надо различать, кто — каков. Надобно подсказывать человеку, что в нем его, что — чужое. А вы — как в присутствии по воинской повинности: годен — негоден! Для чего же годен-то? Для драки?

Пристукивая ребром ладони по столу, он сказал:

— В человеке — одна годность: к работе! Любит, умеет работать — годен! Не умеет? Прочь его! В этом вся премудрость, с этим безо всяких конституций можно прожить.

— Дай-ко ты мне власть,— говорил он, прищурив здоровый глаз до тонкости ножевого лезвия,— я бы весь народ разбередил, ахнули бы и немцы и англичане! Я бы кресты да ордена за работу давал — столярам, машинистам, трудовым, черным людям. Успел в своем деле — вот тебе честь и слава! Соревнуй дальше. А что, по ходу дела, на голову наступил кому-нибудь — это ничего! Не в пустыне живем, не толкнув — не пройдешь! Когда всю землю поднимем да в работу толкнем — тогда жить просторнее будет. Народ у нас хороший, с таким народом горы можно опрокинуть, Кавказы распахать. Только одно помнить надо: ведь вы сына вашего, в позывной час плоти его, сами к распутной бабе не поведете — нет? Так и народ нельзя сразу в суету нашу башкой окунать — захлебнется он, задохнется в едком дыме нашем! Осторожно надо. Для мужика разум вроде распутной бабы — фокусы знает, а душу не ласкает. У мужика в соседях леший живет, под печью — домо-

вой, а мы его, мужика, телефоном по башке. Примите в расчет вот что: трудно понять, кое место — правда, кое — выдумка? Когда выдумка-то издаля идет, из древности,— так она ведь тоже силу правды имеет! Так что, пожалуй, леший, домовой — боле правда, чем телефон, фокус сего дня...

Встал, взглянул в окно и проворчал:

— Экое дурачье!

Постучал кулаком по переплету рамы, а потом, укоризненно качая головою, погрозил кому-то пальцем... И, засунув руки в карманы, стоя у окна, предложил:

— Желаете — расскажу случай? Может, пригодится вам? Жила в Муроме девица необыкновенно красива, до удара в душу. Сирота, жила у дяди, а дядя — приказчик на пристани, воришка, скряга, многодетен и вдов; племянница у него за няньку, за кухарку и за дворника. Было ей уже двадцать лет, и, по силе ее красоты, сватались к ней даже весьма денежные люди, ну — дядя не выдавал ее, невыгодно ему было даровой работницы лишиться. Влюбился в нее чинуша один — спился, пропал. Говорили — поп старался захороводить ее, ему от этого тоже ничего не прибыло, кроме вреда и горя. Была она боголюбива, вся радость у нее — в церковь ходить да книги церковные читать. Любила цветы,— прекрасные цветы развела и в горницах и в палисаднике. Скромная, тихая, как монашка, и умилительной приятности глаза.

Помолчав, почесав скулу, он странно мигнул здоровым глазом и повторил:

— О таких глазах в сказках говорится хорошо. И вот увидал ее хозяин дяди, купец, старик изрядно распутной жизни, увидал и — тотчас обезумел, ошарашило его. Целую зиму охаживал — не поддается, даже как бы не понимает ничего. И никакими деньгами невозможно взять ее. Тогда он подстроил так, чтобы дядя послал ее в Москву, по делам, а в Москве уговорил девицу ехать с ним в «Яр». И как приехала она в идольское капище это, присмотрелась маленько,— сразу как бы нагими увидала всех и себя самое. Говорит старику: «Поняла я, чего вы хотите, и на всё согласна, дайте только хоть месяц вот так великолепно пожить».

Тот, конечно, обрадовался и предлагает ей всё что угодно, а сейчас — едем в баню! «Сейчас, говорит она, не могу я, завтра, говорит, суббота, схожу к вечерней, ко всенощной, а после — пожалуйте». И вот — прошло с той поры боле пяти лет, и теперь она самая дорогая распутница по Москве...

Он медленно откачнулся от стены, сел на стул, задумчиво и тихо говоря:

— Конечно, случай не из редких, если забыть, какова девушка была. Однако — поглядите, как силен соблазн фокусов! Совокупите случай этот с тем, что раньше говорено, и подумайте: живет душа в плену темном великой скуки, и вдруг ей покажут такое... Вот он, рай! А это не рай, это — пыль! И не на жизнь, а — на час! Воротиться же от фокусов к домовому, к лешему — охоты нет и немыслимо. И похоронена душа в земной пыли.

Он много знал таких похорон, все они были однообразны, и рассказывал он их всегда скучно, всегда так, как будто думал о другом, более значительном и глубоком. Смотрел в окна. Стекла их снаружи покрыты пылью, закопчены дымом пароходов, сквозь их муть видна темная вода Волги, заставленной пристанями, баржами. Всюду на берегу — горы товаров, ящики, бочки, мешки, машины. Шипят и свистят пароходы, в воздухе — облака дыма, на камнях набережной — тучи пыли, сора, лязг и грохот железа, крики людей, дребезжат телеги, непрерывно идет жизнь, гудит большая работа.

А один из людей, которые, создав эту суетливую, муравьиную жизнь, из года в год расширяют и углубляют ее напряжение,— смотрит на свою работу сквозь грязное стекло равнодушным взглядом чужого человека и задумчиво повторяет:

— Не сразу... не вдруг...

О работе он говорил много, интересно, и всегда в его речах о ней звучало что-то церковное, сектантское. Мне казалось, что к труду он относится почти религиозно, с твердой верой в его внутреннюю силу, которая со

временем свяжет всех людей в одно необоримое целое, в единую разумную энергию,— цель ее: претворить нашу грязную землю в райский сад.

Это совпадало с моим отношением к труду; для меня труд — область, где воображение мое беспредельно, я верю, что все тайны и трагедии нашей жизни разрешатся только трудом и только он осуществит соблазнительную мечту о равенстве людей, о справедливой жизни.

Но скоро я убедился, что Бугров не «фанатик дела», он говорит о труде догматически, как человек, которому необходимо с достбинством заполнить глубокую пустоту своей жизни, насытить ненасытную жадность душевной скуки. Он был слишком крупен и здоров для пьянства, игры в карты, был уже стар для разврата и всякого хлама, которым люди его стада заполняют зияние своей душевной пустоты.

Однажды в вагоне, по дороге в Москву, ко мне подошел кондуктор и сказал, что Бугров просит меня к нему в купе. Мне нужно было видеть его, я пошел.

Он сидел, расстегнув сюртук, закинув голову, и смотрел в потолок на вентилятор.

— Здорово! Садитесь. Вы что-то писали мне о босяках, не помню я...

Дмитрий Сироткин, пароходовладелец, старообрядец, кажется, «австрийского согласия», впоследствии — епископ, нижегородский городской голова, издатель журнала «Церковь», умница и честолюбец, бойкий, широкий человек, предложил мне устроить для безработных дневное пристанище — это было необходимо того ради, чтоб защитить их от эксплуатации трактирщиков. Зимою из ночлежного дома выгоняли людей в 6 часов утра, когда на улицах еще темно и делать нечего, «босяки» и безработные шли в «шалманы» — грязные трактиры, соблазнялись там чаем, водкой, напивали и наедали за зиму рублей на шестьдесят. Весною, когда начиналась работа на Оке и Волге, трактирщики распоряжались закупленной рабочей силою, как им было угодно, выжимая зимние долги. Мы сняли помещение, где люди могли сидеть в тепле, давали им порцию чая за две копейки, фунт хлеба, организовали маленькую библиотеку, поставили пианино и устраивали в празд-

ничные дни концерты, литературные чтения. Наше пристанище помещалось в доме с колоннами, его прозвали «Столбы», оно с утра до вечера было набито людьми, а «босяки» чувствовали себя подлинными хозяевами его, сами строго следили за чистотой и порядком.

Разумеется, всё это стоило немалых денег, и я должен был просить их у Бугрова.

— Пустяковина всё это,— сказал он, вздохнув.— На что годен этот народ? Негодники все, негодяи. Вон они даже часов не могут завести у себя.

Я удивился.

— Каких часов?

— В ночлежном у них часов нет, времени не знают. Испортились часы там...

— Так вы велите починить их или купите новые.

Бугров рассердился, заворчал:

— Всё я да я! А сами они — не могут?

Я сказал ему, что будет очень странно, если люди, у которых нет рубах и часто не хватает копейки на хлеб, будут, издыхая с голода, копить деньги на покупку стенных мозеровских часов.

Это очень рассмешило его, открыв рот и зажмурив глаза, он минуты две колыхался, всхлипывая, хлопая руками по коленям, а успокоясь, весело заговорил:

— Ох, глупость я сморозил! Ну, знаете, это со мной бывает,— вдруг вижу я себя бедным и становлюсь расчетлив, скуп. Другие из нашего брата фальшиво прибедняются, зная, что бедному — легче, душе свободнее, с бедного меньше спрашивают и люди и бог. У меня — не то: я начисто забываю, что богат, пароходы имею, мельницы, деньги, забываю, что впрягла меня судьба в большой воз. В душе я не скуп, деньгами не обольщен, просят — даю.

Крепко вытер платком мокрый глаз и продолжал задумчиво:

— А бывает, хочется мне в бедном трактире посидеть и чаю со ржаным хлебом попить, так чтоб и крошки все были съедены. Это бы можно понять, если б я когда-то бедность испытал, но я родился богат. Богат, а — есть охота милостину попросить, самому понять, как туго бедность живет. Этого фокуса я не понимаю,

и вам, наверное, не понять. Эдакое, слышал я, только у беременных баб бывает...

Отвалясь на спинку дивана и закрыв глаза, он тихо бормотал:

— Капризен человек... чуден! Вот Гордей Чернов бросил всё свое богатство и дело на ходу,— в монастырь сбежал, да еще на Афон, в самую строгость. Кириллов, Степа, благочестиво и мудро жил, скромен и учен, до шести десятков дожил,— закутил, поставил себя на дыбы, как молодой гуляка, на позор и смех людям отдал. «Всё, говорит, неправда, всё — фальшь и зло, богатые — звери, бедные — дураки, царь — злодей, честная жизнь — в отказе от себя!» Да. Вот — Зарубин тоже. Савва Морозов, большого ума человек, Николай Мешков — пермяк, с вами, революционерами, якшаются. Да — мало ли! Как будто люди всю жизнь плутали в темноте, чужими дорогами и вдруг — видят: вот она где, прямая наша тропа. А — куда тропа эта ведет, однако?

Он замолчал, тяжко вздохнув. За окном, в лунном сумраке, стремительно бежали деревья. Железный грохот поезда, раздирая тишину полей, гнал куда-то темные избы деревень. Испуганно катилась и пряталась в деревьях луна, вдруг выкатывалась в поле и медленно плыла над ним, усталая.

Перекрестясь, Бугров сказал угрюмо:

— У нас, в России, особая совесть, она вроде как бешеная. Испугалась, обезумела, сбежала в леса, овраги, в трущобы, там и спряталась. Идет человек своим путем, а она выскочит зверем — цап его за душу. И — каюк! Вся жизнь — прахом, хинью... Худое, хорошее — всё в один костер...

Он снова перекрестился, зажмурясь. Я стал прощаться с ним.

— Спасибо, что зашли! Вот что — приходите-ка завтра, в час, к Тестову в трактир, пообедаем. Савву позовите — ладно?

Когда Савва Морозов и я пришли к Тестову, Бугров уже сидел в отдельном кабинете у накрытого стола, два

официанта в белом, как покойники в саванах, почтительно и молча суетились, расставляя тарелки с закуской. Бугров говорил одному из них, называя его по имени и отечеству:

— Дашь мне вино это рейнское — как его?

— Знаю-с!

— Здорово, Русь,— приветствовал он нас, а Морозов, пожимая ему руку, говорил:

— Пухнешь ты, Бугров, всё больше, скоро тебе умирать...

— Не задержу...

— Отказал бы мне миллионы-то свои...

— Надо подумать...

— Я бы им нашел место...

Согласно кивнув головою, Бугров сказал:

— Ты — найдешь, честолюбец! Ну-тко, садитесь!

Савва был настроен нервно и раздраженно; наклонив над тарелкой умное татарское лицо, он торопливо, дробной речью, резкими словами стал передавать рассказ какого-то астраханского промышленника о том, как на Каспии истребляют сельдь, закапывая в песок берегов миллионные избытки улова.

— А из этого можно бы приготовить прекрасный удобрительный тук, рыбью чешую превратить в клей...

— Всё ты знаешь,— вздохнув, сказал Бугров.

— А вот такие, как ты, сидят идолами на своих миллионах и ничего не хотят знать о нуждах земли, которая позволяет им сосать ее. У нас химическая промышленность не развита, работников для этого дела нет, нам необходимо устроить исследовательский институт химии, специальные факультеты химии нужны... А вы, дикари...

— Ну, начал ругаться — примирительно и ласково сказал Бугров.— Ты — ешь, добрее будешь!..

— Есть — выучились, а когда работать начнем?

Бугров попробовал вино, громко чмокнул и заговорил, глядя в бокал:

— Очень много ты, Савва, требуешь от людей, они от тебя меньше хотят. Не мешал бы ты им жить.

— Если б им не мешать, они бы и по сей час на четырех лапах ходили...

— Никогда мне этого не понять! — с досадой воскликнул Бугров.— Помыслили праздные люди: откуда человек? Решили: от обезьяны! И — радуются!

С удивлением и горечью он спросил:

— Неужто ты веришь в эту глупость? Да — ведь если б это и правда была, так ее надо скрыть от людей.

Савва взглянул на него прищурясь и — не ответил.

— По-моему, человека не тем надо дразнить, что он был скот, а тем, что был он лучше того, каков есть...

Морозов усмехнулся, грубо отвечая:

— Что ж,— помолодеет старуха, когда ты напомнишь ей, что она девкой была?

Ели нехотя, пили мало, тяжелое раздражение Морозова действовало подавляюще. Когда принесли кофе, Бугров участливо спросил:

— Ты что, Савва? Али плохо живешь? На фабрике неладно?

Круто повернувшись к нему, Морозов заговорил тоном старшего:

— У нас — везде неладно: на фабриках, на мельницах, а особенно — в мозгах!

И начал говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве банков, о том, что промышленники некультурны и не понимают своего значения, о законности требований рабочих и неизбежности революции.

— Разгорится она преждевременно, сил для нее — нет, и будет — чепуха!

— Не знаю, что будет,— задумчиво сказал Бугров.— Жандарм нижегородский, генерал, дурачок, тоже недавно пугал меня. Дескать — в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме — шевелятся рабочие. Что ж, Савва Тимофеев, ты сам говоришь — это законно! Скажем правду — рабочий у нас плохо живет, а — рабочий хороший!

— Ну не так уж,— устало проворчал Морозов.

— Нет — так! Народ у нас — хороший. С огнем в душе. Его дешево не купишь, пустяками не соблазнишь. У него, брат, есть эдакая девичья мечта о хорошей жизни, о правде. Ты — не усмехайся,— девичья!

Я вот иной раз у себя на даче, на Сейме, беседую с ними, по вечерам, в праздники. Спросишь: «Что, ребята, трудно жить?» — «Трудновато».— «Ну а как, по-вашему, легче-то можно?» И я тебе скажу — очень умно понимают они жизнь. Может, не своим умом, а — научены, книжки у них появились, листочки из Сормова... Вот — Горький хорошо знает эти дела. Деньги берет у меня на листочки. Я — даю...

— Не хвастайся,— сказал Морозов.

— Нимало! — спокойно возразил старик.— Против меня это, но я — даю! Конечно — гроши. Но, ежели и ничтожные цифры в этом деле заметны,— что было бы, если б мы с тобой все капиталы пустили в дело это?

— Вот пусти-ка...

— А — что? Соблазн в этом есть. Это будет озорство, а в озорстве — всегда соблазн есть.

И, постукивая кулаком по колену Морозова, наклонясь на стуле, точно для прыжка, он продолжал:

— Конечно — озорство, когда человек отказывается от себя самого, это я понимаю! Но — ведь отказываются, полагая, что тут — святость, праведность. Я таких знаю. И, может, даже глупости некоторых — завидую. Вот Горький рассказывал, что даже князь один, Кропоткин, что ли... Эх, разве не соблазн — сбросить с себя хомут...

— Чепуха всё это, Николай Александров,— сказал Савва.

Я внимательно наблюдал за Бугровым. Он мог выпить много и не бывал пьян, а тут он выпил лишь один бокал. Но лицо его болезненно разгорелось, болотные глазки, ярко позеленев, возбужденно блестели. И, как бы задыхаясь, он говорил торопливо:

— Издревле человек чувствовал, что жизнь — непрочна, издавна хорошие люди бежали ее. Ты сам знаешь — богатство не велика сладость, а больше — обуза и плен. Все мы — рабы дела нашего. Я трачу душу, чтоб нажить три тысячи в день, а рабочий — тридцати копейкам рад. Мелет нас машина в пыль, мелет до смерти. Все — работают. На кого же? Для чего? Вот что непонятно — на кого работаем? Я — работу люблю. А иной раз вздумаешь, как спичку в темноте ночи заж-

гешь,— какой все-таки смысел в работе? Ну — я богат. Покорно благодарю! А — еще что? И на душе — отвратно...

Вздохнув, он повторил иным словом:

— Отвратительно.

Морозов встал, подошел к окну, говоря с усмешкой:

— Слышал я эти речи и от тебя и от других...

— Святость, может, просто — слабость, да она душе сладка...

Тяжелый разговор оборвался, оба молчали. Он вызвал у меня странное ощущение: как будто в рот и в мозг мне патоки налили. У меня не было причин сомневаться в искренности Бугрова, но я не ожидал услышать из его уст сказанное им. Да, он и до этого дня казался мне человеком, жизнь которого лишена внутреннего смысла, идет скучно, темным путем, покорно подчиняясь внешним толчкам привычных забот и отношений. Но все-таки я думал, что человеческий труд высоко оценен и осмыслен удельным князем нижегородским.

Было так странно знать, что человек этот живет трудом многих тысяч людей, и в то же время слышать, что труд этот — не нужен ему, бессмыслен в его глазах.

Невольно подумалось:

«Так жить и чувствовать могут, вероятно, только русские люди...»

Однажды я встретил его в маленькой деревушке среди заволжских лесов. Я шел на Китеж-озеро, остановился в деревне ночевать и узнал, что «ждут Бугрова»,— он едет куда-то в скиты.

Я сидел на завалине избы, у околицы; был вечер, уже пригнали стадо, со двора доносился приторный запах парного молока. В раскаленном небе запада медленно плавилась темно-синяя туча, напоминая формой своей вырванное с корнем дерево. В опаловом небе над деревней плавали два коршуна, из леса притекал густой запах хвои и грибов, предо мною вокруг березы гудели жуки. Усталые люди медленно возились на улице и во дворах. Околдованная лесною тишиной, замирала полусонная, сказочная жизнь неведомых людей.

Когда стемнело — в улицу деревни въехала коляска, запряженная парой крупных вороных лошадей, в коляске развалился Бугров, окруженный какими-то свертками, ящиками...

— Вы как здесь? — спросил он меня.

И тотчас предложил:

— Айда со мною! Хороших девиц увидите. Тут, недалеко, скиток есть, приют для сирот, рукодельям девицы обучаются...

Кучер напоил лошадей у колодца, и мы поехали, сопровождаемые молчаливыми поклонами мужиков. Кланялись в пояс, как в церкви пред образом глубоко чтимого святого. Старики и старухи бормотали:

— Милостивец... Кормилец... Дай тебе господи...

И мычание коров тоже казалось насыщено благодарным умилением.

Проехав деревню бойкой рысью, лошади осторожно своротили в лес и пошли темной избитой дорогой, смешивая запах своего пота с душным запахом смолы и цветов.

— Хороши здесь леса, сухие, комара нет,— говорил Бугров благодушно и обмахивал лицо платком.— Любопытный вы человек, вишь куда забрались! Много чего будет у вас вспомнить на старости лет,— вы и теперь со старика знаете. А вот наш брат одно знает: где, что да почем продается...

Он был настроен весело, шутил с кучером, рассказывал мне о жизни лесных деревень.

Выехали на маленькую поляну, две черных стены леса сошлись под углом, в углу, на бархатном фоне мягкой тьмы притаилась изба в пять окон и рядом с нею двор, крытый новым тесом. Окна избы освещал жирный желтый огонь, как будто внутри ее жарко горел костер. У ворот стоял большой лохматый мужик с длинной жердью, похожей на копье, и всё это напоминало какую-то сказку. Захлебываясь, лаяли собаки, женский голос испуганно кричал:

— Иван, уйми собак-то, а, господи!

— Засуетилась,— ворчал Бугров, сдвинув брови.— Господ помнит! Много еще страха пред господами живет в народе...

Судорожно изгибаясь, часто кивая головою, у ворот стояла маленькая старушка, темная, как земля, она, взвизгивая, хватала руку Бугрова:

— Батюшка... принесли ангелы....

Ангелы, отфыркиваясь, били копытами по мягкой земле и бряцали сбруей.

На крыльцо выплыла дородная женщина, одетая в сарафан, и низко поклонилась, прижав руки ко грудям, за нею, посмеиваясь и шурша ситцами, толпились девочки разных возрастов.

— Величайте, дуры! — густо крикнула женщина.

Девочки, стиснутые в плотный ком, нестройно запели:

Светел месяц в небеси,— светел!..

— Не надо,— сказал Бугров, махнув рукой,— который раз говорю тебе, Ефимья,— не надо этого! Здорово, девицы!

Ему ответил хор веселых возгласов, и волною скатился со ступеней крыльца к животу Бугрова десяток подростков.

Женщина что-то бормотала; он, гладя головки детей, сказал:

— Ну ладно, ладно! Тише, мыши! Гостинцев привез... ну, ну. Задавите вы меня. Вот — знакомый мой, вот он опишет вас, озорство ваше...

Легонько толкая детей вперед, он поднимался на крыльцо, а женщина вскрикивала:

— Тише, вам говорят!

Вдруг, как-то неестественно взмахнув руками, зашипела старуха, и тотчас дети онемели, пошли в избу стройно, бесшумно.

Большая горница, куда мы вошли, освещалась двумя лампами на стенах, третья, под красным бумажным абажуром, стояла на длинном столе среди чайной посуды, тарелок с медом, земляникой, лепешками. Нас встретила в дверях высокая красивая девица, держа в руках медный таз с водою, другая, похожая на нее, как сестра, вытянув руки, повесила на них длинное расшитое полотенце.

Балагуря весело, Бугров вымыл руки, вытер мокрым полотенцем лицо, положил в таз две золотых монеты, подошел к стене, где стояло штуки четыре пяльцев, причесал пред маленьким зеркалом волосы на голове, бороду и, глядя в угол, на огонь лампады пред образами в большом киоте с золотыми «виноградами», закинув голову, трижды истово перекрестился.

— Еще здравствуйте!

Девочки ответили ему бойко и громко,— тотчас же в дверях встала, содрогаясь, старуха, потрясла змеиной головою, исчезла, подобно тени.

— Ну как, девушки, Наталья-то озорничает? — спрашивал Бугров, садясь за стол в передний, почетный угол.

Дети жались к нему смело и непринужденно. Все они были румяны, здоровы, и почти все миловидны. А та, что подавала воду, резко выделялась стройностью фигуры и строгой красотой загорелого лица. Особенно хороши были ее темные глаза, окрыленные густыми бровями, они как будто взлетали вверх, смелым взмахом.

— Вот,— указывая на нее пальцем, сказал мне Бугров,— эта первая греховодница, нестерпимо озорует! Я ее в скиты отправлю, в глушь лесную на Иргиз, там — медведи стадами ходят...

Но, вздохнув, почесывая скулу, он задумчиво продолжал:

— Ее бы в Москву свезти, учить ее надо, необычен голос у ней. А родитель, лоцман, вдовец, не соглашается: не дам, говорит, чадо свое никонианам на забаву...

Огромный волосатый мужик, тяжело топая, надув щеки, внес ярко начищенный ведерный самовар, грохнул его на стол так, что вся посуда, вздрогнув, задребезжала, изумленно вытаращил глаза, сунул руки в шапку рыжих волос и, как бы насильно, низко склонил голову.

Пришла Евфимия, груди у нее выдавались, как два арбуза, она наложила на них коробок с конфектами, придерживая их двойным подбородком; за нею три девочки несли тарелки с пряниками и орехами.

Бугров, разглядывая девиц, стал светлее, моложе, он негромко говорил мне:

— Вон та, курносенькая, голубые глаза, особо ин-

тересна! С лица будто — веселая, а на удивление богомольна и редкая мастерица. Воздух она вышила шелками, ангела с пальмом — удивительно! До умиления боголепно. С иконы взяла, но — краски свои...

Так он рассказывал почти о всех воспитанницах своих, находя в каждой то или иное ценное качество. Девочки держались свободно и оживленно, было видно, что приезд Бугрова — праздник для них, а дородная Евфимия не страшна им. Она, сидя на конце стола, сосредоточенно и непрерывно жевала пряники, конфекты, потом, тяжко вздохнув, разливала чай и снова молча, не спеша, ела земляннику с медом, растерев ее на тарелке в кашу. Работала она, не обращая внимания на девиц и гостей, видимо, никого и ничего не слыша, поглощенная своим делом. Девочки шумели всё резвее, но каждый раз, когда в дверях мелькала темная, искаженная судорогами старуха,— в обширной гулкой комнате становилось тише, веяло холодом.

После чая красавица Наталья, взяв гусли, запела:

Был у Христа-младенца сад.

Пела она неверно, на церковный, унылый мотив, очевидно, не зная музыки, написанной на эти слова. Она придавала им характер мрачный, даже мстительный, пела, глядя в угол, ее летящие глаза сверкали сурово. Но голос ее, низкий и обширный, был поистине красив, странно богат оттенками. Забавно было видеть, как высокие ноты заставляют ее приподниматься на стуле, а низкие — опускать голову и прятать ноги под стул. Гусли были настроены плохо, но певица, должно быть, не слышала этого, смуглые руки ее щипали струны резко и сильно.

Бугров слушал, сидя неподвижно, приоткрыв рот. Парализованное веко отвисло еще более, и непрерывной влажной полоской из глаза текла слеза. Смотрел он в черный квадрат окна, оно упиралось во тьму ночи, его, как и два других, украшали расшитые полотенца, окна казались киотами, в которых вставлены закоптевшие иконы. Если внимательно и долго смотреть в эту черноту, из нее возникают огромные лица без глаз.

В комнате стало душно, бревенчатые, чисто выскобленные стены дышали запахом мыла и пакли, а над столом поднимался тонкий аромат меда, земляники, жирный запах сдобного теста. Девушки примолкли, опьянев от обильной еды, пение подруги убаюкивало их, одна уже заснула, сладко всхрапывая, положив голову на плечо подруги. Монументом сидела Евфимия, щеки ее блестели, точно смазанные маслом, и так же блестела желтая кожа голых до локтей, круглых рук.

А девушка, упорно глядя в угол, дергала струны и всё пела сердитым голосом грустные и нежные слова:

Кольцо души-деви-и-и-цы
Я в мор-ре ур-ронил...

— Ну,— спасибо!— вдруг и как-то тревожно, слишком громко сказал Бугров.

В двери закачалась старуха, прошипев:

— Шпать!

— Идите, девоньки, спокойной ночи! Ефимья — работы покажи!

Провожая детей, он целовал их головы, а когда к нему подошла Наталья, сказал, положив ладонь на голову ей:

— Хорошо поешь... Всё лучше ты поешь! Характер у тебя — плохой, а душа... Ну, иди с богом...

Она улыбнулась,— дрогнули ее брови,— и плавно, легко пошла к двери, а старик, глядя вслед ей, почесал скулу и как-то жалобно, по-ребячьи обиженно, сказал:

— Вишь какая... да-а...

Евфимия внесла охапку аккуратно сложенных тряпок и разложила их на пяльцы, на стол под лампой.

— Поглядите-ко,— предложил Бугров, не отрывая глаз от двери.

Я стал рассматривать вышивки для подушек, туфель, рубах, воздýхи, полотенца. Всё это было сделано очень ярко, тонко, повторяя заставки и концовки старопечатных книг, а иногда рисунки — премии к мылу Брокара. Но одна вышивка удивила меня силой и

странностью рисунка: на сером куске шёлка был искусно вышит цветок фиалки и большой черный паук.

— Это одна покойница вышила,— нелепо и небрежно сказала Евфимия.

— Чего это? — спросил Бугров, подходя.

— Варина работа...

— А... Да, умерла девунька. Горбатенькая была. Чахотка ее съела. Чертей видела, одного даже вышила шерстями, сожгли вышивку. Сирота. Отец без вести пропал, утонул, что ли. Ну, Ефимья, спать укладывай нас...

Спать мы легли на поляне, под окнами избы. Бугров — в телеге, пышно набитой сеном, я — положив на траву толстый войлок. Раздеваясь, старик ворчал:

— Глупа Ефимья, а другой, поумнее — нет. Тут бы настоящую учительшу надо, образованную, да — отцы, матери не согласны. Никонианка будет, еретица. Благочестие наше не в ладах с разумом живет, прости господи! Да еще — старушка эта... не хочет умереть. Все сроки пережила. Вредная старушка. Для страха детям приставлена. А может, ради худой славы моей... Эх...

Он встал на колени и, глядя на звезды, шевеля губами, начал истово креститься, широко размахивая рукою, плотно прижимая пальцы ко лбу, груди и плечам. Тяжело вздыхал. Потом грузно свернулся на бок, окутался одеялом и крякнул:

— Хорошо. Цыганом бы пожить. А вы — не молитесь богу? Этого я не могу понять. А чего не понимаю, того и нет для меня, так что, думается мне, есть и у вас свой бог... должен быть! Иначе — опереться не на что. Ну, спим...

В непоколебимой тишине леса гукнул сыч, угрюмо и напрасно. Лес стоял плотной черной стеною, и казалось, что это из него исходит тьма. Сквозь сыроватую мглу, в темном маленьком небе над нами тускло светился золотой посев звезд.

— Да,— заговорил Бугров,— вот девицы эти вырастут, будут капусту квасить, огурцы, грибы солить,— к чему им рукоделье? Есть в этом какая-то обидная глупость. Много глупости в жизни нашей, а?

— Много.

— То-то и есть. А слышали вы — про меня сказывают, будто я к разврату склонил многих девиц?

— Слышал.

— Верите?

— Вероятно, это так....

— Не потаю греха, бывали такие случаи. В этом деле человек бестолковее скота. И — жаднее. Вы как думаете?

Я сказал, что, на мой взгляд, у нас смотрят на отношения полов уродливо. Половая жизнь рассматривается церковью как блуд, грех. Оскорбительна для женщины разрешительная молитва на сороковой день после родов; оскорбительна, но женщина не понимает этого. И привел пример: однажды я слышал, как моя знакомая, умница и филантропка, упрекала мужа:

— Степан Тимофеевич — побойся бога. Только что ты мне груди щупал, а теперь, не помыв рук, крестишься...

— О, то ли еще бывает! — угрюмо сказал Бугров.— Жен бьют за то, что в среду и пятницу, в постные дни, допускают мужей до себя. Грех. У меня приятель каждый четверг и субботу плетью жену хлестал за это — во грех ввела! А он — здоровенный мужик и спит с женою в одной кровати,— как она его не допустит? Да, да, глупа наша жизнь...

Он замолчал, и стали слышны непонятные шорохи ночной жизни,— хрустели, ломаясь, сухие ветки, шуршала хвоя, и казалось, кто-то сдержанно вздыхает. Как будто со всех сторон подкрадывалось незримое — живое.

— Спите?

— Нет.

— Глупа жизнь. Страшна путанностью своей, темен смысл ее... А все-таки — хороша?

— Хороша.

— Очень. Только вот умирать надо.

Через минуту, две он добавил тихонько:

— Скоро... Умирать...

И — замолчал, должно быть, уснул.

Утром я простился с ним, уходя на Китеж-озеро, и больше уже не встречал Н. А. Бугрова.

Он умер, кажется, в десятом году и торжественно, как и следовало, похоронен в своем городе...

ПАЛАЧ

Начальник нижегородского охранного отделения Грешнер был поэт, его стихи печатались в консервативных журналах и, кажется, в «Ниве» или «Родине».

Помню несколько строк:

Вылезает тоска из-за печи,
Изо всех вылезаст дверей,
Но, хотя она душу калечит,
С нею все-таки жить веселей.

Без тоски мне совсем одиноко,
Как земле без людей и зверей...

В альбом одной дамы он написал эротическое стихотворение:

Перед парадной дверью дома
Стоит мальчишка лет семи.
Что в нем так странно мне знакомо?
Да — это я же, чёрт возьми!

Дальше начинались уподобления и аллегории неудобосказуемые.

Грешнера застрелил девятнадцатилетний юноша Александр Никифоров, сын известного в свое время «толстовца» Льва Никифорова, человека очень драматической судьбы: у него было четыре сына, и все погибли один за другим. Старший, социал-демократ, измученный тюрьмами и ссылкой, умер от болезни сердца, один сжег себя, облив керосином, один отравился, а младшего, Сашу, повесили за убийство Грешнера. Он убил его днем, на улице, почти у двери охранного отделения; Грешнер шел под руку с дамой. Саша догнал его, крикнул:

— Эй, жандарм!

И, когда Грешнер обернулся на крик, Никифоров

выстрелил в лицо и в грудь ему. Сашу тотчас поймали и осудили на смерть, но никто из уголовных нижегородской тюрьмы не согласился взять на себя гнусное дело палача. Тогда полицейский пристав Пуаре, бывший повар губернатора Баранова, хвастун и пьяница — он называл себя родным братом известного карикатуриста Каран д'Аш'а — склонил за двадцать пять рублей птицелова Гришку Меркулова повесить Сашу.

Гришка был тоже пьяный человек, лет тридцати пяти, длинный, тощий, жилистый, на его лошадиной челюсти росли кустики темной шерсти, из-под колючих бровей мечтательно смотрели полусонные глаза. Повесив Никифороча, он купил красный шарф, обмотал им свою длинную шею с огромным кадыком, перестал пить водку и начал как-то особенно солидно и гулко покашливать. Приятели спрашивают его:

— Ты что, Гришка, важничаешь?

Он объяснил:

— Нанят я для тайного дела в пользу государства!

Но когда он проговорился кому-то, что повесил человека, приятели отшатнулись от него и даже побили Гришку. Тогда он обратился к приставу охранного отделения Кевдину *с просьбою разрешить ему носить* красный кафтан и штаны с красными лампасами.

— Чтобы штатские люди понимали, кто я, и боялись трогать меня погаными руками, как я — искоренитель злодеев.

Кевдин сосватал его еще на какие-то убийства, Гришка ездил в Москву, там кого-то вешал и окончательно убедился в своей значительности. Но, возвратясь в Нижний, он явился к доктору Смирнову, окулисту и «черносотенцу», и пожаловался, что у него, Гришки, на груди, под кожей вздулся «воздушный пузырь» и тянет его вверх.

— Так сильно тянет, что я едва держусь на земле и должен хвататься за что-нибудь, чтобы не подпрыгивать, на смех людям. Случилось это после того, как я подвесил какого-то злодея, в груди у меня екнуло и начало вздуваться. А теперь так стало, что я даже спать не могу, тянет меня по ночам к потолку — что хошь делай! Всю одежду, какая есть, я наваливаю на себя,

даже кирпичи кладу в рукава и карманы, чтобы тяжелее было,— не помогает. Стол накладывал на грудь и живот, за ноги привязывал себя к кровати — всё равно, тянет вверх. Покорнейше прошу взрезать мне кожу и выпустить воздух этот, а то я скоро совсем лишусь хода по земле.

Доктор посоветовал ему идти в психиатрическую больницу, но Гришка сердито отказался.

— Это у меня грудное, а не головное...

Вскоре он, упав с крыши, переломил себе позвоночник, разбил голову и, умирая, спрашивал доктора Нифонта Долгополова:

— Хоронить меня будут — с музыкой?

А за несколько минут до смерти пробормотал, вздохнув:

— Ну, вот, возношусь...

ИСПЫТАТЕЛИ

В курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров, благообразный крепкий старик, лет шестидесяти. Странно смотрели на людей его выпуклые фарфоровые глаза,— блестело в них что-то слишком светлое и жесткое, но улыбались они ласково и даже, можно сказать, милостиво. Казалось, что во всех людях он видит нечто, достойное сожаления. Его отношение к людям внушало мысль, что он считает себя мудрейшим среди них. Двигался он осторожно, говорил тихо, как будто все вокруг него спали, а он не хотел будить людей. Работал солидно, неутомимо и охотно брал на себя работу других. Когда тот или иной служащий курзала просил его сделать что-нибудь, Прохоров, вообще немногословный, говорил торопливо и утешительно:

— Ну, ну,— сделаю я, брат, сделаю, не беспокойсь!

И делал чужое дело благожелательно, без хвастовства, точно милостину подавая лентяям.

А держался он в стороне от людей, одиноко; я почти не видал, чтобы в свободный час старик дружески беседовал с кем-либо из сослуживцев. Люди же относились к нему неопределенно, но, видимо, считали его

глуповатым. Когда я спрашивал о Прохорове: «Что это за человек?» — мне отвечали:

— Так себе человек, обыкновенный.

И только лакей, подумав, сказал:

— Старик — гордый. Чистюля.

Я пригласил Прохорова вечером пить чай, в мою комнату, огромную, как сарай, с двумя венецианскими окнами в парк, с паровым отоплением; каждый вечер в девять часов трубы отопления шипели, бормотали, и, казалось, кто-то глухим шёпотом спрашивает меня:

— Хотите рыбы?

Старик пришел одетый щеголем: в новой, розового ситца, рубахе, в сером пиджаке, в новых валенках; он аккуратно расчесал широкую сивую бороду и смазал серые волосы на голове каким-то жирным клеем едкогорького запаха. Степенно попивая чай с красным вином и малиновым вареньем, он вполголоса, очень связно и легко рассказал мне:

— Правильно изволили приметить,— я человек добрый. Однако ж — родился я и половину жизни прожил, как все, без внимания к людям, добрым же стал после того, когда потерял веру в господина бога. А это произошло со мною от непрерывных удач в жизни. Удача преследовала меня со дня рождения; отец мой, слесарь во Мценске, так и говорил: «Степанка родился *на счастье»,— потому что в год рождения моего* ему удалось разжиться, открыл свою мастерскую. И в играх я был удачлив и учился играючи; не испытал никаких болезней и неприятностей. Кончил училище — сразу попал в богатое поместье, в контору, к хорошим людям; хозяевами был любим, барыня говорила мне: «Ты, Степан, имеешь способности, береги себя». И это верно: способностей у меня было настолько много, что я сам себе удивлялся: откуда они? Даже лошадей лечил, не имея никакого понятия, чем они хворают. Любую собаку выучивал ходить на задних лапах, и не боем, а только лаской учил. На женщин тоже имел удачу: какая нравится, та и явится, без запинки. В двадцать шесть лет был я старшим конторщиком и, без ошибки говорю, мог бы стать управляющим. Господин Мар-

кевич, писатель книг, вроде вас, восхищался: «Прохоров настоящий русский человек, как Пурсам». Кто таков Пурсам — не знаю, но господин Маркевич был к людям строг, и его похвала — не шутка! Очень я гордился собою, и всё шло хорошо. Были у меня деньжонки прикоплены, собирался жениться и уже присмотрел приятно подходящую мне барышню, но вдруг, незаметно для себя, почувствовал опасность жизни. Загорелся у меня любопытнейший вопрос: «Почему мне во всем удача? Именно — мне?» Вспыхнул вопрос этот, и даже спать не могу. Бывало, устанешь за день, как лошадь на пашне, а — ляжешь спать и думаешь, открыв глаза: «Почему мне удача?» Конечно — способности у меня, богомолен я, неглуп, скромен, трезв. Однако же: вижу людей многим лучше меня, но им не везет фортуна. Это — вполне ясно. Думал, знаете, думал: «Как же ты, господи, допускаешь такое? Живу, точно ягода в сахарном варенье, а, однако, кто же меня съест?» И всё у меня на уме одно это. Чувствую, что в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость, как будто заманивают меня приятностями, к чему манят? Мысленно спрашиваю: «Куда, господи, ведешь?» Молчит господин бог... Молчит.

— Тогда решил я: дай-ка попробую бесчестно жить, что будет? И взял из кассы денег четыреста двадцать рублей, в том расчете, что за кражу свыше трех сот в окружном суде судят. Хорошо. Взял. Конечно — хватились, управляющий Филипп Карлович, добрейший человек, спрашивает: «Где?» — «Не знаю». А сделано было так, что, кроме меня, подумать не на кого. Вижу: Филипп Карлович весьма смущен и тоскует. Ну, думаю, зачем же мучить хорошего человека? Говорю ему: «Деньги украл я». Не верит, шутишь, кричит. Однако — поверил, доложил барыне, та даже испугалась: «Что с тобой, Степан?» — «Судите», говорю. Рассердилась она, покраснела, рвет пальцами оборку кофты: «Судить, говорит, я не стану, но ты так нахально держишься, что, сам согласись...». Я согласился и ушел от них, уехал в Москву, а деньги возвратил почтой, от чужого имени, не от своего...

Я спросил старика:

— Зачем же вы это сделали? Пострадать захотелось?

Удивленно подняв густые колючие брови, он усмехнулся в бороду и вытряс из нее усмешку ударами чисто вымытой ладони по курчавым волосам бороды.

— Ну, нет,— зачем же мне страдать? — Я — любитель спокойной жизни. Нет,— просто любопытство одолело меня: почему мне удача? А может, осторожность заставила: испытать хотел — насколько прочны удачи мои? Вообще же — молодость, хе-х! Играет человек сам собой. Хотя, однако, тут не чистая игра, то есть не одна чистая игра. Необыкновенно жил: в холе и ласке, подобно комнатной собачке. Люди вокруг морщатся, охают, а я — осужден господином богом на спокойную жизнь до конца дней, как видно. Всем людям — разные испытания, а мне — ничего, как будто я не достоин обыкновенного, человеческого. Вот и всё, полагаю...

— Н-ну-с, лежу в Москве, в гостинице, в номере, думаю: «Другого бы за рубль под суд отдали, а мне и за четыреста рублей — ничего!» Даже смешно стало: вот она, неудача! «Нет, думаю, погоди, Степан!» Присматриваюсь к людям; гостиница грязненькая, народ в ней темный, картежники, актеры, мятые бабенки. А один выдавал себя за повара, однако оказался, по ремеслу, вором. Завел я с ним знакомство: «Как живете?» — спрашиваю. «Да так, говорит, когда — густо, когда — пусто, когда — нет ничего». Разговорились. «Есть, говорит, у меня в виду одно дельце, но — требуется хороший инструмент, а инструмент дорогой, денег же у меня нету». «Ага, думаю, вот оно!» Спрашиваю его: «Разрушения чужой жизни не будет?» Он даже обиделся: «Что вы, шпит, мне своя башка очень дорогая!» Н-ну-с, дал я ему денег на инструменты и чтобы, в награду мне, взял он меня с собой на грабеж. Поломался он, поартачился, однако — взял. Занятие его не понравилось мне, как будто ходили мы в гости, а хозяев не застали дома. Отперла нам дверь черномазенькая девица, как видно — знакомая его, он ее сейчас же ловко связал по рукам, по ногам и начал ковырять какой-то шкаф, ковыряет, а сам тихонько посвистывает. Простота. Как пришли, так и ушли, не испытав ни ма-

лого беспокойства. Человек этот сейчас же скрылся из Москвы, а я живу один, дурак дураком. «Так? — думаю.— Опять удача?» И смешно мне, и злюсь на всё. В озлоблении на себя и на господина бога, который ведь должен был видеть всё, что я делаю, пошел я в театр, сижу на балконе, а через человека от меня сидит эта черномазенькая девица, смотрит на сцену и слезы платочком отирает. В перерыве комедии подошел я к ней: «Кажется, знакомы?» — говорю. Ну, она, однако, не отвечает. Напомнил я ей кое-что. «Ах, говорит, тише, пожалуйста». Спрашиваю: «От какой печали слезы льете?» — «Принца, говорит, жалко!» — это на сцене принц какой-то извивался. После театра пошла она со мной в трактир, а из трактира увел я ее к себе в номер, и стали мы жить вместе, вроде любовников. Она, принимая меня за настоящего вора, спрашивает: «Дел нету?» — «Дел у меня нет», говорю. «Хорошо, я тебя познакомлю с компанией». Познакомила. Оказалось, что хотя и воры, однако ребята хорошие. Особенно — один, Костя Башмаков, удивительное создание обстоятельств природы, словно ребенок, такая ясная, веселая душа! Очень я подружился с ним. И сознаюсь ему: «Мне, собственно, ничего не надо, я только из любопытства вором стал». А он говорит: «Я тоже от живости души, очень, говорит, много хорошего на земле, и приятно жить. Мне, говорит, иной раз хочется на улице крикнуть: братцы, ловите меня, я есть вор!» Забавная личность, но вскорости, спрыгнув на ходу поезда, сломал он себе руку, а потом приключилась ему чахотка, уехал в степь, кумыс пить. Валандался я с этой компанией,— трое было их,— четырнадцать месяцев, воровали мы по квартирам и в поездах, и ожидал я, что вот завтра случится необыкновенное, страшное, однако всё сходило с рук вполне благополучно. Голова компании Михайло Петрович Борохов, очень почтенный человек и приметный умница, однажды говорит: «Это нам с той поры фортуна повезла, как пристал к нам Степан». Опамятовали меня его слова, воротился я от рассеянной жизни к себе самому, задумался: «Что же теперь? Человека убить мне, что ли?» И мыслишка эта воткнулась в сердце занозой, воткнулась,

сидит, нарывает. Ночью сяду на койке, суну руки в колени и думаю: «Как же это так, господин бог? Стало быть, вам всё равно, как я живу? Ведь вот собираюсь я человека убить, подобного мне, и очень просто могу убить. Как же это?» Молчит господин бог...

Старик глубоко вздохнул и стал намазывать ложкой варенье на хлеб.

— Гордый вы человек,— сказал я.

Снова приподняв тяжелые мохнатые брови, он пристально посмотрел на меня фарфоровыми глазами, теперь они показались мне особенно пусты и жестко светлы.

— Нет, зачем же! — ответил он, заботливо расправляя бороду, чтоб не испачкать ее вареньем.— Человеку гордиться нечем, как я полагаю.

И, аккуратно отправляя в свой волосатый рот маленькие кусочки хлеба, он продолжал всё так же, вполголоса, говоря как бы о человеке чужом, мало приятном ему:

— Так-то-с, молчит господин бог. А тут сразу и подсунулся мне соблазнительный случай: залезли мы ночью на дачу, действуем,— вдруг откуда-то, в темноте сонный голосок: «Дядя, это ты?» Товарищ мой вышмыгнул на балкон, а я присмотрел — вижу: дверь, а за нею кто-то возится. Приоткрыл дверь, а там, в уголку, на кровати лежит мальчонко лет двенадцати и головку руками скребет, длинноволосый такой. И снова спрашивает: «Дядя?» Смотрю я на него, а у меня руки, ноги дрожат, сердце замирает: «Вот, думаю, случай, ну-ко, Степан, ну-ко!» Да вовремя спохватился: «Нет, думаю, на это я не пойду, нет! Может, ты меня, господин бог, всеми удачами к этому греху — к убийству невинного — и заманивал? К этой яме и вел, спокойной-то тропой? Нет, не-ет...» И так эта догадка осердила меня, что даже не помню, каким ходом я ушел и очутился в лесу.

— Сижу под деревом, рядом со мною товарищ папироску курит, ругается тихонько. Дождик кропит нас, по лесу — звонкий шёпот, а перед глазами у меня, в темноте, мальчонко этот полусонный, беззащитный, вполне в моих руках. Минутка и — нет мальчика! Хе-х, думаю...

— Это совсем ошарашило меня, с этим я уж никак не мог согласиться и даже сам себя беззащитным мальчиком чувствую. Вы подумайте-ко пристально: вот вы сидите и не можете знать, что я через минуту начну делать и не знаю этого про вас. Вдруг,— ведь разное приходит в голову,— вдруг — вы меня, а то — я вас... а? Очень соблазняет эта взаимная беззащитность. И — вообще — кто руководит нами? То-то-с...

— Утром пришел я в город и прямо к судебному следователю: «Извольте меня арестовать, ваше благородие, как я есть вор». Оказался он очень хорошим барином, ласковый, худощавый такой, только — глуповат, конечно. «Почему же, спрашивает, сознаётесь вы, с товарищами поссорились, добычу не поделили?» — «У меня, говорю, товарищей не было, работал один». И, сглупив, рассказал ему подробно, вот как вам говорю, всю историю моего недоразумения и как господин бог злобно играл со мной.

Перебив его речь, я спросил:

— Но почему же, Степан Ильич, бог, а не дьявол?

Старик уверенно и спокойно объяснил:

— Дьявола — нету, дьявол — это выдумка хитрого разума, это люди для оправдания гнусности своей выдумали, а также и в пользу бога, чтобы ему ущерба не нанести. Есть только бог и человек — больше ничего. И всё, подобное дьяволу, примерно: Иуда, Каин, царь Иван Грозный — это тоже людские выдумки, это придумано для того ради, чтобы грехи и пакости множеств нагрузить на одно лицо. Уж — поверьте... Хе-х, запутались мы, жулики, и всё выдумываем что-нибудь хуже нас — дьявола и прочее. Плохи, дескать, да — не очень, есть и похуже....

— Так, значит, следователь. Картинки у него на стенах повешены и кругом домашний уют образованного человека. Лицо — доброе. Однако — доброе лицо ничего не значит, под этой вывеской частенько очень дрянным товаром торгуют. Говорю я ему, а над головой у меня кто-то на рояли барабанит, и так неприятно было слышать это легкомыслие. «Хе-х, думаю, господин бог, как это у вас всё нехорошо запутано!» Говорил я долго, следователь слушал меня, как старушка попа в

церкви, однако — ничего не понял. «Вас, говорит, конечно, надобно судить, но я ручаюсь, что оправдают вас, если вы всё мне сказанное и судьям скажете. И впереди, говорит, у вас не тюрьма, а, по-моему, монастырь!» Обидно стало мне. «Ничего, говорю, вы не поняли, и больше разговаривать не желаю». Н-ну, отправил он меня в полицию, а там пристали ко мне сыщики: «Мы, говорят, знаем, что кражи, в которых ты сознался, не одним тобою сделаны, скажи нам — где товарищи? Затем — иди к нам на службу». Я, конечно, отказал им в этом, а они меня — бить. Голодом морили. Тут я действительно претерпел несколько. Потом — суд. Суд очень не понравился мне, говорить я с ним не пожелал. Рассердились судьи, закатали меня в тюрьму. Сижу в тюрьме, вокруг меня люди, подобные червям и зверям; выбрали они меня старостой. «Хе-х, думаю, плохо всё это, господин бог, очень плохо!» Думаю и вижу: как ты ни живи, человечек, никто, кроме тебя, жизнью не руководит! Ну, о тюрьме, как о бородавке, ничего хорошего не скажешь. Вышел из тюрьмы, поглядел туда, сюда, поматался по земле, стал работать на чугунном заводе,— бросил. Жарко. К тому же чугун, железо и всякий металл не люблю я — от него исходит вся тяжесть жизни, тяжесть, грязь и всякая ржавчина. Без металлов человек был бы проще, жил легче. Совался я в разные дела, даже сортиры чистил,— признаться, тянуло меня на самую грязную работу. Потом — надумал: «Дай-ко пойду в банщики!» И вот уж семнадцать лет мою людей да стараюсь ничем не тревожить их. В тревогах наших толку мало, нет в них толку, если серьезно поглядеть! Живу без бога. Людей жалко, по причине оброшенности их, и жить мне — скушновато...

Месяца за два до смерти своей Л. Н. Святухин рассказал мне:

— Из всех убийц, которые прошли предо мною за тринадцать лет, только ломовой извозчик Меркулов вызвал у меня чувство страха пред человеком и за человека. Обыкновенно убийца — безнадежно тупое су-

щество, получеловек, не способный отдать себе отчет в преступлении, или — хитренький пакостник, визгливая лисица, попавшая в капкан, или же — задерганный неудачами, отчаявшийся, озлобленный человечишко. Но, когда предо мною встал Меркулов, я тотчас почувствовал что-то особенно жуткое и необычное.

Святухин закрыл глаза, вспоминая:

— Большой, широкоплечий мужик лет сорока пяти, худощавое благообразное лицо,— такие лица называют иконописными. Длинная седая борода, курчавые волосы тоже седы, с висков — лысые взлизы, а посредине лба торчит рогом эдакий задорный вихор, и, несоответственно, противоречиво вихру, из глубоких глазниц мягко и жалостливо смотрят на меня умные серые глаза.

Тяжело выдохнув трупный запах —следователь умирал от рака желудка,— Святухин нервно сморщил измученное, землистое лицо.

— Меня особенно смутило именно это выражение жалости в его взгляде,— откуда оно? И мое равнодушие чиновника исчезло, уступив место очень беспокойному любопытству, новому и неприятному для меня.

— На вопросы мои он отвечал глуховатым голосом человека, который не привык или не любит говорить много; ответы его были кратки, точны, было ясно, что Меркулов готов дать откровенное показание. Я сказал ему слова, которых не сказал бы другому подследственному: «Хорошее лицо у вас, Меркулов, не похожи вы на человекоубийцу».

— Тогда он, точно гость, взял стул, особенно крепко сел на него, уперся ладонями в колени и сразу заговорил, точно — глупое сравнение — на волынке заиграл, у волынки есть такая большая глуховатая дудка, как фагот: «Ты думаешь, барин, если я убил, так я — зверь? Нет, я не зверь, и если ты почуял это, так я тебе расскажу судьбу мою».

— И — рассказал спокойно, обреченно, так, как убийцы не говорят о себе,— не оправдываясь, не пытаясь разжалобить.

Следователь говорил очень медленно и невнятно, его шершавые губы, покрытые серой какой-то чешуей,

шевелились с трудом, он часто облизывал их темным языком, закрывая глаза.

— Мне *хочется вспомнить его подлинные слова.* В них была особенная значительность. Слова поражающие... Этот его жалостливый взгляд на меня тоже подавлял. Поймите: не жалобный, а — жалостливый. Он — меня жалел. Хотя я тогда был еще здоров...

— Первый раз он убил при таких условиях: осенью, вечером вез с пристани сахарный песок в мешках и заметил, что сзади воза идет человек, распорол мешок, черпает сахар горстью и ссыпает его в карманы себе, за пазуху, Меркулов бросился на него, ударил по виску — человек упал. «Ну, я его еще ногой пнул и поправляю распоротый мешок, а человек этот под ногами у меня, лежит вверх лицом, глаза вытаращены, рот раскрыт. Стало мне страшно, присел на корточки, взял его за голову, а она, тяжеленная, как гиря, перекатывается у меня с ладони на ладонь, и глаза его будто подмигивают, а из носу кровь течет, руки мои мажет. Вскочил я, кричу: „Батюшки, убил!“»

— Отправили Меркулова в полицию, потом — в тюрьму. «Сижу я в тюрьме, вокруг — люди преступные, а я будто сквозь туман всё вижу и ничего не понимаю, страшно мне, не спится, и хлеб есть не могу, всё думаю: „Как же это? Шел человек по улице, стукнул я его, и — нет человека! Что ж это такое? Душа-то где? Ведь — не баран, не теленок; он в бога верует, поди-ка, и хоть, может, характер у него другой, а ведь он таков же, как я. А я вот переломил его жизнь, убил, как скота, всё равно. Ведь эдак-то и меня могут,— стукнут и — пропал я!“ От этих мыслей так страшно было мне, барин, что ночами слышал я, как волосы на голове растут».

— Рассказывая, Меркулов очень пристально смотрел на меня, но, хотя его светлые глаза были неподвижны, мне казалось, что я вижу в сероватых зрачках его мерцание ночного страха. Руки он сложил ладонями вместе, сунул их между колен и крепко сжал. Наказали его за нечаянное убийство легко, зачли предварительное заключение и отправили на покаяние в монастырь.— «Там,— рассказывал Меркулов,— приставили ко мне старичка монаха, для научения моего, как надо

жить; ласковый такой старичок, и о боге говорил он как нельзя лучше. Хороший. Вроде отца мне был, всё — сын мой, сын мой. Слушаю я его, да нет-нет и спрошу: „Ладно, бог! А почему же человек настолько непрочен? Вот, говорю, ты, отец Павел, бога любишь, и он тебя, наверно, любит, а я вот ударю тебя и убью, как муху. Куда же ласковая твоя душа тогда денется? Да и не в твоей душе задача, а в моей злой мысли: могу я тебя убить каждую минуту. Да и мысль моя, говорю, вовсе не злая, я даже очень ласково могу тебя убить, даже помолюсь сначала, а после — убью! Вот ты мне что объясни". Ну, он не мог объяснить этого; он всё свое говорил: „Это в тебе дьявол зверя будит! Он тебя тревожит". Я говорю: „Мне всё едино кто тревожит, а ты научи, как мне быть, чтобы не тревожило? Я, говорю, не зверь, ничего звериного нет во мне, а только душа моя за себя испугалась".— „Молись, говорит, до изнурения!" Я — молюсь, иссох даже, виски седеть начали, а мне в ту пору было двадцать восемь лет сроку жизни. Молитва страха моего не может избыть, я, и молясь, думаю: „Как же это, господи? Вот — я могу в минуту любого человека смерти предать и меня любой человек может убить, когда захочется. Усну, а меня кто-нибудь шарк-нет ножиком по горлу, а то кирпичом, обухом по голове. Гирей. Да — мало ли как!". От мыслей этих спать не могу, боюсь. Спал я вначале с послушниками, ночью пошевелится который из них,— я вскочу и — орать: „Кто возится? Лежите смирно, так вашу мать!" Все меня боятся, и я всех боюсь. Пожаловались на меня, тогда отправили меня в конюшню, там, с лошадями, стало мне спокойнее, лошадь — скот бездушный. Ну, все-таки спал я вполглаза. Боязно».

— Отбыв эпитимью, Меркулов снова взялся за работу извозчика, жил он на огородах, за городом, жил трезво, сосредоточенно. «Как во сне живу,— говорил он.— Всё молчу, людей сторонюсь. Извозчики спрашивают: „Ты что, Василий, угрюмо живешь, али в монастырь собираешься?" Что мне монастырь? И в монастыре — люди, а где люди, там и страх. Гляжу я на всех, думаю: „Сохрани вас господь! Непрочна ваша жизнь, нет вам от меня защиты, и мне от вас защиты

тоже нет". Сообрази, барин, каково было мне жить с этакой тягой на душе?»

Вздохнув, Святухин поправил черную шёлковую шапочку на голом черепе, матовом, точно старая, трухлявая кость.

— Вот тут, при этих словах, Меркулов усмехнулся, неожиданная, неуместная усмешка так перекривила, исказила его благообразное лицо, что я тотчас поверил: конечно, он — зверь. И, наверное, убивал людей вот именно с этой улыбкой. Мне стало нехорошо. А он продолжает и уже как будто с досадой: «Хожу я между людей, вроде курицы с яйцом, а яйцо-то гнилое, и я про это знаю. Вот-вот лопнет оно в нутре моем — что тогда будет со мной? Не знаю что, не могу придумать, а понятно мне: очень страшно должно быть».

— Я спросил его: думал ли он о самоубийстве? Помолчав, шевеля бровями, он сказал: «Не помню, будто — ни разу не думал». И тоже спросил, очень удивленно, кажется — искренно: «Как я не вспомнил про это? Дивное дело...» Хлопнул ладонью по колену, взглянул куда-то в угол, бормочет, как бы обиженно: «Ишь ты... Значит — не хотел я душе волю дать. Уж очень мучило меня любопытство ее к людям, трусость ее обидная. Забыл себя-то. А она — примеривается: ежели вот этого убить,— что будет? Да, примеривается всё...»

— Через два года Меркулов убил полуумную девицу Матрешу, дочь огородника. Он рассказал мне об этом убийстве неясно, видимо, сам не мог понять мотивов убийства. По его словам выходило, что Матреша была блаженная: «Находило на нее затмение разума: вдруг бросит копать гряды или полоть и куда-то идет, разинув глаза, усмехаясь, будто кто невидимо поманил ее за собою. Натыкается на деревья, заборы, на стены, словно сквозь хочет пройти. Однажды наступила на железные грабли, пронзила ногу, кровь из ноги течет, а она шагает, ничего не чувствуя, не сморщилась даже. Была она девица некрасивая, толстая, а — распутна по глупости своей, сама к мужикам приставала, а они, конечно, пользовались глупостью ее. Ко мне тоже приставала, ну, мне было не до того. Соблазняло меня в ней то, что ничего с ней не делается: в яму ли свалится, с

крыши ли упадет — ей всё нипочем. Другой бы руку вывихнул, сломал себе какую-нибудь кость, а она — ничего. Как будто не по земле ходит. Конечно, в синяках, в ссадинах вся, а — прочности необыкновенной. Было похоже, что живет полудурья эта в твердой охране. Убил я ее при людях, в воскресенье, сидел я на лавочке у ворот, а она начала заигрывать со мной нехорошо, тут я ее — поленом. Свалилась. Гляжу — мертвая. Сел на землю около нее и даже заплакал: „Что это, господи? Какая слабость, какая беззащитность!“»

— Он долго, тяжелыми словами и как в бреду, говорил о беззащитности человека, и в глазах его разгорелся угрюмый страх. Сухое лицо аскета потемнело, когда он сказал мне сквозь зубы: «Ты подумай, барин, ведь вот я в эту минуту самую вдруг могу тебя убить, а? Подумай-ко? Кто мне запретит? Где запрет нам? Ведь нет запрета нигде, ни в чем нет...»

— Наказали его за убийство девицы тремя годами тюрьмы, он объяснил легкость наказания хорошей защитой, но защитника своего угрюмо осудил: «Молодой такой, лохматый крикун. Кричал всё: „Кто может сказать худое про этого человека? Никто из свидетелей ни слова не сказал. А убитая была безумна и распутна“. Защитники эти — баловство. Ты меня до греха защити, а когда я грех сделал, убил, — защита мне ненадобна. Держи меня, покамест я стою, а коли побежал — не догонишь! Побежал, так уж буду бежать, покуда не свалюсь, да... Тюрьма — тоже баловство, безделье. Распутство. Из тюрьмы вышел я, как сонный,— ничего не понимаю. Идут люди, едут, работают, строят дома, а я одно думаю: „Любого могу убить, и меня любой убить может“. Боязно мне. И будто руки у меня всё растут, растут, совсем чужие мне руки. Начал пить вино — не могу, тошнит. Выпимши — плачу, уйду куда потемнее и плачу: не человек я, а помешанный, и жизни мне — нет. Пью — не пьян, а трезвый — хуже пьяного. Рычать начал, рычу на всех, отпугиваю людей, боюсь их. Всё кажется мне: я — его или он — меня? И хожу по земле, как муха по стеклу, лопнет стекло, и провалюсь я, полечу неизвестно куда.

— Хозяина, Ивана Кирилыча, убил я тоже по этой

причине, из любопытства. Был он человек веселый, добрый человек. И необыкновенной смелости. Когда у соседей его пожар был, так он, как бессмертный, действовал, полез прямо в огонь, няньку вывел, потом опять полез, за сундучком ее,— плакала нянька о сундучке своем. Счастливый человек был Иван Кирилыч, упокой его господи! Мучить я его, действительно, мучил. Тех двух — сразу, а этого маленько помучил: хотелось понять, как он: испугается али нет? Ну, он был слабый телом и скоро задохся. Прибежали люди на крик его, бить меня, вязать. Я говорю им: «Вы мне не руки, вы душу мне связали бы, дураки...»

— Кончив рассказывать, Меркулов вытер ладонью вспотевшее лицо и посоветовал спокойно: «Вы меня, ваше благородие, судите строго, на смерть судите, а то — что же? Я с людями и в каторге жить не могу, обиделся я на душу мою, постыла она мне, и — боязно мне, опять я начну пытать ее, а люди от того пострадают... Вы меня, барин, уничтожьте...»

Мигнув умирающими глазами, следователь сказал:

— Он сам уничтожил себя, удавился. Как-то необычно, на кандалах, чёрт его знает как! Я не видал, мне рассказывал товарищ прокурора: «Большая, сказал, сила воли нужна была, чтоб убить себя так мучительно и неудобно». Так и сказал — неудобно.

Потом, закрыв глаза, Святухин пробормотал:

— Вероятно, это я внушил Меркулову мысль о самоубийстве... Вот, батенька, простой русский мужик, а — изволите видеть? Да-с...

УЧИТЕЛЬ ЧИСТОПИСАНИЯ

...Придя к А. А. Я.— не застал его дома.

— Убежал куда-то,— сказала его квартирная хозяйка, приветливая старушка в роговых очках и с мохнатой бородавкой на левой скуле. Предложив мне отдохнуть, она заговорила, мягко улыбаясь:

— Смотрю я: бегом живете вы, нынешние молодые люди, точно выстрелили вами, как дробью из ружья. Раньше — спокойнее жили и даже походка у людей

другая была. И сапоги носились дольше, не потому, что кожа была крепче, а потому, что люди осторожнее ходили по земле. Вот в комнате этой, до Яровицкого, жил учитель чистописания; тоже Алексеем Алексеевичем звали, фамилия — Кузьмин. Какой удивительно тихий человек был, даже странно вспомнить. Бывало, утром проснется, сапоги почистит, брючки, сюртучок, умоется, оденется, и всё тихонько, как будто все люди в городе спят, а он боится разбудить их. Молится, всегда читал: «Господи, владыко живота моего». Потом выпьет стакан чаю, съест яичко с хлебом и уходит в институт, а придя домой, покушает, отдохнет и сядет картинки писать или рамочки делать. Это вот всё его рукоделье.

Стены маленькой комнаты были обильно украшены рисунками карандашом в рамках из черного багета; картинки изображали ивы и березы над могилами, над прудом, у развалившейся водяной мельницы,— всюду ивы и березы. И лишь на одной, побольше размером, тщательно была нарисована узкая тропа, она ползла в гору, ее змеевидно переплетало корневище искривленной березы со сломанной вершиной и множеством сухих сучьев. Глядя на робкие, серые рисунки, старушка любовно говорила:

— Гулять он ходил вечерами, в сумерках, и особенно любил гулять, когда пасмурно, дождь грозит. От этого он и захворал, простудился. Бывало, скажешь ему: «Что вы какое нехорошее время для гулянья выбираете?» — «В такие, говорит, вечера народу на улицах меньше, а я человек скромный и не охотник до встреч с людьми. И частенько, говорит, люди заставляют думать о них нехорошо, а я этого убегаю». Наденет шинельку, фуражку с кокардой, зонтик возьмет и тихонько шагает поближе к заборам; всем, кого встретит, дорогу дает. Очень хорошо, легко ходил он, будто и не по земле. Умильный человек — маленький, стройный, светловолосый, нос с горбинкой, личико чисто выбрито и такое молодое, хотя было ему уже под сорок. Кашлял он всегда в платок, чтобы не шуметь. Бывало, гляжу я на него, любуюсь, думаю, вот бы все люди такие были. Спросишь: «А не скучно вам жить так?» — «Нет, говорит, нисколько не скучно, я живу душой, а душа скуки

не знает, скука — это телесная напасть». И всегда он отвечал вот так разумно, точно старичок. «Неужто, спрашиваю, и женский пол не интересен вам, и о семье не думаете?» — «Нет, говорит, я к этому не склонен, семья же требует забот, да и здоровье мое не позволяет». Так, тихой мышкой, он и жил у меня около трех лет, а потом поехал на кумыс, лечиться, да там, в степях, и помер. Ждала я, что придет кто-нибудь за добром его, а должно быть, не было у скрытого человека этого ни родных, ни приятелей — никто не пришел; так всё и осталось у меня: бельишко, картинки эти да тетрадка с записями.

Я попросил показать мне тетрадку, старуха охотно достала из комода толстую книгу в переплете черного коленкора; на куске картона, приклеенном к переплету, готическим шрифтом значилось:

Пища духа.
Записки для памяти
А. А. К-мина.
Лето от Р. Х. 1889-е. Январь, 3.

На обороте — виньетка, тонко сделанная пером: в рамке листьев дуба и клена — пень, а на нем клубочком свернулась змея, подняв голову, высунув жало. А на первой странице я прочитал слова, взятые, очевидно, как эпиграф, тщательно выписанные мелким круглым почерком:

Скоро оказалось, что христиан много,— так всегда бывает, когда начинают заниматься исследованием какого-нибудь преступления.

Из письма Плиния императору Траяну.

Далее бросился в глаза крупный и какой-то торжественный почерк, украшенный хвостиками и завитушками:

Я значительно умнее Аполлона Коринфского. Не говоря о том, что он — пьяница.

Почти на каждой странице мелькали рисунки, виньетки, часто встречалось толстое женское лицо с тупым носом и калмыцкими глазами. Записей было немного,

они редко занимали одну, две страницы, чаще — несколько строк, всегда выписанных тщательно. Нигде ни одной помарки, всюду чувствовалась строгая законченность, всё казалось любовно и аккуратно списанным с черновиков.

Заинтересованный, я унес «Пищу духа» тихого учителя домой и вот что нашел в этой черной книге:

Так называемое искусство питается преимущественно изображением и описанием разного рода преступлений, и замечаю, что чем преступление подлее, тем более читается книга и знаменита картина, ему посвященная. Собственно говоря, интерес к искусству есть интерес к преступному. Отсюда вполне ясен вред искусства для юношества.

Сазана надо фаршировать морковью, но этого никто не делает.

Князь Владимир Галицкий ездил служить венгерскому королю и четыре года служил ему; после чего, возвратясь в Галич, занимался церковным строительством.

Всякое преступление требует врожденного таланта, особенно же человекоубийство.

Ап. Кор. написал, в насмешку надо мною, плюгавенькие стишки. На всякий случай равнодушно записываю их:

Чтобы душа была подобна гуммиластику,—
Т. е. более податлива, гибка,
Делать надобно духовную гимнастику,—
Т. е.— попросту — «валять дурака».

Успешное — т. е. безнаказанное — убийство должно быть совершено внезапно.

Тихий человечек записывал любопытнейшие мысли свои разнообразными почерками — ромбом, готическим, английским, славянской вязью и всячески, явно щеголяя своим мастерством. Но всё, что касалось убийства, он писал тем же мелким круглым почерком, каким была написана выдержка из письма Плиния Траяну. И можно было думать, что это уже его индивидуальный почерк. Великолепно, ромбом, было нарисовано:

Мышление есть долг всякого грамотного человека.

Славянской, затейливой вязью:

Я никогда не позволю себе забыть насмешек надо мной.

А круглый почерк говорил:

Внезапность не исключает предварительного и точного изучения условий жизни намеченного лица. Особенно важно — время и место прогулок. Часы возвращения из гимназии с уроков. Ночью из клуба.

Две страницы заняты подробным и сухим описанием прогулки в лодках по Волге, затем косым почерком, буквами, переломленными посредине, начертано:

У Пол. Петр. дурная привычка чесать пальцем под левым коленом. Она любит сидеть, закинув ногу на ногу, от этого и чешется под коленом, вероятно, застой крови. Он этого не замечает, дурак. Он вообще глуп. И нехорошо, что она часто спрашивает: «Да что вы?» — это у нее выходит насмешливо. Полина — значит Пелагия, Пелагия,— имя, собственно, вульгарное, деревенское.

И снова — круглый почерк:

Уехать из города и неожиданно возвратиться. Сесть на извозчика,— это очень глупо говорят: сесть на извозчика, надо: нанять извозчика. По дороге домой соскочить с пролетки, под видом, будто заболел живот, сбегать, убить и ехать дальше...

Далее — калмыцкое лицо женщины и уродливо коротконогий человек с маленьким лицом без глаз; на месте их — вопросительные знаки. Очень пышная борода.

Затем — хитрым почерком подьячего:

Он стал бывать, т. е. ходить в гости к старой чертовке, поэтессе Мысовской. У нее собираются местные революционеры.

И снова круглый почерк:

Внезапность действия — гарантия успеха. Извозчика нанять старика, по возможности, со слабым зрением. Соскочить — схватило живот. Проходным двором идти прямо на него, но — не здороваться, чтоб он растерялся. Миновать и, внезапно повернувшись, ударить с бока в m. c. (приведено сокращенное до двух букв латинское название мускула). Быстро возвратиться к извозчику, оправляя костюм, грубо смеясь над собой. Дома послать в аптеку за желудочными каплями. Когда всё обнаружится, вести себя с любопытством, легкомысленно. Участвовать в торжестве похорон. Конечно.

Больше записей на эту тему не было, последняя же заканчивалась виньеткой: могила без креста, над нею сухое обломанное дерево, вокруг — густой бурьян, а в небе плачет калмыцкое лицо луны.

Дальше было еще четыре записи:

Прочитал в немецком романе глупую фразу: профессор спрашивает свою невесту:

— Адель, почему вы всегда переговариваете всё, что я вам ни скажу?

Сегодня на закате солнца в саду удивительно пел скворец, пел так, как будто это он уже в последний раз поет.

Встреча с человеком не всегда грозит опасностью, но все-таки надо быть очень проницательным, выбирая знакомых. Я никогда больше не позволю себе знакомиться с рыжими.

Зубную боль хорошо чувствует только тот, у кого болят зубы, и только тогда, пока они болят. Затем человек забывает, как мучительна зубная боль. Было бы полезно, чтоб зубы болели хотя раз в месяц, но обязательно в один и тот же день, у всего населения земного шара. При этом условии люди, вероятно, научились бы понимать друг друга.

Этим заканчивалась книга тихого учителя чистописания, озаглавленная им: «Пища духа».

Московский студент Маньков, убийца своей жены, в последнем слове на суде защищался так:

— Она убита, и она — мученица, она теперь, может быть, святая, в раю, а мне осталось всю жизнь нести тяжкий крест греха и раскаяния. За что же еще наказывать меня, если я уже сам себя наказал? Вот я теперь ем яблочки, яички, как прежде ел, а вкуса они прежнего, милого уже не имеют, и ничто не радует меня — за что же наказывать?

НЕУДАВШИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ

Ночью, в грязненьком трактире, в дымной массе полупьяных, веселых людей, человек, еще не старый, но очень помятый жизнью, рассказал мне:

— Погубил меня телеграфист Малашин.

Наклонил голову в измятой кепке жокея, посмотрел под стол, передвинул больную ногу свою, приподняв ее руками, и длительно, хрипло вздохнул.

— Телеграфист Малашин, да. Благочинный наш именовал его нелепообразным отроком, девицы — Малашей. Был он маленький, стройный, розовые щеки, карие глаза, брови — темные, руки — женские; писаными красавцами называют таких. Веселый, со всеми ласковый, он был очень заметен, даже, пожалуй, любим в нашем городишке, где три тысячи пятьсот жителей не спеша исполняли обыкновеннейшие обязанности людей. В двадцать лет от роду моего проникся я скукой жизни до немоты души; очень уже раздражала и даже пугала меня тихая суета людей, непонятен мне был смысл этой суеты, смотрел я на всё недоуменно и однажды, в порыве чувства, написал рассказ «Как люди живут». Написал и послал рукопись в журнал «Ниву». Ожидал решения судьбы неделю, месяц, два и махнул рукой: эти штучки не для нашей внучки!

— А месяца через три, может быть, и больше, встречаю Малашина. «У меня, говорит, для тебя открытка есть». Подал мне открытое письмо, а на нем написано: «Рассказ Ваш скучно написан, и его нельзя признать удачным, но, по-видимому, у Вас есть способности. Пришлите еще что-нибудь».

— Не стану говорить, как я обрадовался. Малашин любезно рассказал, что открытка уже третий день у него. «Случайно, говорит, захватил на почте, чтоб передать тебе, да всё забывал. Так ты, говорит, рассказы пишешь, в графы Толстые метишь?»

— Посмеялись и разошлись. Но уже в тот же день, вечером, когда я шел домой, дьякон, сидя у окна, крикнул мне: «Эй, ты, писатель! Я т-тебя!» И погрозил кулаком. В радости моей я не взвесил дьяконов жест. Знал я, что это человек фантастический: в молодости он стремился в оперу, но дальше регента в архиерейском хоре не пошел и в губернии не мог составить карьеры себе, страдая наклонностью к свободе действий. Пил он и в пьяном виде, на пари, бил лбом грецкие орехи, мог разбить целый фунт орехов, так что кожа на лбу у него лона-

лась. Носил в кармане железную коробочку с продухами, летом — для лягушат, а зимою для мышей, и, улучив удобную минуту, пускал зверюшек этих дамам за шивороты. Шутки эти прощались ему за веселый его нрав и за то, что он удивительно знал рыбий характер, чудесный был рыболов! Но сам рыбу не ел, боясь подавиться костью, и пойманное дарил знакомым, чем весьма увеличивал любовь к нему.

— Так вот — обрадовался я. Был я в ту пору юноша скромный, характера задумчивого, собою некрасив.

Он прижал губами жиденькие выцветшие усы, прищурил желтые белки скучных глаз и дрожащей рукою стал бережно наливать рюмку водки. В двадцать лет он был, вероятно, неуклюж, костляв, серые вихрастые волосы его были, видимо, рыжими, мутные глаза — голубыми. И — множество веснушек на лице. Теперь его дряблые щеки густо исчерчены сложным узором красных жилок, сизый нос пьяницы печально опускался на усы. Водка уже не возбуждала его. Он бормотал натужно и как бы сквозь сон.

— Почувствовал я себя красавцем, значительной фигурой. Еще бы: имею способности редкого качества! Душа моя запела жаворонком. Начал жестоко писать, ночи напролет писал, слова с пера ручьем текут. Радость! Замечаю, что горожане стали смотреть на меня особенно внимательно. Ага, думаю...

— Малашин пригласил меня в гости к акцизному, а у того — дочь, бойкая такая барышня. Ну и еще разная молодежь. Интересуются мною, спрашивают: «Пишете? Пожалуйста — чаю! Внакладку!»

— «Ого, думаю, внакладку даже?!» Размешивал чай ложечкой, хлебнул — что такое? Солоно. Так солоно, что даже горько. До отвращения. Все-таки пью, по скромности моей. И вдруг все, хором, захохотали, а Малашин просмеялся и говорит: «Как же это? Писатель должен уметь различать все вещи, а ты соль от сахара не можешь отличить, как же это?»

— Я сконфузился, увял: эх, думаю... «Это, говорю, шутка, конечно...»

— Они еще больше хохочут. Потом стали уговаривать меня, чтоб я стихи читал,— я и стихи сочинять

пытался. Малашин знал это. Уговаривают: «Поэты в гостях всегда стихи читают, и вы обязаны».

— Но тут мордастый сын головы вмешался; сказал: «Хорошие стихи пишутся только военными».

— Барышни стали доказывать ему, что он ошибается, а я незаметно ушел. И с этого вечера всем городом начали меня травить, как чужую собаку. В первое же воскресенье встретил я дьякона, идет с удочками, попирая землю, как чудовищный слон. «Стой,— кричит.— Пишешь, дурак? Я, говорит, три года в оперу готовился и вообще не тебе чета, а ты — кто? Муха ты! Такие, говорит, мухи только засиживают зеркало литературы, сволочь...» И так изругал меня, что мне даже обидно стало. «За что?» — думаю.

— Через некоторое время тетка моя, — я сирота, у тетки жил: «Что это говорят про тебя, будто пишешь ты? Бросил бы, тебе жениться пора...»

— Пытался я объяснить ей, что в деле этом ничего зазорного нет, что даже графы и князья пишут и вообще это занятие чистое, дворянское, но она заплакала; взывает: «Господи, и кто, злодей, научил тебя этому?»

— А Малашин, встречая меня на улице, орет: «Здравствуй, без четверти граф Толстой!» Сочинил глупенькую песенку, и, при виде меня, молодежь города зудит:

Все пташки, канарейки
Прежалостно поют,
Хотя им ни копейки
За это не дают...

— «Эх, думаю, попал жук под копыто!» Так дразнят — на улицу показаться нельзя. Особенно — дьякон, освирепел, того и жди отколотит. «Я, рычит, три года, а ты, негодяй...»

— Бывало, ночами, сижу я над рекой, соображаю: «Что такое? За что?»

— Над рекой уединенное место было, мысок, и на нем ольховая роща, так я заберусь туда и, глядя на реку, чувствую, будто вода эта темная, омыв город, сквозь мою душу течет, оставляя в ней осадок мутный и горький.

— Была у меня знакомая девушка, золотошвейка, ухаживал я за ней с чистым сердцем, и казалось, что я тоже приятен для нее. Но и она стала кукситься, осторожно спрашивает меня: «Правда, что будто вы что-то написали в газеты про нас, про город?» — «Кто вам сказал?» Поежилась она и рассказала: «Писательство ваше у Малашина в руках, и он его всем читает, а над вами смеются и даже хотят бить, за то, что вы графу Толстому предались. Зачем вы Малашину дали писательство это?»

— Подо мной земля колыхнулась: у-ю-юй, думаю. Там у меня и про акцизного и про дьякона, про всех, без радости, говорится. Конечно, несчастное писание мое я Малашину не давал, он сам взял рукопись на почте. Тут любезная моя еще подлила мне горечи: «За то, что я гуляю с вами, подруги смеются надо мной,— так что я уж не знаю, как мне быть». Эх, думаю я.

— Иду к Малашину. «Отдай рукопись, пожалуйста!» — «Ну, зачем она тебе, говорит, если ее забраковали!»

— Не отдал. Нравился мне этот человек; замечаю я, что как ненужные вещи приятнее полезных, так же иногда приятен нам и вредный человек. И еще пример: нет битюга дороже скаковой лошади, хотя люди живут трудом, а не скачками.

— Наступили святки, пригласил меня Малашин рядиться, нарядил чёртом, в полушубок шерстью вверх, надели мне на голову козлиные рога, на лицо — маску. Н-ну, плясали мы и всё прочее, вспотел я и чувствую: нестерпимо щиплет мне лицо. Пошел домой, а меня на улице обогнали трое ряженых и кричат: «Ох, чёрт! Бей его!»

— Я — бежать. Конечно — догнали. Избили меня не сильно, но лицо горит — хоть кричи! Что такое? Утром подполз я к зеркалу, а рожа у меня неестественно багровая, нос раздуло, глаза опухли, слезятся. Ну, думаю, изуродовали! Они маску-то изнутри смазали чем-то едучим, и когда вспотел я, мазь эта начала мне кожу рвать. Недель пять лечился, думал — глаза лопнут. Однако — ничего, прошло.

— Тогда я догадался: нельзя мне оставаться в городе. И тихонько ушел. Гуляю с той поры вот уже тринадцать лет.

Он зевнул и устало прикрыл глаза. Он казался человеком лет пятидесяти.

— Чем вы живете? — спросил я.

— Конюх, служу на бегах. Даю материал о лошадях репортеру одному.

И, улыбаясь медленно, доброй улыбкой, он сказал:

— До чего благородные животные лошади! Сравнить не с чем лошадей. Только вот одна ногу разбила мне...

Вздохнув, он тихо добавил, точно строчку стиха прочитал:

— Самая любимая моя...

ВЕТЕРИНАР

В массе народопоклонников, которых я встретил на путях моей жизни, особенно памятен мне ветеринар Милий Самойлович Петренко.

Высокий, сутулый. Длинное, до пят, узкое пальто из парусины неестественно увеличивает его рост. Бритое лицо украшено пышными усами, концы их картинно спускаются на грудь. Из-под густых бровей непреклонно и сурово сверкают светлые глаза. Выпуклый лоб глубоко распахан морщинами, на голове буйно торчат жесткие клочья сивых волос, они прикрыты выцветшей широкополой шляпой, шляпа сдвинута на затылок, и это придает старику задорный, боевой вид.

Я познакомился с ним в 903 году в Седлеце, у М. А. Ромася, и Петренко пожелал ознакомить меня с «работой его жизни». Холостяк, он снимал комнату в деревянном грязненьком домике извозчика-еврея; против окон этой печальной комнаты внушительно возвышались красные солиднейшие стены седлецкой тюрьмы.

Размахивая руками, длинными, как весла, ветеринар усадил меня к столу и зарычал глубоким басом, произнося каждое слово отдельно:

— Сура. Пива. Две.

Бросил шляпу в угол, на койку, достал из малень-

кого желтого комода толстую тетрадь в клеенке и, гулко крякнув, начал:

— Вот. Называется:

Несколько соображений по вопросу об усвояемости пищевых веществ едоками различных сословий. Социально-экономический очерк.

Частию — рассказывая, иногда — читая, он в течение добрых полутора часов знакомил меня со своей работой. Она была основана на химическом исследовании экскрементов. Ее выводы убедительно, длинными столбцами цифр утверждали, что чем выше стоит человек на ступенях социальной лестницы, тем хуже он переваривает пищу, тем большее количество выбрасывает его кишечник ценных веществ не усвоенными организмом. А наиболее преступно ведут себя в этом отношении чиновники и особенно — юристы: желудок юриста переваривает менее 50 процентов поглощенной им пищи, всю же остальную извергает без пользы для себя и явно во вред хозяйству государства.

— Сидячая жизнь! — победно рычал Петренко.— Ненормальная деятельность желчной железы. Все чиновники — желчны.

Хлопая по страницам тетради широкой ладонью, с кустиками серых волос на сгибах пальцев, ветеринар торжествовал:

— Расчет таков: четыре фунта в день. Три пуда в месяц. Тридцать шесть в год. На едока. Двадцать пудов лишних. Беру среднюю продолжительность жизни едока минимально — тридцать лет. Хо!

И, понизив голос, до глубочайшей октавы, он с гневом и ужасом загудел:

— Привилегированные сословия, о? Так называемые. Бесполезно уничтожают пищу, о! В количестве нескольких миллионов пудов в год. Грабеж, о!

Далее он неопровержимо доказал, что наиболее идеально усваивает питательные вещества желудок мужика,— в отбросах мужицкого кишечника непереваренная пища почти совершенно отсутствует.

— Мужик усваивает всё. Целиком. До нуля!

Встал со стула и, махая рукой над головой моей, зафыркал:

— Цифры! Мужицкое слово «дармоеды» имеет глубочайший научный смысл. За мужика — цифры! Доказано цифрами. Кто может опровергнуть цифры? Правда всегда в цифрах. В корне точных наук — цифры!

Когда он произносил слово «цифры», его пышные усы победоносно раздувались. Он сел, вылил под усы стакан пива, вытер рот полою пальто и продолжал, стукая по тетради крепким пальцем:

— Здесь р-радикальное р-решение пр-роблемы р-рационального питания населения России. Понимаете? Хо-хо! Мы можем или сократить труд мужика на пятьдесят процентов, или кормить весь мир. На выбор. Потому что: мужик испражняется честно. Он честно переваривает пищу, о! Мужик — первоначальная субстанция всякого социального тела, о! Он святейшее. Всё — его плоть. Его кровь, о!

Снова вскочив со стула, он дважды стукнул кулаком в стену, тотчас же в приоткрытую дверь заглянули три рыженькие головки, три чумазые мордочки. Одна из них тоненьким голосом что-то спросила непонятными словами еврейского языка. Ветеринар вытащил откуда-то измятую рублевку и, показав детям четыре пальца, скомандовал:

— Четыре. Не бултыхайте.

Подбежал кудрявый мальчугашка лет семи, схватил бумажку, смачно плюнул на нее и стал аккуратно расправлять рублевку на ладони.

— Ша! — крикнул старик, но это не испугало детей.

Я спросил:

— Вы не читали статейку об идеалах и идолах?

— Не помню. Нет. Марксистская?

Глаза его расширились, нос покраснел, и над бровями явились тоже красные пятна.

— Маркса — не люблю. Марксистов — ненавижу. Враги народа. Еврейское учение. Я — антисемит. Юдофоб, о! Евреи — паразиты. Как все неземледельческие народы. Христианство — еврейская ловушка. Ницше — прав. Христос — яд. Обессиливает. Родина человека — земля. Человек — это мужик, всё от мужика, всё через

мужика, о! Вот моя вера. Толстой путает. Вера — это когда просто. Просто и ясно. Юзова — знаете? Каблица? Читали? О! Честный мыслитель. Я его знал. В молодости. Мудрый человек. Любил. Знал. Верил.

Я спросил:

— Вы не пробовали напечатать ваши работы?

— Нет. Беден. Посылал в журналы. Не берут. Понятно! Интеллигенция. Паразитивное образование. В сущности, в глубине разума — относится к мужику враждебно. Рассматривает его как физическую силу. Как орудие. И — только. Мечтает его силой захватить власть, о! Шулера!

Он ударил по столу кулаком, стаканы, негодуя, зазвенели.

— Мужик чувствует это. Он не пойдет за интеллигенцией. У него свой путь. Свой ум. Всё, что не он,— лишнее. Он знает это, о!

Вбежали дети. Старший тащил две бутылки, двое других — по одной. Старик, ухмыляясь, мягко заворчал:

— Мотька! Я ж сказал: не бултыхай бутылки!

И, погладив рыжие кудри мальчика, сунул в лапку его какие-то монеты, а когда тот, взвизгнув и подпрыгивая, убежал, ветеринар проводил его широчайшей улыбкой, говоря:

— Люблю этих. Честно переваривают пищу. Еврейские дети — милый народ, о!

— Вы же юдофоб?

Он, усмехаясь, мотнул головой:

— Теоретически. Конечно, евреи — ни к чёрту! Ужасно живут. Но — если дать им земли...

Навалился грудью на стол и, умоляюще глядя на меня светлейшими глазами фанатика, попросил:

— Дайте земли! Всем. Всю. Больше — ничего. Земли! Всё остальное приложится. Жизнь начата мужиком. К идеалу приведет ее только мужик, о! Города — ошибка. История — ошибка. Надо всё сначала...

Резким жестом он схватил бутылку и, наливая в стакан теплое пенное пиво, сказал более спокойно:

— Ничего! Мужик — всё поправит...

Потом он снова заговорил о рациональном усвоении пищи, долго рассказывал мне о премудрости желудков

лошадей, коров, особенно восхищался желудком овцы и кончил речь свою густым, страстным восклицанием:

— Духовная энергия — результат работы желудка и кишок! Только это. Ничто иное, о!

А когда я уходил от него, он сказал, прощаясь:

— Надо честно переваривать пищу! В этом — всё. Мужик доказал это. Х-хо! И — как доказал!..

ПАСТУХ

Тимофей Борцов, сельский — села Вышенки — пастух, человек недюжинный: он немножко колдун и прорицатель, он — «коновал», но лечит и людей, он же «судья по семейным делам» и — как сам, ухмыляясь, именует себя — «соломенных дел мастер»: отлично плетет из соломы баульчики, коробочки, папиросницы и рамки, украшая их цветными бумажками и фольгой.

Солидные мужики говорят о нем почтительно:

— Это мужик круглого ума, он для нас — министр!

Молодежь боится его и зовет:

— Дядя Тим.

Вообще село очень уважает Борцова за ум, справедливость, за трезвую жизнь и достаток. На сходах он первый человек, но говорит всегда последним, внимательно выслушав всех крикунов.

Когда он был еще подпаском, бык ударил его рогом в бедро, а в молодости рекрута перебили ему ребра, поэтому Борцов ходит, странно раскачивая свое крепкое тело,— как будто ему хочется лечь на землю правым боком и, прижав к земле ухо, подслушать что-то в ней, а земля этого не хочет и отталкивает его.

Ему — лет шестьдесят, но он кряжистый, широкогрудый, меднолицый; плотные, белые зубы его все целы; в сивых волосах торчат рыжие клочья,— кажется, что он не седеет, а рыжеет. Волосы его так обильны и густы, что он не надевает шапку даже зимою, в морозы. Голос у него мощный для подпасков и скота, а с людьми он говорит медленно и как бы нарочито тихо, чтоб люди внимательнее слушали.

Но, главное, он философ. Часто бывает в городе,

продавая свои соломенные изделия, много видел, обо всем подумал.

С утра до вечера он сидит в поле, где-либо на холмике под тенью одинокой березы или на опушке леса, грозно покрикивает команду подпаскам и ловкими шерстяными пальцами неустанно плетет солому,— около него целый сноп.

— Отчего люди враздробь живут? — ставит он вопрос и сам же отвечает:

— А это от причины грамоты. Раздробились люди с того дня, как удумали эту словесную грамоту, книжки всякие, законы, приказы. Вот. Ты приказываешь, а я не могу понять тебя, я ж неграмотен! Примерно: ты скотский доктор, вертиринал по-вашему, я тоже скот понимаю, а друг дружку мы не можем понять, тому мешает грамота. Да.

Я слушаю и смотрю в его двуцветную, рыже-сивую бороду, в ней запутался широкий нос обезьяны, из нее шильями торчат, хитроумно сверкая, зеленые, жабьи глаза. А рта — не видно. Когда Борцов говорит, заметно только, что в бороде его что-то шевелится и бело просвечивает сквозь волосы холодная полоска зубов.

— И стоишь ты супротив меня человеком чужого языка, вроде немца. Также и становой и всякий другой чин. Ежели он по-матерному лает, ну, это я понять могу, а как он только грамотно заговорит,— тут промеж нас овраг! Я — по ту сторону, он по эту, и друг друга не слышим. Или же — поп: разве кто понимает, что́ он в церкви кричит? В церкви, как во сне, очень желанно, ну а понять невозможно ничего. Тоже и учителя: ребятишек скучат да скуке и учат, года-а! Это очень полезно, что ребятишки на возрасте забывают грамоту, а то бы и мужики друг дружку понимать перестали. Видишь? Главный вред людям это от нее, от грамоты.

Я пытаюсь убедить его в противном, однако — безуспешно. Прищурив, спрятав хитренькие глазки, он слушал речь мою молча и надувал губы так, что усы мохнатым клоком выдвигались из бороды. Лицо его становилось глупым, качая упрямой башкой, он говорил сожалительно:

— Ах ты, господи! Ну, что тут делать? Не понимаю!

Самых слов твоих не понимаю, не токмо — мыслей. Ты гляди, какие слова, а? Ты говоришь: наука, а я слышу— паука и сейчас тебя самого пауком вижу и будто ты меня, как муху, оплетаешь паутинкой. И еще ты говоришь, чтобы все были грамотны. Так это же безрассудок, на всех грамоты не хватит. Да и пищи не хватит, что ты! Ай-яй, до чего грамота доводит, ая-яй!

Конечно, я понимал, что пастух издевается надо мной, но я был тоже упрям, мне хотелось преодолеть упрямство дяди Тима. Видимо, это нравилось ему, он говорил со мной всё более ласково и охотно.

Но после одного его рассказа я отскочил от Борцова, как мяч, отбитый палкой.

Сидел он вечером, после заката солнца, на скамье у ворот избы своей, пред избою; в темно-зеленой, маслянистой воде пруда квакали лягушки, над нами ныли комары. Борцов отбирал из снопа стебли соломы и ленивенько философствовал, поучая меня:

— Ну, ладно; давай согласимся: нужен хороший человек. А — каков он, если хорош? Скажем так: людей-жителей не грабит, милостину подает, хозяйствует усердно — вот это будет самый хороший. Он законы знает: чужого — не трогай, свое — береги; не всё жри сам, дай кусок и псам; потеплее оденься, тогда и на бога надейся — вот он что знает. Это — самонужная его грамота. Таким человеком и держится наша держава, покоритель всех языков. Этот самый державец земли всю вселенную кормит и к нему всяк народ идет: немец разный, француз и турка — все к нему лезут. Даже, сам знаешь, завоевать хотели сколько раз: обворужатся чем лучше и прямо на Москву лезут охально. А он сидит смирно, ждет. Да. Подкатятся они, двенадцать языков, а то и побольше, тут он встанет да кэ-эк бабахнет! И все наступатели эти пылью рассыпятся,— больше ничего. И — никакой об них памяти. Будто — были, а — уж нет! И — с годами — всё меньше наступателей этих, а нас — всё больше, прямо и девать некуда. Вот.

— По твоим же словам выходит, что хороший человек просто бессчастный и даже вроде полуумного. Какое его дело? Никаких делов за ним не видать. Какая от него польза? Орет без ума чего не надо, и за то его са-

дют в тюрьму,— вот как по твоим речам объясняется этот человек.

— Я таких знавал, я множество знаю всякой юрунды. Мне даже сам его благородие исправник не раз, не два говорил: «Много ты, Борцов, знаешь, умная башка у тебя». Я, конечно, ему низенько кланяюсь, а про себя знаю: дурак он. Жена у него без ног семь лет, а он сидит над ней, как сытый пес над падалью. И даже помер в один год с ней; говорили, будто с тоски. Про него тоже был слух: хорош человек. А хорошего у него одно было: лошадь. Я ей кровь спускал. Мерин. Крепкий, во всех статях, как литой.

— Самый смешной из хороших этих был сын помещицы нашей Дубровиной, Ольги Николавны; распутная баба была, муж бросил ее, за границу скрылся даже. Остроносая такая, бойкая. В очках ходила, очки на черной нитке, а нитка за ухо привязана. «Я, говорит, доктор». Лечила некоторых. Ей, на пожаре, ногу переломили, стала тише после этого.

— А сын ее, Митя, дружком моим был, ребятишками живучи, вместе баловали. Потом он скрылся учиться и долгие годы не видать было его. Вдруг — будто из болота выскочил; я тогда уже пастухом был, сижу на опушке, дудки режу, а он и бежит. «Узнал ты меня?» — спрашивает. Длинный, худой стал, облысел и тоже в очках, как мать. В руке палка с кисейным колпаком, через плечо, на ремне, жестяная коробка, ножки тоненькие — совсем паяц! Мотыльков ловит, жуков и травы собирает, будто колдун. Говорит со мной по старинке, как с мальчишком: помнишь, спрашивает, помнишь? Вижу: дураком выучился Митя; мне и вспоминать стыдно, я уж в ту пору женат был. «Что, пытаю, делаешь, Митрий Павлыч?» — «Книжки, говорит, пишу про насекомую жизнь».— «Так, говорю. Занятия приятная».

— Присмотрелся — вижу — добрый он, как пьяный, ничего ему не жаль. Начали мужики щипать его: тот просит, этот тянет. Я — тоже. Шляпу соломенную выпросил у него, очень хорошая шляпа была, я от нее и выучился крутить из соломы разное безделье. Ну, конечно, по дружбе и деньги брал. Ножик тоже выпросил замечательный.

— Ума он был мышиного, заучился до безрассудка. Бывало, скажет: «Комар лихоманки разносит, берегись, говорит, комара!» Я, конечно, не смеюсь, а будто верю, спрашиваю: как так? Тут он и начнет плетенку плести, а, господи! Скажет тыщу слов, а смыслу с птичий нос. А то заведет речь насчет мужиков: трудно жить мужикам. В этот час и проси у него чего хошь: трудно, так ты помоги! Тут он хоть сто рублей даст,— жалостлив был, как баба. Гляжу я на него, думаю: «Хоть ты вдвойне зряч, а живешь ты зря! Чего тебе надо? Обут-одет хорошо, ешь — скусно, землишку в аренду сдаешь, деньжонки есть, чего тебе еще, болван тесаный, идол мордовский?» И — зло у меня на него.

— Ловит он насекомую мелочь, принюхивается ко всему, а я его направляю куда похуже, в болота, а у нас там промеж кочек колодцы глубоченные,— гляди в оба! Бывало, не доглядят подпаски, забредет теленок, а то овца, ну и — поминай, как звали! Засасывает их. Конечно, и он попадал в эдакие места, увязнет и орет.

Пастух нахмурил лоб и, раздирая пальцами бороду, продолжал тише, с явной досадой:

— Однова вперся он по шею, вытащили его, снял одежу, повесил на кусты сушить. А я и говорю подпаску: «Николка, поди спрячь бариновы штаны». Мальчишке лестно поозорничать, спрятал он обои штаны, а дело было к закату, я велел стадо гнать домой, и пришлось барину без штанов гулять, день был праздничный, везде — бабы, девки, — смех! Ну, это вышло мне плохо. Проболтался Николка, что это я пошутил, дошла выдумка моя до дружка, прибежал он ко мне и давай заговаривать меня. До того много говорил, что даже рожа покраснела и чуть слезы не текут у него. «Я, говорит, тебе и то и се, а ты мне — что, а?» С того дня рушилась наша дружба, перестал он знать меня да, кстати, захворал вскоре, а к весне и скончался в городе. Чахоточный...

— Ну, вот тебе и добрый человек, а — чем он хорош? Куда его, для какого дела? Он мне — как заноза в пальце. И немало таких видел я промеж господ. Сказано: промеж господ не зверь, так скот. Теленок. Был учитель у нас, Петр Александров, так до того заучился,

что начал парням внушать: всему горю причина — царь. Неизвестно, чем его царь обидел. А Федька Савин, теперешний волостной старшина, догадался да — в город, да в полицию, Федьке золотую монету в семь с полтиной дали, а учителя ночью жандармы увезли. Да — мало ли чего было!

— Опять говорю: грамотные — безумного характера люди, путаники. Пользы от них я не видал ни зерна, а досады — много. Вот и ты: человек здоровый, в подходе к людям — простой, даже кое-что понимать можешь. А все-таки есть в тебе опасное и понять тебя не могу я. Чего тебе надо? Мне вот кисет надо для табаку, кожаный бы. Ну, я знаю, попроси у тебя кисет, ты купишь и дашь. Так ведь это оттого, что у тебя деньга дешевая,— у вас, грамотных, вся ваша доброта от дешевой деньги, она вам легко дается. А чего тебе надо, ты, поди-ка, и сам не знаешь. У меня же всё ясно, как при свечке. Я, примерно скажем, прямой шосой иду, а ты проселками околобродишь.

Пастух закрыл глаза, запрокинул голову, выгнув мохнатый кадык, и выпустил из бороды странные, рыкающие звуки,— это он смеялся. Потом, поковыряв глаза пальцем, снова заговорил:

— Вот намедни ты непотребно сказал: земля вертится. Это я и до тебя слыхал. Это потому она вертится, что у вас у всех башки от грамоты закружились. А вы кричите: ай, земля вертится! Ох, вертится! Земля — врешь! — вертеться не смеет, этого человек не может терпеть.

Победоносно сверкнув глазами, Борцов поглядел на красный круг луны в небесах, уставился на ее отражение в маслянистой воде пруда.

— Тебе вот неизвестно — какова завтра погода будет, а я знаю: быть завтра плохой погоде! Какой тому знак? Опять ты этого не понимаешь, а я тебе не скажу.

Свертывая папиросу, он добавил хвастливо:

— Пастух всегда погоду чует...

В этот вечер Борцов стал неприятен мне, я потерял охоту видеть его, и несколько месяцев мы не встречались.

Но вдруг я узнаю,— не помню от кого,— что у пастуха есть двое племянников-сирот и оба они учатся на его средства, один — в Казанском ветеринарном институте, другой — во Владимире, в гимназии.

Встретив Борцова в магазине кустарных изделий, я упрекнул его:

— Ты зачем же это, дядя Тим, врал мне? Грамоту отрицаешь, а сам племянников учишь, да еще где!

Он прищурил жабьи глазки и, шевеля бородой, ответил:

— А — кем я обязан правду тебе говорить? К тому же за правду — бьют!

Засмеялся смехом лешего, покачиваясь на ногах, подмигивая, тихонько, сквозь смех, говоря:

— Племяши-то мои — кровные мне, а ты — чужой человек, вроде прохожего нищего. Я и действую в свою пользу, как всякий человек с разумом. Мои пускай учатся, а чужим — не надо. Понял? Ну, то-то...

Положил на плечо мое тяжелую лапу и милостиво, поучительно добавил:

— Сказано: свой своему поневоле брат. Ну, я и радею своим. Али мне не желается господами видеть своих-то? Мы, чуешь, из господ, только — самый исподний. Ну-кось, закурим, блажен муж...

Закурили. Я одобрительно сказал:

— Ловко ты, дядя Тим, обманывал меня! Хороший ты актер.

Это не понравилось ему, он заворчал:

— Опять невнятное слово! Чудак, ей-богу! Что тебе — труднее по-людски, по-русски то же слово сказать: паяц... Навыки у вас, грамотных, вовсе обезьяньи...

ДОРА

Восемь человек туберкулезных,— а это наиболее капризные люди: повысится температура тела на две, три десятых, и человек почти невменяем от страха, уныния, злости.

Бацилла туберкулеза обладает ироническим свой-

ством: убивая, она раздражает жажду жизни; об этом говорит повышенный эротизм, сопутствующий фтизису, и, часто, бодрая, предсмертная уверенность безнадежно больных в том, что они выздоравливают. Кажется, патолог Штрюмпель назвал это состояние «надеждой фтизиков».

Восемь человек больных, в одном из пансионов Крыма, обслуживала горничная Дора, человек неизвестного племени; иногда она выдавала себя за эстонку, иногда — за «корельку». Но говорила она языком тавричанки, то — с татарским акцентом, то — с армянским.

Она — огромная, толстая, но легка на ногу, движения ее ловки и быстры. У нее доброе лицо лошади, красные губы растянуты жирной улыбкой, маслом этой улыбки налиты и ее большие глаза странного, сиреневого цвета. Когда она задумывалась, туповатые эти глаза тускнели, и взгляд их приобретал свинцовую тяжесть.

Она была безграмотна и глупа, особенно глупа тогда, когда ей хотелось схитрить. Больные так и звали ее — не очень остроумно:

— Дура.

Но — это не обижало толстую девушку, не гасило ее улыбку, отношение Доры к больным было снисходительно, как отношение матери к детям. И когда чахоточные мужчины жадно цапали серыми потными руками ее здоровое, полное горячей крови тело, она спокойно отводила красной ручищей своей эти потные, жалкие руки умирающих:

— Не лапайте, вам баловать вредно.

За нею настойчиво ухаживали солидные люди: лавочники, подрядчики и суровый, крепкий рыбак-вдовец, их привлекала ее грубая красота, сила, неутомимость в труде, ровный характер, каждому хотелось взять себе в работу на всю жизнь это спокойное, кроткое, человекоподобное существо. Но ее отношение к мужчинам напоминало о человеке свободном, богатом, который хорошо знает, когда и как лучше затратить свой капитал. Она отказывала женихам с тою же неумной, но успокаивающей улыбкой, с какою выслуши-

вала бесконечные капризы больных и отталкивала от груди своей их назойливые ласки.

Ей было жарко даже в те дни, когда свистел северный ветер или туман обнимал мутной сыростью пансион, маленький домик на горе, и больные, кутаясь в пледы, в пальто, проклинали погоду. Ночами, уложив всех нас спать, Дора кутала голову черным платком с красной розой в одном его углу, выходила на террасу и там, стоя на коленях, глядя в небо, долго молилась, вздыхая под моим окном:

— О, пресвятая матерь... Христе, боже наш! И ты, великий угодник, Никола...

Наклонностей к поэзии, к лирике не замечалось у Доры. Она не любила цветы, находя, что от них много сора в комнатах, а когда как-то ночью поповна, умиравшая от туберкулеза кишок, восхищалась великолепием неба и звезд, Дора уничтожила ее восторг тремя словами:

— Небо — как яичница...

Приехал девятый больной. С великим трудом, задыхаясь, он вошел по лестнице на террасу и, держась за конец перил, сказал Доре:

— Вот какой франт,— хорош?

Это было сказано и жалобно и весело. Улыбаясь, он глядел на огромную девушку, на бугры ее мощных грудей.

— Ого, какая здоровая,— хрипел он, быстро и часто глотая воздух.— Ну, вы меня вылечите, так?

— А — конечно,— сказала Дора, по-армянски исковеркав слово.

У него было совиное лицо, с круглыми, кошачьими глазами, загнутым книзу носом, с черненькими усиками, лицо злое и насмешливое.

С этого дня Дора волшебно и очень невыгодно для нас, больных, изменилась: стала забывать наши просьбы, комнаты убирала торопливо и небрежно, в ответ на жалобы и упреки сердито мычала, и что-то пьяное явилось в ее лошадиных глазах. Она как будто оглохла, ослепла и всё озабоченно склоняла голову вбок, к террасе, где лежал, задыхаясь и кашляя, маленький студент Филиппов, похожий на сову. Каждую свобод-

ную минуту она бежала к нему, а после заката солнца пряталась в комнате студента, и тогда уж трудно было вызвать ее оттуда.

А он — умирал. Очень необычно умирал: посмеиваясь, пошучивая, пытаясь насвистывать мотивы опереток, чему мешал его кашель. Было в нем что-то деланное: задорное, даже циническое, но сделано это было искусно.

— Как вам нравятся, коллега, эти маленькие нелепости? — спрашивал он меня, подмигивая кошачьим глазом.— Как нравится вам всё это: день, ночь, рождение, любовь, знание, смерть, а? Забавно, не правда ли? Не спа[1], как спрашивают французы. Особенно забавно для человека двадцати шести лет от роду,— это я говорю о себе... Дора!

Где-то раздавался стук посуды или грохот мебели, являлась Дора и, вытаращив глаза, молча ждала, что прикажет ей этот человек.

— Добрейшая слониха моя, принесите-ка мне винограда — живо! — командовал он и говорил мне:

— Весьма непросвещенная и даже тупая личность.

Он ненавидел всех больных и едко высмеивал комическое в каждом. Его тоже не любили. Со мною он подружился, потому что любил литературу, это очень сближало нас.

— Литература — лучшая из всех выдумок человека,— говорил он, облизывая губы серым языком.— И чем она дальше от жизни — тем лучше...

Мне казалось, что он умирает не столько от туберкулеза, сколько от какого-то тяжелого удара по душе.

Умер он на шестьдесят девятый день своей жизни в пансионе и, умирая, бредил:

— Фима — всю жизнь... только тебя... тебя люблю... всегда, о, Фимочка...

Я сидел на койке у ног его, а Дора угрюмо стояла у головы студента: всхлипывая, она гладила широчайшей лапой своей сухие волосы умиравшего. Под мышкой у нее был зажат какой-то сверток.

---

[1] Не так ли *(франц.)*.

— Что говорит он? — спросила она, беспокойно выпрямляясь.— Шо воно таке — Хвима?

— Очевидно — девушка или женщина, которую он любил, любит.

— Он? Этую — Хвиму? — громко и удивленно спросила Дора.— Ни, он же мене любит. Он же, как приихал, так тут меня и полюбив...

Но, прислушавшись еще к бреду студента Филиппова, она высоко подняла белесые брови, вытерла передником мокрое лицо свое, бросив сверток на колени мне, сказала:

— Это — смертное ему: порты, рубаха, туфли.

И тихонько ушла.

Минут через двадцать студент Филиппов перестал бредить. Он очень серьезно посмотрел в черный квадрат окна на белой стене, вздохнул, хотел — как мне показалось — что-то сказать, но — поперхнулся, и его маленькое, сожженное до костей тело спокойно вытянулось.

Я пошел искать Дору. Она стояла на террасе, глядя вниз, где небо и море, неразличимые, были одинаково темны. Она обратила встречу мне толстое лицо свое, и я был удивлен, увидав, как сурово это лицо.

— Умер. Идите одеть его, Дора.

— Не хочу.

Дора стала шаркать ногою, как бы растирая плевок.

— Не хочу,— повторила она.— Даже и видеть такого — не желаю. Вы смотрите — какой! Говорил — мене любит, а сам...

— Но ведь вы же видели, что он умирает...

— Ну и что ж? А — конечно, видела — разве ж я слепа? Я на свои гроши даже и смертное купила ему. Я сразу видела, как он приехал: ох, подумала я... умирает! Все — умирают. А — зачем обманывал? «Я, говорит, никогда не любил девушку». Ну на, вот тебе девушка... Ты умирай, да не обманывай...

Говорила она негромко и как будто думая не о том, что говорит. И вдруг — всхлипнула с такой болью, точно проглотила полную чашу горячей влаги и жестоко обожглась.

— Пойдемте, Дора!

— Идить, одевайте его сами, коли вы такой добрый. А я — нет. Не хочу. Что он мне был — забава?

— Я не умею одевать покойников...

— А мне что? Я ж ему чужая.

— Да ведь — умер он.

— Ну так что? Не уговаривайте мене, не хочу я видеть такого. Не обманывай...

Так она и не пошла одеть усопшего, осталась на террасе.

Обряжая студента Филиппова, я услышал тихий, но потрясающий вой. Выскочил на террасу.

Есть у человека эдакие особенные, кипучие, бешеные слезы — этими слезами и плакала Дора, стоя на коленях, гулко стукаясь головою о перила, плакала и выла, с визгом, выговаривая нелепые, неестественные слова:

— Обида ж ты моя... уродушка... детеныш... дитя незабенная...

ЛЮДИ НАЕДИНЕ САМИ С СОБОЮ

Сегодня наблюдал, как маленькая дама в кремовых чулках, блондинка, с недоконченным лицом девочки, стоя на Троицком мосту, держась за перила руками в сереньких перчатках и как бы готовясь прыгнуть в Неву, показывала луне острый алый язычок свой. Старая, хитрая лиса небес прокрадывалась в небо сквозь тучу грязного дыма, была она очень велика и краснолица, точно пьяная. Дама дразнила ее совершенно серьезно и даже мстительно, — так показалось мне.

Дама воскресила в памяти моей некоторые «странности», они издавна и всегда смущали меня. Наблюдая, как ведет себя человек наедине сам с собою, я вижу его безумным — не находя другого слова.

Впервые я заметил это, еще будучи подростком: клоун Рондаль, англичанин, проходя пустынным коридором цирка мимо зеркала, снял цилиндр и почтительно поклонился своему отражению. В коридоре не было ни души, я сидел в баке для воды над головою Рондаля, он не мог видеть меня, да и я не слышал его шагов,

я случайно высунул голову из бака как раз в тот момент, когда клоун раскланивался сам с собою. Его поступок поверг меня в темное, неприятное изумление. Потом я сообразил: клоун — да еще англичанин — человек, ремесло или искусство которого — эксцентризм...

Но я видел, как А. Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался — совершенно безуспешно — надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей,— лицо его становилось всё более сердитым. Он кончил тем, что уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидав меня на крыльце, сказал ухмыляясь:

— Здравствуйте! Вы читали у Бальмонта: «Солнце пахнет травами»? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь — татарским потом...

Он же долго и старательно пытался засунуть толстый красный карандаш в горлышко крошечной аптекарской склянки. Это было явное стремление нарушить некоторый закон физики. Чехов отдавался этому стремлению солидно, с упрямой настойчивостью экспериментатора.

Л. Н. Толстой тихонько спрашивал ящерицу:

— Хорошо тебе, а?

Она грелась на камне в кустах по дороге в Дюльбер, а он стоял пред нею, засунув за ремень пояса пальцы рук. И, осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего сознался ящерице:

— А мне — нехорошо.

Профессор М. М. Тихвинский, химик, сидя у меня в столовой, спрашивал свое отражение в медном подносе:

— Что, брат, живешь?

Отражение не ответило. Он вздохнул глубоко и начал тщательно, ладонью, стирать его, хмурясь, неприятно шевеля носом, похожим на зародыш хобота.

Мне рассказывали, что однажды кто-то застал Н. С. Лескова за такой работой: сидя за столом, высоко поднимая пушинку ваты, он бросал ее в фарфоровую

полоскательницу и, «преклоня ухо» над нею, слушал: даст ли вата звук, падая на фарфор?

Отец Ф. Владимирский, поставив пред собою сапог, внушительно говорил ему:

— Ну,— иди!

Спрашивал:

— Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

— То-то! Без меня — никуда не пойдешь!

— Что вы делаете, отец Федор? — осведомился я, войдя в комнату.

Внимательно посмотрев на меня, он объяснил:

— А вот — сапог! Стоптался. Ныне и обувь плохо стали тачать...

Я неоднократно наблюдал, как люди смеются и плачут наедине сами с собою. Один литератор, совершенно трезвый, да и вообще мало пьющий, плакал, насвистывая мотив шарманки:

Выхожу один я на дорогу.

Свистел он плохо, потому что всхлипывал, как женщина, и у него дрожали губы. Из его глаз медленно катились капельки слез, прячась в темных волосах бороды и усов. Плакал он в номере гостиницы, стоя спиной к окну, и широко разводил руками, делая плавательные движения, но — не ради гимнастики, размахи рук были медленны, бессильны, неритмичны.

Но — это не очень странно: плач, смех — выражения понятных настроений, это не смущает. Не смущают и одинокие ночные молитвы людей в полях, в лесу, в степи и на море. Совершенно определенное впечатление безумных вызывают онанисты, это тоже естественно, почти всегда противно, но порою — очень смешно. И — жутко тоже.

Курсистка-медичка, очень неприятная барышня, самоуверенная и хвастунья, начитавшаяся Ницше до очумелости, грубо и наивно рисовалась атеизмом, но — онанировала перед снимком с картины Крамского «Христос в пустыне».

— О, иди! — тихонько и томно стонала она.— Милый, несчастный — иди же, иди!

Потом она вышла замуж за богатого купца, родила ему двух мальчиков и уехала от него с цирковым борцом.

Мой сосед по комнате в «Княжем дворе», помещик из Воронежа, ночью, совершенно трезвый, полураздетый, ошибкой вошел ко мне; я лежал на постеле, погасив огонь, комната была полна лунным светом, и сквозь дыру в занавесе я видел сухое лицо, улыбку на нем и слышал тихий диалог человека с самим собою:

— Кто это?

— Я.

— Это не ваш номер.

— Ах, извините!

— Пожалуйста.

Он замолчал, осмотрел комнату, поправил усы, глядя в зеркало, и тихонько запел:

— Не туда попал, пал, пал! Как же это я — а? а?

После этого ему следовало уйти, но он взял со стола книгу, поставил ее крышей — переплетом вверх — и, глядя на улицу, полным голосом сказал, кого-то упрекая:

— Светло, как днем, а день был темный, скверный,— эх! Устроено...

Но — ушел он «на цыпочках», балансируя руками, и притворил дверь за собою с великой осторожностью, бесшумно.

Когда ребенок пытается снять пальцами рисунок со страницы книги,— в этом нет ничего удивительного, однако странно видеть, если этим занимается ученый человек, профессор, оглядываясь и прислушиваясь: не идет ли кто?

Он, видимо, был уверен, что напечатанный рисунок можно снять с бумаги и спрятать его в карман жилета. Раза два он находил, что это удалось ему,— брал что-то со страницы книги и двумя пальцами, как монету, пытался сунуть в карман, но, посмотрев на пальцы, хмурился, рассматривал рисунок на свет и снова начинал усердно сковыривать напечатанное, это все-таки не удалось ему; отшвырнув книгу, он поспешно ушел, сердито топая.

Я очень тщательно просмотрел всю книгу: техническое сочинение на немецком языке, иллюстрированное снимками различных электродвигателей и частей их, в книге не было ни одного наклеенного рисунка, а известно, что напечатанное нельзя снять с бумаги пальцами и положить в карман. Вероятно, и профессор знал это, хотя он не техник, а гуманист.

Женщины нередко беседуют сами с собою, раскладывая пасьянсы и «делая туалет», но я минут пять следил, как интеллигентная женщина, кушая в одиночестве шоколадные конфекты, говорила каждой из них, схватив ее щипчиками:

— А я тебя съем!

Съест и спросит: кого?

— Что — съела?

Потом — снова:

— А я тебя съем!

— Что — съела?

Занималась она этим, сидя в кресле у окна, было часов пять летнего вечера, с улицы в комнату набивался пыльный шум жизни большого города. Лицо женщины было серьезно, серовато-синие глаза ее сосредоточенно смотрели в коробку на коленях ее.

В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

— И — надо умереть?

В фойе никого уже не было, только я, тоже запоздавший войти в зал, но она не видела меня, да и увидав, надеюсь, не поставила бы предо мной этот, несколько неуместный вопрос.

Много наблюдал я таких «странностей».

К тому же:

А. А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной литературе», писал что-то карандашом на полях книги и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступил дорогу кому-то, незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке, и когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретил-

ся с моими, должно быть, удивленными глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил:

— Я опоздал?

ИЗ ДНЕВНИКА

Убийственно тоскливы ночи финской осени. В саду — злой ведьмой шепчет дождь; он сыплется третьи сутки и, видимо, не перестанет завтра, не перестанет до зимы.

Порывисто, как огромная издыхающая собака, воет ветер. Мокрую тьму пронзают лучи прожекторов; голубые холодные полосы призрачного света пронзает серый бисер дождевых капель. Тоска. И — люди ненавистны. Написал нечто подобное стихотворению.

Облаков изорванные клочья
Гонят в небо желтую луну;
Видно, снова этой жуткой ночью
Я ни на минуту не усну.
Ветвь сосны в окно мое стучится.
Я лежу в постели, сам не свой,
Бьется мое сердце, словно птица,—
Маленькая птица пред совой.

Думы мои тяжко упрямы,
Думы мои холодны, как лед.
Черная лапа о раму
Глухо, точно в бубен, бьет.
Гибкие, мохнатые змеи —
Тени дрожат на полу,
Трепетно вытягивают шеи,
Прячутся проворно в углу.

Сквозь стекла синие окна
Смотрю я в мутную пустыню,
Как водяной с речного дна
Сквозь тяжесть вод, прозрачно синих.
Гудит какой-то скорбный звук,
Дрожит земля в холодной пытке,
И злой тоски моей паук
Ткет в сердце черных мыслей нитки.

Диск луны, уродливо изломан,
Тонет в бездонной черной яме.
В поле золотая солома
Вспыхивает желтыми огнями.

Комната наполнена мраком,
Вот он исчез пред луной.
Дьявол вопросительным знаком
Молча встает предо мной.

Что я тебе, дьявол, отвечу?
Да, мой разум онемел.
Да, ты всю глупость человечью
Жарко разжечь сумел!

Вот — вооруженными скотами
Всюду ощетинилась земля
И цветет кровавыми цветами,
Злобу твою, дьявол, веселя!

Бешеные вопли, стоны,
Ненависти дикий вой,
Делателей трупов миллионы —
Это ли не праздник твой?

Сокрушая труд тысячелетий,
Не щадя ни храма, ни дворца,
Хлещут землю огненные плети
Стали, железа, свинца.

Всё, чем гордился разум,
Что нам для счастия дано,
Вихрем кровавым сразу
В прах и пыль обращено.

На путях к свободе, счастью —
Ненависти дымный яд.
Чавкает кровавой пастью
Смерть, как безумная свинья.

Как же мы потом жить будем?
Что нам этот ужас принесет?
Что теперь от ненависти к людям
Душу мою спасет?

СМЕШНОЕ

...И на войне смешное бывает: вот, примерно,— пошли мы, пятеро, в лес за дровами, а тут ка-ак бабахнет оземь эдакая немецкая тетка! Меня бросило в ямину, засыпало землей, застукало камнями; очнулся, лежу, думаю: «Ну, шабаш, пропал ты, Семен!» Оклемался, протер глаза, а — товарищев нету, деревья ободраны и кое на которых сучьях кишки висят. Тут я — хохотать! Уж больно забавно это,— кишки-те на сучках. После — стало мне несколько скушно. Тоже ведь люди были, товарищи-те, вроде как я, все-таки. И сразу — ни одного нет, будто и не было. Ну, а сначала — здорово смеялся я!

Пришли это мы в деревеньку, а в ней, всего-навсе, три хаты, у одной — старуха сидит, невдале — корова ходя. Говорим: «Бабка, это чия скотина будеть, али — твоя?» Она — плакать, она вопить и на колени встаеть и всяко. «Внуки, бает, у меня в погребе сидять и должны теперь сдохнуть».— «Не вопи, говорим, мы тебе по этому делу записку оставим». А был с нами, нашей же роты, парень костромской — вор-вором, он и напиши записку: «Эта самая старуха прожила девяносто лет да еще столько же собирается, ну того ей не удастся». И подписался, сукин сын: «Бог Господь».

Сунули ей записку, а корову забрали с собой и пошли. И так хохотали над этим случаем, что идти было трудно,— остановимся и грохочем, аж слезы текуть.

ГЕРОЙ

...На обрывке «Нового времени» от 14-го июня 1915 года я прочитал:

Поднимаю перископ, смотрю, вижу зеленую волнующуюся рожь и синие пятна васильков, раскиданные посреди нее. Несколько дальше дорога, обсаженная деревьями. Поперек ее и дальше, через всё поле, тянется низенький валик желтой земли. Это и есть вражеский окоп. Там сидят немцы. Отсюда до них будет шагов двести.

Я спрашиваю:

— Можно ли увидеть отсюда немецкую каску, над гребнем вала?

Можно, но это бывает редко, очень редко, особенно днем. У нас тоже шутить не любят и следят за противником в оба глаза. Есть такие специалисты. И тут же мне показывают одного из них.

Маленький, невзрачный солдатик, на вид сонный и вялый, сидит неподвижно у бойницы, защищенный от пуль неприятеля стальным щитом. Сидит и пристально смотрит в щелку. В этом положении он проводит целые дни. Никто его не назначал сюда, никто его не принуждает, а просто у него уж такое пристрастие. Как раз в эту бойницу, и только в нее, видна лощинка, по которой немцы ходят за водой. Ходят, разумеется, согнувшись, но, если кто-либо из них выпрямится раньше времени, его можно заметить. И тогда — хлоп! Винтовка лежит тут же наготове,— навести ее и спустить курок — дело двух секунд. Промахов не бывает.

— Пленные утверждают,— говорит офицер,— что эта тропинка называется у них дорожкою смерти. За последние недели там убито около сорока человек. И подумать — всё работа того господина.

«Господин» слушает наш разговор совершенно безучастно, словно он не его касается. Его равнодушные, как бы заспанные глаза прикованы к отверстию в щите.

Этот механический истребитель себе подобных напомнил мне другого «господина», не менее серьезного.

В купе было шесть человек, но на станции Волхов влез, согнувшись, еще один,— коренастый, широкоплечий солдат с тяжелым мешком за спиной. Сложив мешок на колени моего соседа, он поправил на груди своей крест Георгия и, шевеля губами, внимательно осмотрел нас.

— Шестеро,— сказал он.— Правильно. Однако — потеснитесь.

Сосед мой, чиновник таможни, сердито заворчал:

— Как же тут потесниться?

— Для героя можно! Герой должен получить место.

Герой отжал чиновника сначала коленом, потом втиснулся на диван и раздвинул нас своими бедрами...

— Вот и готово.

Его толстое лицо было выбрито до синевы, так же как и шишковатый череп. Редкие черные брови казались выщипанными, из-под них смотрели кругленькие, выпуклые и точно вымороженные рыбьи глазки.

Вагон дернуло, покачнуло; полусонные люди, поворчав, примолкли. Солдат отважно закурил папиросу, а я — задремал, прислушиваясь, сквозь дрему, к его беседе с рыжим человеком, сидевшим против меня.

— Агромаднейший интерес для всех в этой войне,— говорил усатый; солдат отхаркнул, плюнул и подтвердил:

— Правильно.

— Главное — оживление жизни от нее... И во все стороны — свободный ход.

— Правильно, господин!

— Хоша, конечно, многих убивают...

— Ну, человек во всех случаях может умереть...

И после этого предисловия внушительно и одиноко зазвучал, под шум колес, сиповатый голос солдата:

— Хоша бы взять меня: был я обыкновенный, штатский человек, вроде вас, пять годов гонял плоты, а теперь, по случаю большой убыли командного состава, сдам экзаменты и буду унтер-офицером. Вот — еду сдавать. Раненый лежал,— учился. Отличаюсь строгостью характера и верным глазом. Злодейский глаз имею, такое утешение мне от бога глаз мой, что даже сам удивляюсь — за что? Стрельбой моей господа офицеры, призовые стрелки, любоваться приходили, такая правильная стрельба! До первой моей раны двадцать девять немцев положил я. Это — счет честный, я не сам убитых считал, потому — заметно стало мне: когда сам считаешь — промахиваешься. Другой охотник за всю жизнь зайцев столько не убьет, сколько я в один годок людей наколотил. Конечно, человек не заяц, не утка, однако ж ведь редко приходится стрелять по всей его туше, а всего больше в голову бьешь, когда она высунется из окопика или покатится по ходам сообщения. Я, видите, в окопчике действовал, приспастился к бойнице, перед окопчиком болотце неширокое, шагов в сотню, а за болотцем — он, немец этот. Позиция там, прямо скажу, была неудобная для них. Один раз я в день восемь штук положил.

Солдат засмеялся рыгающим, киргизским смехом и шумно вздохнул:

— Очень удивляюсь подвигу моему!

Я посмотрел на него. В сумраке осеннего утра голое круглое лицо героя лоснилось, точно салом смазанное, сладостной гордостью, рыбьи глазки счастливо улыбались.

Я рассказал об этом солдате знакомому священнику и услышал в ответ:

— Чем же возмущаетесь? Если мы верим в неизбежность того, что делаем,— мы должны делать это отлично. И если господь наш допускает грозную кару войны,— значит: обязаны мы принять допущение это как закон. Если же закон, то — уж извините! — господь не жесточе нас, а посему: исполним волю его покорно и, повторю, отлично...

Был этот священник маленький, сухонький, детские, светлые глаза его смотрели печально. Опустив их, он тихонько повторил:

— Господь — не жесточе нас...

О ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

Московский извозчик: шерстяная безглазая рожа; лошадь у него — помесь верблюда и овцы. На голове извозчика мятая, рваная шапка, синий кафтан под мышками тоже разорван, из дыры валяного сапога высунулся — дразнит — грязный кусок онучи. Можно думать, что человек этот украсил себя лохмотьями нарочито, напоказ: «Глядите, до чего я есть бедный!»

Он сидит на козлах боком, крестится на все церкви и ленивенько рассказывает о дороговизне жизни, не жалуется, а просто рассказывает сиповатым голосом.

Спрашиваю его: что он думает о войне?

— Нам — что думать? Царь воюет, ему и думать.

— Газеты — читаете?

— Мы — не читающие. Иной раз в чайной послушаешь: отступили, наступили. Газета — что? У нас в деревне мужик один врет много, так его зовут — Газета.

Он чешет кнутовищем под мышкой и спрашивает:

— Бьет нас немец?

— Бьет.

— А у кого народу больше: у нас, али у него?

— У нас.

Помахивая кнутом над шершавым крупом лошади, он философски спокойно говорит:

— Вот видишь: в воде масло не тонет...

Парикмахер, брея зеленого таможенного чиновника, уверенно говорит:

— Ко-онечно, немцы вздуют нас, они нас всегда били...

Чиновник возражает: нет, били и мы их, например: при императрице Елизавете нами даже Берлин был взят.

— Не слыхал,— говорит парикмахер.— Хоша сам — солдат, но про этот случай — не слыхал!

И — догадывается:

— Может, это для утешения нашего выдумано, чтобы дух поднять?

А в прошлом году, после объявления войны, этот парикмахер рассказывал мне, как он стоял на коленях перед Зимним дворцом и, обливаясь слезами, пел «Боже царя храни».

— Душа пела в этот час великой радости...

В саду, против Народного дома, группа разнообразных людей слушает бойкую речь маленького солдатика. Голова его забинтована, светлые глазки вдохновенно блестят, он хватает людей руками, заботясь, чтоб его слушали внимательно, и высоким тенорком сеет слова:

— Фактически — мы, конечно, сильнее, а во всем остальном нам против них — не устоять! Немец воюет с расчетом, он солдата бережно тратит, а у нас — ура! И вали в котел всю крупу сразу...

Большой, крепкий мужик, в рваной поддевке, говорит веско и басовито:

— У нас, слава богу, людей даже девать некуда; у нас другой расчет: сделать так, чтоб просторнее жилось.

Сказал и смачно зевнул. Хотелось бы слышать в его словах иронию, но — лицо у него каменное, глаза спокойно-сонны. Серенький, мятый человечек вторит ему:

— Верно! Для того и война: или землю чужую захватить, или народу убавить.

А солдат продолжает:

— К тому же сделана ошибка: отдали Польшу полякам, они и разбежались, те — к ним, эти — к нам, ну и путаются: своему своего неохота бить...

Большой мужик убежденно и спокойно говорит:

— Заставят — будут! Было бы кому заставить, а бить — будут. Народ драться любит...

И вообще об этой гнусной, позорной бойне «обыватели» говорят как о событии, совершенно чуждом им, говорят, как зрители, часто даже со злорадством, но — я не понимаю: куда, на кого направлено это злорадство? Вовсе не заметно, чтоб критика «власти» усиливалась и отрицательное отношение к ней росло. Развивается отвратительный, мещанский анархизм.

Сопоставляя его с мнениями рабочих, ясно видишь, насколько неизмеримо выше развито у последних понимание трагизма событий и даже чувство «государственности» или, точнее, человечности. Это заметно даже у «неорганизованных», не говоря уже о партийцах, как, например, П. А. Скороходов. На днях он рассуждал:

— Как класс — мы от военного погрома выиграем, и это, конечно, главное. А все-таки душа — болит! Стыдно, что воюем. И так жалко народ — сказать не могу. Ведь подумайте, гибнут самые здоровые люди, а им завтра работать. Революция потребует себе самых здоровых... Хватит ли нас?

Хорошо понимает значение культуры:

— Это глупо — говорить, что культура буржуазна и мне вредна. Культура — наша, законное наше дело и наследство. Мы сами разберем, что лишнее и вредное, сами и отбросим. Сначала надо поглядеть, что чего стоит. Кроме нас, никто не смеет распоряжаться.

Недавно у нас, на Сампсониевском, один мил-друг часа полтора культуру уничтожал, я думал: человек этот хочет доказать мне, что лапоть лучше сапога. Учителя, тоже! Уши рвать надо таким...

Профессор З., бактериолог, рассказал мне:

— Однажды, в присутствии генерала Б., я сказал, что хорошо бы иметь обезьян для некоторых моих опытов. Генерал серьезно спросил: «А — жиды не годятся? Тут у меня жиды есть, шпионы, я их всё равно повешу, берите жидов!»

— И, не дожидаясь моего ответа, он послал офицера узнать: сколько имеется шпионов, обреченных на виселицу? Я стал доказывать его превосходительству, что для моих опытов люди не годятся, но он, не понимая меня, говорил, вытаращив глаза: «Но ведь люди все-таки умнее обезьян; ведь если вы вспрыснете человеку какой-нибудь яд, он вам скажет, что чувствует, а обезьяна — не скажет!»

— Возвратился офицер и доложил, что среди арестованных по подозрению в шпионаже нет ни одного еврея, все цыгане и румыны.

— «И цыгане — не годятся? — спросил генерал.— Жаль!..»

Вспоминая о евреях, чувствуешь себя опозоренным.

Хотя лично я, за всю жизнь мою, вероятно, не сделал ничего плохого людям этой изумительно стойкой расы, а все-таки при встрече с евреем тотчас вспоминаешь о племенном родстве своем с изуверской сектой антисемитов и о своей ответственности за идиотизм соплеменников.

Я честно и внимательно прочитал кучу книг, которые пытаются обосновать юдофобство. Это очень тяжелая и даже отвратительная обязанность — читать книги, написанные с определенно грязной целью: опорочить народ, целый народ! Изумительная задача. В этих книгах я ничего не нашел, кроме моральной безграмотности, злого визга, звериного рычания и

завистливого скрежета зубов. Так вооружась, можно доказывать, что славяне да и все другие народы тоже неисправимо порочны.

А не потому ли ненавидят евреев, что они, среди других племен мешанной крови, являются племенем, которое — сравнительно — наиболее сохранило чистоту лица и духа? Не больше ли «Человека» в семите, чем в антисемите?

Постыдному делу распространения антисемитизма в массах весьма сильно способствуют сочинители и рассказчики «еврейских» анекдотов.

Странно, что среди них нередко встречаешь евреев. Может быть, некоторые из них хотят показать, как хорош печальный юмор еврейства... и этим надеются возбудить симпатию к своему народу у врагов его? Может быть, другие анекдотисты желали бы, показывая еврея смешным, убедить идиотов, что он вовсе «не страшен»? Но разумеется — среди них есть выродки и негодяи народа своего.

Таких «анекдотистов» было, мне кажется, особенно много в 80-х годах. Весьма славился Вейнберг-Пушкин, говорили, что он брат П. И. Вейнберга — «Гейне из Тамбова», отличного переводчика Генриха Гейне. Этот Вейнберг-Пушкин даже издал книжку или две очень глупых и бездарных «Еврейских анекдотов» или «Сцен из быта евреев». Мне нравилось слушать его рассказы,— рассказчик он был искусный,— и я ходил в Панаевский сад в Казани, где Вейнберг выступал на открытой эстраде. В то время я был булочником.

Однажды я пошел туда с маленьким студентом Грейманом, очень милым человеком; он потом застрелился. Меня очень смешили шуточки Вейнберга, но вдруг рядом со мною я услышал хрипение, то самое, которое издает человек, когда его душат, схватив за горло. Я оглянулся — лицо Греймана, освещенное луною и красными фонарями эстрады, было неестественно: серо-зеленое, странно вытянутое, оно всё дрожало, казалось,

что и зубы дрожали,— рот юноши был открыт, а глаза влажны и, казалось, налиты кровью. Грейман хрипел, присвистывая:

— Сволоч-чь... о, с-сволочь...

И, вытянув руку, поднимал свой маленький кулачок так медленно, как будто это была двухпудовая тяжесть.

Я перестал смеяться, а Грейман круто повернулся, нагнул голову и ушел, точно бодая толпу зрителей. Я тоже тотчас ушел, но не за ним, а в сторону от него и долго ходил по улицам, видя пред собою искаженное лицо человека, которого пытают, и хорошо поняв, что я принимал веселое участие в этой пытке.

Разумеется, я не забыл, что люди делают множество разнообразных гадостей друг другу, но антисемитизм все-таки я считаю гнуснейшей из всех.

Горит здание окружного суда.

Уже провалилась крыша, внутри стен храпит огонь, желто-красная вата его лезет из окон, вскидывая в черное небо ночи бумажный пепел. Пожар не гасят.

Бешенством огня любуются человек тридцать зрителей. Черными птицами они стоят у старинных музейных пушек орудийного завода, сидят на длинных хоботах. В хоботах этих есть что-то глупое и любопытствующее; все они уклончиво, косо вытянуты в сторону Государственной думы, где кипит жизнь, куда свозят на автомобилях и ведут арестованных генералов, министров, куда темными кучами торопливо идут и бегут люди.

Молодой голос звонко кричит:

— Товарищи! Кто хлеба кусок обронил?

Около пушек ходит, как часовой, высокий сутулый человек в бараньей мохнатой шапке, лицо его закрыто приподнятым воротником овчинной шубы. Остановился, глухо спрашивает кого-то:

— Что же, значит решено судимость похерить? Наказания — отменяются, что ли?

Ему не отвечают. Ночь холодна. Скорченные фигуры жителей недвижимо, очарованно смотрят на огромный костер в камнях стен. Огонь освещает серые лица,

отражается в неживых глазах. Люди на пушках какие-то мятые, трепаные, удивительно ненужные в эту ночь поворота России на новый, еще более трудный, героический путь.

— Я говорю: преступники-то как же? Судов не будет, что ли?

Кто-то отвечает негромко, насмешливо:

— Не бойся, не обидят тебя, осудят.

И лениво тянется странная беседа ночных, ненужных людей:

— Судить — будут.

— Кто это поджег?

— Судимые, конечно. Воры.

— Им — выгода...

— Вот такие, как этот...

Человек в мохнатой шапке говорит строго и громко:

— Я — не судимый, не вор, а суду этому сторож. Никого нет, а я — тут!

Сплюнув под ноги себе, он долго, тщательно шаркает по камню панели тяжелой кожаной галошей, растирая плевок, потом говорит:

— Я сомневаюсь: ежели решено простить всех, так это — рано. Сначала уничтожить надо всю преступность. Бумагу жечь, дома жечь — пустяки! Преступников искоренить надо сначала, а то опять начнем бумаги писать, суды, тюрьмы строить. Я говорю: сразу надо искоренить весь вред... Всю старинку.

Тряхнув головою, он добавил:

— Я вот пойду скажу им, как надо...

Круто повернулся и пошел по Шпалерной, к Думе; люди проводили его неясной, насмешливой воркотней, один из них засмеялся и стал кашлять бухающими звуками.

Этот человек был первый, который решительно выдвинул, не от разума, а, видимо, от инстинкта своего, лозунг:

— Надо всё искоренить.

Теперь, летом, речи на эту тему звучат всё тверже и чаще.

Вчера, после митинга в Народном доме, бородатый солдат воодушевленно, заикаясь и глотая слова, размышлял пред толпою человек в полсотни:

— Они чего говорят? Они опять то самое, через что погибаем. Нет, братья, дадимтя им всего; натя, пейтя, ешьтя, разговаривайтя промеж себя, а нам, народу, не мешайтя! Мы — сами. Мы, значится, положили выполоть всю сор-траву вашу, мы желам выкорчевать все пенья, коренья — во-от! Так ли?

Люди десятками голосов утвердили:

— Так. Верно.

— То-то. Им надо прямо сказать: отходи, господа, в сторону, не путай, не мешай. Пей, ешь, а нас — не тронь. Они говорят: опять наступай, опять воюй. Не-ет, братья, мы уж наступили друг дружке на животы, не-ет! Так ли?

Толпа почти единогласно согласилась:

— Так.

Заявления о необходимости коренной — социальной — революции раздаются всё громче, идут от массы. В массе возникает воля к самодеятельности, к жизни активной. Эта воля должна организовать ее, сделать политически зрячей.

«Вождям» не верят. На днях в цирке «Модерн» молодой парень, видимо шофер, ловко играл созвучными словами «вожди» и «вожжи» — человек двести слушало его и одобряло смехом.

И с каждым днем жизнь принимает всё более серьезный, строгий характер: всюду чувствуется напряжение ее сил...

САДОВНИК

17-й год, февраль.

Брызгая грязью на стены домов, на людей, по улице мчатся с грохотом и ревом автомобили. Они туго набиты солдатами, матросами и ощетинились стальными иглами штыков, точно огромные взбесившиеся ежи. Иногда сухо щелкают выстрелы. Революция. Русский народ суетится, мечется около свободы, как будто ловит, ищет ее где-то вне себя. В Александровском саду

одиноко работает садовник, человек лет пятидесяти; коренастый, неуклюжий, он спокойно сметает лист и сор с дорожек и клумб, сгребает подтаявший снег. Его, видимо, нимало не интересует бешеное движение вокруг, он как бы не слышит рев гудков, крики, песни, выстрелы, не видит красных флагов. Наблюдая за ним, я жду, когда он поднимет голову, чтоб посмотреть на людей, бегущих мимо него, на грузовики, сверкающие штыками. Но, согнувшись, он упрямо работает, точно крот, и, кажется, так же слеп.

Март.

По улице, по дорожкам сада, направляясь к Народному дому, медленно шагают сотни, тысячи серых солдат, некоторые из них везут за собой на веревочках пулеметы, точно железных поросят. Это пришел из Ораниенбаума какой-то неисчислимый пулеметный полк; говорят, что людей в нем более десяти тысяч. Им некуда девать себя, они с утра бродят по городу, ищут пристанища. Обыватели боятся их,— солдаты устали, голодны и злы. Вот несколько человек уселось и разлеглось по краям большой круглой клумбы, разбросав на ней пулеметы, ружья, вещевые мешки. Не спеша, к ним подходит с метлой в руках садовник и сердито увещевает:

— Ну, где разлеглись? Тут — клумба, цветы посажены будут. Ослепли? Детское место. Вставай, уходи!

И сердитые вооруженные люди покорно сползают с клумбы.

Июль, 6-е.

Солдаты, в металлических шлемах, вызванные с фронта, окружают Петропавловскую крепость; не торопясь, они идут по торцам дороги, по саду, тащат пулеметы, небрежно несут ружья. Иногда тот или другой добродушно покрикивает обывателям:

— Расходись, сейчас стрелять будут!

Горожанам хочется посмотреть сражение, они молча, крадущейся лисьей походочкой, идут по следам сол-

дат, прячутся за деревьями и вытягивают шеи, жадно заглядывая вперед.

В Александровском саду на куртинах цветут цветы, по дорожкам сада ходит садовник. Он в чистом переднике, в руках у него лопата, он покрикивает на зрителей и солдат, как на баранов.

— Куда? Куда лезешь на траву? Нет вам места по дороге?

Бородатый, железноголовый мужик в солдатской форме, держа ружье под мышкой, говорит садовнику:

— Гляди, дядя, застрелим...

— Иди знай! Застрельщик...

— Воюем, брат...

— Ты воюй, а у меня свое дело.

— Это так. Покурить — нету?

Доставая из кармана кисет, садовник громко ворчит:

— Ходите, где нельзя.

— Война!

— Мало ли что! Воевать — просто, а я тут — один! Ты вот ружье-то почистил бы, заржавлено ружье-то...

Верещит свисток, солдат, не успев закурить, бежит между деревьями, а садовник, плюнув вслед ему, кричит:

— Куда те черти понесли? Нет тебе дороги?..

Осень.

Садовник ходит по аллее с лестницей на плече, с ножницами в руках, подстригает деревья. Он похудел, съежился, платье на нем висит, как парус на мачте в безветренный день. Ножницы, перекусывая голые ветки, щелкают громко, сердито.

Глядя на него, я подумал, что ни землетрясение, ни всемирный потоп не могли бы помешать этому человеку делать его дело. И если б оказалось, что трубы архангелов, возглашающих конец мира, день страшного суда, недостаточно ярко блестят, человек этот, наверное, деловито и сурово упрекнул бы архангелов:

«Трубы-то почистили бы...»

ЗАКОННИК

Мокрым утром марта в 17 году ко мне пришел аккуратненький человечек лет сорока, туго застегнутый в поношенный, но чистый пиджачок. Сел на стул, вытер платком лицо и, отдуваясь, сказал, не без упрека:

— Высоконько изволите жить, для свободного народа затруднительно лазить на пятый этаж!

Ручки у него маленькие и темные, как птичьи лапы, стеклянные глазки строги, в них светится что-то упрямое, недоверчивое. На желтом костистом лице острый и желтый, точно у грача, нос. Осторожно внюхиваясь, человечек осмотрел меня, полки книг и спросил:

— Действительно — господин Пешехонов будете?

— Нет, я Пешков.

— А это не одно то же самое?

— Не совсем.

Он вздохнул и, еще раз осмотрев меня, согласился:

— И непохоже: у того — бородка. Значит: я попал в недоразумение.

Сокрушенно покачал головою:

— Эдакие путаные дни!

Я сообщил ему, что, вероятно, он найдет А. В. Пешехонова по Каменноостровскому, в кинематографе «Элит», где организуется Комиссариат Петроградской стороны.

— У вас какое дело к нему, можно спросить?

Человек сначала независимо и громко высморкался, потом, взяв со стола книгу, посмотрел на корешок ее и наконец ответил:

— По обязанности свободного гражданина хочу предложить для расклейки на заборах небольшой закончик...

Чувствуя нечто курьезное, я осведомился: какой именно?

— А — вот-с!

Сунув руку за пазуху, он вынул и подал мне лист бумаги, сложенный вчетверо; крупными буквами, тщательно на бумаге было изображено:

«Обязательные постановления.

Настоящие постановления имеют цель в виду всеобщего возмущения строжайше охранять свободу для чего

Немедленно:

Пунт 1. Арестовать всех лиц которые обсуждают события и свободу скопцычески. Продолжая жить по старому обычаю как господа.

Пунт 2. А именно: одну жену содержателя публичного дома: в Новой Деревне в доме Иакова Федорова Анну Погосову по прозвищу Варнашку.

Пунт 3 и примечание. Означенная Варнашка злобно фыркает на его Благородие господина гражданина Пешехонова за неимение у него знака власти и штатский вид а так же по причине законного отказа ей присвоить чужие бочки, хотя они даже бы и пустые.

Пунт 4 и продолжения примечания. А так же порицает бородку и вообще наружность. И говорила: что Свобода как Невинная Девушка стоит дорого. Ее нельзя хватать каждому.

Пунт 5. А посему: ее в первую очередь не взирая на отговорки.

Верно. Составитель закона

Иаков Федоров».

Прочитав закон, я попросил законодателя разрешить мне снять копию с его труда.

Прищурясь, он осведомился:

— Для какого намерения?

— На память!

Он бережно свернул лист, говоря:

— А вы, когда его расклеют, с заборчика сдерите.

Но я стал упрашивать его, и, подумав, он милостиво дал мне бумагу.

Пока я писал, он, принюхиваясь, рассматривал титулы книг на столе, вздыхал, покачивая головою, и ворчал:

— Многие теперь запрещены будут книги. Тоже закончик надо. Обязательно.

Кончив переписывать, я спросил его:

— Так, по-вашему, надо арестовать всех людей...

— Обязательно, которые скопцычески...

— Вы хотите сказать — скептически?

Но он строго поправил меня:

— Скопцы, значит — скопцычески. Исковеркавши слово, правду не скроешь. Скопцы — это которые не признают меня членом жизни.

Видя, что с ним трудно говорить, я спросил: чем он занимается?

— А — вот-с!

И человек угрожающе потряс в воздухе законом.

— А до законодательства — чем?

Он встал со стула, оправил пиджачок и сказал:

— Думал.

Потом, выпрямясь, недоверчиво проговорил:

— Значит — господин Пешехонов не одно то самое, что господин Горький? Писатель?

— Нет, не одно...

— Очень затруднительно понять это,— сказал он, вдумчиво прищурясь.— Как будто бы два лица, а выходит — три! Если же считать — трое, то будет два. Разве нарушение закона арихметики не запрещено властями?

— Властей еще нет...

— Н-да... Так! И — с точки зрения устава о паспортах — по двум паспортам жить не разрешается. Закон!

Неодобрительно кивнув головою, он пошел к двери, но по пути запнулся за что-то и, обернувшись, сказал:

— Извиняюсь, попал в недоразумение. Омрачен думами, хотя голова у меня светлая, как известно. Такое, знаете, время...

За дверью, набивая на ноги галоши, он ворчал:

— Тут сам Бисмарк... Не то — двое... не то — трое...

МОНАРХИСТ

В 80-х годах по улицам Нижнего Новгорода ходил, с ящиком на груди, остроглазый парень, взывая негромко, вопросительно и как-то особенно назойливо:

— Крестики нательные, поминаньица, шпилечки, булавки?

Часто встречая его, я заметил, что парень этот склонен к озорству: избрав какого-нибудь прохожего, он неотвязно шел сзади его, заходил сбоку и навязчиво выпевал:

— Крестики нательные, поминаньица?

Прохожий сердито отмахивался, иногда — ругался, а торговец, обогнав его, шел уже навстречу и, угодливо заглядывая в глаза раздраженного человека, снова предлагал ему крестики. Мне думалось, что этот парень ищет скандала, хочет, чтоб его толкнули, ударили, и почему-то я воображал, что торговля — дело не его души и что, наверное, он занимается еще чем-то более интересным, а может быть, и более опасным.

И я был несколько разочарован, когда парень этот поставил «ларек» в углублении церковной стены на бойкой Рождественской улице и стал торговать календарями и «листовками» Сытина, а через малое время ларек его вырос в лавку, с вывеской над нею:

«Книжная торговля В. Бреева».

Затем явилась в Нижнем розовенькая книжонка «Житие старца Федора Кузьмича». На обложке книги этой красовался портрет очень высокого лысого старика с огромной бородою, а под ногами его напечатано:

Издание В. И. Бреева.

Я узнал, что книжка эта создалась при таких условиях: в трактире «Грачи» какой-то странник рассказывал легенду о таинственном сибирском отшельнике, Бреев тотчас же предложил «босяку» Терентьеву, бывшему учителю, написать «за целковый» житие старца. Оказалось, что Терентьев кое-что уже слышал о Федоре Кузьмиче, и ему удалось сочинить довольно занятное «житие»; оно разошлось в десятках тысяч экземпляров по всей Волге и по Оке, и Бреев хорошо заработал на нем.

Когда вышли первые книжки моих рассказов, Бреев явился ко мне, скромно, но солидно одетый в мохнатенький синий пиджачок, с тяжелыми серебряными часами в кармане жилета, с цепью «фальшивого золота» на груди и в новых скрипучих сапогах. От него сильно

пахло ваксой, душистым мылом, он сиял улыбками и вдохновенно, негромко говорил:

— Позвольте изложить мечту сердца! Для прославления древнего нашего города и желая принести посильную пользу истории государства, затеял я издание сочинений небольшого размера о знаменитых земляках наших, как-то: Козьме Минине, патриархе Никоне, Аввакуме-протопопе, о Кулибине, Милии Балакиреве, господине Боборыкине, о Добролюбове, конечно, а также о Мельникове-Печерском и всех прочих талантах земли Нижегородской. Окажите делу этому литературную помощь...

Говорил он вполголоса, как бы «по секрету», гладко, надуманно и весь трепетал: двигал ногами, размахивал стареньким платочком, хватал меня за колени и вдруг, сунув руки в карманы, бряцал там чем-то, как медью лошадиной сбруи, потом отирал лицо ладонями, точно магометанин на молитве. Казалось, что он страдает накожной болезнью и все тело его нестерпимо чешется.

Было в нем что-то мохнатенькое, смешное, но почти приятное, эдакая русская, на всё готовая бойкость. Его скуластое лицо украшалось на подбородке нерешительным клочком бесцветных волос, клочок этот конфузливо загибался к шее, как будто желая врасти в кадык концами волос. Волосы усов торчали колко, точно усики ячменного колоса, так же щетинисто и напряженно торчали они в бровях. Глядя на Бреева, я подумал:

«Вот таких и зовут: „ежова голова“».

Очень необычны были его глаза,— круглые, голые, зеленоватого цвета, они вдохновенно сияли, испуская щекочущие лучики или, вернее, пыль мелких искр. Казалось — вот сейчас они вспыхнут и на месте их останутся черные ямы.

Когда я отказал ему в «литературной помощи», он пронзительно высморкался, вздохнул и продолжал, не угашая вдохновения:

— Тогда — позвольте сделать другое предложение, более легкое для вас.

Встал и, точно стихи читая, проговорил в два удара:

— Интересность необыкновенной вашей жизни и новое ее начало — чистые денежки! И ежели вы согласны написать вашу автоисторию за пятьдесят рубликов, то я — вот он! — издатель вам!

Написать «автоисторию» я тоже отказался, но это не помешало Брееву издать составленную кем-то глупую книжонку, нечто вроде моей биографии. Издателю пригрозили судом, если он не уничтожит эту книжку.

— Поверьте сердцу земляка,— оправдывался Бреев, смешно подпрыгивая,— не из жадности к деньгам — что есть деньги? — а только из патриотического взрыва чувств решился я обойти вашу скромность.

В 905 году мне сообщили, что В. И. Бреев избран председателем нижегородского отдела «Союза русского народа» и весьма энергично борется с крамолой, укрепляя самодержавие.

Затем, кажется, в 910 году, Бреев прислал мне на остров Капри письмо, в котором, воспевая доброту и великодушие царя Николая, убеждал меня покаяться во грехах и просить разрешения вернуться в Россию. Письмо было написано очень забавно и не рассердило меня. Я даже ответил Брееву, что эмигрантом себя не считаю, могу вернуться в Россию, когда захочу, не испрашивая никаких разрешений, и прибавил к этому характеристику самодержавия; ответ мой был кем-то напечатан в «Манчестер гардиэн» под заголовком «Письмо к монархисту».

В 14 году, возвратясь в Россию, я узнал, что Бреев куда-то уехал из Нижнего, а в 17-м, суетливым днем мая, меня вызвали к телефону, и я услышал взволнованный голос:

— У телефона — Бреев, Василий Иванович Бреев — помните? Мечтатель нижегородский?

Через час он вертелся на стуле предо мной, брызгая во все стороны быстрыми словами, такой же мохнатенький и забавный, каким был двадцать лет тому назад. Только ежовые волосики его стали мягче, потеряли свою колючесть, он подстриг сконфуженно изогнутую бородку и растрепанные усы, лишь брови его, как раньше, напоминали мне плавники молодого ерша. И так же, как раньше, молодо, бойко сияли зеленоватые гла-

за, сея пыль остреньких искр. Он был одет в какую-то толстую материю дымного цвета, в галстуке его сверкал бриллиант, на пальце левой руки — крупный рубин в золотом перстне, а в общем это был все тот же возбужденный человек, точно страдающий чесоткой.

Размахивая руками, он совал их в карманы брюк, пиджака, жилета, вытаскивал оттуда кусочки различных руд и приговаривал, катая их по столу:

— Золотоносный кварц! Вольфрам-с! Литографский камень редчайшего свойства! Неизвестный металл, никто не может сказать — какой именно! Всё — мое! Сделаны заявки. Приехал к вам как земляку,— помогите реализовать, так как вы в добром знакомстве с новыми правителями судеб наших!

Мой отказ помочь ему в этом деле нимало не охладил его, он только немножко удивился, заметив:

— Четвертый раз отказываете вы мне...

— Но я же ничего не понимаю в этом деле!

Он пожал плечами:

— А что ж понимать в золоте? Его — просто — добывать надо, чтобы жизнь наша озолотилась...

Прижмурив глаза и, качая головой, продолжал лирически:

— Если б вы знали, до чего неестественно богата Сибирь! Это даже не земля, а — вымя симментальской коровы-с, ей-богу! Пожалуйте доить! А — доить некому. Не умеем. Одни там искусные доильцы — это англичане на Лене...

Я спросил: давно ли он живет в Сибири?

— Три года, три. Как только началась бессмысленная эта война, так я — туда. Сердечно желаю рассказать вам необыкновенную карьеру моей жизни, будучи уверен, что вам, нижегородцу, приятно послушать историю преуспеяний земляка. Кому же знать удивительную жизнь русского человека, как не вам? Ведь вы, кроме того, что земляк, вы, так сказать, законный регистратор полетов русской души и самою судьбой вашей назначены к построению словесных монументов нам, людям древнего города, которому вся Россия обязана была, триста лет тому назад, спасением от преждевременной гибели...

Уходя, он спросил:

— Слышал — и вы тоже приглашаетесь в министры? Нет? Весьма жаль! Нам, нижегородцам, лестно было бы видеть министром своего человека.

Испытующе посмотрев на меня, он добавил:

— *Хотя* бы — по просвещению?

На другой день, вечером, Бреев, сидя у меня, взволнованный, потный, ощетинясь белобрысым волосом, двигая руками так, точно он тесто месил, рассказывал:

— Перелом жизни моей начался в обиднейшие годы японской войны. До той поры жил я единственно любовью к нашему красавцу городу, политика мне даже и не снилась, видел я другие сны, даже наяву видел их. Мечтал: разработаюсь, разбогатею и выстрою в Нижнем Новгороде красивейший дом на удивление не только своих людей, но даже иностранцев. Чтобы из Парижа и Лондона приезжали смотреть дом Бреева! Чтобы напечатали в газетах: даже в провинциальных городах России строятся такие дома, каких у нас — нет!

Снизу, с улицы, поднимался тяжелый гул, ревели гудки автомобилей, неистощимым серым потоком шли бородатые солдаты, тяжкий топот сотрясал землю, доносились чьи-то крики — раскачивалось и рушилось российское государство.

— Я — не дурак, размер сил своих знаю. Но ежели я, Васютка Бреев, блоха земли русской, могу так отчаянно чувствовать обиду этого позора, чтобы какой-то неизвестный народ бил великую мою державу, мать гениальных людей,— ежели моему малому сердцу обида эта так нестерпимо горька, каково же, думаю, другим-то русским, покрупнее, поумнее меня? С этого и началось озлобление мое против всей интеллигенции, людей образованных, так как в них я нашел только непонятное мне равнодушие сердца и ума к судьбам России. А озлобление — исток всякой политики, то есть я так понимаю политику: она есть озлобление.

— Соображаю: как же это? Что народ наш, армии наши бьют и вам того не жалко — это я могу понять: народ никому не жалко, он даже и сам себя жалеть не

умеет, я народ знаю! Вы меня извините, но я считаю так, что вообще никакого народа нет, не существует народ до поры, пока не соберешь людей в кучу да не крикнешь на них, не испугаешь их, не прикажешь им. Народа, у которого был бы один интерес,— нету! Народ — это песок, глина! И, чтоб он годился для построения государства, его надобно очень много мять и на огне обжигать.

— Так — народа не жалко вам? Хорошо, согласен. А — мечту тоже не жалко? Человек живет мечтой, и больше ему нечем жить. Каждый из нас имеет настойчивое устремление к самому прекрасному, это и есть то самое электричество, которое двигает людьми. Есть мечта о великолепном государстве, лучше которого нигде нет. У всех людей есть мечта, кроме, конечно, евреев, которые, потеряв землю под собою, могут мечтать только своекорыстно. Еврею мечта об украшении всеобщей жизни так же недоступна, как цыгану и всякому другому кочующему человеку. Я знаю, что вы с этим не согласны, у вас преданность евреям, не понятная никому,— извините, но, я думаю, это искривление души, вроде болезни. Это я заглянул в сторону.

— Итак — 905-й год. Шум на весь мир, все делают революцию, даже и такие, которые не умеют пришить пуговицу к собственным штанам. Все бегают по улицам женихами, но у некоторых, даже у многих — на душе похороны. И загорается мечта: триста лет тому назад город Нижний Новгород спас Россию от разрушения — не пора ли ему вспомнить подвиг свой? Что такое революция? Был у меня приказчик Леонидка, неглупый парень, он тоже записался в революционеры, орет ежедневно на всех улицах. Спрашиваю: «Ну, хорошо, Леонид, сделаешь ты революцию, а потом что будешь делать?» — «Я, говорит, как только всё кончится и войдет в новое русло — грибами займусь, грибы разводить и мариновать буду, я, говорит, такой способ знаю, что у меня каждый гриб сорок процентов урожаю даст!» — «Дурак ты, говорю, разве можно грибов ради строй государства разрушать?» И так везде: кого ни спросишь о намерении революций, у всех оказывается в итоге что-нибудь мизерное, вроде грибов.

— Ну, мы, «черная сотня», оказали вашему, извините, безумию достойное сопротивление и даже коекого побили. Признаю, что некоторых — напрасно, как, например, знакомого вашего, аптекаря Гейнце. Что делать? В драке волос не жалеют. В праведниках убыль — чертям любо.

— Одержав победу над смутой, мы, конечно, весьма возликовали и принялись за дело укрепления жизни. Подходили сроки значительные — 912-й, 13-й, столетие и трехсотлетие величайших событий. Я стал готовиться...

— Откровенно скажу вам,— затем ведь и сошлись, чтоб говорить без запятых,— открыто скажу: смелостью письма вашего в ответ на мое я был даже восхищен: вот как нижегородцы пишут! Но согласиться с мыслями вашими — не мог, не могу и теперь, когда видимое основание империи рушилось и царь в плену своих подданных. Подумать жутко, до чего легко свел нас с ума несчастный этот союз с французами,— вот и мы низвергли трон!

— Да, так согласиться с вами — не могу я. Я — народ знаю. Ему совершенно наплевать, кто там, на троне, сидит, пускай хоть татарин или киргиз, лишь бы сидел и было бы за что уцепиться мечте. Народ живет мечтой, народу нужно иметь огромное воображение, чтобы помириться со своей жизнью, а жизнь эта дана ему на веки веков...

Я прервал речь Бреева, указав, что вот мы снова живем во дни революции,— он вскочил на ноги, лицо его побурело от возбуждения, он заговорил приглушенным голосом:

— Революция? Свобода? Полноте! Завтра же выскочит кто-нибудь, крикнет: «Цыц! Я вам покажу, как надо жить!» И — пойдут, и поведет, и дойдут снова до своей каторжной точки. Поверьте мне, уважаемый земляк: истинно народная свобода — это только свобода воображения. Жизнь для него не благо и никогда не будет благом, но всегда — ныне и присно — ожидание блага. Для народа нужен герой, праведник, генерал Скобелев, Федор Кузьмич, Иван Грозный, всё едино — кто! И чем дальше, смутнее, недоступнее ге-

рой, тем больше свободы воображения и легче жить. Надо, чтобы кто-то жил-был! Сказка нужна. Не бог в небесах, а вот на темной земле нашей был бы кто-то великого разума и чудовищных сил. Чтобы он всё мог. Захочет и — все счастливы,—вот какого надо вообразить!

— Так что доказывать народу, будто Романовы — немцы, бесполезное дело. Хоть — мордва, я вам говорю, я же знаю народ! Ему нужно не многовластие, не аглицкий парламент, он механику, машину не любит, он тайну любит. Нужна ему власть великой единицы, хотя бы эта единица была круглым нулем, он сам наполнит нуль силой воображения своего — да, да!

— Договорю о письме вашем: я все-таки снял с него пяточек копий и кое-кому землякам сунул, а подлинник губернатору Хвостову отнес: «Вот, говорю, извольте видеть, что Горький пишет!» Зачем я сделал это? Надо же было познакомить нижегородцев с мыслями вашими, хотя мысли и вредные. Я ведь не на шутку патриот, и хоть вы отбились от своей стаи, а все-таки — нашего леса ягода. А губернатору передал письмо, чтобы отвести от себя вину в распространении копий.

— Очень хотелось мне возвратить вас в землю отечества ко дням торжественного празднования великих сроков нашей грозной державы — к 12-му, 13-му годам!

Бреев зажал уши ладонями и, раскачивая голову, мигая острыми глазами, пробормотал:

— Сбивает мысли мои этот счет назад: 13—12, а потом — 14, неправильна эта передвижка цифр! Ежели бы избрание Романовых состоялось в 11 году, а разгром дванадесяти язык — как он был — в 12-ом, так 14-го-то, может, и не было бы...

Выпустив голову из рук, он вздохнул и снова понесся:

— Мы, верующие в закон единовластия, собирались праздновать преодоление смуты и победу над Европой всемирно и громогласно с потрясающим великолепием и эдак бы с намеком: вот, мол, смотрите — Отечественная война против всей Европы, взятие Парижа, а — почему? Потому что триста лет назад Русь взята была счастливыми руками Романовых! Понимаете? Планчик

этот родился в моей голове, и я даже отяжелел от разных соображений, как беременная женщина. Надо было так устроить, чтоб сияние празднеств затмило в памяти народа и горестную неудачу японской войны, и постыдные безумства, начатые Мазепой этим, Гапошкой-попом, и вообще все зловещие случаи прошлого, надо было показать солнечные дни истории нашей во всем их ослепительном великолепии.

Он подскочил в кресле, точно уколотый, и, упираясь ладонями в ручки его, наклонился вперед. Зеленая влага явилась на его глазах, потное, красное лицо побурело и расширилось, на скулах вздулись желваки и ноздри раздулись. Он шевелил кадыком, как будто хотел проглотить что-то и — не мог. С минуту он не мог овладеть волнением своим, потом стер слезы со щек круглым жестом руки, криво усмехнулся и продолжал, всё так же горячо, вполголоса, почти шёпотом:

— Вдруг мне говорят: «Василий Иваныч, наш дружеский союз с Францией не позволяет шуметь по случаю Отечественной войны, а то союзники обидятся». Да-с, так и сказали! Возражаю: позвольте! Ежели мое умное лицо компаньону не нравится, так я должен дурацкую маску надеть? Так мы, говорю, глупую маску эту давно уже носим, и весьма правы те, кто смеется, указывая, что когда самодержавный монарх танцует с республикой, так, пожалуй, у монарха у первого голова закружится. Да уж и закружилась: вот — у нас парламентик шумит, и господин Милюков в президенты насыкается.

— Вы, конечно, знаете, что франко-русский альянс этот понимался «Союзом русского народа» как несчастная ошибка, как дружба ястреба с медведем: один — в небесах, другой — в лесах, и оба друг другу ни на что не нужны. Мы справедливо думали, что для нас была бы полезнее дружба с немцами, дружба каменная, железная, величайшей несокрушимости дружба!

— Одним словом: празднование поучительной Отечественной войны не удалось, поиграли кое-где, на площадях, «12-й год», музыку Чайковского, и на том — уснули.

— Тем более ожесточенно начал я готовиться к юби-

лейному торжеству трехсотлетия Романовых — царей. Позвал учеников Академии художеств: «Пиши, ребята, картины из жизни Нижнего Новгорода в 613 году, расписывай гробницу Минина, действуй во всю силу души!» Ну, они действительно постарались, превосходные картины были написаны ими; я потом открытые письма напечатал с этих картин и расторговался ими в десятках тысяч. Нанял баржу, устроил на ней выставку картин и повез ее вверх по Волге: гляди, народ, на какие дела был ты способен! Народ шел тысячами. Смотрит, мычит... Эх, народ, народ... Чугунное племя.

Закинув руки, скрестив пальцы на затылке, Бреев поднял лицо к потолку и, закрыв глаза, долго молчал.

— Большие это были дни в жизни моей, высоко чувствовал я себя. Всё парадно, празднично, по всем городам волжским звон колокольный, музыка, и как будто вся неприглядная жизнь наша вдруг стала императорской оперой. Высокие дни...

Он взял со стола чайную ложку, внимательно осмотрел ее и, не торопясь, задумчиво согнул ложку вокруг пальца кольцом. Положил ее на стол, вздохнул, облизал губы.

— Жил я тогда в опьянении всех чувств, и тут постиг меня оглушительный удар. Представили меня царю Николаю, он весьма обласкал и даже вот перстень подарил, с рубином. Н-но, известный содержатель цирков, Аким Никитин, тоже царским перстнем хвастался мне...

— С царем у меня было, примерно, так: верили бы вы в некоего недоступного для вас человека, думали бы вы, что в человеке этом соединены все допустимые достоинства, вся сила, мудрость и святость России, он — как бы духовный стержень, проницающий сквозь всё, ось народной жизни. И вдруг, волею безответной судьбы, поставлены вы глаз в глаз с этим человеком, и вдруг со скорбью, со страхом видите, что это — не то! Не то, чем жили вы, не ваша мечта. И блеск вокруг его и великолепие внешности, а всё — фольга! Так и я увидал пред собою не царя воображения моего, не владыку мечты и даже не большого человека, а — так себе человечка — на обыкновенных ногах. И даже как

будто не умнее Василия Бреева, который, от юности своея, сам себе вожатый. А тут — обыкновенное лицо. Ну — ласковый, ну — приветлив, и — всё.

Бреев встал, ощетинился, взмахнул рукою и выговорил с тихой, жуткой яростью:

— Р-русский царь должен быть страшен, жесток! Даже — видом страшен, не токмо характером. Или — сказочный красавец, или такой же сказочный урод, а — русский царь должен быть страшен и жесток...

Растирая горло, он подошел к окну, громко отхаркнул и плюнул на улицу, в неугомонный шум ее, а потом глухо спросил:

— Портрет царя Ивана Грозного работы художника Васнецова — видели? То-то-с! Вот — царь для русского народа. Помните — глазок у него, косит чуть-чуть? Это — царский глаз. Всевидящее око. Такой царь всё видит и никому не верит. Сам! Самость у него в каждом пальце. Пред ним тотчас как-то вытянешься и всего себя пощупаешь — всё ли на тебе застегнуто? Царь царства, владыка владычества...

Бреев снова сел, облокотился о стол и продолжал более спокойно:

— Дальше рассказывать почти уже скучно. Оказался я сбитым с коня. Жил — как все, шапку носил — как все, а однажды открыл глаза: головы-то у меня и нету!

— А тут грянул четырнадцатый год, разразилась эта проклятая война. Ну, думаю, наступил конец России и надобно убираться куда-нибудь в щель поглубже, до конца дней. Решил ехать в Сибирь, откуда, через старца Федора Кузьмича, началось мое благополучие. Мы тогда, многие, думали, что немцы затолкают нас за Урал. Мы народ — знаем! Терпеть он способен, а сопротивляться — нет. Кроме того, поманило меня в Сибирь и еще одно обстоятельство: попала на глаза мои одна девушка, сибирячка, училась она в Казани, где у меня дом, книжная лавка, семья. Известно, что любовь годов не считает. Полюбили мы с ней друг друга, хотя мне за пятьдесят, а ей — двадцать. Я и говорю своим — жене, детям: «Работал я на вас всю жизнь, а теперь — довольно! Хочу сам жить. Беру пятьдесят

тысяч, а всё остальное и здесь и в Нижнем — ваше! Живите. Прощайте!» И — уехал.

— В Сибири случайно наткнулся на человека, знакомого с богатством земли, и — вот, занялся рудным делом. Надобно чего-нибудь строить, не привык я попирать землю праздными ногами. Мечту мою — потерял. Русь вижу в брожении и безумстве, извините! Народа своего — не узнаю. Конечно — не верю, что он долго будет колобродить и семечки лущить... Прижмут его к земле.

Бреев говорил нехотя и, видимо, не о том, что думал. Зеленоватые глазки его щурились, мерцали, снова я видел мелкие, острые искорки в потемневших зрачках. Он открывал рот, точно рыба, и быстро облизывал языком сухие темные губы. Вдруг, точно поперхнувшись каким-то словом, он взмахнул рукою, пресек свою речь, встал и схватился руками за спинку кресла. Было ясно, что у него неожиданно возникла какая-то жгуче волнующая мысль. Он прищурил глаза, острые волосы бровей его знакомо ощетинились и дрожали. Сухо покашливая, он снова заговорил почти шёпотом:

— Человек живет мечтой, говорю я. Большое, говорю, надо иметь воображение, чтобы принять жизнь за благо, без всякой злобы, без противоречия, а так, просто, как материал для обработки разумом. Человек же и народ без мечты — слепорожденный... И — поэтому...

Он закашлялся, потер себе рукою грудь, глаза его всё разгорались.

— Этим наклоном человеческой души надо уметь пользоваться. Умейте разжечь пред людьми какую-нибудь понятную им красоту, и — они за вами пешком по морю пойдут! И всё простят, забудут все грехи и ошибки. А — потому...

Схватив обеими руками мою руку, он крепко сжал ее.

— Ведь вы — тоже человек мечты! И вот сейчас пред вами к-какая благородная задача! Талант ваш в один час может исправить всё...

Он точно бредил, дрожал весь и казался обезумев-

шим. Меня не очень удивило, когда он, дергая мою руку, зашептал в ухо мне:

— Спросите — как? Очень просто. В народе ходит сказание: неизвестный старец Федор Кузьмич — это Александр Благословенный, Григорий Распутин — сын русского царя от простой крестьянки, а цесаревич Алексей — сын Распутина, внук Александра Благословенного, цесаревич народной крови! Понимаете? Искупление! Все грехи прошлого, все ошибки омыты истинно русской, чисто народной кровью. Царь мужицких кровей, а?

— Ну,— пусть не так всё это! пусть не так, но — поверьте же! — здесь правды не нужно, тут мечта нужна, на голой правде государства не построишь, нет такого государства! И вот, ежели бы вы талантом вашим послужили великому делу воскресения мечты, истинно государственной, подлинно русской...

Он поднял руки, точно возносясь, и с безумной — или детской? — улыбкой воскликнул хрипло, захлебываясь словами:

— И — подумайте! — а мне-то, Брееву-то, Васютке, Василью-то Иванычу—каково бы это? Начал я жизнь силою таинственного старца Феодора,— а Федор-то ведь Филарет! — отец Михаила Романова! — и кончил бы я жизнь мою, вознеся имя его на высоту высот, а? Сказка? А?

Внизу, на улице, оглушительно шумел русский народ, разрушая, ломая тысячелетием созданную железную клетку государства...

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТИПЫ

В эту весну, с первых же ее теплых дней, на улицы Петербурга выползли люди фантастические, люди жуткие. Где и чем жили они до сей поры? Воображаешь, что в какой-то трущобе разрушен огромный уединенный дом, там все эти люди прятались от жизни, оскорбленные и отверженные ею. Навязчиво думается: они что-то забыли и вспоминают, тихо ползая по городу.

Они оборваны, грязны, видимо, очень голодны,

но — не похожи на нищих и не просят милостины. Молчаливые, они ходят осторожно, смотрят на обыкновенных горожан с недоверчивым любопытством. Останавливаясь пред витринами магазинов, они рассматривают вещи глазами людей, которые хотят догадаться или вспомнить: зачем это нужно? Автомобили пугают их, как пугали деревенских баб и мужиков двадцать лет тому назад.

Высокий темнолицый старик с провалившимися глазами, кривым носом и зеленоватой бородою, вежливо приподняв измятую шляпу, с дырой на тулье, спрашивает прохожего, указывая длинной рукой вслед автомобилю:

— Электричество? Ага... Благодарю.

Ходит он выпятив грудь, гордо подняв голову, никому не уступая дороги; смотрит на встречных отталкивающим взглядом прищуренных глаз. Он — босой и, касаясь ступнями камня панелей, подгибает пальцы, словно пробуя прочность камня.

Празднично настроенный, бойкий юноша спросил его:

— Вы — кто?

— Вероятно — человек.

— Русский?

— Всю жизнь.

— Военный?

— Возможно.

И, оглянув юношу, он сам спрашивает:

— Делаете революцию?

— Сделали!

— Ага...

Старик отвернулся и стал разглядывать витрину букиниста, взяв себя за бороду левой рукою. Юноша, вертясь около него, спросил еще что-то, но старик, не взглянув на него, сказал спокойно, негромко:

— Идите прочь.

На Семионовской улице, прижавшись к церковной ограде, стоит женщина лет сорока; желтое лицо ее опухло, глаз почти не видно, рот полуоткрыт, точно она

задыхается. Ее голые ноги всунуты в огромные башмаки, на башмаках толстая корка сухой грязи. Она окутана в нанковый мужской халат, руки ее сложены на груди, голову украшает соломенная шляпа с измятыми листьями и одной ягодой вишни; ягод была целая гроздь, но осталась только одна, голые стебли и какие-то осколки, блестящие, как стекло. Сдвинув густые, красиво изогнутые брови, она внимательно смотрит, как люди втискивают друг друга в вагоны трамвая, как они выпрыгивают, вываливаются с площадок вагонов и бегут во все стороны. Губы женщины вздрагивают, точно она считает людей. А может быть, ожидая кого-то, припоминает слова, которые необходимо сказать при встрече. В красных узеньких щелках опухших глаз ее светится что-то недоброе, сухое и режущее. Она брезгливо сторонится мальчиков и девочек, торгующих папиросами, раза два, три она даже отталкивала их движениями то локтей, то бедра.

Ее тихонько спросили:

— Может быть, вы нуждаетесь в помощи?

Смерив спросившего сердитым взглядом, она ответила так же тихо:

— С чего это вы взяли?

— Извините.

Рядом с нею стояла чистенькая старушка в кружевной наколке, продавая какие-то пеньковые или глиняные лепешки. Женщина спросила ее:

— Вы — дворянка?

— Купчиха.

— А... Сколько жителей в этом городе?

— Не знаю. Много.

— Ужасно много!

— Вы — приезжая?

— Я? Нет. Я здешняя.

Покачнулась и, кивнув старушке смешной головою, пошла к цирку, шаркая по камням тяжелыми башмаками; они спадали с голых грязных ног ее.

...Она сидит на скамье в саду за цирком, рядом с нею, опираясь на палку, тяжело дышит большая, грузная старуха с каменным лицом, в круглых черных очках, одетая в остатки шубы, в клочья шёлка и серого меха.

Проходя мимо, я слышу хриплый голос, резкие слова:

— Последний порядочный человек в этом городе умер девятнадцать лет тому назад...

А старуха кричит, как глухая:

— Окружный суд сгорел, ходила смотреть, одни стены остались. Сгорел. Наказал бог...

Женщина в огромных башмаках говорит в ухо ей:

— Мои — в тюрьме. Все.

Мне послышалось, что она смеется.

Быстро, мелкими шагами ходит, почти бегает маленький, очень волосатый человечек с лицом обезьяны, с раздавленным носом. Темно-синие зрачки его глаз беспокойно расширены, их окружает тоненькое опаловое колечко белков. Парусиновое пальто не по росту ему, полы обрезаны неровно и висят бахромой, точно собаки оборвали их. На ногах у него растоптанные валенки. Он без шляпы, на голове торчат серые вихры, густая, сильно поседевшая борода растрепанно растет из-под глаз, под скулами, из ушей. Он бегает и тревожно бормочет что-то, размахивая руками, часто и крепко переплетая пальцы их.

На бульваре, около Народного дома, он говорил солдатам:

— Поймите,— вам особенно нужно понять это! — человек счастлив только тогда, когда помнит, что он — человек ненадолго, и мирится с этим...

Говорит он тихонько, тонким голоском, а по внешнему его виду ждешь, что он должен бы рычать. Он качается на ногах, одна его рука прижата к сердцу, кистью другой он дирижирует,— руки у него тоже волосатые, на пальцах темные кустики. Пред ним, на скамье, трое солдат грызут семечки, сплевывая шелуху в живот и на ноги человека, четвертый солдат — с красной ямой на щеке — курит и старается вдунуть струю дыма в рот и нос оратора.

— Утверждаю: бесполезно возбуждать в нас, людях, надежды на лучшее, это даже бесчеловечно и преступно, это значит — поджаривать людей на огне...

Солдат заплевал окурок папиросы, подбросил его щелчком пальца в воздух и, вытянув ноги, спросил:

— Кем нанят?

— Что? Я?

— Ты. Кем нанят?

— Что значит — нанят?

— То и значит. Буржуями нанят, жидами?

Человек, растерянно улыбаясь, замолчал, а один из трех солдат лениво посоветовал допросчику:

— Дай ему пинка в брюхо.

Другой сказал:

— У него и брюха-то нет.

Человечек отступил на шаг, сунул руки в карманы, потом вырвал их оттуда, крепко сжал:

— Я говорю от себя. Я — не нанят. Я тоже думал и читал, верил. Но теперь я знаю: человек — ненадолго, всё разрушается, и он...

Солдат с ямой на щеке крикнул свирепо:

— Брысь!

Человечек побежал прочь, поднимая валенками пыль, а солдат сказал товарищам:

— Стращает, сволочь. Будто мы его не понимам. А мы — всё понимам...

Вечером этого же дня человечек рассуждал, сидя на скамье у Троицкого моста:

— Поймите: в сущности, человек большинства, простой человек, тот, кого мы считаем дураком, он-то и есть настоящий строитель жизни. Большинство людей — глупо...

Его слушали: рябой кривоногий матрос, широкий и тяжелый, милиционер, толстая женщина в синем платье, трое серых людей, видимо, рабочие, и юноша-еврей, зашитый в черную кожу. Юноша горячился; он ехидно спрашивал:

— Может быть, и пролетариат — дурак, а?

— Я говорю о людях, которые хотят очень немногого и прежде всего, чтоб им не мешали жить, как они умеют...

— Это — буржуи, да?

— Стойте, товарищ! — тяжело сказал матрос.— Пускай говорит...

Оратор мотнул головою в сторону матроса:

— Благодарю вас.

— Не на чем.

— Человек глуп только с нашей книжной точки зрения, но сам он вполне доволен количеством разума, данного ему природой, и хорошо владеет им...

— Верно! — сказал матрос.— Дуй дальше!

— Он — человек ненадолго, знает это и не смущается тем, что через некоторое время ему нужно будет лечь в могилу...

— Все умрем, верно! — повторил матрос, подмигнув кожаному юноше, и широко усмехнулся, заставив этим подумать, что он твердо уверен в личном бессмертии своем.

А волосатый оратор продолжал всё так же тихо, очень странным тоном, как будто он просил, умолял верить ему:

— Он не хочет беспокойной жизни надеждами, его удовлетворяет медленно текущая, тихая жизнь под ночными звездами. Я утверждаю: возбуждать несбыточные надежды в людях, которые вообще — ненадолго, это значит: путать их игру. Что может дать коммунизм?

— Ага! — сказал матрос, уперся ладонями в колени, качнулся вперед и встал на ноги:

— Н-ну, идем!

— Куда? — спросил волосатый человечек, отступая.

— Я знаю куда. Товарищ, прошу и вас следом за мной...

— Ах, оставьте его,— презрительно сказал юноша, отмахиваясь рукою.

— Прошу следовать! — повторил матрос тише, но рябое лицо его побурело и глаза сурово мигнули.

— Я — не боюсь,— сказал волосатый, пожимая плечами.

Баба, перекрестясь, пошла прочь, милиционер тоже отошел, ковыряя пальцем замок винтовки, а трое остальных встали на ноги так машинально, так одновременно, как будто у всех троих была одна воля.

Матрос и кожаный юноша повели арестованного к Петропавловской крепости, но двое прохожих, до-

гнав их на мостике, стали уговаривать матроса отпустить философа.

— Не-ет,— возражал матрос,— ему, пуделю собачьему, надо показать, сколько недолго живет человек.

— Я — не боюсь,— тихо повторил пудель, глядя под ноги себе.— Но я удивляюсь, как мало вы понимаете...

Он вдруг круто повернулся и пошел назад, к площади.

— Глядите — уходит! — удивленно и негромко сказал матрос.— Идет! Эй, куда?

— Ах, оставьте, товарищ, вы же видите — ненормальный...

Матрос свистнул вслед волосатому человечку и, усмехаясь, сказал:

— Чёрт, ушел, и — никакого шума! Храбрый, собака, действительно, совсем без рассудка...

Около Народного дома шныряет, трется между людей остроглазый старичок в порыжевшем котелке, в длинном драповом пальто с воротником шалью. Он останавливается у каждой группы и, склонив головку набок, ковыряя землю палкой с костяным набалдашником, внимательно слушает: что говорят люди? У него кругленькое, мячом, розовое личико, круглые мерцающие глаза ночной птицы, под ястребиным носом серые, колючие усы, а на подбородке козлиный клок светло-желтых волос,— быстрыми движениями трех пальцев левой руки он закручивает его, сует в рот и, пожевав губами, выдувает изо рта:

— Пп!

Ввертывается плечом в тесноту людей, точно прячется среди них, и раздается его наяривающий голосок, быстрые, четкие слова:

— Это я знаю, которые сословия нам особенно вредны и уничтожить надо дотла, чтобы даже косточки в пыль...

Его очень внимательно слушают солдаты, рабочие, прислуга и «женщины для удовольствия», слушают, глядя ему в рот и как бы всасывая наяривающие слова.

Говоря, он держит палку свою поперек туловища и быстро перебирает пальцами по ней, как по флейте.

— Первое: чиновники всех чинов; сами знаете, какое это наказание и досада нам,— чиновники, что злее их? Суды, тюрьмы, канцелярии — всё в их руках. Каково? У них, как у фокусников, кабинеты разных тайн. Их в первую голову — уничтожить...

Какая-то рыжая девушка, видимо, горничная, сердито спросила:

— А сам-то кто? Тоже, поди, чиновник?

Он торопливо и обиженно отрекся:

— Никогда я ничем не занимался против бедного народа, никогда ничего не делал. Я — гадатель, прорицатель, я будущую жизнь знаю...

Ему предложили погадать.

— Это — дело тайное, на людях нельзя!

А на вопрос: «Что с нами будет?» — он ответил, опустив глаза:

— Плохо будет, если, начав дело, сразу не кончим, плохо! Зубы рвать надо с корнем. Чиновников — скосить. Также и ученую часть, и ее,— не служи ослеплению разума нашего, не выдавай копейку за рубль, да! Мы, дескать, ученые, вы, дескать, слушайте нас, мы вам законы напишем! Написали, наклеили везде закон: «Не пейте сырой воды!» А? Эхе-хе-хе...

Он не то смеялся, не то вздыхал, выпуская из округленного рта это яростное:

— Эхе-хе-хе-е...

И, кривя личико, торжествуя, спрашивал:

— А мы — как: пьем ее, сырую-то, али не пьем, а?

Публика, посмеиваясь, отвечала в несколько голосов:

— Пьем.

— Живы, а?

— Будто — живы.

— То-то! Вот они, законы эти. Во-от! За это и — скосить...

И, убежденный, что он сделал свое дело, человечек этот вывертывался из толпы, шагал прочь, помахивая палкой, а в новой группе снова наяривал:

— Два, два сословия особенно в язву нам, в боль и скорбь...

Несомненно, он тоже вылез из какого-то темного угла, куда его затискала жизнь и где он годы одиноко торчал, корчился, накопляя злобу и месть.

Возбуждающих вражду против интеллигенции, видимо, немало; мне кажется, что чаще всего это дворники, лакеи, кухарки, вообще — домашняя прислуга.

После одного из митингов в цирке «Модерн» краснолицая, толстая женщина рассказывала солдатам, «как живут господа», рассказывала остроумно и такими словами, что из десяти даже трех не напишешь. Солдаты бешено хохотали и плевались смачно, слушая, как действовал доктор, специалист по женским болезням, как вела себя еврейка-дантистка и как «обрабатывал» своих учениц актер.

— Бить эту сволочь,— сурово сказал черный солдат с подвязанной челюстью,— бить ее до последнего колена...

А в другой группе хромой человек лет сорока, безволосый, как скопец, кричал:

— Я всю жизнь в конюшне с лошадями, в навозе, а они в превосходных квартирах на мягких диванах с собачками играют. Нет, стой! Это я желаю с собачками играть, а вы — марш в конюшню, да? Почему — не так, почему, ну?

Страшно и нещадно говорила молодая женщина, одноглазая, с лицом, сожженным серной кислотой:

— Глядите в Библию — есть там господа? Нет господ в Библии! Цари есть, судьи, пророки, а господ — нет! И сам бог приказывал избивать племена, в которых господа были, поголовно всё такое племя истреблять велел, с женами и детьми, и с рабами даже. Потому что от господ и слуги испорчены, и слуги уже — не люди, нет!

— Удавись, тетка,— посоветовали ей из толпы.

Но она, сжимая руками круглые высокие груди свои, кричала резко и звонко:

— Я одиннадцать лет в горничных жила, и видела я...

Она видела много такого, чего не знал Октав Мирбо, когда писал «Дневник горничной», и, когда она гово-

рила о том, что видела, ее слушали без смеха, молча, мрачно.

И только когда она ушла, вся красная и потная от возбуждения, курносенький солдатик сказал, глядя вслед ей:

— Не зря бабе этой рожу испортили.

Страшен обиженный человек, когда он чувствует свое право мстить и получил свободу мести.

Вот бы об этом человеке прежде всего надо подумать социальным реформаторам и политическим вождям.

МЕЧТА

«Я вам, товарищ Горьков, очень смешное расскажу про себя: чего мне невтерпеж хотелось,— так это графиню бы какую-нибудь, чтобы с ней поспать. Долго искал, даже во сне видел: высокая, белая, глаза фактические и — во всем твердость.

Всякие там помещицы, дворянки — их у нас, в лагере, сколько хошь, а графиней нету. Товарищи, конечно, смеются, а я думаю: „Врете, найду!“ И — нашел. Привели ее, заарестованную по контрреволюции, конечно; бежит ко мне один прохвост: „Епифаньев,— кричит,—иди скорее, твою привели!“ Являюсь, а ей лет пятьдесят, носатая, рябая! Осердился я: „Что ты какая, так твою раздак, а?“ А она мне: „Пошел прочь, дурак, такой меня бог создал“. Чуть не ударил я ее. „Ну, так,— говорю,— пускай тебя бог и ... а я — не стану“. Так и не тронул ее. Смеяться над ней, конечно, много смеялся, а с бабьей стороны — не трогал. И от этого факта — прошло со мною: сплю теперь со всякими женщинами, а графиню уж не жду. Не надо, значит. Только, иной раз, вздумается: „К чему всё это клонит, вся наша суматоха?“ Ведь — фактически — как ты ни живи, что ни делай, а — помрешь — верно?»

ОТРАБОТАННЫЙ ПАР

...Стекла окна посинели, костистое лицо моего собеседника стало темнее, особенно густо легли тени в ямах под глазами. Мне показалось, что растерянно блуждаю-

щий взгляд его стал сосредоточеннее, углубился; скучные слова жалоб зазвучали значительнее, раздраженный и сиплый голос — мягче. Безжалостно и, должно быть, до боли туго накручивая на палец бесцветные волосы жиденькой бороды, он говорил:

— Народ, торжествующий свободу, я видел во сне, лет десять тому назад; тогда я сидел в Орловской тюрьме и еще свежи были впечатления девятьсот пятого года. Вы знаете, как зверски били людей в Орловской тюрьме. Да. Сон мой начался кошмаром: кучка людей, и среди них Борисов, наборщик, мой ученик, тыкала, размешивала палками чье-то растерзанное тело. Я спросил Борисова: «За что вы истерзали человека?» — «Это — враг!» — «Но — человек же?» — «Что-с? — крикнул Борисов и замахнулся на меня палкой.— Бей его!»

— Но палка вывалилась из рук, он протянул их вперед и зашептал с восторгом, приплясывая: «Глядите,— вот, идут, кончено, идут!»

— Шли неисчислимые массы одухотворенных людей, я видел неестественный какой-то, звездный блеск тысяч глаз. Именно в этих глазах почувствовал я самое главное — воскрес народ! Понимаете? Воскрес, преобразился духовно. И я тотчас исчез в нем, точно вспыхнув, сразу сгорел.

Гость мой постучал карандашом о край стола, прислушался к сухим звукам и постучал еще.

— Теперь я вижу торжествующий народ наяву, но чувствую себя чужим среди него. Он торжествует, но в нем нет для меня того нового, что я видел во сне и в чем смысл,— нет перевоплощения. Он торжествует, я истратил лучшие силы мои, чтоб подготовить это торжество, и — остался чужд ему. Очень странно...

Взглянул в окно, послушал; осторожно, неуверенно звонили ко всенощной, в Петропавловской крепости щелкал пулемет: солдаты или рабочие изучали технику защиты свободы.

— Может быть, я, как многие, вообще не умею торжествовать. Энергия ушла на борьбу, на желание, способность наслаждаться обладанием убита. Может быть, это просто бессилие. Но дело в том, что я вижу много злобы, мести и совсем не вижу радости, той радости,

которая перевоплощает человека... И веры в победу — не вижу.

Он встал, оглянулся, слепо мигая, протянул руку и, пожимая мою, сказал:

— Мне плохо. Как будто Колумб достиг наконец берегов Америки, но — Америка противна ему.

Ушел.

...Ныне многие чувствуют себя так, как этот. А он — точно сторожевой пес на исходе дней собакиной жизни: от юности своей рычал и лаял пес так честно, с непоколебимой верой в святость своего дела, получал в награду за это пинки. Вдруг — видит: сторожить было как будто нечего, никому ничего не жалко. Зачем же он сидел всю жизнь в темной будке «долга», на цепи «обязанностей»? И — до безумия обидно старой честной собаке...

...Другой из людей этого типа сказал о революции:

— Мы, как влюбленные романтики, обожали ее, но пришел некто дерзкий и буйно изнасиловал нашу возлюбленную.

Соседний вагон «буксует», ось надоедливо визжит:

— Рига-иго-иго, рига-рига-иго...

А колеса поезда выстукивают:

— По-пут-чик, по-пут-чик...

Попутчик — человек до того бесцветный, что при ярком солнце он, вероятно, невидим. Он как бы создан из тумана и теней, черты голодного лица его неразличимы, глаза прикрыты тяжелыми веками, его тряпичные щеки и спутанная бородка кажутся наскоро свалянными из пеньки. Измятая серая фуражка усиливает это сходство. От него пахнет нафталином. Поджав ноги, он сидит в уголке на диване, чистит ногти спичкой и простуженным голосом тихонько бормочет:

— Истина — это суждение, насыщенное чувством веры.

— Всякое суждение?

— Ну да, всякое...

— Иго-иго-рига...

За окном, в сумраке осеннего утра, взмахивают черными ветвями деревья, летят листья, искры.

— У пророка Иеремии сказано: «Отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах». Истина детей наших — вот эта самая оскомина. Мы питались кислым виноградом анализа, а они приняли за истину неверие и отрицание.

Он окутал острые колена свои полою парусинового пыльника и, внимательно ковыряя спичкой ногти, продолжал:

— Перед тем, как уйти в Красную Армию, сын мой сказал мне: «Вы честный человек, откройте же глаза и посмотрите: ведь в теории все основы жизни уже разрушены вашей же, вашего поколения долголетней и всесторонней критикой,— что же, собственно, вы защищаете?» Сын мой был неумен, он формировал мысли свои книжно и неуклюже, но он был честный парень. Он стал большевиком тотчас после опубликования тезисов Ленина. Сын мой был прав, потому что он веровал в силу отрицания и разрушения. Разумом и я согласился с большевизмом, но сердцем — не могу принять его. Так я и сказал следователю Чеки, когда меня арестовали как контрреволюционера. Следователь — юноша, щеголь и, очевидно, юрист, он допрашивал меня весьма ловко. Он знал, что сын мой погиб на фронте Юденича, и относился ко мне довольно благожелательно, однако я чувствовал, что ему приятнее было бы расстрелять меня. Когда я намекнул ему о противоречии моего сердца с разумом, он задумчиво сказал, ударив ладонью по бумагам: «Мы это знаем из ваших писем к сыну, но, разумеется, это не улучшает вашего положения».— «Расстреляете?» — спросил я. Он ответил: «Это более чем вероятно, если вы не захотите помочь нам разобраться в этом скучном деле». Ответил без смущения, но с эдакой, как бы извиняющейся усмешкой. Кажется, я тоже улыбался, мне понравилось его отношение к своему долгу. И еще более он подкупил меня, сказав так, знаете, просто, как самое обыкновенное: «Может быть, для вас и лучше — умереть, не правда ли? Ведь жить в таком разрыве с самим собой, как вы живете, должно быть — мучительно?» Потом извинился: «Извините за вопрос, не идущий к делу».

— Иго-рига-рига, иго-иго,— визжит ось.

Позевывая, ежась, человек смотрит в окно, струйки дождя текут по стеклу.

Я спрашиваю:

— И все-таки он освободил вас?

— Как видите. Вот — жив. Как видите.

И, обратив ко мне пеньковое лицо свое, человек сказал с легкой насмешкой и вызовом:

— Я помог ему разобраться в некоторых вопросах следствия...

— По-пут-чик, по-пут-чик,— стучат на стыках колеса поезда. Усиливается дождь,— ось визжит еще более пронзительно.

— И-гуи-гуигу-игуи...

БЫТ

...В стеклянном небе ожесточенно сверкает солнце июльского полудня. Город задохнулся в жаре, онемел, молчит, лишь изредка возникают неясные звуки, бредовые слова.

Гнусавенький фальцет задумчиво тянет песню:

Над серебряной рекой
В золотом песочке
Я девчонки молодой
Всё искал следочки...

Густой голос сердито спрашивает:

— Куда вас, под утро, гоняли?

— Расстреливать.

— Многих ли?

— Трех.

— Мычали?

— Зачем?

— Без крику, значит?

— Они — без капризу. У них тоже своя дисциплина: набедовал и — становись к расчету.

— Господа?

— Будто — нет. Крестились.

— Стало быть — простяки.

Минута молчания, потом снова заныл фальцет:

Ясный месяц — укажи...,

— Ты — стрелял?

— А — как же...

Иде она гуля-ала...

Густой голос насмешливо говорит:

— Про девчонок вот поешь, а рубаху сам чинишь. Обормот...

— Погоди, будет и девчонка. Всё будет...

Тихий ветер, расскажи,
О чем р-размышляла...

...Колонны зала украшены кумачом и нежной зеленью березовых ветвей. Сквозь узоры листьев блестят золотые буквы, слагаясь в слова:

«Пролетарии... Да здравствует...»

В открытые окна свежо дышит весна, видны черные деревья и звезды над ними.

В углу зала черный человек, изогнув тонкую шею, колотит длинными руками по клавишам рояля. По полу скользят, извиваясь, матросы и рабочие, обняв разноцветных девиц, гулко шаркая ногами, притопывая. Дьявольски шумно, неистово весело.

— Гранд-ром, черти! — с отчаянием орет великан-юноша, в белых башмаках и синей рубахе, вихрастый, со шрамом на лбу и на щеке.— Стой,— не гранд-ром, а — как его? Хватайся за руки, кругом — мар-рш!

Образуется визгливый хоровод, кружится вихрь разноцветных пятен, гудит пол под ударами каблуков, тревожно позванивает хрусталь огромной люстры.

За колонной, под складками багряного знамени, приютилась отплясавшая пара: гологрудый, широкоплечий матрос, рябой и рыжий, с ним — кудрявенькая барышня в голубом. Серенькие глаза ее удивленно блестят,— должно быть, еще впервые так покорно сгибается пред нею большой такой зверюга, заглядывая в фарфоровое личико ее добрыми круглыми глазами. Она обмахивается беленьким платочком и часто мигает, ей, видимо, и страшно и приятно.

— Ольга Степановна, позвольте снова задеть ваше религиозное чувство...

— Ой, погодите, жарко...

— Нет, все-таки! Хорошо: допустим это — бог! Ну, ведь бог штучка воображаемая, а я — реальный факт, однако как будто не существующий для вас.

— Вовсе — нет...

— Позвольте! Разве это мне не обидно? Предмет воображения заводит вас в пустоту неизвестности и в беспомощность, а перед вами человек, готовый хоть куда ради милой вашей души...

— Р-равняйсь по дамам! — грозно командует великан, подняв руку над головою.— Беги восьмерками вокруг колонов!

— Пожалуйте, Ольга Степановна...

Он подхватывает барышню так, что ноги ее, оторвавшись от пола, мелькают в воздухе, и бросается с нею в пестрый, шумный вихрь пляски.

Потом она, задыхаясь, сидит на подоконнике, а он, стоя пред нею, вполголоса, очень убедительно говорит:

— Конечно, мы — люди нового характера, народ прямой, однако ж мы не звери, не черти...

— Разве я говорю что-нибудь подобное? Ничего подобного...

— Позвольте! Если вы обязательно желаете венчаться в церкви, то, конечно, это пустяки, однако товарищи могут смеяться надо мной...

— А вы не говорите никому...

— Тихонько? Даже и на этот поступок против атеизма я готов ради милой вашей души; однако ж, Ольга Степановна, лучше будет, ежели мы начнем привыкать к атеизму, ей-богу! Жить надо, Ольга Степановна, на свои средства, без страха, и — вообще довольно боялись! Теперь никого не надо бояться, кроме как самого себя. Вы — что, товарищ? Вы, собственно, чего желаете? Может быть, этого?

Медленно поднимается в воздухе кулак, объемом с полупудовую гирю.

А на средине зала неистово кричит главнокомандующий танцами, великан:

— Отступление от барышень на два шага и поклон,— р-раз, два-а! Барышни выбирают кавалеров, кому который нравится,— без стеснения...

ИЗ ПИСЬМА

Из письма гражданина Ф. Попова:

«Так как знаменитый Дарвин твердо установил факт необходимости борьбы за существование и ничего не имеет против уничтожения слабых, то есть не способных к полезному труду людей, и принимая во внимание, что в древности и без Дарвина знали это: стариков отвозили в овраги на смерть от голода или, посадив на деревья, стряхивали их оттуда, чтоб они разбились,— то отсюда ясно, что наука опередила нашу приторную мораль. Однако, протестуя против неразумной жестокости, я предлагаю следующее: уничтожать неспособных к социально полезной работе мерами более сострадательного характера, примерно: окармливать их чем-нибудь вкусным, ветчиной или сладкими пирогами со стрихнином, а дешевле — с мышьяком. Эти гуманные меры смягчили бы формы борьбы за существование, ныне повсеместной. Так же следует поступать с идиотами, деревенскими дурачками, некоторыми калеками и неизлечимо больными чем-нибудь вроде чахотки или рака. Такое законодательство, конечно, не понравится нашей ноющей интеллигенции, но пора уже решительно перестать считаться с ее реакционной идеологией».

МИТЯ ПАВЛОВ

Где-то в Ельце умер от тифа Митя Павлов, земляк мой, рабочий из Сормова.

В 905 году, во дни Московского восстания, он привез из Петербурга большую коробку капсюлей гремучей ртути и пятнадцать аршин бикфордова шнура, обмотав его вокруг груди. От пота шнур разбух или слишком туго был обмотан вокруг ребер, но — войдя в комнату ко мне, Митя свалился на пол, лицо его посинело,

глаза выкатились, как это бывает у людей, умирающих от асфиксии [1].

— Вы с ума сошли, Митя? Ведь вы могли дорогой упасть в обморок — понимаете, что тогда было бы с вами?

Задыхаясь, он ответил виновато:

— Пропал бы шнур и капсюли тоже...

М. М. Тихвинский, растирая грудь его, тоже ворчливо ругался, а Митя, щурясь, спрашивал:

— Сколько будет бомб? Разобьют нас? Пресня держится?

Потом, лежа на диване, указав глазами на Тихвинского, который рассматривал капсюли, спросил шёпотом:

— Это он здесь бомбы делает? Профессор? Из рабочих? Да — ну-у?

И вдруг беспокойно осведомился:

— А не взорвет он вас?

О себе же, о той опасности, которую он только что чудом избежал,— ни слова.

А. А. БЛОК

...Иногда мне кажется, что русская мысль больна страхом пред самою же собой; стремясь быть внеразумной, она не любит разума, боится его.

Хитрейший змий В. В. Розанов горестно вздыхает в «Уединенном»:

«О, мои грустные опыты! И зачем я захотел всё знать? Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся».

У Л. Толстого в «Дневнике юности» 51 г. 4. V сурово сказано:

«Сознание — величайшее моральное зло, которое только может постичь человека».

Так же говорит Достоевский:

«...слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь... много сознания и даже всякое сознание — болезнь. Я стою на этом».

---

[1] от удушья *(лат.)*.

Реалист А. Ф. Писемский кричал в письме к Мельникову-Печерскому:

«Чёрт бы побрал привычку мыслить, эту чесотку души!»

Л. Андреев говорил:

«В разуме есть что-то от шпиона, от провокатора».

И — догадывался:

«Весьма вероятно, что разум — замаскированная старая ведьма — совесть».

Можно набрать у русских писателей несколько десятков таких афоризмов — все они резко свидетельствуют о недоверии к силе разума. Это крайне характерно для людей страны, жизнь которой построена наименее разумно.

Любопытно, что и П. Ф. Николаев, автор книги «Активный прогресс», человек, казалось бы, чуждый этой линии мысли, писал мне в 906 году:

«Знание увеличивает требования, требования возбуждают неудовлетворенность, неудовлетворенный человек — несчастен, вот почему он и социально ценен и симпатичен лично».

Совершенно непонятная и какая-то буддийская мысль.

Впрочем, и Монтэнь печально вздыхал:

«К чему вооружаемся мы тщетным знанием? О, сколь сладостно и мягко изголовье для избранных — незнание и простота сердца».

Он объяснял долголетие дикарей их незнанием наук и религии, не зная, что всё это — в зародыше — есть у них. Эпикуреец Монтэнь жил в эпоху религиозных войн. Он был весело мудр и находил, что каннибализм дикарей не так отвратителен, как пытки инквизиции.

Через триста лет Лев Толстой сказал о нем:

«Монтэнь — пошл».

Лев Толстой мыслил церковно и по форме и по содержанию. Не думаю, что догматизм был приятен ему, и едва ли процесс мысли давал Толстому то наслаждение, которое, несомненно, испытывали такие философы, как, например, Шопенгауэр, любуясь развитием своей мысли. На мой взгляд, для Льва Николаевича мышление было проклятой обязанностью, и мне ка-

жется, что он всегда помнил слова Тертуллиана,— слова, которыми выражено отчаяние фанатика, уязвленного сомнением:

«Мысль есть зло».

Не лежат ли — для догматиков — истоки страха пред мыслью и ненависти к ней — в Библии, VI, 1—4:

«Азазел же научил людей делать мечи и ножи... научил их разным искусствам... объяснил течение звезд и луны. И настало великое безбожие и разврат на земле, и скривились пути человеческие...»?

Всё это припомнилось мне после вчерашней неожиданной беседы с А. Блоком. Я вышел вместе с ним из «Всемирной литературы», он спросил меня: что я думаю по поводу его «Крушения гуманизма»?

Несколько дней тому назад он читал на эту тему нечто вроде доклада, маленькую статью. Статья показалась мне неясной, но полной трагических предчувствий. Блок, читая, напоминал ребенка сказки, заблудившегося в лесу: он чувствует приближение чудовищ из тьмы и лепечет встречу им какие-то заклинания, ожидая, что это испугает их. Когда он перелистывал рукопись, пальцы его дрожали. Я не понял: печалит его факт падения гуманизма или радует? В прозе он не так гибок и талантлив, как в стихах, но — это человек, чувствующий очень глубоко и разрушительно. В общем: человек «декаданса». Верования Блока кажутся мне неясными и для него самого; слова не проникают в глубину мысли, разрушающей этого человека вместе со всем тем, что он называет «разрушением гуманизма».

Некоторые мысли доклада показались мне недостаточно продуманными, например:

«Цивилизовать массу и невозможно и не нужно». «Открытия уступают место изобретениям».

XIX и XX века именно потому так чудовищно богаты изобретениями, что это эпоха обильнейших и величайших открытий науки. Говорить же о невозможности и ненужности цивилизации для русского народа — это, очевидно, «скифство» — и это я понимаю, как уступку

органической антигосударственности русской массы. И зачем Блоку «скифство»?

Как только мог осторожно, я сказал ему об этом. Говорить с ним — трудно: мне кажется, что он презирает всех, кому чужд и непонятен его мир, а мне этот мир — непонятен. Последнее время я дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях «Всемирной литературы» и нередко спорю, говоря о несовершенствах переводов с точки зрения духа русского языка. Это — не сближает. Как почти все в редакции, он относится к работе формально и равнодушно.

Он сказал, что ему приятно видеть, как я освобождаюсь «от интеллигентской привычки решать проблемы социального бытия».

— Я всегда чувствовал, что это у вас не настоящее. Уже в «Городке Окурове» заметно, что вас волнуют «детские вопросы» — самые глубокие и страшные!

Он — ошибается, но я не возражал, пусть думает так, если это приятно или нужно ему.

— Почему вы не пишете об этих вопросах? — настойчиво допытывался он.

Я сказал, что вопросы о смысле бытия, о смерти, о любви — вопросы строго личные, интимные, вопросы только для меня. Я не люблю выносить их на улицу, а если, изредка, невольно делаю это — всегда неумело, неуклюже.

— Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им.

Зашли в Летний сад, сели на скамью. Глаза Блока почти безумны. По блеску их, по дрожи его холодного, но измученного лица я видел, что он жадно хочет говорить, спрашивать. Растирая ногою солнечный узор на земле, он упрекнул меня:

— Вы прячетесь. Прячете ваши мысли о духе, об истине. Зачем?

И, раньше чем я успел ответить, он заговорил о русской интеллигенции надоевшими словами осуждения, эти слова особенно неуместны теперь, после революции.

Я сказал, что, по моему мнению, отрицательное отношение к интеллигенции есть именно чисто «интеллигентское» отношение. Его не мог выработать ни

мужик, знающий интеллигента только в лице самоотверженного земского врача или преподобного, сельского учителя; его не мог выработать рабочий, обязанный интеллигенту своим политическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не говоря о том, что оно вычеркивает уважение интеллигенции к себе, к своей исторической и культурной работе. Всегда, ныне и присно, наша интеллигенция играла, играет и еще будет играть роль ломовой лошади истории. Неустанной работой своей она подняла пролетариат на высоту революции, небывалой по широте и глубине задач, поставленных ею к немедленному решению.

Он, кажется, не слушал меня, угрюмо глядя в землю, но, когда я замолчал, он снова начал говорить о колебаниях интеллигенции в ее отношении к «большевизму» и, между прочим, очень верно сказал:

— Вызвав из тьмы дух разрушения, нечестно говорить: это сделано не нами, а вот теми. Большевизм — неизбежный вывод всей работы интеллигенции на кафедрах, в редакциях, в подполье...

С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

— Что думаете вы о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламеннэ: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторятся в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье, в Летнем саду.

Он спросил:

— Это вы — несерьезно?

Его настойчивость и удивляла и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

— У меня нет причин считать взгляд Ламеннэ менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

— Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.

— Лично мне — больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

— Не понимаю,— панпсихизм, что ли?

— Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, всё исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе всё мышление человечества от первых проблесков до момента последнего взрыва мысли.

— Не понимаю,— повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль— результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию — психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.

— Мрачная фантазия,— сказал Блок и усмехнулся.— Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.

— А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что, если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидали бы, что вес ее последовательно уменьшается.

— Всё это — скучно,— сказал Блок, качая головою.— Дело — проще; дело в том, что мы стали слиш-

ком умны для того, чтоб верить в бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры существуют только бог и я. Человечество? Но — разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, эта ваша фантазия... жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили.

Он вздохнул:

— Если б мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый болотный огонек, влекущий нас всё глубже в ночь мира, и прислушаться к мировой гармонии сердцем. Мозг, мозг... Это — ненадежный орган, он уродливо велик, уродливо развит. Опухоль, как зоб...

Помолчал, крепко сжав губы, потом сказал тихо:

— Остановить бы движение, пусть прекратится время...

— Оно прекратится, если придать всем видам движения одну и ту же скорость.

Блок взглянул на меня искоса, подняв брови, и быстро, неясно заговорил какими-то бредовыми словами, я перестал понимать его. Странное впечатление: казалось, что он срывает с себя изношенные лохмотья.

Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах. И как бы хорошо ни был он одет,— хочешь видеть его одетым иначе, не так, как все. Гумилев даже в каком-то меховом костюме лопаря или самоеда кажется одетым, как все. А Блок требует одеяний необычных.

Только что записал беседу с Блоком — пришел матрос Балтфлота В. «за книжечками поинтересней». Он очень любит науку, ждет от нее разрешения всей «путаницы жизни» и всегда говорит о ней с радостью и верой. Сегодня он, между прочим, сообщил потрясающую новость:

— Знаете, говорят, будто один выученный американец устроил машинку замечательной простоты; труба,

колесо и ручка. Повернешь ручку, и — всё видно: анализ, тригонометрия, критика и вообще смысл всех историй жизни. Покажет машинка и — свистит!

Мне эта машинка тем особенно нравится, что — свистит.

В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказала мне:

— Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем — только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой,— вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком,— тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он — молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга — не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и заснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго — ужасные глаза! Но мне — от стыда — даже не страшно было, только подумала: «ах, боже мой, должно быть, музыкант!» Он — кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, подремлите еще!» И — представьте же себе! — я опять заснула,— скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но — не могу! Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь,— так смешно всё это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и —

даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт — смотри!» И показал мне портрет в журнале,— вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло!»

И действительно, на ее курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мною, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким.

Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Странные бывают совпадения мнений: в 901 году, в Арзамасе, протоиерей Феодор Владимирский рассуждал:

«Каждый народ обладает духовным зрением,— зрением целей. Некоторые мыслители именуют свойство это „инстинктом нации", но, на мой взгляд, инстинкт ставит вопрос: „как жить?",— а я говорю о смутной тревоге разума и духа, о вопросе: „для чего жить?" И вот: хотя у нас, русских, зрение целей практических не развито,— потому что мы еще не достигли той высоты культуры, с которой видно, куда история человечества повелевает нам идти,— однако ж я думаю, что именно нам суждено особенно мучиться над вопросом: „для чего жить?" Пока что — мы живем слепо, на ощупь и крикливо, а все-таки мы уже люди с хвостиками, люди с плюсом».

Через пять лет, в Бостоне, Вильям Джемс, философ-прагматист, говорил:

«Текущие события в России очень подняли интерес к ней, но сделали ее еще менее понятной для меня. Когда я читаю русских авторов, предо мною встают люди раздражающе интересные, однако я не решусь сказать, что понимаю их. В Европе, в Америке я вижу людей, которые кое-что сделали и, опираясь на то, что они уже имеют, стремятся увеличить количество материально и духовно полезного. Люди вашей страны, наоборот,

кажутся мне существами, для которых действительность необязательна, незаконна, даже враждебна. Я вижу, что русский разум напряженно анализирует, ищет, бунтует. Но — я не вижу цели анализа, не вижу — чего именно ищут под феноменами действительности? Можно думать, что русский человек считает себя призванным находить, открывать и фиксировать неприятное, отрицательное. Меня особенно удивили две книги: «Воскресение» Толстого и «Карамазовы» Достоевского,— мне кажется, что в них изображены люди с другой планеты, где всё иначе и лучше. Они попали на землю случайно и раздражены этим, даже — оскорблены. В них есть что-то детское, наивное и чувствуется упрямство честного алхимика, который верит, что он способен открыть «причину всех причин». Очень интересный народ, но, кажется, вы работаете впустую, как машина на „холостом ходу". А может быть, вы призваны удивить мир чем-то неожиданным».

Среди таких людей я прожил полстолетия.

Надеюсь, что эта книга достаточно определенно говорит о том, что я не стеснялся писать правду, когда хотел этого. Но, на мой взгляд, правда не вся и не так нужна людям, как об этом думают. Когда я чувствовал, что та или иная правда только жестоко бьет по душе, а ничему не учит, только унижает человека, а не объясняет мне его, я, разумеется, считал лучшим не писать об этой правде.

Ведь есть немало правд, которые надо забыть. Эти правды рождены ложью и обладают всеми свойствами той ядовитейшей лжи, которая, исказив наше отношение друг к другу, сделала жизнь грязным, бессмысленным адом. Какой смысл напоминать о том, что должно исчезнуть? Тот, кто просто только фиксирует и регистрирует зло жизни,— занимается плохим ремеслом.

Мне хотелось назвать этот сборник: «Книга о русских людях, какими они были».

Но я нашел, что это звучало бы слишком громко. И я не вполне определенно чувствую: хочется ли мне, чтоб эти люди стали иными? Совершенно чуждый

национализма, патриотизма и прочих болезней духовного зрения, все-таки я вижу русский народ исключительно, фантастически талантливым, своеобразным. Даже дураки в России глупы оригинально, на свой лад, а лентяи — положительно гениальны. Я уверен, что по затейливости, по неожиданности изворотов, так сказать — по фигурности мысли и чувства, русский народ — самый благодарный материал для художника.

Я думаю, что когда этот удивительный народ отмучается от всего, что изнутри тяготит и путает его, когда он начнет работать с полным сознанием культурного и, так сказать, религиозного, весь мир связующего значения труда — он будет жить сказочно героической жизнью и многому научит этот, и уставший и обезумевший от преступлений, мир.

РАССКАЗЫ
1922—1924 годов

ОТШЕЛЬНИК

Лесной овраг полого спускался к желтой Оке, по дну его бежал, прячась в травах, ручей; над оврагом — незаметно днем и трепетно по ночам — текла голубая река небес, в ней играли звезды, как золотые ерши.

По юго-восточному берегу оврага спутанно и густо разросся кустарник, в чаще его, под крутым отвесом, вырыта пещера, прикрытая дверью, искусно связанной из толстых сучьев, а перед дверью насыпана укрепленная булыжником площадка в сажень квадрата, от нее к ручью спускаются лестницей тяжелые валуны. Три молодых дерева растут перед дверью пещеры — липа, береза и клен.

Всё около пещеры сделано хозяйственно и прочно,— на долгую жизнь. И так же прочно устроена внутренность ее: бока и свод покрыты циновками из прутьев ивняка, циновки смазаны глиной, смешанной с илом ручья; налево от входа сложена небольшая печь, а в углу — аналой, покрытый, точно парчою, плотной рогожей, на аналое в железном держальце — лампадка, синеватый огонек ее колеблется, в сумраке, чуть виден.

За аналоем три черные иконы, на стенах висят связки новых лаптей, на полу лежит лыко, вкусный запах сухих трав наполняет пещеру.

Хозяин этого жилища — старик среднего роста, плотный, но весь какой-то измятый, искусанный. Лицо его, красное, точно кирпич, безобразно, левая щека разрезана от уха до подбородка глубоким шрамом, он искривил рот, придав ему выражение болезненно-насмешливое, темненькие глаза изувечены трахомой — без ресниц, с красными рубцами на месте век, волосы на голове вылезли клочьями, и на бугроватом черепе —

две лысины, одна — небольшая — на макушке, другая обнажила левое ухо. Но старик подвижен и ловок, точно хорек; уродливо голые глаза его смотрят ласково; когда он смеется,— увечья лица почти исчезают в мягком обилии морщин. На нем хорошая рубаха небеленого полотна, синие нестрядинные штаны, веревочные лапти, ноги до колен в заячьих шкурках вместо онуч.

Я пришел к нему веселым днем мая, и мы сразу подружились, он оставил меня ночевать, а во второе мое посещение уже рассказал мне свою жизнь.

— Я пильщик был,— сказывал он, лежа под кустом калины, сняв рубаху и грея на солнце грудь, мускулистую не по-стариковски.— Я семнадцать лет бревна резал, вот и рожу мне пила распахала. Так и звали меня — Савел Пильщик. Пилить — это, дружба, не легкая занятия: машешь-машешь руками в небо, а на роже — сетка, а над головой — бревна, и ничего не видать, и опилок на тебя сыплется — беда! А я — веселый был, игристый, турманом жил,— знаешь, голуби есть турмана́: взовьется высоченно в небеса, в самую невидимую глубь, свернет там крылья, головку под крыло и — бултых вниз! Многие убиваются насмерть, об крыши, об землю. Вот эдак и я. Веселый я был, безобидный, вроде блаженного какого, бабы, девки любили меня, ну — как сахар,— верное слово! Что делалось! Вспомнить радошно...

И, перекатываясь с бока на бок, он смеялся звонко, как молодой, только в горле у него немного хрипело; смеху его ладно вторил ручей. Тепло вздыхал ветер; по нежным бархатам весенней листвы скользили золотистые зайчики.

— Ну-кось, хлебнем, дружба,— предложил Савел.— Тащи ее!

Я сходил к ручью, — в нем холодилась бутылка водки,— выпили по стаканчику. Закусывая кренделем и воблой, старик с восхищением говорил:

— Хорошо это придумано — винишко!

И облизав седые трепаные усы:

— Ладная штука! Много я ее не могу принять, а в малом качестве уважаю! Сказывают: первый водку сварил — бес. За хорошее дело и бесу спасибо...

Зажмурил глаза, умолк на минуту и вдруг воскликнул, протестуя:

— Ну, все-таки обидели меня,— в кровь обидели! Эх, дружба, до чего же люди обижать навыкли дружка дружку — даже стыдно. Щенком бездомным совесть живет промежду нас,— неприютно совести! Ну,— ладно. Был я женатый, всё как следует, жена — Натальей звали — красивая баба, мягкая. И жили мы с ней ничего, утешно, гуляла она несколько, ну — я сам человек отхожий, дома живу мало, где какая баба получше, поласковее — той и пользуюсь. Дело обыкновенное, без него нельзя, а в крепкие годы ничего лучше не найдешь. Бывало, приду домой, деньжонок принесу, того-сего, а люди говорят: «Савел, завязывай жене подол, когда из дому уходишь!» Смеются, значит. Ну, я ее — для приличности — побью маленько, потом подарочек сделаю, приласкаю: «Дура, говорю, как же это ты насмех людям ставишь меня? Или я тебе неприятель али недруг какой?» Плачет, конешно. «Врут они»,— говорит. Я сам знаю, что люди врать любят, ну, однако, меня не обманешь: ночь про бабу правду скажет, ночью сразу почуешь: была ли в чужих руках, али нет?

Что-то зашумело в кустах за его спиной.

— П-ш! — старик потряс рукою ветвь калины.— Ежишко тут живет, намедни ногу я наколол об него,— иду мыться к ручью, а его в траве не видно, прямо в палец всадил себе колючку.

Он, улыбаясь, посмотрел в кусты и весь взметнулся, продолжая:

— Да, дружба! Так, вот, значит, и обидели меня, да — ведь как! Была у меня дочь Таша — Татьяна. Ну, хвастать не буду, в одном слове скажу: всему свету радость — вот какая дочь! Звезда! Наряжал я ее, выйдет на улицу в праздник — божья красота! Походка ли, стан ли, глаза,— учитель наш Кузьмин — Сундук по прозвищу, неуклюж парень родился, так он ее неведомым именем называл, а выпивши — до слез доходил, всё упрашивал, чтоб я ее берег. Я — берег. А был я удачлив,— этого у нас не любят,— зависть была ко мне, и пустили слушок, будто я изнасилил дочь — живу с ней...

Тревожно заерзал по траве, снял с куста рубаху, надел ее и тщательно застегнул ворот. Его лицо болезненно искривилось, он плотно сжал губы, и реденькие щетинки седых его бровей опустились на обнаженные глаза. Вечерело. Становилось свежо. Где-то бил перепел:

— Подь-полоть...

Старик смотрел вниз, в овраг.

— Вот, значит, и пошло дымом дымить. Кузьмин, поп, писарь, кое-которые мужики, а особливо бабы зазвонили языками, забили во все бубны: катай-валяй, человек ошибся! Это праздничек нам,— человека травить, это мы любим. Таша плачет — на улицу выйти нельзя, мальчишки дразнят. Все рады — забава. Я говорю: уйдем, Таша...

— А жена?

— Жена? — удивленно переспросил старик.— Так она же померла! Ночью, в одиночасье, охнула да и померла. Как же! Она — задолго до этого, Таше тринадцатый шел... Она была супротивна мне, нехорошая баба, неверная...

— Ты ведь хвалил ее,— напомнил я.

Это его не смутило; почесав шею, он приподнял ладонью бородку вверх и, глядя на нее, спокойно сказал:

— Так что, что хвалил? Всякий человек не всю жизнь плох, иной раз и плохой похвалы достоин. Человек — не камень, а и камень от времени меняется. Однако ты не подумай чего,— она своей смертью померла. Это от сердца она,— думать надо,— сердце у ней захлебывалось; бывало, ночью играешь с ней, а она вдруг и обомлеет,— вроде мертвая бывала. Даже страшно!

Его мягкий сиповатый голосок звучал певуче, неутомимо и родственно сливался в теплом воздухе вечера с запахом трав, вздохами ветра, шелестом листвы, тихим плеском ручья по камням. Замолчи он — и ночь будет не полна, не так красива и мила душе. Говорил Савел удивительно легко, не затрудняясь поиском слов, одевая мысли любовно, как девочка куклы. Я уже немало слышал русских краснобаев, людей, которые,

опьяняясь цветистым словом, часто — почти всегда — теряют тонкую нить правды в хитром сплетении речи. Но этот плел свой рассказ так убедительно просто, с такой ясной искренностью, что я боялся перебивать его речь вопросами. Следя за игрой слов, я видел старика обладателем живых самоцветов, способных магической силою своей прикрыть грязную и преступную ложь, я знал это и все-таки поддавался колдовству его речи.

— Началось, дружба милая, это самое дело: доктора призвали, осмотрел он, бесстыжие глаза, всю Ташу подробно, а был с ним еще один хлюст, лысоватый такой, с золотыми пуговками, следователь, что ли,— спрашивает: кто, когда? Она молчит, ей стыдно. Заарестовали меня, отвезли в губернию, в острог. Сижу. Лысый это говорит мне: сознайся, и будет тебе за то легкая казнь! Я ему добродушно предлагаю: «Отпусти меня, твое высокородие, в Киев, ко святым мощам, грехи замолить!» Вот, говорит, и хорошо, сознался ты! Поймал, значит, меня, лысый кот! А я ни в чем ему и не сознавался, просто так от скуки слово бросил. Скушно было мне, непривышно в остроге-то, кругом воры, человекоубийцы и всякий дрянной народ, к тому же думается: «А что с Ташей сделают?» Больше года тянули канитель эту, потом начали судить. Гляжу — Таша тоже пришла,— в рукавичках, сапожки на ней, необыкновенно всё! Платьице голубое вроде облака,— душа насквозь светится! Весь этот суд на нее смотрит и весь народ, и знаешь, дружба, как сон всё это. А рядом с Ташей госпожа Анцыферова, помещица наша, щукабаба, хитрейшего ума! «Ох, думаю, эта меня загрызет, эта меня съест до костей...»

Он засмеялся как-то особенно добродушно.

— Сын у ней Матвей Алексеич,— я его за дурачка принимал,— скушное дите! Белый весь, без кровинки, в очках ходил, волосы поповские, бороденка — насмех, и всё он песни да сказки в книжечку записывал. Добряга,— чего ни попроси — дает. Ну, мужики этим пользовались: тот — косу дай, этот — дров, третий — хлеба, берут кому чего надо и не надо. Я ему говорю: «Что ты, Алексеич, раздаешь всё? Отцы, деды твои

копили, наживали, шкуру драли с людей, не боясь греха, а ты — раздаешь без оправдания? Али тебе не жалко трудов человеческих?» Так, говорит, надо! Не больно умен был, ну все-таки тихой души парень. Потом его губернатор в Китай сослал, нагрубил он губернатору, а тот его — в Китай.

— Ну — суд... Оказался защитник у меня, часа два говорил, так руками и машет. Таша — тоже за меня...

— Да ты жил с ней?

Он подумал, как бы припоминая, потом равнодушно сказал, следя обнаженными глазами за полетом ястреба:

— Бывает это — живут и с дочерьми. Даже святой один с дочерьми жил, с двумя, от них тогда пророки Авраам, Исаак родились. Про себя я не скажу этого. Конешно, играл с ней; дело зимнее, ночи длинные, скушно! Особливо же скушно такому, который вертеться на земле привык, ходить туда-сюда, а я таков был. Сказки рассказывал я ей,— сказок я знаю сотни! Ну, а сказка — вещь фальшивая. И — кровь горячит. А Таша...

Он закрыл глаза и, качая головой, вздохнул:

— Красавица же она была невозможная! А я тоже до женщин невозможный, совсем безумный.

Старик весь встрепенулся и — с восхищением, с гордостью — сказал, захлебываясь словами:

— Ты — гляди, дружба: шестьдесят семь годов мне, а и теперь могу всякую женщину добрать до самого конца — вот оно как! Пяток лет спустя — какие кобылицы, бывало, молили меня: «Савелушко, милый, отпусти, сил больше нет!» Пожалеешь, отпустишь, а — она через неделю опять тут. «Что, спрашиваю, пришла? То-то вот!» Женщина — это, дружба, большое дело, вся земля об этом бредит,— зверь, птица, малая букашка — все одним живы. Кроме-то — чем жить?

— Что же все-таки сказала дочь на суде?

— Таша? Она придумала, — а то Анцыфериха научила ее, я Анцыферихе полезный был,— она сказала, что сама себе вред сделала, а я — не виноватый. Ну, меня и отпустили. Зря всё у них это, так себе, напоказ: вот, дескать, глядите, как мы законы стережем. А всё — обман один, законы эти, приказы всякие, бумаги, ни-

чего этого не надо, пускай всяк живет как хочет. И дешевле будет и приятнее... Вот я живу, никому не мешаю и никуда не лезу...

— А убийцы — как?

— Их — убивать! — решил Савелий. — Который убил, его тоже прикончить, тут же на месте,— не дури! Человек не комар, не муха, не хуже тебя, сволочь...

— А — воры?

— Чудак,— откуда же воры, коли воровать нечего? Чего у меня украдешь? Лишнего — нет, значит, и зависти нет, и жадности нет. Откуда тут воры родятся? Вор — от избытку; он глядит: ой, как много! Ну и цапнет чего-нибудь...

Было уже темно, ночь влилась в овраг. Трижды ухнула сова, старик выслушал ее жуткие крики и, улыбаясь, сказал:

— Недалеко тут живет, в дуплище. Иной раз застигнет ее солнышко, не успеет она спрятаться и торчит на свету. Я иду, язык показываю ей: что, дура? Ничего не зрит, молчит. Увидят ее мелкие птицы — беда ей!

Я спросил — как же он стал отшельником?

— Так и стал: ходил-ходил, потом остановился. Из-за Таши всё. Анцыфериха тут хитро сыграла — не допустила меня к ней после суда. «Я, говорит, всю правду знаю, и скажи мне спасибо, что в каторгу не попал, а дочери я тебе не выдам». Дура, конечно. Повертелся я около нее, вижу — нет, ее не обойдешь! И — пошел. Был в Киеве и в Сибири был, там большие деньги заработал, вернулся в свои места. Анцыфериху на железной дороге колесами задавило, а Ташу она замуж выдала за фершала, в Курск. Я — в этот Курск, а фершал в Персию уехал, в Узун-город. Я — в Царицын, а там на пароход, потом морем ехал в Узун — а Таша-то померла! Видел я этого фершала,— рыжеватый такой, красноносый, веселый. Оказался — пьяница. «Ты, говорит, может, есть отец ей?» — «Нет, говорю, куда мне! Просто я его в Сибири видел, отца-то». Не хотелось открываться перед ним,— чужой человек. Ну, прошел на Новый Афон, чуть не остался жить там — хорошее место! После вижу — нет, нехорошо! Море гремит, камни ворочает, абхазы ходят, место неровное,

горы кругом, а ночи — такая чернота, будто тебя в смоле утопили. И — жара. Пришел сюда, да вот и живу — девятый год, не зря живу. Пришел, обстроился здесь, березу посадил; три года прожил — кленок посадил, потом — липу, видишь? Я, дружба, большой здесь утешитель людям,— вот приходи в воскресенье, погляди-ка, послушай!

Он почти не упоминал имени божия,— третьего слова в устах людей, подобных ему. Я спросил: много он молится?

— Нет, не шибко много,— задумчиво ответил старик, закрыв голые свои глаза.— Сначала я здорово молился; бывало, часами стою на коленках, всё крещусь. Руки у меня пилой намотаны, не устают, и спина тоже. Тыщу поклонов могу положить — не охну. А вот косточки на коленях — не терпят, ноют. Потом я вздумался; чего это я молюсь, о чём? Всё у меня есть, люди меня уважают, а я — бога беспокою. У бога — свои дела, зачем мешать ему? От него даже отводить надо людские пустяки. Он, бог, про нас заботится, а мы о нем — нет! И я так думаю: господь живет для больших людей, где у него время для меня, мелкого дурака? Теперь я — просто так: не спится ночью, выйду из пещеры, сяду тут где-нибудь да, глядя в небеса господни, думаю: «Как он там?» Это, дружба, очень приятная занятия, до того, что и сказать нельзя,— дивен сон наяву! И — не устаешь, как на молитве. Ничего я у него не прошу, да и другим не советую, а когда, вижу, надо, говорю тому, другому: бога пожалей! Вот приходи-ко, погляди, какой я полезный и ему и людям...

Он говорил не хвастливо, а со спокойной уверенностью мастерового в знании своего ремесла. Голые глаза его улыбались весело, скрашивая безобразие изуродованного лица.

— Зимой-то как живу? Ничего, у меня и зимой тепло. Только зимой народу трудно ходить ко мне из-за снега,— бывает, сутки по двое, по трое без хлеба живу. Один раз — суток восемь али больше не ел ни крошки, обессилел до того, что и память потерял. Девонька одна пришла-таки, выправила меня. Монастырская служка

она была, а после вышла замуж за учителя. Это я ее надоумил: «Что ты, Лёнка, говорю, балуешься? К чему это тебе?»—«Я, говорит, сирота».— «Выходи замуж — вот и конец сиротству». А тут — учитель, Певцов, милый человек, я ему и советую: «Приглядись, Миша, к девушке». Да. Он ее вскорости и поял. Ничего, живут. Ну, зимой я в Саров ухожу, в Оптину, в Дивеевский — тут кругом монастыри. Монахи, однако, не любят меня, всё к себе зовут, чтобы я постригся, в старцы шел бы,— им это выгодно, приманка людям, а я не хочу, я — живой, мне это не годится. Али я — святой? Я, дружба, просто тихий человек...

Смеясь, потирая бока ладонями, он умиленно сказал:

— Зато у монахинь я — милый гость! Любят они меня,— эти меня любят! Не хвастаю, чистая правда. Я, дружба, женщину насквозь знаю, всякую, какую хочешь,— хоть дворянских кровей, хоть купеческих, а простая баба мне насквозь видна, как моя душа. Погляжу в глаза и всё понимаю,— всякое беспокойство ее. Я тебе про них такие сказы могу рассказать...

И снова он убедительно пригласил меня:

— Ты вот приходи, увидишь, как я с ними гуторю... Ну-ко, давай еще опрокинем по баночке.

Выпив, он зажмурил глаза и, качая головой, с новым восхищением проговорил:

— До чего же это вино полезное!

Короткая ночь весны заметно таяла, становилось свежо, я предложил развести костер.

— Ну — зачем? Али холодно? Мне, старцу, не холодно, а тебе холодно? А-яй! Так ты в пещеру иди, ложись там. Видишь ли, дружба, ежели огонь развести, налетит всякая живая мелочь и станет гореть в огне, а я этого не люблю. Огонь им, как западня, на погибель. Солнышко — всякому огню отец — никого не убивает, а мы с тобой, костей наших ради, всю эту мелкоту будем жечь. Не надо...

Я согласился — не надо. И ушел в пещеру, а он еще долго возился вне ее, уходил куда-то, плескался в ручье, и я слышал его ласковый голос:

— Пють... Не бойся, дурачок... Фить!..

Потом он тихонько, дребезжащим голоском запел, словно баюкая кого-то...

Когда я проснулся и вышел из пещеры, Савелий, сидя на коленях, ловко плел лапоть и говорил зяблику, который яростно распевал в кустах:

— Катай-валяй, пой, день — твой!

— Выспался, дружба? Иди мойся, я уже чаишко вскипятил, поджидаю тебя...

— Ты что ж не спал?

— Я, дружба, помру — посплю.

Над оврагом сияло голубое небо мая.

Я пришел к нему недели через три, в субботу к вечеру и был встречен им как старый, любимый знакомый.

— А я уже думал: забыл этот человек меня! О, и винца принес? Ну, спасибо! И хлеба пшеничного? Да, гляди-ка ты, мягкий какой. Ну, добер ты, ой хорош! Тебя люди должны любить, они добрых — любят, они свою пользу знают. Колбаса? Это я не уважаю, это — собачья пища, ты сам ее кушай, а вот рыбку я люблю. Эта рыба, называемая рыбец,— сладкая рыба, из Каспийского моря, я знаю! Ты тут рубля на полтора принес, чудачок! Ну ничего, спасибо.

Он показался мне еще более живым, более радушно сияющим; мне стало легко, весело, и я подумал:

«Чёрт возьми, а ведь, пожалуй, я вижу счастливого человека?» Ловкий, мягкий, он хозяйственно суетился, пряча мои дары, и, точно искры, от него летели во все стороны эти милые, русские, обаятельные слова, от которых пьянеет душа.

Движения его прочного тела, быстрые, как движения ужа, великолепно гармонировали с четкой речью, и, несмотря на изуродованное лицо его, на эти глаза без ресниц,— как будто нарочно разодранные для того, чтобы больше и смелее видеть,— он казался почти красивым, красотою пестро и хитро спутанной жизни. И его внешнее безобразие особенно резко подчеркивало эту красоту.

Снова, почти всю ночь, трепетала его седенькая бороденка и топорщились выщипанные усишки, когда он

закатисто смеялся, широко растягивая кривой рот, в котором блестели белые острые зубы хорька. На дне оврага было тихо, наверху гулял ветер, качались кроны сосен, шелестела жесткая листва дубов; синяя река небес была бурно взволнована — серая пена облаков покрывала ее.

— Чу! — предостерегающе подняв руку, тихонько воскликнул старик. Я прислушался,— было тихо.

— Лиса крадется, у нее тут нора. Охотники спрашивают: «А что, дед, не живет тут лиса?» Я их обманываю,— ну какие тут лисы? Не уважаю охотников, мать их бог любил!

Я уже заметил, что старику иной раз очень хочется выругаться глупой русской бранью, но, понимая, что это уже не подобает ему, он говорил только «мать твою бог любил», «мать твою курицу».

Выпив водки, настоянной на буквице, он говорил, прижмурив разодранные глаза:

— Какая скусная рыба эта,— покорно тебя благодарю,— очень я люблю всё скусное...

Не ясно было мне его отношение к богу, и я осторожно завел беседу на эту тему. Сначала он отвечал мне обычными словами странников, завсегдатаев монастырей, профессиональных богомолов, но я почувствовал, что ему скучно говорить так, и не ошибся,— подвинувшись ближе ко мне и понизив голос, он вдруг оживленно начал:

— Скажу я тебе, дружба, про французика одного, французского попа,— маленький такой попик, черный весь, как скворец, на головке — гуменце выстрижено, на носике — очки золотые, а ручонки — словно у девочки, малы, и весь он — игрушка богова! Встретил я его в Почаевской лавре, лавра эта далеко отстоит — там!

Он махнул рукой куда-то на восток, в Индию, вытянул ноги поудобнее и продолжал, опираясь спиной о камни:

— Кругом — поляк живет, чужое место, не наша земля. Балагурю я с монахом одним, он говорит: «Людей надо наказывать чаще». А я посмеиваюсь: ведь коли правильно наказывать, так надо — всех, а тогда

и время ни на что не хватит и делать больше нечего — дери дером друг дружку, только и всей работы. Рассердился монах на меня: «Ты, говорит, дурак!» И ушел. А попик этот в уголке сидел и вот подкатился ко мне и — начал,— ах какой! Я тебе, дружба, так скажу: он мне вроде Иван-Крестителя. Язык ему мешал, не все наши слова можно сказать чужим языком, ну — все-таки говорил он с большою душой. «Видел я, говорит, что вы,— все на вы со мною, да! — вы, говорит, не верите монаху, ох, говорит, это очень хорошо! Бог, говорит, не злодей людям, а сердечный друг, только с ним, по доброте его, так случилось: растаял он в слезной жизни нашей, как сахар в воде, а вода сорная, вода грязная, и не стало нам чуть его, не чуем, не слышим скуса божия в жизни нашей. А все-таки он во всем мире пролит и в каждой душе живет чистейшей искрой, и надо, говорит, нам искать бога в человеке, собирать его во единый ком, а как соберется господь всех душ живых во всей силе своей,— тогда придет к нему сатана и скажет: велик ты, господи, и силен безмерно, не знал я этого — прости, пожалуйста! А теперь — не хочу больше бороться с тобой, возьми меня на службу себе».

Старик говорил напряженно, и на его темном лице странно сверкали расширенные зрачки.

— «И тогда наступит конец всякому непотребству и злу, и всякой земной сваре, и все люди возвратятся в бога своего, как реки в океан-море»...

Он захлебнулся словами, ударил по коленям своим и начал сиповато смеяться, радостно продолжая сквозь смех:

— Ну так всё это мне по сердцу пришлось, так светло на душе стало — и не знаю, что сказать французику. «Ваше, говорю, Христово подобие, можно тебя обнять?» Обнялись и — давай мы плакать оба,— ведь как плакали! Как малые ребята, родителей встретив после долгой разлуки. А оба — старые, у него щетинка-то вокруг гуменца тоже седая. Тут я ему и сказал: «Ты, говорю, мне, христоподобие, вместо Ивана Крестителя!» Ваше христоподобие зову его, а самому смешно: он — я те сказал — на скворца похож был. А монах этот,

Виталий, всё ругал его: «Вы, говорит, гвоздик!» Верно, он и на гвоздик был схож,— острый такой! Тебе, дружба милая, вся эта радость моя, конечно, непонятная, ты — грамотный, сам всё знаешь, а я в ту пору слепой был, хожу — будто всё вижу, а — ничего не понимаю,— где бог? А он мне сразу всё и открыл,— сообрази, каково это было мне! Ведь я тебе речи его в краткости сказал, а мы с ним до свету беседу вели, он мне столько много говорил, что я — одно ядро помню, а скорлупку всю растерял...

Замолчав, он понюхал воздух, как зверь.

— Дождик будто собирается? Али — нет?

Понюхал еще и успокоенно решил:

— Нет, не будет дождя,— это к ночи сыреет.., Я тебе, дружба, скажу,— все эти французы и разных иных земель жители — высокоумный народ. В Харьковской, не то в Полтавской губерне, у одного князя великого, англичанин, управляющий, глядел-глядел на меня, потом позвал в комнату и говорит: «Вот тебе, старик, секретное письмо и отнеси его туда-то, такому-то человеку,— можешь?» Чего же не мочь? Мне всё равно куда идти, а тут верст сотня до указанного места. Взял я пакет, привязал на веревочку, сунул за пазуху — иду. Пришел в указанное место, прошусь: «Допустите меня к помещику». Меня, конечно, по шее. Гонют, бьют. «Ах вы, думаю, окаянные, раздуй вас горой!» А пакет в бумажке был, и от поту бумажка разлезлась вся,— гляжу: деньги! Большие деньги, рублев триста, примерно. Испугался — вдруг заметит кто-нибудь да украдет ночью? Что делать? И вот сижу в поле, на дороге, под деревом,— едет господин; может, это тот самый, кого мне нужно? Встал на дорогу, машу посохом, кучер меня хлыстом огрел, ну, господин велел остановиться и даже ругнул его. Господин — тот самый. «Вот, говорю, извольте, получите секретный пакет».— «Хорошо, говорит, садись со мной, едем». Поехали, привез он меня в роскошную комнату и спрашивает: «Что это за пакет?» — По-моему — деньги, говорю, бумага-то отпотела, я видел. «А кто, говорит, дал это тебе?» — «Не могу сказать, не велено». Он — кричать на меня: «К становому отправлю, в тюрьму».—

«Ну что ж, говорю, значить, так надо». Он меня пугал-пугал, однако — не боюсь. Вдруг — отворяется дверь, и этот самый англичанин на пороге. Что такое? А он хохочет. Он по железной дороге раньше меня приехал и — ждал: приду я али нет? И знали они оба, что давно я пришел, и видели, как прислуга гнала меня,— сами же и велели гнать, бить не велели, а только — гнать. Ну, понимаешь, это они шутку шутили для испытания мне,— донесу деньги али нет. Понравилось им, что донес, велели они мне вымыться, дали всякую чистую одежу и — пожалуйте кушать с ними. Да, дружба... Ну, я тебе скажу, и кушали мы! А вино,— так, знаешь, хлебнешь его и — рот закрыть сил нет. И обожгло, и дух прелестный. Так они меня напоили, что сблевал я. На другой день — тоже кушал с ними, рассказывал разное, очень удивлялись. Англичанин напился и доказывал, что русский народ — самый удивительный и никому неизвестно, что он может сделать. Даже кулаком по столу стучал. Деньги эти они дали мне — возьмите, говорят. Я взял, хоть никогда не жадовал на деньги, неинтересен был к ним. Ну а вещь разную любил покупать, раз — куклу купил; иду по улице, гляжу: кукла в окошке *лежит, совсем как живое дитё* и даже глазки заводит. Купил. Четверо суток с собой таскал, присяду где-нибудь, выну из котомки и — гляжу. Потом девчонке отдал в деревне. Отец ее спрашивает — украл? Украл, говорю,— стыдно было сказать, что купил...

— Как же кончилось с англичанином?

— Отпустили меня, только и всего. Руку жали мне. Говорили разное, эдакое — дескать, мы пошутили, извините... Надо мне поспать, дружба, а то завтра у меня день трудный...

Укладываясь спать, он говорил:

— Чудак я был! Вдруг, бывало, охватит меня радость, так всё нутро, всё сердце и обольется,— хоть пляши! И — плясал ведь; люди смеются, а я — пляшу... Что ж? Детей — нет у меня, стыдиться некого...

— Это, дружба, душа играет,— задумчиво и тихо продолжал он.— Она — капризная, вдруг привлечется к самому, скажу, смешному да и держит тебя около

него. Вот тоже — вроде куклы — девочка меня соблазнила; наткнулся я на девочку — в одной усадьбе барской; сидит ребенок, годов девяти, над прудом, прутиком воду сечет и слезы точит,— вся мордочка у нее в слезах, как цветок в росе, и даже грудка слезами унизана. Конечно, я присел к ней: «Что ж это ты плачешь, день веселый, а ты — плачешь?» Оказалась сердитая: «Уйди!» говорит. А я — упрямый. Разговорил ее, она мне и сказывает: «Ты, говорит, к нам не ходи; у меня папаша — злой, мамаша — злая и брат — тоже злой!» Я — про себя смеюсь, а вид такой сделал, будто напугался и верю ей, и всё говорю — со страхом — ай-яй-яй! Тут она мордочкой ткнулась в плечо мне и — рыдать, даже дрожит вся. Оказалось — горе ее не тяжело весом: уехали родители в гости за три версты всего, а ее не взяли, наказали,— не то платье хотела надеть, капризила. Я, конечно, жалею, осуждаю родителей: «Ах, говорю, какой народ неаккуратный! Ай-яй-яй» — говорю. А она мне: «Возьми, говорит, меня, дедушка, с собой, не хочу я с ними жить». С собой взять? Чего проще? «Айда, пойдем!» Ну и свел ее туда, где родители пировали,— у нее там Коля был, друг, жучок эдакий, кудрявый,— вот в чем тайность горя. Ну, конечно, смеялись все люди над ней, а она — краснее макова цветка. Отец ее даже полтину серебра подарил мне. Ушел я. И что ж ты думаешь, дружба? Привязалась душа к девочке,— неохота отойти от нее, от усадьбы этой. С неделю кружился,— хочется девочку еще повидать, поговорить с ней, даже смешно. А — хочется! Ее на море увезли, грудку лечить, а я — болтаюсь, хожу, подобно собаке. Вот оно как бывает. Да. Душа — птица капризная, куда летит — неведомо...

Почти сквозь сон или как в бреду старик говорил с паузами, позевывая, и вдруг снова оживился, точно спрыснутый холодным дождем:

— В прошлом годе, осенью, появилась ко мне барыня из города; она — так себе, суховатая, неказиста, а взглянул я в глаза ей — господи! Вот бы мне ее, на одну бы только ночь, а после — ножами режьте, конями рвите,— ничего не боюсь! Какую хочешь смерть при-

му. И — говорю ей прямо: «Уйди, пожалуйста, а то я тебя обижу, уйди! Не могу я беседовать с тобой. Уходи!» Не знаю, поняла ли она али что,— ушла поспешно. Так я — сколько ночей не спал из-за нее,— мерещатся глаза эти, что хошь делай! А — старик ведь... Старец... да... Душа — закона не знает, годов не считает...

Он вытянулся на земле, двигая красными рубцами век, чмокая, потом сказал:

— Ну-ко, буду спать.

Закутал голову армяком и умолк.

Проснулся он на рассвете, взглянул в облачное небо и торопливо сбежал к ручью, там разделся донага, кряхтя, вымыл свое крепкое, коричневое тело с ног до головы и закричал мне:

— Эй, дружба, дай-кось мне рубаху и порты, там в землянке лежат...

Одев длинную — до колен — белую рубаху и синие портки, он причесал деревянным гребнем мокрые волосы и, почти благообразный, отдаленно напоминая какую-то икону, сказал:

— Я всегда чисто моюсь перед тем, как народ принять.

За чаем он отказался выпить водки.

— Нельзя! И есть не буду, только чайку выпью. Надо, чтоб ничего в голову не бросалось, чтоб легко было. В этом деле большая легкость души нужна...

Народ начал приходить после полудня, но до этого времени старик вел себя молчаливо и скучно. Его живые, веселые глаза смотрели сосредоточенно, в движениях явилась степенность. Он часто поглядывал в небо, прислушивался к шороху легкого ветра, лицо его вытянулось, стало еще более уродливо, и рот искривился почти болезненно.

— Идет кто-то,— вдруг тихо сказал он.

Я ничего не слышал.

— Идут. Бабы. Ты, дружба, вот что: ты не говори ни с кем, не мешай,— испугаешь. Ты где-нибудь в сторонке живи. Тихо.

Из кустов бесшумно вылезли две бабы; одна дородная, средних лет, с кроткими глазами лошади, другая молоденькая, с чахоточным, серым лицом, обе они

испуганно уставились на меня,— я ушел вверх по склону оврага и слышал слова старика:

— Ничего, он — не помеха нам. Он — блаженненький, ему всё равно, не вникает в дела наши...

Надломленным голосом, покашливая, присвистывая, торопливо и обиженно, заговорила молодая баба, подруга ее негромко, густыми звуками вставляла в ее речь краткие слова, а Савелий сочувственно, не своим голосом восклицал:

— Так-так-так! Ай-яй-яй! Экие какие, а?

Баба тонко заплакала — тогда старик певуче протянул:

— Милая, ты — погоди, перестань, ты послушай...

Мне показалось, что голос его потерял сиповатость, звучит выше и чище, а мелодия слов странно напомнила незатейливую песенку щегленка. Я видел сквозь сетку ветвей, что он, наклоняясь к женщине, говорит ей прямо в лицо, а она, неудобно сидя рядом с ним, широко открыла глаза, прижав ладони ко груди своей. Подруга ее, склонив голову набок, покачивала ею.

— Тебя обидели — бога обидели! — громко говорил старик, и бодрый, почти веселый тон этих слов явно не ладил со смыслом их.— Бог-то — где? В душе твоей, за грудями твоими живет свят дух господень, а они дураки, братья твои, его и задели дуростью своей. Их, дураков, пожалеть надо,— плохо сделали. Ведь бога обидеть — это как малого ребенка обидеть твоего бы...

И снова он певуче произнес:

— Милая...

Я даже вздрогнул: никогда раньше не доводилось мне слышать и принять это хорошо знакомое, ничтожно маленькое слово насыщенным такой ликующей нежностью. Теперь старик говорил быстрым полушёпотом; положив руку на плечо женщины, он тихонько толкал плечо, и женщина покачивалась, точно задремав. А большая баба села на камни к ногам старика, аккуратно — веером — разбросив вокруг себя подол синей юбки.

— Свинья, собака, лошадь — всякий скот разуму человека верит, а братья твои — люди,— помни!

И скажи старшему, чтоб он в то воскресенье пришел ко мне...

— Не придет он,— сказала большая баба.

— Придет! — уверенно воскликнул старик.

В овраг спускался еще кто-то,— катились комья земли, шуршали ветви кустов.

— Придет,— повторил Савелий.— Теперь — идите с богом. Всё наладится.

Чахоточная баба встала и молча, в пояс, поклонилась старику, он подставил ладонь свою под лоб ей, приподнял ее голову и сказал:

— Помни: бога носишь в душе!

Она снова поклонилась, подавая ему маленький узелок.

— Спаси тебя Христос...

— Спасибо, дружба!.. Иди себе...

И перекрестил ее.

Из кустов вышел широкоплечий мужик, чернобородый, в новой, розовой, еще не стиранной рубахе,— она топорщилась на нем угловатыми складками, вылезая из-за пояса. Был он без шапки, всклокоченная копна полуседых волос торчала во все стороны буйными вихрами, из-под нахмуренных бровей угрюмо смотрели маленькие медвежьи глаза.

Уступив дорогу бабам, он поглядел вслед им, гулко кашлянул и почесал грудь.

— Здорово, Олеша,— сказал старик, усмехаясь.— Что?

— Пришел вот,— глухо ответил Олеша.— Посидеть с тобой охота.

— Ну, посидим давай!

Посидели с минуту молча, серьезно оглядывая друг друга, потом заговорили одновременно:

— Работаешь?

— Тоска, отец...

— Большой ты мужик, Олеша!

— Кабы мне твою доброту...

— Великой силы мужик!

— На кой она мне, сила? Мне бы вот душу твою...

— Вот — погорел ты; другой бы осел, затосковал...

— А — я?

— А ты — нет! У тебя опять хозяйство играет...

— Сердце у меня злое,— сказал мужик, шумно вздохнув, и обложил сердце свое матерными словами, а старик спокойно, уверенно говорил:

— Сердце у тебя обыкновенное, человечье, тревожное сердце,— тревоги оно не любит, покою просит...

— Верно, отец...

Так они говорили с полчаса — мужик рассказывал о человеке злом, буйном, которому тяжело жить от множества неудач, а Савелий говорил о каком-то другом, крепком человеке, упрямом в труде,— о человеке, у которого ничего не ускользнет, не отвертится от рук, а душа у него — хорошая.

Усмехаясь во всю рожу, мужик сказал:

— Помирился я с Петром...

— Слышал.

— Помирился. Выпили. Я ему говорю: «Ты что же, дьявол?» — « А — ты?», говорит. Да. Хорош он мужик, мать...

— Вы оба — одного бога дети...

— Хороший. Умен, главное. Отец,— жениться, что ли, мне?

— А — как же? На ней и женись...

— На Анфисе?

— На ней. Хозяйка! А — красота какая, сила? Вдова, жила со старым, натерпелась,— тебе с ней хорошо будет, верь...

— Женюсь, в самом деле...

— Только и всего...

Потом мужик рассказывал что-то малопонятное о собаке, о том, как выпустили из бочки квас,— рассказывал и хохотал, точно леший. Его угрюмое, разбойничье лицо совершенно преобразилось в глуповато-добродушную рожу обыкновенного, избяного зверя.

— Ну, Олеша, отойди в сторонку, идут ко мне...

— Страдальцы? Ладно...

Олеша спустился к ручью, попил воды, черпая ее горстью, минуты две сидел неподвижно, точно камень, потом опрокинулся на спину, заложил руки под голову и, должно быть, тотчас уснул.

Пришла хроменькая девушка в пестром платье, с

толстой русой косой на спине, с большими синими глазами,— лицо на редкость картинное, а юбка раздражающе пестра,— вся в каких-то зеленых и желтых пятнах, и на белой кофточке пятна красные, цвета крови.

Старик встретил ее радостно, ласково усадил, но — появилась высокая черная старуха, похожая на монахиню, и с ней большеголовый белобрысый парень, с неподвижной улыбкой на толстом лице.

Савелий торопливо отвел девушку в пещеру и, спрятав ее там, притворил дверь,— я слышал, как заскрипели деревянные петли ее.

Он сел на камень между старухой и парнем и долго, молча, опустив голову, слушал бормотание старухи.

— Будет! — вдруг громко и строго сказал он.— Значит, не слушает он тебя?

— Никак. Я ему и то и се...

— Погоди! Не слушаешь ты ее, парень?

Тот молчал, глупо улыбаясь.

— Ну вот, ты — и не слушай! Понял? А ты, женщина, затеяла дело плохое, я тебе прямо скажу — это судебное дело! А хуже судебных дел — ничего нет! И — ступай от меня, иди! Нам с тобой толковать не о чем. Она тебя обмануть хочет, парень...

Парень, ухмыляясь, сказал высоким тенорком:

— Я зна-аю...

— Ну — идите! — брезгливо отмахиваясь от них рукой, сказал Савелий.— Ступайте! Удачи — не будет тебе, женщина. Не будет!

Они оба поникли, молча поклонились ему и пошли кустарником вверх по незаметной тропе,— мне было видно, что, поднявшись шагов на сотню, они оба сразу заговорили, плотно встав друг против друга, потом сели у корня сосны, размахивая руками; долетал ворчливый гул. А из пещеры выплыл невыразимо волнующий возглас:

— Мил-лая...

Бог знает, как уродливый старик ухитрялся влагать в это слово столько обаятельной нежности, столько ликующей любви.

— Рано думать тебе про это,— колдовал он, выводя хроменькую девушку из пещеры. Он держал ее за

руку, как ребенка, который еще неуверенно ходит по земле; она покачивалась на ходу, толкая его плечом, отирая слезы с глаз движениями кошки,— руки у нее были маленькие, белые.

Старик усадил ее на камни рядом с собой, говоря непрерывно, ясно и певуче,— точно сказку рассказывая:

— Ведь ты — цветок на земле, тебя господь взрастил на радость, ты можешь великие радости подарить,— глазыньки твои, свет ясный, всякой душе праздник,— милая!

Емкость этого слова была неисчерпаема, и, право же, мне казалось, что оно содержит в глубине своей ключи всех тайн жизни, разрешение всей тяжкой путаницы человеческих связей. И оно способно околдовать чарующей силою своей не только деревенских баб, но всех людей, всё живое. Савелий произносил его бесчисленно разнообразно,— с умилением, с торжеством, с какой-то трогательной печалью; оно звучало укоризненно ласково, выливалось сияющим звуком радости, и всегда, как бы оно ни было сказано, я чувствовал, что основа его — безграничная, неисчерпаемая любовь,— любовь, которая ничего, кроме себя, не знает и любуется сама собой, только в себе чувствуя смысл и цель бытия, всю красоту жизни, силою своей облекая весь мир. В ту пору я уже хорошо умел не верить, но всё мое неверие в эти часы облачного дня исчезло, как тень пред солнцем, при этих звуках знакомого слова, истрепанного языками миллионов людей.

Уходя, хроменькая девушка радостно всхлипывала, часто кивая старику головою:

— Спасибо тебе, дедушка, спасибо, милый!

— Ну, ну, ну,— ничего! Иди, дружба, иди! Иди, да так и знай: на радость идешь, на счастье, на великое дело — на радость! Иди...

Она уходила как-то боком, не отрывая глаз от сияющего лица Савелия. Черный Олеша, проснувшись, стоял над ручьем, встряхивая еще более взлохмаченной головой, и глядел на девушку, широко улыбаясь. Вдруг сунул два пальца в рот себе и оглушительно свистнул. Девушка покачнулась и рыбой нырнула в густые волны кустарника.

— Сдурел, Олеша! — упрекнул его старик.

Олеша дурашливо опустился на колени, вытащил из ручья бутылку водки и, махая ею по воздуху, предложил:

— Выпьем, отец?

— Ты — пей, мне — нельзя! Я — вечером...

— Ну и я вечером... Эх, отец,— он обложил старика кирпичами матерщины,— колдун ты, а — святой, ей-богу! Душой ты прямо как дитя играешь,— человечьей душой. Лежал я тут и думал,— ах ты, думаю...

— Не шуми, Олеша...

Воротилась старуха с парнем, она сказала что-то Савелию виновато и тихо, он недоверчиво покачал головой и увел их в пещеру, а Олеша, заметив меня в кустарнике, тяжело влез ко мне, ломая ветви.

— Городской, что ли?

Он был настроен весело, словоохотливо, ласково поругивался и всё хвалил Савелия:

— Большой это утешитель! Я вот прямо его душой живу, у меня своя душа злостью, как волосом, обросла. Я, брат, отчаянный...

Он долго расписывал себя страшными красками, но я ему не верил.

Старуха вышла из пещеры и, низко кланяясь Савелию, сказала:

— Уж ты, батюшка, не сердись на меня...

— Ладно, дружба...

— Сам знаешь...

— Знаю: всяк человек бедности боится. Нищий — никому не любезен,— знаю! Ну а все-таки: бояться надо бога обидеть и в себе и в другом. Кабы мы бога-то помнили — и нищеты не было бы. Так-то, дружба! Иди с богом...

Парень шмыгал носом, смотрел на старика боязливо и прятался за спину мачехи. Пришла красивая женщина, видимо — мещанка, в сиреневом платье, в голубом платочке, из-под него сердито и недоверчиво сверкали большие серовато-синие глаза. И снова зазвучало обаятельное слово:

— Милая...

Олеша говорил, мешая мне слушать речь старика;

— Он всякую душу может расплавить, как олово. Великий он помощник мне,— без него я бы наделал делов — ой-ой — каких! Сибирь...

А снизу возносилась песнь Савелия:

— Тебе, красота, всякий мужчина — счастье, а ты— говоришь эдакое — злое! Милая,— гони злобу прочь; гляди-ко ты: что люди празднуют? Все наши праздники — добру знаменье, а не злобе. Чему не веришь? Себе не веришь, женской силе твоей не веришь, красоте твоей, а — что в красоте скрыто? Божий дух в ней... Мил-лая...

Взволнованный глубоко, я готов был плакать от радости,— велика магическая сила слова, оживленного любовью!

До поры, когда овраг налился густою тьмой облачной ночи, Савелия посетило человек тридцать,— приходили солидные деревенские «старики» с посохами в руках, являлись какие-то угнетенные горем, растерянные люди, но более половины посетителей — женщины. Я уже не слушал однообразных жалоб людей, а только нетерпеливо ждал от Савелия его слова. К ночи он разрешил мне и Олеше разжечь костер на камнях площадки, мы готовили чай и ужин, а он, сидя у костра, отгонял полой армяка разное «живое», привлеченное огнем.

— Вот и еще денек отслужил душе,— сказал он задумчиво и устало.

Олеша хозяйственно советовал ему:

— Напрасно ты денег не берешь с людей...

— Не подходяще это мне...

— А ты с одного возьми, другому отдай. Вот мне бы дал. Я бы лошадь купил...

— Ты, Олеша, скажи завтра ребятишкам — прибежали бы ко мне, у меня гостинцы есть для них,— много сегодня бабы натаскали разного...

Олеша пошел к ручью мыть руки, а я сказал Савелию:

— Хорошо ты, дедушка Савел, говоришь с людьми...

— То-то вот,— спокойно согласился он.— Я ведь сказывал тебе, что — хорошо. И народ уважает меня. Я всем правду говорю, кому какую надо. Вот оно что...

Улыбнулся весело и продолжал, менее устало:

— А — особо хорошо с бабами я беседую,— слышал? Это, дружба, так уж бывает у меня: увижу бабу али девицу мало-малё красивую, и взыграет душа, вроде как цветами зацветет. У меня к ним благодарность: одну вижу, а вспоминаю всех, коих знал, им — счета нет!

Воротился Олеша, говоря:

— Отец Савел, ты за меня поручись перед Шахом в шестьдесят рублей...

— Ладно.

— Завтра. А?

— Ладно...

— Видал? — торжествующим тоном спросил меня Олеша, кстати наступив мне на ногу.— Шах — это, брат, такой человек: издаля взглянет на тебя — так и то рубаха твоя сама с плеч ползет в руки ему. А придет к нему отец Савел,— перед ним Шах собачкой вертится; на погорельцев сколько лесу дал!..

Олеша шумел, возился и мешал старику отдыхать, а Савелий, видимо, очень устал; он сидел над костром понуро, казался измятым, рука его еле взмахивала над костром, пола армяка напоминала сломанное крыло. Но Олешу невозможно было укротить, он выпил стакана два водки и стал еще более размашисто весел. Старик тоже выпил водки, закусил печеным яйцом с хлебом и вдруг негромко сказал:

— Ты иди домой, Олеша.

Большой черный зверь встал, перекрестился, глядя в черное небо.

— Будь здоров, отец, спасибо! — сунул мне тяжелую, жесткую лапу и послушно полез в кусты, где спряталась узкая тропа.

— Хороший мужик? — спросил я.

— Хороший, только следить за ним надо,— буен! Жену так бил, что она и родить не могла, всё сбрасывала ребятенок, а после — с ума сошла. Я ему говорю: «За что ты ее бьешь?» — «Не знаю, говорит, так себе, хочется да и всё...»

Замолчав, он опустил руку и, сидя неподвижно, долго смотрел в огонь костра, приподняв седые брови.

Лицо его, освещенное огнем, казалось раскаленным докрасна и стало страшно; темные зрачки голых, разодранных глаз изменили свою форму — не то сузились, не то расширились,— белки стали больше, и как будто он вдруг ослеп.

Он двигал губами,— ощетинясь, шевелились редкие волосы усов,— словно он хотел сказать что-то, но — не мог.

А заговорил он все-таки спокойно, только вдумчиво, как-то особенно:

— Это со многими мужиками бывает, дружба: вдруг хочется бабу избить, без всякой без вины ее, да еще — в какой час! Только вот целовал ее, любовался красотой, и тут же, в минуту, приходит охота — бить! Да, да, дружба, это бывает... Я тебе скажу — я сам, смирный человек, нежный, уж как я женщин любить умел, до того, бывало, дойдешь — так бы весь и влез в нее, в сердце ей, скрылся бы в нем, как в небесах голубь,— вот как хорошо бывало! И — тут ее ударить, ущипнуть как-нибудь больнее хочется, и ведь щипал, да! Взвизгнет, спрашивает: что ты? А тебе и сказать нечего,— что тут скажешь?

Я изумленно смотрел на него и тоже не знал, что сказать, о чем спросить,— поразило меня его странное признание. А он, помолчав, снова заговорил про Олешу.

— После того, как жена обезумела, Олеша еще хуже характером стал,— находит на него буйная блажь, проклятым себя считает и всех бьет. Намедни мужики привели его ко мне связанного, в кровь избили всего, опух весь, как хлеб коркой, кровью запекся. «Укроти, говорят, его, отец Савел, а то убьем, житья нам нет от зверя!» Вот как, дружба! Дён пять я его выхаживал,— я ведь и лечить умею маленько... Да-а, дружба, не легко людям жить,— охо-хо! Не сладко, дружба ты моя милая, ясные глаза... Вот — утешаю я их, н-да.

Он усмехнулся жалостливо, и от этого его лицо стало еще уродливее, страшнее.

— А которых — обманываю немножко, ведь живут и такие люди, которым нет уже никакого утешения, кроме обмана... Есть, дружба, такие... Есть...

О многом хотелось спросить его, но он целый день

не ел, усталость и выпитый стакан водки заметно действовали на него, он дремал, покачивался, и обнаженные глаза его всё чаще прикрывались красными рубцами век.

Все-таки я спросил:

— Дедушка Савел, а что, по-твоему, ад — есть?

Он *поднял голову и строго, обиженно* сказал:

— Ну — как же это можно — ад? Ну — где же это? Бог, а тут ад? Разве можно? Это несоединимое, дружба, это — обман. Это всё вы, грамотные, для страха придумали, попы всё дурят. Человека не к чему пугать. Да никто и не боится ада-то этого...

— А — дьявол-то как же, он где живет?

— Ну, ты этим не шути...

— Я не шучу.

— То-то.

Он взмахнул над костром полой армяка и тихонько сказал:

— Ты над ним не смейся. У всякого — своя ноша. Французик-то, может, правду сказал: и дьявол господу поклонится в свой час. Мне поп один о блудном сыне рассказывал из Евангелия,— я это очень помню. По-моему, притча эта про дьявола и сказана. Про него, не иначе он самый и есть блудень сын.

Он покачнулся над костром.

— Лег бы ты, уснул,— предложил я.

Старик согласился:

— Верно, пора...

Легко опрокинулся на бок, поджал ноги к животу, натянул армяк на голову и — замолк. Потрескивали и шипели ветки на углях костра, дым поднимался затейливыми струйками во тьму ночи.

Я смотрел на старика и думал:

«Это — святой человек, обладающий сокровищем безмерной любви к миру?»

Вспомнил хроменькую, пестро одетую девушку с печальными глазами, и вся жизнь представилась мне в образе этой девушки: стоит она перед каким-то маленьким, уродливым богом, а он, умея только любить, всю чарующую силу любви своей влагает в *одно слово* утешения:

«Милая!..»

РАССКАЗ О БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ

Проходя Театральным переулком, я почти всегда видел у двери маленькой лавки, в пристройке к старому деревянному дому, человека, который казался мне не на своем месте и лишним в этой узкой, темной щели города, накрытой полосою пыльного неба.

Человек или сидел у двери на стуле, читая газету, или стоял в двери, опираясь плечом о косяк, сложив руки на груди. Маленькая вывеска над его головою черными косыми буквами говорила, что в лавочке продаются «Канцелярские принадлежности». За мутным стеклом окна были разложены пачки конвертов, блокноты и пестрые коллекции старых марок на квадратных картонах.

Иногда я останавливался пред окном, будто бы разглядывая покрытый пылью, выцветший, жалкий товар, и незаметно наблюдал торговца, а он сосредоточенно смотрел в окна дома против его, на старый ящик из кирпичей, обломанный временем, с извилистой трещиной в стене, с двумя рядами тусклых окон, по четыре в ряд; карнизы их засижены голубями, в потоках голубиного помета и ржавая вывеска над окнами нижнего этажа:

«Портной Мучник».

Вероятно, не менее сотни лет стоит на земле этот дом. И весь переулок — две унылые, грязные линии таких же старых домов, плотно прижатых один к другому.

Человек — в длинном, очень потертом сюртуке, под сюртуком чувствуется сухое, но стройное тело; ноги — в разношенных ботинках, но видно, что ступня их

мала, хорошей формы. Лицо густо обросло серой, аккуратно подстриженной бородкой, седоватые волосы удлиненного черепа гладко зачесаны за уши, маленькие и вырезанные четко. Волосы, должно быть, очень мягкие, они лежат плотно, точно склеены. В этой прическе есть что-то «интеллигентное», но она не гармонирует с длинным, сухим лицом, и кажется, что благодаря именно ей хрящеватый тонкий нос так подчеркнуто печально высунулся вперед. Странные глаза у этого человека: белки их синеваты, зрачки рыжего цвета, они прорезаны узко, взгляд их холоден, прям, но *все-таки кажется, что смотрят они вниз, в землю.*

Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что человек этот спросит наконец:

— «Что вам угодно?»

Но он как будто не замечал меня, неподвижный, скрестив руки на груди, окруженный незримым облаком скуки, раздражавшей мое любопытство. Что сторожит он, о чем скучает?

В лавку его забегали гимназисты покупать марки для коллекции, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними кратко, как бы исполняя чужое, не интересное ему дело.

И когда я вошел в его лавочку купить конверты, он меня встретил так же нелюбезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрестил руки на груди, явно ожидая, скоро ли я исчезну.

— Давно торгуете?

— Давно.

— Глухое место?

— Да.

— Нет ли у вас старинных монет?

— Не имею.

Более чем ясно — этот человек не хочет говорить. Но мне попала на глаза открытка — портрет женщины; прикрыв рот веером из перьев страуса, она сидела в широком кресле, глаза ее улыбались кокетливо, но как будто иронически, лицо — хмельное или очень капризное. Внизу открытки напечатано:

«Лариса Антоновна Добрынина,
известная артистка провинциальных театров».

Еще открытка: та же дама в роли Офелии, со снопом цветов в руках, но глаза не безумны, а улыбаются той же непонятной улыбкой. Вот она же в роли Норы, Марии Стюарт, и еще она, и еще. На всех портретах одна и та же улыбка кривит ее рот, большой, пухлый, резко отделяющий верхнюю часть лица от широкого и туповатого подбородка.

— Лучше всего она — здесь,— внушительно сказал торговец, указывая длинным серым пальцем на портрет в кресле.— Это — мое издание! — добавил он с гордостью.

— Никогда не слыхал ее имени,— сказал я.

Он пожал плечами, как бы обидясь.

— Однако ж она была весьма знаменита. Имя ее гремело.

Он назвал несколько городов, где артистка пользовалась «колоссальным успехом», и, с оттенком пренебрежения к моему невежеству, дал мне, избитыми словами газетных рецензий, характеристику ее таланта. Говорил он, закрыв глаза и как будто читая.

— Жива?

— Умерла.

— Давно?

— Девять лет.

Несомненно, это был какой-то чудак. Чудаки украшают мир. Я решил познакомиться с ним ближе, это мне удалось, и вот что рассказал странный человек.

— Чтобы печаль моей истории была понятна вам, я должен начать ее издалека, с детских дней. Отец мой, Клим Торсуев, известный мыловар, был человек тяжелого характера, нелюдим и в ссоре с жизнью, несмотря на богатство и удачу в делах. Огромного роста, редкой силы, волосатый, он ходил по земле наклоня голову, как бык, и в некоторой слепоте от неведомой обиды, нанесенной ему. Можно допустить, что обида — от матери моей, она была дочерью майора Горталова, героя турецкой войны, и когда мне было девять лет, а брату моему Коле — шесть, уехала от нас с одним знамени-

тым пианистом и вскоре скончалась где-то за границей. Я ее помню в костюме русалки, всю в зеленых лентах, в цветах, черные волосы распущены до талии, и на голове роса из бриллиантов. В этом виде она спросила меня: «Хороша я?» И когда я сказал: «Да, очень хороша!» — она ласково ударила меня по лбу, говоря: «Вот видишь, а ты меня не слушаешься, не любишь». Я обещал слушаться, но на Пасхе она уехала.

Мы сидели в углу маленькой темной комнаты у стола, на нем в серебряных подсвечниках горели две свечи и в старинном граненом графине колебалось рубиновое пламя вина. Тесно и душно в комнате, стены ее покрыты, как серой плесенью, пятнами фотографий, в углу жарко натоплена изразцовая печь, к ней прислонилось широкое кресло, в кресле сидит этот человек, вытянув ноги, скрестив руки на груди, глядя на желтые цветы двух огней. На узенькой двери в другую комнату, должно быть спальную, висит гитара, гриф ее украшен лентами. Против окна на улице горит фонарь, его осыпают стеклянные стрелы дождя, мутный масляный свет фонаря, проникая сквозь мокрое стекло окна, тускло освещает большую раскрашенную фотографию артистки Добрыниной, фотография, в черной с белым траурной раме, стоит на мольберте, рама увенчана серебряным венком — лавры и пальмовый лист.

Во всем, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление, все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до того, что, когда коснешься их, они рассыпаются серой пылью. Сухое тление слышится и в ломком голосе человека. Речь его почти лишена оттенков, говорит он точно читая, слова падают заученно и легко, напоминая грустное падение побитых морозом листьев дерева, опоздавшего сбросить свой летний убор.

— Восемнадцать лет отец жил вдовцом, в доме у нас не было ни одной женщины, кроме старух: горничной и кухарки. Нашей детской жизнью он, угрюмый, не занимался. Восемнадцать лет я и Коля слышали, чаще всего, сердитый вопрос: «Это зачем?»

— Очень пугал он вопросом своим, как бы стену воздвигая между собой и нами; росли мы, прячась от него. В доме у нас было семь комнат, одна другой темнее, и среди множества разной мебели очень удобно было прятаться. Меня он отдал в городское училище, но дальше учиться запретил, сказав: «Довольно! Привыкай к делу».

— А Коле, который был слабее меня, позволил кончить гимназию и даже допустил в университет по математическим наукам и химии.

— Умер он в полноте сил и неожиданно; в жаркий день июня, возвратясь домой после крестного хода, выпил домашнего пива со льдом и на пятые сутки лежал в гробу, разбухший, сложив деловые волосатые руки на вздутом горою животе. Был неописуемо страшен: сердитое лицо его, ощетинясь рыжими волосами, как бы налилось таким, знаете, синим гневом, и казалось мне, что сейчас вот он крикнет хрипло судьбе своей: «Это зачем?..»

— Работу на фабрике остановили, и в доме стало так же тихо, как в праздничные дни Пасхи или Рождества. Началась непривычная суета, прислуга топала и шаркала ногами шумно, говорила громче, я видэл, что все довольны смертью отца, и со стыдом чувствовал, что сам я тоже доволен. При жизни его в доме у нас только мухи жили свободно и могли жужжать полным голосом. Отец шагал по комнатам тихо, всегда прислушиваясь к чему-то, чего-то ожидая, и если кто-нибудь неосторожно хлопал дверью,— это очень сердило его. А теперь только Коля, юноша чувствительный, говорил вполголоса, как привык при жизни отца, и двигался так же тихо, точно опасаясь разбудить уснувшего навеки. «Возню какую подняли,— обиженно говорил он.— Как будто обрадовались!» — «Что же, говорю, Коля, обижаться? Ты знаешь — его не любили. Никто не любил». — «И ты?» — спрашивает. — «И ты, говорю, я человек прямой».

— Промолчал он, сидя у открытого окна, а в окно лез густейший запах кислот, гниющего жира, мыла, и запах этот сопровождался необычным шорохом: дворник наш, кривой татарин Мустафа, шаркал метлою по земле,

пропитанной жирами, утоптанной до твердости асфальта. Раньше, в непрерывном шуме работы на фабрике, этот звук был бы не слышен, неприятный и эдак, знаете, вычеркивающий звук.

— Коля, высунувшись из окна, сказал: «Перестань, пожалуйста, Мустафа!»

— И говорит мне: «Он выметает память об отце. Ты разве забыл, что нельзя мести, когда в доме покойник?»

— Утешаю его: «Теперь, говорю, мы с тобой начнем жить легче. Я стану работать, ты — учиться. Тебе не нужно будет просить рубль на театр, и никто не крикнет тебе: „Это зачем?“ Пусть, говорю, это нехорошо, но мне отца не жалко. Я не актер, фальшиво плакать не умею. А вспомни, говорю, как мы с тобой, неделю тому назад, ночью, едва не плакали от обиды? И — *сколько было таких обид!*»

— Он, глядя в небо, говорит: «Какое небо бесцветное и жесткое, жестяное... А фабрика наша и вся земля — как ржавчина и грязь на жести».

— Такие мысли часто являлись у брата, и необычность их очень нравилась мне. О земле он говорил всегда с печалью и жалобно, как больной о теле своем. Но был он здоров, хотя тоненький, хилый, и такой, знаете, нежный, девичий румянец на щеках. Волосы темные, волнистые, черные глаза его смотрели на всё недоверчиво и как будто удивленно. Учился играть на рояли втайне от родителя и вообще имел в себе что-то тихое, музыкальное.

— Говорю ему: «Самое лучшее, Коля, чего достиг отец при жизни,— это наша братская дружба. Тяжелому его характеру обязаны мы тем, что он притиснул нас вплоть друг другу, мы крепко и взаимно любили один другого, *я* хочу, чтоб эта любовь так и осталась на всю нашу жизнь. Хотя я и старше тебя, но знаю, что неуч рядом с тобою. Ты живешь другой жизнью, чем я, мысли у тебя свои, и тебе приятна игра воображения. Вот сейчас ты о небе сказал, а я не могу сказать так, не умею. И часто бывает: не понимаю я — о чем ты говоришь и почему?»

— Тут он спросил, как будто виноватый: «Что же я

говорю особенное?» — «Не перебивай меня! Вот, говорю, ты жалеешь и любишь землю, как плоть твою, а я хожу по ней вполне спокойно. Я не воображаю себя другим человеком, я осужден жить в том образе, каков есть. Я думаю только о фабрике, о делах, о невесте моей. Боюсь я, что тебе будет скучно жить со мною и разведет нас эта скука по разным дорогам. А ты — еще мальчик, характер у тебя не окреп, время же теперь — трудное, студенты волнуются. Тебя могут втянуть в опасную политику, и ты погибнешь, подобно многим. Вот я люблю невесту мою, но, когда подумаю, что войдет к нам она женой моей и я должен буду отдать ей часть жизни,— я боюсь. Жена моя может не понравиться тебе. И вообще правильно говорят: „Женщина в семью — как клин в дерево". Потом пойдут дети. А — как же ты? И вот, Коля, решаю я подождать жениться, чтоб ты не потерял меня...»

— Он печально говорит: «Не желаю я, чтоб ты приносил себя в жертву мне».

— Именно так и сказал. Но я говорил еще и еще, всё весьма убедительно, и кончилось, как я того хотел: обнялись мы крепко и дали друг другу клятву не разлучаться ни в каком случае жизни и никогда ничего не скрывать друг от друга. Сознаюсь, тут, видите, кроме действительной любви к брату и некоторый расчет был: двенадцать лет жил я, как зоологический зверь в клетке, ничего, кроме мыловаренного дела, не видя и не понимая. Я даже в городе редко бывал, там дела вел отец. А Коля, через два-три года, обещал быть ученым химиком, и потом имел он черту тихого такого упрямства, мне казалось, что эта черта тоже обещает много. Он читал серьезнейшие книги, даже на иностранных языках, говорил о политике и вообще очень интересно разбирался в суматохе жизни. Могу сказать, что жизнь занимала его мысли в той же мере, как фабрика — мои, иными словами: Коля относился к жизни, как к своему хозяйству. И не скрою, что это было несколько смешно, несмотря на серьезность слов. Я сообразил, что ведь невеста от меня не уйдет, она была весьма влюблена, а брата, который умнее и делу нашему

полезнее, я легко могу потерять. Но — прежде всего, я любил Колю...

Всё время человек говорил однотонно, как бы читая Псалтырь, и глаза его были закрыты. Но тут он открыл их,— они были красны, полны слез и тоски.

— Я его любил! — повторил он, выпил стакан вина и, вытирая глаза платком, продолжал более оживленно:

— До конца сентября, до начала театрального сезона, мы с Колей прожили незабвенно хорошо, в тесном единении и откровенных беседах, хотя Колю начали посещать товарищи. Один из них, Богомолов, медик из семинаристов, был неуклюжий, грубоватый, громогласный парень и такой, знаете, назойливо умный. Есть люди, у которых вместо души популярная библиотека, — он был из этого племени. Он с первого раза не понравился мне, потому что пришел со словами о свободе, свобода же, сударь мой, есть фальшивая иллюзия. Я почувствовал это тотчас же после смерти отца, когда фабрика начала работать и жизнь моя пошла неизбежной своей тропою. При жизни родителя я был свободнее, хотя и в плену его власти, а умер отец — и стало ясно, что свобода налагает нестерпимую ответственность за каждый вздох души. А господин Богомолов начал утверждать и проповедовать, что человек совершенно свободен, существует сам для себя, он есть круг, в коем сходятся все начала и концы, и весь мир, вся жизнь в нем, внутри его,— явная нелепица. В бога же господин Богомолов, отрицая свою фамилию, не веровал, и все его умствования были бесцельнее полета стрижа, который мечется над землею по воздуху, ловя невидимых мошек,— стало быть: преследует свою цель. Я, конечно, пытался доказать господину Богомолову, что его совершенная свобода есть сущая и совершенная бесцельность, но он, будучи сыном протоиерея, проповедовал с большим уменьем и, конечно, загонял меня в угол. Он показался мне очень опасным для Коли. Узкогрудый и тоненький, с девичьим румянцем своим, Коля стал еще более юным и беззащитным около этого гривастого, темного поповича; речи его о свободе Коля слушал доверчиво и почтительно. А я уже тогда предчувствовал, что человек и во

сне не свободен и даже неподвижность камня не есть свобода, ведь и камень существует до времени, пока его не изотрет в песок. Каждый человек — раб и пленник разнообразных обстоятельств жизни, дьявол — раб своей злобы, а господь бог,— если он существует,— раб деяний своих, недоступных разуму человека. Вот мои мысли о свободе!

От слов рассказчика по комнате как будто разлеталась сухая и едкая пыль насмешливого раздражения; в каждом слове я чувствовал торжествующую убежденность человека, которому жизнь любезно позволила оправдать и укрепить схему его мысли достаточным количеством фактов. В этом отношении жизнь неистощимо милостива. Огни свеч отражались в его рыжих зрачках золотыми искрами, синие белки стали теплее, он приподнял тонко очерченные брови, и на его сухом лице явилось выражение самодовольного уныния.

— Я всю жизнь занимался одним делом, и у меня поэтому очень хорошая память, всё прожитое я вижу как бы написанным на стене,— продолжал человек, кивнув головою в угол.

Там, на круглом столике, в бронзовой вазе торчал букет высушенных цветов, они казались вылепленными из какой-то грязноватой массы, формы их были уродливы, и, только внимательно рассмотрев их, я понял, что это цветы.

— Кроме Богомолова, который смешно называл себя нищеанцем, ходил к нам еще студент Павлов, сын почтмейстера. Этот был более приятен; маленький, худой, с мордочкой и бородкой козла, он имел в себе что-то шутовское, от клоуна, и, желая скрыть это качество, носил золотые очки. Был очень шумен, всё, чего касались его легкие руки, — посуда, мебель,— стучало особенно громко. Говорить он мог только о театре и, несмотря на явное его легкомыслие, печатал в газетах рецензии о спектаклях. Он знал актеров всей России и, когда был опубликован состав новой труппы городского театра, смешно волновался: «Л. Добрынина? — кричал он.— Не знаю, никогда не слышал. Л.? Любовь? Людмила? Лидия? Как вы думаете?»

— До начала сезона он не успел познакомиться с

Ларисой Антоновной, потому что пьяный, вывалившись из саней, разбил себе голову о тумбу. Давно уже помер человек этот, но я и до сего дня недоволен им. Есть на земле особенные человечки, сам по себе такой человечек как будто и не плох, но вашей душе напоминает только плохое. И, сидя с таким, вы чувствуете, что он чем-то будит именно дурное ваше. Да и вообще — удивительные люди водятся на Руси,— люди, как бы нарочно рожденные для шумного занятия пустяками. Особенно много таких людей вокруг театра. На первый спектакль я с Колей взял билеты во втором ряду кресел, приплелся и Павлов с завязанной головою.

Человек шумно вздохнул, как бы готовясь поднять тяжесть, выпил вина и, снова закрыв глаза, долго укладывал руки на груди; пальцы рук странно шевелились.

— Шел «Гамлет». И вот явилась на сцене Офелия...

Открыв глаза, человек строго проговорил:

— Должен объяснить, что театр не нравится мне. *Это какая-то торговля человеческой душою в розницу*, по мелочам; выставка неискусно придуманной игры фальшивых чувств или же — осмеяние людей, которые только потому кажутся смешными, что живут простодушнее других. До этого дня я был в театре не более десяти раз и всегда уходил из него с таким чувством, как будто меня хотели обмануть, но не удалось. Я не заметил, когда вышла на сцену Лариса Антоновна, но, услыхав новый голос, взглянул: стоит Офелия и смотрит прямо на меня с удивлением и такой, знаете, нерешительной улыбкой. Бывает иногда, на рассвете,— в темноту комнаты пробьется сквозь щель ставня или занавесь жемчужная ниточка солнечного луча в такой ощутимости, что, кажется, можно взять рукою этот милый луч. И вот так же ощутимы показались мне лучи глаз Ларисы Антоновны. А голос ее сочен, глубок,— голос женщины, хотя говорила она жалобно и робко, как подобает девушке Офелии, безответно влюбленной. Пред нею стоял нахалом Гамлет, в черном весь, как трубочист, изображал его известный тогда Аяров.

Человек впервые усмехнулся, обнажив белые плотные зубы.

— Об этом Аярове стишки злые помню.
И со свистом, сквозь зубы он прочитал:

Как свеча из воска ярого
От жары уныло топится,
Так и от игры Аярова
Зритель с горя в Волге топится!
Если ж Кином он прикинется,
Из архива им же вынутым,—
Вместе с Кином опрокинутым
И смысл здравый опрокинется!

Прочитал, потемнел и продолжал тихо и медленно:

— Не могу рассказать, что испытал я в тот вечер, но скажу,— пусть это кощунственно,— я как будто впервые причастился святых тайн красоты. Хотя это не мои слова, их кричал в антракте Павлов, он вообще говорил храбро, не оглядываясь на смысл речи. В театре он становился подобен пьяному, а в этот вечер особенно живо хватал легкими руками людей за пуговицы, лацканы, рукава, неистовствуя, как подкупленный: «Очарование! Талант! Божественная красота!»

— После сцены сумасшествия он даже плакал, а потом потащил меня и Колю в уборную к Ларисе Антоновне. В уборной он весь рассыпался словами, целовал руки ей и вообще вел себя театрально, как принято в их быту. Я видел ее такой же, как на сцене, с тою же улыбкой на лице, и те же лучи глаз,— глаза у нее были синеватые, спокойные, с улыбкой в глубине, а рука — сухая, горячая.

— Слушая Павлова, она смеялась негромко и как бы не веря похвалам его. «А вам я нравлюсь?» — спросила она.

— Я думал — это она меня спрашивала, и хотел достойно ответить, но услышал тихий голос Коли: «Да. О да!» — сказал он.

— Тут я почувствовал, что некоторое время брат был забыт мною, хотя мы стояли рядом. Это очень сконфузило меня, а восторг Коли — встревожил. Я увел его; в театре была моя невеста, дочь крестного отца Коли, мы пошли к ней. Она была барышня образован-

ная, училась два года на курсах в Москве и тоже — театралка. Миловидная такая, здоровая и веселая, с румянцем во всю щеку и с большим пристрастием к сладкому. Ей Лариса Антоновна не понравилась: «Женщина оригинальной красоты, но ведь она не умеет играть, ходит по сцене для себя и точно ищет потерянную ею брошку...».

— В этом было что-то верное, я тоже вспомнил, что Лариса Антоновна часто опускала глаза и как будто не туда идет, мимо людей. Коля начал спорить с невестою моей, а я, будучи наслышан о свободном поведении актрис, подумал, что наверное увлечется он Ларисой Антоновной и это потребует значительных расходов на подарки ей.

Строго, точно обвиняя меня в чем-то, человек сказал:

— Но — я подумал об этом, потому что... хотел скрыть другую мысль, да-с! Прошу вспомнить, что оба мы воспитывались без женской ласки. К тому же, несмотря на годы, я был человек сдержанный из боязни постыдной заразы. Была одна слободская девушка, швея, приятная мне, но вскорости погибла от укуса бешеной собаки. Около нашей фабрики довольно часто собаки бесились. Таков был я, а Коля — совершенно чистый девственник. И мне надлежало служить вождем его судьбы. Понимаете?

Но, закрыв глаза, он покачал головою, тихо говоря:

— Всё это — не так, не так...

И, помолчав, продолжал обреченно, точно против воли:

— Когда я с Колей ехал домой, он всю дорогу, улыбаясь, молчал, и мне было понятно: молчит он о том же, что и я. Дома, за чаем, мы разговорились, как всегда, сердечно, и я прямо сказал брату, что хочу искать благосклонности у Ларисы Антоновны и вполне надеюсь на успех. Сказал я это нарочно в самых грубых словах, но, конечно, никаких надежд не питая и не думая о них. Он рассердился на меня, чего я ожидал, рассердился и с большим жаром стал говорить о прекрасной душе женщины, говорил книжно и отчасти даже стихами. Разумеется, я высмеивал его речи, хотя они были приятны мне и завидовал я красноречию Коли.

Сердитый, он ушел спать. И я тоже лег, но среди ночи встал и долго молился,— тогда я был уверен, что бог — есть и несчастия людей не угодны ему. Молился я о том, чтоб всё это — Лариса Антоновна, Колино увлечение и смута в душе моей — прошло, как сон. Ночь, помню, была лунная, и очень выли собаки...

— Н-ну-с, через день мы снова поехали в театр. Лариса Антоновна играла «Даму с камелиями». Это пьеса неприятная, как вы, конечно, знаете, в ней всё рассчитано на возмущение души жалостью. Но и в ней Лариса Антоновна затмила всех неподражаемой своей красотою. В местах, особенно рассчитанных на жалость, я ей не верил, но когда она говорила обыкновенные, житейские слова, я вспомнил оценку невесты моей: да, Лариса Антоновна — человек для себя, а не для театра! И это было приятно мне. Нравилась мне в ней такая, знаете, ленца движений и слов. Так жить может только человек очень серьезный, независимый. И мне показалось, что изображать таких женщин, как эта, с камелиями, Ларисе Антоновне не подобает, недостойно ее. Коля печально шептал мне: «Не ее роль. Скучно играет».

— В антракте мы с Павловым пошли к ней, но она переодевалась и, не пустив нас в уборную, пригласила, сквозь дверь, на новоселье к себе. Квартиру она сняла здесь, напротив...

Человек махнул рукой на окно,— за окном осень неустанно сеяла дождь, в его тонких, стеклянных нитях огонь фонаря, вздрагивая, шевелил желтыми лучами, как большой жирный паук.

— Ну-с, и вот — новоселье. Первый раз в жизни попал я в табунок людей, никогда мною не виданных. Знакомых — только один полицеймейстер Маметкулов, человек кавалерийский и сам весьма похожий на старого коня. Всё очень необычно, столы, например, были поставлены из угла в угол комнаты, и от этого образовалась излишняя теснота. Цветы не в вазах, а рассыпаны по столу, прямо на скатерть. Ну и многое другое, не говоря о речах. Меня и впоследствии всю жизнь удивляло в каждом собрании образованных людей буйство мысли и слов, причем каждый старается упрямо

доказать, как можно скорее и решительнее, свое разномыслие со всеми другими. Не знаю более неприятного легкомыслия, как эти разговоры о смерти, боге и любви. Семнадцать лет непрерывно слушал я это блудословие языка и не мог привыкнуть к нему. И вовсе это не мудрость, а простое засорение ума. Больше всех шумел Павлов, он в этой тесноте вел себя хозяином, как механик на фабрике. Была разыграна беседа, очень памятная мне по участию в ней Коли,— участию, неожиданному для меня. Лариса Антоновна сидела в центре общего внимания, в переднем углу под образом, одета в темно-красное платье, украшена цветами, пышная и волшебная, вся точно в огне. Рядом с нею — комик Брагин, человек очень богомольный и, как потом оказалось, негодяй. Был он весьма неприятен образом — костлявый, желтый, курносый, с провалившимися глазами и вообще похож на картинное изображение человеческой смерти. Он и начал разговор сожалением, что нет пьесы, героем которой был бы Христос. «Очень, говорит, хочется мне сыграть Христа». Лариса Антоновна с живостью откликнулась: «А я бы сыграла Марию Магдалину!» Тут вмешался Маметкулов, пожалев, что религиозные пьесы запрещены театрам, и долго доказывал, что народ, ныне теряющий веру в бога, мог бы оживить веру эту через театр. Вообще — не стеснялись словами.

— Вдруг я услыхал тонкий и горячий голос Коли; он сидел далеко от меня: «В бога верят люди злые и неискренние».

— Это настолько неприятно ожгло меня, что я едва удержался, хотелось шикнуть на него,— так, знаете: шш! Разумеется, его неосторожные, форсистые слова вызвали большое возмущение, многие обиделись даже, а Лариса Антоновна удивленно приподнялась, спрашивая: «Как? Почему? Объясните!» — «Я, говорит, объяснить не могу, но я так вижу и чувствую...»

— Конечно, его высмеяли, и Брагин начал рассказывать смешные анекдоты о евреях. На мой взгляд, очень много способствуют травле евреев актеры анекдотами своими. А между тем еврей необходим в жизни, как соль и перец. Заметил я также, что из всех пьющих

людей актеры напиваются наиболее неприятно. Очень забавно и противно видеть, как люди фальшивого ремесла, перестав притворяться, обнаруживают истинное свое ничтожество и пустоту души. И вот, когда они достаточно выпили и естественный надзор незнакомых людей друг за другом ослаб,— я выспросил Брагина: кто такая Лариса Антоновна? К моему недоумению оказалось, что она довольно богатая женщина, помещица, муж у нее овцевод на юге, но она разошлась с ним по причине влечения к театру. Играет всего второй год, дело свое любит, к мужчинам пока равнодушна. И *приятно* и *неприятно* было мне слышать это. А Брагин говорит, усмехаясь, как бес: «Если вы беспокоитесь насчет дамских нежностей, так обращаю внимание ваше на Стрешневу водевильную; бабочка молодая, сочная и признает свободу действий».— «Нет, говорю, я не заинтересован в этом, а вот брат у меня...» — «Ничего, говорит, она и родным ей братом не побрезгует, ежели он достаточно тороват...»

По переулку, сквозь дождь, проехала карета, лучи ее фонарей тепло погладили мокрые стекла окна. Потом снова стал слышен удручающий шорох капель, унылый шум осенней ночи, и желтый паук фонаря снова начал плести стеклянную паутину. Человек пристально посмотрел в окно и продолжал тихо сыпать сухую пыль слов, помогая осени творить на земле уныние и печаль.

— Видя, что Брагин этот — негодяй, я, конечно, прекратил беседу с ним, но заметил, что он, подойдя к *толстенькой* Стрешневой, *подмигивал ей* на Колю, а она била Брагина цветком по носу. Коля же горячо разговаривал с Ларисой Антоновной, а Маметкулов кричал на него: «Не понимаю молодежь, которая занимается политикой, религией и вообще — вопросами! В Париже молодые люди просто учатся, просто любят и всё вообще — человечески просто».

— Лариса Антоновна сидела нахмурив брови, играя веером, лицо у нее было недовольное; Павлов, встряхивая козлиной головою, говорил, точно дьячок: «Мы, Русь,— еловая арфа мира, мы откликаемся на каждый вздох человечества».

— Колю подхватила под руку Стрешнева и увела

в другую комнату, но когда я с ним ехал домой и спросил его: как нравится ему эта веселая дама? — он ответил неприязненно: «Дура и нахалка. А ты, говоря о Ларисе Антоновне грубо, ошибаешься, она очень хороший человек, и душа ее в тревоге о серьезном...»

— И дома он говорил о ней удивительными словами, никогда не слышал я таких слов, и мне было печально от зависти, что я не умею говорить о женщине так возвышенно. И — скажу прямо — жутко было думать: «А что, если Лариса Антоновна слышала бы Колину хвалу?» — «Ты, говорю, всего второй раз видишь ее».

— Но, разумеется, эти слова — капля воды в костер огня. Кратко говоря — влюбился Коля. Он стал завсегдатаем театра и в то же время всё ближе сходился с нищеанцем этим, с Богомоловым, тот уже каждый день шагал по комнатам у нас, встряхивая лошадиной гривой, и каркал, каркал. Брал деньги у Коли, которому я положил на расходы сто в месяц. Конечно, я видел, что всё это не приведет Колю к добру.

Человек встал, подошел к двери, остановился пред нею и минуту слепо смотрел на гитару.

— Это — инструмент Ларисы Антоновны, но играла она на нем плохо...

Потом, махнув рукою, возвратился к столу, выпил стакан вина и расслабленно опустился в кресло.

— Решил я братски поговорить с ним: «Помнишь, говорю, как после смерти отца мы с тобою поклялись ничего не скрывать друг от друга?»

— И вдруг слышу ответ чужого человека, враждебный мне ответ: «Да, помню! Я, говорит, тогда же догадался, что ты хочешь встать на место отца и заставить меня жить по твоим законам. Я этого — не хочу. Но тогда у меня не хватило характера прямо сказать тебе об этом. А теперь я говорю: мне противна вонючая наша фабрика, стыдно, что у нас рабочие живут в грязи и чем-то отравляются. В газете про нас написали жестокую правду».

— Говорил он с полчаса, непрерывно, со всей силой юности и неведением жизни. Заявил, что, когда наши рабочие бастовали, он продал за шестьсот рублей часы золотые, отцов ему подарок по случаю окончания гим-

назии, и деньги эти отдал Богомолову, собиравшему на поддержку стачки.

— Это меня точно камнем ударило, хотя и смешно было знать, что хозяин поддерживает стачку своих же рабочих. Конечно, это — детское, но все-таки... «Коля, говорю, веришь ты в мою любовь к тебе?» А он: «Я не любви хочу, а свободы...» — «Коля, ведь я же понимаю, что ты влюбился в Ларису Антоновну и всё идет от этого...» — «Это, говорит, никого, кроме меня, не касается».

— Тут я, единственно потому, что желал вытравить из него преждевременную эту любовь, допустил некоторое искажение действительности. «Ты, говорю, опоздал, милый, потому что с Нового года Лариса Антоновна живет со мной».

— Конечно, это показалось ему очень больно, он даже отшатнулся, как будто у него зуб вырвали. Побледнел, смотрит на меня растерянно, губы дрожат, ложку серебряную согнул вокруг пальца, шепчет: «Нет. Неправда. Не может быть».

— Но я придумал убедительные подробности, и Коля поверил мне, встал и молча, боком как-то, криво, оглядываясь на меня, ушел к себе. А я испугался: то ли делаю, так ли?

— Это было уже в конце сезона, в то время у меня с Ларисой Антоновной установились отношения доброго знакомства; почтительно любуясь ее необыкновенной красотой, я никаких вольностей не смел позволить себе, а так как в дело ее антрепренера она вложила солидную часть своих денег, я следил, чтоб не обобрали ее, она же охотно пользовалась моими советами, уважала мой серьезный ум и прямодушие моего характера. Решил я спросить ее совета насчет Коли и, приехав к ней в полдень, когда она пила утренний свой кофе, сказал, что вот, мол, брат мой, юноша, любит ее, и спросил: как она думает об этом заблуждении? Она сначала пошутила: «Вы, говорит, в какой роли выступаете,— сватом брата вашего или соперником ему?»

— Но тотчас же нахмурила брови и, сердито блестя прелестными глазами, с досадой заговорила, что с нее довольно любви мальчиков, стариков, военных, штат-

ских, полицейских и революционеров. «Поймите, говорит, я хочу серьезно заниматься своим делом, и ничья, никакая любовь не соблазняет меня».

— Сидела она, поджав ноги под себя, на диванчике, в малиновом бархатном капоте,— она очень любила бархат,— на бархате серебряные, с финифтью, старинные застежки, волосы распущены, волосы у нее изумительного обилия и густоты. Смотрит на меня отталкивающими глазами и говорит: «Не мешайте мне! Скоро я уеду за границу, летом буду играть в Липецке, и тем временем брат ваш вылечится от детской болезни. В его годы — это легко проходит».

— Ну-с, я был очень успокоен. Сам я, конечно, уже и тогда любил Ларису Антоновну, но тогда это еще не было известно мне. Теперь я знаю, что полюбил ее с первого удара глаз. Сразу. Это — бывает при несчастных случаях. Они — всегда — сразу.

Он замолчал, и, пользуясь паузой, я спросил:

— Действительно — красива была она?

— Разве не видите? — строго сказал он, кивнув головой на мольберт, и поучительно добавил: — Для других, может быть, и не так красива, но каждый из нас любит самую прекрасную женщину... На первой неделе поста она уехала, поручив мне все свои дела. Уехала. В цветах, провожаемая восторгами поклонников.

— Один из них, товарищ прокурора, сказал мне, с завистью: «Счастливец вы».

— Счастье же мое заключалось в том, что однажды я, осмелясь до слепоты в глазах, поцеловал ей руку. Колю, когда он провожал ее, она, совершенно напрасно, поцеловала в лоб, сказав: «Живите счастливо, юноша».

— И вот остался я с Колей. Он сидел дни и ночи у себя наверху, за книгами, похудев, печальный. С ним — Богомолов. Как-то, за вечерним чаем, я спросил:

— «Коля, ты сердишься на то, что судьба улыбнулась мне?» — «Нет, говорит, не сержусь, но мне тяжело, потому что я чего-то не понимаю...»

— Я, кажется, говорил, что в нем была черта упрямства? За эти месяца́ он как-то незаметно вырос, стал тверже. И еще более книжным. Говорить с ним стало мне труднее. Так, в некотором отчуждении, мы прожили

до лета, а когда, в июне, Лариса Антоновна приехала в Липецк, Коля тотчас же отправился к ней. Я прожил шесть суток в тихом отчаянии, по ночам у меня волосы на висках шевелились от страха. Я знал, чего боялся. Так и вышло: на шестой день Лариса Антоновна прислала мне письмо, слова в нем торчали иглами, и даже от бумаги шел презрительный запах. Она писала: «Ваш брат сказал мне, что вы хвастались пред ним, будто я живу на содержании у вас. Отвечайте немедля: говорили вы это? Отвечайте как честный человек, каким я вас считаю».

— Как честный человек я не мог ответить. Я уже ради ее отказался от девушки, невесты, которая любила меня. Из-за нее я потерял любовь к брату и чувствовал, что вся моя жизнь подорвана, покачнулась. Я ответил по телеграфу одним словом: нет.

Человек поднял руку вверх, как это делает свидетель на суде, принимая присягу, и твердо, с глубоким убеждением сказал:

— Уверяю вас — ответить иначе я не мог. Понимаете? Не мог.

Синие белки его глаз налились влагой, он смотрел на меня тупо, как слепой, и, растирая пальцами горло, дважды, точно собака, щелкнул зубами, потом, покашливая, продолжал сипло:

— Я думал, ожидал, что Коля... сделает что-нибудь... Думал, что Лариса Антоновна тоже... например — соблазнится его юностью. Но он, через два дня, прямо с вокзала явился ко мне в контору, не раздеваясь, фуражка на затылке, точно пьяный, но прямой, как солдат, страшно близко подошел ко мне и сказал: «Петр, ты — мерзавец!»

— Тогда я закричал ему: «Послушай, ведь я тоже,— пойми ты меня! — я тоже люблю ее. Ведь вот я уже и не ждал тебя, думал — застрелишься ты, и — не боялся этого, не жалел. А — я ведь люблю и тебя, брат, поверь. Но если наваждение это неодолимо,— что же мне делать?»

— Он снял фуражку, сел и смотрит на меня, потемнев; видно мне, что испугался он, убито мигают глаза его. Я говорю: «Ты красив, ты умнее меня, тебе легко

любить, ты можешь говорить о женщине убедительно, ты ко всякой дойдешь. Ты любишь воображением ума, а я — всей плотью, всей душой...»

— Он встал и запер дверь конторы. Подошел ко мне, суровый, я думал — ударить хочет, но он только взял за плечо меня, встряхнул. «Вот как? — говорит.— Понимаю. Но — как же теперь мы будем жить?»

— Прижался я головой к руке его: «Не знаю...»

— Но была уже радость в душе у меня; чувствую, что он сильнее, лучше меня, это я всегда знал, но в тот час — особенно ясно стало. Явилась надежда, что с ним у меня всё обойдется благополучно. «Не знаю, говорю. Ты меня умнее».— «Зачем ты, спрашивает, оболгал и ее и меня?»

— Ну, я не мог объяснить это, я уж сам не понимал — зачем? Он стал ходить по конторе, говоря, что надо ему уехать на время или перевестись в другой университет, но я прошу: «Нет, этого ты не делай. При тебе мне все-таки стыдно, а без тебя я запутаюсь. Она в делах ничего не понимает, а я не могу ни в чем отказать ей».

— Он, усмехаясь, спрашивает: «Но как же теперь буду я, ошельмованный тобою?»

— Конечно, я выпросил у него прощение, и решили мы сказать Ларисе Антоновне, что я шутил, а он меня неверно понял и юношеская горячность его неосновательно возмутилась.

— «Ну, хоть так»,— согласился Коля и братски пожалел меня: «Ах ты... Не думал я, что ты такой хитрый азиат. Хотя — не очень хитрый, не очень».

И, снова подняв руку, точно для присяги, человек сказал внушительно:

— Прекрасный юноша был брат мой. Честнейший юноша, великой души! Уж это я знаю...

За окном дождь всё плел свою сеть, у фонаря остановилась черная осклизлая фигура, подняла толстую ногу и, сняв галошу, стала колотить ею по столбу. Дрожал в стеклянной паутине огненный паук.

Выпив вино, не охмелявшее его, человек продолжал ломким голосом, приподняв плечи, крепко скрестив руки на груди;

— После этого мы с Колей начали жить так, как будто только что познакомились. Часто по ночам беседовали о разных разностях жизни, и Коля всё больше удивлял меня обилием и печалью необыкновенных мыслей. Глаза у него стали ярче от худобы лица и синих пятен в глазницах, а в лице явилась такая, знаете, серьезная прозрачность.

— Чаще всего он говорил о том, что жизнь построена по форме пирамиды и хотя основание ее широко, но — гнило, непрочно, может раздаться под тяжестью, и тогда всё рухнет, развалится. Говорил он задумчиво, пощипывая усики, и усмехался. «Другой формы не могут иметь ни жизнь, ни мысль. Мысль тоже строится пирамидой: основание — огромное количество фактов беспощадной борьбы, а вершина — ничтожный, остренький вывод».

— Мысли эти я очень любил и принимал их как правильные, но мне было неприятно, что Коля без спора соглашается с нищеанцем этим, с Богомоловым. Однажды обедал с нами Мортон, химик, управляющий фабрикой, замечательного ума француз! Богомолов проповедовал свои пустяки о свободе, а Мортон высмеивал его, утверждая, что суть жизни — в разуме.

— Богомолов грубейше крикнул ему: «Таким разумом, как ваш, владеют и бобры и муравьи, это не свободный разум, а только обезьянье приспособление».

— И всегда этот попович грубил, раздражала меня его топорная грубость, широкая бородатая рожа, грязные, нечесаные волосы. У него только голос был умный, а Коля думал, что он говорит мудро.

— О Ларисе Антоновне мы с Колей не говорили, только однажды, беседуя о ней с Павловым, он сказал: «Весь ее талант — в красоте, а настоящего таланта, для сцены, нет у нее. Я думаю — ошиблась она, не той дорогой идет. Скучно и холодно жить ей, и вот она ищет, чем согреть душу. У одного профессора дочь, безногая, параличная девочка, играя, греется перед картинкой, на которой изображен костер. Вот и Лариса Антоновна греется у воображаемого огня».

— Павлов закричал, заспорил, заметался, а меня очень обрадовали умные слова Коли. Верил я ему.

Сам я не мог судить о способностях Ларисы Антоновны, и никакого дела не было мне до ее игры. Когда она выходила на сцену, я ничего не видел, кроме ее, слышал только ее ленивенький голос, следил, как двигается, точно по воздуху, ее великолепная фигура. Легко она ходила и так, знаете, царственно, оказывая милость земле и людям. Восхищала меня гордая стройность ног ее. И груди... небольшие, расставленные далеко одна от другой.

Закрыв глаза, человек скорбно покачал головой.

— О чем я говорил? Да. Обрадовало меня указание Коли, что она идет не своим путем, подумал я, что ошибочный путь этот, может быть, приведет ее ко мне. И, когда она приехала, я пошел к ней очень уверенно, но застал ее в раздражении: летний сезон был неудачен, и она потерпела убыток тысяч в тридцать. Я тотчас сообразил, как успокоить ее, сказал, что с ее деньгами я сделал выгоднейшую операцию на жирах и могу предложить ей двадцать семь тысяч с несколькими сотнями,— нарочно не круглую сумму назвал, чтобы правдивее вышло. Обрадовалась она, иногда человека и деньги радуют. «Нет, серьезно? — спрашивает.— О, вы действительно хороший друг. А как живет ваш сумасшедший брат?»

— Я сумел убедить ее, что Коля ошибся, не понял мою шутку. Нахмурясь, недоверчиво глядя в глаза мне, она спросила, взяв меня за ухо: «Шутка? Какая шутка?» — «Однажды, говорю, я сказал ему, что если б вы согласились...»

— Она втиснула ногти в хрящ уха моего, сердито понукая: «Ну?» — «Выйти за меня замуж»,— говорю.— «Врете вы,— сказала она, оттолкнув меня.— Тут что-то не так. Не то было сказано. Да, да! Предупреждаю вас, сударь, со мною шутки плохи. Больно я ущипнула вас?» — «Нет, говорю, что вы...» — «Жалею. Но — я изо всей силы».

— Подумав немного, она сказала тихо:

— «Оба вы — очень милые люди, но — какие-то старомодные, опоздавшие родиться. Странные люди. Будем друзьями, но без шуток, да? Иначе...» И погрозила пальцем.

— Удивительно одевалась она,— продолжал человек, вздохнув и пристально глядя на косые нити дождя за окном; ветер спутал, изорвал их, и теперь они сыпались стеклянными зернами в окно и на фонарь.— И в узком платье, закрытом до горла, и в широком, всё равно — она точно голая. Понимаете? Да. Нагая. Такое гордое тело. Мне даже как-то страшно было смотреть на нее... И — досадно: неужели и другие так же видят ее, как я?

— Дома Коля спросил: «Что это у тебя ухо-то?» Я сказал, что, подстригая бороду, ущипнул ножницами. Начался сезон. Город у нас, вы знаете, старинный, купеческий, особенных тонкостей публика не любит, ей нравятся русские пьески, особенно костюмные; а когда по сцене ходят люди в пиджаках и, не умея понять, кто, что или кого любит, скучноватыми словами обыденно говорят про это — в чем тут рассеяние скуки и развлечение? А Лариса Антоновна любила именно такие, новейшие пьесы играть — Гауптмана, Ибсена. Поэтому, когда товарка ее Соснина, сварливая баба, играла «Чародейку» или «Марию Стюарт», публика шла в театр охотно, а Ларису Антоновну не любили, и, хотя Павлов писал о ней очень похвально, смотреть ее ходили только дамы из-за модных костюмов да молодежь, а партер и ложи пустовали. Полных сборов она не делала, и это очень раздражало ее. «В нашем мире, где не любить — невозможно, а любить — не умеют, театр мог бы научить любви к людям, к женщине, к жизни»,— говорила она.

— Жила — широко; если не играет, то уж вечером у нее неизменно гости, ужин, вино, катанье на тройках. И все вокруг нее — как безумные. Павлов, зеленый, кашляя и задыхаясь, кричит: «Будем как солнце!»

— Бемер, водевильная, циничные песенки поет, Брагин, конечно, о евреях чушь порет, Маметкулов ржет конем и тут же кричат — бог, смерть, любовь! Мороз по коже подирает от этой сумятицы. А Лариса Антоновна сидит царицей и нехорошо, чуждо улыбается. Часто вспоминал я слова Коли: действительно, вот — зажег человек костер, смотрит, как в нем сгорают люди в пепел, а самому одиноко и холодно.

— В такие вечера моя любовь к Ларисе Антоновне сапоги-скороходы надевала, а всех этих людей хотелось мне на мыло переварить. Мы, я и Коля, наблюдаем друг за другом, как два вора, намеренные украсть одну и ту же вещь, но каждый в свою пользу. Я думаю, что Лариса Антоновна понимала нас; как-то, выпив с горя, она задорно спросила: «А что, милые братья, не боитесь вы, что я съем вас?»

— Да. Так и спросила. Я — промолчал, а Коля ответил умной шуткой: «Пусть лучше съест львица, но не исцарапает кухонная кошка».

— Иногда мы с Колей, впадая в тоску, откровенно спрашивали друг друга: «Что, брат?»

— И — смеялись. Даже — смеялись. Коля как-то сказал:

— «Она солнечный зайчик».

— Вскоре мы перестали смеяться.

— Явился в городе англичанин Вильям Проктор, пеньковое дело интересовало его; по-русски он говорил плохо, и Маметкулов познакомил его с Ларисой Антоновной, она знала и английский и французский языки. И вот, знаете, сел этот Проктор монументом около нее и сидит, ворочая серыми глазищами. Высокий, точно литой весь, лицо загорелое, лоб разрублен, и что-то непреклонное в нем. Курит ужасно, водку пьет, как теленок молоко, и не пьянеет, только глаза щурит. Вид у него в это время такой, как будто удивляют его люди, но он им не верит и удивления не хочет показать. Только однажды, когда очень талантливая актриса, Соня Званцева, спела ему детскую песню, он прищелкнул языком, точно выстрелил, и сказал ей: «Спасибо. Это больше всего, что я знаю».

— Поцеловал ей руку и спешно ушел, ни с кем не простясь. С этого случая Лариса Антоновна сразу стала как-то тише, явилась у нее эдакая нега кошачья в движениях... ну, одним словом, вы понимаете...

— А Коля мой еще более потемнел, вытянулся. «Вот, говорит, настоящий охотник на нашего зверя, этот — не промахнется».

— Учиться Коля бросил, лежит в кровати до полудня, потом ходит целый день по комнатам в туфлях,

неодетый, и назойливо свистит. А я, узнав, что англичанин — картежник, познакомил его в клубе с одним товарищем прокурора, о нем говорили, что он играет нечисто, но ловко. Я надеялся, что он выпотрошит англичанина. Он и выпотрошил. Но проигрыш частью пришлось мне заплатить. Позвала меня Лариса Антоновна и говорит: «Дайте мне пятьдесят тысяч под вексель».— «Пожалуйста».

— Дела ее я знал лучше, чем сама она, и, разумеется, понял, зачем ей деньги. Не дать — не мог. Если б она приказала: «Приготовьте постель, у меня Проктор ночует!» — так я бы, вероятно, приготовил и постель. Может быть, зарезался бы потом. А вернее, нет! Не зарезался бы и тут. Ведь живу же. А бывало и хуже Проктора. Он скоро уехал, а Лариса Антоновна осталась в сердитой печали и еще более резво начала кутить. Коля тоже пристрастился к вину. Очень тяжело вспоминать всё, очень, господи! Я предлагал ему: съезди за границу, в Петербург, в Сибирь. А он говорит: едем вместе. «Голубчик, ты же видишь,— у меня нет шансов». Он хмуро отвечает: «Погода — женского рода. Вот почему и капризна погода. А ты — хитрый, ты терпеливый, ты можешь дождаться хорошей погоды и даже— создать ее».

— Он начал говорить злобно, насмешливо и смотрел на меня нехорошо. Сидит, качает ногою и, насвистывая, так смотрит, что мне становится тесно в одной комнате с ним.

— Весь пост Лариса Антоновна прожила в городе, на Пасхе снова начались спектакли, а в среду на Фоминой, ночью, Коля застрелился в Театральном садике, вот тут, за углом. Что-то вышло у него с Ларисой Антоновной, неизвестно что, но — вышло. Накануне смерти он был у нее, они вместе ходили на кладбище на могилу Павлова. Да. Застрелился Коля в сердце. Привезли его домой, завыл я волком, и всё для меня провалилось в черный мрак, как будто вихрем бросило в колодезь, в яму и там вертит, кружит, бьет. Помню: зубы Коли насмешливо оскалены, а под его левым соском на груди— пятнышко, точно паучок. Ни крови, ничего, а только темный паучок. Потом такая, знаете, ненависть вспых-

нула к Ларисе Антоновне, что, явись она в этот час, не знаю, что сделал бы я, но — было бы ей плохо. Приехала она с Брагиным к ночи, уже темно было, и вот так же дождь шумел, я ее встретил в зале, закричал на нее, затопал, но она молча и так, знаете, властно отстранила меня рукою, спрашивает грубо: «Где?»

— Накидка, вроде театрального плаща, вся обрызгана дождем, опустилась с плеча и ползет по полу. Лицо Ларисы Антоновны белое, до синевы, глаза нестерпимо горят, и весь вид такой, как будто из страшной сказки она пришла. Встала на колени пред диваном, где лежал брат, гладит лицо его одною рукой, а другой крестится, громко говорит: «Ну, прости, мальчик, прости! Ведь я говорила тебе... боже мой! Прости...»

— Я тоже стою на коленях рядом с нею, шепчу: «Это вы сделали. Ваше дело...» — Говорю, а злобы на нее нет у меня, только страшно очень и такая, знаете, пустота во мне, ясность, всё вижу, всё замечаю, каждое изменение ее лица, каждое движение пальцев. «Молчите, говорит она, молчите!»

— И тоже погладила лицо мое ладонью, как будто и я мертвый. Страшно горячая рука была у нее и дрожала, и я весь дрожал. Встала она, подошла к окну. «Дайте, говорит, крепкого вина».

— Пригласил я ее к себе; этот подлый скелет Брагин тоже пошел с нами, очки протирает, как будто ничего не случилось. Велел я подать вина, чаю, и вот, сударь мой, с этой ночи началась жизнь, недоступная никакому воображению. Выпила она фужер портвейна, потом — чаю с коньяком, и сразу вспыхнула вся, глаза еще более дико разгорелись,— глаза у нее, как это видно и на портретах,— были насмешливые, всем чужие. Заговорила она угнетающе и грубо, никак я не мог подумать, что женщина образованная и красивая решится говорить так обнаженно и сокрушительно. «Вот, говорит, убил себя милый, умный мальчик, потому что я не уступила его желанию. Но — что же мне делать? Неужели я должна покорно отдаваться в руки всех, кто меня хочет? Брагину, который третий год ожидает своего часа, вам — вы ведь, конечно, тоже надеетесь видеть меня на своей постели? Но послушайте,

неужели за то, что бог наградил меня красотой, я должна платить каждому, кто ее хочет, если даже он противен мне?»

— Я, знаете, даже покачнулся от стыда и страха, услышав ее слова. Страшно было то, что понял я — была правда в ее словах, обнаружили они предо мною жизнь ее с другой, очень трудной стороны. А Брагин, тоже выпивши, скорчив свою костлявую рожу, говорит: «Ларисочка, я не люблю драм, не верю в драмы. Всё очень просто. Богатый студент застрелился? Ничего. Со святыми упокой, а для вас — рекламочка».

— Я схватил его за шиворот, хотел ударить, но Лариса Антоновна отвела мою руку, точно я бессильный ребенок. «Оставьте его, говорит, он негодяй. Очень талантлив, но — негодяй. Может быть, потому и талантлив. Хорошие люди редко бывают талантливы».

— Брагин, подлец, согласился с нею: «Это — верно. Я притворяюсь хорошим только на сцене, и это мне всегда самому смешно, оттого и публика смеется. Публике приятно видеть, что хорошее — смешно и жалко...»

— А Лариса Антоновна говорит свои отчаянные слова:

— «У меня есть цель, я хочу изгнать со сцены пошлость, вымести старый мусор, показать душу современной женщины, которая во многом переросла сама себя и не знает — что ей делать с собою? Ей мало любви, мало материнства, у нее есть еще что-то. Что? Я не знаю, но — что-то есть».

— Тысячу раз слышал я потом эти речи, тысячу раз! «Мне трудно, говорит. Мне очень трудно! На сцене я всё еще чужой человек. На пути моем становятся люди, мешают жить, работать, хватают за ноги, и вот — ложатся трупами... Ваш Коля — умный, милый, но не надо, не надо же мне никого».

— Говорит она и всё пьет вино, как пожар заливая. Пил Брагин, я тоже. Я допился до слез, жалко было мне Ларису Антоновну, себя, Колю. Ее — особенно. Встал на колени пред нею и говорю, что могу всю жизнь служить ей, всю жизнь, как собака. А она, погладив волосы мои, согласилась:

— «Да, говорит, Петруша, у вас верная, честная, собачья душа, я знаю».

— О, боже мой, боже мой...

Что-то зашуршало в углу около печи. Человек вздохнул, покачнулся и, подняв оплывшую свечу, осветил угол.

— Там — крыса. Она в этот час всегда начинает... скребется.

Потом он долго неподвижным взглядом смотрел в окно, там дождь неустанно чертил сеть косых линий, оплетая ими огонь фонаря. Черные полушария плыли в тусклом пузыре света — шли под зонтами люди из театра.

Кто-то под самым окном крикнул: «Нет. Не могу».

— В ту ночь я полюбил Ларису Антоновну настоящей, безответной любовью. Летом она сняла дачу на Оке, под Рязанью, я часто ездил туда к ней и видел: живет она, как всегда, шумно, суетно, охотятся на нее разные новые люди. Спрашиваю: «Мешают они вам?» — «Да, говорит, мне все мешают, а помогает жить только один человек — вы, Петруша».

— Конечно,— мне праздник такие ее слова, а она была щедра на них и этим еще крепче привязывала меня к себе. Она и вообще была щедра. Непонятно это: она — не добрая была, а на ласку словом не скупилась, деньги тоже швыряла, как шелуху, и очень нужно было следить, чтобы не ограбили ее разные ловкачи, промышляющие корм жалобами на несчастия свои. Деньги она давала людям с такою улыбкой, что, будь я нищим, и то бы десяти копеек не попросил у нее. Презирала она людей, неудачливых же — особенно брезгливо. Бывало, слушает чьи-нибудь сетования на жизнь и вдруг улыбнется глазами, прищурится и скажет: «Ах, как мы несчастны!»

— Слова эти, как сугроб снега, падали на меня, и, боясь ее презрения, я молчал пред нею о несчастии моем, почерпая все радости жизни в заботах и тревогах о ней. Встречала она меня всегда приветливо, как родного, и, представляя знакомым, говорила внушительно: «Прошу любить, это бескорыстный друг мой».

— Люди же, разумеется, считали, что она живет со мною. Да. «Прошу любить». Меня и полюбила комиче-

ская актриса Соня Званцева, дама миловидная, талантливая, добрая и неистощимой веселости; она жила вместе с Ларисой Антоновной. Сидел я с нею в саду, над Окой, любуясь закатом солнца, жаркий такой вечер был, пахучий, липа цвела. Закурив папироску, Соня спрашивает: «Что, Петруша, бедный рыцарь, трудно вам?» — «Нет, говорю, ничего». Боялся правду сказать, зная, что, если заговорю,— буду жаловаться на Ларису Антоновну. «Полноте, милый, говорит, разве я не вижу? Третий год наблюдаю. И — позвольте сказать прямо:

Понапрасну, мальчик, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь,
Ничего ты не получишь,
Понапрасну пропадешь!

А вот я, говорит, люблю вас, хоть и непристойно женщине первой говорить это. Люблю. Очень. Потому что — вижу, как вы умеете любить, и жаль мне вас хорошей, бабьей, материнской жалостью».

— Смутился я, встал, и — хоть в реку прыгнуть! А река, знаете, течет, течет, мутная, как моя жизнь. На глазах Сони — слезы, а говорит она, смеясь. «Так я вас люблю, что даже больно. Как девчонка. Вот как...»

— Я, очень глупо, сказал: «Благодарю вас, только...»

— «Цыц! — говорит она тихонько и руку протянула, точно отталкивая меня.— Уходите. Но в случае чего помните, что есть на земле человек, который любит вас попросту, всей душой, без фигур. А у Ларисы душу умишко съел...»

— Всё бы это было хорошо, хотя и печально, не скажи она последних слов о душе Ларисы Антоновны. Обидно стало мне. Я душу ее, может быть, и не понимал, но любил и чувствовал. А тут человек из соперничества, из ревности уничтожает дорогую эту душу. Поклонился я ей суховато, и осталась Званцева на скамье, покуривая, а я ушел в лес. И такая схватила там за сердце меня лютая тоска, что, поверите ли, впервые за всю мою жизнь заплакал я. Трясусь весь и плачу, понимая, что, может быть, единственно возможное для меня счастие сам оттолкнул. И за Ларису Антоновну обидно.

В таком был состоянии, что, не заметив, на муравьиную кучу сел, и закусали меня муравьи. Кусают, а я не понимаю, что это такое, сижу. Потом должен был идти купаться и вытряхивать платье, белье. Всю ночь прогулял на берегу, а в душе, знаете, эдакое черное пожарище и разрушение всех сил. Утром, после завтрака, Лариса Антоновна позвала меня к себе, говорит резко: «Софья из-за вас сыграла мне драматическую сцену и очень плохо, это не ее амплуа. Что вы отказались от ее предложения — это довольно глупо, но — ваше дело. Если же вы, сударь, жаловались ей на меня, так это трижды глупо, но — уже мое дело. Жаловались?» — «И не думал», говорю.

— Посмотрела она на меня, улыбнулась этой улыбкой, пронзающей душу.

— «Кажется, говорит, правда. Вот что, сударь, вы от меня не ждите ничего, у вас со мной никогда не будет никаких романов, так и запишите на память себе. Наконец, я вообще довольна тем, что вы отказались от Софьи. И за себя и за нее. Ей с вами скоро стало бы скучно, а мне без вас — неудобно. Видите, каков я зверь?»

— В тот день была она в белом кружевном платье, и сквозь кружево сияет тело ее,— смотреть больно. Всё на ней белое, чулки, туфельки, каштановые волосы коронуют голову ее, и сердито-насмешливо улыбаются глаза. Лежит на кушетке, туфля с ноги упала, пятка круглая, точно яблоко. В комнате — солнце, цветы,— невыразимо великолепна была она в цветах и солнце. Страшная сила красота женщины, сударь мой!.. Вспомнил я Колины слова: «Солнечный зайчик...»

— Помолчав, она говорит задумчиво:

— «Вы, Петруша, не знаете, как талантлива Софья. Ей развернуться негде, для нее нет пьес. Если б мне половину ее таланта! А она вот хочет быть женою мыловара. Послушайте, бросьте вы это ваше мыло, зачем вам оно?»

— «Хорошо», говорю.

— Фабрика действительно не нужна была мне, я уже знал, что останусь на всю жизнь одинок. Возвратясь домой, я предложил управляющему, Мортону, найти покупателя, но он изумился, рассердился и ска-

зал, что не продаст никому, а сам купит. Так и сделал, я ему продал всё очень выгодно для него, он был достойный человек. А я поехал в Рязань, где играла Лариса Антоновна, поселился там в гостинице. И вот началась моя новая жизнь, двенадцать лет жил я этой трепаной жизнью, двенадцать лет-с! Трудно было привыкнуть к бродяжеству, безделью, к цыганству, к разным грязненьким гостиницам, меблированным комнатам, к жизни среди людей всегда новых, всегда чужих. Был я как бы зерно, которое судьба, на мельнице своей, мелет с песком. Неисчислимо на Руси количество людей, которые живут неизвестно зачем,— кажется, я уже говорил, что всего больше таких людей около театра, около обмана. Потому что театр — насквозь обман. А Лариса Антоновна играла правдиво, обнаженно, без прикрас, и даже когда она говорила самые густо театральные слова, публика не верила ей, другие же актрисы, нарядной фальшью этих слов, вызывали у публики искренний восторг и слезы сочувствия. Я и сам скажу: Лариса Антоновна неинтересно играла, хотя я не люблю и не понимаю никакой игры, кроме музыки. Трудно было понять: хорошего или плохого человека изображает Лариса Антоновна? Публика же требует ясности, думать она не любит, предпочитая говорить. Это и законно: каждый человек стремится к упрощению жизни, каждому из нас курица гораздо понятнее, чем ласточка. А простота Ларисы Антоновны была загадочна, и потому хотя красотой ее очень восхищались, но успеха она не имела. Конечно, она видела это, и это мучило ее; вижу я — начинает она всё больше презирать людей. Бывало, выпьет и, пристукивая кулачком по столу, сверкая глазами, убеждает сама себя: «Врете, скоты, я заставлю понять меня, заставлю! Театр — не забава...»

— Безмерно жалел я ее; она сердится, а я мысленно уговариваю: «Бросьте всё это, не мечите перед свиньями бисера души вашей».

— И молюсь: господи, столкни ее с этого пути! А она — свое: «Заставлю любить меня».

— В обыденном, грязненьком смысле слова ее, разумеется, любили каждый сезон, в каждом городе. Смешно

и горько было мне видеть натужное волнение гимназистов, студентов, взрослых опытных охотников за любовью, противно наблюдать, как старые, брыластые псы, с одышкою и вставными челюстями, вертелись и выли, истекая слюною вожделения. И — кутежи. Кутить она привыкала всё чаще, пила всё больше, но вино на нее почти не действовало, крепка была. Только зарумянится да зрачки станут шире, а глаза прищурит еще насмешливее и режет взглядом, как ножом. Язык у нее тоже беспощаден был, а иногда она говорила так грубо, точно пощечины сыпала. Очень назойливо и нахально ухаживал за нею прокурор в Херсоне, слащавый такой, лощеный, с лисьей мордой и холодными руками покойника; любил он говорить по-французски и всегда читал одни и те же стишки:

Я и нож и — вместе — рана,
Оскорбленная щека
И разящая рука.
Кроткой жертве, мне — тирана
Сердце злобное дано...

— Как-то, за ужином, он поцеловал ей руку, а Лариса Антоновна, брезгливо вытирая поцелуй его платком, громко и убийственно спросила: «У вас — насморк?»

— Он позеленел и так замигал глазами, точно его ослепило.

— Говорила она и хуже этого, резкие и даже неприличные слова не стесняли ее, всегда приобретая в устах ее особенную остроту. К поклонникам она относилась задорно, капризно и очень любила стравливать их одного с другим. В Минске за нею ухаживали вице-губернатор и фабрикант, так она их так стравила, что разыгрался скандал на весь город и даже в столичных газетах писали о нем. Там она увлеклась виолончелистом из оркестра, мальчишкой-евреем, но вскоре велела мне дать ему стипендию и отправила в Вену учиться. Да, забыл я: комик этот, Брагин, удавился на крюке от лампы, прислав Ларисе Антоновне и мне гнусные письма. Жил негодяем и умереть прилично не решился... Христа играть хотел, хе-хе! Это вот тоже, знаете, весьма

часто замечал я: чем подлее человек, тем упрямее стремится играть благородную роль. Некоторым это даже удается... Хотите еще вина?

Он встал и согнулся в углу, у печи, говоря:

— Вино у меня хорошее, любимое ее вино, Сент-Эстеп. В свое время я его выписывал прямо из Франции.

Осторожно открыв две бутылки, он поставил одну предо мною, из другой налил себе полный стакан и, закрыв глаза, двигая кадыком, медленно высосал его. Вытер платком рот и продолжал, плавно, мягко, тихими словами, как будто акафист читая:

— Увлекалась она часто, но, знаете, как-то вдруг и наскоро, словно обязательную повинность природе отбывая. В Тамбове из-за нее тюремный инспектор подрался с офицером, была дуэль, инспектора ранили, а она отказалась принимать обоих и, не доиграв сезона, уехала с помещиком одним в имение к нему. Он раскопками курганов занимался, чудак такой, неуклюжий, беспомощный и весь в улыбках. Ее вообще интересовали чудаки. У помещика она прожила двадцать шесть дней, я всегда точно считал дни ее романов, не знаю для чего, может быть, думал, что когда-нибудь придется мне напомнить ей всё это. Ведь человек я — и в эти дни утешал себя надеждой, что отомщу ей.

— Бывало, вижу: смотрит Лариса Антоновна на кого-нибудь особенным, обнимающим взглядом, и уже знаю: начинается. Никогда не ошибался. И перестаю ходить к ней. По ночам скрипел зубами и думал: не отравить ли мне ее? Смеялись надо мною во всех городах. А как только освободится она, снова торчу около нее, во всем покорный. Конечно — хмурюсь, а она мне пальчиком грозит: «Петруша — не дурите».

— Однажды, не стерпев, выпивши, спросил ее: «Неужели не стыдно вам превращать человека в собаку?»

— Она посмотрела на меня пристально и, вздохнув, отвечает: «Едва ли вы человек».

— Очень удивил меня этот вздох и как бы даже успокоил, стал я терпеливее. Увлеклась она писателем одним, пьесы писал, человек заносчивый и грубый. Он

во время ужина, должно быть, ущипнул ее под столом, вскочила она и говорит:

— «Петруша, этому господину пора домой, к жене, проводите его!»

— Н-ну, я его провожал, знаете, не очень вежливо. Хвастунишка был он. Писателей я видел несколько человек, и во всех — как в актерах — было что-то бабье, фальшивое, наигранное. Все они какие-то канатоходцы, шагают осторожно, балансируя желанием всякому угодить, понравиться.

— Так, цыганской этой жизнью, в шуме скандальном, в пустяках и выдумках, прожил я около Ларисы Антоновны пять лет, а на шестой год, в Томске, началась для меня иная жизнь, хуже или лучше — не могу сказать. Народ в Сибири грубый, звероватый, но Лариса Антоновна хорошо играла там Нору и очень понравилась молодежи. Обложили ее сибиряки, сидят вокруг медведями, чавкают и ее жуют глазами. Меха дарят, катают на лошадях и вообще такой дым развели, что даже я, человек сдержанный, как-то замотался и ослеп. Лариса Антоновна в превосходном настроении, сияет, даже еще более красивой стала.

— Вдруг я узнаю, что двое богачей пари держат: который из них одолеет ее до Нового года? Пригласил я их обедать в ресторан, в отдельный кабинет, а со мной был револьвер браунинг,— Сибирь, знаете, и почти каждую ночь я возвращался домой поздно,— так вот, говорю я охотникам этим: «Вы это пари ваше — бросьте и вообще Ларису Антоновну не смейте беспокоить. У меня нет причин жалеть себя, и, если замечу я, что не убедил вас,— башки размозжу». Они сначала хотели навалиться на меня, но я отпугнул их, показав револьвер, тогда они поняли, что я серьезно настроен. «Ну, говорят, ладно». Попытались напоить меня — не вышло, только сами напились. Один был худощавый, бородатый, на икону святого юродивого похож, а глаза — разбойника, другой — толстый, красный и отчаянный пакостник в речах. Спьяну бородатый всё перстень с рубином совал мне, уговаривал взять в подарок. Вероятно, всё это обошлось бы хорошо, но, на свое несчастие, Лариса Антоновна узнала о пари. Видал я

ее в гневе, но в таком — никогда! Стояла она спиною ко мне, глядя в окно на вьюгу, и медленно так, тяжело обернулась ко мне,— совершенно незнакомое лицо, ослепительно злое. Приказывает: «Позовите этих скотов ужинать ко мне».

— И вот — ужин; сидим за столом, четверо, Лариса Антоновна отлично одета, любезна, шутит и вдруг, среди шуток, говорит: «Между прочим, я пригласила вас сегодня затем, чтоб сказать вам: вы оба мерзавцы». Они — хохочут, думая, видимо, что это всё еще шутка, а Лариса Антоновна и начала отчитывать их, да так, что они раскалились докрасна и хоть избить ее готовы. Ну, тут я их выгнал. Стоит она среди комнаты, крепко трет лицо руками, смотрит на меня как на незнакомого: «Идите и вы, говорит. Уходите».

— Боязно было оставить ее одну, но ослушаться я не посмел, ушел. А через неделю, что ли, когда она снова играла, в театре, на верхах, начали свистеть. Там — свищут, снизу шикают на них, шум, брань, дамы визжат. Кое-как доиграла она акт, бегу к ней в уборную, она спокойно сидит перед зеркалом, пудрится, спрашивает: «Это, конечно, они устроили?» — «Не знаю, но — наверное», говорю. Тут к ней ворвалась публика, сожаления, извинения, руки целуют, она милостиво улыбается, а глаза ее горят растерянно и дико. На следующем спектакле снова свист, шум, в антракте кто-то подрался, вмешалась полиция, а на другой день приезжал к ней полицеймейстер, пьяница и грубиян, не знаю, что он сказал ей, но в тот же вечер она объявила мне, что едет в Пермь, там держал театр ее же антрепренер. И вот, когда сидел я в купе у нее, говорит она: «Что, Петруша, жалко вам меня? Это очень плохо, если дошло до того, что вы меня жалеть начали». И с эдаким страхом, тихо спрашивает: «Неужели нет у меня таланта, неудачница я, не могу победить людей? Скажите правду».

— Правду я знал, но — сказать не решился, она бы меня за эту правду... Утешаю как могу, а она всё говорит, спрашивает: «В чем мое несчастие?»

— Колеса гремят, за окном всё двигается, качается, смотрит она в окно, шепчет: «Падаю, падаю...»

— Никогда она не говорила так жалобно. Конечно, у нее были причины жаловаться: играла она уже более десяти лет, а имя ее было негромко, в столицы ее не приглашали, мотались мы с нею по захолустьям, да и деньги свои она уже прожила. Только красота и свежесть оставались с нею, как будто навек приросли...

Рассказчик замолчал, точно задохнулся, разжал руки, странно размахнул ими и вцепился пальцами в ручки кресла, наклоняясь вперед, глядя в мутное, сырое пятно света за окном, в пузырь опаловый, пронизанный стальными нитями дождя. Минуты две он слушал, расширив глаза, тихий плеск и шорох, настойчивое журчание воды, стекающей по жёлобу. Серое, сухое лицо его обострилось еще более, когда он заговорил снова:

— Приехали мы в Пермь. Над городом, во тьме, снежная буря, вой, свист, стон, эдакое адово веселье, и двигаешься как будто не по земле, а — сорвало тебя с земли и несет куда-то в белых тучах. Дня три гудела эта тоска, и вот, как-то вечером, приглашает меня Лариса Антоновна чай пить к ней; пришел я; сидит она сиротливо у стола, в капоте бордового цвета с золотом, волосы распущены, и точно девушка, знаете. А ей было уже почти сорок. Сидит ласковая, тихая. Похудела она за эти дни. «Милый вы мой друг, говорит, бедный вы мой друг, плохо было бы мне без вас, нянька моя. И вот за то, что вы так бескорыстно любите меня,— я вам испортила всю жизнь, да? Испортила?»

— Я — не вытерпел, никогда еще она не говорила со мною так, упал на колени, целую ноги ее, бормочу: «Испортили, да...»

— Гладит она голову мне, шепчет: «Непоправимо?»

— Горячо капают на шею мне слезы ее. И тут, знаете, впервые овладел я ею, в углубление несчастия моего. Опомнился,— вижу: сидит она полуобнаженная на постели, укладывая груди в лиф, лицо у нее спокойное, слышу задумчивый голос: «Ну, вот мы и поженились. Хорошо со мною? Теперь давайте чай пить. И — шампанского спросим...»

— Просто, знаете, смертным холодом обожгло меня, бросился на пол, к ее ногам, рычу, реву:

— «Не любите вы меня, не нравлюсь я вам...»

— А она вскочила, бегает по комнате, бьет себя кулаком в грудь и шепчет, задыхаясь:

— «Милый, голубчик, но — если нет... если нет у меня — не могу. Поймите — нет!»

— Господи боже, да это — я понял, это и опрокинуло меня. Сижу на полу, качаюсь, а она, в слезах, мечется по комнате, вокруг меня, сверкает обнаженное тело ее, холодное для меня...

— Кричит: «Распылила я сердце свое на потеху идиотов!»

— Я умоляю ее: «Бросьте сцену, едемте за границу, денег у меня много, пожалейте себя ради Христа!» — «Нет, не могу, говорит, не могу! Не верю, что нет таланта у меня. Но вы должны уйти, довольно вам горя, довольно мук. Уйдите, еще не поздно. Из жалости — не любят, это оскорбительно, когда из жалости. Вы — добрый, чудесный друг, но со мною вы погибнете, изломаю я вас...»

— Долго и — очень благородно, очень сердечно говорила она, но, разумеется, всё глупо, невозможно. Посадил ее на диван, сам сел на пол к ногам ее, говорю: «Никуда не уйду я от вас, не могу. Живите, как хотите, а я буду около вас».

— Она снова начала было целовать меня, но я сказал: «Не надо, не насилуйте себя». Как она плакала, боже мой...

Он и сам заплакал; по желтым щекам в бороду скупо катились мелкие слезы, он тряс головою, не отирая мокрые щеки, и говорил надсадно:

— После того шел я за нею неотступно еще семь лет. Как будто сам дьявол невидимо встал между нами, держит нас за руки, но не пускает ее ко мне, издеваясь надо мною. Невозможно, постыдно рассказать, что вытерпел я! И она тоже, и она не меньше. В театре у нее становилось всё более неблагополучно. С товарищами по сцене Лариса Антоновна никогда не дружила, и они постоянно затевали против ее различные интриги, а теперь всё это усилилось, завихрилось круче, должно быть, потому, что она стала мягче с ними, теряя свою величавость и пренебрежение к ним. В жизни действует такой закон: чем дальше от вас люди, тем они лучше,

а чем ближе — тем хуже. Брагин говорил: «Не сажай женщину на колени себе — на шею сядет». То же можно сказать вообще, о всех людях. Актеришки, конечно, *влюблялись в Ларису Антоновну, актрисы ревновали и* ненавидели ее. Известно, что нет ничего легче лжи и клеветы. Раньше Лариса Антоновна умела не допускать людей близко к себе, жила, никому не завидуя, ничем не хвастаясь,— ни умом своим, ни тонким образованием, а тут я стал замечать, что она, теряя уверенность в себе, начинает понемногу и хвастаться и прихвастывать,— рассказывает, например, об успехе своем в таком-то городе, а я знаю — успеха у нее там не было. Конечно, и актеры знают это, и хотя сами они все — хвастуны, но над нею посмеиваются. Показывает она им мои подарки и говорит, что это ей публика поднесла. Выдумала, что ее будто бы очень приглашал в Москву, в свой театр, сам Станиславский, а этого никогда не было. Не было-с...

— И ум свой начала она парадно выставлять пред людьми и образованием кичиться. А тут еще толкнул ее доктор один, странный человек, но тоже, видимо, не своей тропою шел. Маленький такой, аккуратно выточенный, чистенький весь, даже как-то непохож на русского. Носил какой-то пиджачок странного покроя и, несмотря на свои седые виски, был похож на юношу; Коля, в его лета, вероятно, таким был бы. Острижен доктор ежиком, смотрит через очки, темные тихие глаза виновато улыбаются. Однажды Ларисе Антоновне нездоровилось, он пришел и бросил якорь около нее, каждый день сидит. Не мог я понять: злой он или добрый, но — источен печалью и потому так остро́ горьки его речи? Всегда речи его были неприятны, но говорил он их как будто поневоле, не от себя, и они не обижали. Рассказывает ему Лариса Антоновна о нездоровье своем, а он: «Это приближается к вам печальное безобразие, которое мы смущенно именуем красотою старости... Все мы, говорит, герои, ибо умеем забывать о том, что осуждены на смерть. И жизнь наша — унылая трагедия, полная милой веселости».

— *А о любви он выразился очень обидно для Ларисы* Антоновны, сказав: «Любовь к женщине подобна не-

чальному деянию бога, который тоже безуспешно пытался создать прекрасный мир из пустоты, из ничего».

— Казалось бы, Ларисе Антоновне надо обидеться,— какая же она пустота, какое ничего? Но она ничуть не обиделась, к великому удивлению моему. Разговаривали они целыми вечерами, и вскоре я вижу, что сошлась Лариса Антоновна с доктором. Разумеется, это было больно мне, я ведь все-таки не терял надежду заслужить ее любовь упрямством моим, но доктор не стал неприятен мне, я даже еще больше подружился с ним. Уж очень прямодушен был он; однажды говорит мне: «Я знаю, что пью ваше вино и целую вашу женщину».— «Нет, отвечаю, женщина принадлежит не мне, а несчастию своему».

— Он пристально посмотрел на меня и говорит стихами,— он любил стихами говорить: «Вы знаете:

Судьба сильнее угнетает нас,
Почувствовав, что мы ей поддаемся»?

А я говорю: «Вижу, что Ларисе Антоновне хорошо с вами, ну и слава богу». — «Своеобразный вы человек»,— сказал он.— «И вы тоже»,— отвечаю.

— Поглядели мы с ним друг на друга, улыбнулись. Выпили. Пил он очень много. Ларисе Антоновне действительно хорошо было с ним, стала она меньше кутить, больше сидела дома, стала спокойнее душою.

— Вот ее беседы с доктором были поистине значительны и серьезны, хотя оба они углублялись в те же обыкновенные мысли: о боге, о смерти и любви. И — так, знаете, углублялись, что мне даже страшно бывало,— как будто уже и не люди говорят, а... не знаю, чему уподобить. Как будто — нет людей, но просто два голоса, начисто оторванные от всего живого, состязуются в пустоте ночной тишины. Согласия между ними не было, но говорили они миролюбиво и внимательно прислушивались друг ко другу. Доктор утверждал, что жизнь человека подобна полету пули, направленной в неизвестную цель,— траектория, говорил он,— и что никакого высокого смысла в жизни не заключается. Эти отверженные слова несколько напоминали мне Колю. А Лариса Антоновна с великой настойчивостью дока-

зывала, что в жизни скрыт высочайший смысл, но чувствовать его может только женщина, возбудитель всяческих желаний, страстей, в том числе и порочных. Некоторые мысли ее я принимал как совершенную правду из любви моей к неукротимой гордости души Ларисы Антоновны. Помню, например, она говорила: «Женщине доступно нечто, навсегда недоступное мужчинам: женщина чувствует зарождение новой жизни во плоти ее, она является постоянным источником обновления сил мира. Она видит также, что ею зажигаются лучшие мысли, ее ради совершают подвиги, от нее вся красота и поэзия, и если б не было женщины, вы думали бы только о пище, живя, как звери. На земле нет ничего тверже и понятнее женщины, и вам не на что опереться, кроме ее».

— Однажды она сказала: «Матери умирают всегда спокойнее отцов, потому что матерям доступно сознание непрерывности жизни».

— Доктор усмехнулся, говорит: «Животные умирают еще спокойнее женщин».

— На этом они поссорились. Иногда — как будто вихрем — взрывалось что-то в душе Ларисы Антоновны, и мы с доктором отлетали от нее, как две пылинки. И всегда это выходило как-то вдруг, без причины, из-за слов. Помню, сидели мы втроем, Лариса Антоновна молчала, а я рассказывал о моей поездке в Москву, вдруг доктор тихонько говорит: «Преступники и женщины слышат, когда о них думаешь...»

— Как она рассердилась! Точно ожгли ее эти слова. И — кутеж дня на три, а потом лежит в постели, сердце болит у нее.

— Доктор чахоткой страдал и скоро уехал в Швейцарию. Ну, тут уже началось совершенное безумие,— Лариса Антоновна как с горы побежала, молодость свою догоняя. Это, заметил я, со многими женщинами бывает: стукнет их по сердцу сорок ударов годовых, настанет бабий век, и закружится, бедняга, забыв о стыде, как будто в один год хочет съесть всё, что в жизни не доела. Так и Лариса Антоновна; завертелись около нее какие-то мальчишки, актерики, которых она раньше презирала, косоглазые студенты, воспалены все, по-

теют, визжат друг на друга. С месяц у нее даже двое любовников было: куплетист и студент-стихотворец, себя называл гениальным поэтом, а Пушкина недорослем. Куплетист, конечно, хвастаться начал своей победой, ну, я ему дал по бритой морде, прибавил к пощечине пять тысяч и сказал: «Уезжай, болван, в Калугу!» Нарочно городишко выбрал похуже, поскучнее. Уехал он...

— Это были самые тяжелые годы жизни моей. Бывало, уйду от нее и всю ночь, до рассвета, хожу по улицам, сторожем сокровища моего, а оно украдено у меня, оно в чужих руках. Шагаешь в тишине, несешь сердце свое, полное горькой обиды и тоски, думаешь: какой смысл жить без счастья, без ответной любви? Смотришь в окна домов; вот в каждом доме кто-нибудь любит, а ты — голоден и жалок в одиночестве твоем. Сколько таких ночей прожито мною! Тяжело в лунные ночи одинокому человеку таскать по земле тень свою.

— А Лариса Антоновна уже, знаете, начала фарсы играть, ходит по сцене в полуголом виде, ножки, груди показывает. Я — с ума схожу, умоляю ее: «Едемте за границу!»

— Нет, не едет. Написал доктору в Швейцарию: не можете ли помочь, повлиять? Он ответил мне невразумительно и даже как будто насмешливо, не понял я его письма, только приписка в конце памятна мне осталась никчемностью своей; приписка такая: «Лев Толстой говорит: „Понятие вечности есть болезнь ума“. А я говорю: любовь — болезнь воображения. Наиболее нормально относятся к любви кролики и морские свинки».

— Глупо как-то вышло это у него.

— Вот тоже заметил я у образованных людей неприятную привычку: много у них накоплено разных мыслей, и потому ли, что они любят хвастаться ими, точно купцы деньгами, или потому, что тяжело им носить эти мысли в себе, но — распускают они их не глядя куда, как — извините —мужики вошь свою. А между тем с мыслями надо бы осторожно обращаться, никто ведь не знает, какие — верные, какие — нет. Иногда мысль человеку, как собаке игла, закатанная в хлеб: прогло-

тит собака этот катышок и — мается, нередко издыхает. Даже вот я, человек недоверчивый, иногда чувствую, что окормлен чужими мыслями и не свои слова говорю. Человек — не мыслями живет, а бессмысленным желанием. Ум, учитель надоедливый, диктует ему: «Возле идет человек». А ученик пишет: «Во зле идет человек...»

— Это я однажды в училище такую диктовку написал, так учитель сказал мне: «Дурак, я тебя грамоте учу, а ты философствуешь!»

— Да. Безобразно закружилась Лариса Антоновна, смотрел я и думал: где благородство, где гордость ее? До слез, до отчаяния жалко было видеть, как она показывает со сцены тело свое, точно нищая язвы, милостину выпрашивая. Дошло даже до того, что и на меня она стала обращать внимание,— это всего больнее и горше было мне.

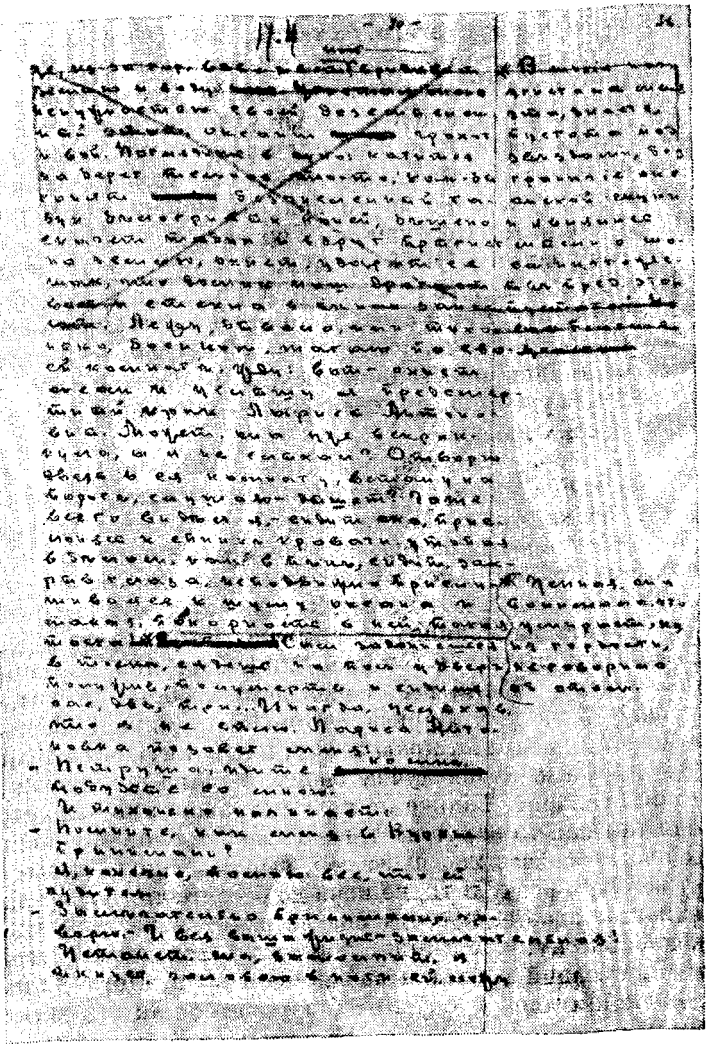
— Обнимет и шепчет: «Съела я вас, Петруша? Ну, простите, ну, поцелуйте меня!»

— Я — целовал. Скреня сердце, чуть не плача, а — целую и даже усердствую дать ей как можно больше удовольствия, только бы отвести ее от грязного вихря; видел я, что она мучается, жалко ей отдавать душу свою во власть несытой плоти. Лицом постарела она немножко, и в фотографиях уже не так охотно снималась, как прежде, но тело у нее было девичье и ненасытно. А мне уже за сорок, и перержавела, перегорела мужская сила моя. Вспомнить страшно и стыдно любовные припадки Ларисы Антоновны. Господи, господи,— что обязан переживать человек!

— Бывало, уснет она, а я сижу над нею, смотрю и шепчу безумно: «Это — ты? Ты?»

— А за окнами или вьюга воет, или мороз трещит, сияет лунная ночь,— с трудом выношу я эти, всё обнажающие, лунные ночи и летом и зимою. Сон они гонят и всегда ведут с собою светлые, холодные мысли, будь прокляты.

— Не понимаю, как я вычерпал и выпил горе мое, не сойдя с ума. Не знаю, как Лариса Антоновна могла мириться с душой своей, покорно отдавая себя на терзания запоздалого чувства. Валялся в ногах ее, умолял:



«РАССКАЗ О БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ».
Страница автографа.

уедемте! Нет. Как пьяного из кабака, невозможно было вывести ее из омута этого, из театра. А над нею насмехались — открыто, безжалостно, и она видела это, разумеется. И от этого всё больше пила, а к людям у нее явился эдакий страшок и лисья ухватка, становилась она с ними льстива, как-то принижаться начала, а об успехах своих рассказывала только мне одному. Целые вечера слышу я одно и то же: «А помните, во Пскове... А помните, Петруша, в Херсоне...»

— Слушаю я и, чтоб приятно было ей, сам прилыгаю, выдумываю чего не было. Она понимала мою ложь, замолчит вдруг, присмотрится ко мне и кинется на шею: «Милый, как вы меня любите!» — «Да, говорю, я люблю. Вы только не беспокойтесь...» А она: «Изо всех насмешек судьбы над человеком — нет убийственнее безответной любви».

— Это она, конечно, о докторе. Но — не верил я, что любит она доктора, так уж это было у нее — последняя копейка души. Мечта. Выдумка.

— В сорок четыре года начались у нее опасные сердечные припадки, и доктора сказали мне, что она может умереть неожиданно, на ходу. Тогда, наконец, уговорил я ее уехать за границу,— к морю, потребовала она. Поселились мы около городка Сан-Себастьяно, на морском берегу, сняли небольшой домик, обставил я его красиво,— на вот, Лариса Антоновна, умирай! Очень хорошо было там, на краю земли, и люди чужого языка тоже всегда кажутся лучше своих, ведь не понимаешь, что́ они говорят. Только по ночам страшно мне жилось, ночи там как-то вдруг настигают, едва солнце окунется в океан — сейчас же, из-за гор, выплывет ночь, придавит землю и воду. В тихие ночи до бессмыслия угнетала меня эта, знаете, пустота под звездами и безграничие океанской скуки. Угнетал, конечно, бессмысленностью своей, океаний грохот и вой прибоя волн. Поглядишь в окно: катится на берег темное что-то, как бы гонят табун белогривых коней, бешено скачет табун и вдруг— прыгнет на землю, ударит ее, охнет земля, и домишко наш дрогнет весь, стекла в окнах заноют. Но — все-таки лучше, когда есть движение и шум, а в тихие ночи — нестерпимо. Вспоминал я тогда Колины речи о земле

нашей, упоенной горем, и виновато злые речи доктора. Забыта земля наша разумом бога, забыта среди звезд, и одиноки, чужды друг другу люди на ней! И вот, когда подумаешь об этом, станет проникновенно ясно, до чего нужна человеку любимая женщина. Права Лариса Антоновна: с кем лучше можно забыть об одиночестве своем? И в такие ночи любовь моя к ней углублялась бесконечно во тьму свою.

— Лежу, бывало, или тихонько, босиком, шагаю по своей комнате, жду: вот — охнет океан и услышу я предсмертный крик Ларисы Антоновны. Может, она уже вскрикнула, а я не слыхал? Отворю дверь в ее комнату, встану на пороге, слушаю — дышит? Чаще всего видел я — сидит она, прислонясь к спинке кровати, утопая в белом, как в пене, сидит закрыв глаза, неподвижно прислушиваясь к шуму океана, и такая покорность в ней, такая тоска. Умная, она понимала, что умирает, но, из гордости, не говорила об этом. Сам задохнешься в тоске, сядешь на пол у двери, полужив, полумертв, и сидишь час, два, три... Иногда, услыхав, что я не сплю, Лариса Антоновна позовет меня: «Петруша, идите ко мне, побудьте со мною».

— И тихонько начинает: «Помните, как меня в Курске принимали?» Я, конечно, помню всё, что ей чудится. «Замечательно принимали, говорю. И вся ваша жизнь — замечательная!»

— Устанет она, замолчит, я ткнусь головою в ноги ей, лежу, молча молюсь ей: «Счастье мое, жизнь моя — не умирай!»

— Не однажды она печально говорила: «Боже мой, как быстро седеете вы!»

— Видя, что для нее это тягостно, я стал немножко подкрашивать волосы. Это, сударь мой, совершенно невыносимо — жить для того, чтоб видеть только одно,— как умирает любимая женщина! Так, в параличе души, прожил я двести восемь дней, а на двести девятый скончалась Лариса Антоновна. На террасе. День был тихий, душный, даже океан не очень шумел. С утра еще Лариса Антоновна сказала: «Сегодня я чувствую себя удивительно легко».

— И вышла на террасу, села в кресло, молча, как

всегда, разглядывала волнение пустоты морской. Сиделка Агата принесла ей букет цветов, погладила она их милыми руками, спрятала в цветах лицо свое и вдруг — встала, схватилась за перила, покачнулась... Я едва успел подхватить ее...

Человек встал, оглянулся дико и, сунув руки в карманы, прислонился к изразцам печи.

— Вот и всё! Там, под горою, на маленьком кладбище, я и похоронил ее. Не хотелось везти в Россию, где она не нашла счастья. И сам года полтора не мог вернуться сюда, где горе было единственной пищей моей души.

Он взглянул на меня, нахмурясь, и строго сказал:

— Однако вы не думайте, что я жаловался на Ларису Антоновну, нет, это я рассказал только по причине вашего желания. Жаловаться же вообще бесполезно: человек человеку глух, подобно камню.

На белом фоне изразцов лицо его очень потемнело, особенно — под глазами. Он стоял, закрыв глаза, прямой, и как будто еще тоньше стал за эту ночь.

Нити дождя за окном блестели светлее, усталый огонь фонаря потускнел. Отдаленно, едва слышно ворковали колокола, точно медные голуби,— это благовест к утренней службе в монастыре.

Человек неохотно и тихо говорил:

— Потом я все-таки вернулся в Россию и вот снял здесь квартиру, потому что Лариса Антоновна напротив жила и всё началось отсюда. Издал ее портреты, продаю открытки с них, не для выгоды, разумеется, а так...

Он протянул длинную сухую руку в угол, указывая на вазу, на букет засохших цветов:

— Цветы эти — те самые, которые она последними держала в руках, но — погибли цветы! Советовали мне в известковой воде вымочить их — не помогло. Лаком покрыл — тоже не помогло. Только естественного образа лишились они.

Он подошел в угол, к столу, осторожно, тонкими пальцами потрогал безобразные комки серо-грязного цвета и сказал глухо:

— Рассыпаются цветы прахом, и никакими средствами остановить это невозможно...

РАССКАЗ О ГЕРОЕ

В детстве, раньше чем испугаться людей, я боялся тараканов, пчел, крыс; позднее меня стали мучить страхом грозы, вьюги, темнота.

Когда гремел гром, я до боли крепко закрывал глаза, чтоб не видеть синюю дрожь стекол в окнах, освещаемых молниями. Кто-то внушил мне,— а может быть, я сам выдумал,— что, разрывая небо, молнии обнажают великий, геенский огонь, там, за пределами синего, видного в ясные дни. Синее — дым пожара, обнявшего весь мир, звезды — искры пожара; в любой час земля может вспыхнуть, точно косточка вишни, брошенная в костер, загорится, как солнце, и потом, обращенная в уголь, повиснет в небе второю луной.

Особенно я боялся темноты. Я воспринимал ее не как отсутствие света, а как самостоятельную силу, враждебную ему. Когда ее серая, неощутимая пыль омрачала воздух и, сгущаясь, чернея, поглощала деревья, дома, мебель в комнатах, я ждал, что пыль темноты сгустится до твердости камня и в ней окаменеет всё живое, окаменею я. Мне всегда хотелось пощупать тьму, я протягивал руку в неосвещенные углы и, осторожно сжимая пальцы в кулак, ощущал кожею ладони неприятный влажный холодок. Темнота — это копоть надзвездного пожара, разрушающего всё видимое в черную пыль.

Я знаю, что эти представления чрезмерно сложны для мальчика десяти — тринадцати лет, но мне кажется, что именно таковы они были у меня в те годы.

А наиболее, почти до безумия, пугал меня свист и вой зимних вьюг. В дьявольские ночи, когда всё на земле бешено кружится, качаются деревья, точно стремясь со-

рваться с земли и улететь куда-то в облаках снега, в эти ночи мне казалось, что некие злые силы решили опустошить землю, сдуть с нее города, леса, людей и оставить только меня одного в мертвом молчании, среди белой, холодной пустыни. Грудь моя наполнялась мучительным ощущением неизмеримой пустоты, в ней, как мошка между небом и морем, повисло и трепещет мое ужаснувшееся сердце. Проклятый насмешливый свист ветра пронзительно раздается внутри меня, морозит и ломает тело мое. Я прятал голову в подушку, затыкал уши пальцами и все-таки слышал этот опустошающий, убийственный свист в груди моей.

Можно подумать, что я был мальчик болезненный, но это не так; сильный, хорошо упитанный, я казался рослее и старше моих сверстников, и меня считали не по возрасту серьезным.

Да, я был физически здоров и думаю, что источник страха пред явлениями природы лежал именно в здоровье моем,— это естественный, биологический страх человека пред непонятным ему и угрожающим гибелью. Я уверен, что больной не может ощущать страха с тою силой, с какой ощущает его здоровый человек.

Один у матери, я не помню отца, епархиального архитектора, он умер, когда мне было четыре года. Его заменял мне дядя, брат матери, священник, вдовец; он любил и баловал меня так же, как мать, горничная Дуня, водовоз Никон и все другие люди нашего дома.

— Зачем нужны вьюги? — спрашивал я дядю.

Большой, тучный, очень красивый и веселый, отличный гитарист, азартный картежник, он ласково обнимал меня и говорил что-нибудь утешительное, но не утешавшее:

— Так установлено природой, сообразно воле божией.

И, поглаживая волосы мои, обращался к матери:

— У него философический наклон ума.

Он беседовал со мною всегда очень охотно, и я любил слушать его плавную речь, мягкие, круглые слова, его рассказы о трех силах, управляющих миром: боге, природе и разуме человека. Но я не мог понять таинст-

венной связи этих сил, и чем больше слушал, тем далее, в сумрак непонятного, уходил бог, тем более страшной казалась природа и неясной роль разума.

У меня возникла грубая, но мучительно навязчивая аллегория: природа — это прачка Карасева, огромная грязная баба, по прозвищу — Мокрея. Она жила на дворе нашего дома рядом с конюшней. Лет десять наблюдал я ее, и мне кажется, что за это время ее толстое, красное лицо, с насмешливым взглядом наглых жирных глаз,— не изменялось. Ей было лет сорок, и, неутомимая в труде, она была так же неутомима в разврате. Как многие женщины ее возраста, она болела эротической болезнью — страстью к юношам, которых она растлевала с той же ненасытностью, как это делают сексуально больные мужчины, растлители девственниц.

Циничная, хитрая, в трезвом виде она была слащаво ласкова, ее певуче-фальшивый голос звучал виновато, лицо становилось еще шире, а наглые глаза конфузливо улыбались.

Но почти каждую субботу, к вечеру, она неистово напивалась и ею овладевали припадки бессмысленного буйства. Обнаруживая силу здорового мужика и стихийное стремление разрушать, она била трех товарок своих, таких же грязных баб, била посуду, ломала стулья, скамьи, однажды изрубила топором бочку водовоза Никона, богобоязненного старика, молчаливого, кроткого, всегда, летом, одетого в белое, точно покойник.

Однажды, когда она, связанная по рукам и по ногам, лежала на земле у двери конюшни, я слышал, как Никон сказал ей:

— Жизни ты не жалеешь, Мокрея.

Она хрипло ответила:

— А — что мне жизнь? Эка штука — жизнь!

В часы, когда она буйствовала, на дворе являлся человеческий разум в лице городового, он молча ударом кулака сваливал Мокрею с ног, туго сжав губы, мычал и связывал прачке руки, ноги жгутами из грязных простынь, веревками. Она никогда не сопротивлялась ему, а только бормотала, усмехаясь:

— Ну, ну, вяжи. Вяжи, дьявол...

Городовой сопел, опутывая ее веревками, и приговаривал сквозь зубы:

— Я т-тебя знаю, я т-тебя...

Не один я находил, что пьяная прачка — страшна. Я безумно боялся ее, она возбуждала у меня чувство острого отвращения, непобедимой брезгливости.

— Зачем живет она? — спрашивал я дядю, он отвечал, лаская меня:

— Сего вопроса разум не решает; на вопрос — зачем? — мы не находим иного ответа, как: это есть воля божия.

Не стыжусь сознаться, что грубо аллегорическое уподобление природы прачке Мокрее, а человеческого разума — татарину полицейскому держалось у меня даже в годы юности моей, а может быть, я и сейчас не свободен от этой аллегории. И, разумеется, она усиливала, углубляла мой страх пред явлениями жизни, слишком явно неразумными и враждебными мне, человеку.

Когда я узнал, что комар может заразить меня лихорадкой, а мыши разносят чуму,— это поразило меня. И ничтожнейший комар — враг мой, и трусливая мышь — тоже враг?

Я одолевал дядю детским вопросом — зачем? — и наконец рассердил его.

— Вот что, сударь,— сказал он, сдвинув густые брови свои,— мальчику твоих лет умничать не надлежит так надоедно. И, собственно говоря, тебя надо бы за это высечь. Отвяжись.

Мать тоже говорила мне:

— Перестань ты приставать к дяде. Что ты всё спрашиваешь о пустяках? Нехорошо.

Но, говоря так, они продолжали хвастаться пред знакомыми пытливостью моего ума. Развивая этим мое самолюбие, мать и дядя в то же время охлаждали мое отношение к ним. Я уже чувствовал себя умнее моих сверстников, и у меня не было товарищей среди них. Конечно, в гимназии заметили, что я труслив, и жестоко дразнили меня. К тому же я был тяжел, неловок; игры казались мне опасными и не увлекали меня; я боялся междоусобных драк в гимназии, а вражда

мальчишек улицы с гимназистами напоминала мне инстинктивную вражду дикарей Густава Эмара к европейцам. Таким образом я очень рано почувствовал гордость одиночества и смутно понял значение его как единственной области, где свободно воспитывается независимая личность.

Я был средним учеником, учился честно, хотя без увлечения. Естественные науки, о мудрости которых с уважением говорил дядя, не гасили моего страха пред явлениями природы, даже не уменьшали его. Науки эти очень воодушевленно преподавал молодой учитель Жданов, кругленький, бойкий человечек, похожий на обезьяну; гимназисты дали ему прозвище Мяч. У него была какая-то своя гипотеза строения материи, он обожал электричество и кричал на уроках:

— В электрической энергии скрыты все загадки жизни, и скоро мы разрешим их!

Был он чудаковат, влюбчив, почти каждую весну разыгрывал новый роман; он казался мне легкомысленным, я видел в нем что-то общее с клоуном и был обижен им. Однажды, на уроке, я не мог понять чего-то, это рассердило Жданова, и он сказал мне:

— Ты, бесспорно, трудолюбивый юноша, но — не любишь науку. И вообще я не вижу: что, собственно, любишь ты? На мой взгляд, тебе следовало бы учиться не здесь, а в семинарии, да.

Учителем истории был Милий Новак. Высокий, костлявый, сутулый, с маленькой лысоватой головою, безволосым лицом старой девы и огромным кадыком, он казался мне жутко уродливым. Почти треть его лица закрывали круглые темные очки в роговой оправе. Был неряшлив, рассеян, ходил неуверенной, качающейся походкой; каблуки сапог его всегда стоптаны, а брюки на коленях смешно пузырились. Я заметил, что он боится лошадей. Прежде чем перейти через улицу, с панели на панель, он долго и нерешительно оглядывался, ждал, когда проедут извозчики, и потом, наклонив голову, быстро шагал, качаясь, почти падая.

Ровным, бесцветным голосом он скучно рассказывал историю и несколько оживлялся только тогда, когда оправдывал жестокость царей. Говорил он, засунув

руки глубоко в карманы, но тут медленно вытаскивал левую руку, поднимал палец, загнутый крючком, на уровень плеча и внушал:

— Петр Великий был жесток, но этого требовали обстоятельства.

В его сухом изложении история заинтересовала меня обилием страшного. Должно быть, я на уроках Новака особенно подчеркивал факты жестокости,— выслушав ответы мои, он утвердительно кивал головою:

— Так. Именно — так. Царь Иван Грозный был вынужденно жесток, чего требовали обстоятельства эпохи. Так.

Иногда он ставил меня в пример ученикам, и это усиливало неприязнь гимназистов ко мне.

Я был в шестом классе, когда Новак, встретив меня на улице, предложил мне зайти к нему.

— Вечерком, завтра, попозднее,— вполголоса добавил он.

Он жил во флигеле, среди сада, нахлебником у какой-то осанистой безмолвной старухи. Его полутемная комната была завалена книгами, среди ее огромный стол, тоже нагруженный кучами книг, у стены кровать, в углу шкаф для платья. В саду, во тьме, лениво сыпался теплый дождь, странно звенела листва деревьев; этот суховатый, шёлковый звук показался мне совершенно необходимым в комнате Новака, всегда наполняющим ее сумрак. В открытое окно влетали серые бабочки и кружились над столом, над лампой, прикрытой зеленым абажуром.

Наклонив зеленую лысину, глядя в стол, Новак, согнувшись дугою, темный, неподвижный, тихо убеждал меня готовиться на историко-филологический факультет.

— У вас, Макаров, есть вкус к истории, и я предлагаю приватно заняться с вами этой наукой, буду давать вам книги, руководить вашим чтением. Так.

Мне польстило, что он говорит со мною на «вы», и я принял его предложение. Он взял со стола небольшую книжку в переплете красного сафьяна, погладил ее ладонью.

— Вот книга, которую надо внимательно прочитать. Пожалуйста, обращайтесь с нею осторожно. Потом я побеседую с вами о ней. Так.

Это была книжка Карлейля «Герои и героическое в истории». Я не очень любил читать серьезные книги, меня вполне удовлетворяли романы приключений, переводы с иностранных языков. Но эту книжку я прочитал добросовестно и хотя не помню, понравилась ли она мне, однако в ней было нечто удовлетворяющее мой литературный вкус, воспитанный на Робинзоне Крузо и приключениях героев Купера, Майн-Рида, Густава Эмара.

Я был очень поражен, когда Новак раскрыл предо мною философию этой маленькой книги. С холодной, угнетающей силою, негромко, но тем более веско он говорил, что народные массы, в сущности, безличны, духовно примитивны и однообразны; они желают только одного: увеличить внешние удобства жизни, но им чуждо стремление познать ее тайны, им неведомо и враждебно творчество. Даже улучшить грубые и тяжкие условия жизни своей они самосильно неспособны,— массы не умеют изобретать, выдумывать,— творит, изобретает, законодательствует всегда только человек, единица, личность.

— Народ всегда жил эксплоатацией духовной энергии личности,— сухо звучали памятные мне слова, и пред лицом моим шевелился крючковатый палец, точно намереваясь вырвать глаза мне. Его кадык неприятно раздувался под напором слов.

— Без Ивана Грозного и Великого Петра, без немецкой принцессы Екатерины, Пушкина, Гоголя, Достоевского — мир не знал бы и не чувствовал России. История всегда дело единиц, результат творчества героев. Италию создали Данте и Петрарка, Англию — Мильтон, Юм, Гоббс...

Он произносил имена людей, о которых я ничего не знал, кроме имен их. Он спрашивал:

— Чем была бы Франция без Рабле, Декарта, Вольтера, Германия без Гёте, Фихте, Вагнера? Чем были бы нации Европы без поэтов и мыслителей, которые воодушевили их, дали им каждой свое оригинальное лицо?

Взгляните на черные племена Африки, на калмыков, киргиз, башкир...

Положив руки на стол, он быстро, нервно шевелил пальцами и всё понижал голос,— это заставляло меня особенно напрягать внимание, убеждая, что я слышу тайны, неведомые никому, кроме Новака. Помню, мне очень хотелось, чтоб он снял очки,— они были единственным, что осталось мне знакомо в этом человеке. Я никогда не видел его злым, даже раздраженным; сухой, скучный, он вел себя в классах всегда спокойно и ровно, как мастеровой, исполняющий привычную, надоевшую ему работу. Но в этот вечер он неузнаваемо изменился, в его приглушенных словах я слышал гнев, негодование, и казалось, что он жалуется, разоблачая предо мною обман, оскорбительный для него. Речь, видимо, опьяняла его, он судорожно изгибал длинное тело свое, и между слов, в кадыке его, булькал странный, жуткий звук, свойственный заикам:

— Уп-уп-уп...

— Гений независим от народа,— говорил он.— Величайший гений наш — Пушкин — был потомком араба. Жуковский — полутурок. Лермонтов — шотландец,— так! Вы — понимаете? Гений — вне нации, он выше нации, всегда выше! В каждой стране вы найдете вождей чужой крови. Безразлично, кто одухотворяет народ и ведет его за собою: еврей Христос или грек Платон, индус или китаец Лао-Дзе. Руссо, Толстой — одного духа и, в сущности, одного языка. Герои, вожди — племя личностей, не имеющих почти ничего общего с массами...

Я чувствовал в его словах какую-то правду и чувствовал, что она меня обязывает к чему-то, это неприятно волновало меня.

— Человек и люди — не одно и то же, нет,— слышал я.— Человек — враг действительности, утверждаемой людями, вот почему он всегда ненавистен людям. История — это вражда одного против множества, вражда, разжигаемая в народе — любовью к покою, в человеке — страстью к деянию. История всегда поэтому будет исполнена жестокости и не может, не может быть иной. Так.

Провожая меня, он шептал:

— Не верьте социалистам, их учение опасно, насквозь пропитано ложью, это учение — против человека,— понимаете? Не верьте!

И еще долго говорил он о социалистах что-то пугающее, чего я, утомленный, уже не понимал. Помню его легкую, но цепкую руку на плече моем, дрожь его пальцев и черный блеск за стеклами очков — всё это было неприятно мне.

Разумеется, я упростил его мысли, вероятно, сделал их грубее,— мне было семнадцать лет, когда я услышал впервые эти мысли, незнакомые мне. Идя домой безмолвными улицами, я чувствовал, что мне по-новому жутко. До этого вечера жизнь была проще для меня. Я ведь не ощущал в себе ничего героического, никогда не мечтал о роли борца с кем-то или с чем-то за что-то. Я был обыкновеннейший парень, среднего роста, полный, избалованный матерью, мать очень заботилась о моем здоровье и заразила меня почти болезненной мнительностью. Мне нравилось лежать на диване с книгой в руках, удивляться ловкости или храбрости героев, ощущать мое различие от преступников, приятно было жалеть несчастных и радоваться, когда судьба, затейливо помучив, улыбалась им. Интересно было узнавать, что существуют люди, которым нравятся тревоги и опасности жизни, люди, которым приятно заботиться о счастье ближних, но — лично мне эти люди были не нужны.

Новак и Карлейль были тоже совершенно не нужны мне. Дома, лежа в постели, я угнетенно думал: какое мне дело до героев и народов? Я был уверен, что могу прожить, не соприкасаясь с ними, ведь жили же в городе, вокруг меня, десятки тысяч людей, которым незнакома и не нужна философия Карлейля, не нужны герои, вожди, социализм и всё, что так нелепо волнует Новака.

Мне было даже немного смешно вспоминать его тревожные слова о социалистах,— я знал, что в седьмом классе гимназии есть несколько заносчивых и надутых парней, которые считали себя социалистами. Почему-то мне особенно не нравилось, что во главе их стоял сын уездного предводителя дворянства Болотов, парень

дерзкий и назойливый. Он был героем гимназии: вытащил из реки утопавшую бабу, кажется, пьяную, и поэтому ходил походкой матроса, широко расставляя ноги, насвистывал и плевал сквозь зубы.

Был и в моем классе герой — Рудометов, сын судебного следователя, красавец, силач и пьяница. О его распутстве сложились среди учеников легенды; его боялись, ему завидовали, а он смотрел на всех прищуренными глазами, с пренебрежением необыкновенного человека, и, отвечая учителям, ворчал что-то поистине необыкновенное, над чем единодушно хохотали не только ученики, но иногда и сами учителя. Только Новак не смеялся, он вполголоса говорил:

— Так. Ну, это вы придумали для того, чтоб смешить людей. Я ставлю вам двойку.

Мне нравилось независимое отношение Рудометова к учителям, и я завидовал его уменью говорить какие-то особенные слова, они вклеивались мне в память. Однажды, на уроке Жданова, он сказал:

— Я предпочитаю кривые линии, они кажутся мне живыми, способными к самостоятельному движению, тогда как прямые безнадежно мертвы.

Над этими словами тоже хохотали.

Жданов восхищался им и кричал:

— У вас хорошая башка, но вы проклятый лентяй, преступник вы!

Думая о словах Новака, я вспомнил всех «героев» гимназии, попытался вообразить себе их в будущем творящими историю и — решил отделаться от Новака. Для этого я избрал простой способ — перестал учить историю. Первое время он как будто не замечал этого, потом стал говорить:

— Так. Ну, это очень плохо.

Вскоре он снова позвал меня к себе и тем тоном, каким доктора говорят с больными детьми, стал выспрашивать: почему я не учусь? Не помню, что я лгал ему, помню только настойчивое желание рассердить Новака. Это не удалось мне. Схватив меня за плечо, он снова говорил всё о том же: о борьбе народов против вождей и героев своих.

— Всегда побеждает герой, хотя бы он и оказался

физически побежденным,— внушал он мне, а я думал, что, если он снимет очки, предо мною заблестят глаза человека безумного.

Ушел я от него совершенно уверенный, что этот человек не для меня. Как избавиться от него?

Помогла внезапная болезнь и быстрая смерть дяди: он простудил горло во время крестного хода на иордань, заболел ангиной, затем какой-то идиотский, неуловимый стрептококк проник в мозг его и в два дня убил красивого, здорового человека. Думаю, что никто никогда не чувствовал так глубоко страшную глупость смерти и жалобную беззащитность жизни, как почувствовал это я, когда увидел искаженное, синее лицо дяди, его спутанную бороду и разбросанные по подушке волосы его,— они как будто встали дыбом от ужаса.

Как мрачно звучит колокол, возвещая о смерти священника!

Эта смерть раздавила меня.

Я любил дядю. Здоровый, веселый, надежный человек, он обладал спокойной уверенностью, что всё в мире идет хорошо. Смеялся на о́ и говорил:

— Хорошо жить умеет тот, кто любит смех.

Теперь уж не спросишь его: зачем нужны стрептококки и любят ли они смеяться? И не услышать ответа баритоном, в котором звучала басовая струна виолончели: «Ты, сударь, помни: чем больше возникает вопросов, тем глупее становятся они. Это знал еще Лактанций».

Он любил клеветать на отцов церкви и философов, навязывая им свои шутливые мнения или приписывая мысли одного — другому. Когда же его уличали в ошибках и искажениях, он смеялся, спрашивая:

— Кто страдает от этого? Увеличу ли я маленькие неприятности мира сего, изобразив Платона скептиком?

Он часто говорил:

— Верую, ибо это бессмысленно.

А когда ему указывали, что «это» излишне, он возражал:

— Отнюдь; ибо «это» относится к самой вере.

Его торжественно отнесли на кладбище, зарыли в железную землю,— я стоял над могилой до поры, пока

снег не покрыл ее. Густо шел снег в этот день. Из тела моего как будто выпала какая-то кость. Я ослабел, перестал ходить в гимназию, уныние душило меня.

А Новак скоро был вызван в Петербург, там ему предложили работу в министерстве. Провожая его, я с удивлением почувствовал, что отъезд этого человека неприятен мне не меньше, чем было неприятно знакомство с ним. Это, вероятно, потому, что смерть дяди слишком обострила ощущение моего одиночества. Мне был нужен какой-то человек, один человек.

Конечно, у меня были товарищи. Они пили водку, ухаживали за гимназистками, посещали публичные дома. Я не любил водку и боялся заразиться. Мою потребность мужчины охотно удовлетворяла горничная Дуня, женщина лет тридцати, бесстыдная, хитрая и жадная к деньгам. С барышнями я был застенчив, робок, не умел говорить с ними, да и не о чем было говорить,— большинство из них читали не те книги, которые любил я. Когда я говорил, что мне нравятся романы Дюма, они снисходительно и обидно усмехались.

Моя мать любила хорошо покушать, и в этом был главный интерес ее жизни; она собирала у себя таких же гастрономов и кормила их, потом каждый из них кормил ее у себя.

Красивая, полнокровная женщина, с ласковыми синими глазами, она двигалась лениво, говорила медленно, это придавало ей значительность и нравилось мужчинам.

Когда я был в седьмом классе, мать затеяла роман с врачом, веселым парнем, только что кончившим учиться. Она была настроена против моего поступления в университет, боялась «политики», была уверена, что я немедленно приму участие в студенческих волнениях и погибну в тюрьме, в ссылке. Ей легко было уговорить меня подождать год, отдохнуть от гимназии, я согласился на это, хотя подозревал, что за этот год мать попытается женить меня. Пыталась, но — безуспешно. Я относился к женитьбе отрицательно. Мой маленький опыт половой жизни внушил мне очень нелестное мнение о ней и привил порядочную дозу, так сказать, физиологического скептицизма. Стоит ли терпеть мно-

жество различных неудобств и беспокойств ежедневно, на протяжении долгих лет, для того только, чтоб получить за это минуту приятной судороги? Стоит ли ради этой минуты держать около себя человека иного пола, иной психологии, и притом человека, который почему-то уверен, что он имеет право спрашивать тебя: о чем ты думаешь, что и как чувствуешь. Если б можно было жену, как суп, готовить в кухне, чтоб каждый день она была иного вкуса.

По книгам я знал, что женщины ищут и любят «героев», сильных, красивых мужчин; жизнь, насколько я знал ее, утверждала то же самое. Всё, что я читал о «любви», воспринималось мною как выдумка, более или менее неудачная, как фиговый лист, которым пытаются прикрыть отношения грубые и грязненькие, низводящие людей к бесстыдству собак и козлов. В женщинах, даже в девушках, я всегда чувствовал нечто фальшивое, театральное и, не боюсь сказать, паразитивное стремление присосаться к мужчине. И мне казалось, что женщины так часто смотрят в зеркала не потому, что проверяют, в порядке ли оружие их соблазнов, а потому, что они еще менее, чем я, уверены в реальности бытия своего.

Может быть, эти мысли явились не тогда, когда мне было двадцать лет, а позднее, а тогда я просто не мог вообразить себя мужем и отцом, не мог решиться на поступок, который отнимает у человека его независимость, разрушает его покой.

Через год я был на медицинском факультете, а будучи на втором курсе, оправдал предсказания матери: оказался автоматически вовлеченным в демонстрацию, был полицией загнан вместе с табуном студентов в московский манеж и выслан на родину. Мать, испуганная до истерики, решительно заявила, что уже не пустит меня в Москву и что, если я ослушаюсь, это убьет ее. Я не противоречил ей. Университет отталкивал меня своим шумом, политикой, враждою кружков. Было странно думать, что именно в этой раздражающей суете создаются ученые, отсюда исходит духовная сила страны. Медицина оказалась наукой не для меня. Мне противно было рыться во внутренностях вонючих трупов и

было страшно воображать себя трупом, из которого ножичком глупой формы вырезывает сердце веселый молодой человек с папироской в зубах. Эти молодые люди с папиросками, с прищуренными от дыма глазами, пугали меня не менее, чем трупы, два-три дня тому назад такие же живые и, вероятно, столь же глупые, как сами будущие врачи тела. Препарируя, они шутили, смеялись, и мне казалось, что они рисуются друг пред другом грубо сделанной небрежностью их отношения к вопросу о тайне жизни, о душе, куда-то ускользнувшей из груды безобразно изрезанного гниющего мяса. Я, разумеется, видел, что некоторые из них воодушевлены искренним желанием изучить организм человека,— тем более непонятно было мне почти полное отсутствие у них интереса к таинственной силе, которая двигала, побуждала чувствовать и мыслить этот организм.

Вот пред ними лежит на столе тело капризной и веселой девицы Клавдии Ивановой, она убила себя два дня тому назад, выпив раствор меди в соляной кислоте. Глаза ее выкатились, брови неровно приподняты, одна выше другой, веки туго натянуты на глаза, вздутые ужасом и болью. Губы разодраны немым криком, но мне кажется, что я слышу этот крик, он всё растет, распространяется в воздухе едким запахом, вызывая у меня головокружение и тянущую все жилы мои тошноту.

Мой земляк, Рудометов, вскрывая позеленевший живот маленького трупа, говорит ворчливо, как всегда, и более, чем всегда, небрежно:

— Проституция — профессия истеричек...

Я знаю, что он и еще один студент, стоящий у стола, спрятав руки за спину, были знакомы с этой девушкой и, наверное, оба пользовались телом, которое Рудометов теперь так равнодушно режет. Я не жду, чтоб он или кто-то другой сказал о погибшей девице тихое слово человеческой жалости — ненужное, но смягчающее жизнь слово; я вообще ничего не жду и не хочу от этих людей, но быть среди них невыносимо для меня. Я ухожу, и вслед мне Рудометов бросает насмешливое замечание:

— Плохая голова, но обладает хорошим носом.

Ко мне вообще относились насмешливо, я был не «компанейский» человек. А Рудометов — дерзок, груб, он хороший оратор, играет видную роль в группе студентов-«академиков», врагов «политики». Его одни — боятся, другие ненавидят, третьи любят, как собаки хозяина.

Итак, я расстался с университетом без сожаления. Через несколько месяцев доктор, друг сердца моей матери, устроил меня в канцелярию губернатора,— брат доктора был чиновником для особых поручений. Я незаметно просидел в канцелярии два года, там застало меня бешеное время японской войны и революции 1905—6 годов.

Губернатор, хворый старичок с лицом обиженного человека и надутыми губами, был поглощен одной заботой: найти такой панцирный жилет, который не пробивала бы пуля браунинга. Мой непосредственный начальник, брат доктора, мужчина лет тридцати пяти, туго накрахмаленный, вылощенный и лысый, отчаянно играл в карты, страдал боязнью пространства и коллекционировал фарфор. Сослуживцы мои — полускоты, полупризраки.

Только один из них, какой-то безродный мальчишка, Дроздов, черненький, юркий недоносок, резко выделялся несносной живостью своей. Он знал всё, что творилось в городе, и ежедневно приносил в полутемные, прокуренные комнаты канцелярии что-то нервозное, царапающее кожу, возбуждавшее тревогу. Сидел он против меня у окна, затененного густейшей листвою липы, и когда в светлые, но ветреные дни на смуглом остреньком лице его играли пятна теней,— казалось, что мальчишка этот беззвучно смеется, выдумывая кошмарное и злое.

Я всегда смотрю — каковы руки человека? Его темненькие ручки с тонкими пальцами напоминали остротою узких ногтей лапы хищной птицы. Он постоянно и неутомимо барабанил пальцами или шевелил ими, как бы завязывая и развязывая узлы.

Звериным чутьем несомненного дегенерата он быстро

понял меня и, как злая осенняя муха, жужжал целые часы о диком буйстве солдат, возвращавшихся с фронта, о бунтах крестьян, возбуждаемых солдатами, о настроениях в городе, о страхе, который разрастался так, как будто земля потела страхом. Сам он, кажется, был бесстрашен, но ему явно нравилось пугать меня.

— Начинает-цца! — тихонько говорил он, произнося последний слог жутким, противно чмокающим звуком.

— Что — начинается?

Тихонько свистнув, он прятал в бумаги свой острый нос, не отвечая мне. Бумаги он читал и просматривал то одним глазом, то другим, поочередно прикрывая их. Было ясно, что недоношенный человек этот радуется смуте жизни. Он был не из тех, в сущности, равнодушных, а потому безвредных зрителей, которых развлекают пожары, убийства и уличные несчастия, не из тех людей театральной галерки, которым одинаково приятны и драмы и комедии. Нет, я чувствовал, что смута радует его, он сам способен содействовать развитию драм и даже готов создавать их. Он вызывал у меня ожидание несчастия, которое должно размозжить мою жизнь.

В этом настроении я был командирован в маленький уездный город, спрятанный в садах, на горе, над рекой. Я остановился в доме исправника, которого изувечили лошади, испуганные крестьянами, из окон этого дома я видел, как мужики жгут усадьбы помещиков.

Еще с вечера, за рекою и лесом, далеко на юго-востоке тучи покраснели, как будто и там заходило солнце, а когда тьма над лугами стала гуще, над лесом явилась красная пила огня зубцами вверх. Потом вспыхнуло зарево левее первого, ближе к городу, и почти тотчас я услышал странный гул, скрип колес, лай собак. Вот почти на самом берегу реки вспыхнул стог сена, еще один, еще, эти три костра осветили дорогу, на ней вереницу телег и муравьиное шествие толпы черных людей. Из темноты высунулась длинная труба завода, выросло на мохнатой земле кирпичное здание, вспыхнул серый длинный сарай, похожий на крышку огромного гроба, и осветился белый дом с колоннами и терра-

сой. Стало видно воду реки, она покраснела и, казалось, кипит. Я смотрел на всё это, как сквозь сон.

Разбудили меня какие-то черные фигуры, пройдя под окном.

— Равномерно действуют,— сказала одна из них.

Эти слова сделали зрение мое невыносимо острым, и всё, что я видел, полилось в душу мне, затопляя ее ужасом. А в памяти звучало противное слово:

— «Начинает-цца!»

Террасу дома захлестнула темная волна людей; был ясно слышен дребезг разбиваемых стекол, треск переплетов рам, воющие крики, бессловесный говор. На красной воде реки появились быстро и криво плывущие лодки, мелькали весла, как ножки жуков; я догадался, что это едут на грабеж горожане.

Всю ночь, до утра, я стоял и сидел у окна, наблюдая муравьиную работу людей. Хорошо освещенные огнем, они тащили во все стороны угловатые вещи, огромные узлы, толкали друг друга и, кажется, дрались. Помню: двое вцепились в какой-то белый ком, а он вдруг лопнул и осыпал их пуховым снегом. Неестественно красная лошадь промчалась берегом реки. Огонь, красной метлою, быстро сметал постройки с земли, хотя упрямо сеялся мелкий дождь, и пропитанная дымом тьма становилась всё более густа. Огонь раскалял ее, рвал, растекался всё шире, а тьма, сгущаясь, создавала багровые и черные фигуры людей, лошадей, эти призраки минуту, две судорожно жили и снова исчезали, прятались в темноте. Я вспомнил мою детскую боязнь темноты, но теперь мне хотелось, чтоб тьма стала еще гуще, тяжелее, чтоб и огонь и люди, вызвавшие его, задохнулись в ней, исчезли навсегда. И когда, под утро, дождь усилился, я смотрел почти с радостью, как огонь, прижимаясь к земле, умаляется, прячется, а эти черные люди и лошади исчезают.

В полдень на площади города было собрание благомыслящих людей, они убили, кажется, двух или трех сторонников бунта, обошли город с иконами и хоругвями, а вечером, когда я уезжал, городок был пустынен и казался онемевшим от страха пред ночью.

Я тоже чувствовал себя опустошенным, у меня оне-

мели мысли. В памяти зрения копошилась черная толпа людей, разжигая огонь, уничтожая плоды своего труда. Об этот факт несомненного безумия мой разум ударился точно о камень, наполнив всё существо мое злой болью, вызывая страх пред людьми.

По дороге в губернию я встретил отряд пехоты, впереди его ехал верхом длинноногий поручик с рыжими усами, солдаты бодро месили грязь и пели глупую песню о черной галке. Узнав от меня, что он опоздал, поручик обрадовался, меня очень поразила его бесстыдно веселая улыбка. И, возвратясь в город, я стал замечать, что сторонники конституции, озабоченно расспрашивая меня о событиях в уезде, тоже не могут скрыть радостный блеск глаз. Их озабоченность казалась мне неискренной, тревога — фальшивой. Даже в канцелярии у нас явилось какое-то новое, легкомысленно-шутливое и неприятное настроение, а Дроздов, ерзая на стуле, злорадно улыбался и стал еще острее, еще более раздражающим.

Я нашел нужным поговорить о нем с начальником охраны, полковником Бер, за Дроздовым установили надзор, вскоре произведен был обыск у него, и — мой инстинкт не обманул меня. Были установлены связи Дроздова с одною из революционных организаций, произведены аресты,— я с изумлением узнал, что среди арестованных оказался наиболее опасным человеком дьякон, воспитанник дяди моего.

Не хочу — тяжело и скучно — говорить о событиях всем известных, о позорной слабости правительства, о его ошибках, которые разожгли огонь бунта.

То, что видел я своими глазами, было отвратительно. Видел я, как мимо окон нашего дома шли с красными флагами рабочие фабрики спичек и мыловаренного завода,— толпа грязных, полудиких людей; шли они, боязливо поглядывая в окна домов, точно ждали, что их будут обливать кипятком. Роль козла в этом стаде баранов играл хромой старик Барамзин, административно ссыльный, корреспондент радикальных газет; одним из флагов размахивал провизор Гольдберг,— начиная со времен Христа без еврея нет несчастия. С боков толпы, загоняя ее на путь преступления, бе-

гали, как собаки пастуха, молодые люди, неизвестные мне.

Это было такое же муравьиное шествие, как там, в уезде, за рекою, только здесь фигуры людей казались крупнее и страшней. Дул ветер, сердито развевая красные флаги, нечесаные волосы и лохмотья. Люди шли нестройно: одни — слишком быстро, другие — осторожно замедляя шаги; мне казалось, что все они, с одинаковою силой испытывая страх, то хотят скорее столкнуться с опасностью, то думают, как миновать ее.

Собственно говоря, сама толпа не пугала меня, но страшны были безумцы, которые вели ее. И, когда я представил себе, что, может быть, в этот день и час такие безумцы ведут слепые толпы по улицам всех русских городов, чтобы обрушить их на пошатнувшуюся власть,— я почувствовал в груди тот зимний свист, который в детстве вызывал у меня безумный ужас.

На площади, перед городской думой, старика Барамзина убил палкой рабочий ассенизационного парка. Гольдберга растерзали ломовые извозчики, а толпа разбежалась. Но на другой день в городе снова ходили по улицам люди с красными флагами и люди с портретами царя. Была брошена бомба, взрывом ее оторвало ногу конному полицейскому, ранило еще несколько человек и убило еврейку-гимназистку. Вообще — делали всё, что считалось необходимым делать в те безумные дни. Я, внутренно разбитый, больной, не выходил на улицы.

С неотразимой силою вспомнил я речи учителя Новака и понял, что он говорил великую, важнейшую правду.

«История — дело единиц, результат творчества героев».

Было очевидно: людьми руководит человек. Толпу рабочих вел хромой старик, жалкий старик. Но ничтожество этого героя объяснялось ничтожеством толпы, и я не мог отказать в героизме человеку, который, ведя людей, может быть, на смерть, идет первым впереди их.

Я долго и хорошо думал на эту тему. И естественно, что, не будучи «героем», я стал искать героя, чтоб честно служить ему, чтоб спрятать около него мою жизнь. Но — кто этот герой и где он?

Мне показалось, что я найду его в лице полковника Бер. Его тайная, опасная деятельность по охране государственного порядка отвечала и моему настроению и тем вкусам, которые с отрочества были развиты у меня чтением уголовных романов. Полковник был и внешне обаятелен: высокий, сильный человек, с породистым лицом, его серые глаза спокойно улыбались, говорил он снисходительным тоном, и в его шутках звучала насмешливость смельчака. Рассказывали, что он, переодетый рабочим, загримированный, лично посещал собрания революционеров и что в их среде у него была любовница.

Я предложил ему мои услуги. Бер долго выспрашивал меня о моей жизни, знакомствах, и ответы мои не удовлетворили его. Без сожаления, как я это чувствовал, он сказал, что хотя у меня не плохая позиция среди чиновников, однако ему кажется, что я слишком скромен, застенчив и недостаточно гибок.

— Вам трудно будет проникнуть к революционерам, вы чрезмерно прямолинейны. Но и проникнув к ним, вы, наверное, недолго удержитесь среди них, вас хватит на один, два раза.

В словах его было что-то скучное, ремесленное, пожалуй, он говорил, как охотник говорит о зверях:

— Революционеры — парни очень ловкие, я вам скажу! Это весьма неглупые парни.

Подумав, раскуривая сигару, он предложил:

— Осведомляйте меня, что думают в кругу ваших знакомых, годится и это.

А провожая, неожиданно и устало сказал:

— Правду говоря — всё это, батенька, не то! Не то. Дело — очень просто: нас хотят ограбить, раздеть догола, а мы предлагаем снять с нас пиджаки, но оставить рубахи. И, если мы хотим жить, как жили, нам необходим решительный человек, способный совершить чудо, хотя бы чудо жестокости! Вот и — всё.

Я ушел от него, поняв, что он не тот, кто мне нужен, и вскоре написал Новаку письмо, изложив мое настроение и желания мои. По статьям либеральных газет я знал, что Новак играет видную роль среди мо-

нархистов, и был уверен, что получу от него хороший совет. Я получил телеграмму в три слова:

«Выезжайте немедленно жду».

И вот я снова пред этим человеком. Пять лет не видал я его, но он не изменился за это время: всё так же треть его детски маленького лица скрывали темные очки, так же неряшливо был завязан галстух, и как будто все эти годы он ни разу не снимал с плеч сюртука, не переменил брюк. Он сильно похудел, потемнела кожа щек и на лбу, а редкие, почти незаметные волосы на голове приняли цвет пепла. Даже комната его не отличалась от полутемной конуры, которую он занимал в нашем городе, так же темна, завалена книгами, и стол посреди ее. Только окна ее смотрели не в сад, а упирались в стену каменной ямы, в стене — арка, проезд на другой двор, над аркой — окно с грязными стеклами. Очень уныло и жутко.

Оглушенный бешеным гулом огромного города, ослепленный его туманом, я сидел у стола и душевно отдыхал, слушая тихий, знакомый мне голос. Был день, часа три, но на столе среди книг уже горела лампа, а Новак, сунув руки в карманы, качаясь, шаркая растоптанными туфлями, ходил по комнате, спрашивал меня:

— Чего хотите, что защищаете вы?

Не думая, неожиданно для себя, я нашел точные слова ответа:

— Я защищаю себя от всего, что враждебно мне.

— Так,— сказал он, остановясь предо мною и наклонив голову.— Именно — так. Это — ответ человека.

В крепких формах он повторил всё то, знакомое мне, над чем я последнее время упрямо и много думал. И затем, присев на край стола, нагнувшись надо мною, отбивая ногою ритм речи, он сказал приблизительно следующее: неглупые, честолюбивые люди, не имея в жизни места, достойного их, люди, слишком уверенные в силе разума и забывающие неразумность жизни, стремятся к власти,— законное стремление всякого человека, который сознаёт себя значительнее, сильнее обыденных людей. Но они делают ошибку, которая неизбежно будет иметь роковые последствия для всей медленной и

трудной работы вождей человечества, уверенно организующих государства на незыблемых основах взаимопомощи. Ошибка в том, что социалисты, революционеры, возбуждая в массах волю к власти, думают, что они возбуждают энергию разума, тогда как на деле ими разжигаются только инстинкты: зависть, злоба, месть.

— Все инстинкты,— сказал он и, выдернув руки из карманов, поднес к лицу моему десять крючковатых пальцев.

— В массах, в народах нет инстинкта социальной цели, нет его, он еще не развит. Человеку массы не нужно государство, так же не нужно, как мне и вам. Но я и вы — сознательно миримся с необходимостью государственной организации, народу же это сознание чуждо. Все люди — анархисты по природе своей, и чем дальше, тем более анархисты,— так. Но человек знает, что для безвластия еще не наступило время. Оно наступит не ранее, когда массы раздробятся на единиц, сознающих силу свою, свое значение и право жить по законам духа своего.

Еще ниже наклонясь ко мне, он спросил:

— Вы понимаете, почему именно преступна ошибка социалистов? Понимаете, почему именно монархия, безжалостная, бестрепетная власть,— всего быстрее может привести нас к анархии, безвластию, к абсолютной свободе личности? Подумайте, и вам станет ясно, что это не парадокс. Все новорожденные истины кажутся парадоксами, а самая изумительная из них — та, что человек пребудет врагом людей до поры, пока людские массы не раздробятся на миллионы самодовлеющих личностей.

Он соскользнул со стола и, шагая по комнате, длинный, плоский, как тень, казался в сумраке существом не этого мира. Было в нем что-то призрачное, и напоминал он одного из тех отреченных, страшных людей, чьи образы неясно мелькали предо мною в книгах, чья жизнь всегда была одинока, непонятна людям, а судьба — безжалостна.

Он строго советовал, вернее — приказывал мне читать Достоевского, Константина Леонтьева, Ницше.

— Так,— говорил он.— Именно — этих! Анархи-

стов — по существу духа, монархистов — по сознанию необходимости быть таковыми.

Потом он сообщил мне, что есть человек, которому нужен скромный и верный секретарь.

— Теперь у него работает Рудометов, помните — наш?

— Рудометов? — спросил я.

— Так. Рудометов. Но это человек рассеянный, небрежный. И к тому же он хочет жениться... Впрочем — он талантлив.

«Рудометов! — думал я, шагая в тумане, бессильно освещаемом радужными пузырями электрических фонарей.— Рудометов — это человек, который сказал, что у меня плохая голова. Теперь кто-то должен убедиться, что моя голова лучше головы Рудометова».

Этот кто-то оказался скуластым человеком с густою, черной бородой и неуклюжим телом медведя. В бороде его топырилась толстая, очень мясная нижняя губа, а верхнюю скрывали тяжелые усы. Неприятны были его уши, очень большие, они торчали настороженно, как будто слушая то, что я думаю, а не то, что говорю. Смотрел он исподлобья, тем взглядом, направленным вдаль, какой я иногда замечал у машинистов железнодорожных паровозов. Руки же его были так выхолены и вымыты, что кожа их почти блестела, точно кожа лайковой перчатки.

Обтачивая ногти, он сказал мне четко, спокойно:

— Вы отлично рекомендованы и должны оправдать это. Я требую от вас исполнительности и скромности, больше — ничего. Прошу иметь в виду: я строг.

Он внимательно притиснул пальцем кнопку электрического звонка, мне показалось, что он сделал это с тем особенным удовольствием, с каким звонят дети. Вошел Рудометов. Мой патрон кивком головы указал ему на меня:

— Ваш заместитель. Вы только что явились, кажется?

— Да,— ответил Рудометов.

В маленькой, заставленной шкафами комнате, с одним окном на площадь, он изумленно воскликнул:

— Вы?

— Как живете? — спросил я.

— Вы,— повторил он, явно иронически осматривая меня.— Это странно.

Я не спросил его, почему — странно, а он не ответил на мой вопрос. После я узнал, что он тоже ушел из университета, не кончив учиться, и почему-то уехал в Персию, где жил года два. Раскладывая предо мной пачки каких-то бумаг, он озабоченно сказал:

— Возможно, что тут завалялись мои личные бумажонки, в желтом пакете, так, если вы найдете их,— позвоните мне, я зайду за ними.

И, закурив папиросу, натягивая перчатку, он небрежно и, конечно, неискренно пожелал мне успеха. Да. Люди трусливые и застенчивые очень наблюдательны.

Я подошел к окну, посмотрел вниз, на площадь,— по ней во все стороны шагали люди, некоторые — подпрыгивая, точно лягушки. В тумане все они казались широкими, круглыми, точно разбухли, и мне было приятно, что я не среди них, а над ними, один в строгой, чистой и сухой комнате, куда почти не достигал воющий шум странного города.

Затем я начал разбирать бумаги, знакомясь с ними и очень желая найти пакет Рудометова. Не нашел. Почти два года я надеялся, что этот желтый пакет попадет в мои руки и я узнаю, почему Рудометов говорил о нем так озабоченно, чего он боялся. Но Рудометов утонул, катаясь на яхте. Я ожидал, что он должен бы кончить хуже.

Приятно было разбирать бумаги, читая некоторые. Меня очень увлек чей-то проект реорганизации государства: предлагалось разделить Россию на области и поставить во главе каждой из них великого князя, с правами вице-короля. Это напоминало эпоху уделов, полную романтизма.

Увлеченный чтением, я не слышал, как патрон отворил дверь в мою комнату, я очень испугался, когда в тишине раздались его четкие слова:

— Нет надобности читать документы. В папках должны быть описи с подробным перечнем содержания каждой. Это вы и должны знать. Больше этого — излишне и преждевременно.

В таком тоне, спокойно и строго, он говорил минут пять, разглядывая ногти свои, поглаживая тыл одной ладони ладонью другой. Он любил свои руки.

— Вам необходимо всегда иметь пред глазами список лиц, деятельность которых меня особенно интересует. Нужно следить за всем, что говорится и пишется ими и о них.

Я слушал его стоя. Он ушел, не кивнув мне головою, не подав руки. Но я не был задет этим. Мне очень нравилось его спокойствие и механическая точность речи; в неуклюжем его теле и тяжелых движениях я предположил наличие силы, и меня приятно волновала таинственность, окружавшая его.

Шесть лет спокойно просидел я рядом с его кабинетом, в комнате, которая с каждым годом становилась всё теснее, наполняясь бумагами. Несомненно, что за это время в России стало тише, и я имел право думать, что ее укрощает упорная работа моего патрона и моя скромная помощь ему.

Жизнь как будто возвращалась в старое, привычное ей русло и текла более спокойно, более свободно. Ведь свобода — это покой. Ночами на улицах города свободнее, чем днем. Это — не шутка, не ирония, нет! Я рассуждаю, исходя из подлинных, органических, а не выдуманных интересов человека: он хочет жить свободно, и суета мешает ему. Человек тем свободнее, чем дальше от людей.

Несомненно, что мой патрон играл в монархических кругах весьма значительную и, видимо, независимую роль. Он занимал четыре комнаты в огромном пятиэтажном доме, куда было втиснуто население небольшого уездного города. Его квартиру убирала дочь швейцара, Саша, рыжая, тоненькая и гибкая девушка. Он почти никогда не принимал у себя, по крайней мере днем к нему приходили крайне редко и только люди громких имен.

Одинокий, молчаливый, он с десяти часов утра сидел бесшумно у себя в кабинете, писал, читал и разбирал почту, всегда очень обильную. Часть писем, видимо особенно важных, он прятал в стол свой и в тяжелый, старинный шкаф. Ему писали губернаторы, архиереи,

его вызывали к телефону секретари министров, крупные чиновники департамента полиции; он со всеми говорил одинаково и так же привычно властно, как со мною. В три часа он уходил обедать в ресторан, а к вечерней почте всегда аккуратно возвращался домой. Я уходил тоже в три, являлся на вечерние занятия в шесть и сидел до восьми, печатая на машинке длинные письма патрона, письма убежденного сторонника монархии, бесстрастно, но незыблемо верующего в силу ее идеи. Писал он тяжелым языком, длинными фразами, охотно употребляя старомодные и церковнославянские слова.

«А поелику дух бунта суть дух явного безумия, истоком коего является нарочито возбуждаемая врагами священного порядка жадность и зависть к внешним удобствам жизни, к материальной стороне ее, то было бы существенно полезно, если б Вы, достоуважаемый Владыко, предписали по епархии...»

Большинство своих писем и докладов патрон отправлял на просмотр Новаку, оттуда они возвращались испещренные поправками, богато иллюстрированные фактами истории и цитатами.

Я понимал его роль как работу добровольного и независимого наблюдателя за течениями революционной мысли. Он зорко отмечал ход ее, весьма искусно скрытый у представителей оппозиции; несколько десятков их имен были выписаны им на отдельной таблице, и я должен был следить по газетам за их выступлениями в Государственной думе, в печати, на лекциях. Он не верил органам правительства, существовавшим для борьбы с революцией, относился к ним пренебрежительно и однажды, провожая Новака, сказал ему:

— В департаменте полиции укрепились грубейшие невежды.

Мне очень спокойно жилось рядом с ним, мне нравилась моя работа. Я быстро научился обнажать скрытые мысли; подчеркивая отдельные фразы и слова, я ловко оголял злую и лживую, но жалящую, разрушающую мысль.

Чаще других посещал патрона Новак. Он приходил, как мне казалось, всегда в дождливые, туманные или вьюжные дни. Удивительно бесшумно ходил по земле

этот почти бесплотный человек, подобный тени. Мне казалась знаменательной и символической его манера держать в карманах брюк сухие, холодные руки,— я видел в этом брезгливое нежелание физически касаться жизни, и всё более ощутимой, значительной становилась для меня сила его духовного влияния на жизнь. Эту силу я чувствовал во всей прессе, защищавшей основы и принципы единовластия, и для меня было ясно, что этой силою живет и дышит мой патрон — машина, работавшая энергией Новака.

Однажды, прощаясь в моей комнате с патроном, Новак сказал вполголоса, как всегда:

— И надо еще раз указать, что во все века у всех народов наиболее острые заблуждения мысли разумно карались смертью. Именно — смертью.

— Это — делается,— заметил патрон.

— Так. Но делается тайно, прикрыто и потому не имеет устрашающего характера. Нужно восстановить публичную казнь. Они — казнят публично, их палачи бесстрашны. Бесстрашие утверждает справедливость деяния. Именно — так. Численно слабые действуют открыто и этим придают простому убийству ореол подвига, сияние героизма. Количественно сильные, имея право казни, потому что они—большинство,— казнят втайне, прячась, и этим как бы превращают естественный, законный акт самозащиты в преступление. Понимаете? Тут скрыта нелепость, идиотизм! И — не трусость ли?

Остановясь у двери на лестницу, он добавил:

— И — пытки! Публичные пытки. Всенародно, при свете дня. Так.

Мой патрон нежно гладил руки и кивал головою, а когда Новак ушел, патрон сказал, проходя мимо меня:

— Учитель ваш — необыкновенный человек.

О да! Я это знал. Когда я видел Новака, мой страх пред людьми исчезал, заменяясь почти благоговейным страхом пред учителем, который, говорю я, становился всё более бесплотен и похож на тень.

Я уважал патрона. Жизнь его была, в моих глазах, подвигом верующего, который посвятил все силы свои великому делу укрощения людей. Я верил, что он

очень значительно помогает править жизнью, одиноко сидя в третьем этаже дома на углу двух улиц, в кабинете, окнами на площадь, распростертую глубоко внизу, усеянную обыденной суетой сокращенных, притиснутых к земле людей. Да, он был машиной, работал силою Новака, но его строгое, чугунное спокойствие восхищало меня. Нравилось мне, когда он ровным голосом четко произносил одни и те же слова, туго связывая ими всегда одни и те же мысли.

Он пошатнулся в моих глазах неожиданно, и это я принял, как удар в сердце.

Когда в Киеве агент охраны государственного спокойствия застрелил министра, патрон ворвался в мою комнату, бледный до синевы; закрыв глаза, размахивая неприятно блестящими руками, он топал и дико, хрипло кричал:

— Убили, чёрт возьми... Я говорил, я же писал! Вы слышите? Убили, а? Вот они, а? Охрана? Всех — под суд! Всех...

Мне слишком хорошо было знакомо чувство страха, и я тотчас понял, что эту ярость вызвал страх. Он убежал в кабинет свой, так хлопнув дверью, что в моей комнате сорвалась и упала карта России. Потом он ушел из дома, забыв взять трость.

Разумеется, мое отношение к нему изменилось. Я не мог забыть его лицо, синее от яростного страха, и начал относиться к нему уже не с той безмолвной покорностью, как раньше относился. Раза два я попробовал исправить язык его многословных писем, он как будто не заметил этого. Тогда я начал заговаривать с ним на темы дня,— это изумляло его, он смотрел на меня, мигая калмыцкими глазами, и мычал в ответ мне.

Когда он написал министру свои соображения о необходимости закрыть Государственную думу, я указал, что он, видимо, не замечает, как этот новый министр кокетничает с оппозицией. Его уши побагровели, и он, сердитым криком, спросил:

— Вы — кажется — намерены учить меня?

Но, уйдя к себе в кабинет, он, минут пять спустя, открыл дверь и, стоя на пороге, сказал внушительно, мягко:

— Действительные намерения министра точно известны мне.

Я молча поклонился ему.

— Вообще же, Макаров, меня вполне удовлетворяет ваша работа. Она становится всё более сознательной. Благодарю вас.

Я торжествовал, и мне невольно подумалось, что он испугался окрика своего, испугался, что обидел меня. С этого дня он стал относиться ко мне не так механически, как относился, он почувствовал пред собой человека.

Вскоре он даже спросил меня, тоном, каким спрашивают: «Вы нездоровы?»:

— Вы — женаты?

— Нет.

— Это — хорошо,— сказал он.— В наши дни жена — лишнее для серьезного человека.

И, подумав, добавил:

— Мы — в походе! Да, мы, как солдаты, в походе. И — на часах...

Как-то утром, пожимая мою руку, он озабоченно спросил о моем отношении к воинской повинности.

— Весьма возможно, что мы будем воевать.

Я поблагодарил его, изумленный, обрадованный,— война — хирургическая операция, она могла вырезать больные места на коже государства. Я заметил, что, если мы победим на войне, мы победим и революцию.

— Конечно,— сказал он, поглаживая руки.— Нужно думать так: победим. Нужно верить в это. В данном положении война — несомненное благо для монархии.

Тогда я выразил надежду, что первыми на фронт будут отправлены политически неблагонадежные элементы,— учащаяся молодежь, затронутые пропагандой рабочие,— да?

— Это — идея,— сказал он, мигнув и опираясь о стол мой рукою.— Это — разумно! Если воспользоваться данными охранного отделения, департамента полиции, списками фабричной и заводской администрации... А-а-а...

Тут впервые я видел, как он улыбается: его мясная нижняя губа тяжело отвисла, усы ощетинились и обнажили полоску мелких, плотно составленных зубов, он

закрыл глаза, но волосатое лицо его осталось неподвижным, лишь на лбу две-три секунды дрожали морщины.

Не хочу говорить о кошмаре этой дьявольской войны, об этой величайшей и пагубной ошибке монархии. О, если бы мы пошли с Германией против Европы! Мы раздавили бы революцию, как грязную корзину гнилых яиц, и весь мир был бы в наших руках, весь мир! Мир не знает ошибки более роковой. Думать о ней — больно, думы о ней — сжигают душу.

Предо мною война с убийственной ясностью обнажила горестное и, должно быть, уже органическое уродство страны, в которой, среди множества миллионов людей, не нашлось ни одного человека, способного овладеть хаосом, овладеть хотя бы ценою уничтожения половины тех, кто может только есть, пить, спать, родить себе подобных, ненужных и, ради этой скотской цели, готовы уничтожить всё, что не влезает в их бездонные, жадные глотки.

Затем я наблюдал, как растет смута,— об этом кричали газеты всех партий, одни — с отчаянием, другие — с радостью. Смута победоносно звучала даже в тех словах, какими оппозиция в прессе и в Думе жаловалась на реакцию. Эти жалобы были более фальшивы, чем всегда, и становились всё более назойливы, нахальны. Везде и всюду чувствовался ядовитый туман и чад нарастающего бунта, и я понимал, что это уж нельзя рассеять письмами патрона моего к архиереям, губернаторам, министрам.

Возникли «общественные организации», какие-то явно разбойничьи союзы городов, земств,— жадная моль, которая быстро разрушала горностаевую мантию самодержавия.

Глядя из окна моей комнаты вниз, на площадь, я видел сокращенных людей иными, чем они были раньше,— такие же низенькие, надутые туманом, они двигались быстрее, бойчей. В ресторане, где я обедал, всё возрастала смелость суждений о жизни государства, и ясно было, что источник этой смелости — Государственная дума, быстро развращавшая умы, заражая их дерзостью глупой критики.

Вечерами я любил сидеть в кинематографах, наблю-

дать из темноты безмолвную жизнь серых теней,— жизнь, которая так интересна выдуманными опасностями или бесподобной глупостью, призрачную жизнь, которая не требует, чтоб о ней думали. Кинематограф действует прекрасно, стирая с души впечатления реальной жизни, как пыль стирается тряпкой.

Но и здесь я замечал нечто намеренно подтасованное и враждебное: стали показывать города, более благоустроенные, чем наши, чтоб, глядя на чистенький, игрушечный городок маленького государства, русские люди учились сравнивать и критиковать. Недовольство жизнью возбуждалось всюду, всеми способами, и я вспомнил слова полковника Бер: это можно было прекратить только чудом, хотя бы чудом жестокости, но — ослепляющим чудом.

Мой патрон — не тот человек, который мог бы ослепить людей, нет, не тот! Я всё более остро понимал это. И, чувствуя себя обманутым, обиженным, пошел к Новаку поделиться с ним моими мыслями.

— Так,— сказал он, стоя у окна, в углу комнаты, тонкий и длинный.— Вы чувствуете именно так. Человека — нет! Нет человека. Везде — теоретики, критики, а действенного, волевого человека — нет!

Тусклые стекла окна наполняли комнату сероватозеленым сумраком, в нем Новак казался еще менее ощутимым. Лицо его было мертвее, чем всегда, голос звучал уныло. Он не мог сказать мне ничего, что ободрило бы меня, я ушел удрученный и на улице испытал острый, почти безумный приступ жестокости, меня охватила вдруг жгучая дрожь, мне захотелось крикнуть прохожим, как собакам: «Цыц!»

Потом я долго сидел в полукружии гранитной скамьи, на берегу Невы, и думал, что если б я обладал властью, я знал бы, что надо делать с людьми. Ведь все люди живут страхом нищеты, голода, уничтожения, страхом смерти, а всё остальное приписывается — именно приписывается — им сочинителями «идей» только для того, чтоб утешить и этим обмануть их, чтоб они не обезумели, не озверели со страха и не перестали работать на человека, поняв, как бессмысленна и страшна их жизнь.

Вероятно, именно в этот вечер родились у меня мысли, раньше незнакомые мне. Я подумал, что, в сущности, ведь и человек тоже трус, кто бы он ни был. Может быть, он боится не того, чего боятся люди, но — он боится людей. Их так много, и они так чужды ему. Страх пред людьми и дает инстинкту жизни в человеке право быть безжалостно жестоким с людьми, неоспоримое право, потому что корень его — в инстинкте самосохранения. Иван Грозный был, наверное, трус, как все так называемые тираны. Политика трусов всегда политика жестокости, все политики безжалостны. Это — законно, иначе не может быть. Только тот, кто всегда чувствует опасность жизни и умеет хорошо бояться, способен действовать решительно. Может быть, героизм «героев» — просто крайнее выражение отчаяния человека? Даже наверное: героизм есть отчаянный поступок испугавшегося человека.

Да, если б я обладал властью, я оставил бы в мире страшную, ослепительную память о себе, я затмил бы славу всех тиранов мира, я бы выстирал и выгладил людей, как носовые платки.

Мне кажется, что именно с этого вечера жизнь стала особенно быстро изменяться, принимая всё более мятежный характер. Что-то ироническое явилось на плоских и, в сущности, убийственно однообразных лицах людей, что-то преступное и уверенно ожидающее. Чего? Какие соблазнительные видения возникли в их ленивых мозгах? Может быть, им приснилось, что они стали сильными, бесстрашными и могут сделать какой-то шаг в сторону от привычного пути? Может быть, они ищут человека, который указал бы им, как сделать этот новый шаг, ищут вождя, который взял бы их своей силой и повел за собою?

Затем наступили месяцы, когда я уверенно ждал, что власть над людьми возьмет мой патрон. Эта уверенность была и у него. Он подтянулся, похудел, стал еще более часто и крепче гладить свои руки, в калмыцких глазках его вспыхнул жуткий синий огонек. И всё чаще видел я, как весело и голодно блестят его оскаленные зубы. Ночами я думал о том, что меня ждет, и ощущал в груди трепет роста той силы отчаяния, силы стра-

ха, которая создает героев и командует жизнью миллионов людей. Случись то, чего я ждал, и, говорю я, люди увидели бы человека поистине страшного.

Но случилось иное. Дома города изрыгнули на улицы всех людей, на площадь вывалилась раздраженная темная масса живого, голодного и жадного мяса. Красные пятна флагов, выстрелы, и снова, и еще пятна флагов,— мясную лавку напомнили мне они.

Потом в комнату мою, изломанно согнувшись, ворвался Новак и, захлебываясь словами, присвистывая, захрипел, зарычал, толкая меня в кабинет патрона:

— Что вы сидите? Рвите, жгите... Вы сошли с ума? Р-революция! Он — арестован! Где мои письма? Р-рвите-уп-уп-уп-жгите... В камин...

Он упал в кресло у камина, снял очки и, вытирая стекла их о колено, застонал:

— Да — что же вы? Уничтожайте, рвите, жгите...

Впервые я увидал его глаза: они были маленькие, бесцветные, без ресниц и воспалены,— спрятаны в таких красненьких подушечках, должно быть, полных гноя. Я очень долго и пристально рассматривал их, потом взял его за ворот и приподнял с кресла.

— Негодяй! — сказал я в глаза ему,— ноги у меня дрожали, и в груди моей я слышал этот режущий душу зимний свист, тонкий и злой.

— Негодяй! — сказал я, встряхивая учителя.— Воспитатель героев, а? Подлец,— где твои герои?

Он подпрыгивал, царапал руки мои кривыми пальцами и хрипел:

— Не смей... я не виноват... революционер... не смей, изменник...

— Негодяй,— говорил я ему уже с наслаждением, неведомым мне до этих минут.— Я боялся тебя, я тебе верил, верил, что ты — сильный, страшный. Во что же мне верить теперь, чего бояться? Ты убил во мне страх, ты человека убил во мне, негодяй!

И, оттолкнув его, я ушел.

...Около года я сидел в тюрьме. Там познакомился с группой бандитов, это освободило меня из тюрьмы и дало мне место агента уголовного розыска. Убивал людей,— это делается очень просто. Теперь я сам бандит. Могу быть палачом. Всё равно.

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ РОМАНЕ

Наконец гости уехали, с ними уехал муж; прислуга, утомленная суетою шумных дней, стала невидима, и весь дом как будто отодвинулся в глубину парка, где тишина всегда была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти.

Женщине — лет двадцать семь; она маленькая, стройная, светлая, у нее овальное, матово-бледное лицо; глаза, цвета морской воды, несколько велики для этого лица, а выражение глаз — старит его; осторожно прикрытые длинными ресницами, они смотрят на всё вокруг недоверчиво и ожидающе.

Есть такие женщины, они всю жизнь чего-то ждут, в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьезно, но не обнаруживая заметного волнения, и глаза их, в такой час, как бы говорят:

«Всё это вполне естественно, а — дальше?»

Было бы ошибкой назвать такую женщину рассудочной и холодной. Выйдя замуж, она честно любит мужа и терпеливо ждет, когда же, наконец, вспыхнет еще какая-то, может быть, «бесчестная», но иная любовь? Такие женщины нередко уходят от мужей с другими мужчинами, оставляя мужу коротенькую записку карандашом и ровным почерком:

«Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою».

«Прости меня» — они пишут не всегда. С другими мужчинами они ведут жизнь иногда веселую и «бурную», иногда — тяжелую, непривычно нищенскую, но в обоих

случаях ждут еще чего-то. Говорят они мало, неинтересно, философствовать вслух — не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей родят неохотно. После всех значительных моментов их жизни странные глаза таких женщин смотрят так, как будто безмолвно спрашивают: «И — только?»

Затем глаза темнеют, хмурятся упрямо, договаривают: «Не может быть!»

И снова такая женщина чего-то ждет, ждет до той поры, пока уже ничего не нужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты памяти другим путем.

Одной из таких мало приятных женщин и была героиня романа, о котором я рассказываю, потому что не умею написать его так хорошо, как хотел бы.

Окутав плечи пуховым пензенским платком, она вышла на террасу дачи и села там в плетеное, скрипучее кресло. Багровые листья клена и желтые берез лежали у ног женщины на трех ступенях террасы и на полукруге площадки пред нею. Между деревьев парка просвечивало красноватое небо, и всё вокруг обняла прозрачная, чуткая тишина осени, как-то особенно музыкально, умело и необходимо подчеркнутая струнным звоном синиц. В жемчужном зените неба неподвижно застыл бледный круг луны.

Прикрыв глаза, женщина занялась уборкой души,— гости и муж насорили там множество слов о Толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции, об Анатоле Франсе, старом фарфоре, таинственной душе женщины, о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипы Фомина и еще о многом другом. Всё это нужно было вымести, выбросить из памяти, и лишь очень немногое требовало, чтоб женщина внимательно и ласково подумала о нем.

Поперек одной из половиц террасы глубокий след удара острым,— это писатель Фомин рубил змею топориком для колки сахара. Неуклюжий, тяжелый человек, в эту минуту он был ловок, точно кошка, и так воодушевлен, как будто возможность убить змею явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топорище переломилось.

В тот же день вечером, здесь, на террасе, он читал начало своего романа о человеке, который усердно старался понять, хороший он человек или плохой, и, наделав немало дурного и хорошего, так и непонял ничего, а потом умер нудно и печально, одинокий, чужой сам себе.

Но о его смерти писатель рассказал, читал же он только четыре первые главы романа,— в них описывалось, как молодой человек Павел Волков приехал в поместье своей сестры и невзлюбил ее мужа, грубого до цинизма, считавшего себя энергичным культуртрегером. Эти главы показались женщине скучными, но хорошо был описан летний вечер и настроение героя, который, сидя в парке на скамье и стараясь уязвить женщину, ушедшую от него с другим, безуспешно пытался сочинить злые стихи и уже сочинил две строчки:

Луна любуется игрой лучей своих
И лжет, как женщина, влюбленная в двоих.

А дальше у него ничего не слагалось, и он очень сердился на себя за свою бездарность.

В этот приезд Фомин более настойчиво, чем всегда, ухаживал за нею, интересно говорил о людях и своем одиночестве среди них, но она уже знала, как редко встречаются мужчины, которые, говоря с женщиной, приятной и желанной, умели бы молчать о своем одиночестве в мире; она знала, что почти нет людей, которые любили бы хвастать своим счастьем. И чем внимательнее слушала она писателя, тем более неясным казался он ей и наконец внушил странное впечатление: это — не человек, а сцена, на которой непрерывно разыгрывается бесконечная, непонятная пьеса. Внешне Фомин был достаточно характерен и выгодно выделялся среди людей; плотный, некрасивый, скуластый человек, очень рассеянный, детски небрежный к себе, он смотрел на нее греющим взглядом серых, но мягких глаз, говорил глуховатым, но гибким голосом и, чувствуя этот свой недостаток, уснащал речь богатой мимикой, обильными жестами, даже иногда притопывал ногами, как пианист, нажимающий педали.

И в то же время его как будто не было, а была толпа разнообразных мужчин, женщин, стариков и детей, крестьян и чиновников, все они говорили его голосом, противоречиво и смешно, глупо и страшно, скучно и до бесстыдства умно, а — где был сам Фомин среди них и каков именно сам он,— трудно понять.

О своей любви к ней он говорил этой женщине наивными словами юноши, который впервые почувствовал власть силы, преображающей душу, а через несколько дней он же говорил об этом с цинизмом человека, который уже не верит сам себе и в последний раз хочет испытать: не поможет ли ему увлечение женщиной усыпить едкое недовольство самим собою?

Ей было очень ясно, что он не наивен и не циник, не добр и не зол, не так умен, как талантлив, и она чувствовала, что истоком недовольства собою для Фомина служит его неудовлетворенное честолюбие. В конце концов у нее образовалось недоверчивое и осторожное отношение к нему: это человек, которого, в сущности, нет; хотя физически он существует, но того основного, что можно было бы назвать его душою, душой Фомина, окрашенной хотя бы и пестро, радужно, а все-таки в какие-то свои цвета, такой души у этого человека, видимо, нет. Это — не человек, а передвижной театр, в котором и режиссер и все артисты воплощены в одном лице. Очень интересно, а — ненадежно, непрочно.

Женщина улыбнулась, глядя в глубину парка,— забавная мысль смешила ее: ведь невозможно любить в одно и то же время целую толпу разнообразных мужчин, хотя, может быть, очень интересно отдаваться многим, воплощенным в одном лице. Но вообще женщина, если она не хочет искалечить себя, не должна любить писателя, не должна. Покончив на этом с Фоминым, она ощутила чувство досады против сочинителя, но это чувство быстро сменилось недоумением.

Прищурясь, она смотрела в парк, там, между ветвей и стволов берез, багровели разнообразные фигуры, четко вырезанные на фоне вечерней зари, а на скамье сидел человек в белом костюме, в шляпе-панама, с тростью в руке.

«Это — кто же? — спросила она себя.— Ведь — все

уехали. И — в белом костюме, не по сезону. Все наши— уехали»,— еще раз напомнила она себе.

Но было неприятно ясно, что один остался. А может быть, это незнакомый зашел в парк и сидит, любуясь отблесками зари на воде пруда? Но почему он в летнем костюме? Вот он чертит по земле тростью, и женщине показалось, что слышно, как шуршат сухие листья. Через несколько минут решила послать горничную, посмотреть: кто этот человек?

Встала,— заскрипело кресло; звук очень ясный в тишине, но человек не услыхал его. Тогда женщина сама спустилась со ступенек террасы на холодную землю, пошла по дорожке и заметила, что она неестественно быстро подошла к человеку, а его фигура не стала вблизи ни крупнее, ни отчетливее, оставаясь такою же, какой она издали увидела ее.

Это был, разумеется, один из бесчисленных фокусов вечернего освещения, но более странным было то, что человек этот, красновато освещенный огнем зари, не давал тени. И листья, которые он сгребал своей тростью, не шуршали, более того — они не двигались, когда конец трости касался их. Затем женщина почувствовала, как будто нечто, неосязаемо обняв ее, кружит в медленном вальсе.

Человек поднялся встречу ей, вежливо, но как-то неумело снял шляпу, поклонился и спросил негромким, сухо шелестящим голосом:

— Простите,— это вы и есть?

Человек молодой, элегантно одет, но довольно бесцветный, с длинным сухим лицом, голубоглазый, с маленькой русой бородкой. Что-то неестественное, полупрозрачное, стеклянное было в его неподвижном лице. Он не напомнил женщине никого из ее знакомых, но казалось ей, что она видит его не впервые.

— Странный вопрос,— сказала она, усмехаясь.— Конечно, это — я.

— Да?

Человек тоже механически усмехнулся, от этого лицо его сделалось жалким.

— Значит,— вы и есть та женщина, которую я должен встретить?

Он тотчас же добавил, беззвучно ударив тростью по своей ноге:

— Впрочем, я не уверен, должен ли встретить здесь женщину...

Женщина пристально смотрела в глаза его,— такие глаза бывают только на портретах, необходимо некоторое усилие воображения, чтоб признать их живыми. Видимо, этот человек очень застенчив, и, вероятно, тут какая-нибудь конспирация,— это один из таинственных друзей мужа или Веры Ивановны скрывается от жандармов, и вообще — это политика. Но как нелепо нарядили его!

— Вы от Веры Ивановны? — спросила женщина, он ответил тоже вопросом:

— Она тоже участвует в романе?

— В романе? Что вы хотите сказать?

Человек мотнул головой.

— Я не помню там женщины с таким именем...

— Где — там?

— В романе.

«Сумасшедший?» — мелькнула у нее догадка, и, плотнее кутаясь в платок, она сказала суховато:

— Я не понимаю: почему, о каком романе говорите вы? И, мне кажется, я имею право спросить: кто вы?

Человек взглянул на нее пристально, его нарисованные глаза выразили явное недоумение, но он тотчас же улыбнулся и согласно кивнул головою.

— Разумеется, это ваше право. Я думаю, что с этого — вот с этой встречи — и начинается роман. Должно быть, так и предназначено автором: сначала вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно, а затем... Я не знаю, что будет дальше, вероятно, для меня всё это кончится новой драмой...

«Сумасшедший!» — решила женщина, внимательно слушая медленную, бесцветную речь и следя за его лицом,— лицо становилось как будто живее, менее плоским. Сама же она чувствовала себя очень странно, как будто засыпала, и у нее явилось желание слушать его молча, не прерывая.

— Меня крайне удивляет, что вы спрашиваете о романе,— продолжал он.— Скажите: ведь вы не мистифи-

цируете меня, нет? Вы — та самая женщина, вы ведь имеете определенное отношение к Фомину, точнее — к его роману, да?

Женщина едва удержала смех, моментально сообразив:

«Ах, вот что! Это — Фомин. Он узнал, что я буду одна, не мог приехать сам и затеял какую-то мистификацию...»

— Да,— сказала она, улыбаясь.— Я знаю этот роман. И — что же?

Человек еще более приятно ожил, говоря:

— О, тогда всё хорошо! Но, однако, я не думал, что это так трудно.— И почти любезно он добавил, тоже улыбаясь:

— Конечно, вы — та самая женщина, иначе я, наверное, и не мог бы встретить вас...

— Становится свежо и сыро,— может быть, мы пойдем в комнаты? — предложила она.

— Благодарю вас,— сказал человек, кланяясь и улыбаясь.

Странно улыбался он,— улыбка являлась на лице его как будто не изнутри, а извне. Шел удивительно легко, осенние листья не шуршали под его ногами в белых ботинках. Но самым странным было то, что фигура его не давала тени, тогда как пред женщиной ползла, толчками и покачиваясь, длинная тень, ложась на траву то справа, то слева узкой дорожки.

«Как это он делает?»— думала она, искоса наблюдая за ним, и ей казалось, что он стал неестественно плоским.

— Давно видели вы Фомина?

Взглянув на нее с явным недоумением, человек ответил:

— Года два тому назад...

«Шутит он — скучно»,— отметила женщина.

— Вы одеты не по сезону легко...

— Это — Фомин,— ответил он, пожав плечом.— Ведь я должен был действовать летом...

Ей становилось всё более неловко и скучно.

— Итак — кто же вы? — спросила она еще раз и заметила, что этот вопрос, так же как вопрос о Фомине,

снова вызвал его недоумение. Сильно хлестнув тонкой тростью по воздуху,— причем она не услыхала свистящего звука,— человек натянуто и некрасиво усмехнулся.

— Странно, что вы спрашиваете об этом,— забыли? Позвольте напомнить. Я — Павел Волков. Павел Нилович Волков, сын инженера и тоже гражданский инженер, человек бездеятельный, неудачник, мне тридцать два года, я богат. Шесть лет тому назад женился по любви, через четыре года жена ушла от меня, оставив записку карандашом: «Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою». Теперь она живет где-то на Кавказе, но, кажется, я не должен встретиться с нею, а впрочем, это мне неизвестно. И это всё, что я знаю о себе, остальное еще не дописано, не создано...

Он говорил, точно паспорт читая, и только в конце слов женщина услыхала что-то близкое возмущению или досаде.

Сама она, тоже чувствуя досаду против него, думала:

«Если это не сумасшедший, воображающий себя героем неудачного романа Фомина, так это человек бездарный и неумный».

Входя на террасу, она спросила его:

— Как вы делаете, что у вас нет тени?

Павел Волков удивился:

— Зачем нужна мне тень? И разве вы, во сне, видите тени? А ведь это — как сон!

— Что — как сон?

— Да вот это, наше с вами бытие,— бытие людей, искусственно созданных для развлечения людей реально существующих.

Он сказал это так просто, что женщина подумала:

«Кажется — я ошибаюсь, это очень тонкий, очень искусный актер. Так — понятнее, почему именно его послал ко мне Фомин».

— Ах, вот что! — воскликнула она, смеясь.— Вы — не реальный человек?

И — смутилась, опустила глаза,— этот человек смотрел на нее с искренним испугом, и казалось, что его колеблет, изгибает ветер, неощутимый для нее, неестест-

венные движения его тела напоминали именно колебания ткани на сквозном ветре.

— Как странно, что вы спрашиваете об этом! — говорил он.— Право же, мне кажется, что вы мистифицируете меня. Или вы созданы Фоминым еще более небрежно, чем я, и потому забыли ваше назначение, вашу роль? А может быть, вы реализовались каким-то способом, недоступным мне? Или же Фомин окончательно дописал вас, забыв обо мне? И вы уже совершенно законченный образ?

«Нет, это очень хороший артист»,— думала женщина, слушая его тревожную речь. Она чувствовала себя в состоянии человека, который грезит против воли своей и должен преодолеть это состояние.

— Вы молчите? — слышала она.— Мне приятнее думать, что молчите вы потому, что вспоминаете, да?

Женщина кивнула головою.

— Позвольте помочь вам вспомнить начало романа...

— Я — знаю его,— сказала она.

— Тогда — что же?

Помолчав несколько секунд, Павел Волков тихо воскликнул:

— Ага-а! Я понимаю: очевидно, Фомин не успел связать вас со мною... Или он — для вас — заменил меня другим? Но — самое удивительное во всем этом то, что вы — не знаете вашего отношения ко мне и вашей роли в романе.

Наступил момент, когда в женщине вспыхнуло любопытство, и, победив ее смущение, тотчас подсказало ей, как она должна держаться.

— Нет,— сказала она,— я плохо понимаю вашу роль. Расскажите о себе...

— Но я уже сказал всё, что знаю.

— Вы — как бы — не существуете?

— О нет! — возразил он с досадой.— В том-то и дело, в том и несчастие, что я — существую. Для вас — до поры, пока этого хочет Фомин, но я существую уже и независимо от него...

— Понимаю: как Гамлет или Дон-Кихот существуют независимо от их создателей...

Павел Волков поклонился, говоря:

— Приблизительно. Но, разумеется, Фомин — не Сервантес и тем более не Шекспир. К тому же я не закончен. Я вообще в смешном положении. Вы только представьте,— я сидел на скамье, в аллее парка, вот уже два года. Два года! Согласитесь, что это — ужасно нелепо. Дни, ночи, утренние зори, закаты солнца, пыль, зной лета, дожди осени, снег и метели зимы, а я — всё сижу, жду. Мимо меня изредка проходят люди, реальные люди, они говорят о чем-то неинтересном, ненужном; какой-то рябой человек в чесунчовой паре соблазнял толстенькую даму тем, что у него в парниках великолепно вызревают ананасные дыни и, между словами, кусал ей ухо, совершенно как лошадь, а она — взвизгивала тихонько. Страшно глупо всё, надоело, бессмысленно! Сидишь и думаешь: как невероятно скучны, глупы и расплывчаты реальные люди, и до какой степени мы, выдуманные, интереснее их! Мы всегда и все гораздо более концентрированы духовно, в нас больше поэзии, лирики, романтизма. И как подумаешь, что мы, в сущности, бытийствуем только для развлечения этих тупых, реальных людей...

Говорил он тоном человека, который искренно оскорблен, и его сухое лицо стало как будто мягче, симпатичнее, хотя это изменение удобно объясняется теплым сумраком комнаты.

— Я, разумеется, плохо знаю, что такое реальные люди и вообще — что такое реальность? Например: эта комната и всё в ней — это реальность или тоже, как я и вы, что-то другое, эманация Фомина, плод его воображения?

Женщина осторожно коснулась рукою своих глаз, посмотрела вокруг и сказала тихонько:

— Всё это — очень интересно, но несколько утомляет меня...

— Конечно, должно утомлять,— согласился Павел Волков.— Но, знаете, за два года бездействия и неподвижности, ожидая, когда Фомин докончит меня и пустит в дело, в жизнь, для развлечения людей, я как-то уплотнился, что ли, окреп и, кажется, тоже, по структуре моей, стал очень близок к реальному существу. Я почти реален, да...

Женщина почувствовала себя плохо, она уже хотела сказать об этом странному, несомненно безумному гостю, но в это время в двери из внутренних комнат явилась горничная и встала, как в раму, открыв рот, выкатив глаза, точно окунь, пойманный крючком удочки.

— Что вам, Глаша?

— Вы звали?

— Я? Нет.

— Извините. Мне послышалось — вы говорите...

— Ну да, говорю! Разве вы не видите...

Мигая, женщина поднялась на ноги, оглянулась, — Павел Волков, стоявший у окна, спиною к нему,— исчез.

Мимо тусклых в сумраке стекол медленно падал лист, в зеленоватом воздухе недвижно висели ветви клена. Долго, пристально, до боли в глазах женщина смотрела на окно, смотрела так упорно, что ей наконец показалось, будто стекла сверху донизу разрезаны тонкой темной нитью.

— Да,— сердито сказала она,— я говорила... я звала вас! Принесите чаю.

А когда горничная ушла, она задумалась:

«Кажется, это называют галлюцинацией зрения и слуха, сложной галлюцинацией. Отчего бы это у меня? Странно. Очень странно».

Села в кресло, вытянув ноги, накинула на них плед.

«Об этом надо написать Фомину, пусть обогатится еще одной темой. Хотя это не его тема».

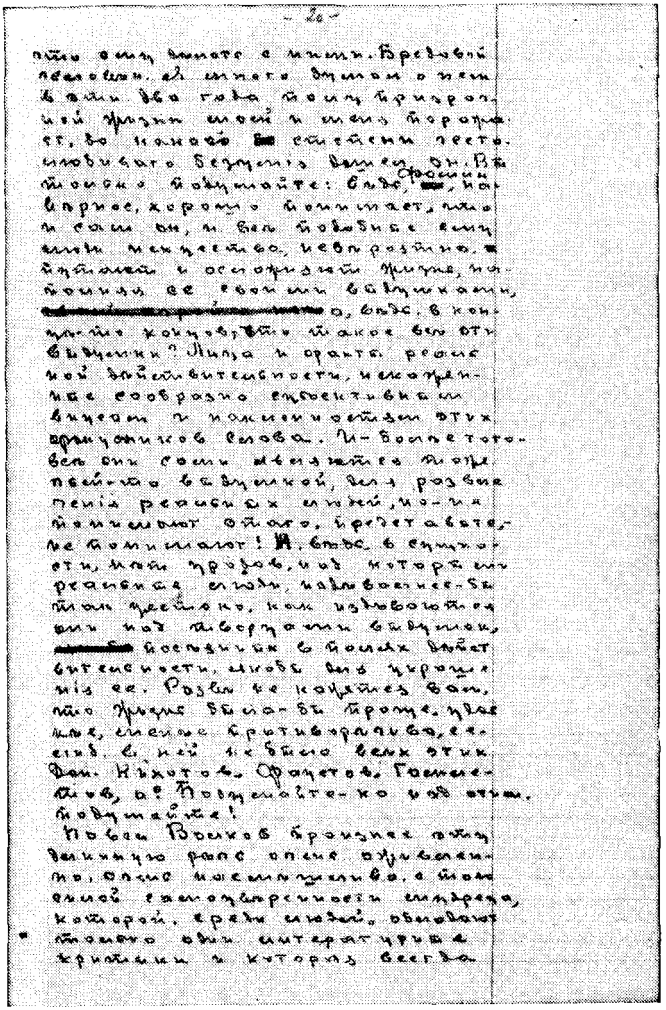
Она чувствовала, как бессвязно, торопливо стучат мысли в ее виски, и ей было приятно, что это наваждение — кончилось.

— Да, так вот я говорю,— раздался знакомо шелестящий голос, человек стоял у окна и пальцем одной руки гладил свой висок, а в другой качал шляпу.

— Позвольте! — раздраженно сказала женщина. — Где вы были, когда вошла горничная?

Павел Волков удивленно расширил глаза, шагнул к ней раз, два,— она быстро, отталкивающим жестом протянула руку встречу ему.

— Где я был? — переспросил он, остановясь и угло-



«РАССКАЗ ОБ ОДНОМ РОМАНЕ».
Страница автографа.

вато подняв плечи.— Я был тут, здесь. А-а, вы перестали видеть меня? Так это потому, что я повернулся к вам боком, а я ведь — как игральная карта, как портрет,— вы забыли? Но ведь вы сами такая же...

— Нет,— возмущенно сказала она,— нет!

Человек вздохнул, говоря:

— Однако какой у вас трудный характер!

Он сказал это тоже раздраженно, как бы вторя ей, но черты лица его оставались неподвижны, действительно напоминая лицо портрета. Иногда на этом матовом лице являлись и исчезали тени, почти не изменяя его,— являлись они так же извне, как его неприятная улыбка. И было в нем странное сходство с отражением на воде, чуть колеблемой ветром.

«Как делает это он?» — догадывалась женщина, сосредоточенно разглядывая его, и вдруг почти приказала:

— Встаньте немного левее!

Взглянув на нее, он бесшумно подвинулся, встал против зеркала, но — не отразился в нем, стекло, едва заметно потемнев, не показало его серую, в сумраке, фигуру.

«Ясно, это — галлюцинация»,— решила женщина.

А Павел Волков говорил:

— Очень трудный характер у вас. Я ведь понимаю, что вы снова не верите, не решаетесь принять меня за то, что я есть. И я не думаю, что ваше отношение ко мне входит в план Фомина. Да наконец...

Павел Волков нелепо закачался, струясь вверх.

— Наконец — я чувствую себя достаточно реализованным для того, чтобы продолжать неоконченный роман Фомина за свой личный страх, так сказать, на свои средства. Я больше не хочу бездействия и ожидания, я не могу торчать во всякую погоду на скамье, в парке, и слушать разговоры о дынях до конца дней мира сего, до полного разрушения всех форм материи и всех эманаций ее. Этот Фомин создал меня и — забыл обо мне. Я слышал, что так поступает бог по отношению к реальным людям, но у бога, вероятно, есть солидные мотивы для оправдания его... столь мало понятных опытов. А ведь Фомин, насколько я понимаю, обыкновенный, заносчивый и самонадеянный человечек, неуме-

ло подражающий богу в его шахматной игре людями с кем-то. И, знаете, мне кажется, что этот Фомин — сумасшедший! Посмотрели бы вы, как он ведет себя, оставаясь наедине сам с собою! Он наполняет комнату созданиями воображения своего и, окруженный тесной толпою призраков, таких же безумных, как сам он, не знает, что ему делать с ними. Бредовый человек! Я много думал о нем в эти два года полупризрачной жизни моей, и меня поражает, до какой степени честолюбивого безумия дошел он. Вы только подумайте: Фомин, наверное, хорошо понимает, что и сам он и все подобные ему люди искусства невероятно путают и осложняют жизнь, наполняя ее своими выдумками, а ведь, в конце-то концов, что такое все эти выдумки? Лица и факты реальной действительности, искаженные сообразно субъективным вкусам и наклонностям фокусников слова. И — более того, все они сами являются тоже чьей-то выдумкой для развлечения реальных людей, но — не понимают этого, представьте,— не понимают! В сущности, нет уродов, над которыми реальные люди издевались бы так жестоко, как издеваются они над творцами выдумок, посеянных в полях действительности, якобы для украшения ее. Разве не кажется вам, что жизнь была бы проще, удобнее, менее противоречива, если б в ней не было всех этих Дон-Кихотов, Фаустов, Гамлетов, а? Подумайте-ко над этим, подумайте!

Павел Волков произнес эту длинную речь очень оживленно, очень насмешливо, с тою силой самоуверенности мудреца, которой, среди людей, обладают только одни литературные критики и которая всегда является верным признаком неизлечимой духовной безграмотности. Он совершенно неестественно колебался, струился, точно марево в поле, но его фигура все-таки не теряла реальных очертаний человеческой фигуры. И всё вокруг женщины текло, кружилось, опьяняя ее любопытством, немножко жутким.

— Да,— повторил Павел Волков,— я решил продолжать роман самостоятельно. Мне бы вот только найти женщину, вернее — убедить вас, что именно я — тот, кто предназначен вам Фоминым.

И, вопросительно глядя на нее, он с досадой сказал:

— В этой проклятой действительности устроено как-то так нелепо, что без женщины шага нельзя ступить. Да и скучно без нее...

— Если я правильно поняла вас...— начала женщина и остановилась, сосредоточенно прислушиваясь, как в ней растет и греет ее какая-то смутная, но серьезная мысль.

— Да? — настойчиво спросил он, наклоняясь к ней, и не исчез, когда горничная внесла поднос с чаем.

— Две чашки, Глаша.

— Две?

— Ну да, боже мой...

Кивнув головою вслед горничной, человек спросил:

— Это — тоже эманация Фомина?

Чтоб не отвечать ему, женщина наклонила голову, а он принял это как ее утвердительный ответ.

— Не понимаю, зачем нужно воплощать воображение в такие грубые формы!

— Вы будете пить чай?

Павел Волков выпрямился, уныло говоря:

— Вы бы еще водки или коньяку предложили мне. Нет, очевидно, Фомин не дописал вас, вы не знаете, как вам нужно вести себя со мною, и вот между нами, вместо романа, разыгрывается смешной водевиль. Положительно — я не знаю,— что делать? Для полной моей реализации необходима женщина, и, очевидно, эта женщина — вы. Но — вы явно незнакомы с вашей ролью или не поняли ее, или же, повторяю, Фомин выдумал вас еще более небрежно, чем меня. И, наконец, мне кажется, что вы не верите,— всё еще не верите! — себе самой, а у меня нет средств убедить вас в том, что я — не призрак, не галлюцинация и не вашего,— поймите же это, прошу вас! — я создание не вашего воображения, не вашего, а — Фомина,— понимаете?

Женщина понимала, что всё это невозможная чепуха, дикая выдумка, и я надеюсь, что проницательный читатель вполне солидарен с нею в этом. Конечно — только в этом. Я тридцать лет знаю проницательного читателя как человека страшно здравомыслящего, и мое уважение к силе его разума особенно укрепляется тем стойким упрямством, с которым проницательный

читатель умеет скрывать от самого себя пошлейшую бессмысленность его трудной и даже мученической жизни.

Меня сердечно умиляет священное благоговение, с которым читатель относится к фантастически неудобной для него, но им же созданной действительности, меня восхищает тот ужас собственника, который испытывает читатель каждый раз, когда чья-нибудь бунтующая фантазия поднимает свой дерзкий и бесполезный голос против действительности, этой мелко сплетенной и крепкой сети бесчисленных нелепостей,—против сети, которая тащит читателя куда-то, как селедку в рассол, в тузлук. Я уважаю читателя за то, что он, безгранично гибкий и терпеливый материал мой, не протестует, когда я, за счет моего воображения, делаю читателя интереснее, умнее и лучше, чем он есть на самом деле. Я знаю, что это отступление совершенно неуместно, но у меня неожиданно возникло лирическое желание сказать читателю искреннейший комплимент, а для похвалы человеку одинаково удобны всякое время и всякое место.

Я продолжаю рассказ о романе, который не написан.

Итак — женщина не верила, но она решила вести себя серьезно, не только из опасения сойти с ума, нет! — смутная мысль ее приняла определенные очертания.

«Почему я не могу делать то, что удается Фомину? Вероятно — выдумать не так трудно и опасно, как родить».

Задумчиво глядя на гостя, она сказала:

— Насколько я помню, роман Фомина...

Но, прервав сама себя, спросила, ласково улыбаясь:

— Как это делается? Как он создал вас?

С такой же улыбкой, хотя и наклеенной извне на лицо его, Павел Волков ответил голосом более мягким:

— Не знаю, право. Я как-то сразу понял или почувствовал, что существую, меня зовут Павел Волков, я блондин и так далее. Неудачный и тяжелый роман мой надо объяснить, кажется, тем, что я, человек размышляющий, анализирующий, занят исключительно самим собою, всё же остальное, весь так называемый внешний мир является для меня предметом или источником моих размышлений. Всё извне существующее

толкает меня внутрь самого себя, а изнутри что-то рвется вовне,— вообще я создан для жизни очень беспокойной, тревожной, и, должно быть, конечная цель моя — найти самого себя среди хаоса различных явлений, собрать себя во что-то целостное, очень острое и легко проникающее в глубину тайн. Теперь мне кажется, что я существовал и до Фомина, но в форме разобщенных, каких-то облачных кусков, не объединенных даже и в то неясное целое, чем являюсь пред вами, чем-то не связанным ни мыслью, ни чувством, ни желанием, указующим цель мою. Вот всё, что я могу сказать о себе.

Тут женщина успокоенно подумала:

«Это — обыкновенный человек. И — довольно скромный. А я — вовсе не схожу с ума. Просто — я вижу что-то, чего не знаю. И, конечно, тут не без фокусов».

— Создан же я, очевидно, для того, чтоб утвердить какую-то придуманную Фоминым истину,— слышала она голос Волкова.— Ведь, должно быть, все эманации сочинителей ввергаются в жизнь для утверждения различных истин? — спросил он.

Женщина не решилась ответить утвердительно — все-таки пред нею был чужой, подозрительный человек,— зачем вскрывать пред ним маленькие тайны мира сего? А вдруг действительно существует иной мир и в нем живут люди двух измерений, вроде японских мышей?

Затем она совершенно разумно сообразила, что если пред нею просто человек, то, разумеется, он должен обнаружить это, когда она начнет кокетничать с ним. Освободив из-под пледа достаточно обаятельную ножку, покачивая ею, она сказала:

— Мне помнится, что Фомин задумал вас именно таким, как вы характеризовали себя...

— Я — рад,— сказал Волков,— конечно, это очень тяжелая роль, но — я рад! Ведь — уж если создан, так надо жить!

— Да,— согласилась женщина, подумав немножко.— Дальше вы действительно должны встретить женщину из тех, которые, знаете, чего-то ждут, что-то решают и, неожиданно для себя, делают как раз не то, что решили. До конца дней, по крайней мере —

до старости, жизнь кажется им неисчерпаемой, но они не имеют в себе той жадной и дерзкой силы, которая слепо черпает наслаждения жизни. А главное, им кажется, что где-то близко, около их, за всем, что уже испытано, скрыта еще одна, величайшая и сладостная тайна,— открыть ее, насладиться ею физически и духовно— вот чего они ждут! Я уверена, что лично я — не из таких женщин, и Фомин, создавая вас, едва ли думал обо мне. Хотя, вы знаете, эти писатели...

Павел Волков негодующе взмахнул рукою.

— Да, да, я понимаю, что вы хотите сказать. Это — ужасно! Преступнейшее легкомыслие! Вы представить себе не можете, до чего много в мире воображаемом таких, как я, вы — и подобные нам,— незаконченных, недорожденных, уродливых существ.

— Разве? — огорченно спросила женщина и недоверчиво прибавила:

— Уродливых?

Но Павел Волков не ответил ей, продолжая всё более человечески живо, но тоном жалобы:

— Они думают, что образ, созданный ими, закреплен на бумаге и этим всё кончено, но ведь на бумаге остается только рисунок образа, а сам он исходит в мир и существует, как я, вы, как психофизическая эманация, результат распада атомов мозга и нервов, нечто более реальное, чем эфир. Ведь вы же знаете это.

— О конечно! Да. Почему вы не сядете к столу?

Он подошел, сел, как сделал бы это всякий другой человек, и было ясно, что ее маленькие хитрости не замечены им. Вздохнув, женщина попыталась представить себе жизнь в мире недоконченных людей и — не могла, потому что пред нею тотчас закружились люди знакомые, среди которых она еще не встретила необходимого ей человека, совершенного, как музыкальный инструмент в руках гениального музыканта. Она знала, что совершенный человек — это тот, кто умел бы не только удовлетворять все ее желания в момент возникновения их, но мог бы предугадывать и возбуждать желания. Ни о чем не спрашивая, он должен уметь на всё ответить. Не нужно, чтоб он много говорил, но он должен всё чувствовать, понимать и ни в чем не обви-

нять ее, если только она сама не захочет видеть себя виноватой.

Думая об этом, она внимательно слушала тихий голос гостя.

— А тут еще привходит нечто, видимо, неизбежное: Фомин наполнил меня определенным психическим содержанием, я — ожил, существую, но в следующий момент ощущаю, что в меня извне вторгаются качества и мысли излишние, противоречащие тому, что уже есть во мне. Чувствуя, что это лишнее уродует меня, я не мог оттолкнуть его, потому что в тот момент я еще не имел личной воли к жизни, а Фомин был окружен как бы облаком истечений его психофизической эманации, это — как вы знаете — очень плотная и подвижная среда, которая разрушила бы меня, попытайся я проникнуть сквозь нее до сознания Фомина...

«Допустимо,— думала женщина,— что предо мною действительно еще не человек, а — начало его, существо, которое я могу закончить, наполнив его тем, что необходимо совершенному человеку. Это — проще того, что сделано Пигмалионом...»

Она закрыла глаза, слушая странно прозрачный голос,— ничего не заглушая, он не мешал ей думать о своем и слышать, как в деревне подпасок Кирька играет на гармонике, где-то далеко поют девки и, как всегда, собаки лают на луну, очень благообразную и яркую, почти как солнце, лучи которого кто-то гладко причесал.

— И вот теперь я не могу понять, что во мне от Фомина, создателя моего, что — от других персонажей, созданных им и спутанных со мною, и, наконец, я чувствую в себе мысли Фомина, не имеющие никакого отношения ко мне как герою его романа и вообще к роману. Я ведь уже говорил вам, что Фомин — это небольшой дом умалишенных или, если хотите, дорога, по которой непрерывно бродят различные образы, текут разнообразные, взаимно отрицающие одна другую мысли. Например: лично я не могу думать, что Природа не знает, чего хочет, и, умея создавать всё, создает бесчисленное количество уродливого, лишнего — это уж афоризм Фомина, совершенно не нужный мне, а таких пустяковых

афоризмов я ношу в себе немало. Но может быть, я и создан только для того, чтоб явиться носителем пустяков? И, наконец, я не знаю главного: должен ли я быть добрым человеком или злым?

Улыбаясь, женщина протянула ему руку.

— Но — вы не должны знать этого,— сказала она ласково, утешительно.— Интерес и смысл вашей жизни именно в том, что вы — человек, плохо различающий добро и зло.

Дергая пуговицу фланелевого пиджака, человек недоверчиво спросил:

— Вы в самом деле так думаете?

— Да, я именно так понимаю вашу роль! Если б вы умели различать добро и зло, вам, я уверена, было бы очень скучно. А так — интереснее!

Павел Волков задумался, явно сомневаясь в чем-то. И было неестественно, что он не обращает внимания на ее руку, что сделал бы всякий другой мужчина на его месте.

— Д-да,— сказал он.— Но — для кого же это интересно?

— Для меня. Для вас. Для читателя, наконец...

— Гм... Для читателя?

Он провел ладонью по волосам своим, по глазам и, усмехаясь, покачал головою.

— Не находите ли вы, что это довольно жестокая забава? Подумайте: нас заставляют испытывать бесчисленное количество неприятностей, стравливают друг с другом, как — извините! — псов, для того, чтоб создать драматические коллизии, нас треплют, как игрушки, и всё для того, чтоб какой-то читатель, видимо, скучающий человек, развлекался этим? Не слишком ли остроумно: заставить страдать одних людей для развлечения других? Кажется, это не моя мысль, а Фомина, но — право — хорошая мысль! Фомин, в сущности, порядочный человек. Он — не самоуверен, а, по моему мнению, это верный признак порядочности. Иногда он, бросив перо, спрашивает себя: зачем я это делаю, зачем пишу? Сам он не любит страданий, они органически противны ему, но, к сожалению, для писателя нет иного материала, кроме несчастий...

Женщина подвинулась ближе к нему и спросила:

— Скажите,— как вы делаете эти ваши фокусы с тенью и зеркалом?

Сказав это, она почувствовала, вероятно, то же, что чувствует охотник, ружье которого выстрелило помимо его желания, случайно. Это смутило ее, она тотчас ласково коснулась руки гостя.

— Не сердитесь.

Но под ее рукою не оказалось ничего, кроме шероховатой вязаной скатерти; это было неиспытанно неприятно и даже — жутко. Но стало совсем плохо, когда раздался сердито укоряющий голос:

— Но — вы настоящая, обыкновенная, так называемая реальная женщина! Зачем же вы меня мистифицировали?

Павел Волков встал, нелепо взмахнул шляпой и повторил с гневным недоумением:

— Какой смысл в этой мистификации?

Он поплыл на террасу, несколько секунд постоял в двери, струясь в лунном сиянии.

— Послушайте! — говорила женщина, медленно подходя к нему.— Ведь это — невероятно! Невозможно убедить меня, что вы...

Идя, она впервые убедилась, что земля действительно вращается вокруг оси своей, вращается с быстротой нелепой, ненужной.

— Чи.атели! — сказал Павел Волков, удаляясь, и было ясно, что он вложил в это слово обидный, порицающий смысл. Шел он, держа трость под мышкой, и, достав из кармана перчатки, натягивал их на пальцы, как это делают знаменитые провинциальные актеры, играя роли героев. Но женщине казалось, что пальцы перчаток расправляются так быстро, как будто бы их надували воздухом.

В хитром освещении луны его фланелевая фигура принимала призрачный зеленоватый оттенок. Вот она достигла берега пруда, группы берез и потерялась, исчезла в серебре стволов, в темном блеске воды.

Конечно, женщина протерла пальцами глаза; в подобных случаях всегда прибегают к этому жесту, я не

помню автора, который решился бы забыть об этом жесте. Было очень тихо, если не говорить о вое собак, почти непрерывном. Следовало бы стенным часам пробить полночь или сове крикнуть раза два, но — я не хочу рассказывать читателю о том, чего не было. Известно, что я — строгий реалист, суровая, грубая правда моих рассказов признана всеми критиками, которые умеют читать, те же, которые читать еще не выучились, вполне согласны с первыми в оценке моих достоинств, а главное — недостатков. Лично я крепко убежден, что мои недостатки последовательно и непрерывно развиваются и что на этом пути я уже скоро достигну полного совершенства. Но — это в будущем, а пока предо мною стоит вопрос: как закончить рассказ? Мне кажется, что это сделать просто, например:

Женщина вздохнула, глядя в даль,— там, за круглым, темным, мерцающим оком пруда, черной огромной ресницей поднимался мохнатый лес.

Это — не плохой образ: во всяком случае оригинальный. Пруды, озера, моря — всегда казались мне очами земли, а в юности, которая стремглав убежала в недосягаемую никому, кроме памяти, сказочную даль, в юности я даже писал такие стихи:

Синими очами океанов
Смотришь ты, земля моя родная,
На сестер твоих, златые звезды,
На златые звезды в небе синем.
О, какой тоскою светят в небо
Синей ночью очи океанов...

И — так далее, всё — о — о — о! Очень синие стихи.

Кстати — для критиков: земля — звезда, это я взял взаймы у В. Гюго. Но — дальше.

Над черной массой леса медленно всплывали три звезды, женщина вспомнила, что это Волхвы Ориона. Пустынно было небо; краденый свет луны самодовольно затмил честное сияние звезд.

Здесь напрашивается уподобление, весьма полезное для многих, а для некоторых — обидное; однако я его

не сделаю, это отвлекло бы меня в сторону, а рассказ-то надо кончить. Да.

Тихо прикрыв дверь на террасу, женщина ушла в маленькую и, разумеется, уютную комнатку, теплое гнездо, где она высиживала цыплят своей фантазии. Крепко потирая холодные щеки ладонями, она встала пред зеркалом,— оттуда на нее смотрели почти чужие глаза, округленные недоумением, испугом. Эти глаза не верили, что маленькая, изящная женщина, которую они так великолепно украшают...

«Он — едва ли человек,— думала женщина.— Будь он человеком, мужчиной... В сущности, он почти оскорбил меня».

Она села к столу, поправила отстегнувшийся чулок и долго сидела, играя ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей,— лучше всего думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Иммануил Кант не знал этого. У женщины было много мыслей, но все они тревожно колебались, как пылинки в луче солнца, ни одна из них не нравилась ей, и это возбуждало досаду. Ей надо было сделать усилие над собою, чтоб заставить себя думать о Фомине.

И она подумала, что хотя этот мужчина некрасив, неуклюж, но всё же он самый интересный человек среди ее знакомых. А подумав так, женщина с изумлением догадалась, что она давно, и всё время, думает именно о Фомине и что всё, что пережито ею десять минут тому назад,— просто игра ее души с человеком, который забавен больше других.

Тогда, раскрыв бювар, она торопливо, тонким английским почерком, написала Фомину:

«Милый Антипа Титыч!

Четверть часа тому назад я пережила нечто невероятное, фантастическое, безумное; прибавьте сюда все другие, более сильные эпитеты, если Вы имеете их, и все-таки они не определят с достаточной глубиной и точностью того, что пережито мною.

Знаете, кто был у меня в гостях? Павел Волков, герой Вашего романа, человек, о котором Вы так много и хорошо говорили мне, но которого я всё же — пом-

ните? — не могла достаточно ясно представить себе. Вы не должны думать, что у меня был какой-то реальный человек, похожий на него, нет, это был именно сам Павел Волков, созданный Вами и — простите! — мало похожий на человека вообще. Он назвал себя воплощением Вашей творческой силы, существующим в какой-то совершенно непонятной для меня форме: внешне — это человек, но внутренно — что-то бездушное, незаконченное, неспособное подчиниться даже сексуальным эмоциям нормального мужчины. Он довольно прилично одет, но неловок и действительно как-то весь недорожден. Жаловался, что, создав его, Вы забыли о нем, и, возмущенный этим, он решил жить самостоятельно, тою силой, которой Вы недостаточно наделили его. Так я поняла Вашего героя.

Пожалуйста, не думайте, что я сошла с ума, галлюцинировала,— ничего подобного. И доказательством моего душевного здоровья должно служить то, что я отнеслась к этому странному все-таки визиту вполне спокойно, разумно и критически.

Ваш герой решительно не понравился мне. Я уверена, что с таким человеком в центре событий роман Ваш будет неудачен. Разве может быть что-либо интересное в жизни неинтересного человека? Он даже не особенно умен, этот Волков. Он не удался Вам, и Вы должны как-то переделать, переписать его. Во всяком случае Вам необходимо сделать так, чтоб это существо не шлялось по земле каким-то полупризраком,— я не знаю чем! — и не компрометировало Вас. Подумайте: сегодня он у меня, завтра у другой женщины,— он ищет женщину, как Диоген искал человека...»

Она перестала писать, подумав: не придается ли ею излишняя реальность этому случаю, и не смешно ли пишет она? И решила: пусть останется так, как написано, это забавнее!

Она писала еще много, испытывая всё более острое желание уничтожить Павла Волкова. Зачем нужен он? Зачем вообще нужны неприятные, неудачно выдуманные люди?

А кончив письмо десятком ласковых слов, она позвала горничную, велела ей плотнее закрыть окна, хорошенько запереть дверь на террасу и сказала ей:

— Вы, Глаша, лягте в соседней комнате, на диване; я чувствую себя не совсем хорошо и, может быть, ночью позову вас.

Потом разделась, легла в постель и, пытаясь представить, как Фомин отнесется к ее письму, уснула.

Через несколько дней Фомин ответил:

«Я прочитал милое и удивительно остроумное письмо Ваше сейчас, скучной дождливой ночью; холодно в комнате, холодно в душе у меня. Я был в гостях, шел домой пешком, дождь барабанил по зонтику, я думал о Вас, и — сложились стихи, конечно — неважные, но — поверьте — искренние!»

В стихах Фомин говорил:

Навстречу странному виденью
Один иду тропой земной,
Моя тоска свинцовой тенью
Влачится по земле, за мной.

Я никого не беспокою
Тем, чем больна душа моя —
Неисчерпаемой тоскою
О тайном смысле бытия.

Ведь мне помочь не могут люди,
И я им — тож не помогу,
И кто из них меня осудит
За то, что я молчу, не лгу,
Не утешаю их словами,
Тоски моей им не дарю?

Я только с Вами, только с Вами
О ней шутливо говорю...

Женщина усмехнулась: Фомин забыл, что уже читал ей эти стихи весною, когда, вдвоем с нею, катался в лодке. Но, может быть, хорошо, что он забыл; в тот вечер она была настроена дурно и сказала ему, что такие стихи можно писать не менее сажени в одну ночь.

Дальше Фомин писал:

«И вот, придя к себе, нахожу на столе Ваше письмо, такое оригинальное, полное дружеского внимания ко мне,— чем я не избалован,— и серьезного отношения к моей работе. Спасибо Вам. Вы оживили в памяти моей этот жалкий роман и окончательно убили героя его. Я взял рукопись, прочитал ее, устыдился и разорвал на мелкие клочья. Теперь Павел Волков не придет беспокоить Вас».

Дальше он писал всё то, что пишут женщине, когда хотят нравиться ей. В этих случаях пишут всегда льстиво, но иногда — искренно льстят.

Прочитав письмо, женщина задумалась, глядя в окно, в парк,— там сверкало скучное солнце осени, посвистывая, буянил ветер, падали желтые листья.

Вот и кончен рассказ.

Я не знаю, что после всего этого сделала женщина, но думаю, что она написала мужу:

«Прости, Павел, но я не могу больше жить с тобой».

Мужа этой женщины я тоже не знаю. Возможно, что это один из тех редких мужчин, от которых женщины не уходят. Мне кажется, что мужчины этого племени глухи, немы, хромы и вообще страшно уродливы или до того законченно несчастны и жалки, что несчастие их уже невозможно увеличить.

Следовало бы заключить этот рассказ пейзажем в лирическом тоне, но — не хочется.

И так — хорошо.

КАРАМОРА

Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, — порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, — самому близкому.

Слова рабочего Захара Михайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 1917 г. «Былое», 1922, кн. 6-я, статья Н. Осиповского.

Иногда — ни с того ни с сего — приходят мысли плохие и подлые...

Н. И. Пирогов.

Позвольте подлость сделать!

Один из героев Островского.

Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма.

Из письма Л. Андреева.

По обдуманным поступкам не узнаешь, каков есть человек, его выдают поступки необдуманные.

Н. С. Лесков в письме к Пыляеву.

У русского человека мозги набекрень.

И. С. Тургенев.

Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут — карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках — ловок.

Дали мне они три дести бумаги: пиши, как всё это случилось. А зачем я буду писать? Всё равно: они меня убьют.

Вот — дождь идет. Действительно — идет: полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном — гром, шум, тюрьма притихла, трясется, дождь и ветер толкают ее, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я, сам в себе, как рыба в бредне.

Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и всё.

А может быть, это не так. Все-таки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И — темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем.

Пускай убивают.

Всю ночь не спал. Душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром, точно из бани. В небе серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова.

Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что еще делать? Как в щель смотрел, а за щелью — зеркало, и в нем отражено, застыло пережитое мною.

Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой и докрасна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком.

Был он из тех, которые родятся мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жизнь,— точно ограбленный поймал вора и обыскивает его.

Мне, веселому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьем. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было: я, здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирая в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но ведь как скажешь: «Всё это — правда, только мне ее не нужно. Своя есть»?

Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путем. Ошибся, не сказал. Пожалуй, именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было: сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенького галчонка.

Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушел, я стал высмеивать товарищей: нашли учителя! Но Зотов, скорняк, который завел всю эту машину, озлился на меня, да и другие — тоже. Они уже не первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притерлись к нему.

Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унизить его в глазах товарищей; это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живет и горит в таком хилом, маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы.

На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух, трех бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал ее. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я — сгоряча и по молодости моей — не заметил. Доказано, что по закону естества разума мысль рождается фактами. Разумом я принял социалистическую мысль как правду, но факты, из

которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравенства людей был для меня естественным, законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей; еще мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне, и вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту — любви к людям, что ли? Не знаю — чего. Проще говоря: социализм был не по росту мне, не то — узок, не то — широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм — чужое дело. Они похожи на счетные машинки, им всё равно, какие цифры складывать, итог всегда верен, а души в нем нет, одна голая арифметика.

Под «душой» я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать,— верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни, должно быть, в том, что такой «души» у меня не было, а я этого не понимал.

Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне; стараясь уличить его в том, что он не всё или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперед, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего.

Он, пожалуй, даже любил меня.

— Вы, Петр, настоящий, глубочайший революционер,— говорил он мне.

Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, черненький, точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил:

— Не живет, а — тлеет. Так и ждешь: вот-вот вспыхнет и — нет его!

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но — обижал его. Например — спрашиваю:

— Вы всё говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазенками и сказал, что хотя капитализм интернационален,

но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма — Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвел упреки, сказав, что его умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда.

На восьмом месяце занятий с нами он был арестован вместе с другими интеллигентами, с год сидел в тюрьме, потом его сослали на север, и там он умер.

Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытаращив глаза, но — ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким — легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их.

Привели в тюрьму солдата,— удивительно похож на отца в год его смерти: такой же лысый, бородатый, так же глубоко, в темные ямы, провалились глаза, и посмеивается виновато, как смеялся отец мой перед смертью.

— Петруха! — спрашивал он меня.— А ну, как умрешь — черти встретят?

Он умирать не хотел даже до смешного; лечился сразу у троих: у знаменитого доктора Туркина, у какой-то знахарки в слободе, ходил к попу, который от всех болезней пользовал настоем эфедры — «кузьмичовой травы». Боялся отец и за меня. Говорит, бывало:

— Бросил бы ты, Петр, забаву эту! В том, что люди плохо живут, не твоя вина,— почему же твоя обязанность налаживать чужую жизнь? Это всё равно как если б ты чужих гусей пас, а своих без призора оставил.

В грубых мыслях правды больше. Конечно — люди посажены на цепь экономики. Экономический материализм — учение ясное и никаких выдумок не допускает. Связь между людьми — дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно — я терплю эту связь, а невыгодно — открываю свою лавочку: прощайте, товарищи! Я — не жаден, немного мне надо на мой срок жизни.

Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что ли, проповедники любви к людям. Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими, но понимал, что их любовь к людям — выдумка, и — плохая. Понятно, что для тех, кто, не имея определенного места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически необходима; это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела — забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими, чтоб с их помощью, их силою, утвердить свою идею, позицию, свое честолюбие. Я знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к народу и думают, что это — любовь. Но это не любовь, а — механика, притяжение к массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками, кочегарами. Забота о людях уничтожает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую социальную механику.

В городе, ночами, постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то выл, стонал, топал ногами. Кажется — женщина.

Утром приходил от них товарищ Басов, спрашивал: пишу ли я? Пишу.

Он снова, как на первом допросе моем, ужаснулся, разводил руками, бормотал:

— Поверить невозможно, что это — вы, старый партиец, организатор восстания, один из самых энергичных работников наших.

Неприятная у него манера говорить; слова будто жует, а они у него прилипают к зубам, и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и — кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах. Скучный мужчина. Лицо у него — лицо безвинно наказанного, на всю жизнь обиженного. Среди интеллигентов много встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий должен им полтора рубля и — не платит.

Они, видимо, думают, что смерть испугает меня и я, несчастный злодей, растекусь покаянием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки.

Да, я пишу. Не для того пишу, чтоб вытянуть несколько лишних дней жизни в тюрьме, а — по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека, и один к другому не притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей их и — не то раздувает, разжигает вражду, не то — честно хочет понять: откуда вражда, почему?

Это он и заставляет меня писать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется понять всё или хоть что-нибудь. А может быть, третий-то — самый злой враг мой? Это уж похоже на догадку четвертого.

В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к людям. Но во мне, я думаю, живет человека четыре, и все не в ладу друг с другом, у всех разные мысли. Что бы ни подумал один,— другой возражает ему, а третий спрашивает: «Это вы зачем же спорите? И что будет из вашего спора?»

Есть, пожалуй, еще и четвертый, этот спрятался еще глубже третьего — молчит, присматривает зверем, до времени тихим. Может быть, он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу.

Я думаю, что еще в юности, когда слагается человек, он, волею своей, должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей.

А вдруг он именно ее и задушит, лучшую? Ведь — чёрт ее знает, которая лучшая-то!

Интеллигентам — легче, у них школа вытравляет лишние зародыши, злую икру, а нашему брату, когда в нем проснется неукротимая жажда всё знать, всё попробовать, всё испытать,— нашему брату очень трудно!

В двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны, по всем следам, стремясь всё обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания, а желаниям — счета нет.

Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен,

как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу, а «постыдно» ли такое равнодушие — этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю.

Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси: «Когда человек очень умен, так это даже неприлично».

Значит: пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя и потому, что мне скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого, и забавно ловить мысли свои на попытках соврать, спрятать что-нибудь от четвертого, ускользнуть от его слежки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После нее остается только пепел? Ну что ж...

Едва ли они увидят и прочитают эти записки, я успею истребить бумагу или пересуну ее в другие руки, чужим людям.

Вот рядом со мною воры сидят, трое, веселый народ. Старший у них — почти мальчишка, лет двадцати, не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поет частушки, особенно — одну:

Я отчаянным родился
И отчаянным помру,
Если голову мне сломят —
Я полено привяжу.

Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася — шоколад.

Всего лучше чувствует себя человек в затруднительном положении. Когда, около Темрюка, оторвало ветром льдину с рыбаками и понесло их в море, я, бросившись им на помощь, тоже был оторван и поплыл на маленькой льдине один, с багром в руках. Сразу стало ясно мне, что игра моя проиграна, так ясно, что на минуту я оледенел изнутри. Волной ломало льдину под ногами у меня, еще минута — и я бы потонул. Рыбаки, оставшиеся на льду, еще не оторванном от берега, бросили мне длинную веревку — этим лично я был спасен. И тотчас, как будто в меня извне вскочил кто-то, очень ловкий, злой,— я закричал, чтоб бросали еще

веревок, а ту, которая уже была в руках у меня, метнул рыбакам — они выли и метались в десятке сажен от меня. Им удалось подцепить веревку багром, а меня они сорвали со льдины в воду. Но я уже успел подхватить веревку с береговой льдины, связал обе, потом еще одну, и рыбаков осторожно подтянули к берегу. Из девяти человек потонул только один старик; в суете и страхе его свои столкнули в воду. Когда льдину с ними тянули к берегу, меня едва не перетерли веревкой, она была обмотана вокруг моего тела, я болтался на воде, как поплавок.

Вообще, когда меня настигала опасность, она, как бы сама против себя действуя, многократно увеличивала силы мои, наделяла спокойствием, обостряла соображение и всегда позволяла преодолеть ее. Смел я был до нахальства и особенно любил себя в минуты, когда жизнь моя висела на волоске.

Был смешной случай: во время устроенного мною с воли побега товарищам из тюрьмы старичок надзиратель, догоняя, четыре раза выстрелил в меня из револьвера. После второго выстрела я остановился, не хотелось бежать, не то — стыдно было, не то — смешно. Подбегая, он выстрелил еще раз, попал в голенище сапога, оцарапал ногу, потом стреляет в упор, в грудь — осечка!

Я вышиб револьвер из руки его, говорю:

— Не вышло, старик?

А он, задыхаясь, хрипит:

— Так ты беги, дьявол! Чего же ты ждешь, чё-орт?

Страх испытал я, кажется, только один раз — во сне, в ссылке, в захолустном городке Уржуме. Там было такое совпадение условий: начитался я книжек по астрономии, только что перенес тиф и едва ходил по земле, а тут еще явился странный человечек и начал проповедовать мне о «распятом за нас при Понтийском Пилате». Он почти не говорил — «Христос», а всё только «распятый за ны». Был он человек жалкий, должно быть, не в своем уме, и был, несомненно, не простой странник, прихлебатель по кухням богатых купчих, а из интеллигентов. Длинный, сухой, с несчастной бородкой, на висках седые волосы, хотя — не стар, лет

тридцати пяти. Молодили его глаза, необыкновенно лучистые, глаза влюбленной девушки, так сказать. Синеватые зрачки его точно горели и таяли, растекаясь по большим, очень выпуклым белкам.

Сижу у ворот на лавочке, пригрело меня солнцем, задремал,— вдруг рядом со мною очутился этот человек и начал говорить о «распятом за ны». Говорил изумительно, с такой детской наивностью и так, как будто сам непосредственно пережил всю авантюру Христа,— «авантюра» — это слово товарища Басова, специалиста по атеизму.

Разумеется, я стал спорить. Потом он попросил есть, я отвел его к себе в комнату, там спор наш разгорелся еще жарче. Собственно говоря, он не спорил со мною, а только читал стихи из Евангелия и улыбался жалобно. До поздней ночи я убеждал его, что каждый человек, умеющий думать, прекрасно знает, что бога — нет, Христос — наивная поэзия, лирика, выдумка, обман в конце концов. Веруют в бога по невежеству, из страха, по привычке, из упрямства, а некоторые даже потому, что в душе отчаянно пусто и они набивают пустоту ватой религии. Иные, пожалуй, относятся ко Христу, как к женщине, о которой знают, что она обманула, изменила, но — привыкли к ней, других не чувствуют, а эту бросить — не могут. Вообще — бога нет. Будь бог — разве люди таковы были бы?

Впрочем, последних слов я, наверное, не сказал ему; это, кажется, только сейчас и впервые сказано мною. Тоже — наивно. И неуклюже: буль-буль-буль — точно тону, захлебываюсь. Не умею писать.

Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мои мнения о боге, религии и всей этой лирике нищих духом. Он сидел на лавке у окна, смотрел на меня, облокотясь о стол, улыбался, иногда — засмеется необидным смехом дурачка. Так и сидел до поры, пока мы не улеглись спать, я — на койке, он — на полу.

Ночью проснулся я, а он стоит среди комнаты, высокий почти до потолка, и бормочет, глядя в окно, указывая рукою на меня:

— Помоги ему, ты — должен, помоги!

Бормотал он строго, как бы приказывая, точно власть имущий над кем-то,— фокус этот не понравился мне, но я ничего не сказал чудаку и снова уснул. Тут и приснилось мне, будто я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького неба. Хожу я по черте горизонта и щупаю руками холодное, твердое, это — край неба, он плотно врос, притерт к жесткой, как железо, но беззвучной земле,— шагов моих на ней не слышно. Как тусклое зеркало, небо отражает мое уродливо изогнутое тело, лицо у меня искаженное, руки дрожат, и мое отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки, пальцы их неестественно изогнуты, не сжимаются. Я уже несколько раз обошел пустоту, быстро и всё быстрее двигаясь по черте горизонта, но — не понимаю, чего ищу, и не могу остановиться. Невыносимо тяжело мне и тревожно, я помню, что на земле существует жизнь, множество людей,— где же всё это? В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности, мое движение по кругу становится всё быстрее, вот оно уже как полет ласточки, а о́бок со мною летит, размахивая руками, отражение мое, и всюду, куда бы я ни взглянул,— только оно. Круг, сжимаясь, становится всё меньше, купол неба всё ниже, я бегу, задыхаюсь, кричу...

Человек этот разбудил меня, а я со страха так обрадовался, что схватил его за руки, прыгаю и смеюсь. Вообще вел себя очень глупо. Страшнее этого сна я ничего не помню. Кстати сказать: ошибочно утверждают, что страшно — непонятное, это неверно. Например: астрономия очень понятна, а разве не страшна?

В городе шумят, стреляют. Папирос у меня нет, это — плохо.

Работал я с величайшим увлечением, жил празднично. Командовать людями нравилось мне, вероятно, больше, чем это нравится вообще человекам, особенно — интеллигентам, которые командовать и любят, да не умеют. Что бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми — большое удовольствие. Заставить человека думать и делать то, что тебе нужно, это вовсе не значит спрятаться за человека, нет, это ценно само по

себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности. Этим можно любоваться. И если б я не любил власть, я не был бы признан отличным организатором.

Когда меня первый раз арестовали, я почувствовал себя героем, а на допрос шел, как на единоборство с медведем. Страдать я не мастер и страданий, сидя в тюрьмах, никогда не испытывал, если не говорить о некоторых, всем известных, мелких неудобствах тюремной жизни. Лишение свободы? Тюрьма давала мне свободу читать, учиться. А кроме того, тюрьма дает революционеру нечто подобное генеральскому чину, окружает его ореолом, и этим надобно уметь пользоваться, когда имеешь дело с людьми, которых ты, против воли их, толкаешь на путь к свободе.

Слуга классовых врагов моих, жандармский ротмистр, оказался добродушным человеком, тучный, красноносый, видимо — пьяница, он встретил меня улыбкой и словами, каких я, конечно, не ожидал от врага.

— Петр Каразин, иначе — Карамора? Ого-го, какой молодчинище! Великолепный драгун вышел бы из вас.

Я приготовился говорить с ним сурово, презрительно, но тотчас понял, что это было бы смешно. Не то чтоб он умягчил меня, а просто я увидал пред собою воробья, по которому только трус или идиот решился бы стрелять из пушки. Когда я вежливо, но спокойно заявил ему, что отказываюсь от показаний, он наморщил нос и заворчал:

— Ну, разумеется. Теперь все вы так, знаю. Вот и посидите в тюрьме. Эх, молодежь...

Мне даже показалось, что ротмистру приятна решительность моего заявления. Я не подумал, что жандарм, может быть, торопился обедать и только потому у меня с ним всё кончилось так быстро и легко. Возможно, что для меня было бы лучше, если б я наткнулся не на этого человека, а на хорошего зверя в мундире, на лицо определенных убеждений, одним словом, не на чиновника, а на врага. Жизнь так забавно устроена, что лучшим воспитателем человека является враг его.

Но, хотя до пятого года я сидел в тюрьмах трижды и допрашивался жандармами раз десять, мне так и не

пришлось встретить среди них ни одного, который умел бы разжечь во мне чувство вражды, ненависти. Всё обыкновеннейшие чиновники, и даже встречались довольно приличные люди; говорю это не с целью рассердить ортодоксальных товарищей, а как о факте, видимо, случайном.

Объявив мне приговор, полковник Осипов, тощий, желтый, умиравший от рака, сказал:

— Вам повезло: приговор легкий. Вы заслуживаете более сурового наказания, вы очень опасный человек.

Для меня его слова звучали похвалой, хотя он говорил их, удивляясь и сожалея.

Это был человек умный, он хорошо понимал людей и однажды весьма смутил меня замечанием, которого мог бы не делать: на последнем допросе он сказал, разглядывая меня сквозь стекла пенсне:

— На мой взгляд, вы, Каразин, или озорничаете, или ошиблись и делаете не ваше дело.

Это очень укололо меня. Вот тут я рассердился, начал говорить ему дерзости, но он остановил меня:

— Я вовсе не хотел обидеть вас, а просто, как человек человеку, высказал мое впечатление. Вы играете опасную игру, а мне кажется, что для революционера вы человек недостаточно злой и — уж извините! — слишком умный.

Я думаю, что Осипов был порядочный человек; впрочем — так говорили все товарищи, побывавшие в его руках.

Однажды вместе со мною арестовали сына моей квартирной хозяйки, гимназиста, ученика моего. Я дал Осипову честное слово, что мальчик не причастен к моим делам, просил выпустить его из тюрьмы и устроить так, чтоб Сашу не исключили из гимназии.

— Хорошо, я это сделаю,— сказал Осипов и при мне же распорядился, чтоб гимназиста освободили. А когда я поблагодарил его за это, он объяснил:

— Бог мой,— ведь в наших интересах не увеличивать, а уменьшать количество бунтовщиков, вам подобных, а в интересах ваших было бы оставить мальчика в тюрьме, изломать его карьеру, озлобить и так далее...

Этими словами он как будто давал мне урок революционного поведения. Я так и сказал ему:

— Спасибо за урок.

Вероятно, он был тоже раздвоенный человек. Конечно — люди делятся на трудящихся и живущих чужим трудом, на пролетариат и буржуазию. Это — внешнее деление, а затем они, во всех классах, делятся на людей цельных и раздробленных. Цельный человек всегда похож на вола — с ним скучно.

Я думаю, что цельность — результат самоограничения ради самозащиты. Кажется, это же самое утверждает Дарвин. Человек попал в условия, где некоторые свойства его психики не только излишни для него, но и опасны: ими может воспользоваться его внутренний или внешний враг. Тогда человек сознательно гасит, уничтожает в себе излишнее и этим приобретает «цельность». Например: на кой чёрт революционеру жалость к людям, лирика, сентиментальность, романтизм и всё прочее в этом духе?

Революционеру необходим только энтузиазм и вера в себя. Интерес к многообразию внутренней жизни определенно вреден ему. В этом многообразии так же легко запутаться, как ребенку в колючих кустах терновника.

Жизнь человека раздробленного напоминает судорожный полет ласточки. Разумеется, цельный человек практически более полезен, но — второй тип ближе мне. Запутанные люди — интереснее. Жизнь украшается вещами бесполезными. Я не видал идиотов, которые украшали бы жилища свои молотками, гайками или велосипедами. Впрочем, один богач, мукомол, собрал больше пятисот замков и развесил их в двух больших комнатах на красных суконных щитах. Но у него были такие фокусные замки, что я, наследственный слесарь, рассматривал их с огромнейшим удовольствием. И, конечно, все они были бесполезны.

Технические фокусы я люблю, как всякую игру человеческого разума, в каких бы формах она ни выражалась.

Вот тоже, говорят о «христианской культуре». Что врете? Какого чёрта — христианская? Где в ней

наивность, в этой вашей культуре? Евангельской наивности нет нигде. Расплодили злые, хитрые мысли, распустили их по всей земле, как стаю бешеных собак. Идиоты.

К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло на каторгу, многие, струсив, нарядились в бараньи шкуры обывателей, потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в свое удовольствие, стали бандитами,— «жизнь в свое удовольствие» всегда, прямо или косвенно, соприкасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости.

Но — лучше не писать, не думать на эту тему. У меня нет желания намекнуть кому-то: время было плохое, а потому...

Нет, я не хочу оправдываться. У меня своя линия, своя задача. Знакомый мой, татарин, говорил:

— Мин дин мин — я есть я.

Каков бы я ни был, но я — есть я. Условия времени сыграли значительную роль в моей жизни, но только тем, что поставили меня лицом к лицу с самим собою. Раньше я жил, так сказать, вооружаясь для борьбы, это поглощало все мои силы, и у меня не было времени думать: кто я? Раньше я был связан с людьми сознанием общности политических и экономических интересов, чувством партийной солидарности, дисциплиной. А тут вдруг почувствовал, что экономика и политика не всего меня поглощают, увидел, что солидарность интересов — сомнительна, а законы партийной дисциплины не для всех печатаются одним и тем же шрифтом... В это время я и ушибся о вопрос: почему люди так шатки, неустойчивы, почему они с такой легкостью изменяют делу и вере?

Однако это все-таки похоже на попытку оправдаться. Подлая штука.

Пожалуй, правдивее и вернее будет, если сказать просто: раньше я работал с увлечением, энтузиазмом,

самозабвенно, а тут начал посвистывать; суну руки в карманы и свищу, чувствуя, что работать не хочется. Не то, чтоб я устал и не мог, а — именно не хотел. Скучно стало. И не потому скучно, что надо было снова хватать людей за ворот и тащить их на пути к свободе,— на пути, только что обильно политые кровью,— нет, не потому. Я всё это делал, хватал, тащил, но уже как будто из упрямства, из желания кому-то что-то доказать, вообще из других мотивов, не прежних, а новых, неясных для меня. И — непрочных.

Непрочность побуждений к революционной работе я чувствовал особенно остро. Идеи оставались со мною, но энергия, оживлявшая идеи, как будто требовала иного применения.

Трудно мне объяснить это состояние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне странную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать что-то неиспытанное.

Может быть, это бунтовал авантюрист, человек привычки к приключениям, конспирации, опасности? Может быть.

Но — проще — суть в том, что раньше я говорил с людьми словами чужими, книжными и, сам оглушенный ими, не прислушивался к себе. А теперь я чувствовал, что внутри меня живет кто-то, гость непрошеный и неприятный, он слушает мои речи и следит за мною недоверчиво, подозрительно.

Я стал замечать то, что раньше мелькало мимо меня, не задевая моего внимания, и заметил, что товарищ Саша, врач, специалистка по детским болезням, очень милая женщина. Была она маленькая, круглая, веселая; уже почти год вертелась предо мною, как бы танцуя, ее ловкая фигурка, бойко топали стройные ноги в голубых чулках. У нее вообще было пристрастие к голубому: кофточки, бантики, зонтики, в комнате на столах какие-то коробки, на стенах — картинки, всё голубое. И белки глаз голубоватые, а зрачки темные, ласково тающие улыбками.

Политически она была не очень грамотна, питалась больше всего беллетристикой, серьезные книги читала неохотно, но по природе была не глупа.

Еще в шестом году, когда восстание в городе было разбито, жандармы громили нашу организацию и десятками гнали людей в тюрьму, Саша удивила меня спокойным отношением к событиям. Она спрятала меня у своего дяди, офицера, и, уходя от него, пожимая мне руку, сказала:

— Почему вы ногти не чистите? И мыло засохло в ухе у вас.

Это мне понравилось. Потом я влюбился в нее, но молчал об этом. Она скоро заметила это и сама пошла встречу мне; это случилось очень просто, пожалуй, несколько бесстыдно, что ли. Как-то вечером я остался у нее пить чай, и вдруг она почти сердито спросила:

— Ну, когда же вы решитесь сказать, что я вам нравлюсь?

Вот и всё. Я ждал чего-то иного. Мне казалось, что настоящая любовь, как и вера, требует наивности. В простоте Саши — наивности я не почувствовал. Помню, что, раздеваясь, она даже не отвернулась от меня, а, раздетая, хвастливо сказала:

— Вот я какая.

И началась у нас «любовь», с великим удовольствием, но «без радости». Так сказать — деловая любовь, и «потому что без этого не проживешь».

Около Саши суетился товарищ Попов, человек новый в городе. Чистенький, сытенький, розовощекий и курносый, с рыжими усиками, он смотрел в глаза людям взглядом преданной собаки, с подчеркнутой готовностью услужить, побежать, принести. Я чувствовал в нем любопытство кутенка, который суетится всюду, не понимая опасности, по молодости лет своих. Это любопытство возбуждало в нем смелость, хотя он казался мне трусом по натуре. Превосходно рассказывал еврейские анекдоты, знал множество юмористических стихов и был похож гораздо больше на куплетиста, на жулика, чем на серьезного революционера. Однако было в нем что-то приятное, талантливое, какие-то свои искорки в словах, остренькие иголочки в мыслях.

Я очень скоро заметил, что Попов слишком часто приносит Саше конфекты, дарит книги и вообще, ухаживая за нею, тратит много денег. Я спросил ее: что она

думает об этом? Она сказала, что у него в Ростове богатый брат, но — это не успокоило меня. Может быть, я немножко ревновал, зная, что у супруги моей половое любопытство к мужчине очень развито.

А у меня была развита подозрительность, росло недоверие к людям; я жил в «эпоху провокаторов». Мне стало казаться, что жандармы поумнели с той поры, когда в городе явился «товарищ» Попов.

Я поймал его самым простым приемом: сначала убедил одного «сочувствующего» из среды культурных деятелей города испытать маленькую неприятность обыска, затем Попов был осторожно осведомлен, что на квартире этого «сочувствующего», в его кабинете, в диване спрятано кое-что очень интересное для жандармов, через час к «сочувствующему» явились с обыском и, очень небрежно обшарив квартиру, вспороли и тщательно распотрошили диван. Разумеется, ничего не нашли.

Я был почти один в городе, если не считать небольшой кружок рабочей молодежи и нервнобольного товарища, который жил верстах в двадцати, на пасеке у знакомого казака. Я решил расправиться со шпионом единолично и немедленно.

Попов жил на окраине города, у огородника, на чердаке. Он показался мне угнетенным, в нем чувствовалась какая-то внутренняя растрепанность: он, конечно, знал результат обыска и наверное уже чувствовал, что — пойман. Он встретил меня очень нелюбезно и заявил, что приглашен на именины к хозяевам дома,— действительно, внизу, под его комнатой, играли на гармонике, кричали и топали.

На чердаке Попова я пережил часа три, четыре самых скверных в моей жизни.

Я спросил его:

— Давно работаете в охране?

Попов покачнулся, рассыпал папиросы, нагнулся под стол, собирая их, и оттуда сказал, заикаясь, чужим голосом:

— Г-глупая ш-шуточка...

Но, взглянув на меня, он сполз со стула на пол и, стоя на одном колене, засмеялся, всхлипывая, как баба.

— Оставьте... Бросьте,— бормотал он, глядя на браунинг в моей руке. Усы его ощетинились, под одним глазом дрожала какая-то жилка, глаз мигал и закрывался, а другой был неподвижен, как у слепого. Я поднял его за волосы, посадил на стул и предложил ему рассказать о своих подвигах.

Тут я увидел пред собою человека, у которого действительно не было лица: его заменяла серая масса какого-то студня, и в нем, вместе с ним дрожали отвратительно выпученные глаза. Бескровным куском мяса отвисла нижняя губа, дрожал подбородок, морщины бежали по щекам,— казалось, что вся голова этого человека гниет, разлагается и вот сейчас потечет на плечи и грудь серой грязью. И, как бы утверждая это впечатление, Попов схватился руками за виски, закрыл ладонями уши.

Он рассказал довольно обыкновенную историю: с третьего года в партии, дважды сидел в тюрьме, в шестом году участвовал в вооруженном восстании, был арестован на улице.

Рассказывая, он икал от страха.

— Я действительно участвовал, я даже стрелял... даже убил какого-то, честное слово! Наверное — убил, он — упал... Мне грозили вешалкой. Но — ведь хочется жить. Ведь мы — чтобы жить, человек — чтобы жить. Как же иначе? Подумайте сами: ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да?

Это он шептал очень убедительно, шептал и всё спрашивал:

— Да? Да?

Одною рукой он царапал колено свое, а другой мял какую-то бумагу. Я отнял ее и прочитал на ней имя Саши, свое, потом фразу:

«Ликвидировать Каразина было бы преждевременно, удобнее и полезнее сделать это в Екатеринославе, он скоро приедет туда».

Я заметил, что рассказ Попова не возмущал меня,— возмущала его философия. А тут еще чёрт подсказал ему нелепые слова,— они сразу ожесточили меня.

— Неужели совесть ваша не протестовала? — спросил я.

— О да,— вздохнув глубоко, ответил он.— Да, сначала — очень страшно, думаешь, что все догадываются, чувствуют. Потом — привыкаешь. Вы — что думаете?— шёпотом сказал Попов.— Ведь в охране тоже нелегко. И там нужен героизм, там тоже есть свои герои, конечно — есть! Если — борьба, так уж герои с обеих сторон.

И еще тише, жульнически добавил:

— Даже интересно там, может быть, интереснее, чем у нас. Ведь их меньше, нас — больше....

Я видел, что его страх умаляется, исчезает. Он рассказывал увлекаясь, очень живо, со множеством анекдотических подробностей и мелочей, порою даже смешных. Мне кажется, что я не один раз сдерживал желание улыбнуться, и я подумал, что этот теленок, превращенный в полицейскую собаку, мог бы писать интересные рассказы.

В его цинизме было что-то наивное, и эта наивность, помню, всего более ожесточала меня. Ожесточала и пугала. Я чувствовал себя очень странно — человеком, чужим самому себе. И вот наступил момент, когда я вдруг заторопился, сам себя подхлестывая на решение неожиданное.

— Ну, Попов, пишите записку: «В смерти моей прошу никого не винить».

Он скорее удивился, чем испугался, нахмурил брови, спросил:

— Как это? Зачем? Как это — смерть?

Я объяснил ему: если он не напишет записку — я его застрелю, а если напишет,— пусть сам повесится, сейчас же, при мне. Первое, что он сказал в ответ, было неожиданно и нелепо:

— Самоубийство? Никто не поверит, что я кончил самоубийством, нет! Там сразу поймут, что меня убили. И конечно — вы! Вы. Кому же, кроме вас? Там ведь знают, что вы здесь — один почти... И — какое вы имеете право судить, казнить — один?

Потом он валялся на полу, хватая меня за ноги, плакал, визжал, и я должен был зажимать ладонью его противный, мокрый рот.

— Нет,— кричал он тихонько, умоляюще,— нет, судите меня! Надо судить, судить...

Возня эта продолжалась бесконечно долго, я ждал, что внизу услышат, придут. Но там всё веселее играла гармоника, всё яростнее кричали и топали.

Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ.

Брошу писать. К чёрту всё! Зачем мне это нужно? К чёрту.

Нет, писание дело увлекающее. Пишешь — и как будто не один ты на земле, есть еще кто-то, кому ты дорог, пред кем ни в чем не виноват, кто хорошо понимает тебя, не обидно жалеет.

Пишешь — и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внеразумной игрою своего воображения,— игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, стращает людей темнотою души человека затем, чтоб люди признали необходимость бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.

«Смирись, гордый человек!»

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то — между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя — мин дин мин. Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли. Неужели не было случаев, когда писатель умирал внезапно, за столом своим, над листом исписанной бумаги? По-моему — такие случаи должны быть. Выписал себя до конца, до последней искры жизни и — исчез. Жаль, что этим пьяным делом я не занимался раньше.

Ну, буду дальше писать о том, чего не понимаю.

Я вышел за город, ночь была светлая, холодная, дорогу ограждали черные деревья. Сел под деревом, в тень, и так просидел до утра, до поры, пока вдали заскрипели телеги крестьян. Чувствовал я себя скверно, такая немая пустота в душе, безмыслие в голове, в теле вялая усталость. Ждал я, что в душе моей что-то вспыхнет,

разгорится. Когда Попов умер — умерло и мое отвращение к нему. Кто-то подсказывал мне: ты убил человека. Но я понимал, что это исходит сверху, от ума, это не тревожило меня. Человек был предателем. И я не чувствовал себя преступником.

Но незаметно, откуда-то из глубины, вдруг встал предо мною тревожный вопрос: а почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но — не в нем, а — в себе? Как будто я не преступника уничтожал, а свидетеля, опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны опасного?

Вертелись в памяти его слова:

«Если — борьба, так уж герои с обеих сторон».

И вообще назойливо шептались его циничные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто.

Мухами кружились вопросы: как же Попов держался с жандармами? Неужели он им тоже рассказывал анекдоты и стишками смешил? И, может быть, смеялся с ними надо мною? Но главное, что и смущало и тяготило меня — это поспешность, необдуманность, с которой я заставил Попова удавиться.

В этом настроении отчужденности от самого себя и как бы в полусне меня арестовали следующей ночью.

Начальник охранного отделения Симонов сказал мне хриповатым баском и каким-то неестественным, обиженным тоном:

— Вот что, Каразин, хотя Попенко и предлагает никого не винить в его смерти, но умер он в таком растрепанном виде, а на кистях рук у него оказались такие пятна, что совершенно ясно: он повешен, а не сам повесился. В ночь его смерти вы сидели у него приблизительно до половины второго. Это — установлено. И это время вполне совпадает с моментом смерти Попенко. Далее: есть наука дактилоскопия, она, конечно, установит, что оттиски пальцев на стеклянной пепельнице принадлежат вам. Разумеется, я прекрасно понимаю, на чем вы поймали Попенко, да он и сам догадывался об этом.

Он был парень, полезный нам. Вам придется заплатить за его смерть тем же. Кроме того: есть мотивы для уголовного дела,— убийство из ревности. К этому делу, конечно, будет привлечена и Александра Варварина — понимаете?

Я слушал и молчал. Не скажу, чтоб всё это испугало меня, но угроза уголовщиной, разумеется, была неприятна. Саша, обвиняемая по делу убийства из ревности? Нет. Это так нелепо, что даже смешно.

А Симонов, стоя в облаках дыма, говорил деловито:

— Я предлагаю вам заменить Попенко. Если вы на это согласны, вы немедля укажете мне нескольких лиц, которых нам полезно ликвидировать. Тогда выйдет так, что Попенко выдал товарищей и повесился от угрызений совести, а вы сохраните жизнь, не говоря о том, что можете сделать очень хорошую карьеру. Теперь я вас оставлю на некоторое время, на час, на два, а вы — подумайте. Медлить — не советую.

Уходя и прикрывая за собою дверь маленькой камеры, Симонов добавил:

— Выхода у вас нет.

Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою, хотя я понимал, что игра моя проиграна непоправимо. Мне кажется, что я ни одной минуты не думал о том, какое принять решение, я принял его тотчас же, как только услыхал слова Симонова «заменить Попова». Хорошо помню, что я сам был удивлен быстротой и легкостью, с которыми это решение возникло, — оно явилось так же естественно и просто, как возникает желание спать, гулять, выпить воды.

Сидел я в темной комнатке, слушал, как стучит в окно ее проливной дождь, и прислушивался: протестует против моего решения какое-то чувство внутри меня? Не протестовало.

Что это значит? Что значит это спокойствие и откуда оно? Почему я не ощущаю того отвращения к себе, которое вчера было у меня к Попову? Я перебирал в памяти все те слова, которыми награждают предателей, вспоминал всё, что печаталось и говорилось о них, и всё это не задевало, не смущало меня.

Было похоже, что тот, кто вчера заставил человека

удавиться, а сегодня решил уничтожить еще многих, куда-то спрятался, а другой, недоумевая, ждет голоса его, хочет что-то узнать о нем, ищет преступника и — не находит. Преступника — нет.

Потом зашевелились лениво какие-то тени мыслей, движимых любопытством, они создали вопрос:

«Неужели я действительно буду работать в охране, буду выдавать товарищей жандармам?»

На этот вопрос никто не ответил, а любопытство стало навязчивее и острей. Я очень твердо помню, что преобладающим чувством в эти часы было у меня именно любопытство и затем удивление пред тем, что я ничего, кроме любопытства, не чувствую. В этом состоянии человека, спокойно любопытствующего и удивленного самим собою, я и встретил Симонова.

— Разумное решение,— сказал он, выслушав меня, потом озабоченно начал говорить, что я «напрасно напутал с этим комиком Попенко».

— В дело ввязалась полиция. Ну, да это мы устроим. По обычаю, надо подписать вам вот эту бумажку.

Неожиданно для себя я спросил:

— Как вы полагаете — струсил я?

Симонов не сразу ответил, он сначала закурил папиросу об окурок старой.

— Нет, этого я не полагаю. Можете верить, я этого не думаю. Но — не время говорить об этом.

И все-таки мы говорили долго, вероятно, час или больше, говорили, стоя друг пред другом. Странное осталось у меня впечатление от этой беседы: каким-то острым углом моего разума я понимал, что Симонов удивлен легкостью и быстротою моего решения не меньше, чем я сам, что он не верит мне, мое спокойствие не нравится, непонятно ему так же, как мне; наконец, я чувствовал, что ему хотелось бы чем-нибудь испугать меня, но он понимал, что испугать меня нельзя.

Мне казалось, что всё, что говорит он,— «ни к чему». Так, «ни к чему» он сообщил, что полковник Осипов весьма восхищался остротой и независимостью моего ума. Я спросил:

— Жив он?

— Умер. Хороший человек был.

— Да,— согласился я.

Симонов отогнал дым от лица резким движением руки и настойчиво добавил:

— Мечтатель был. Что называется — романтик.

— Да, да,— снова согласился я и сказал, что Попов повесился сам, хотя и по моему настоянию. Симонов пожал плечами:

— Пусть будет так.

Всё это было неправдоподобно и в то же время всё было правдой, умом я хорошо понимал — всё правда. Но ум, наблюдая откуда-то со стороны, молчал, ничего не подсказывая, только любопытствуя.

«Так-то, Карамора! — говорил я сам себе.— Значит: направо кругом — марш?»

Может быть, я всё еще ждал, что кто-то крикнет мне: «Стой! Куда ты?»

Никто не кричал.

Первое время — месяц, два — только Симонов выделялся из неправдоподобного своей резко подчеркнутой реальностью.

Человек лет пятидесяти, среднего роста, плотный. Седые волосы подстрижены бобриком. Неопределенной формы — «русский» — нос, мягкий, красноватый, небольшие, приличные усы. Глаза светлые, спокойные, даже немножко сонные. Людей такого облика очень много, их встречаешь часто, они водятся во всех сословиях, служат во всевозможных учреждениях, живут на всех улицах, по всем городам. Я привык смотреть на таких людей, как на заурядных и обыденных.

Но вот эта обыденность внешности и придавала Симонову в моих глазах особенно твердую реальность среди всего необыкновенного, чем я жил и что делал. Во всем, что он говорил, обнаруживалось уже знакомое мне отношение наймита, чиновника, которому или непонятны, или совершенно чужды основные и конечные цели его работы. Плохо осведомленный в вопросах истории и политики, он относился совершенно равнодушно к интересам монархии, царя, ко всему, что он призван был защищать, и со вкусом, с удовольствием поругивал буржуазию.

Я спросил: почему он взялся за это беспокойное дело?

— Очевидно — из удовольствия делать его,— сказал он своим хриплым, неглубоким басом, постукивая мундштуком папиросы о крышку портсигара, и усмехнулся ленивой, как бы вынужденной усмешкой, продолжая:

— Вы — революционер для своего удовольствия, а я, для моего, враждую с вами, ловлю вас, поймал. Поймал и предложил: давайте охотиться вместе. Вы — согласились. И — отлично. Мне стало еще интереснее.

Тут я впервые, но еще смутно, почувствовал что-то неладное, неверное в нем и вскоре убедился, что под заурядной внешностью этого человека шевелятся мысли не совсем обыкновенные, или, пожалуй, обыкновенно обывательские, но отточенные чрезвычайно остро.

Я пробовал говорить с ним на тему о неравенстве людей, этом, как говорят, единственном источнике всех несчастий жизни, он пожимал плечами, дымил папиросой и спокойно отвечал:

— А я при чем тут? Это не мною устроено, и мне до этого дела нет. И вам — тоже. Испортили вас интеллигенты. Не те книги читали вы. Вам бы почитать «Жизнь животных» Брема.

Всегда в зубах его торчала папироса, пред лицом стояло облако дыма, он щурил глаза, смотрел в потолок и говорил ленивенько:

— Самое большое удовольствие — одурачить, обыграть человека. Вспомните-ка детские игры и, начиная с них, просмотрите всю жизнь: игра в бабки, в мяч, потом игра с девицами, игра в карты, вся жизнь — в игре! Среди вашего брата заметно немало людей, которые играют самими собою.

Он напоминал мне этими словами фракционную и партийную борьбу, удовольствие, которое часто испытывал я, когда мне удавалось «обставить» товарищей.

— Игра и охота — вот это вещи! — говорил Симонов.— Будь у меня средства, я бы уехал в Сибирь, в тайгу, медведей бить. А то и в Африку махнул бы. Охота — великое дело. И суть вовсе не в том, чтоб убить, а чтоб выследить зверя, подержать его под прицелом, испытать в эти минуты свою, человечью, над зверем

власть. Убивают всегда из корысти, ради удовольствия никто никого не убивает, только сумасшедшие или в состоянии запальчивости, раздражения, но это ведь тоже ненормально — запальчивость. В том и подлость убийства, что оно все-таки корыстно.

Слушая его, я не очень верил ему, но — думал:

«Так. Если жизнью командуют игроки и охотники,— что же может помешать мне играть ими и самим собою?»

В голове Симонова было какое-то темное пятно, мозговой вывих, затвердевшее место, мозоль.

— Игра. Охота,— говорил он, сводя всю жизнь к этим забавам, но я ему всё больше не верил, зная, как ловко люди строят различные загородки, чтоб отделить себя от жизни, объяснить свое нежелание работы на нее.

Как-то ночью, на конспиративной квартире, мы пили вино, и Симонов сказал:

— У меня, батенька, был в руках один интеллигент, эдакий, похожий на привидение, так он мне проповедовал, что человек — это зверь, который сошел с ума, встал на дыбы, и с этого момента началась история, та самая, что вот и сегодня продолжается. Конечно,— парень этот сам был сумасшедший, но — мысль его недурна. История, говорит, это процесс лечения сумасшедшего зверя. Я, знаете, немало думал над этим,— мысль, достойная внимания. Я даже думаю, что если б это было возможно, так все порядочные, честные люди решительно отказались бы от участия в истории человечества. Но — как откажешься, куда убежишь? Ведь и отшельники и монахи неизбежно вовлекаются во всеобщую канитель.

Себя Симонов явно считал «порядочным» человеком, хотя и занимал в скверной истории определенно скверное место. Но напоминать ему об этом, указывать на это было бесполезно.

— Ну-у,— говорил он в ответ,— это наивно, батенька!

И возмущался:

— До чего испортили вас интеллигенты!

В его отношении ко мне было нечто, подкупавшее меня, это был интерес к человеку во всей его полноте,

во всем объеме, так сказать — чистый интерес. Он жил вне служебного и корыстного, отдельно, независимо, как интерес «к человеку просто». Симонов смотрел на меня не как начальник на подчиненного, а как старший на младшего: не командовал, не приказывал, а предлагал и даже советовался:

— А как вы думаете, не пора ликвидировать этого нелегального?

И, если я находил, что ликвидировать преждевременно, он, без спора, соглашался со мною.

Он питал ко мне чувство, которое я бы назвал бережливостью. Может быть, это было даже то чувство любви, которое питает охотник к хорошей собаке. Я пишу это без иронии, без горечи, я слышал умную пословицу: «Самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть». Эта пословица очень умиротворяет запросы души.

Случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей. Ни одного человека, с которым я мог бы свободно говорить о самом существенном — о себе. Я, разумеется, пробовал говорить на эту тему, но разговоры в этом духе не удавались и не удовлетворяли меня. Не все зияния в душе можно заткнуть книгой, к тому же есть книги, которые очень зло расширяют и углубляют эти зияния. Редки люди, способные видеть, что всё на свете имеет свою тень, и всякие правды, все истины тоже не лишены этого придатка, конечно — лишнего. Тени эти возбуждают сомнения в чистоте правд, сомнения же не то что запрещены, а считаются постыдными и, так сказать, неблагонадежными. Сомневающийся — всегда подозрителен; вот это, пожалуй, истина, лишенная тени.

Среди товарищей я имел репутацию человека, идейно шаткого, капризного и — это хуже всего — склонного к романтизму, к «метафизике», как говорил товарищ Басов, человек, с которым я встречался чаще, чем с другими.

— Революционер обязан быть материалистом; материализм — это воля, совершенно очищенная от всего неразумного, иррационального,— говорил товарищ Басов, подчеркивая р; я понимал, что Басов говорит пра-

вильно, однако, по антипатии к нему, не соглашался с ним.

Симонов — человек, с которым можно было говорить о чем угодно, он умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что — этого он не понимает, этого — не знает, а иногда прямо говорил:

— Это мне не нужно знать.

К моему удивлению, ненужным оказался для него бог, к удивлению, потому что я думал — он верующий.

— Странно, что вы спрашиваете об этом,— сказал он, пожав плечами.— Какой там бог, когда у нас, у каждого, по четырнадцати аршин кишок в животах? И, затем, если — бог, то ведь и верблюд, и щука, и свинья должны чувствовать его, — понимаете? Ведь человек тоже животное. Разумное? Ну, разумных животных немало и кроме человека; к тому же установлено, что в этом деле разум ни при чем: бог постигается не разумом. Ну чего ж... Вы бы почитали Брема, право!

Изумлялся:

— Как испортили вас интеллигенты!

— Ну а если б не испортили,— чем бы я был, на ваш взгляд?

Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал:

— Н-не знаю. Может быть, изобретателем каким-нибудь. Не знаю. Вы очень странный.

Вообще же Симонов был человек не живой, какой-то плохо выдуманный и, должно быть, очень одинокий. Словоохотливый, он был скуп на жесты, руки его двигались медленно, смеялся он редко, и чувствовалось, что он глубоко равнодушен к жизни, к людям. А за всем этим он был ленив, возможно — ленив ленью усталости.

Я скоро убедился, что всё, что он говорил о наслаждениях охоты, игры, выдумано им для себя, взято с чужих слов. Охота на людей не увлекала его. Имея помощников в лице провокаторов, он вполне удовлетворялся этим и личную инициативу почти не проявлял. В сущности, если б я этого хотел, я, наверное, мог бы ничего не делать, а просто рассказывать Симонову анекдоты из партийной жизни, из быта революционеров. Анекдотическая сторона революции интересовала его, по-

жалуй, больше самой сути дела; анекдоты он выслушивал всегда внимательно, и чем глупее был анекдот, тем более широкую улыбку вызывал он на удручающе бесцветном лице Симонова. Однажды он заметил, вздохнув:

— А Попенко рассказывал эти штуки забавнее, чем вы. Он говорил, как Брем.

«Как Брем» — это наивысшая похвала в устах Симонова. «Жизнь животных» он читал всегда, как немец-меннонит Библию.

Как-то я спросил его:

— Почему вы называете Попова — Попенко?

— Так вижу,— ответил он.— Каждый видит по-своему. Попов должен быть выше ростом, и — руки у него длиннее.

Была у Симонова только одна черта или привычка, возбуждавшая у меня неприятное и подозрительное чувство: иногда он, среди беседы, вдруг точно проваливался в неизвестное и непонятное мне. На безличном лице его являлась важная, но глупая гримаса, зрачки нелепо расширялись, он сосредоточенно и строго, как гипнотизер, смотрел на меня, но я чувствовал: видит он что-то другое, почти страшное. И при этом он, спрятав руки под стол, шевелил ими так, что мне казалось: он незаметно достает револьвер, чтоб застрелить меня. Эти припадки внезапной, немой задумчивости, провалы человека в неведомое и недоступное мне, были очень часты у него, и всегда я чувствовал себя нехорошо во время их.

Потом я стал думать, что в Симонове скрыто что-то значительное, таинственное, такое человеческое, чего он сам боится. Я ждал, что он откроет предо мною это, и мой интерес к нему становился всё более напряженным, ожидающим.

Есть теории добра: Евангелие, Коран, Талмуд, еще какие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Всё надо объяснить, всё, иначе — как жить?

Вчера я написал:

«Если б я хотел, я мог бы ничего не делать»,— иными словами: я мог бы не выдавать товарищей. Более

того: мне легко было бы делать кое-что полезное для них. Я и делал, но, сделав, чувствовал, что это мне не нужно и не может ничего изменить внутри меня.

Я — выдавал. Почему? Вопрос этот я поставил пред собою с первого же дня службы в охране, но ответа на него не находил. Я всё ждал, что внутри меня вспыхнет протест, «заговорит совесть», но совесть молчала. Говорило только любопытство, спрашивая: «Что же будет дальше?»

Я очень настегивал себя, пытаясь разбудить чувство, которое осудило бы меня, сказало мне решительно: «Ты преступник».

Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, отвращения, раскаяния или хотя бы страха. Нет, ничего подобного я не испытывал, ничего, кроме любопытства; оно становилось всё более едким и, пожалуй, тревожным, выдвигая разные вопросы, например: «Почему так легок переход от подвигов героизма к подлости?»

Неужели прав дрянненький Попов, сказавший: «Если борьба, так уж герои с обеих сторон».

Но «героем» я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принужден, обязан решить темный вопрос: почему, делая подлое дело, я не чувствую отвращения к себе? Этот вопрос я ставил пред собою и так и всячески, на сотню ладов.

Потом я стал думать: а вдруг Симонов — прав, жизнь — дело сумасшедшего зверя, всё в ней — пустяки, игра, а я действительно испорчен интеллигентами, книгами? Вдруг все эти «учителя жизни», социалисты, гуманисты, моралисты — врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми — выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счет сил другого, и это дано навсегда.

Ничего нет, всё выдумано, всё лживо, а я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверячья борьба, и незачем сдерживать, главное, нечем сдержать эту борьбу. Я первый открыл, что у человека нет

сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против ее: она — законное и действительное орудие взаимной борьбы.

Есть очень злая сказка: народ единодушно восхищался красотою и богатством одежд короля, а мальчишка вдруг закричал:«Король-то совсем голый!» И все тотчас увидели: да, король гол и уродлив.

Может быть, это я и должен сыграть роль зоркого мальчишки?

Мысли этого порядка особенно настойчиво одолевали меня в четырнадцатом году, когда началась анафемская война и всё человеческое соскочило с людей, как чешуя с протухшей рыбы.

Прочитав написанное мною сейчас, я вижу, что всё это — не то, что надо, не так рассказано. Я изобразил себя человеком, который запутался в мыслях, философствуя, вывихнул себе душу, умертвил в ней всё то человеческое, что считается добрым, хорошим. Нет, это — не то, не так.

Мысли, несмотря на их обилие, никогда не смущали и не соблазняли меня. Они представляются мне пузырями на поверхности кипения чувств: вздуваются пузыри, лопаются, исчезают, заменяясь другими. Только те мысли живучи и действенны, которые заряжены чувством; когда они заряжены, я их физически ощущаю, тогда мысли, как пальцы, хватают, подбирают и перемещают факты, лепят, строят и, оплодотворенные чувством, в свою очередь рождают новые чувства. Одна, сама по себе, не оплодотворенная чувством, мысль играет с человеком, как проститутка, но совершенно не способна изменить что-либо в человеке. Конечно, иногда и проститутку искренно любят, но — естественнее относиться к ней осторожно: обворует, заразит.

Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски. Эта окраска не удовлетворяла меня, она казалась мне скучной, безрадостной, как осенний непогожий день. Но я видел, что люди так крепко взнузданы излюбленной ими мыслью именно потому, что она про-

чувствована насквозь, вошла в плоть и кости людей. Эта мысль — не пузырь, а — туго сжатый кулак, мысль, верующая в свою силу.

В седьмом и четырнадцатом годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих верований, я убедился, что в них чего-то нет и никогда не было. Чего? Чувства физической брезгливости к тому, что отрицалось их мыслью? Не было привычки жить честно?

Вот здесь я, кажется, поймал что-то верное: привычка жить честно — это как раз то самое, чего не хватает людям. Этой привычки не хватало и товарищам моим. Быт их противоречил «убеждениям», «принципам»,— догматам веры. Это противоречие особенно резко обнаруживалось в приемах фракционной борьбы, во вражде между людьми одинаковой веры, но различной тактики. Тут находил себе место бесстыднейший иезуитизм, допускались жульнические подвохи и даже подленькие приемы азартных игроков, увлеченных игрою до самозабвения, играющих уже только ради процесса игры.

Да, да — привычки жить честно нет у людей! Я, разумеется, понимаю, что большинство их не имело и не имеет возможности выработать эту привычку. Но те, кто ставит пред собою задачу перестроить жизнь, перевоспитать людей, — ошибаются, полагая, что «в борьбе все средства хороши». Нет, руководясь таким догматом, не воспитаешь в людях привычку жить честно.

А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления, использовать сразу всё зло, для того чтоб, наконец, всё это надоело, опротивело, ужаснуло и погибло?

Странное дело! Никак не могу не связывать себя с кем-то или с чем-то, с людьми или событиями. Не могу, и — это очень похоже все-таки на попытку оправдать себя, попытку, скрываемую мною неискусно.

А между тем я совершенно лишен желания оправдываться, это я и знаю и чувствую. Это не из гордости, не из отчаяния человека, который изломал свою жизнь непоправимо. Не потому, что я хотел бы крикнуть: да, я преступник, вы — тоже, но у вас — сила, убивайте!

Мне кричать некуда, некому. Людей я не чувствую, они мне не нужны.

Все эти невольные попытки самооправдания мешают мне открыть главное, чего я ищу: почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило бы меня на пути к предательству? И почему я сам себя не могу осудить? Почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления?

Если мои записки имеют цель, так только эту — разрешить вопрос: отчего я так несоединимо и навсегда расклеился?

Я уже писал: я беспощадно нахлестывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и веселый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвоет.

Ничего не взвыло.

Симонов угощал меня красным вином какого-то необыкновенного вкуса и запаха, угощал и говорил:

— Хотите перевестись в Москву или Петербург? Здесь для вас уже мелка вода. Меня, вероятно, тоже скоро переведут в одну из столиц.

— Петр Филиппович,— спросил я,— как вы думаете: почему я стараюсь?

Он, по обыкновению, ответил не сразу, сначала внимательно посмотрел на меня, потом в потолок; пожал плечами:

— Не знаю. На деньги вы не жадны, честолюбия у вас — не заметно. Из чувства мести? Не похоже. Вы, в сущности, добряк.

Улыбаясь, он продолжал осторожно:

— Не первый раз вы спрашиваете меня об этом, а я уже говорил вам: вы — человек странный. Может быть, вы немножко сумасшедший? Тоже как будто нет. Ну, а сами-то вы знаете: из-за чего же?

Тогда я кратко рассказал ему в чем дело. Он слушал меня внимательно, молча; слушал и жег папиросы одну за другой. А когда я кончил, Симонов равнодушно сказал:

— Ну, это, знаете, даже опасно. Ф-фа, до чего испортили вас эти чёртовы интеллигенты.

И, зажигая новую папиросу, он вздохнул:

— Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что ж вам еще осталось? Только одно: убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете, закричите.

Он встал, налил вина и, стоя затылком ко мне, разглядывал вино на свет, досадно обыкновенный человек, в этот час — более обыкновенный, чем всегда. Так он стоял долго, пока я не догадался, что наступил обычный его припадок, провал в непонятное мне.

— Что с вами?

Он медленно обернулся, сел, выпил вино, вздохнул, закурил.

— Выдумали вы, батенька, всю эту внутреннюю канитель,— сказал он.— Выдумали, да! Это — для развлечения. Я — знаю это. Сам, иногда, лягу спать, а — не спится, и воображаю себя то отчаянным злодеем, то святым человеком. Забавляет. А чаще всего — фокусником, эдаким исключительным, эксцентрическим фокусником.

И вдруг, облокотясь на стол, оживленный, каким я его никогда не видал, Симонов начал рассказывать хриплым своим баском:

— Знаете,— чудеснейшим фокусником вижу *я себя*. Прежде всего: я выхожу на сцену в трико — понимаете? Как акробат. Никаких карманов!

Он улыбнулся улыбкой счастливого человека, глупо и смешно подмигнул мне.

— Вдруг в руках у меня утка. Я пускаю ее на пол, она ходит по сцене, крякает и — кладет яйца! Понимаете? Положит, а из яйца вылупился поросенок, положит другое, а из него — заяц, из третьего — сова, и так штук десять. Вообразите состояние публики, а? Все встали с мест, протирают глаза, смотрят в бинокли,— изумление! Все чувствуют себя дураками, а особенно — губернатор, каково губернатору чувствовать себя при нублике идиотом, а? Вдруг — у меня две головы! Я за-

куриваю сигары,— две! Но — дыма нет, а потом дым идет из пальцев ног — воображаете? А по сцене прыгает заяц, бегает поросенок, дико вытаращенными глазами смотрит на людей ослепленная огнем рампы сова, еще какие-то животные мечутся, их становится всё больше — кавардак!

И, вытаращив бесцветные глаза, начальник охранного отделения Петр Филиппович Симонов, борец против революции, сказал с глубочайшим убеждением, почти с восторгом:

— Чёрт знает до чего можно одурачить людей! Чёрт знает как!

Слушая его нелепый бред, я чувствовал себя идиотом. Он не был пьян, пил не мало, но никогда не хмелел.

Я спросил его:

— Об этом вам и думается, когда вы вдруг точно засыпаете во время беседы, как будто проваливаетесь куда-то?

— Об этом,— сказал он, кивнув головою.— Это на меня находит внезапно. Как-то даже на докладе, в департаменте полиции, вдруг мне представилось, что я могу написать в воздухе пальцем мою фамилию огненными буквами. И — что ж вы думаете? Начал писать, вижу — выходит! Горят в воздухе перед лицом директора огненные буквы: Симонов, Симонов... Смотрю на директора и удивляюсь: неужели он не видит этого? А он спрашивает меня: «Что с вами? Вам дурно?» Испугался, конечно.

Тихонькое безумие сияло в глазах Симонова, и от этого лицо стало как будто значительнее.

Питая некую надежду, я спросил:

— А больше у вас ничего нет?

Он тоже спросил меня:

— Что вы хотите сказать?

Странно умер он: ночью часа два сидел со мною, совершенно здоровый, а в четыре часа дня умер в саду, лежа в гамаке.

Приходил товарищ Басов и с ним еще какой-то рыжий, с забинтованной головою:

— Не узнаёте меня, Карамора?— осведомился он.

Оказалось: один из тех, которым я устраивал побег. Не помню его. Их было трое в тюрьме.

Басов спросил: служил ли я уже в охране, устраивая этот побег? Глупый вопрос. По документам охраны они должны знать, что уже служил.

Поговорив со мною полчаса тоном праведных судей,— как и надлежало,— ушли.

Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно: что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку или человек дан жизни на съедение? И чья это затея — жизнь? В сущности: дурацкая затея.

Да, я, служа в охране, разрешал себе устраивать товарищам маленькие удовольствия: побег из тюрьмы, побеги из ссылки, устраивал типографии, склады литературы. Но двурушничал не для того, чтоб, упрочив их доверие ко мне, выдавать их жандармам, а так, для разнообразия. Помогал и по симпатиям, но главным образом из любопытства: что будет?

Говорят, есть в глазу какой-то «хрусталик» и от него именно зависит правильность зрения. В душу человека тоже надо бы вложить такой хрусталик. А его — нет. Нет его, вот в чем суть дела.

Привычка честно жить? Это привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможна только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым. Или — душевно слепым. Может быть, слепота — это и есть святость?

Я не всё написал, а всё, что написал — не так. Но — больше писать не хочется.

Уголовные поют «Интернационал», надзиратель в коридоре тихонько подпевает им. У него смешная фамилия — Зудилин.

Была у нас в комитете пропагандистка, Миронова, товарищ Тася, удивительная девушка. Какое ласковое, но твердое сердце было у нее! Не скажу, чтоб она была красива, но человека милее ее я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней? Я ее не выдавал жандармам.

Поток мысли. Непрерывное течение мысли.

А что, если я действительно тот самый мальчишка, который только один способен видеть правду?

«Король-то совсем голый, а?»

Опять лезут ко мне...

Надоели.

АНЕКДОТ

Когда рыжий носатый доктор, ощупав холодными пальцами тело Егора Быкова, сказал неоспоримым басом, что болезнь запущена, опасна,— Быков почувствовал себя так же обиженно, как в юности рекрутом, и в год турецкой войны, под Ени-Загрой, среди колючих кустов, где он валялся с перебитой ногою,— черный ночной дождь размачивал его, боль, не торопясь, отдирала тело с костей.

— Чего же это? Умру, что ли?

Доктор, сидя у стола, собирался писать, пробовал ржавое перо и говорил что-то непонятное, но огорченный Быков не слушал его, глядя в окно,— по улице ветер гнал перья, стружки, пыль.

— Пили вы много...

Мысленно обругав доктора, больной возразил:

— Это — не причина, мало ли людей пьет, однако ж не все помирают раньше время!

Разум сердито внушал:

«Вон — курица; курица будет жить, нанесет яиц, высидит цыплят, а ты — помрешь! И все труды тяжелых дней твоих пропадут зря».

Молча проводив доктора до двери, Быков, в туфлях на босу ногу, в нижнем белье и сером халате, взглянул в зеркало, там необыкновенно четко отразилось узкое, костлявое лицо, угрюмо освещенное зеленоватыми глазами, со щек и подбородка опускались на грудь прямые волосы длинной бороды. Нехорошее лицо.

Быков вздохнул, простонал тихонько и сел у окна в кожаное кресло, посапывая носом, чувствуя, как в правом боку шевелится болезнь, неутомимо просвер-

ливая печень, наполняя всё тело пьяной слабостью и горечью обиды.

— Пил много! А ты чем себя утешаешь, дурак? — спросил он доктора, глядя, как тот влезает в пролетку извозчика.

— Самовар подавать?

Толстая глупая баба, кухарка Агафья, стояла в двери.

— Сколько раз говорил я тебе, красная рожа, не ставь кресло у окна, на солнце! Гляди, как оно выгорело. Что ж, по-твоему, солнце светит для порчи мебели?

— Да вы сами его передвинули,— безобидно отозвалась Агафья.

Быков вспомнил, как больно было ему передвигать тяжелое кресло, и это, вместе с безобидностью бабы, еще сильнее озлило его.

— Иди к чертям!

Агафья исчезла. Быков поглядел вслед ей, думая: «Эта будет жить еще лет сорок, а мне — умирать! Как же имущество? Вот — жениться не успел, дела обуяли. Надо было жениться тотчас после войны, теперь дети были бы. Осторожность помешала. И лечиться опоздал. Как знать, что мне дана короткая жизнь?»

И, опустив голову, он вслух пожаловался:

— Эх ты, господи, господи...

Всего глупее и досаднее всего было то, что некому передать имущество, накопленное двадцатилетней тратой сил и хитростью ума. Отдать в монастырь или на какое-нибудь иное божье дело? Разум не соглашался на это. Быков хорошо знал, что попы, монахи и другие люди, заведующие земным имуществом бога,— ненадежны, все они такие же темные грешники, как сам он. Да и с богом — неладно; Быков относился к нему осторожно, недоверчиво, всегда чувствуя, что бог хорошо знает все его дела и помыслы, следит за ним зорко, и не кто иной, как именно бог, неоднократно мешал ему, спорил против его, необходимой для жизни, человеческой жадности. Бывало так, что вот уже всё налажено, готово, а вдруг в душе, точно спичка загоралась, трепетал маленький огонек, будил какие-то серые, об-

лачные мысли, будил боязнь греха, наказания, иногда вызывал даже что-то похожее на чувство жалости к людям, которых Быкову удавалось обойти и прижать.

Он хорошо понимал, что ведь не чёрт шутит, а именно бог играет с ним, заставляя его, против разума, уступать людям и, насмешливо обижаясь, он говорил нахлебнику и наперснику своему, Кикину, горбатому, робкому человечку с птичьими глазами:

— Почему же это моя обязанность жалеть людей? Меня не жалели. Меня добром никто не угощал.

— Глупости, конечно,— соглашался Кикин.

Вспомнив о нем, Егор Быков взял палку, ручку от половой щетки, постучал ею в потолок, и через две-три минуты в дверь бесшумно ввернулся маленький горбун; ноги у него были кривые, заплетались, и он ввертывался в воздух винтом, как штопор.

— Ну как? — спросил он робко, мигая глазами больной курицы.

— Умирать, слышь, надобно мне.

Кикин провел ладонью по безбородому желтому лицу.

— Может — врет?

— Нет. Сам знаю.

— Так. Рано.

— То-то и есть! Да — ладно; умирать так умирать, от этого не откажешься. Я — солдат. А вот с имуществом что делать?

Наливая чай, шаркая ногами по полу, горбун сказал, вздохнув:

— По закону — имущество переходит племяннику, Якову Сомову.

— Да — он мне троюродный! — возмущенно захрипел Быков, и возмущение усилило боль в боку.— Я и не знаю, каков он, и видел его не боле пяти раз.

— Однако по закону...

— Закон! — Быков, щелкнув зубами, крепко выругался.

— Тогда — обратить на дела благотворения,— неохотно посоветовал Кикин.

— Ну нет; я зерно мое на камнях не посею!

— Это, конечно, не забава.

Подумав, сердито поговорив еще немного, Быков поручил горбуну завтра же позвать племянника в гости.

— Погляжу, что за зверь.

Яков Сомов пришел вечером, почтительно поклонился и, не протягивая руки, сказал:

— Здравствуйте!

Голос у него был не громок, но звучен и высок, слово прозвучало осмысленно; было ясно, что это не пустое слово, а наполнено доброжеланием. Невысокий ростом, был он строен, на его обветренном лице мягко и спокойно светились голубоватые глаза, над левым ухом упрямо торчал казацкий вихор русых волос, под крупным носом курчавились светлые усики. Было в нем что-то крепкое, чистое, привлекательное; Быков тотчас отметил это, но, по привычке относясь к людям недоверчиво, сказал себе: «Лицо — глупое. И, должно быть, бабник».

Внимательно присматриваясь к парню, бедно одетому в синюю рубаху, парусиновый пиджак и такие же брюки, заправленные за голенища сапог, всхрапывая от боли, Быков деловито выспросил племянника — кто он? Оказалось, что Якову девятнадцать лет, он приказчик в торговле лесным материалом, поет в церковном хоре первым тенором, любит удить рыбу и читать книги. Слушая его спокойный рассказ, Быков неприязненно думал: «Говорит, как на исповеди. Врет поди-ка. Догадался, зачем позван, притворяется хорошеньким».

И вдруг, против воли, он поторопился, сказал, скривив темное лицо свое усмешкой:

— А я вот умираю.

Он услыхал в ответ:

— Ну, зачем же?

— Как это — зачем? — удивленно и сердито спросил Быков.— Болезнь у меня!

И решительно сказал себе: «Парень этот — глуп!»

Но Яков Сомов заговорил с незнакомой, ласковой убедительностью:

— Против всякой болезни имеются средства, например: морковный сок. Год тому назад у меня чахотка начиналась, так мать регента, очень добрая, умная старушка, указала мне морковный сок по стакану утром, натощак. И всё прошло.

Хорошо улыбаясь, Сомов провел рукою по шее, по груди, а Быков почувствовал, что спокойные слова племянника как будто гасят боль.

— То — чахотка, а у меня — другое.

— И чахотка — болезнь. Нет, вы обязательно попробуйте морковный сок или хрен, настоянный на спирте. Хрен действует еще лучше,— в нем есть селитра, а селитра — первое средство против гниения; рыбу солят — селитру добавляют в рассол, чтоб не гнила. А всякая болезнь — гниение...

Удивительно приятно говорил Яков Сомов, слова его катились одно за другим легко, точно песчинки, и хоронили недоверие Быкова к молодости племянника.

— Откуда ты знаешь это?

Охотно, как старому другу, Яков рассказал ему историю своего знакомства с одним образованным человеком и отличным рыболовом, который осенью прошлого года застрелился.

— Зачем же?

— По случаю неудачной любви...

— Н-ну, стреляться — глупость!

— Прямолинеен был.

— Чего это?

— Он был прям в чувствах своих...

— Угу,— сказал Быков, думая: «Чудной парень. Болтлив. Молодость, конечно...»

Так, в легкой беседе, прошло еще немало времени, а потом Сомов, взглянув на ленивые стрелки стенных часов, сказал, что ему пора на спевку, почтительно простился и ушел.

Егор Быков прилег на диван, задумался. Долгие разговоры с людями всегда утомляли его,— о чем говорить? Сразу видно, чего хочет человек от тебя, и всегда знаешь, что тебе нужно от человека. А этот — особенный, хотя и мальчишка. Скромен, в родню не лезет, дядей не назвал ни разу, а, наверное, знает, что дядя-то одинок. Может быть — хитрит? Не похоже.

Пришел из склада, где принимал пеньку, усталый, потный Кикин, сел к столу.

— Был?

— Был.

— Ну как?

— Разве сразу отгадаешь? Однако — заметна в нем дружелюбность.

Наливая чай, Кикин голодно, жадно жевал хлеб с колбасой и внимательно слушал раздумчивую речь хозяина.

— Любит утешать. Утешители — обманщики, я им не верю. Дружелюбие тоже не качество для меня. Люди навыкли жить так, как бы господь пустил их для осмеяния друг другу.

— Это — правильно!— подтвердил горбун, всю жизнь свою безжалостно осмеиваемый за уродство.

— То-то и есть! А чёрт стравливает нас, как бойцовых петухов. Людям — грех, чёрту — смех,— божие намерение никому не ведомо. Господь, как полицеймейстер в театре, смотрит, помалкивает...

Быков долго говорил словами обиженного человека, потом, устало закрыв глаза, осведомился:

— Ты что слышал про него, про Якова?

Кикин, намазывая медом кусок хлеба, повернулся вместе со стулом, доложил:

— Хозяин его, Титов, говорит: парень трудолюбив, но иной раз обнаруживает фантазию.

— Чего это?

— Не умел Титов объяснить, а я понял так, что Яков склонен делать лишнее, чего не надо. Спрашивал и соборного дьякона; этот хвалит без оглядки, но, конечно, ему верить нельзя, приятель, вместе рыбу удят. Квартирная хозяйка показала, что пьет Яков только в компании, а компания у него — серая, литейщики от Кононова, слесаря, цирульник...

— Не с губернатором же ему дружбу водить.

— Баб к себе не водит, привержен к чистоте, порядку, добрый.

— Добрый?

— Да.

— Это — по молодости лет! Та-ак... Значит: известны ему твои расспросы и должен был он догадаться, зачем позван мной?

— Едва ли знает; я ведь осторожно.

Быков помолчал, подумал.

— Ну, что же делать? Видно — так надо. Ты все-таки еще разузнай о нем. Да скажи, чтоб он заходил ко мне, я, кажись, забыл позвать его.

И с угрюмой досадой Быков воскликнул:

— Нет, ты подумай,— каково это мне? Работал, работал, сколько греха на душу принял, а — для кого? Для чужого человека, молокососа, а?

— Плохой анекдот,— уверенно сказал робкий горбун, мигая круглыми глазами.

Болезнь как будто ожидала разрешающего слова доктора, после визита его она заторопилась, рвущая боль в боку стала сильнее, мутила разум, и Быкову казалось, что в каждой точке тела его неустанно работают, шевелятся червячки тоски и обиды.

— Как дела? — осведомлялся Кикин.

Быков сердито хрипел:

— Трудно, первый раз умираю, навыка нет.

Он любил шутки и умел шутить, это умение очень помогало ему в те минуты, когда люди, обиженные им, упрекали и ругали его.

— Так бог велел, чтоб я тебя одолел,— говорил он тому или иному человеку.

Но теперь шутки не удавались, и лишь по привычке он, как всегда, высмеивал Кикина, уже недоступного насмешкам. Целые дни Быков лежал на диване, головою в угол, под образа, чувствуя, как голова его беднеет мыслями, пуста, как бубенчик, и бьется, звенит в ней только одна дума:

«Умираю. За что?»

Иногда, чтоб заглушить вопрос этот, он вспоминал полузабытые слова молитв.

«Владыко господи, вседержителю... соблюди от всякого ада, от всякой лютости... от духов лукавых, дневных же и ночных...»

И чувствовал, что слова эти, не примиряя его с волею бога,— неизбежностью преждевременной смерти,— еще более усиливают лютость обиды и тоски.

Вставал и, накинув на плечи серый суконный халат, шел мимо зеркала к синей, бездонной дыре окна,— зер-

кало отражало длинную фигуру арестанта, темное лицо с мутными глазами, всклоченную бороду. Взяв гребенку с подзеркальника, он садился в кресло, расчесывал волосы на голове, бороду и смотрел на улицу, на дома, разделенные густыми садами, построенные солидно, крепко, в расчете на века.

На улице тихо, безлюдно, жарко. Хозяева разъехались по дачам, у ворот лентяйничают дворники. Очень тихо, только в садах хлопотливо щебечут птицы, не мешая думать о несправедливости бога. Ведь вот — дома эти, глубоко врытые фундаментами в землю, кирпичные человечьи гнезда, будут стоять неисчислимое время, а человек, строитель домов, украшающий землю трудами рук своих, осужден на смерть через краткий срок — за что? За что наказывается преждевременной смертью георгиевский кавалер и купец второй гильдии Егор Иванов Быков, человек, не доживший и до полусотни лет? Разве он грешнее других, и разве за грехи смерть человеку?

Вечерами, когда приходил Яков Сомов, больной чувствовал себя легче, речи племянника отвлекали от угрюмых мыслей, вызывая острое любопытство к этому парню, желание понять его и едкую зависть к нему — он будет жить долго, спокойно, богато и всё это за счет чужой силы; безгрешно может жить. Вот уж несправедливая и даже насмешливая глупость!

Речи Якова были очень интересны; Быков часто и приятно удивлялся их новизне, но замечал в словах племянника необыкновенное сочетание глупости и ума; это мешало ему остановиться на определенном отношении к Сомову, а он очень торопился найти такое отношение.

«По природе он глуп или по молодости?» — спрашивал себя Быков, слушая Якова, а тот, задумчиво улыбаясь, говорил:

— Похоже на людей жить — скучно, а непохоже — трудно.

— Это — так,— соглашался Быков.— Однако — люди разны!

И было очень досадно, когда этот красивенький парень, не возражая, а всё же с упрямством, говорил:

— В главном — все одинаковы, если присмотреться.

— А что — главное?

— Расчет на чужую силу.

Поглаживая бороду, Быков молчал, внимательно присматривался. Верно говорит племяш. Но — ведь он сам будет жить чужой, его, Быкова, силой,— понимает он это или нет? Если понимает, значит говорит против своего интереса и — глуп, а не понимает — тоже глуп.

И, стараясь найти самое существенное в характере Якова, Быков говорил:

— Жизнь, братец мой, война, закон ее простой: не зевай!

— Совершенно верно. Оттого и все неприятности.

— Без этого — нельзя, без неприятностей-то!

Яков, улыбаясь, молчал.

Быкову казалось, что улыбки являются на девичьем лице племянника не вовремя, неоправданно, ненужно, и есть в них что-то обидно снисходительное.

«Видать — умником считает себя»,— соображал он, разглядывая Якова прищуренными глазами.

И еще более неприятно было видеть, как Сомов в средине беседы молчал, опустив глаза,— молчал, как будто он — человек, который знает что-то важное, а сказать не хочет, играя чайной ложкой или костяной пуговицей пиджака.

Это молчание однажды так рассердило Быкова, что он закричал, захрапел:

— Ты — что, не понимаешь, чего тебе говорят, или как?

Вежливо и даже как бы виновато Яков ответил:

— Понимаю, только — не согласен!

— Это почему же?

— Я — в других мыслях.

— Каких? Скажи! Ты — говори, оспаривай! Какая у тебя причина молчать?

Всё так же вежливо Яков сказал:

— Спорить я не люблю да и не умею. По-моему, споры только утверждают разногласие людей.

— Значит — молчать надо людям,— так, что ли?

Но племянник не ответил, продолжая свою мысль:

— Ведь спорят не для того, чтоб найти правду, а больше для того, чтоб скрыть ее. Правда очень простая дана людям: будьте, как дети, любите ближнего, как самого себя. Против этого спорить бесстыдно.

«Блаженный»,— с досадой подумал Быков и сердито засмеялся, хотя смех усиливал боль.

— Ты — что же — умеешь жить, как дитё, можешь? И ближнего умеешь любить, ну? Эх ты! Сам же согласился, что жизнь — война, а теперь говоришь... э, брат, это слабо!

Но, не смущаясь его насмешками, Яков сказал с тихим упрямством:

— Все-таки кроме этого — нет иного разрешения жизни от несчастий и надобно двигать мысли в эту сторону.

— Куда-а? В какую?

— А чтобы жить просто, как дети.

— Да — глупый ты человек! — дети-то первые озорники на земле, али ты не знаешь? Ты гляди, как они, зверята, колошматят друг друга.

Племянник замолчал, улыбаясь.

Быкову хотелось обругать его, но он сдержался и, всхрапнув от боли, сказал угрюмо:

— Ну ладно, ты — иди! Устал я.

Сел у окна и, глядя как над садами рдеют красноватые облака, крепко задумался: темный парень! В мозгах у него — кисель. Туманный парнишко, не нащупаешь его, не дается.

«О господи! Везде — задачи, загадки...»

Ест Яков медленно, это признак плохой: тихо едят лентяи. И мало ест, по-барски откусывая кусочки, жует долго, как старик, хотя зубы у него крепкие, здоровые. Задумчив, а в его возрасте о чем думать? И ходит не бойко, тоже задумчиво, как по чужой земле. В лице есть что-то от «красной девки», и если б не вихор — лицо было бы совсем бабье.

Жить, как дети... дурак! Попробуй-ка поживи эдак-то! А может быть, он не дурак, но просто — мягкого сердца парень, мало бит, не отвердело сердце? И, по молодости, парень надеется прожить жизнь без

обиды себе и другим, без греха? Это — не плохо бы, только — никак невозможно!

Быков взглянул на свою нелегкую жизнь, и ему стало так жалко себя, что какая-то часть этой горькой жалости перелилась и на племянника.

«Знает, что непохоже на людей трудно жить — должен понять, что без греха — как без масла: каша — суха, работа — плоха! Человеку хочется на мягком спать. Все ж таки Яков приятный и должна в нем быть капля быковской крови».

Но когда пришел Кикин, Быков насмешливо заговорил:

— Ну, брат, наследничек мой не боек, нет! Блаженненький. Жить, говорит, надо, как дети, слыхал ты?

— Это из Евангелия,— робко сказал горбун.

— Чего это?

— Из Евангелия. Христос там...

Быков сердито крякнул и, щупая горящий бок, заворчал сквозь зубы:

— Христос — сын божий, а я — Ивана Быкова, мужика, сын; это надо различать! Христос ненькой не занимался, между нами не жил.

И, озлобляясь, застучал кулаком по кожаной ручке кресла.

— Коли ты собрался Христа ради жить, так пиджак-то скинь и сапоги сними, а ходи во вретище, ходи босой! И — вихор остриги, вихор!

Возбуждение утомило его, он сморщил лицо, замолчал, потом угрюмо упрекнул Кикина:

— И ты тоже бормочешь: Христос, Христос! Христос горбатому не пара. Да. Вот — слышишь? Бесполезные птицы поют, а человек умирает. Христу это незнакомо было.

Кикин осторожно подсказал:

— В Гефсиманском саду и Христос тоже на судьбу свою жаловался...

Это очень обрадовало Быкова, он снова возбужденно и быстро заговорил:

— А — как же? Я — помню! То-то вот! Преждевременная гибель и ему горька была. А я — человек...

Охнув болезненно, он глубже уселся в кресло, вытянул ноги и стал жаловаться:

— Как же быть, Кикин, а? В какие же руки имущество мое попадет? Это уж издевка — собирал, копил, грешил да всё сразу в яму и бросил! А?

Говорил он долго, жалобно, сердито и, вытянув руку, тыкал пальцем в горшки цветов на подоконнике, а Кикин, слушая его, опустив голову, барабанил пальцами по острому колену кривой ноги своей.

— С другой стороны,— сказал он, вздохнув,— ежели Якова — прочь, благотворение — тоже прочь, тогда имущество становится выморочным и его заграбастает казна...

Быков щелкнул зубами, усмехаясь:

— Вроде как будто я лишенный всех прав и на вечную каторгу осужден?

— Именно. В том и анекдот!

— Ловко, а?

— Без выхода...

Они оба долго молчали, все-таки ища выход, и, наконец, горбун посоветовал пригласить Якова Сомова жить в дом, присмотреться к нему получше, поучить его науке жизни,— может быть, парень станет серьезнее, когда почувствует обязанности, возлагаемые на человека имуществом.

На том и решили.

Дождь хлещет в стекла окон, гулко воет ветер, и когда стеклянный сумрак улицы освещают вспышки молнии, а в полутемную комнату врывается синевато-серый свет,— цветы с подоконников, кажется, падают, а все вещи, вздрогнув, скользят по полу к белому пятну двери.

Жарко горят дрова в изразцовой печи, против жерла ее сидит Егор Быков, грея холодные ноги, по его серому халату, на коленях и груди, ползают теплые, красноватые пятна, освещая часть бороды, а лицо остается в тени,— слепое лицо с закрытыми глазами.

Кикин угловато съежился, сидя на низенькой скамейке для ног, спрятав руки под горб на груди, и

снизу вверх, странными глазами, в которых колеблются отблески огня, смотрит на лицо Якова; Яков прижался плечом к изразцам печи и говорит тихонько, точно сказку рассказывая:

— Ведь чем больше накопляется имущества, тем больше и озлобления, зависти в людях. Бедные видят огромнейшие богатства...

— Угу,— мычит Быков, открывая глаза, а Кикин, вздохнув, сует кочергу в печь, ворочает там дрова, яростно трещат угли, брызгая искрами на медный лист перед печью.

Быков шаркает ногою, растирая искры на меди, смотрит исподлобья: как нехорошо всё, как неприятно! Рожа Кикина точно кожаный разбитый мяч, которым долго играли, на черепе у него торчат какие-то плюшевые серые волосы, лягушачий рот удивленно открыт, а уши горбуна — звериные. Как у чёрта. Яков точно картинка, нарисованная на белых изразцах, и хотя он одет щеголевато, во всё новое, а приятнее не стал.

— Что же,— насмешливо спрашивает Быков,— по-твоему, бедные эти ограбить богатых решатся, так, что ли?

— Обязательно должно быть справедливое разделение богатств...

— Так,— говорит Быков,— так! Плохо, брат, думаешь ты!

— Это думают миллионы.

— Считал?

— Народ действительно злится,— осторожно вставляет Кикин, глядя в печь.— Очень недовольны все.

Неестественно высоко подняв брови, Быков хрипит:

— Ты — молчи! Видишь — я молчу.

Не прошло двух месяцев с того дня, как племянник поселился в доме, но Быков всё чаще слышит осторожненькие поддакивания горбуна речам Якова. И смотрит Кикин на парня подхалимисто,— чувствует, собака, нового хозяина.

«Эх, люди, люди...»

А племянник как-то по-своему невиданно глуп или

очень хитрый человечишко. Нельзя понять: чего он хочет? Говорит мягко, ласково и, видимо, хочет незаметно заставить согласиться с ним в том, что источник всех несчастий жизни, всей путаницы ее, заключен в богатстве. Уродская, горбатая мысль, и не к лицу она Якову, тут он фальшивит. Для чего? Он уже знает, что по смерти дяди будет богат, и вовсе не похож он на нищелюба, способного раздать имущество бедным. У него есть хозяйские повадки, уважение и бережливость к вещам, пристрастие к порядку, к чистоте. Он сразу подтянул дворника, сам помог ему прибрать запущенный двор, облазил, осмотрел всё хозяйство, поймал приказчика на воровстве. Нищих — явно не любит...

А все-таки — мутный парень, и никак нельзя нащупать: что в нем настоящее? Вихор. В башке у него, в мозгах тоже какой-то упрямый вихор есть.

Вдруг он нарочно говорит всю эту неприятную, необычную ересь, нарочно для того, чтоб пугать, раздражать больного человека и этим поскорее свести его в гроб? Догадка эта очень встревожила Быкова, и однажды он прямо спросил Якова:

— Зачем ты говоришь чепуху эту?

— Для ясности,— ответил племянник, вытаращив бараньи глаза. Глаза у него тоже двойные: иногда ими смотрит родной, хороший парень, но чаще, остановясь неподвижно, они смотрят тупо, не видя,— такими они бывают всегда, когда он говорит свою ересь.

— Нужна ясность. Нужно, чтобы все люди единодушно сговорились насчет взаимной помощи друг другу...

— Да — помощь-то против кого? — раздраженно храпел Быков.— Вражда-то где? Ведь — в людях вражда, пойми!

— В раздоре — жить нельзя,— упрямо твердил юноша.— Сказано: не сей ветер, пожнешь бурю! Нужно ущемление всенародной совести, а иначе разразится всенародный бунт...

— Да — врешь! — сердито кричал Быков.

Дни и ночи он думал: годится или не годится Яков

в наследники? Эти думы отвлекали его от мыслей о смерти, порою казалось, что даже и боль уступает им.

«Темный парень, темный! Каждый нищий понимает, что настоящая крепость жизни и защита человеку — в богатстве, в имуществе. Даже подземные кроты понимают это...»

Ночами, когда всё на земле приглушенно молчит, как бы думая о истекшем дне, а думы человека, тяжелея, становятся почти видимы и тугой клубок разума, медленно разматываясь, протягивает всюду темные нити свои, Быков, чутко прислушиваясь, догадывался, что наверху — не спят; ему даже казалось, что он слышит упрямую речь Якова, видит его глаза и удивленное, мятое лицо горбуна. Наверное, Яков говорит об изменении законов государства и о том, что надо сократить власть царя,— он даже и на это дерзает, мальчишка-то!

Об этом тихонько говорили во время турецкой кампании и снова начали думать, потому что снова разыгралась война. Это — штатские мутят, воевать им не хочется, боятся они призыва под ружье. Тогда они даже пытались убить царя, но, опоздав, убили после войны.

«Какая глупость всё это! Исус Навин воевал; царь Давид кроток был, Псалтырь писал, а тоже войны не мог избежать. Монахи воевали. Благоверные князья воевали с татарами. Святой Александр Невский шведов нещадно бил, однако ж никого из них свои люди не убивали. Какая темная глупость!»

Устав лежать, Быков садился у окна, смотрел на звезды, на пухлое, бабье лицо луны,— тоска изливалась с неба, хвастливо украшенного звездами.

Соборный поп, отец Федор, твердил: «Мало любуются люди чудесным великолепием небес». А в стуколку играл нечестно, в преферанс же с ним совсем нельзя играть.

И Быков вспомнил, как он поссорился с попом, сказав ему, что ничего великолепного в небе нет, напоминает оно о ничтожной малости человека и гораздо лучше днем, когда, голое, освещено солнцем. Ночами же небо приятнее покрытое облаками, тогда его не

видишь, будто нет его. Человек создан для земли, и когда попы выманивают его с нее, так это похоже, как если бы рекрута-жениха со свадьбы в казарму звать. Дико рассердился поп...

Деревья в садах так плотно склеены тьмою, точно их кто-то в деготь окунул. В городе нестерпимо тихо, до того тихо, что хочется закричать: «Пожар! Горим!»

«О господи, господи! — мысленно жалуется Быков.— Как же это? За что ты обидел меня? Грешнее я людей или — как?»

И вспоминает дела знакомых своих: все они хуже его, все жаднее, завистливее. Он — совестлив, оттого и не имеет близких друзей, прожил жизнь свою одиноко, не спеша готовя прочное гнездо для спокойной жизни с красивой, доброй женой. Хорошо иметь около себя дородную, красивую женщину, одевать ее куклой, водить по праздникам на гулянья, катать на паре лошадей, хвастаться ее нарядами, драгоценным убором ее мягкого тела, растравляя всем этим зависть других женщин. Хорошо...

Прищурив глаза, он разглядывал в сумраке тяжелую мебель, вспоминая, с какими надеждами покупал ее. Вещи имеют большой смысл, среди них человек живет, как в крепости. А если вынести из комнаты всё, что поставлено в ней, комната будет похожа на большой гроб.

«О господи! За что?»

И всё кажется, что на чердаке у горбуна шумит Яков, как швейная машинка, тихонько вышивая словами узоры ереси своей.

«Упрям в мыслях. Это — неплохо, хотя мысли детские. И я, когда был молодой, тоже не знаю чего хотел».

Мысли Быкова незаметно принимали другую окраску. Всё равно — кроме Якова — нет наследников, его счастье! Приняв это решение, но чувствуя, что оно против разума, Быков придумывал оправдания ему, но не мог ничего выдумать, кроме: парень скромный, трезвый, будет богат — поумнеет.

Но когда на короткое время он забывал о Сомове

как наследнике своем,— Яков решительно нравился ему. Он с удивлением чувствовал в упрямых, странных мыслях племянника наличие какого-то иного разума, не того, которым жил он, Егор Быков, чужого ему, но разума, который истекал из сердца, не омраченного жизнью, из крепкой веры во что-то. Нередко, следя, как затейливые и порою непонятные слова племянника слагаются в легкие мысли, Быков чувствовал почти зависть и, нарочито хмурясь, чтоб скрыть невольную улыбку, думал: «Ловко! Сера птица, а — ноет сладко. В моем пере эдак-то не запоешь. Легко ему, бесенку...»

Особенно нравились Быкову рассказы Якова о жизни его бывшего хозяина, Титова, о его причудливом пьянстве. Слушая эти рассказы, он даже смеялся, широко открывая зубастый рот, всхрапывая и жмуря глаза от удовольствия. Приятно было видеть своего врага смешным и жалким, и приятно убеждаться, что зоркий, острый глаз наследника хорошо видит слабости и уродства людей.

— Ловко замечаешь! Это — полезно. Всегда полезно видеть, на какую ногу человек хром. На левую — бей справа, на правую — слева ударь!

А Яков чистым голосом своим рисовал:

— Когда же у Титова наступает запойное время,— зовет он к себе инженера Балтийского, и дней десять пьют они с фокусом. Фокус таков: посылают лакея Христофора вечером в сад, приказывая ему зарыть там в землю, в разных местах, бутылок двадцать вина так, чтоб даже горлышки бутылок не видно было. А утром рано оба с тросточками выходят они в сад искать грибы, ищут, ковыряя землю тросточками. Найдут бутылку водки, радостно кричат: белый! Разопьют водку в беседке и снова ищут грибы; красный гриб — красное вино, шампанское — шампиньон, коньяк — рыжик, ликер — груздь. Так целый день ищут и пьют, в том порядке, что найдется. Иногда начинают пить с ликера, выпьют бутылку и — за другой идут. До того допивались, что Титов идет по траве, царем Навухудоносором, на четвереньках, и рычит из оперы «Демон»:

Я тот, кого никто не любит
И всё живущее клянет...

А Балтийский, лежа на земле, горько плакал о том, что не мог бутылку из земли зубами вытащить, плакал и жаловался: «Где моя сила?»

Быков смеялся, хотя смех усиливал грызущую боль, а Сомов говорил с явным сожалением:

— Конечно, это очень достойно смеха, а все-таки мне жалко таких людей,— громадной силы люди, им бы, знаете, горы двигать, а они двумя пальцами работают. Совершенно неправильно говорится, что люди жадны, нет, жадности на работу не вижу я!

— Молод, потому и видишь мало,— сказал Быков, только для того, чтоб возразить, и — подумал:

«Непонятен парень. Ведь вот: о деле рассуждает, как хозяин, и — верно: жадности на работу в людях нет,— лентяи! Но выходит нелепо, небывало: служащий, рабочий сокрушается, что хозяин плохо работает! Говорит: работать надо честно. Но если ставить дело так, чтоб все люди работали честно, во всю свою силу,— тогда детские мысли надо отмести прочь».

— Путаный ты человек, Яков,— с угрюмой досадой сказал он племяннику.— Чего-то не додумал ты, легкодум...

Сомов замолчал, опустив глаза, пытаясь пригладить вихор, отчего тот еще более вздыбился.

Вдруг купечество затревожилось, целые дни гоняло лошадей, разъезжая по улице, осанисто сидя в экипажах; Быков, наблюдая из окна беспокойное движение людей, не привыкших торопиться, спросил Кикина:

— Чего они мечутся?

Он видел, что унылое лицо горбуна изменилось, расцвело, куриные глаза его утратили болезненную муть; засмеянный человечишко этот даже ходить стал тверже, не так робко вертясь на кривых ногах, как вертелся всегда; теперь, когда он двигался, казалось, что внутри его, в горбах, что-то упруго подпры-

гивает. Оживленно мигая, разводя руками, дергая подтяжки брюк, он рассказывал совершенно непонятное,— небывалый городской скандал, в котором принимали участие и городская дума и ремесленная управа, купечество, дворянство и даже попы.

— Тут, Егор Иваныч, такой анекдот развернулся...

— Стой. Губернатор — в городе?

— Как же...

— Царь — жив?

— Вполне...

— Ну?

Кикин улыбнулся несвойственной ему, нехорошей улыбкой:

— Вы — о чем спрашиваете?

— Дурак!

Яков, наверное, рассказал бы более толково о событиях в городе, но он отпросился в Москву и вторую неделю торчит там, смотрит столицу. А город всё гуще наполняется необычной суетой и гулом, который похож на гул пасхальной недели, в иные дни — на шум большого пожара.

— Чего делается? — сердито допытывался Быков.

— Видите ли, Егор Иванович, народ требует...

— Погоди, не тараторь! Какой народ? Мужики?

— Мужики — тоже...

— Чего — тоже?

— Требуют земли.

— У кого это?

— А видите ли...

Дальше начиналась совершеннейшая чепуха: горбун, вертясь на стуле, точно рак в кипятке, виновато ухмылялся и бормотал:

— Все друг друга требуют к расчету...

Он потирал руки, в глазах его светилась пьяная радость, противореча тревожному рассказу, кривые ноги надоедливо топали и шаркали под столом.

— Всеобщая обида против жизни подняла голос, началось отрезвление разума, и все согласны, что больше нельзя допускать такую жизнь...

— Какую, двугорбый бес?

— Вот — эту! Очень бесстрашно говорится обо

всем, а некоторые так рассказывают, словно до этих дней спали и всё прошедшее приснилось им, ей-богу! Решимость и упорство...

Обратив к Быкову голое старческое лицо, горбун сидел боком к нему, рыжий пиджачок взъехал на его острый горб, обнажив белый пузырь рубахи и подтяжку брюк, обрызганных грязью почти до колен.

«С каким дрянным человеком я живу»,— подумал Быков.

— Чистый анекдот, Егор Иваныч,— все вылезли на улицу, толкутся около Думы...

— Поди к чёрту!

И, оставшись один, Быков задумался тоскливо:

«Такая ничтожная червь, а тревожит! Дам ему денег,— пускай не живет у меня. Теперь, при Якове, не нужен он для меня...»

Яков приехал вечером дождливого дня, он сошел вниз, к чаю, торжественно, как будто воротился из церкви, от причастия. Было в нем что-то туго натянутое, вихор торчал еще более задорно, брови озабоченно надвинулись на глаза, а голос понизился, охрип. И на стул Яков сел не так скромно, как всегда, а подтолкнув стул ногою к столу. Это усилило тревогу Быкова, вызвало в нем предчувствие несчастия.

— Ну что же, как Москва?

Неприятно отчеканивая слова, племянник начал говорить задумчиво, но необыкновенно громко, как будто он свидетельствовал на суде, приняв присягу говорить правду. Говорил долго, не отвечая на сердитые вопросы, и часто останавливался, вспоминая или придумывая слова.

«Врет! Пугает», — соображал Быков, оскорбляемый невниманием Якова к его вопросам, сердито следя, как горбун нетерпеливо возится на стуле и, открывая лягушачий рот, хочет, видимо, вставить какое-то свое слово.

«Снюхались, черти...»

Яков рассказал невероятное: все сословия почему-то вдруг возмутились, требуют облегчения жизни, каждое сообразно своим интересам, и все люди, как пьяные, лезут друг на друга в драку.

— Ну, и что же будет? — недоверчиво, сердито спросил Быков.

Сомов подумал, шумно вздохнул и заговорил:

— Будет — плохо, если не достигнем всенародного ущемления совести и взаимной помощи друг другу. Мне, Егор Иванович, беспокоить вас очень жалко, однако — не могу скрыть: может быть даже полная революция с оружием в руках.

— Врешь! — сказал Быков твердо и решительно.— Откуда, какое оружие? Врешь. Это ты пользуешься тем, что я — больной, сам на улицу не могу выйти... Это ты пугаешь меня, страхом уморить хочешь.

И, застучав кулаком по столу так, что задребезжали чашки, он хрипел, выкатив глаза:

— Я — не старуха, я в светопреставление не верю! Не боюсь! Ничего не боюсь! Пока я жив — я имуществу хозяин...

Он остановился, видя, что племянник, густо покраснев, надвинулся на него, вместе со стулом, кашлянул сипло...

— Тогда — позвольте объясниться начистоту, — сказал он, точно гвозди заколачивая.— Вы подозреваете меня в расчете на имущество, об этом мне вот и Константин Дмитриевич говорил. Вы ошибаетесь весьма обидно для меня. Богатство ваше мне не нужно, и я от него отказываюсь. Могу даже написать заявление, что не принимаю наследства, напишу сегодня же и вручу вам. А жить к вам я переехал только потому, что вы человек одинокий, больной и вам скучно. Мне же известно, что вы лучше многих прямотой характера и другими качествами. Учителя гимназии Бекера вы могли вполне законно разорить и обратить в нищего, так же как девушек Казимирских, а вы этого не сделали. Отсюда мое уважение к вам и ответ, почему я живу у вас. А больше я — не могу! Прощайте!

Яков совершенно осип и, кончив речь свою почти шёпотом, закашлялся, встал, пошел к двери, говоря по пути:

— Конечно, я очень благодарен, но — каюсь...

— Постой! — крикнул Быков, туго подтягивая

шнуровой пояс халата и зачем-то высоко, к плечам подняв кисти его.— Постой, не горячись!

Но Яков Сомов уже скрылся за дверью. Тогда Быков встал, вытянул руки, держа в них концы пояса, как вожжи, и крикнул Кикину:

— Вороти!

Горбун вскочил, закружился, исчез.

— Скажи, пожалуйста! — вслух бормотал Быков, изумленно глядя к двери, прислушиваясь к тихим голосам на лестнице вверх. Изумлял его не отказ Якова от наследства, а то, что Яков знает о Бекере, глупом человеке, попавшем в лапы ростовщика, о красавицах сестрах Казимирских, почти разоренных гулякой отцом.

«Уважаю, сказал. Обиделся. Совсем еще дитё».

— Чудак! — встретил он Сомова, сконфуженно усмехаясь.— Ты что же это вскипел, а? Ну-ко, садись! Наследство принадлежит тебе не по моей воле только, а и по закону...

Стоя, держась за спинку стула, Яков тихо, но твердо сказал:

— О наследстве не желаю говорить.

— Да — ну? Так-таки и не желаешь?

— Нет. Еще, может, скоро все наследства будут уничтожены.

— Чего это? — спросил Быков, раскачивая кисти халата.— Ты — сядь!

Он чувствовал необычно: так, должно быть, чувствует себя голодный нищий, неожиданно получив вкусную милостину.

— Ты на больного не сердись! Лишить тебя наследства никто не может. Тут — закон!

Яков сел и сказал:

— Закон этот уничтожить надо, от него только несчастия одни.

— Ну, ладно, уничтожим,— шутливо согласился Быков, присматриваясь к наследнику. Ему показалось, что Яков нездоров; девичье лицо его осунулось, губы потемнели, он часто облизывает их языком, провалившиеся глаза смотрят хмуро и мутны.

— У тебя не лихорадка ли?

— Нет,— сказал Яков, приглаживая вихор.— Только вы не шутите,— против богатых большое движение народа и такие голоса, чтоб все имущества отнять...

— Не бойся,— уверенно успокоил Быков.— Не бойся, не отнимут!

— Я — не боюсь; я сам за это...

Быков как мог глубоко, с храпом втянул в грудь много воздуха и, шумно выдохнув с ним боль, заговорил той крепкой, раздельной речью, как поп Федор говорил проповеди:

— Человек без имущества — голая кость, а имущество — плоть, мясо его, понял? Мясо!

Шлепнув ладонью по коже ручки кресла, он повторил еще раз:

— Мясо. И живет человек для того, чтоб обрасти мясом до полноты исполнения всех желаний. Мир стоит на исполнении желаний, для этого вся людская работа. Кто мало хочет, тот дешево стоит.

— Вот все всего и захотели,— усмехаясь, вставил Яков.

— Чего это? Чего захотели? Ты — словам не верь, работе верь. Мало захотеть, надо сделать. Когда всего будет много — на всех хватит, все будут довольны.

И, мягко, как только он мог, Быков сказал племяннику:

— Я — не глуп, понимаю: ты всё по Христу хочешь, попросту, чисто. Это — верно, что Христос желал всё разделить поровну, так ведь он в бедном мире жил, а мы — в богатом живем. В Христову пору и людей было немного и хотели они малого, а и то на всех не хватило. А теперь мы стали жаднее, нас — множество и всякому — всего надо. Значит: работай, копи, припасай...

Быков сам был удивлен своими мыслями, они возникли вдруг и независимо от его воли, пришли, как чужой человек, чужой, но — интересный. Это смутило его, но одна мысль показалась ему умной, верной, легко разрешающей греховную путаницу жизни, и, сам прислушиваясь к ней, он повторил:

— Сначала, значит, надо наработать, накопить

всего, потом — дели всем поровну и даже уродам, которые ни к чему не способные, им — тоже! Чтобы никакой бедности и грязи не было и греха не было бы ни тени. Так-то. Все — сыты, каждый живет как умеет, никто на тебя со злобой, с завистью не лезет. Каждый сам себе свят. Вот! Именно так: каждый человек сам себе — святой!

Говорил Быков и всё более изумлялся, чувствуя, что этот ход мысли имеет силу развиваться без конца, легко подсказывая нужные слова. Ему даже показалось, что тугой клубок этой мысли давно, всегда лежал на дне его души, а сегодня ожил и завертелся, спуская бесконечную, крепкую нить. Это развертывание клубка захватывало дыхание, точно Быков стремительно ехал по зимней, гладко укатанной дороге. Необыкновенно легко говорились эти новые слова, как будто он всегда думал ими. Приятно было чувствовать себя по-новому умным, видеть, как горбун, слушая, улыбается пьяной улыбкой, а Яков, наклонясь на стуле, смотрит, глазами девушки, родственно. И всё это было до такой степени трогательно, так взволновало ощущением силы, связующей людей, что на глазах Быкова выступили слезы умиления, он вдруг ослабел, привалился к спинке кресла и пробормотал, устало закрыв глаза:

— Кому приятно супостатом быть для людей? А нужда — необорима, нужда в работе ох велика! И — торопиться надо,— всякого ждет смерть...

Кикин, вскочив со стула, озабоченно сказал:

— Вы, Егор Иваныч, лягте, вы устали. Яша, отведем!

Взяв Быкова под руки, они отвели его в постель, заботливо уложили и ушли бесшумно, горбун, заплетая ноги, впереди, а Яков, приглаживая вихор, шел за ним, опустя голову.

Несколько дней Быков прожил, чувствуя себя именинником, торжественно приподнятый выше обычного, окутанный теплым облаком забот Кикина и Якова. Он сильно ослабел за эти дни; пришлось пригласить для ухода за ним сестру милосердия, длинную, тонкую,

как жердь, молчаливую женщину, с рябым лицом и бесцветными глазами. Покорно наблюдая таяние сил, Быков, сквозь туман своего настроения, смутно видел, что желтое лицо Кикина озабоченно вытягивается, глаза тревожно бегают, прячутся. Яков тоже стал более молчалив, бледен, хмур; он по нескольку раз в день исчезает куда-то, а возвратясь, говорит о событиях неохотно, осторожно.

«Жалеют,— соображал Быков.— Оба жалеют. Не хотят беспокоить. Видно — скоро конец мне».

Но мысль о смерти пугала его еще менее, чем раньше, обидный смысл ее притупился, стал не так горек, хотя невольно думалось: «Теперь бы и пожить немного с Яковом-то. И Кикин тоже хорош. Теперь они меня поняли. Развернул я душу пред ними, они и поняли».

И, мысленно усмехаясь, думал о наследнике: «Доказал я ему, как надо понимать имущество, беспокоится парень. А говорил: разделить бедным! Эх, люди...»

— Чего делается в городе? — спрашивал он сестру милосердия, желая проверить путаные рассказы Кикина и осторожные племянника.

— Бунтуют всё еще,— равнодушно отвечала женщина, как будто бунты были обычным развлечением горожан, вроде пьянства и торговли. Она часто зевала, прикрывая рот горсточкой, зевнув, быстро крестилась, в бесцветных глазах ее застыл сон, в бесшумной походке была кошачья гибкость.

Стрелять в городе начали с субботы на воскресенье, на заре серого, дождливого дня. Первые выстрелы раздались где-то далеко и звучали мягко в воздухе, пронизанном пылью мелкого дождя.

Быков несколько минут слушал эти щелчки, похоже было, что ворона бьет клювом о мокрое железо крыш.

— Что это стучит? — спросил он, разбудив сестру; она прислушалась, подняв голову, как змея, глядя в серые квадраты окон.

— Не знаю. Лекарства дать?

— Молчи.

Щелчки участились, подвинулись ближе, чмокая часто, точно косточки счет под пальцами ловкого счетовода.

— Похоже — стреляют,— угрюмо сказал Быков, уже хорошо зная слухом старого солдата, что это именно выстрелы.— Поди-ка, разбуди верхних...

Сестра ушла, качаясь в сумраке, как под ветром, затыкая пальцами волосы под платок. Быков сел на постели и слушал, тоже приглаживая трясущимися руками волосы головы и бороды.

— Стреляют, сукины дети! Это — кто же в кого?

Сестра сбежала по лестнице очень быстро и еще в двери взвизгнула глупым тонким голосом:

— Стреляют! В крышу, в вашу...

— Дура,— строго сказал Быков.— Холостыми стреляют.

— Ой, нет...

— Молчать! Это — маневры. Пулями в городе нельзя стрелять.

— Ой, нет! Ой, батюшки, нет...

Женщина подбежала к окну, раскрыла его,— в комнату влетели дробные звуки. Быков слышал, что бьют из винтовок и револьверов. А вот бухнула бомба, заныли стекла, в окнах дома, наискось от окон Быкова, тревожно вспыхнули огни. Крестясь, женщина присела на пол и тоже заныла:

— Господи-и...

Вошел, вертясь, Кикин в пальто и фуражке, шел он на пальцах ног, лицо его, освещенное огнем лампы, казалось медным и мертвым.

— Чего это делается? — крикнул Быков.— Где Яков?

— Ушел.

— Когда? Куда?

Сняв фуражку, горбун виновато развел вывихнутыми руками:

— Я, Егор Иваныч, говорил ему — не лезь, не надо! Хотя они действительно обманули...

— Кто?

— Начальство, правительство. А Яша говорит: нельзя, товарищи... Подлость, говорит. Он — с кононовскими, с литейщиками...

Быков что-то понял, его точно кнутом хлестнуло; спустив ноги с кровати, он захрипел:

— Халат! К окну меня! Эй, баба!..

Выглядывая из окна, сестра отмахнулась рукой:

— Как знаете сами! Пожар начался. Я — домой...

Но не только не ушла, а даже не встала с пола, стоя на коленях пред окном.

Одевая Быкова, Кикин бормотал:

— Как бы не влетело в окно что-нибудь...

— Молчи,— сурово сказал Быков.— Сводник! Укрыватель...

Стреляли близко. Был слышен даже протяжный крик:

— А-а-а...

Гремели запоры ворот, хлопали двери, где-то два топора рубили дерево, визгливый бабий голос тревожно крикнул:

— Садами беги...

Подойдя к окну, Быков увидал, как по улице проскакал черный конь, ко хребту его прирос человек, это сделало коня похожим на верблюда, а по неровному цоканью подков было слышно, что конь хром. Прижимаясь к заборам и стенам домов, в сумраке быстро промелькнули три фигуры, гуськом одна за другою, задняя волокла за собою какую-то жердь, конец жерди шаркал по камням панели, задевал за тумбы.

«Воры»,— решил Быков, чувствуя, как внутри его грозно растет тишина, пустота, а в ней гулко отражаются все звуки и тонут, гаснут мысли. Вот провыла пуля, шелохнулись сухие листья на деревьях.

«Рикошет»,— определил Быков и услыхал робкий голос Кикина:

— Вы бы отошли от окна...

Он толкнул Кикина в плечо.

— Бунт, значит?

— Восстание рабочих, Егор Иваныч...

— Яков, Яшка — в бунте?

— С кононовскими он...

— Иди,— сказал Быков, протянув руку в окно, на улицу.— Иди, позови его! Сейчас же шел бы домой. Что ж ты, подлец, молчал, скрывал?..

Кикин виновато пробормотал:

— Яша говорил вам: с оружием в руках...

— Иди! Погибнет Яшка — жить не дам тебе!

Челюсть Быкова так тряслась, что казалось — у него отваливается борода. Вытянувшись, как во фронте, серый, высокий, он стоял в мутном пятне окна, вытаращив глаза, щелкая зубами, ноги его дрожали, и халат струился, стекал с костей его плеч.

Кикин исчез.

— Я — домой,— повторила сестра милосердия.

Не отводя глаз с улицы, налитой туманом, Быков тяжело опустился в кресло. Стреляли меньше, реже, тюкал топор, что-то упало, бухнув по забору или воротам, ломая доски. Непонятно было: почему так туго натянулись и дрожат проволоки телеграфа? Затем, неестественно быстро, в улицу всыпался глухой шум, топот ног, треск дерева, и знакомый, высокий, но осипший голос крикнул:

— Снимай ворота! Там бочки на дворе,— выкатывай...

«Это у меня на дворе бочки»,— сообразил Быков.

А на улице под окнами кричали:

— Вяжи проволоку за фонарь! Тяни поперек улицы... Р-руби столбы... Ногу, ногу, чёрт...

— Тут — Яшкин голос,— вслух сказал Быков.— Его!

Думать о том, что делает Яков,— не хотелось, но Быков все-таки бормотал, ложась грудью на подоконник:

— Защищает. Не пускает.

Сестра совалась из угла в угол комнаты, причитая:

— Ой, господи! Го-осподи... Грабители...

— Сядь! — крикнул Быков.— Вот я тебя — палкой! Молчи...

И, взяв палку, которой стучал в потолок, вызывая Кикина, он показал ее сестре. У него всё тряслась челюсть и волосы усов лезли в рот, он дергал усы, бороду, но челюсть отпадала, и всё грозней становилась тишина внутри, глубже пустота, куда вторгался с улицы шум, крик, треск дерева и отдаленные звуки выстрелов.

— Ставь на попа! — командовал чей-то бас у ворот.

Уже посветлело, в тумане фигуры людей очертились достаточно ясно, их было не больше сотни, они сгруди-

лись влево от дома Быкова и заваливали улицу, перегораживая ее телеграфными столбами, тащили их за проволоку, как сомов за усы. Со двора соседей несли прессованное сено, выкатили телегу, ухая, раскачивали забор, на эту возню слепо и стеклянно смотрели окна молчаливых домов, и было видно, как за стеклами изредка мелькают тени людей.

Вдали военный рожок резко пропел сигнал сбора.

— Берегись,— крикнул бас, что-то затрещало, заскрипело и рухнуло на камни мостовой.

— Крушат,— вслух сказал Быков, обращаясь к сестре и как бы требуя ее совета.— Слышишь? Ломают!

Вздрагивая от холода, запахнув халат на груди, он высунулся в окно еще дальше и увидал, что Яков, с ломом на плече, бежит к воротам, а за ним бегут еще человек десять, с винтовками в руках, с топорами, один — с оглоблей, они все сразу ударились о ворота, Яков кошкой перелез во двор и закричал:

— Снимай полотно ворот! Бочки бери...

Всё это было невероятно, как сон, Быков смотрел и не верил глазам. Разбудил его истерический вопль сестры:

— Ой, грабители...

Ворота распахнулись, люди вбежали во двор.

— Стой! — крикнул Быков, собрав все остатки сил в этот крик.— Стойте, дьяволы! Яшка — гони их!

Он увидел поднятое вверх круглое, как блин, лицо Якова, услышал его крик:

— Обманули, дядя! Бьют людей...

И вслед за тем жалобно раздался голос горбуна:

— Егор Иваныч — отойдите!

Левое полотно ворот приподнялось, покачнулось и с грохотом упало во двор, люди вцепились в него, потащили на улицу, а другие начали раскачивать второе полотно, выкатывать бочки, и среди них суетился маленький, горбатый человечек.

Тогда Быков, матерно ругаясь, схватил горшок с кактусом и метнул его во двор, в людей. Горшок упал далеко от них, Быков видел это, но закричал сестре:

— Давай цветы, стулья давай, всё!

Он крикнул достаточно устрашающе, женщина,

согнувшись вдвое, молча заметалась по комнате, снося горшки цветов с подоконников, пододвигая руками и ногами стулья, а Быков, качаясь, размахивался остатком сил, стонал от боли и метал вниз, в людей, всё, что мог поднять, бросал, храпел и дико ругался.

— Яшка — убью! Коська, урод...

Кто-то выстрелил, тонко звякнуло стекло, с потолка посыпалась штукатурка, сестра, взвизгнув, села на пол, упираясь в него руками, Быков обернулся к ней и крикнул:

— Врешь, жива! Давай, стерва...

И одновременно на улице, очень близко, защелкали выстрелы, а под воротами тонкий голос завопил:

— Обошли-и...

Быков видел, как племянник присел и пополз во двор, волоча ногу, а бородатый человек, бросив оглоблю, опрокинулся навзничь, стукнувшись головою так, что с нее слетела шапка; тотчас же вынырнули из тумана и явились у ворот согнутые серые солдаты, высунув вперед себя штыки, вскрикивая:

— Сдавайсь! Ложися...

Стреляли по бегущим.

Быков дико захохотал и, вытянув руку, тыкая ею вниз, топая ногами, заорал, захрипел:

— Этого колите, вон — ползет, в шляпе, коли его! Горбуна,— вон присел за бочкой, горбатого-то...

Сестра милосердия, раскрыв другое окно, тоже выла:

— Колите!.. Колите, гоните...

РЕПЕТИЦИЯ

Это забавное столкновение разыгралось на репетиции четвертого акта известной пьесы «Дорога избранных».

Началось с того, что режиссер, утомленный безуспешностью героических попыток своих приблизить артистов к тайному смыслу пьесы, сказал, не скрывая досаду:

— Отдохнем, господа, минут пять.

Вынув часы, глядя близорукими глазами на циферблат, он подошел к рампе и вызывающе взмахнул головою пред пустым мешком зрительного зала; в черной глубине мешка одиноко замер жалкий красноватый огонек, едва освещая верхнюю часть какой-то двери. Можно было думать, что там, за дверью, тьма еще более густа и уже безгранична.

Режиссер пользовался репутацией новатора и, рассматривая артистов как музыкальные инструменты, которые он должен настроить,— презирал их. Он был одет в бархатную блузу, и от него исходил странный запах — как будто человек этот только что позавтракал очень душистым мылом. Маленький, узкогрудый, на тонких ножках с вывернутыми коленками, с большой головою в чалме волнистых волос, он искусно сделал свое синее, бритое, длинноносое лицо страдальческим, навеки брезгливым лицом человека, который осужден украшать собою мир людей глупых и бездарных. Крепко поджимая толстенькие, очень красные губы, прищурив глаза — их зрачки напоминали цветом спелую сливу,— он смотрел на всё и на всех безнадежно и, казалось, молча упрекал: «Это — не так».

Один из врагов его, рецензент, утверждал, что, говоря о «Скупом рыцаре», режиссер «обмолвился»:

— Я не отрицаю, Андрей Степанович Пушкин даровитый человек.

Из глубины сцены режиссер был похож на гнома, который молча вызывает в помощь себе духов тьмы.

В сероватом сумраке слабо освещенной сцены — четверо артистов: героиня, женщина, не удовлетворенная жизнью и обязанная страдать; комик, ее муж, человек «здравого смысла» и, разумеется, пошлый; субретка, девушка, которой предстояло создать новую драму в жизни, и герой, искатель «новых путей». Кругом их торчали в хаотическом беспорядке обломки скал и какие-то странные предметы, обесформленные сумраком, между скал помещался круглый стол, на нем сидел герой пьесы и, посвистывая, чертил карандашом в тетрадке своей роли.

Сцена тоже имела что-то общее с раздутым мешком. Пыльный воздух ее был пропитан запахом клея, краски и какой-то особенной, сухой гнили; возможно, что это запах разложения бесчисленных женщин и мужчин, убитых авторами для развлечения зрителей. А из безмолвной тьмы зала притекал смешанный аромат духов, пыли, человеческого пота, ваксы и кожи ботинок.

За спиною режиссера лениво ползали гулкие слова; его слуху был особенно неприятен «бытовой», терпкий голос комика.

— Н-да, сочинил...

Сидя на обломке одной из тех скал, каких не создает природа, комик свертывал папиросу, аккуратно разложив на коленях у себя табачницу, бумагу и мундштук.

— Тебе не нравится пьеса? — спросила героиня, рассматривая губы в круглое ручное зеркало и покусывая их.

— Мне, Анюта, нравится только рыбу удить, как ты знаешь. А пьеса — что же пьеса? Слова в ней немножко другие, скажем — детские слова, так дети лепечут. Пожалуй, они милее, жалобней прежних, сочных русских слов. А всё остальное — старинка, времен Адама и Евы; ты, Анюта, должна любить и страдать,

я, по обязанности мужа, должен добывать тебе винцо с хлебцем и всё, потребное для прикрытия наготы, Гронский, змей-соблазнитель, принужден будить душу твою к «новой жизни», увлекать тебя на «Дорогу избранных» — из этого репертуарчика не выскочишь! Мы в нем — как мышки в мышеловке; придет смерть и бросит нас в свою бездонную яму. Вон — Лидочка ходит, волнуется, ждет своего часа начать еще одну такую же пьеску...

— Меня прошу оставить в покое...

— Дитя мое,— оставил бы, но это не в моей власти,— балагурил комик.

Лидочка была очень миленькая; никто из мужчин не мешал ей считать себя красавицей, и она делала всё, что могла, стараясь убедить их в совершенстве своей красоты. Прожив на земле только двадцать лет, она находила жизнь удобной, приятной и, конечно, не могла смотреть на себя как на материал для создания новой драмы. Это обидело бы ее. Роль казалась ей очень простой: нужно полюбить героя. Она чувствовала, что сумеет и готова сделать это. Равнодушие старших товарищей к «Дороге избранных» раздражало ее: к чему все эти их капризы, когда необходимо только одно — играть так, чтобы публика восхищалась.

— Ты, Иван, всё философствуешь,— неодобрительно заметила героиня, припудривая нос. Давно когда-то влюбленный рецензент назвал ее лицо «античным, мраморным», это понравилось ей, и она заботливо следила, чтоб ее синенький носик был так же холодно бел, как ее бледное плоское лицо, выгодно освещенное темными «роковыми» глазами. Она сама находила, что глаза эти несколько излишне злы, и в патетические минуты закрывала их, тогда лицо ее становилось поистине каменным. О ее голосе известный критик Мерцалов сказал миру:

— В роли Медеи голос Ростовцевой звучит медовым звоном меди.

В жизни она говорила чуть-чуть гнусаво и всегда томно,— ей казалось, что носовой звук, так же как крепкие духи, особенно успешно возбуждает некоторые эмоции поклонников ее таланта.

— Да, философствую,— покорно сознался комик и, закурив папиросу, дымно вздохнул.

Он действительно любил ловить рыбу; это занятие лучше всякого иного позволяет человеку забывать, кто он, где он, и не думать, зачем он. Известно, что истинное счастье человека в науке и труде: и та и другой мешают думать. Комик, незаметно для себя, прожил полстолетия и так же незаметно приобрел привычку задумываться о самых простых вещах, привычку, неприятно осложненную стремлением говорить со всеми о своей почти болезненной мании открыть некий, необходимый комику, смысл явлений и вещей.

— Да, философствую,— повторил он.— Что ж делать? Знаешь, Анюта, с некоторого времени зрительный зал, в часы спектакля, кажется мне банкой икры, в середине икру уже кто-то съел, и осталось только по краям да на донышке. Автор придет?

Режиссер, вполоборота, ответил с точностью учебника грамматики:

— Автор обещал посетить нас в половине второго.

— Чёрт бы его взял, автора! — неожиданно, точно взорвался, и четко, как строку стиха, произнес герой; соскочил со стола и, грозя во тьму золотым карандашом, добавил совершенно серьезно и убежденно:

— Будь я законописателем, то есть — имей я власть, я бы издал закон: литераторы, распространяющие заразу уныния, подлежат постижению в монахи, причем им запрещается писать не только драмы и романы, но даже и письма до поры, пока они не преодолеют оное свое уныние... Вот! Ты, Ваня, прав: пьеса эта — чепуха! Автор — надоел мне своей напыщенностью и... вообще надоел! Креаторов? Тут есть что-то семинарское и тупое. Его настоящая фамилия — Подорожников...

— Пирожников,— строго поправила героиня.

— Пардон! Это еще пошлее. Говорят, что он невыносимо высокомерен, обжора, распутник и при этом — скуп, как нищий; о его жадности к деньгам рассказывают удивительные анекдоты...

Героиня, нахмурясь, сделала ручкой, обильно украшенной кольцами, предостерегающий жест, зная, что

всё, сказанное об авторе, несколько преувеличено. Но некоторые причины внушили ей, что будет тактичнее, если она промолчит, предоставив герою свободу раскрашивать автора красками всех пороков, что герой и делал со вкусом, с любовью.

Бесшумно шагая у левой кулисы, Лидочка усмехалась; ей был известен неудачный роман автора и героини, и она видела эпилог романа: малокровного мальчика, болезненно застенчивого и рассеянного, он ходил по земле, балансируя, точно акробат на канате.

— Креаторов! — шумел герой, иронически прищурив глаза и указывая правой рукою на колосники.— Ты слышишь, Иван, какова тут претензия?

Комик поощрительно засмеялся наигранным, «купеческим» смехом, а герой, щеголяя баритональными нотами, продолжал:

— Если ты — Креаторов, так ты создай для меня роль счастливого человека, да, да,— вот именно!

Режиссер спросил в холодном тоне экзаменатора:

— Что вы называете счастьем?

— Чёрт возьми — это ясно! Это даже воробьи знают!..

Герой был бы плохим героем, не обладая честолюбием, и он обладал им в количестве, которое находил совершенно соразмерным объему своего таланта,— товарищи его считали, что он значительно преувеличивает свой талант. Режиссер же казался ему неумным и вредным человеком, который существует только для того, чтоб всячески стеснять вдохновение артиста. Шагнув к нему, он протянул руку так, как будто держал в ней шпагу, и начал декламировать:

— Мне опротивело играть всегда одну и ту же роль — роль страдающего человека! Гамлет или Сирано де Бержерак, Моор или «Живой труп»,— я всегда страдаю...

— Займитесь торговлей галстухами,— предложил режиссер, гордо взмахнув головою.

— Пардон,— вы шутите, как приказчик. Я говорю серьезно: меня, артиста и человека, унижает однообразие игры. Ежедневно страдать за семьсот пятьдесят рублей в месяц...

— А каково мне всегда изображать дураков? — спросил комик и, ударом ладони выбив из мундштука снопик искр, скорчил одну из наиболее забавных гримас, которые создали ему популярность.— Меня выпускают на сцену для того, чтоб утешать зрителей: есть человек глупее вас, не беспокойтесь! А глупость никого и не беспокоит, кроме моего друга Лукина, учителя географии, да и он беспокоится по обязанностям службы, а вовсе не потому, что считает глупость вредной...

«Бытовая» болтовня комика заставила режиссера пренебрежительно пожать плечами. Герой — негодовал:

— «Дорога избранных»! И вот мы, талантливые люди, топчемся, для развлечения публики, на этой дороге, а бездельники, любуясь, как мы безжалостно мучаем друг друга, лакомо ждут последнего стона истерзанных сердец...

— Цирк! — вставил комик.— Верно, Миша, мы для публики — акробаты. Публика — икра... Снять бы эту пьеску со сцены...

— Может быть, уже пора продолжать репетицию? — напомнила Лидочка, но никто не ответил ей.

— Я спрашиваю Лукина: «Антон, ты веришь в разум?»— «Конечно, говорит, верю, это моя профессия». И — врет: зачем географу верить в разум?

«Скучные,— раздраженно думала Лидочка.— Усталые, скучные люди...»

Она была умненькая и знала, что сцена — это место, где притворяются и где наибольший успех ожидает того, кто умеет притворяться правдивее других; сцена — место, где ходят на чужих ногах и говорят чужими словами. В жизни тоже необходимо уметь притворяться, чтоб достичь успеха, и это не трудно: нужно только научиться брать больше, чем даешь. Ей вспомнилась забавная фраза рыжего студента-филолога, влюбленного в нее:

«Существует закон исключенного третьего: или вы — человек, или не человек, ничем третьим вы не можете быть...»

«Дурачок! — хотелось ответить ей.— Для тебя я не человек, а женщина, для людей я — женщина и ар-

тистка, и только для себя самой я — человек, но я знаю, что это никому — и тебе — не нужно, не интересно. Я именно то третье и настоящее, чего ты никогда не поймешь. Никто не поймет...»

На сцене три человека выстроились друг против друга тесным треугольником и кричали:

— Позвольте же! Свобода, религия художника...

— К чёрту! У меня тоже есть религия: я верую в возможность счастья...

— Счастье, как вы его понимаете, это пошлость...

— Если б вы любили удить рыбу...

— Подожди, Ваня...

— В час заката, когда...

— Я не ем, не люблю рыбу...

— Свобода Креаторова — произвол...

— Ах, вот как? А подчиняясь произволу стихий, общественных условий...

— Ерша не стоят эти новые пьесы...

— Дайте мне роль счастливого человека, и я так сыграю ее, что вы заплачете...

— Наверное — заплачу,— поспешно и ехидно согласился режиссер.

— От радости, от восторга...

— Да? Сомневаюсь...

— Когда философствую я — надо мной смеются,— обиженно и мстительно кричал комик.— А — легко мне прятать душу мою в глупые чужие кожи?

Героиню волновал этот спор, она смутно чувствовала за ним что-то правдивое и значительное. В самом деле: всегда изображать несчастную женщину — это очень утомляет. Неприятностей и несчастий вполне достаточно вне сцены, она знала это по личному опыту. Хорошо бы забыть себя, играя веселую роль счастливой! Она прожила, играя несчастных, почти сорок пять лет, уже достаточно надоела сама себе, и «прятать душу в чужую кожу» стало ее привычкой. Она почти утратила способность различать, где кончаются выдумки автора и начинается ее личная жизнь. И часто для нее было неясно: кто это говорит,— Анна Ростовцева или одна из героинь бесчисленных пьес, сыгранных ею? За себя лично больно ей, или эта боль — запозда-

лый отзвук тех страданий, которые она вчера «с неизменным успехом» показывала публике?

Ее несколько возмущал тон, которым герой говорил об авторе, она была уверена, что только ей одной принадлежит право говорить о нем в таком тоне, и гордилась, что не пользуется этим правом. Слушая крик, всё более шумный и горячий, она заметила: герой настолько искренно взволнован, что говорит своими словами, очевидно, забыв нарядные и громкие слова своих ролей. В этом было что-то неестественное. И комик стал как будто умнее, жалобы его звучали даже трогательно, только режиссер оставался непреклонным педантом. Минутами героине казалось, что они, трое, воодушевленно репетируют новую пьесу, она ждала момента своего выхода и в то же время видела автора, каким он был двенадцать лет тому назад.

Двенадцать лет тому назад он еще не был «маститым», но уже находился «в зените славы»; подчеркнуто «эстетически» одевался, щеголял пышной гривой преждевременно поседевших волос, его «обожали» женщины, он обаятельно говорил о «новом» искусстве, критики почти единодушно верили в него, читатели, с разрешения критики, искренно восхищались его книгами, а один купец, фабрикант готового платья и влиятельный меценат, сказал о нем:

«Этот въехал в литературу на лихаче».

Потом оказалось, что любимый автор новатора — старик Диккенс, любимое блюдо — битки с луком, а женщина, любимая им, должна каждую минуту помнить, что художник равен богу не только потому, что «создает миры», но и потому, что рассчитывает на бессмертие. Создавая миры, он нуждается в непрерывных заботах о нем, нужно следить за порядком в его бельевом шкафе, наблюдать за целостью пуговиц на панталонах, делать так, чтоб его утренний кофе был в меру горяч, а дни его текли спокойно,— до поры, пока он в этом нуждается. Вообще нужно устранять всё, что способно испортить настроение творца миров, и совершенно необходимо, чтоб в часы вдохновений художника жизнь умеряла свой шум и бег, судорожный свой трепет, тайный смысл которого доступен только

божественному разуму художника. Да, жизнь с таким человеком требует от женщины очень многого и, будучи, в сущности, довольно однообразной, является в то же время весьма тревожной, ответственной.

Все-таки — они почти три года любили друг друга, он — в меру своих сил, она, конечно,— свыше меры; он был для нее тот четвертый, которому она сказала, что он — ее первая, «настоящая» любовь. Ей вспомнилось печальное изумление, которое так холодно и крепко обняло ее, ее душу, когда она почувствовала, что этот человек исхитрился в два года исчерпать и осушить поток ее чувства. На дне потока оказался серый слой житейских мелочей, пыльный песок обыкновенных «комнатных» слов. Потом явилась маленькая поэтесса, пухлая, кудрявая, как овца, с фарфоровым личиком и наивным восторгом в стеклянных, овечьих глазах. Изменение вкуса своего он объяснил не очень оригинально:

— Художник должен быть всегда влюблен, любовь— основа искусства,— сказал он, но, видимо, сам устыдился этих слов и тотчас заменил их грубым, но метким афоризмом одного знаменитого певца:

«В искусстве надо ржать».

Не изменяя смысла прежде сказанных слов, эти были более точны,— именно лирическим ржанием он и создал себе славу. Но вот уже лет пять он пишет романы и пьесы, в которых пафос и лирику Эроса всё более заглушает что-то иное, что напоминает осторожную речь медика о труднобольном. Но и эта осторожность, кажется, начинает покидать его; недавно, к одной из повестей своих, где поэзия уступала философии, он взял эпиграфом шутку философа грека:

«— Умер ли ты, Пиррон?

— Не знаю».

Впрочем, это не мешает ему довольно настойчиво ухаживать за Лидочкой.

Увлеченная в холодный сумрак воспоминаний, героиня перестала слушать спор; ее возвратил к действительности тоскливый и раздраженный голос Лидочки:

— О боже, когда они кончат?

По всему было видно, что кончить они не спешат;

стоя близко друг к другу, они, точно связанные невидимыми путами, размахивали руками, наклоняясь, выпрямляясь, отступая на шаг друг от друга и снова соприкасаясь. В пустом мешке сцены непрерывно и гулко, вперебой, звучали их сердитые голоса, им бестактно вторила возня рабочих за кулисами, настойчивый стук молотков, надсадный скрип каких-то досок, визг гвоздей, выдираемых из дерева клещами, и порою чей-то глубокий бас, напоминая гул отдаленного грома, мрачно произносил странные слова:

— Давай небо...

В глубине сцены, среди нагроможденных скал, изредка появлялась голова в измятом картузе без козырька, бородатое темное лицо, длинная голая рука, сердитый голос спрашивал:

— Так, что ли?

Режиссер, безуспешно стараясь сохранить тон спокойный и небрежный, доказывал герою, считая на пальцах:

— Во-вторых: свобода творчества...

А комик жалобно кричал:

— Когда я умру — будет так, как будто меня никогда и не было на земле...

— Это могут сказать миллионы людей...

— Ага? Миллионы! — кричал комик в лоб режиссера.

— Я хочу жить по законам моей души...

— Пожалуйста! Я вам не мешаю. Но я говорю: во-вторых...

— Вы уже говорили во-вторых...

— Позвольте же! Я спрашиваю...

— Да. Ну-с?

— Можете вы изменить законы чувствований, мышления о космосе, о вселенной?

Герой окончательно освирепел; сильным жестом оттолкнув от себя что-то, он крикнул:

— К чёрту вселенную! Вселенная — это я, человек!

Режиссер насмешливо огрызнулся:

— Не ново. Сказано еще стариком Германом Гейне!

— Генрих Гейне, — решительно поправила героиня.

— Суть не в именах. Здесь не адрес-календарь репетируют...

Бесшумно, как привидение, из правой кулисы выдвинулся длинный, тонкий человек в узком сером халате, замазанном пятнами красок, над его стертым лицом буйно торчали встрепанные волосы, и был он похож на трубу, которая дымит. Глухим басом, мрачно и лениво он спросил:

— Что же делать с небом?

Эти слова, необычные в иной обстановке, этот безнадежный вопрос человека, видимо, отчаявшегося в чем-то, показался теперь необычным даже и здесь; спорившие умолкли, героиня, человек религиозный, испуганно взмахнула рукою, комик неодобрительно замычал, герой, торопливо сунув руки в карманы пальто, отошел к рампе, а режиссер, взмахнув головою, спросил с тревогой:

— А... а что случилось?

— Луну пускать или только звезды?

— Луну! — с досадой сказал режиссер.— Не очень ярко, как бы сквозь туман. Слева — луну, а ниже ее и правее — Венера, утренняя звезда,— понимаете? Но — я говорю вам это второй раз — обратите же внимание! На небе, как раз с левой стороны, отпечатана чья-то пятерня и потом грязное пятно, в форме дыни...

— Рабочие,— мрачно сказал человек.

— Закрасьте!..

— Двое пьяных. Один уже заснул, а другой...

— Непременно закрасьте!

— Конечно,— согласился человек и, повернувшись, точно надетый на стержень, растаял в сумраке кулисы.

— Астроном,— заметил комик, вздохнув, присел на скалу и начал раскладывать на коленях табак, бумагу, а режиссер, погладив ладонями синие щеки, миролюбиво предложил:

— Начнемте... Мы остановились на сцене Аркадия и Серафимы,— где же Лидия Александровна?

Глядя в тетрадку роли, героиня сказала:

— После слов Аркадия: «Мы пойдем с тобой дорогой избранных» — вхожу я, начинаю: «А — я? Ты и меня

ведь звал с собой на этот путь»,— я говорю это с иронией?

Режиссер отчаянно взмахнул руками:

— Ничего подобного! Иначе мы выскочим из тона пьесы. Нет, вы понимаете неизбежность его измены вам, вы миритесь с нею, скрывая боль, вы — тоже избранная...

— Для истязания,— сердито докончил герой. Он всё еще волновался,— впрочем, такова его профессия. Расхаживая по сцене у рампы, он сунул большие пальцы рук в верхние карманы жилета, что делало его похожим на танцующего еврея, смотрел во тьму зала и негодующе морщил свое дородное бритое лицо, двигая бровями, большими, как усы.

— Чёрт знает как глупа эта пьеса! А меня хотят убедить, что тут какая-то премудрая романтика, философия...

— Когда философствую я,— заговорил комик, дымя папиросой, и вдруг, сняв котелок с головы, почтительно уперся лысиной во тьму кулисы, откуда, сопровождаемый Лидочкой, спокойно, как орел, выплыл большой седобородый человек в широком пальто. Медленным движением руки он снял мягкую шляпу, обнажив пышные волосы, улыбнулся героине, показав золотые зубы, и поднес ее руку к своей бороде.

— Здравствуйте,— необыкновенно громко сказала она, почему-то с ударением на последнем слоге.

Кивнув головою в сторону комика, сделав кистью руки приветственный жест режиссеру, человек собрал бороду свою в горсть, потом ловким ударом пальцев широко распушил ее по груди и спросил героя спокойно, любезно:

— Так вам не нравится моя пьеса?

— Собственно говоря,— сказал герой, зябко пожимая плечами,— мы, тут, все говорили. Это — общий голос артистов...

— Что пьеса моя — не умна?

— Нет, конечно... То есть, я хочу сказать, что вообще современный репертуар...

— Вообще! — сказал комик, значительно подняв палец вверх, желая этим помочь товарищу.

Герой чувствовал себя оробевшим, как гимназист пред директором, стыдился этой робости и, желая победить ее, напрягал свое сытое, уже несколько рыхлое тело, выпячивая грудь, точно солдат во фронте.

— Дело в том, что вообще репертуар,— говорил он, облизывая губы, отчего слова звучали невнятно, говорил и, поглядывая исподлобья на товарищей, думал:

«Черти...»

Автор стоял пред ним, тщательно протирая пенсне кусочком замши, и требовательно слушал; режиссер что-то быстро шептал комику, героиня, свернув роль свою тугой трубкой, тихонько хлопала ею о ладонь левой руки; среди сцены стояла Лидочка, озабоченно доставая что-то из своей сумки,— герою показалось, что она старается засунуть руку в сумку по локоть, он тоже вдвинул руки свои глубоко в карманы брюк, догадываясь: «Вероятно, успела наябедничать...»

Автор протер пенсне, осторожно насадил его на переносье крупного красноватого носа и с терзающим спокойствием чего-то ждал. Быстрым шагом, вывертывая колени, подошел режиссер, виновато говоря:

— Мы здесь, Павел Федорович, немного поспорили...

— Да? — произнес автор.

— Да. Гронский находит, что новые пьесы...

Но тут герой преодолел свое смущение, решительным жестом он сорвал с головы шляпу, взбил пальцами волосы и заговорил несколько громче, чем того требовала физическая близость автора к нему.

— Да, я действительно нахожу... не могу скрыть... Но, прежде всего, я прошу извинить меня, если я резко...

Автор милостиво приподнял белые брови свои и чуть-чуть наклонил голову.

— С некоторого времени я настроен раздраженно,— очень трудный сезон, новые пьесы, масса работы...

— Вот,— сказал комик.

— Я и говорил вообще о новых пьесах...

— Именно,— подтвердил комик.

— Что же в них нового? Любовь и смерть, смерть

и любовь. Ново здесь только одно: обнаженность темы, так сказать. Получается странное впечатление: люди говорят только о любви и смерти.

— Но не умеют ни любить, ни умирать,— негромко подсказала героиня, неожиданно чувствуя себя в положении матери, которая боится, что сына ее ударит чужая рука, и потому спешит сама нашлепать его.

— Темы иного порядка: честолюбие, стремление к успеху, страсть к приключениям и наживе, месть и многое другое — отодвинуто в сторону. Совершенно забыт человек, которому хочется счастья, и как будто нет на земле людей, жаждущих радости. Современный репертуар слишком суживает и упрощает жизнь...

Автор слушал внимательно, и это очень усиливало красноречие героя. Он говорил, всё возвышая голос, и ему казалось, что мысли его текут весенними ручьями. Он сделал паузу, глубоко вздохнув, и тотчас же в щель его речи полился холодно мягкий голос автора:

— Я читал и помню статейку, которую вы цитируете с такой завидной точностью...

— Статейку? — спросил герой, переступив с ноги на ногу и взмахивая шляпой.— Почему вы думаете, что статейку?

— Она была напечатана после премьеры моей пьесы «Фальшивая монета», и я даже сохранил ее, хотя вообще не сохраняю рецензий. Потом я познакомился с автором ее,— это молодой человек из тех, которые слишком спешат заявить о своем несогласии со всем тем, что сделано до них...

Автор говорил спокойно, даже как бы неохотно, и спокойно было его благообразное лицо. Но героиня знала эту искусно сделанную, прозрачную пустоту его красивых глаз, знала гибкое и разнообразное красноречие его взгляда. И, глядя сквозь подкрашенные черным удлиненные ресницы, она подумала, вздохнув: «Так говорил он, собираясь сказать мне обидное...»

— Я — не читал,— смущенно начал герой, но комик, отстранив его движением плеча, заговорил плавной речью привычного просителя:

— Нам, знаете, хочется поиграть с радостью,— с горем-то мы уже наигрались досыта. Вы — талант,

вы, так сказать, архитектор, строитель,— что вам стоит показать нам радости какие-нибудь, ну, хоть маленькие, малюсенькие! Мы бы разыграли их и людей научили бы ценить маленькие радости...

— Чтоб возбудить жажду радостей больших,— любезно подсказал автор, улыбнулся в бороду и тотчас же стер улыбку ладонью.— Я понимаю вас: вы считаете возможным перевоспитать старого охотника на зайцев в смелого охотника на львов. Но, знаете, уж если кто привык стрелять дробью...

Безнадежно пожав плечами, автор снова обратился к герою:

— Я думаю, что, читая такие статейки, не следует забывать о вечной распре отцов и детей...— Вздохнув, нахмурясь, он неохотно добавил: — И о сыне человеческом, который так безуспешно пытался заменить закон отца, закон борьбы,— законом любви.

Герой сердито мял в руках шляпу, режиссер, посреди сцены, подпрыгивал пред Лидочкой, чему-то поучая ее, а она внимательно чистила апельсин; комик свертывал третью папиросу, скучно и назойливо юродствуя:

— Бо-ольшой успех имело бы в наши дни что-нибудь светленькое, веселенькое...

— Да, да,— разумеется! Это — выгодно и для литератора. Веселые рассказы и демократические принципы очень выгодны: демократия дает наибольшее количество покупателей книг.

«Какой он чужой. Какое усталое лицо у него»,— думала героиня, обнимая взглядом представительную фигуру автора. С недоумением, почти с испугом она чувствовала, что в ней возникает вражда к нему, вражда, которую она считала давно изжитой, угасшей. Ей хотелось остановить нарастание этой вражды, но в то же время она вспоминала, как однажды — когда она, полураздетая, сидела на коленях его, он сказал, зевнув:

«Да, любовь — это очень много! Но если вспомнить, что это — всё, чем платят человеку за жизнь и смерть...»

Зевок обидел ее больше, чем слова; такие слова она называла «репликами чёрта», и они почти не задевали ее.

А теперь ее обижало это излишнее чувство враждебности к нему, и, чтоб сразу подавить его, а также чтоб помочь смущенному герою, она вдруг заговорила быстро и горячо:

— Здесь говорили о пределах искусства...

Автор изумленно приподнял брови, спрашивая:

— Разве? О пределах?

— Я не так выразилась. О произволе искусства, о его... как это сказать? Ну,— о его праве, что ли, о праве авторов подчеркивать мрачные стороны жизни, о том, что романисты, драматурги фиксируют внимание зрителей, читателей на фактах зла, горя, страдания, что каждый из вас коллекционирует только пороки людей...

Она старалась не давать исхода чувству вражды, а чувство это, вскипая, подкатывалось к горлу, проникало в слова. Автор еще более разжег его, небрежно заметив:

— О произволе? Лидия Александровна поняла смысл беседы несколько иначе. Она сказала...

— Насплетничала, — пробормотал герой, усмехаясь.— Я так и знал...

— Мы говорили о том, что современные писатели создают свои произведения из дешевого материала, из того, что всем надоело. Так громко кричали о необходимости преодолеть действительность, о независимости вдохновения художника и — что же? Он, Гронский, правильно сказал — достигли только обнажения темы любви и смерти.

— В этом вы и видите произвол? — спросил автор.

— Не только в этом,— вмешался герой; торопливые слова героини казались ему недостаточно ясными, и он сам хотел говорить. Но подскочил режиссер, находя, что пора выступить в роли примирителя между тем, кто создает, и теми, которые протестуют, за ним воздушно двигалась Лидочка, и что-то задорное светилось в ее немножко подкрашенных глазах. Подпрыгнув к автору, режиссер, обильно жестикулируя, начал:

— Я — возражал им; вы, говорю, рабски подчиняетесь произволу стихии, произволу ваших инстинктов, насилию социальных условий, наконец — насилию

разума, произвольно создающего так называемую логику фактов, тогда как известно, что факты совершенно лишены логики.

Встряхивая головою, он чертил пальцем в воздухе какие-то очень затейливые фигуры, круги и наполнял эту тайнопись словами, в которых одновременно звучало чувство обиды и торжество истины.

— Я доказывал, Павел Федорович, что познание наше не имеет ценности совершенной истины, а служит нам только средством подчинения сил природы нашим практическим целям; я говорил, что мы живем в мире искусственно созданных нами фикций и что даже наука, которой мы так гордимся, является только цепью фиктивных образований мышления. Я убеждал их, что в этом мире, где всё — произвол, вдохновение художника имеет неоспоримое, скажу даже — священное право...

Книжка, из которой режиссер почерпнул эту мудрость, только что вышла в свет; он купил ее, прочитал и, спрятав от глаз приятелей, расточал среди них книжкины идеи как свои, личные домыслы. Человек сравнительно честный, он сознавал, что не понимает автора, но, подчиняясь требованиям своей профессии и следуя поучительному примеру философов, считал себя в силе и праве объяснять людям тайные цели творца.

— Я — ничего не понимаю! — вскричала героиня, с удовольствием уделяя режиссеру часть своего раздражения против автора.— Это слишком мудро для меня. И я не помню, чтоб вы говорили здесь что-нибудь подобное,— вы только сейчас выдумали это, чтобы блеснуть пред писателем вашей ученостью. Найдите для этого другое время, а теперь — не мешайте мне!

Автор, улыбаясь, оглянулся, режиссер, поймав его ищущий взгляд, подвинул ему стул, а героиня уселась в кресло плотнее и продолжала:

— Мы говорили о том, как скучно играть скучные пьесы, как надоело нам ежедневно истязать себя...

Режиссер напомнил ей:

— Вы всё время молчали...

Она не обратила внимания на его слова и не услы-

шала обиды в них. Спокойствие автора возмущало ее, оно как будто говорило, что этот человек, виноватый пред нею, не признает права судить его, и теперь ей пламенно захотелось доказать ему, что он виноват пред всем миром. Его лицо уже не казалось ей усталым, а только высокомерным и пресыщенным, глаза — наглыми глазами бессердечного эгоиста. Он сидел на пыльном, ободранном театральном стуле, как на троне, и некрасиво, не совсем прилично расставил ноги. Лидочка, изящно кушая ломтики апельсина, смотрела на автора благоговейно, ее сухое личико показалось героине фальшиво слащавым.

«Врешь! — подумала она мельком.— Врешь. Он — стар!»

Герой, поняв, что его очередь говорить не скоро наступит, надел шляпу и, скрестив руки на груди, приняв позу монумента, молча слушал и смотрел на автора из-под тяжелых бровей сатанинским взглядом вражды и мести. Комик, сидя на скале, курил и скучал, а режиссер присел на стол, имея вид человека, который решительно отказался помочь людям разобраться в путанице, затеянной ими.

— Нет, в самом деле, Павел Федорович, не странно ли? Вы, сидя в обстановке сравнительно уютной, удобной, выдумываете роман или пьесу, сжимая как можно крепче житейские драмы, пытаясь сгустить их до трагедии и часто возводя случайность на высоту неизбежности. Материал ваш — несчастия, заблуждения, пошлость людей. Не думаете ли вы, что результат вашей работы, это, так сказать, прессование горя, еще более омрачает жизнь, невольно и незаметно отравляя читателя, зрителя безнадежностью? Конечно, надо упомянуть о так называемых «муках творчества». Я не знаю, насколько сильны муки самого художника, но — мне хорошо известно, как они отражаются на близких и окружающих его,— вы, наверное, не решитесь отрицать, что это известно мне...

Автор вежливо улыбнулся и округленным жестом руки показал, что он не решается отрицать, а героиня почувствовала, что сбилась с темы и сказала что-то лишнее.

— Молодежь, которую вы питаете прессованным горем...

По сцене плутал бородатый плотник в темной рубахе, в сером фартуке, в фуражке, повернутой козырьком на затылок, фуражка была так низко натянута на череп, что уши плотника примялись и торчали настороженно. Шел он точно по льду, ноги его независимо одна от другой разъезжались в разные стороны, в руке извивался змеею складной аршин. Плотник слепо наткнулся на комика и убежденно объявил ему:

— Иван Степаныч,— я тоже чудак...

— Шш,— прошипел комик.

— Ничего. У меня жена родила.

— Мальчика?

— Обязательно!

— Поэтому выпил?

— Поэтому!

— Тише,— сказал режиссер.

— Ничего! Я тоже чудак...

— Разыгрывая ваши выдумки, мы, люди напоказ, люди, обреченные распылять наши чувства и души в эту черную яму, мы имеем несомненное право спросить вас...

— Я те улыбнусь! — как сквозь сон сказал плотник, пошатнулся и, сложив аршин, сунул его за нагрудник фартука.

— Какой же смысл, наконец, в этом вашем искусстве?

— Вот — правильно! — вскричал герой так громко, что плотник, снова пошатнувшись, сел на скалу рядом с комиком и протяжно спросил:

— Правильно?

И, раскачиваясь, захрипел в пьяном гневе:

— Никаких улыбок! Я ей, шкуре, докажу!

— Уберите его,— брезгливо сказала Лидочка режиссеру.

— Опять родила? Я те... ул-лыбнусь!

Плотник с размаха ударил себя кулаком в грудь, под нагрудником деревянно треснуло, должно быть, переломился аршин.

— Я тебе не чудак! — кричал он, ведомый комиком

и режиссером за кулисы, кричал и плакал, всхрапывая, как лошадь.— Меня — раз обманешь, два обманешь, а третий — погоди...

Проводив его улыбкой, автор поднял к лицу своему кисть руки, взглянул на часы в браслете и обратился к героине:

— Мне кажется — я достаточно терпеливо и покорно выслушал всё то истинно человеческое, что было сказано здесь. Простите мне, Анна Карповна, что я принужден прервать интересную игру вашей мысли, но ведь она уже вполне закончена, а я через четверть часа должен быть на другом конце города. Извините мне и то, что я отвечу вам кратко и, конечно, не оригинально,— в этом мире, как вы знаете, даже и случайности не оригинальны.

Он говорил тоном человека, который твердо знает, что его будут слушать внимательно, и, разумеется, он был уверен в своеобразии и значительности того, что скажет. Благообразное, мягкое лицо его сжалось, отвердело; он нахмурил брови, зная, что это делает его лоб более высоким и придает лицу оттенок величия.

«Сейчас начнет злиться»,— подумала героиня и уселась в кресле еще плотней.

— Когда-то,— вздохнув, продолжал автор,— я тоже чувствовал себя актером,— то есть существом, которому кажется, что оно способно сделать пьесу автора более глубокой, красивой и вообще более совершенной, вложив в нее силы своего таланта и вдохновения. Если это мне не удавалось, я тоже чувствовал себя подавленным, раздраженным и тоже кому-то на что-то готов был жаловаться. Теперь я продолжаю чувствовать, что не в моих силах сделать жизнь совершенной, но — уже не жалуюсь на это, опасаясь, что создатель жизни презрительно скажет мне: «Глупец! И мне пьеса не удалась, но я — молчу».

Автор снова вздохнул, это вышло у него красиво и уместно, а героиня мысленно и не без досады спросила: «Почему он не злится?»

— Оставим в стороне вопрос — почему не удалась пьеса: потому ли, что недостаточно умен и талантлив автор, или потому, что артисты не умеют играть?

Пребывая человеком, обреченным силою каких-то причин догадываться о смысле жизни и быть летописцем явлений ее, я по тем же причинам не могу свидетельствовать безмолвно,— кстати, это ведь и невозможно. Я принужден рассказывать о том, как вижу людей, как понимаю их скорби, чувствую страдания...

Пожав плечами, он обратился к внимательному комику:

— Вероятно, я тоже болен слепотою к радостям...

«Неверно»,— подумала героиня.

— Эту слепоту я готов считать болезненным недостатком всех вообще людей...

Прищурясь, он посмотрел в мешок тьмы, на красную точку огня, поискал чего-то в тусклом сумраке сцены.

— Я не чувствую себя способным создавать «веселенькое», хотя и замечаю в людях много смешного. Более того: «веселенькое» кажется мне чем-то вроде фальшивой монеты. По совести — я не могу убеждать людей в том, что они выигрывают, принимая минуты сомнительных радостей в уплату за года несомненных оскорблений горем и страданиями. Мне, знаете, всё кажется, как будто некий хитрец хочет подкупить меня «веселеньким» для того, чтоб я иногда забывал, как неудачна жизнь и несправедливы люди...

«Неужели он настолько изменился, что может говорить вполне искренно?» — размышляла героиня, а он, ее прошлое, говорил четко и спокойно:

— Жизнь отвратительна не тем, что обрывается смертью, а тем, что каждый день жизни — оскорбление человеку. Изумительно плохо устроили ее мы, гордые силою нашего разума, который, всё более успешно создавая и расширяя условия внешних удобств и удовольствий, всё меньше помогает нам терпеть друг друга,— да, да, только терпеть.

«Будто бы только!» — иронически подумала героиня.

— В «Дороге избранных» я показываю человека, выдуманного мною, но — возможного в действительности. Видя злых и добрых одинаково несчастными, он никого не может осудить и поэтому является чужим среди «ближних»: они считают его преступником за то, что он органически не может быть судьей.

— Тогда — вам следовало бы назвать пьесу «Дорога изгнанных»,— усмехаясь и ворчливо заметил герой. Считая автора равнодушным мастером, который развлекает публику забавными фигурками, он вдруг с удовольствием почувствовал, что этот избалованный жизнью человек все-таки, кажется, не совсем лишен способности испытывать горе и боль. Герою было приятно уловить признак слабости в человеке, который казался ему сильным,— это как раз одна из тех ошибок, в которых все люди сознаются с радостью и только лицемеры, сознаваясь в ней, надевают маску печали о «разбитой иллюзии».

Автор не замедлил подтвердить догадку героя; он продолжал:

— Настроение Аркадия нельзя понимать как мизантропию, хотя мизантропия вполне естественна в обществе палачей, истязателей, которые искусно пытают друг друга, в сущности, только потому, что научились делать это лучше всего иного.

Тут и героиня почувствовала нечто подобное «нравственному удовлетворению».

«Ага! — мысленно воскликнула она.— Тебе тоже больно? Ты это заслужил!»

И — как все женщины — дальняя родственница богини Фемиды, она сделала свое лицо более строгим.

— Но мизантропия еще не моя болезнь. Я не ставил себе целью изобразить какого-то «идеального» человека, нет, это один из тех гипотетических людей, которые создаются искусством слова в поисках истины. Я думал о сыне божием, которому одинаково чужды интересы и бога и кесаря, которому дорог и близок только человек.

Автор усмехнулся:

— Право же, мне очень хочется создать совершенного человека, и вот — я пытаюсь... Мой герой настолько самонадеян, что чувствует в себе зарождение новой, еще смутной, но спасительной силы подлинного человеколюбия. Когда Серафима говорит ему...

Поспешно и бойко, мило улыбаясь, Лидочка проговорила слова своей роли:

— «Ты возвратишься, когда люди вновь стоскуются о человеке».

— Благодарю вас,— не очень любезно сказал автор,— но она говорит с ним на «вы». Он отвечает: «Я ухожу, чтоб зажечь себя новым огнем. Искры его уже сверкают во мгле моей души. Я возвращусь, когда в ней разгорится пламя». Я не мог назвать пьесу «Дорогой изгнанных», потому что герой ее уходит по своей воле, как по своей воле вы ушли бы от сумасшедших, чувствуя себя здоровым душевно. Вы находите, что моя пьеса не умна...

— Я ведь извинился,— напомнил герой.

— Готов согласиться с вами, если вы добавите: не умна, как жизнь. Это будет более справедливо и равномерно обидно для всех нас.

Автор снял шляпу, провел рукою по белым волосам, запутал пальцы в бороде, раздумчиво продолжая:

— Пожалуй, мне следует согласиться и с тем, что искусство — произвол...

— Я говорил! — гордо вскричал режиссер.

— Искусство создает людей более интересными, чем природа, и этим, если хотите, искажает их...

«Счастливые — не иронизируют»,— вспомнила героиня.

Задумчиво, но холодно, механически автор говорил, что искусство, как и наука,— область чудес, что оно — равноценно науке: обе эти силы ищут смысла в хаосе явлений жизни. Гамлет — такая же гипотеза, как «закон сохранения вещества». Пророчество художника такое же дальновидение, как гипотеза ученого. И там и тут тайному процессу познания предшествует тайное предчувствие истины, и в обоих случаях то, что принимается как истина, есть только результат воплощения творческой энергии человека, и там и тут одинаково наблюдается наличие интуиции, экстаза.

— Роль «холодного разума» в творчестве художника и ученого я считаю легендарной,— говорил он, а сам думал: «Зачем я говорю всё это?»

Как все пишущие для театра, он испытывал зависимость от актеров и не любил их. Всегда, при встречах с ними, у него возникало желание показать себя умнее,

образованнее их. Это желание насиловало его и сейчас, но он не хотел сознаться в этом, не желая унизить себя в своих глазах. Он вообще ко всем людям относился высокомерно, будучи искренно убежден, что художник не пчела, собирающая мед цветов, а скорее паук, который ткет из плоти своей — и только из нее — паутину необычного, прекрасного.

Внезапный каприз памяти подсказал ему, что это сравнение явилось причиной его первой ссоры с героиней: она боялась пауков и брезгливо, с отвращением настаивала, что сравнение некрасиво, а потому неверно. Его особенно раздражило ее «а потому». Затем память живо и быстро нарисовала пред ним одну из картин прошлого: ночь, осенний дождь лижет стекла окна, на столе его тесной комнаты горит лампа под голубым колпаком, сквозь колпак проникает свет, наполняя комнату, полную табачного дыма, душным синим туманом. Он только что прочитал свой новый рассказ, тусклый, неудачный, и, со стыдом бросив рукопись под стол, ходит по комнате, презирая себя, мучительно сознавая бессилие своего воображения, немощность слов своих. Никогда еще, казалось ему, не испытывал он такой вражды к себе, как в эту ночь. Она, его друг, самый близкий в ту пору, критиковала рассказ, мягко и осторожно выбирая слова,— за этой осторожностью он чувствовал жалость, унижающую его.

«Пулю в лоб, пулю в лоб,— мысленно, в такт своим шагам твердил он и ругал себя: — Бездарное животное. Нищий. Пулю в лоб».

Героиня лежала на диване, задумчиво глядя в потолок, сказав, видимо, все слова утешения, какие были у нее. Их было немного, этих слов, и они расплылись в дыму комнаты, не поколебав отчаяния автора. И вдруг убийственно раздались еще ее слова,— она произнесла их, вздыхая:

«Как скверно стали делать всё теперь,— вот — чулки: надела их два раза, и уже дыра на пятке»...

Продолжая автоматически говорить об искусстве, он думал:

«Да, в ней было это — недостаток чуткости. И — мелочность. Было и еще кое-что несимпатичное. Даже —

тяжелое. Вероятно — многое возникало из ее страха потерять меня. А все-таки — она хорошая женщина, интересный человек».

Но когда ему захотелось вспомнить что-либо хорошее, испытанное с нею и от нее, он вспоминал только ее ласки и лишь сильным напряжением памяти восстановил смешную сцену: вот она, его любимая женщина, сидит на стуле, в углу комнаты, опираясь локтями в колена свои, спрятав лицо в ладонях рук, неподвижная, угрюмая. Он суетился около нее, искал, чем бы развлечь ее, помириться с нею,— он обидел ее неосторожным словом. Долго искал и наконец — нашел, с радостью сообщив ей: «Знаешь, Нюра, фальшивую монету делали уже за пятьсот восемьдесят лет до рождества Христова. Ахейцы в Италии...» — «Что-о? — изумленно спросила она и вдруг, расхохотавшись, бросилась к нему, обняла, задыхаясь от смеха, вскрикивая: — Господи,— какой он смешной, этот, мой, милый... Господи! Ахейцы... Ой, не могу!»

Потом он сидел с нею на диване, играл ее волосами, целовал маленькое холодное ушко ее и жаловался на себя, на нее, на всех людей,— как плохо чувствуют они друг друга, как неосторожно, небрежно относятся один к другому.

«Да,— печально согласилась она,— люди вообще очень плохи...» И, ласкаясь, прибавила: «Особенно — эта интриганка Ольга! Ты напрасно так много уделяешь ей внимания, право же, она — бездарна...»

Автор усмехнулся от избытка печали и, продолжая говорить, прислушался к словам своим: они звучали ненужно, бездарно.

«Надо говорить о пьесе»,— напомнил он себе и почувствовал, что объяснять пьесу он не хочет.

Его слушатели единодушно скучали, все точно окаменев. Только режиссер важно надул свои толстые красные губы и согласно взмахивал чалмой волос; находя жизнь пресной, требующей острых приправ, он любил парадоксы.

Героине речь автора казалась излишней и даже как-то унижающей его. Он слишком мало сказал о пьесе и оставил такое впечатление, как будто сам не понимает

то, что написал. Кто здесь, кроме нее, может оценить полет его мысли?

Комик нейтрально дремал, сидя на скале, Лидочка, отщипывая маленькие кусочки корки апельсина, сорила ими на сцене; ей прежде всех надоела эта неинтересная беседа, автор обращал на нее внимания меньше, чем всегда. Он говорил как человек, незнакомый ей, и, видимо, не для того, чтоб она слушала.

А герой обиделся за науку и стал горячо напоминать автору о мере, весе, счете, о колбах, ретортах и лабораториях химиков,— он понимал во всем этом, вероятно, не менее, чем полевая мышь в песне жаворонка. Его крикливые слова возмущали героиню. Она уже давно заметила, что ее настроение странно и тревожно колеблется: то она желает сделать больно старому другу, то — пожалеть его, и ей было неясно: чего больше хочет она? Ей вспомнилось, что, думая о боге, она иногда тоже соблазняется желанием обидеть его. Покачивая головой, автор говорил герою:

— Сравните «Космос» Гумбольдта с «Войной и миром» Толстого или «Человеческую комедию» Бальзака с книгами Дарвина, и вам будет более понятна моя мысль о внутренней связи искусства и науки. Прибавьте сюда, что то и другая независимы от расчетов «здравого смысла», он является потом в лице техники, морали, в лице критики, если хотите. Искусство и науку возбуждает одна и та же мощная сила стремления человека уйти как можно дальше от зверя, осмыслить и украсить этот кошмарный, раздробленный мир одиноких людей, одиноких до ужаса в своей человеческой среде и еще более одиноких в том, непонятном, что мы называем вселенной...

Из-за кулисы высунулся плотник и, махая руками, закричал пьяным, рыдающим голосом:

— Веселитесь, играете, а — я... Не тронь!

Невидимая сила увлекла его куда-то далеко, оттуда донеслись шаркающие звуки тяжелой возни, глухие крики:

— Пусти! Желаю чудить... Вы — за деньги, а я даром желаю чудить!..

Комик встрепенулся, побежал за кулисы, а герой сердито пробормотал что-то о разнице между чудом и фокусом,— автор строго остановил его:

— Я не делаю фокусов и ничего не говорил о чудесах. Я знаю, что чудеса творят лишь человеческие силы: любовь к труду, мысль и воображение. В жажде иных чудес скрыто желание восстановить мертвый покой веры, ожидание мистического чуда есть бесспорный признак неверия.

«Зачем он говорит всё это?» — думала героиня уже с той тревогой, которую испытывала она в первые дни знакомства с этим человеком, в те дни, когда он распускал пред нею павлиний хвост своих фантазий, а она, подчиняясь обаянию его взгляда и голоса, чувствовала себя в храме, где одинокий жрец служит странную мессу неведомому ей богу, и, чувствуя так, за что-то жалела его, жреца.

— Вы судите художника? — звучал голос его.— Разумеется, это ваше право и ваше удовольствие. Судить друг друга — дело, не требующее таланта, и оно очень утешает. Но не обижайтесь, если я скажу, что совершенно равнодушен к суду и приговору вашему. Я люблю мой труд, благоговейно отношусь к игре моего воображения и глубоко чту мою человеческую мысль. Это меня вполне удовлетворяет, и я не ищу, не жду ничего больше...

«Так ли?» — усомнилась героиня, а Лидочка сделала гримасу недоумения.

— Здесь говорили о муках творчества в ироническом тоне. Хорошо, заменим муки простым чувством горькой досады мастера, который, вытачивая из дерева игрушку для детей, видит, что игрушка не удается ему. Допустим, что муки творчества — не существуют, и будем помнить только радостный крик Архимеда, веселый танец безумного Ницше. Но все-таки — не заслуживает ли художник несколько больше уважения к личности его? Вечный подсудимый в этом большом и мрачном мире, судилище всех со всеми, он пытается что-то объяснить, оправдать в людях, зовет их к великодушию, к милосердию,— он верит, что жизнь будет тем лучше, чем громче и чаще будут говорить людям о ми-

лосердии, о сострадании. Наконец из ткани своего воображения он создает иные, более человечные миры...

Он замолчал, ему вдруг ударило в голову и в сердце всё то, что человек всегда, к сожалению, помни слишком хорошо,— всё то злое, тупое и мучительное, что испытал он в своих столкновениях с людьми. Его закружил и ослепил хаотический поток пережитого, темная, жуткая туча «мелочей жизни», ядовитых насекомых, которые сосут и отравляют кровь, возбуждая тоскливое бешенство, вызывая презрение к людям, обессмысливая жизнь, мешая работать. Захотелось крикнуть оскорбительные слова:

«Я — не автомат, не желудок, который механически переваривает вашу пошлость, я — человек!»

«Кричать? Жаловаться?» — остановил он сам себя и — успокоился, вспомнив слова одного из своих героев: «Ты, Петр, честный человек, ты умрешь молча».

Чтоб окончательно преодолеть натиск негодования, он закрыл глаза, крепко сжал пальцы рук, но все-таки продолжал речь свою с металлическим звуком в голосе:

— Вы говорите: он работает из дешевого материала. Рад слышать, что горе и страдание дешево ценятся вами, я тоже думаю, что люди пожирают друг друга под соусом, который давно должен бы вызвать у них органическое отвращение. Однако, поскольку я беру материал у вас,— я беру лучшее ваше, и — не моя вина, что из всего, что вы делаете, вам наилучше удаются страдания, несчастия. Я сгущаю краски? Именно такова задача искусства. Разве вы встречали женщин действительности, которые чувствовали бы так, как Дездемона или Жанна д'Арк, встречали мужчин, как Тимон Афинский, Дон-Кихот, Пер Гюнт? Я наделяю людей разумом и чувством в дозе значительно большей, чем та, какою они обладают по природе своей, в действительности...

— Вы уж начали говорить, как бог,— угрюмо и насмешливо заметил герой.

— Возможно. Бог — тоже художник, тоже создал мир из дешевого материала, его тоже признают неудачным творцом,— почему бы мне не говорить одним языком с ним?

— Вы — атеист,— напомнил ему герой.

— Да, но мой мир — мир воображения, в нем боги и герои, созданные фантазией, имеют такое же законное место, как трубочисты и пошляки, рожденные женщиной. Бог для меня — не яма, куда люди сбрасывают мусор жалоб своих на жизнь и друг на друга, он для меня — одно из наиболее печальных созданий бессильного воображения людей, один из тех туманных образов, которые только сила искусства делает яркими и почти физически ощутимыми для некоторых детей земли...

Автор встал, оглянулся и сухо сказал:

— Я, кажется, утомил вас. И мне давно пора идти, я уже не могу присутствовать на репетиции.

— Как жаль! — воскликнула Лидочка.

— Да,— сказал герой,— жаль! А говорили вы... не очень ясно и, знаете, противоречиво...

— Что ж делать? — вздохнул автор, пожимая плечами.— Мне остается только одно: вспомнить мудрую пословицу арабов: «Если верблюд не испытывает жажды,— глупо заставлять его пить».

Он сказал это больше с печалью, чем с досадой, но героиня все-таки подумала: «Наконец — взорвало его!»

Автор, поцеловав ей руку, спросил с улыбкой:

— Надеюсь, я не обидел вас?

— Меня — нет! — уверенно и поспешно сказала она.

Он отошел от нее к Лидочке, живо подбежавшей встречу ему, а герой, сумрачно глядя вслед ему, пробормотал:

— Из него получился бы неплохой адвокат...

Надув губы, режиссер изучал циферблат своих часов; проснувшийся комик зевал, героиня, надвинув шляпу на лоб, следила из-под ее полей за беседой Лидочки с автором, и в сердце ее шипело:

«Девчонка! Подожди, обожгешься...»

— Н-да,— сказал герой, провожая автора взглядом,— обиделся все-таки, не простился со мной. Эта его арабская пословица — просто глупа. Наверное — сам выдумал, а обижает арабов.

— Что ж — будет репетиция? — спросил комик, потягиваясь.

— Начинаем! — строго скомандовал режиссер.— Пожалуйте, господа! Сцена Аркадия и Серафимы...

Притопывая каблуком, весело глядя в тетрадку роли, Лидочка начала:

— «Чем более вы чужды людям»...

— Это — не так! — возмущенно закричал режиссер.— Откуда у вас радость, подумайте!

— Но ведь я же завоевала его!

«Дура»,— подумала героиня.

— Боже мой! Ничего вы не завоевали!..

— М-м,— замычал комик, улыбаясь и подмигивая герою.— Рассердился, раскричался наш уважаемый, а пьеску-то со сцены все-таки не снял.

— Прошу внимания!

— Жить надо, Иван...

— Н-да! Ради этого — на всё идем...

— Внимание, внимание, господа...

Но комик еще раз ехидно и гнусливо пропел:

— Он очень сильно рассердился, а пьеску снять со сцены не р-решился, да-а...

ГОЛУБАЯ ЖИЗНЬ

Константин Миронов, сидя у окна, смотрел на улицу, пытаясь не думать.

Разогнав дымчатые клочья облаков, похожие на овечью шерсть, ветер чисто вымел небо, уложил затейливыми фестонами пыль немощеной улицы и притих, точно сам зарылся в пыль. Слетелись воробьи; прыгая мячиками, они шумно и хлопотливо выщипывают перья с отрубленной головы петуха; из подворотни Розановых вылез одноглазый черный кот, прилег, нацелился, прыгнул, но, не поймав воробья, потрогал мягкой лапой петушиную голову, взял ее в зубы, встряхнул и, не торопясь, солидно разводя хвостом, унес добычу в подворотню.

Твердо шагает почтенный Иван Иванович Розанов, гонит пред собою палкой рыжего козла; в городе заблаговестили ко всенощной, Розанов снял фуражку, обнажив лысый череп угодника божия, одобрительно взглянул в синее прохладное небо; козел тоже остановился, встряхивая бородою, глубоко воткнув копыта в пыль.

«В Париже — это невозможно, — подумал Миронов.— В Париже не позволят гонять козлов по улицам. Там не бросают под окнами петушиные головы...»

Вдали, внизу, за оловянной полосою реки, за рыжей грудой зданий водочного завода и серыми пятнами домов земской колонии душевнобольных, опускается к песчаным холмам, в черные мохнатые кусты можжевельника, распухшее, лишенное лучей, оранжевое солнце, как будто оно, гладко обритое, ускользнуло из колонии душевнобольных и прячется. Это повторялось каждый вечер и надоело, как страница много-

кратно прочитанной книги, прочно вклеившаяся в память.

Чтоб не думать, Миронов расставлял в жемчужном небе черные кружочки карты железных дорог: Москва — Рига — Берлин — Кёльн — Париж, но сегодня в небе не хватало места для этих кружков, последний из пяти приходилось ставить или очень близко к солнцу или в центр его, и тогда точка Парижа становилась досадно невидимой. А поставить эту точку в небе было совершенно необходимо; утвердясь на ней, воображение тотчас же, как всегда, создало бы голубой город, полный торжественно органного шума, город веселых людей и необыкновенных приключений, где жизнь текла легко, просто, не скрывая в себе ничего непонятного, и где даже такой злой человек, каков Рокамболь, не в силах всю жизнь делать зло. Там нечеловечески обаятелен даже урод Квазимодо, там жили «Три мушкетера», действовал таинственный «Рыцарь курятника» и бесстрашный Д'Арвиль, один из «Трех любимцев Анны Австрийской». А — здесь...

На берегу реки два голоса провожали солнце тягучей песней, она хорошо сливалась с медным гулом благовеста церквей; ревущий бас возчика Артамона, смягченный расстоянием, гудел тоже мягко, точно колокольная медь. Целый день, с утра, пылил и посвистывал сухой ветер, а теперь церковный благовест и песня, насытив воздух потоком ласковых звуков, как будто стремились окончательно установить на земле и в людях тихий, музыкальный порядок.

Но певучая тишина субботнего вечера не могла успокоить Миронова, всё в нем было разодрано, спутано, встревоженная память показывала картины пережитого, подавляя тяжелым, пестрым хаосом.

Впервые испытывал он такое волнение памяти и столь тяжелую необходимость думать; это даже пугало его, он уже несколько раз оглядывал углы комнаты, как бы ожидая увидеть в синеватом сумраке вечера кого-то, кто насилует его, заставляя вспоминать и обдумывать.

Странно: если закрыть глаза — тьма начинает дрожать, в ней, в каждой точке ее, зарождаются маленькие вихри и, располагаясь то горизонтально, кругами на

воде, то крутясь столбиками черной пыли, приводят безграничие тьмы в безмолвное кипение, вся тьма сочится, потеет мыслями, и они облекаются в надоедливые очертания скучных слов: «Как же я буду жить?»

Когда отец говорил о мясе, рыбе или молоке: «Задумались» — это значило, что мясо и рыба — загнили, молоко — закисло.

Незадолго до смерти отца мать крикнула ему:

— Подумал бы, дурак, ведь издохнешь скоро!

Он, посмеиваясь, ответил:

— А ты знаешь, что значит — думать? Это значит — пыль стирать. Вот — в руке у тебя полотенце, ты стираешь им пыль, было полотенце чистое, стало грязным. Так и мы с тобой, Лидия, достаточно надумались...

Мать, ревностно следившая за чистотою в доме, рассердилась, закричала, наскакивая на отца:

— Так я — грязная тряпка? Так у меня в доме грязно?

Тринадцать дней медленно прошло с того утра, когда Миронов, выйдя в кухню умываться, увидел огромное тело матери на полу: кособоко, плечом прислонясь к печке, она сидела, упираясь рукою в пол, и мычала, глядя в угол страшно вытаращенными глазами. Когда он наклонился поднять ее, думая, что она всё еще пьяная, мать, с трудом отклеив ладонь от пола, взмахнула рукою и повалилась к его ногам, всхрапывая, как лошадь. Она храпела и мычала еще четверо суток и всё взмахивала правой рукою, отталкивая от себя кого-то, а на пятый день тяжело свалилась с кровати, поползла в угол спальни, к сундуку, и там, громко крякнув, умерла.

Неделю, с утра до вечера, в доме суетились чужие люди, шмыгала по всем комнатам маленькая, горбатая и обидчивая сестра милосердия, кричал и непрерывно курил толстый доктор, сидел, широко расставив ноги, рыжебородый, лиловый поп Борис, все о чем-то расспрашивали Миронова, а неприятный всей улице столяр Каллистрат назойливо допытывался:

— Что же ты, скука-сирота, думаешь делать?

В Париже смерть человека и всё, следующее за нею, гораздо проще, понятнее, более интересно и не так

ненужно, не так страшно. Там на смерть женщины не приходят смотреть чужие люди, и, конечно, там невозможен такой человек, как столяр Каллистрат.

В день похорон матери он вынес на улицу горшок сметаны и, макая в нее малярную кисть, стал мазать забор своего сада. Зачем? Он не был пьян и делал это нелепое дело вполне серьезно, а когда его спросили, что он делает,— спокойно ответил:

— Забор крашу.

— Сметаной?

— Краски у меня не нашлось.

Минут десять он усердно и молча мазал серые, выгоревшие на солнце доски, десятка три взрослых и множество мальчишек следило за его работой, потом подошел уважаемый Иван Иванович Розанов и ударом ноги разбил горшок.

...Осматривая мощное тело матери, доктор неприлично и обидно сказал:

— Не пьянствуй,— прожила бы еще лет сорок.

Миронов вспомнил, что хотя эти слова показались ему грубыми, однако он тотчас сосчитал: если б мать прожила еще сорок лет, ему, в год ее смерти, исполнилось бы пятьдесят девять. И, наверное, она всю жизнь кричала бы на него: «Дурак! Весь в отца».

Большеглазая, крикливая, с утра полупьяная, она, тяжко топая, ходила бы по комнатам с тряпкой в руке, истребляла мух, стирала пыль, насыщала воздух запахом маринованного лука и моченых яблок, любимой закуски ее. И ругала бы отца.

Она ругала его всегда, а особенно по праздникам, когда он, навесив на свои длинные угловатые кости мундир топографа, уходил в город играть на биллиарде; он был знаменит как мастер этой игры, и вообще во всем — в слове и деле — был необыкновенный человек.

Пред Мироновым вытянулась тощая фигура, с длинными, но редкими усами, с темным клочком волос под нижней губою; отец кашлял, плевал розовой и красной слюною и, подмигивая темным, весело горевшим глазом, рассказывал Косте чудесные истории о туркменах и генерале Скобелеве, о Кавказе, Хиве, Бухаре; эти рассказы рисовали его человеком легким, как птица, беззя-

ботным странником по земле. Под левым глазом его была морщинистая красная яма, она оттянула веко, и казалось, что глаз внимательно заглядывает в эту яму, отец говорил, что это — след раны, нанесенной туркменом.

Он никогда не ругался с матерью, даже спорил с нею редко, но всегда сердил ее какими-то особенными, насмешливыми словами, мать часто кричала: «Перестань, Митька! Смотри, накажет тебя господь за глупость...» — «Бог за глупость не карает, бог дураков любит»,— возражал отец.

Костю тоже беспокоили слова отца, присыхая к памяти его незаметно и плотно, как чешуя рыбы к коже руки. Склеивая чью-то разбитую скрипку, отец вынул из нее круглую коротенькую палочку и сказал: «Эта штучка называется — душа. Вот и в тебя, Лидия, дьявол вставил такой же стерженек...» — «Врешь,— закричала мать,— мне душа богом дана...»

В день ее именин, когда она, пышно одетая, важная, пришла из церкви, отец поднес ей кусок кашмира на платье, а внутри подарка оказалась противная зеленая картина «Смерть грешника»,— в ногах умирающего человека стоял, оскалив зубы, высунув огненный язык, зеленый чёрт.

Сначала это рассмешило, а потом обидело мать, и за обедом, сильно выпив, она вдруг заплакала, назвала отца: «Горе мое, несчастие мое!»

В редкие часы миролюбивого настроения она именовала отца «фокусником» за то, что он сделал музыкальный ящик, который играл кадриль «Вьюшки», песню «Матушка-голубушка» и гимн «Коль славен наш господь». Ящик этот мать, пьяная, разбила, растоптала ногами. Костя собрал обломки, спрятал их на чердаке и долго упрашивал отца починить удивительное соединение дерева и металла, которое отец какою-то чудесной силой заставил петь весело, печально, торжественно. Отец сказал: «Отстань, это — ерунда, ящик!» И, вздохнув, задумчиво играя ухом Кости, прибавил: «А вот если б она как-нибудь лопнула, опилась,— я бы сделал штучку!»

Он любил мелкую, затейливую работу, выпиливал

рамки для фотографий, чинил гармоники, склеивал разбитые скрипки и, работая, весело напевал:

Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Самое лучшее, что сделал отец и что Костя бережно хранил, это глобус, подарок отца в тот день, когда Костя перешел во второй класс гимназии. Глобус был обыкновенный, но нижнее полушарие его отец заключил в медную чашку для мытья чайной посуды, вытравил на ней кислотою океаны, континенты, острова, искусно раскрасил их, набил в медь чаши стальные шпеньки и припаял на штативе стальную гребенку, так что она обнимала нижнюю часть глобуса.

Когда Костя повернул земной шар на оси, гребенка бойко начала тренькать веселую песенку:

Чижик, пыжик,— где ты был?

Это понравилось даже матери, она долго катала глобус на стержне, смеясь хриплым пьяным смехом. А кошке не понравился голубоватый тренькающий шар, фыркнув, она убежала. В скучные минуты Костя очень любил раздражать кошку забавной металлической музыкой глобуса.

Веселый человек был отец и любил шутить, а вспоминать его шутки не только не весело, но даже неприятно.

В год смерти своей, когда мать уехала на богомолье в монастырь, отец приделал ко всем дверям квартиры деревянные дудки с резиновыми мячами на концах; отворишь дверь — дудка пронзительно свистит, и затворишь — свистит. Когда мать возвратилась домой, это страшно рассердило ее. «Что ты, дьявол, издеваешься надо мною!» — закричала она, побагровев, и, отхлестав отца по лицу мокрой, грязной тряпкой, переломала все дудки.

Чудаковато подпрыгивая, отец убежал в сад, лег там, под липой, на траву, посмеялся и беспокойно задремал. Миронов вспомнил, как страшно было ему слушать, сидя рядом с отцом, бредовой его шёпот и как жалко было смотреть на костлявое серое лицо милого,

но непонятного человека. В тот час на его любовь к отцу легла печальная тень и возникло чувство недоверия ко всему веселому, что рассказывал отец о своей жизни.

И тогда же он испытал одно из тех, навсегда памятных впечатлений, которые формируют душу человека: в густой листве обильно цветущей липы гудели пчелы, этот непрерывный струнный звук, поглощая все другие небогатые звуки знойного дня, возносился в голубую пустоту небес, превращаясь там в чудесное пение.

Миронов, удивленный, долго, до боли в глазах, смотрел в небо и наконец, поймав там дрожащую точку, как бы темную звезду без лучей, догадался, что это поет жаворонок. С того дня у него явилась потребность думать звуками, вторить всему, о чем думалось, песнью без слов.

Но за последние тринадцать дней он потерял способность заглушать думы звуками без образов, в мозг его вторгалась пестрая пыль воспоминаний, в памяти звучал глуховатый голос отца и бессмысленные окрики всегда пьяной или раздраженной матери. Ее упреки и жалобы заставили его понять, что она замужем второй раз, а первый ее муж был начальником отца и стрелял в него из пистолета. «Горе мое, что не убил он тебя!» — кричала она отцу.

Он чувствовал в их жизни что-то темное и опасное, может быть, преступное, чего не хотел знать, о чем боялся думать, но именно оно-то и тревожило его воображение всё более настойчиво; это продолжалось до поры, пока он начал читать книги, они рассказали ему, что существуют другие, более интересные и разрешимые тайны, есть другая, легкая, праздничная жизнь. Застенчивый, неловкий, он не имел друзей; легко простужался, часто прихварывал, это позволило ему читать много, и пред ним возник в голубом тумане восхищения чудесный город Париж.

Отец умер весною, в саду, окапывая яблони,— Миронов вспомнил, как жутко бормотала мать, наклонясь над трупом:

«Вот, Митя, вот... Я говорила...»

Четыре года тяжелой, стыдной жизни с пьяной

матерью сделали Миронова еще более замкнутым. Он полюбил удить рыбу, гулять одиноко в поле, в лесу, слушая пение птиц, шелест трав и листвы, странные шёпоты ветра. Особенно хорошо по праздникам слушать издали музыку военного оркестра; вблизи, когда видишь, как солдаты, надувая щеки, делают музыку, она не радует, не утешает. Иногда он брал с собою французскую грамматику и читал ее, стараясь запомнить четкие слова, но память не удерживала их, и, не слагаясь в понятную речь, они таяли, превращались в необыкновенные сочетания красивых звуков, в голубую музыку.

Лиза Розанова понравилась Миронову в первый день Пасхи, когда он увидал ее одетой в голубое платье; она шла из церкви, торжественный звон колоколов провожал ее, щедро освещало праздничное солнце; маленькая, стройная и в то же время пышная, как необыкновенный цветок, она была вся голубая, даже в голубых чулках.

Она жила против его дома, Миронов часто видел ее, но ее тонкая, плоская фигурка, остроносое, птичье лицо с круглыми глазами и капризным или болезненным изгибом бескровных губ,— ничто в ней не трогало его сердца и воображения, ему даже казалось, что эта девушка так же некрасива, как сам он. И при этом он знал, что Лиза лечится козьим молоком, противно пахучим. Но тогда, в день Пасхи, он радостно удивился: как же это он не заметил раньше, что Лиза красива? И с того дня он сделал ее соучастницей своей мечты о певучей, голубой жизни, она стала для него соломинкой в шумном потоке непонятного и пугающего.

Познакомиться с нею он не решался, но, возвращаясь со службы, шел мимо дома Розановых, замедляя шаги; пообедав, садился с книгой у окна и следил: не появится ли девушка на улице? Иногда она выходила и, быстро топая тоненькими ножками, шла к реке, в склад лесных материалов, к своему отцу; шла она, держась близко к заборам, как бы сохраняя возможность спрятаться в первые же ворота. На узенькой спине ее вздрагивала коротенькая коса темных волос с голубым бантом на конце. Миронову казалось, что девушка эта, так же

как он, не любит, боится людей, это еще более сближало его с нею.

Проводив ее, он подходил к зеркалу и с обидой, с грустью рассматривал в нем неподвижные темные глаза, разделенные широким переносьем, левый глаз немного косил, как бы заглядывая на оттопыренное восковое ухо; над верхней губою, затемненной черным пухом, опускался бесформенным комом желтый нос, на голове непокорно торчали вихрами жесткие темные волосы. Ему казалось, что всё у него растет в разные стороны, всё расползается, точно корни дерева на бесплодной почве; руки слишком длинны, и неприятно тонки их пальцы, рот — велик и набит такими неровными зубами, что не хотелось улыбаться.

Вообще же он не любил смотреть в зеркало, замечая, что если смотреть долго — темнеет в глазах, отражение постепенно исчезает, возможно, что вместе с ним исчезнешь и сам.

За несколько дней до смерти матери он, неожиданно для себя, сказал: «Ты бы, мама, посватала Лизу Розанову...»

Сказав,— испугался, покраснел, чувствуя, что ему стыдно и напрасно он выдал свою тайну. Но в этот день мать была трезва и, как всегда в трезвом состоянии, немногословна. Наливая сливки в чай себе, не взглянув на сына, она бросила: «Дурак».

И только минуты через три, вздохнув, отирая пот с багрового лица, прибавила: «Какой ты муж? Муж должен быть — вот!» Крепко сжав опухшие пальцы в большой красный кулак, она потрясла им в воздухе.

Вспоминать о ней было тяжело; чем более думал он о матери, тем более страшной и чужой ему становилась эта женщина, грубая, задыхавшаяся от жира, с огромными мутными глазами; ему казалось, что, думая, он действительно стирает с нее пыль и от этого она непонятнее, страшней. Так же неприятно обнажалось пред ним всё, что он пытался обдумать, понять.

Миронов тряхнул головою, оглянулся — синий сумрак в комнате стал гуще, теплее. За рекою, в розоватом небе, ярко сверкала вечерняя звезда.

По улице едет телега, нагруженная мебелью, мат-

расами, цветами в кадках; под пальмой, на серых узлах, сидит девушка в красной кофте и белом платке, на коленях у нее клетка с какой-то черной птицей, должно быть — дрозд. Из-под телеги падают в пыль пестрые детские кубики; рядом с тяжелой, толстоногой лошадью шагает старичок, помахивая вожжами, и, задрав голову вверх, кричит девушке сиплым голосом:

— А — куда пойдешь? Кому скажешь?

«Старый дурак»,— мысленно обругал его Миронов.

Идет Артамон, возчик лесного склада, коренастый, тяжелый, как медведь; его мохнатое безглазое лицо изуродовано заячьей губою, это сделало рот его трехугольным и противно открыло широкие желтые кости свирепых зубов; рядом с ним легко шагает тонкий, стройный столяр Каллистрат, босый, в переднике, выпачканном охрой и клеем, с темным ременным венчиком на светлых курчавых волосах; под его ястребиным носом светятся золотистые усики. Накручивая на палец острую медную бородку, он, глядя в сторону Миронова, звонко говорит:

— Скука.

— Не тронь, пускай скучает,— раздается грубый, ревущий голос Артамона. Они идут медленно, лениво загребая ногами пыль, пыль встает сзади их красноватым облаком. Вся улица восхищена нечеловеческой силой возчика и боится его, как боится странного озорства столяра.

Миронов крепко закрыл глаза; ему иногда думалось, что если глаза человека закрыты,— он становится невидим для людей.

Катились дни, быстро перепрыгивая через темные ямы ночей; ночи были жаркие и бессонные, а когда Миронов засыпал ненадолго — снилось странное: по широкой дороге, освещенной множеством костров, идет неисчислимая толпа медных кофейников однообразной формы; все они на длинных ножках, и есть в них что-то общее с пауками; маленький, горбатый уродец мостит улицу, забивая в землю гвозди так плотно один к другому, что земля кажется покрыта железной чешуею;

по реке плывет огромная рыба, заглатывая отражения луны, а луна в небе, очень темном, подпрыгивает, раскачивается, как маятник часов; снилось и еще много тревожного своей бессмысленностью.

Миронов жил, не слыша тяжелых шагов матери, ее хриплых и грубых окриков, из комнат выветрился тошный запах водки, моченых яблоков и маринованного лука; сухонькая старушка, кухарка Павловна, двигалась бесшумно, точно кошка, была молчалива и только вздыхала, присвистывая. Но все-таки и в тишине этой жить было неловко, казалось, что все вещи, фотографии, иконы безмолвно, но строго спрашивают: «Ну — что ж ты будешь делать?»

Миронов заметил, что так же требовательно смотрят на него и люди улицы, все они чего-то ждут, липкие взгляды их угнетали его.

В воскресенье, на закате солнца, он удил окуней, сидя на борту баржи, полузатопленной ледоходом, вслушиваясь в отдаленное пение медных труб военного оркестра; музыка и медленное движение голубоватой воды вызвали в нем желанное состояние бездумья, теплые волны звуков ласково поднимали над землей. Если внимательно прислушаться,— течение реки тоже дает мягкий басовый звук, все другие звуки смываются им, но не вполне, они видны слуху, как сквозь мутное стекло. Миронов не заметил, как подъехала лодка.

— Хорошо клюет?

Вздрогнув, он выхватил лёсу из воды,— на крючке бился толстенький окунек.

— Вот, с нами — счастье вам!

— Да.

— Много поймали?

— Три. Это третий.

Лиза Розанова в сиреневом платье, с голубой лентой в косе, сидела на корме, а в веслах — черноволосая толстая подруга ее, Клавдия, в розовой блузе, в синей юбке; она лениво шевелила веслами, не давая течению увлекать лодку. Лиза улыбалась. Миронов тоже хотел улыбнуться, но, вспомнив о зубах своих, крепко сжал губы.

— Едем,— сказала Лиза.

Ее подруга опустила весла в воду глубже, откинулась всем телом назад, одно весло сорвалось и обрызгало водою ноги рыбака.

— Ой, извините!

Лиза засмеялась стеклянным смешком, Миронов смущенно дрыгал ногами, стряхивая воду с ботинок и брюк, думая: «Другой бы разговорился с ней, а я... Может быть, они нарочно обрызгали меня, в шутку, чтобы начать знакомство...»

Лодка сильными толчками спускалась по течению, насмешливо поскрипывали весла. Миронов выплеснул в реку из ведерка воду, окуней, собрал удочки и пошел домой, согнувшись, глядя в землю, жалея себя, а подойдя к дому, увидал, что коричневая краска фасада и ворот, зеленая — ставень выгорела, вздулась пузырями, облупилась.

«Надо перекрасить»,— решил он.

Рано утром в среду лысый старичок, заносчивый и едкий, начал скоблить дом железной скребкой, ему помогал пестро измазанный красками курносый подросток; работая, старик пел хорошим, мягким голосом:

Он — уехал, со мной не простился...

Полюбил другую

— дискантом подпевал подросток.

Миронов, разбуженный скрежетом железа и песней, лежал и думал: «Глупо. Одному уже поздно петь про любовь, другому — рано. И почему маляры, работая, всегда поют?»

Через несколько дней, когда старый маляр начал мазать голубой краской зашпаклеванный, пестрый фасад точно оспой заболевшего дома,— посреди улицы стал монументом уважаемый Иван Иванович Розанов и строго крикнул:

— Эй, ты как это красишь?

— Как велено,— непочтительно ответил маляр.

— Почему — синим?

— Так велено.

— Это улицу безобразит!

— Не мое дело.

— Экая глупость!

— И глупость не моя.

Поливая цветы на подоконниках, Миронов слышал этот диалог, он обидел и встревожил его.

«Почему же голубой дом — безобразие и глупость? Пожалуй, откажет мне Розанов, когда я посватаюсь».

Он торопливо вышел на улицу, посмотрел на обесцвеченные солнцем и дождями домики, их связывали друг с другом серые заборы, осеняла пыльная зелень ветел, они спускались к реке двумя вереницами нищих, в одной — семь, в другой — десять, среди семи красовался одноэтажный кирпичный дом Розанова, четыре окна его смотрели на улицу неласково. Треугольник под крышей дома Миронова был уже окрашен, точно оклеен шёлком, масляно лоснился на солнце и ласкал глаз своим спокойным синеватым цветом.

Величественно дотронувшись указательным пальцем до козырька своей фуражки, Розанов сказал:

— Непрактическая краска.

— Красивая.

— И дорогая.

— Прочная.

— Не знаю.

— Маляр говорит — прочная.

— Все маляры — врут,— строго заявил Розанов и отошел, солидный, прямой, благосклонно подставляя солнцу серьезное лицо свое и широкую серебристую бороду. Миронов не успел спросить его: почему маляры врут? Он ушел домой, взял книгу и сел у окна,— тотчас же на улице снова явился Розанов с метлою в руках, начал сметать сор и пыль из-под окон своего дома к середине улицы. Маляр крикнул:

— Эй, почтенный! Ты напрасно затеял пылить, работу портишь мне.

Не отвечая, Розанов пылил. Миронов понял, что он делает это нарочно, назло, огорчился, ушел в сад и сел там на траву под старой яблоней.

«Не выдаст он дочь за меня. Зачем я начал красить дом?»

Он слышал, что на улице маляр ругается с Розановым, следовало бы остановить маляра, но обессиливали скучные, серые думы о людях, которые так

странно мешают друг другу жить, и Миронов просидел в саду до ужина.

Ночью, душной и безмолвной, ему не спалось. Раздражающе ярко светила луна, лаяли и выли собаки. На полу лежал желтоватый квадрат, и в нем четко рисовались тени переплета рамы окна. Вдруг в пятне света явились еще три темные полосы, потом его покрыла тень человека, как будто по воздуху проплыл фонарщик с лестницей на плече. Вот — ясно слышен шорох, скрип дерева. Миронов сбросил с себя простыню, сел на постели, глядя в окно, пред окном стояла лестница, очевидно, забытая маляром, и кто-то хочет утащить ее. Миронов вскочил, осторожно открыл окно, взглянул вверх,— на верху лестницы прилепился человек, видно было его босые ноги; тогда Миронов, немного испуганный, но больше удивленный, бесшумно вылез из окна на улицу.

Ярко освещенный луною, на лестнице стоял человек и, макая коротенькую кисть в деревянное ведерко, висевшее на поясе у него, торопливо мазал вокруг слухового окна.

— Это — кто? — негромко спросил Миронов.

Необъяснимо легко человек соскользнул с лестницы, а его ведерко выплеснуло на стену дома и окно темную жидкость; в воздухе растекся крепкий запах дегтя; схватив лестницу, человек отбежал прочь, но Миронов уже узнал его,— это столяр Каллистрат.

Миронов вышел на середину улицы и сквозь серебристую пыль лунного света прочитал над слуховым окном неясные, хотя крупные буквы:

«Дом».

От каждой буквы тянулись книзу темные потоки дегтя, и было отчетливо слышно: шлепаются о землю его тяжелые капли. Столяр, держа лестницу на плече, стоял в шагах двадцати у ворот своего дома, хорошо было видно медный клин его бородки и черный венчик на светлых волосах, на лбу.

— Послушайте,— зачем вы это сделали?

Столяр не ответил: не пошевелился.

— Удивительно! То сметаной пачкаете вы, то — дегтем...

Столяр засмеялся. Миронову показалось, что и смех его удивителен, что-то среднее между кудахтанием курицы и лаем щенка,— нехороший смех, от него всё стало еще более непонятно, обидно. Тусклые стекла окон блестят, как лед, а воздух до того горяч, что как будто даже светится. И всё похоже на неприятный сон.

— Драться со мной — не пробуй, я тебя побью,— вдруг звонко сказал столяр.

— Да я и не хочу драться,— пробормотал Миронов, идя к воротам дома; столяр, приставив лестницу к забору, медленно пошел вслед за ним.

— Что ж, рассердился ты на меня?

Звонкий голос столяра прозвучал ново и знакомо; так иногда говорил отец, соединяя в словах ласку и строгость.

— Нет, я не сержусь, но все-таки... Зачем портить?

Столяр подошел вплоть и ударил ладонью по плечу Миронова, рука у него была легкая, как птичье крыло.

— Не обижайся! Я тебе всё это поправлю. Деготь к маслу не пристал, течет. Это я плохо придумал, надо было сажу на керосине развести, тогда бы...

— Да — зачем же?

— Конечно — для забавы. Смешно ты придумал,— никто не красит домов такой краской.

Столяр вдруг закусил нижнюю губу, резко взмахнул головою и, прищурив глаза, вопросительно стал смотреть в небо, видимо, обдумывая что-то. Достал из кармана деревянную папиросницу, зажег спичку, закурил папиросу и бросил спичку вверх так ловко, что огонек, не угасая, описал в воздухе трепетную дугу. Затем он надавил ладонью плечо Миронова, этим заставил его сесть на скамью у ворот, сел и сам рядом, говоря поучительно, с насмешкой:

— Я твой расчет понимаю — отличиться хочешь от людей. Думаешь, что если ты свободный сирота, так можешь чудить? Это ты, Миронов, оставь; чудить умеют только двое: я да чёрт, а ты еще нашему богу — бя!

— Какому богу? — угрюмо спросил Миронов.

— Обыкновенному, скука; бог — один, али ты забыл? — сказал столяр, усмехаясь.— Ты вот что сообрази: у тебя мать умирает, то есть — человек; все со-

седи, будто заинтересовались этим случаем, толкутся вокруг тебя, а я начал забор сметаной мазать, и все перебежали смотреть на меня,— понял?

— Ничего не понял,— ответил Миронов, недоуменно мотнув головой.— Это — ерунда какая-то...

— Значит — плох, коли не понял. А — ползешь на первое место. Ерунду, сирота, тоже понимать надо. Можешь ты выдумать что-нибудь вроде сметаны? То-то! А я — испытанный, меня даже судом судили за выдумки мои. Я, бывало, налью керосину в почтовый ящик для писем, суну туда зажженную спичку, письма-то и горят, а никто ничего не понимает. Даже в газете писали: отчего письма горят? От жарких чувств, пишите хладнокровно. Глупость, конечно, молодость, ночей не спишь, всё думаешь: как отличиться? Я и теперь люблю это — озадачить людей. Забавно, когда они спотыкаются на ходу. Всё будто бы просто, а — вдруг настигло непонятное...

Столяр подкрутил кончик усов, облизнул губы, прищурив правый глаз, посмотрел левым на луну и вздохнул:

— Светило, а вот собаки не любят.

Искоса наблюдая за острым, изменчивым лицом столяра, вслушиваясь в его речь, Миронов чувствовал противоречивые желания; хотелось о чем-то спрашивать этого человека и хотелось, сказав ему что-нибудь обидное, тотчас же уйти от него. Но он сказал:

— Может быть, собаки воображают, что это лиса.

— Неизвестно, что воображают собаки,— усмехаясь, ответил столяр и снова заговорил поучительно, в чем-то упрекая, предостерегая от чего-то, становясь всё более непонятным. Хвастливая речь его подавляла Миронова, он чувствовал в ней нечто досадно общее с французской грамматикой,— слова как будто знакомы, а смысл их темен, неуловим. Свет луны плавил сумрак в листве ветел, листья поблескивали серебром, золотилась курчавая голова столяра, резко чернел венчик ремня на лбу его. Необыкновенны были зеленоватые глаза, насмешливые и хитрые, их острый блеск вызывал впечатление укола иглой. Человеку с такими глазами ни в чем нельзя верить. И, конечно, он изде-

вается, его звонкий голос звучит явно фальшиво. Неожиданно для себя Миронов сказал, вздохнув:

— Вы точно сумасшедший.

— Да — ну? — воскликнул столяр.

— Что вы там написали?

— Спугнул ты меня, а хотел я написать вывеску: «Дом сумасшедшего». Хохотала бы завтра улица.

И вдруг ударив Миронова ладонью по колену, он серьезно, деловито предложил:

— Вот что, Миронов, дай ты мне десять рублей...

Миронов сердито откачнулся от него.

— Погоди, погоди! Не прыгай, я — вещь придумал! Ты слушай: ты мне понравился. Другой бы орал, скандалил, а ты — ничего. Это, сирота, это, брат... ну, ладно! За это я желаю тебе услужить по такому расчету: издевка — не удалась, так я тебе удовольствие сделаю,— понял?

Теперь столяр говорил тише, без насмешки в глазах, а Миронов всё более уверенно твердил сам себе: «Конечно, он сумасшедший, потому и озорник».

Это очень успокоило его, разрешив тяжкое недоумение; он улыбнулся, глядя в небо, слушая тихие слова;

— Куплю я красок и раскрашу тебе этот самый дом так, что все ахнут! Я давно хочу сделать что-нибудь такое, знаешь, чтобы все люди ахнули.

— Зачем же? — спросил Миронов, но столяр, должно быть, не слышал вопроса; накрутив медную бородку свою на палец, он дергал ее и говорил:

— Я тебе прямо скажу: я всё умею делать, а работать — не люблю, потому что по моему вкусу работать мне не приходится, на мой вкус нет желающих,— понял? Вот и дай ты мне развернуться.

— Хорошо,— сказал Миронов, сообразив, что, если отказать столяру, он еще что-нибудь испортит.

Он заметил, что обещание дать денег как будто удивило столяра; отшатнувшись, Каллистрат смерил его странно вспыхнувшим взглядом, потом, поправляя ремень на голове, пробормотал:

— Ну — Миронов, это... Ладно! Не покаешься. Утром — зайду.

Вскочил, быстро пошел прочь, но, остановясь, точно запнувшись за что-то, сказал, протянув руку в воздухе:

— Вещь сделаю! Произведение души... Ахнут!

Его фигура с поразительной четкостью вылепилась на голубоватом фоне реки и — вдруг — исчезла. Миронов вышел на середину улицы, посмотрел на залитый рыжеватой грязью ставень окна, прочитал еще раз надпись «Дом» и, устало опустив голову, пошел спать, напоминая себе:

«Сумасшедший... И — жулик, наверное...»

Рано утром кухарка разбудила Миронова:

— Столяр пришел, денег просит.

— Значит — это не во сне...

Он дал старухе деньги и, снова засыпая, подумал: «Следует подать жалобу на него...»

Мысль эта снова явилась у Миронова, когда он, идя на службу, увидал рыжеватые жирные потеки на светлой окраске; надпись «Дом» уже совершенно расплылась, и прочитать ее было нельзя. Посмотрев, он опустил голову и быстро пошел вниз по улице, чувствуя насмешливые улыбки встречных обывателей.

«Лиза, наверное, тоже смеется... В Париже нет деревянных домов...»

А возвращаясь со службы около пяти часов вечера, он уже издали увидал против своего дома группу мальчишек, лестницу, приставленную к фасаду, какая-то жестянка ослепительно сияла на верхней ее ступени, и, всунув ногу в слуховое окно, в воздухе качался, изгибался столяр. Размахивая тростью, Миронов подбежал к дому, закричал:

— Я запрещаю! К чёрту!

Мальчишки, встретив его радостным визгом, замолчали, отскочили к забору. Со зла у него шумело в голове, он смутно видел над собою сухое лицо столяра, его широко открытые злые глаза и со стыдом чувствовал, что готов заплакать. А столяр как-то слишком ловко съехал с лестницы, толкнул его плечом и указал

вверх кистью, красной на конце, похожей на зажженную свечу.

— Чего кричишь? Разве плохо?

На синем треугольнике резко выделялась полукруглая дыра окна, рама из него была вынута, сбоку в окно заглядывало клетчатое, белое и желтое чудовище с красными плавниками, но без хвоста, с большим выкатившимся красным глазом, белое кольцо окружало глаз. В морде чудовища было что-то общее с головою овцы, но больше оно напоминало рыбу. Притопывая ногою, столяр вполголоса объяснял:

— Их будет три, одна — с правой стороны, одна — сверху. А окно я распишу, как вентерь, и будто они в него лезут...

Рука столяра дрожала, он казался пьяным, но водкой от него не пахло, должно быть, ее заглушал запах краски,— столяр очень перепачкался ею, даже на щеке у него масляно блестел красный мазок, похожий на запятую. Зеленоватые глаза его странно блестели.

— Ловко? — спрашивал он.— Красиво?

За спиною Миронова посмеивались, повизгивали мальчишки, подошел серый нищий и заныл, кланяясь, протягивая чугунную руку, у ног его сидела шершавая собака, высунув язык, склонив голову набок, казалось, что и она тоже недоумевает, глядя на яркую живопись столяра. Раздался строгий голос Розанова:

— Что ж это,— балаган будет?

Миронов обернулся, а Розанов прямо в лицо ему сказал, негодуя:

— Вам бы, молодой человек, постыдиться, прекратить безобразие это.

Как всегда, когда он чего-либо не понимал, Миронов чувствовал себя обессиленным, онемевшим. Раздражение, вспыхнув на минуту, исчезло, упрек Розанова еще более подавил его. Он тихо и жалобно спросил столяра:

— Слышали?

Столяр пренебрежительно махнул рукою и убежденно, звонко сказал:

— Всякий человек может красить свой дом любой краской!

Он пошел к лестнице, но Миронов удержал его:

— Оставьте, пожалуйста! Смеяться будут.

— Надо мной не посмеются,— сказал столяр, вырываясь, было в нем что-то исступленное, пугающее. Миронов напомнил ему и себе:

— Дом этот — мой!

— И гони всех к чёрту!

Столяр быстро взобрался на лестницу и оттуда крикнул:

— Ахнут!

Ошеломленно, с подавляющим ощущением физической усталости, стыда, немоты, Миронов пошел домой, решив подать жалобу полиции на самоуправство столяра. Не раздеваясь, он сел к столу, подумал, закрыв глаза, и начал писать. Но чернила были густы, перо мазало, вместо слова «убыток», он написал «уток», бросил перо и вдруг решил сходить к Розанову, посоветоваться — что делать? Он тотчас же переоделся в праздничный костюм, пригладил волосы головной щеткой, намочив ее в воде, вышел из дома и осторожно, так, чтоб его не заметил столяр, перешел улицу.

Осторожность была излишней, он убедился в этом, посмотрев со двора Розанова в щель калитки: стоя на верхней ступени лестницы, столяр неестественно вытянулся и замазывал овечью голову рыбы синей краской; Миронову послышалось, что он рычит.

«Сегодня он портит дом, а завтра может поджечь его,— что ж мне делать?»

— Вам — чего? — недружелюбно спросил Розанов; он стоял на крыльце, приглаживая пальцем густые брови. Сняв фуражку, Миронов подошел к нему и торопливо, негромко объяснил, зачем он пришел. Ему было обидно и неудобно стоять ниже Розанова, в лицо его заглядывал, ослепляя, луч заходящего солнца, Миронов морщился, переступая с ноги на ногу, размахивал рукою, противно скрипели новые подтяжки, а Розанов смотрел на него, как священник с амвона, готовый начать проповедь.

«Лицо у меня, должно быть, неприятное. Почему старик не зовет в комнаты?»

Глядя круглыми глазами кота поверх головы его, Розанов пренебрежительно заговорил:

— Какая же нужда была связываться с негодяем этим? Он — озорник; живи он в деревне, его бы общество в Сибирь сослало. А у нас — законы спят, каждый безобразит жизнь, как хочет...

Миронов заметил в окне, среди зелени цветов, знакомый темненький глаз, этот подслушивающий глазок вызвал у него желание сказать что-нибудь значительное, и, взволнованный, он сказал:

— Я думаю — столяр сумасшедший.

— Ваше дело. Думайте, а я помолчу.

Сконфуженный Миронов поклонился в спину ему, подтяжки скрипнули особенно громко, он искоса взглянул в окно,— неужели Лизин глаз слышал этот скрип? Но глаз уже исчез...

«Необыкновенно глупо всё»,— с досадой и унынием подумал он, выходя на улицу; среди улицы стоял столяр; задрав голову, схватив себя за бороду, он смотрел на свою живопись; когда Миронов поравнялся с ним, он сказал, вздохнув:

— Нехорошо.

— Нехорошо,— повторил Миронов.

— Скука!

И тихонько, неприлично выругавшись, столяр стал жаловаться, не скрывая злости:

— А ведь задумал я отлично! Рыба погубила меня. Хотел особо угодить тебе,— ты любишь рыбачить. А надо было цветы писать, цветы пишу замечательно. И зайцев...

Миронов, на что-то надеясь, взял его под руку и повел к воротам дома.

— Послушайте...

— Чего тут слушать? Стыдно мне, Миронов,— ты этого не можешь понять...

— Нет, я, кажется, понимаю...

— Не можешь. Водка есть у тебя? Дай ты мне водки! Конечно, я всё это перепишу, не беспокойся...

Неясная надежда Миронова исчезла; он сердито крикнул в окно кухни, чтоб Павловна дала водки, и присел на скамье, у крыльца, а столяр уселся на нижнюю ступень, опираясь локтями о свои колена, засунув пальцы рук в светлые волосы. Черный венчик,

перерезав лоб, съехал на брови его, подчеркнув их золотистость. Кухарка вынесла графин водки, настоянной на рябине, кусок пирога, столяр посмотрел на Миронова, усмехнулся и вполголоса заговорил:

— Скажи мне, Миронов, бывает это? Я тебя оскандалить хотел, в убыток ввел, а ты мне слова обидного не сказал и — угощаешь! Бывает это?

— Я не знаю,— ответил Миронов неохотно, обдумывая, как бы заставить столяра отказаться от раскраски дома.

А тот, выпив одну за другою две рюмки сразу, продолжал, понизив голос до шёпота:

— Ну так я тебе скажу: не бывает! Люди, брат, пауки друг другу, да! Одни — пауки, а другие — дураки, понял? Хороший человек, например, всегда несколько дурак.

Это обидело Миронова, он хотел ответить резко, но мог только повторить вызывающим тоном слова отца:

— Бог дураков любит.

Столяр утвердительно кивнул головой:

— Это — так, сирота, бог — не без хитрости, это верно! Я знаю, я всё обдумал. Ты мне верь. Ты вот не понимаешь, какую поймал рыбу, а я тебе — навеки друг! Ты — что сделал? Ты мне, кротостью своей, совесть души устыдил...

Снова, как днем, лицо столяра сделалось исступленным, а зеленоватые глаза его увлажнились; тыкая пальцем в переносье, с боков его, он выжал две слезы.

В начале изъяснений столяра Миронов не чувствовал ничего, кроме скуки и досады, но эти непонятные, тугие слезы изумили его. Вытирая платком пальцы, облитые водкой, он смотрел, как мигают странные глаза, дрожат закрученные медные усики, видел, что на лбу, на висках столяра выступил пот, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, он вытер платком белый потный лоб соседа. Тогда — изумился столяр, с минуту он молча смотрел на Миронова, потом, усмехаясь, спросил:

— Это — зачем ты?

— Пот.

Столяр тихо засмеялся, затрясся и, топая ногами, бормотал сквозь смех:

— Да — разве я дитя, чтоб мне личико вытирать, а?

— Я — нечаянно,— объяснил Миронов.

— Нет, ты... Ну, ладно, будет! Завтра я всё перекрашу, будь покоен...

— Нет, пожалуйста, не надо красить!

— Не надо?

— Да, не надо!

Столяр глубоко вздохнул, глядя в землю.

Встал, протянул руку:

— Извиняй меня...

И пошел, припрыгивая, точно вдруг охромев, видимо, одна нога у него замерла, отсидел. Остановясь у ворот, он окинул взглядом двор, густо заросший сорными травами, и наконец ушел, громко хлопнув калиткой.

Миронов остался на дворе, сидя неподвижно, чувствуя себя опустошенным и желая только одного — забыть всё это. Его даже не радовало, что скандал с раскраской дома так неожиданно и благополучно кончился.

«Какой невозможный»,— лениво подумал он о столяре.

Поздно вечером, когда уже потемнела зелень деревьев и птицы заснули в гнездах, Миронов вышел в сад и лег на траву под яблоней, глядя в небо сквозь пыльную сеть листвы. Трудно было понять, почему из синеватой, льдистой чаши небес изливается на землю столь тяжелая духота. Бледненький осколок луны таял над яблоней. В пыльном воздухе лениво плавали голоса людей, истомленных дневной работой и зноем; эти голоса мешали Миронову, он любил погружаться в тишину, как в воду, а для этого необходимо, чтоб тишина была совершенной, тогда он чувствовал себя свободным, легким, качался, плыл, и в нем возникала приятно певучая, бесконечная дума, лишенная слов, форм, образов.

Тогда небо, земля и всё на ней как бы плавилось, таяло, медленными волнами текло куда-то, кругами поднималось беспредельно вверх, сам он весь зву-

чал, и в то же время его не было, был только тихий полет.

Он не знал, не испытал ничего лучше и таинственнее этого бездумного, певучего подъема земли к звездам и с ними всё выше, туда, где, вероятно, обитает некое величественное и необыкновенно ласковое существо,— оно-то и есть неиссякаемый источник этой опьяняющей музыки. Образ Саваофа на золотом троне, в окружении херувимов и серафимов, поющих «Осанна», не удовлетворял его, он давно уже был равнодушен к богу земных храмов, чье имя ежедневно призывают в помощь себе миллионы людей, но чья сила не заметна в жизни. С некоторого времени у него даже смутно мелькало подозрение, что всем известный бог отказался от людей, а вместо него действует другой, насмешливо испытующий озорник, какая-то злая выдумка, вроде дьявола.

Но когда он пытался вообразить творца музыки мира, пред ним, еще девственником, возникал из голубого тумана образ нагой женщины, тело ее возбуждало жуткое, трепетное желание, от силы которого сердце так замирало, как будто он стремительно падал на землю, ощущение полета, певучести грубо обрывалось, и тотчас же память показывала ему одну за другою всех девушек и женщин, которые когда-либо привлекали его внимание. Эти падения были так же неприятны, как неизбежны, они всегда будили тягостные чувства зависимости, стыда, страха и острого любопытства; поэтому Миронов избегал вызывать образ женщины надзвездных высот, образ, красота которого сбрасывала его на землю.

В этот вечер он не мог вызвать ощущение полета, что всегда легко удавалось ему. Против воли являлись мысли, требуя ответов. Слышала Лиза, как скрипнули дурацкие подтяжки? Отец ее не любит людей, строго судит их, властно вмешивается в жизнь их,— за это все уважают его... Как нужно жить, чтоб никто не мешал? И особенно настойчиво думалось о столяре, его странная фигура неотвязно торчала пред глазами и тоже требовала объяснения себе.

— Глупо и глупо всё,— вслух проговорил Миронов и, чтоб отогнать от себя тревожное, закрыл глаза,

улегся удобнее и начал вполголоса читать диалог из пьесы, прочитанной час тому назад.

— О да, в известном отношенье
Бык может быть приятнее орла.
— Бык — это я?
— Да, сударь, если вам угодно.
— Я — оскорблен!
— И что же дальше?
— Я — оскорблен!
— Мне кажется, что злее всех природа
Вас оскорбила, сударь мой.
— Я по природе дворянин!
— Тогда оскорблено дворянство...

— Двор — зарос, сад — запущен,— раздался звонкий голос столяра; он стоял над головой Миронова, одетый в розовую рубаху, неподпоясанный, с расстегнутым воротом, в полосатых подштанниках, босый; волосы его были встрепаны, как будто он только что проснулся, черный поясок ремня съехал на ухо.

Миронов приподнялся, сел, упираясь в землю руками.

— Как это вы?..

— Через забор перелез. Надо сказать Артамошке, чтоб он сад и двор прибрал, почистил; он это любит. Пускай побалуется вечерами.

Опустясь на колени, столяр протянул руку.

— Возьми, это — остаток. На шесть рублей я красок купил и две кисти, это я тоже тебе отдам, годится.

— Не надо мне,— тихо, с досадой сказал Миронов.

— И мне не надо.

Столяр положил деньги на траву у корня яблони, сел рядом с Мироновым, заглянул в лицо ему.

— О чем думаешь?

— Ни о чем.

— О девицах?

— Нет.

Сорвав травинку, почесывая ею свой выпуклый лоб, столяр озабоченно и поучительно сказал:

— С девицами — будь осторожен. Бойкая — тебя замордует, с тихой — пропадете оба.

Миронов молчал, покачиваясь, думая: «Не стану отвечать, он и уйдет».

— Я всё о тебе думаю, задел ты меня, Миронов! Растревожил. Что ты тут бормотал, колдовал?

— Так. Стихи.

— Удивляешь ты меня, Миронов.

— Никого я не хочу удивлять.

— Удивляешь.

В словах столяра звучало что-то неодобрительное и даже как будто угрожающее, Миронов поджал ноги. Что сказать этому человеку? О чем вообще говорить с ним?

— Жарко,— сказал он.

— Верно. А все-таки о чем ты думаешь?

— Думать я не люблю,— я люблю, чтоб всё было тихо.

Он хотел сказать это сердитым голосом, но почувствовал, что сказалось виновато. Тогда он добавил:

— Вот — в небе светло и тихо, а когда облака...

Он не кончил, услыхав, что говорит хотя и громко, а жалобно. А столяр, искоса взглянув в небо, сказал:

— В небе, Миронов, пусто, оттого и тихо.

— А — солнце, луна? И звезды. Там, может быть, есть и такое, чего мы не видим.

Столяр сомнительно покачал головою:

— Не похоже, чтоб ты в бога верил, в церковь — не ходишь...

Этими словами он помог Миронову рассердиться, вызвал у него желание говорить обидное, но память не подсказывала обидных слов, и он угрюмо пробормотал:

— Отец мой в бога не верил...

— Это многие допускают.

— А о думах говорил, что они — пыль, от них только темнеет всё...

— Ну? — удивился столяр.— Так и говорил?

— Да. Я теперь сам вижу: мысли — как черви, нароешь червей, они возятся, извиваются...

Наклонив голову к плечу, отщипывая ногтями верхушки травинок, столяр слушал и ухмылялся, двигая усами.

— Когда думаешь, так кажется, что в тебе — двое, один — знает, другой — путает. А я не хочу думать. Душа не любит думать.

— Ну, это ты, пожалуй, неразумно говоришь, Миронов...

— И — чего знать? — продолжал Миронов, надеясь подавить столяра, напугать его, обидеть, вообще — оттолкнуть, чтоб он ушел.— Всё известно: родятся, женятся, народят детей, умрут. Пожары, воровство, убийства. Цирк приехал. Крестный ход, жена сбежала. Пьяные дерутся. Капусту квасят или огурцы солят. В карты играют... Зачем это мне? Не хочу я ничего этого!

— А — чего же тебе надо? — спокойно спросил столяр, и это его спокойствие тотчас охладило Миронова, он сказал невнятно:

— Я тишину люблю.

— Так ты бы глухим родился. Трудно понять тебя, Миронов!

— Я вас об этом и не прошу...

Сказав так, Миронов искоса, опасливо, но и с надеждой взглянул на столяра,— обидится, уйдет?

Столяр водил рукою в воздухе, тени листьев яблони ложились на ладонь его и, погладив ее, падали в траву, трава темнела, становилась бархатистее, столяр смотрел на нее и молчал. Вздохнув, Миронов тоже подставил ладонь лучам луны и теням; с минуту они оба сидели, протянув руки в пустоту, как слепые нищие. Потом столяр заговорил звонко и бодро:

— Нет, Миронов, ты меня удивить не можешь! Словами — нельзя меня удивить, а синий твой дом — это, брат, на смех, а не на удивление...

— Ах, идите вы к чёрту, что вы пристали ко мне?

Столяр усмехнулся, тряхнул головою, подмигнул.

— Характер показываешь?

Глаза его улыбались ласково, он поправил ремешок на голове, не торопясь закурил очень едкую папиросу, лента серого дыма протянулась в воздухе.

— Я понимаю, Миронов, тебя скука давит. Это — от возраста. Привычки к жизни еще нет у тебя, а возраст требует радости. Для радости девицы служат,

ну, серьезному человеку это ненадолго. Вообще для радости причин мало...

Поучительный тон столяра снова вызвал раздражение Миронова,— мастеровой, малограмотный, не читающий книг, а говорит, говорит...

— Всё надо изменить, переделать,— сказал он тоже поучительно.

— Это ты насчет политики? — спросил столяр и сдул пепел с папиросы.— Нет, политическое меня не занимает. Мне хочется сделать вещь, произведение души, чтобы вполне отлично было, и пусть люди ахнут...

— Укусите губернатора,— сердито предложил Миронов.

Столяр, мигнув, спросил:

— Как говоришь?

— Укусите губернатора. В церкви, за обедней,— все и ахнут...

Хлопнув рукою по колену своему, столяр засмеялся.

— Ты не сердись, чудак! Интересный ты все-таки. Запутался, а — интересный. Да, брат Миронов, скушно всем, каждому хочется удивить себя и другого, а удивить-то нечем... И уменья нет удивлять. И думать не стоит тебе, умишко у тебя несчастливый. Бессловесный, вроде как — немой. Иди-ко, спи! Кто спит — тот сыт.

Столяр воткнул окурок папиросы в землю, легко, пружинисто поднялся на ноги и, не простясь, пошел к забору, повторив с явной насмешкой:

— Кто спит — тот сыт...

Слушая, как доски забора трещат под тяжестью его тела, Миронов удовлетворенно подумал: «Больше не придет, обиделся. Хорошо я сказал ему о губернаторе...»

Он тотчас увидал в голубом дыму ладана, впереди двуцветной массы голов большую, ушастую, лысую голову его превосходительства, начальника губернии, к нему осторожно подкрадывается столяр, и вот он вцепился наглыми мелкими зубами в красное ухо генерала; люди в храме гулко ахнули, так гулко, что пошатнулось пламя всех свечей; столяра схватили, тащат, бьют...

Миронов засмеялся, но — снова затрещало где-то, и, уверенный, что это столяр подсматривает за ним через забор, он, искусственно кашляя, согнувшись, не оглядываясь, ушел из сада.

На другой день он увидал, что чудовище под крышей закрашено темно-синей краской, этот густой цвет сделал треугольник над окнами тяжелым и как будто приплюснул к земле голубой дом. Рыжие пятна и потеки дегтя на стене, на ставне окна тоже были замазаны, хотя и не в тон общей окраске, светлой, шелковистой.

«Вот как,— сдержал слово!»

Глядя вверх, Миронов попытался представить, как столяр держит слово; это, должно быть, очень трудно,— в каждом слове заключено стремление вызывать из памяти однозвучные слова и, цепляясь за них, разбухать, расплываться в дымные, бессвязные мысли. Вот — небо, простое слово, но влечет за собою — не боюсь! Или: надоел — надо есть.

Миронов покачал головою и пошел домой обедать.

Тотчас же, как только он сел за стол, громко хлопнула калитка и на двор тяжело ввалился возчик Артамон, с косой и железной лопатой на плече; остановясь у крыльца, он приставил косу и лопату к стене, перекрестился, поплевал на ладони, крякнув, взял косу и легко, точно кнутом, стал размахивать ею, срезая со свистом лопухи, пырей, полынь.

Миронов встал и, прячась за косяком окна, смотрел на его работу.

«Распоряжаются, как у себя...»

На волосатом лице Артамона в красной дыре треугольного рта свирепо блестели зубы; маленькие, медвежьи глаза хитро спрятаны под бровями, широкий нос тоже скрыт в усах и буйной бороде, всё это было неестественно, и казалось, что у Артамона нет лица. Двигался он так тяжело, точно лез сквозь невидимый, но густейший кустарник.

«Артамона выдумал столяр, чтобы люди ахнули...»

В несколько минут возчик скосил весь бурьян, оста-

новился в углу двора, держа косу, точно копье, поглядел в небо и снова стал креститься, стукая пальцами в широкие плечи и выпуклый собачий лоб. Миронов вынес ему чайный стакан водки и котлету на куске хлеба, подал и сказал тихо:

— Спасибо.

— Спасибо,— повторил Артамон, не выговаривая губных звуков, запрокинул голову, вылил водку в разодранный рот, сунул туда половину хлеба и мяса, поглядел на остаток, сунул и его, проглотил, потом сказал густо и невнятно:

— Теперь — в сад.

— А сколько возьмешь?

— Ну-у, я для потехи.

И ушел, тяжко переступая короткими ногами в пудовых сапогах, набеленных известкой или мукой.

Через час, заглянув в сад, Миронов увидал, что вся трава уже скошена, Артамон стоит под яблоней и гладит рукою сучки ее; увидав хозяина, он крикнул:

— Эй!

Миронов подошел и осторожно остановился, не допускаемый дальше сердитым рыком.

— Хозяин! Гляди — лишая сколько. И гусеница. Стволы-те намазать надо, для того мазь есть. Деревья-те давно бы окопать надо, навозу подложить, хозяин, драть те с хвоста!

Рыча, он протягивал Миронову ладонь с растопыренными пальцами, они были испачканы отвратительной слизью раздавленных гусениц. Миронов брезгливо вздрогнул, отшатнулся.

— Да ты не бойся меня, я к тебе ласковый, меня Каллистрат прислал, чего дрожишь? Экие вы все какие...

Без губных звуков оглушающая речь возчика была еще неприятней и в то же время напоминала лепет ребенка.

— Я тебе всё налажу, я это люблю,— говорил он, отирая испачканную руку о голенище сапога; ему, видимо, трудно было сгибать широкую спину, наклоняясь, он кряхтел. Миронов смотрел на него со страхом, не зная, что сказать.

— Где Крюков? — спросил он, чтоб сказать что-нибудь.

— Каллистрат? К нему — не подходи, он, чудило, озлился на тебя за то, что ты ему дом покрасить не дал.

И, открыв страшный рот свой, возчик трижды охнул:

— О-хо-хо!

Это был звук средний между *о* и *у*, он напоминал гул зимней вьюги в трубе печи, заставил Миронова пугливо съежиться, спрятать голову в плечи и сказать негромко:

— Ты сильнее его.

— А — сильнее, конечно! Я в цирке показывался, боролся там, да они мне пальцы выломали, а то бы я их всех там... Они ведь не силой живут,— хитростью...

Легко, как в масло, он втыкал лопату в сухую землю вокруг ствола яблони, выворачивал темно-рыжие комья, в них извивались черви.

— Меня тут за силу все боятся, а я к людям ласковый и говорить люблю. Голос обязывает меня пугать людей, а то бы... В запрошлом году ногу я переехал колесом одному, стали меня судить, судья кричит мне: «Тише!» — а я — не могу, он и оправдал...

— Ты — женат?

— Ну! Кто, дура, за меня пойдет? Гляди, губа-то какая у меня.

Миронов знал, что горожане относятся к мужикам со смешанным чувством презрения и вражды; так же относились к ним отец, мать, это чувство с детства было привито и ему, но Артамон возбуждал в нем только удивление, страх и некую неясную надежду.

«Если его приласкать, тогда столяр...»

— Работает? — спросил с высоты звонкий голос столяра; он с папиросой в зубах сидел на столбе забора, свесив в сад босые ноги, над светлой его головою колебалось дымное облако, и четко был виден венчик ремня на белой коже лба.

«Ох,— мысленно воскликнул Миронов.— Опять будет высасывать меня...»

— Послушайте, Крюков,— заговорил он, выпрямив

его в свою очередь, [redacted]
обтянутое синим в сеть и другим на пуговицу, глаза официанта пахнущие пудрой и шерстью сказали:
– Будьте добры.
Затем, повернувшись на высоких каблуках, официант спросил:
– Читали?
– Читал.
– Вам?
– Вам.
Мирошев показалось, что вопрос неудачливого гостя звучал насмешливо, а поведение его официанта было более внимательным. В столовой зажгли по одной лампочке в люстрах на повлажневших трех окон и по двум оригинальным бра, и официант, покинувший столик Мирошева, вернулся через несколько минут, бросил что-то сердитое в комнату, где стали смеяться.
– Извините, больно тесно.
Все вещи как будто протестовали против этого гостя босого, [redacted] с ремнем на голове, [redacted] сухо скрипящих половиц, дребезжащего стекла в окне, позвякивания [redacted] в шкафу и продувшей посуды, [redacted] товарищах знакомых и официантах. [redacted]
– Готовы?
– Да.
– Вам знакомая приятная изобретение земель. Почему-нибудь?
– С капустой.
– Не бывает, сказал официант, открывая [redacted] половой и [redacted] бобах: – Пожалуйста!
Мирошев открыл шкаф, поставил [redacted] на стол и начал вертеть

Мирошеву было обычно, что [redacted] официанта [redacted] как на [redacted] вещи и обыкновенно, [redacted] ничего не хватало. – Конечно-забывают, но [redacted] официантов [redacted] порт... Стекло в шкафу [redacted] официант [redacted] обедал.

«ГОЛУБАЯ ЖИЗНЬ».

Страница чернового автографа.

сутулую спину, размахивая рукою,— что вам нужно? Я вовсе не хочу...

Раздражение, нервно стискивая ему горло, мешало говорить, он задыхался, а сверху снова упал вопрос:

— Чего не хочешь?

— Вы — не смеете... я жаловаться буду!

— На меня? За что?

Спокойные вопросы еще более раздражали, топая ногою, Миронов взвизгивал:

— Я не хочу, чтоб тут косили, рыли...

Легко, как птица, столяр спустился по воздуху в сад, схватил Миронова за плечо и, покачивая его, внушительно сказал:

— А ты — опомнись! С ума сошел? Тебе работают даром, ты, неуч, благодарить должен, а ты...

Но Миронов уже и сам был смущен взрывом своего негодования, рука столяра точно воткнула его в землю и выдавила из него гнев. Он видел, что возчик, опираясь на лопату, еще шире открыл свой рот и чего-то ожидает.

— Я — понимаю,— пробормотал он.

— Понимаешь, а — орешь?

— Я, конечно, благодарю...

— То-то!

Столяр ткнул его пальцем в грудь, отошел прочь к Артамону и стал строго говорить возчику:

— Сучки подвяжи, понял? Малину, которая посохла,— прочь!

«Действительно — работают даром»,— сообразил Миронов и, в благодарность за труд, решил угостить этих людей.

Через полчаса он сидел с ними в кухне за столом, кипел самовар, блестела водка в графине, стояли тарелки с маринованными грибами, квашеной вилковой капустой; Артамон пил водку и чай, как теленок молоко, много ел, противно чавкая, мычал и посапывал, а столяр, ловко вылавливая вилкой самые маленькие и красивые скользкие грибы, брал рюмку двумя пальцами, смотрел водку на свет, прищуривая глаз, а выпив, морщился и говорил:

— Х-ха!

Нельзя было не заметить, что он всё делает как-то особенно легко, ловко и по-своему. Неприятный человек, но — интересный. И едва ли он сумасшедший. Нет, он — хитрый.

— Человеку, который нравится мне, я могу сделать всякое удовольствие,— говорил столяр, держа рюмку двумя пальцами, брезгливо оттопырив три.— Однако ж я прямо скажу: люди мне не нравятся, люди — глупы.

— О-у, дьявол,— рычал Артамон, отвалясь к стене, выпятив нечеловечески широкую грудь.

— Сам я — умный. Я — способный. Всё могу, всё умею сделать, ну, только у меня к простым делам интересу нет...

Миронов, выпив две рюмки водки, противной ему, чувствовал туман в голове и сквозь туман молча слушал хвастливые, как всегда, слова столяра, не чувствуя ничего, кроме скуки, сосущей сердце. Ему стало очень неприятно, когда Артамон, задремав, громко всхрапнул и, тотчас же проснувшись, испуганно, виновато взглянул на столяра, а тот, подкрутив пальцами обеих рук свои золотистые усики, сказал возчику:

— Ну, ступай домой; наелся, напился, верблюд...

Артамон покорно ушел, а столяр заявил, что желает посмотреть комнаты; Миронов тоже послушно, как возчик, привел его в свою спальню, светлую, с окном в сад и другим на улицу, там столяр, нахально ткнув кулаком в постель, сказал:

— Мягко спишь.

Затем, посмотрев на полку, где стояли книги, спросил:

— Читал?

— Читал.

— Все?

— Все.

Миронову показалось, что вопросы нежеланного гостя звучат насмешливо, а поведение его становилось всё более бесцеремонным. В маленьком зале со множеством цветов на подоконниках трех окон и на двух фигурных лесенках, искусно сделанных отцом, столяр

молчал с минуту, прочно утвердясь среди комнаты, потом сказал:

— Жениться надобно тебе.

Все вещи как будто протестовали против этого гостя, босого, с ремнем на голове, сухо скрипели половицы, дребезжало стекло лампы на столе, позванивало в шкафе с праздничной посудой, с подарками знакомых и отца-матери. Миронову было обидно, что столяр смотрит на всё, как на известное ему и обыкновенное, ничему не удивляясь, ничего не хваля.

«Конечно — завидует, но притворяется, что равнодушен, чёрт...»

Стекло в шкафе зазвенело громче — это столяр постучал пальцами по дверце.

— Глобус?

— Да.

— Вещь знакомая. Примерное изображение земли. Почему — медный?

— С музыкой.

— Не бывает,— сказал столяр, отрицательно покачав головою, и потребовал: — Покажи!

Миронов открыл шкаф, поставил глобус на стол и начал вертеть его; некоторые шпеньки уже выпали, другие — стерлись; в стальной гребенке не хватало зубцов, но все-таки еще можно было разобрать, что земной шар, вертясь вокруг оси своей, тренькает устало:

Чижик, чижик,— где ты был?

Столяр отшатнулся от стола, прислушался и негромко спросил:

— «Чижик»?

— Да,— ответил Миронов, грустно улыбаясь своим воспоминаниям и всё вертя глобус. Тогда столяр остановил руку Миронова, сам пощупал континенты, океаны, щелкая ногтем медь, сел на стул, подумал.

— Это — откуда у тебя?

— Отец сделал.

— А почему — «Чижика» играет?

— Песня — детская, я маленький был...

— Так,— сказал столяр и, засунув в рот свой конец бороды, стал задумчиво мять его губами. Потом выдул

бороду изо рта, точно струю огня, и, щелкнув пальцем по Ледовитому океану, усмехнулся:

— Это штука забавная. Только — «Чижик», пожалуй, не соответствует инструменту, на нем — учатся, а тут — «Чижик». Ерунда! Что ж, отец — умный был?

— Да. Очень. Он был веселый...

— Чудаки,— сказал столяр, всё присматриваясь к глобусу. И, вздохнув, поглаживая медь пальцем, окрашенным политурой, суховато и насмешливо заговорил:

— Просто, а — премудро: капля воды, несколько кусков земли, и обучают, что это висит в воздухе. Замечательно. И предполагается, что живут на этом шарике миллионы людей, а? Ловко догадались. Ты, сирота, веришь?

— А — как же? Ведь и я тут живу и вы,— скучно ответил Миронов.

Столяр встал, протянул руку.

— Ну — спасибо. До увиданья...

В кухне он остановился, схватив себя за бороду, и, усмехаясь, сказал:

— Вся штука в размере головы твоей, но между тем — а? Очень замечательно! Ну все-таки «Чижик» — не подходяще! Это, сирота, тоже озорство и расчет на удивление. Всё равно, как свистнуть за обедней. Тут не «Чижика» надо, а, например, «Господи помилуй». Или — церковное, или — военное, солдатский марш,— трам-бум, трах-тах-тах...

Так, напевая марш, он и ушел, столяр.

«Иди ты к чёрту!» — мысленно крикнул Миронов вслед ему.

Возвратясь в комнату, он хотел поставить глобус в шкаф, но заметил, что часть Северной Америки, лопнув, отклеилась, загнулась к югу.

— Это он содрал ногтем, болван!

Помуслив палец, Миронов привел континент в должный порядок и повернул земной шар на оси,— раздалось тихое треньканье, зазвучала детская песенка, искаженная временем. Миронов вздохнул, думая: «Пожалуй, это — верно. Лучше бы другое что-нибудь. А — что?»

Вспомнились песни, тоже неподходящие:

По улице довольно грязной,
Шатаясь, шел наш друг Иван
Довольно пьян...

Вспомнилась любимая песенка отца:

Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Какие еще есть песни?

Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...

Кусок Северной Америки снова отклеился,— странно было видеть, как голубоватая бумажка сама собою пошевелилась и завернулась стружкой.

«Завтра подклею гуммиарабиком. Почему столяр сказал, что надо бы „Господи помилуй"? Ведь он, конечно, тоже не верит в бога...»

Облокотясь на стол, почти касаясь глобуса лбом, Миронов безвольно отдал себя медленному потоку смутных, непривычных дум.

Голубой фасад дома и ставни окон мальчишки забросали грязью, исцарапали краску черепками, начертив неприличные слова; на верхней филенке калитки кто-то, очевидно — взрослый, трудолюбиво написал свинцовым карандашом:

«Сей дом вверх дном живет в нем, дурак».

Когда Миронов впервые прочитал это изречение, он обиделся, но, заметив, что запятая поставлена безграмотно, успокоенно подумал: «Сам ты дурак!»

Улица всячески показывала, что голубой дом противен ей, но это не тревожило, не раздражало Миронова,— он жил, подавленный другим, более тяжелым и серьезным. Столяр и возчик прилепились к нему, как две тени; Артамон, являясь почти каждый вечер, мел двор, колол дрова, работал в саду и рычал; а столяр, явно чувствуя себя владыкой в доме, распоряжался починкой служб, наставлял безмолвную старуху Павловну в домоводстве; слушая его звонкие, строгие

слова, она виновато наклоняла голову, а когда он отходил от нее,— быстро и незаметно крестилась. Это Миронов наблюдал не один раз, и это, заставляя его улыбаться над глупостью старухи, углубляло неприязнь к столяру.

Он чувствовал, что столяр затемняет его мечты о голубой, бездумной жизни, воздвигая пред ними почти ощутимую преграду неясных опасений, толкает его куда-то в сторону и в угол. Однажды он осмелился сказать столяру:

— Пустяки всё это...

— А ты — ну-ко, попробуй, поживи без пустяков-то,— строго ответил столяр.

Миронов начинал думать об этом человеке почти со страхом. Смущала ловкость движений столяра,— как-то уж слишком легко он двигался по земле. А тогда, в саду,— как плавно, птицей опустился он с забора, по воздуху! В памяти Миронова осело и тяготило ее тревожное предчувствие чего-то необыкновенного, и когда он думал о Каллистрате, в ушах его раздавался скрип половиц, тихий звон стекла. Почему, когда он сам входит в зал, всё в нем остается неподвижно, а когда вошел столяр — заскрипело, зазвенело? В колдунов Миронов не верил, но слышал и читал о людях, обладающих особенной, таинственной силой, и ему казалось, что скоро, может быть, завтра же, наступит день, когда столяр обнаружит эту силу,— страшно обнаружит.

День этот наступил все-таки неожиданно,— в воскресенье вечером столяр пришел с девицей; толстенькая, на коротких ножках, она ослепила Миронова пунцовой шелковой блузой и жадным блеском множества мелких зубов, хотя рот у нее был маленький, точно рот окуня. Ее надутые щеки пылали багровым румянцем, на пальце левой руки блестел розовый камешек, Миронову показалось, что и глаза у нее розовые, как у белой мыши...

— Зовут Серафима,— сказал столяр, подталкивая ее к Миронову,— отличная девица!

Она улыбалась, от нее исходил раздражающий запах. Когда она села на стул, белая юбка ее, туго натянувшись на огромных полушариях бедер, приподня-

лась, обнаружив круглые беспокойные ноги, она тотчас начала шаркать по полу подошвами, постукивать каблуками. Ее темные волосы гладко причесаны, заплетены в косу и, сложенные на затылке калачом, укреплялись большим желтым гребнем,— это напомнило Миронову курицу.

— Фу, как ужасно жарко! — сказала она, обмахивая раскаленное лицо свое белым платочком.

Столяр нарядился в серый парусиновый пиджак, в синюю рубаху косоворотку с вышитой грудью, его суконные шаровары были заправлены за голенища ярко начищенных сапог, он, видимо, начистил и медную бородку свою, курчавые волосы на голове его извивались, как языки огня. Сухое, ястребиное лицо было строже и беспокойнее, чем всегда, зеленоватые глаза ядовито блестели, всё видя, всё понимая.

— Не избалована, понимает в хозяйстве и, видишь, в теле,— говорил он, следя, как отличная девица разливает в стаканы чай, а она густым, сладким голосом спрашивала Миронова:

— Вы — как любите,— крепко?

Миронов сидел против ее, согнувшись над столом, он чувствовал, что у него дрожат глаза, кривятся губы и что ему неудержимо хочется высунуть язык и облизывать губы так же, как это делала отличная девица, слизывая варенье с ложки. Он нарочно улыбался,— пусть эта курица видит, как некрасивы его зубы.

Губы у нее очень красные, толстые, какие-то двухэтажные, они обсасывают косточки вишен добела, такие губы могут высосать всю кровь из человека. Слова столяра: «понимает, в теле» и ее вопрос: «вы любите крепко?» заставили его покраснеть, вызвав в памяти непристойные собачьи игры, он нарочно задел ложкой край стакана, опрокинул его, вылив остывший чай на колени себе, вскочил, выбежал на крыльцо,— дождь лениво кропил горячую землю, тихонько звенела листва деревьев, сизоватые тучи, суживая пространство, сгущали духоту.

«Он хочет женить меня на этой»,— думал Миронов, ловя ладонями крупные, редкие капли дождя, растирая их, и чувствовал в воздухе раздражающий запах

пота девицы, этот запах вызывал у него вместе с отвращением еще иное чувство, тоже тяжелое, но влекущее к ней.

— Не ожегся? — спросил столяр, являясь на крыльце.

— Послушайте,— тихо, торопливо заговорил Миронов, прижав ладони к своей груди,— я не хочу жениться, пожалуйста — не надо!

Он вспомнил слова матери и — обрадовался, повторяя их, подняв кулак:

— Какой я муж? Муж должен быть — вот! И вы тоже говорили... Уведите ее! Я лучше дам ей двадцать пять рублей и вам, если хотите, даже пятьдесят,— серьезно!

У него подгибались ноги, он чувствовал, что готов встать на колени пред столяром, а тот, стоя выше его на ступень, держа себя рукою за бороду, безжалостно усмехался и говорил неотразимо:

— Совсем одичал ты, Миронов, скука! Нет, женить тебя — обязательно! Ты тут заболтался в книжках, сирота, замечтался, у тебя кровь к голове приливает, ишь ты — какой, даже посинел! И губы трясутся — отчего? От этого самого,— пора жить законно! Заведешь жену, пойдут дети...

— Не могу, не хочу я...

— На это тебя хватит, а удивлять людей — не пытайся, удивить тебе нечем! И — обжулят тебя вскоре...

Миронов опустил голову, а столяр взял его за руку, поднял к себе и, стряхивая с него пылинки дождя, говорил:

— Я — людей знаю! Покажут тебе, будто ты замечательный, будто они тобой интересуются, и — ограбят, обманут. Это — самое обыкновенное...

Закрыв глаза, Миронов видел, как по улице бежит табун мальчишек, швыряя жидкой грязью в голубые дома, все они — его дети, а отличная девица, сидя у окна, жует моченые яблоки и пироги с рыбой,— он терпеть не мог моченых яблок и этих пирогов.

Потом он снова сидел против Серафимы, она как будто еще более вспухла, мячи ее грудей тяжело поднимались, опускались, шевеля пунцовый скрипучий

шёлк; ее маленький круглый рот устало открылся, в пальцах, похожих на сосиски, она держала беленький комок платка, часто отирая им потные виски, розовые глаза ее улыбались, таяли; Миронов подумал, что пот ее густ, как патока, такой же липкий, и, вероятно, ни комары, ни блохи не решаются кусать ее резиновое тело.

А столяр, наливая в чай вишневой настойки, пил горячую темную влагу, она окрасила его сухое лицо в бурый цвет, еще более высветлила глаза и усилила неотразимость слов его. Бесстыдно, хвастливо он говорил:

— Для меня — первое удовольствие свадьбы устраивать. Я люблю шум, кавардак люблю, мне любезна всякая кутерьма и чтобы люди ходили вверх ногами. Когда молодежь влюбляется — очень смешно глядеть...

Но, говоря это, он не смеялся, даже улыбки не было на лице его; следя за ним косым глазом, Миронов видел, что лицо только подергивается,— страшное лицо. И хорошо еще, что сегодня столяр не надел на башку свою ременный черный венчик.

— Ты, Миронов, сирота, учись жить весело, извивайся свободно, согрешишь — не беда, отчет давать тебе некому, хозяина — нет, понял? Кто твой хозяин, ну?

— Я — не знаю,— сказал Миронов, почему-то очень испуганный этим вопросом.

— То-то! Кабы не девица тут, я бы сказал, кому ты, в твои года, служить должен, ну, при девице этого нельзя сказать, хотя она, конечно, знает, шельма! Знаешь, Фимка?

— Ничего я не знаю,— сонно сказала отличная девица, и тотчас Миронов почувствовал, что до ноги его дотронулись, а потом крепко сжали ее башмаки гостьи. Это прикосновение, спугнув какую-то неясную, но важную и тревожную мысль, испугало Миронова; вырвав ногу свою, он подпрыгнул, закричал:

— Что вы?

Шея, подбородок, щеки, лоб отличной девицы густо покраснели, а столяр, хлопнув Миронова по боку, захохотал, вскрикивая:

— Знает, шельма, знает!..

Миронов плохо помнил, что было потом, когда столяр, смеясь, вышел из комнаты, а девица встала, улыбаясь подошла к нему.

— Ах, какой вы, как сконфузили меня перед дядей...

Она сидела рядом с ним, спрашивала, любит ли он суп из гусиных потрохов, и тут Миронов сказал ей, что в Париже гусиные потроха бросают собакам, что там вообще не любят никаких пакостей и моченых яблоков, что там живут благородные люди, никто из них не лезет насильно в чужой дом...

Затем какая-то сила приподняла его на ноги, закружила в густой горячей темноте, в ней исчезла эта отличная девица, но тотчас же явился столяр, схватил его за руки и спросил откуда-то издалека:

— Ты что же девицу толкаешь? Разве это можно? Она — племянница мне, а тебе еще не жена. И посуду побил, — что такое?

Миронов слушал изумленно; столяр стоял вплоть к нему, а голос его доходил откуда-то из-под пола, из-под ног; под ногами хрустели черепки разбитых чашек, и всё странно плыло куда-то, колебалось.

— Если ты слаб на вино — не пей! — строго внушал столяр, поднося к лицу его стакан синеватой воды. Миронов взглянул в глаза столяра и крепко зажмурился...

Проснувшись рано утром, Миронов подумал, что отличная девица приснилась ему так же, как лиса: большая рыжая лиса быстро металась по небу, слизывая звезды, и этим создавала такую душную, угнетающую тьму, что земля казалась сброшенной в бездонный колодезь, и только где-то далеко на горизонте остался полукруглый клочок еще светлого неба, но и с него стирал звезды лиловый поп Борис, выводя кропилом надпись:

«Сдается комната для одинокого».

Миронов вспомнил, что, испуганный этим сновидением, он проснулся и пошел в кухню пить воду, но, наступив на что-то липкое, с отвращением снова лег и,

мучимый жаждой, долго не мог уснуть. Теперь, сидя на постели, он видел, что нога его и простыня испачканы вишневым вареньем, а влажный, только что вымытый пол окончательно убедил его: всё вчерашнее было в действительности. Тяжко вздохнув, он решил: «Послезавтра продам дом и всё и уеду в Париж, сниму там комнату для одинокого. Надо учиться по-французски...»

Он тотчас взял с полки грамматику и, наугад раскрыв ее, прочитал строгий вопрос: «Que savez-vous sur Bernardin de St. Pierre?» [1]

Между страницами книги оказалась расплющенной маленькая серая бабочка; разглядывая ее, Миронов уныло задумался: приедет он в Париж, парижане станут спрашивать его о святом Бернардине, а он ничего не знает о святом...

Закрыв книгу, Миронов сунул ее под подушку и засмеялся, обрадованный внезапно вспыхнувшей, очень простой и верной мыслью: ведь удивительно хорошо и удобно знать только самые необходимые слова, не зная все остальные! Это дает право не понимать людей, не думать о том, что они говорят,— именно это вполне обеспечивает спокойную жизнь!

— Это — так, это — так! — забормотал он, кивая головою и глядя, как маятник часов, ползая по стене, безуспешно пытается срезать с обоев два букета голубых цветов.

«Почему — продавать дом послезавтра? Я сегодня же продам. А столяра в Париж не пустят...»

Он засмеялся в лицо старухи Павловны, незаметно явившейся пред ним,— пошел по комнатам, осматривая, оценивая мебель, цветы, и быстро сосчитал, что всё это надо продать за четыреста семьсот рублей.

— Так не считают,— вслух поправил он себя,— это будет тысяча сто.

Но он чувствовал, что ему приятнее считать именно в двух числах,— они давали вдвое больше нолей, чем тысяча сто, а в нолях такая утешительная простота.

— Ноли — ноли — ноли,— запел он.

---

[1] Что вы знаете о Бернардене де Сен-Пьере? *(Франц.)*

Павловна, идя вслед за ним, строго позвала его пить чай.

Выпив стакан чая, почему-то очень горького, он решил уйти в поле, за реку, лечь там на песок в кустах можжевельника, пролежать весь день, а когда стемнеет — пробраться в город и ночевать в гостинице.

«Вот и найди меня!»

Но он передумал,— взял удочки и пошел на реку. Выходя из ворот, он увидал в одном из окон дома Розановых Лизу, протиравшую стекла, быстро подбежал к ней и сказал тихонько, торопливо:

— Совершенно необходимо переговорить с вами насчет Парижа, пожалуйста, приходите вечером на кладбище...

Лиза отшатнулась, исчезла, не ответив ни слова, но это не смутило его, он был уверен, что девушка придет. Рыбу он не удил, а пролежал весь день на берегу реки в кустах, глядя в небо — чистое, не возбуждавшее никаких тревог и дум; он дремал, просыпался и снова дремал до часа, когда солнце, как всегда распухнув и покраснев, почти коснулось крыши главного здания колонии душевнобольных.

Возвратясь домой, он поужинал, надел праздничный костюм и — сообразил: «Придет столяр, спросит: куда собрался? Пойду в сад...»

Но выйдя на крыльцо — сел на ступени лестницы.

«В саду — столяр увидит меня. Я — очень умный, очень догадливый, это потому, что я не люблю думать...»

Из земли чисто выметенного и выбритого Артамоном двора торчали, точно дудки, пеньки срезанного репейника, в один из них заглядывала мышь. Вдыхая теплый влажный ветер, Миронову казалось, что эти дудки высвистывают тихонько знакомую, успокаивающую мелодию детской песни; свистят они так тихо и ласково, что даже мышь не боится игры звуков. Он видел пред собою тоненькую девушку в голубом платье, слышал ее речь, необыкновенно приятно говорила она, он не понимал смысла слов, но тем нежнее звучали слова. Он думал, что продаст дом ее отцу, дешево продаст, и за это отец позволит ему увезти Лизу в Париж, в комнату для одинокого.

Миронов долго сидел в состоянии полузабытья и очнулся разбуженный криками, топотом мальчишек, они ловили кого-то, вечернюю тишину пустынной улицы грубо рвал звонкий вой:

— Забегай-и, держи-и...

Миронов встал,— маленькие стенные часы в кухне предупредительно ударили восемь раз.

— Пора,— сказал Миронов,— пора!

Вышел за ворота и, помахивая тросточкой, пошел вверх по улице к песчаным холмам, на их серых горбах изогнулся кирпичный, покрашенный мелом квадрат ограды кладбища, тускло поблескивала жесть креста часовни. Кладбище было новое и не густо засеяно могилами; между могил сиротливо торчали засыхавшие в почве, еще недостаточно удобренной трупами людей, рыжие сосны, чахленькие березы; серые былинки, пронзая песок, сиротливо тянулись к небу, пыльно-зеленые комья травы прятались в тени по бокам могил.

Миронов медленно шагал по дорожке, усыпанной щебнем; муравьи тащили палочку сухой хвои; он прицелился тростью в муравья, ткнул, не попал и, усмехаясь, сказал:

— Ну, всё равно, живи!

Через ограду видна была полоса дороги, по которой должна была подняться сюда Лиза Розанова. Там, внизу, стекали к свинцовой реке два потока домов и садов; изредка между ними появлялись, исчезали игрушечные фигурки людей,— Миронов погрозил им тростью, говоря:

— Всем вам быть здесь, а я — в Париж! У-у, надоели...

За рекою дымила грязным дымом труба завода, пачкая небо, еще красноватое на горизонте; сбоку на красноватое пятно надвигалась темная и какая-то хвостатая туча,— Миронов вспомнил любимое словечко столяра: «Скука».

И тотчас увидал его: держа бороду в кулаке, сунув другую руку за нагрудник передника, столяр медленно, равномерным шагом шел, как бы измеряя землю, около дороги, поднимался вверх к песчаным холмам.

Миронов замер на месте, сдерживая дыхание, сразу

поняв: «Следит за мной. Только что я подумал о нем, он — тут!»

Столяр прошел сорок пять шагов; круто повернул в поле, в сторону от дороги, к двум старым соснам, всё время ведя сам себя за бороду.

— Врешь, не обманешь,— тихо сказал Миронов и присел у ограды на корточки, следя за столяром в сквозной квадрат между кирпичами. Дрожали ноги, и где-то в теле, в груди, дрожал злой испуг. Миронов встал на колени, прижался грудью к теплым кирпичам и, размахнув руки, как бы распяв себя, сунул кулаки в отверстия ограды, показывая столяру кукиш и бормоча:

— Врешь, врешь...

Тот, внизу, снова подошел к дороге, остановился и начал что-то делать руками,— Миронов тотчас понял: столяр хочет убедить его, что считает на пальцах. Столяр стоял спиною к нему, смотрел в улицу, откуда сейчас должна выйти Лиза, и когда она выйдет... Невозможно представить, что случится тогда, но, конечно, будет что-то страшное. Миронову хотелось кричать. Но Лиза не появлялась, а тот снял с головы черный свой венчик, угрожающе встряхнул волосами, снова надел ремешок и не спеша пошел вниз.

«Спрячется где-нибудь и поймает ее или меня...»

Миронов уже ясно сознавал, что сам он спрятаться от столяра не может, столяр везде найдет его, заставит жениться на отличной девице, заставит делать всё, чего он, столяр, пожелает, сделает его своей собакой, как сделал силача Артамона.

Крепко прижавшись лбом к шероховатому кирпичу, Миронов вдруг вспомнил вопрос столяра: «Кто твой хозяин?»

Отвратительно усмехнулся столяр, спросив об этом.

«Он знает, что меня некому защитить, он знает это...»

Там, внизу, где спрятался столяр, из-за края земли, горою, как дым большого пожара, вздымались облака, такие плотные, что, наверное, по ним можно ходить.

Вздрагивая от страха, он вспоминал речи столяра, всё более глубоко проникая в их смысл.

«Тебе удивлять людей — нечем»,— удивлять людей значит: жить не так, как все, а главное — не думать ни

о чем, кроме обыкновенного. Жить, чтобы никто не мешал. Но, видимо, так жить нельзя, когда есть столяр, он, лукавый, понял, что человек не имеет хозяина, сирота — человек, и вот делает с ним всё, что хочет.

— Конечно — так, конечно, — почти кричал Миронов.— Они все говорят — бог, бог, а распоряжается столяр... Как собаками. Как будто охотник...

Эти гневные, горестные догадки подавляли Миронова. В то же время он ясно ощущал их бессилие, чувствовал, что они не нужны ему, что столяр насильно вогнал в него эти мысли, — до знакомства с ним таких мыслей не было.

Над кладбищем ползли измятые серые тряпки облаков, замазывая небо грязными пятнами; вот так же мать, пьяная, хватала грязную тряпицу и, вытирая ею стекла окон, шкафа, зеркало, замазывала прозрачность масляными ласинами.

Повеяло сыростью, песчаные холмики могил потемнели; Миронов встал, посмотрел на дорогу, она как будто ушла в землю, тогда быстро, но стараясь, чтоб щебень и песок не скрипели под ногами, он пошел домой, а войдя в улицу, увидал, что окна Розановых еще освещены. Он подбежал к окну, постучал в раму тростью и, когда на улицу высунулось круглое лицо Клавдии Стрепетовой, тихо сказал:

— Скажите ей, чтобы опасалась столяра!

— Что? — тоже тихо, испуганно спросила девушка.

— Да, да, он — следит...

Окно закрылось, точно какая-то большая птица сложила крылья; Миронову послышалось, что за стеклами раздался крик испуга, потом — смех. Оглядываясь, он перешел улицу, вошел на свой двор — с крыльца поднялось что-то маленькое, темное, оно издали, не касаясь Миронова, толкнуло его в грудь, он отшатнулся.

— Кто это, кто?

— Ну я,— ответил голос Павловны.

Миронов присмотрелся,— да, это она.

— Столяр спрашивал.

— Меня нет дома,— строго, но тихо сказал Миронов.— Меня никогда нет дома...

Вошел в свою комнату и, не зажигая огня, не шумя, разделся, лег в постель. Не спалось, покусывали комары, щипала тревога, и казалось, что столяр где-то близко, возможно, что он в саду, притаился под окном или сидит на крыше, около трубы, держа себя за бороду, придумывая, что завтра сделать с Мироновым. Сбрасывая одеяло, Миронов садился на кровати, спускал ноги на прохладный пол, прислушивался,— всё было тихо, по крыше лениво стучали капли дождя; комнату наполняла плотная, теплая тьма, в ней одиноко ныл заплутавшийся комар. Миронов взял подушку, положил ее себе на колени и — ждал: «Комара надо убить».

Его покачивала усталость, он валился на бок, дремал, не выпуская подушку из рук, и, снова просыпаясь от какого-то внутреннего толчка, садился на кровати, слушал, наблюдал, как медленно, сквозь неподвижные темные листья цветов на окне, комнату наполняет сероватая пыль рассвета, присматривался к суетной, бессвязной возне воспоминаний, покорно ожидая, когда всё это оборвется, исчезнет. Был такой момент: вдруг всё сжималось тяжелым комом и сбрасывало Миронова в черную пустоту, в безмолвие, в неподвижность.

Этот момент наступил, когда уже взошло солнце, облив стекла окна расплавленным жемчугом,— Миронов оглушенно свалился на постель, уснул, но тотчас же, как показалось ему, был разбужен странным каким-то скрипом.

В комнату вошел человек, одетый в желтое; пронзительно скрипя, он бесцеремонно сел на кровать, взял руку Миронова одной своей коротенькой влажной рукою, вынул из кармана черные часы и, глядя на них, спросил высоким голосом, в тоне старого приятеля:

— Ну, что же мы чувствуем?

— Ничего не мычувствуем,— сердито ответил Миронов.

— А что же вам болит?

— Что такое — вамболит? — задорно и насмешливо спросил Миронов.

— А спали как?

— Лежа.

Миронов засмеялся, восхищаясь бойкостью и остроумием своих ответов. Он чувствовал себя бодро, даже весело, а человек этот нравился ему, хотя он дышал запахом ваксы, но — тучный, коротенький — смешно напоминал ожившую игрушку «Ванька-встанька». Лицо у него было надутое, синее, и по синеве его забавно плавали какие-то необыкновенные, желтые глаза, как звезды без лучей,— такие звезды бывают влажными ночами. Миронов взглянул в окно,— по небу быстро плыло синеватое облако, напоминая что-то вчерашнее, неприятное...

Щелкнув челюстью, человек потер ладонью свой синий подбородок и сказал:

— Вы меня знаете,— нет? Я — фельдшер Исаков, Исааков...

Миронов несколько смутился и, желая скрыть это, спросил:

— Который час?

— Половина первого.

— Ого! Я есть хочу.

— Это очень полезно,— одобрил фельдшер Исааков, засовывая в карман жилета черные часы.

В комнате стало светло, слова плавали в солнечном свете радужными пузырями, следя за их полетом, Миронов сказал:

— Вот и всегда бы так!

— Что?

— Всё.

Он и внутри себя чувствовал радостное, легкое, приподнимавшее его с земли. Босый, в нижнем белье, он пошел в кухню умываться, но в двери остановился, увидав склоненную над столом светлую голову в темном венчике,— столяр, согнувшись, что-то писал карандашом в грязной, растрепанной книжке. Миронов бесшумно повернулся и сел на постель. Всё бодрое, радужное тотчас погасло.

— Что такое? — нараспев спросил фельдшер, щупая его виски липкими пальцами,— Миронов отвел его руку, тряхнул головою, спросил шёпотом:

— Это он вас привел?

— Ну да! А — что?
— Он — где ночевал?
— Я знаю разве? Ночуют обыкновенно дома.
— Он — необыкновенный.
— Почему?

Миронов не ответил на этот и несколько других вопросов фельдшера; упираясь руками в край постели, он покачивался, кусал губы и напряженно думал: как избавиться от столяра?

Скрипя подошвами, фельдшер ушел в кухню, а Миронов, подбежав к окну, начал сбрасывать горшки цветов с подоконника в сад, он уже занес ногу на подоконник, когда железные руки схватили его сзади под мышки. Не видя, он знал, чьи это руки, и, не сопротивляясь, подчинился их силе, молча позволил отвести себя на постель, опрокинуть на спину. Крепко закрыв глаза, он слушал шёпот двух голосов и, различая во тьме серенькие крючки слов, следил, как они, ловко сцепляясь, образуют непонятное. Вот фельдшер шепчет:

— Авыда, вноза...

Эти слова летели сквозь него, как серые шероховатые тени, тревожно волнуя,— он открыл глаза.

— Ты что же это, сирота, а? Захворал?

Зеленые лучи глаз столяра разбудили у Миронова смутное воспоминание: он видел где-то эти два луча, это острое, ястребиное лицо, видел давно, еще будучи маленьким.

— Ну, что смотришь,— не узнал?

«Сам напоминает»,— подумал Миронов и сказал:

— Кажется, я вас видел...

— То-то.

— Надо брому.

«Добрый — это я,— соображал Миронов,— они дадут яду, я думаю...»

Он отодвинулся к стене, сел, поджав ноги, опираясь о стену затылком, уставил глаза в угол, в потолок и вздрогнул, похолодев: на потолке отчетливо выступил зеленый квадрат картины «Смерть грешника», на краю картины, безмолвно смеясь, стоял остромордый дьявол с козлиной бородою. Всё сразу стало понятно и остановилось. Вот почему Столяр испортил голубой дом и так

легко скользит по воздуху, вот почему он любит устраивать кутерьму и кавардак.

«Кто твой хозяин? — спрашивает он, торжествуя, потому что знает: Миронов Константин не верит в обыкновенного бога, обыкновенных людей. Всё — ясно. Но — что же делать? Было очень страшно и жарко. Не разгибая ног, не разняв рук, обнявших колена, Миронов повалился на бок.

— Я спать хочу.

— А кушать? — спросил фельдшер.

— Спать буду.

— Это тоже полезно.

Они ушли. Столяр тихонько сказал:

— Как дитя...

Этим он мог обмануть фельдшера, но не Миронова, Миронов уже понял, догадался, что́ надо делать, но — прежде надо спрятаться от Столяра.

Полежав несколько минут, чутко прислушиваясь к тишине, он встал, накинул на голову простыню, окутался ею, взглянул в зеркало и, вздохнув, пожалел, что у него нет бороды,— с бородой он был бы похож на воскресшего Лазаря. И тотчас трепетно отшатнулся от зеркала, определенно ощутив, как блестящая глубина потемнела и тянет его в себя, требует, чтоб он упал в нее. Он схватился рукою за косяк двери, тихонько прошептал:

— Я — сейчас, господи, я иду...

Он заглянул в дверь, кухня была пуста, на столе, солнечно сияя, стоит самовар, седенькие клочья пара вьются над ним. Миронов подошел и повернул кран,— сделать это было необходимо. Но когда, дымясь и тая, на поднос потекла стеклянная струя воды, он испугался, замер, прислушиваясь: где-то на дворе шамкала Павловна и, точно удары молотка, звучали слова Столяра:

— Сам? Ну?

Сам — это, конечно, бог, тот, простой бог всех людей. Значит, проклятый Столяр уже понял, что Миронов идет к нему, простому богу. А может быть, он сказал: «Сомну!» — угрожая старухе.

Задерживая дыхание, едва касаясь ногами пола,

Миронов вышел в сени, поднялся по лестнице на чердак, вдохнул много жаркого, едкого запаха пыли, кошек, птичьего помета и притворил за собою дверь, встал на колени лицом к голубому полукружию слухового окна и запел, крестясь, кланяясь:

— «Спаси, господи, люди твоя...»

Но, забыв дальнейшие слова гимна, он подумал, встал, подошел ближе к окну, громко сказал в небо:

— Я — виноват, виноват, я верую, я прошу...

Но Столяр был ближе бога, он услыхал покаяние жертвы своей и закричал тревожно:

— На чердаке ищите!

Миронов бросился к двери и начал стаскивать к ней всё, что было на чердаке,— поломанную мебель, какие-то ящики, корзины, доски, заваливая этим хламом дверь, он крестил его и бормотал:

— Господи — помилуй!

А Столяр уже вбежал на лестницу, торкался в дверь и всё кричал:

— Константин,— брось дурить! Отопри! Что ты? Слушай, что скажу...

— Боишься? — громко спросил Миронов и засмеялся, чувствуя себя в безопасности, зная, что Столяр не может преодолеть знамение креста.

— Константин! Али я тебе не приятель?

— Нет,— решительно крикнул Миронов и, схватив кирпич с дымохода, бросил им в дверь; удар пришелся по дну ящика, и гулкий звук увеличил решимость Миронова сопротивляться Столяру. У двери всё ожило силою Столяра, шевелились стулья, скрипели и падали ящики, Миронов смотрел и смеялся над бессилием врага.

Но вот, уступая напору его, дощатая дверь треснула, приоткрылась, вещи распались, раздвинулись, упала и дверь, в раме ее явился во весь рост Столяр,— это изумило Миронова, но все-таки он успел схватить еще кирпич и швырнуть им под медный клин бороды Столяра,— тогда Столяр крякнул, взмахнул голыми по локти руками и с треском, с громом покатился вниз, а Миронов, исступленно радуясь, прыгал, кричал, бросал

вслед врагу своему всё, что мог бросить, и хохотал, слыша тоже исступленный вой отчаяния:

— Пожарных надо! Водой! Погубит он себя...

Миронов оборвал свой смех, прислушиваясь. Там, внизу, гудели голоса людей, взвизгивали мальчишки, и весь шум покрывал солидный бас, знакомый голос уважаемого Ивана Ивановича Розанова.

— Ты сам и свел его с ума.

— Да,— крикнул Миронов,— это он, он! Вы знаете — кто он? Видите? Ага!

Он задыхался от радости,— все поняли, кто таков Столяр, он уже хотел сойти вниз, но его остановил тревожный крик Столяра:

— Только — не бей, Артамон, гляди, не бей, прошу!

Значит — Артамон тоже понял Столяра и возмутился против него? Но возчик боком протиснулся в дверь, не глядя растолкал пинками и ударами колен всё, что лежало на пути его, и, вытянув руки, растопырив пальцы, свирепо открыв трехугольный рот, шел на Миронова, рычал:

— Ну чего ты, чего, а?

Было ясно, что Столяр приказал возчику считать Миронова лошадью.

— Я — не лошадь, — забормотал Миронов, пораженный хитростью Столяра, отступая от рук, вытянутых, как оглобли, а возчик лез на него и гудел:

— Ну, не бойся, чего ты?

На голову Миронова опустилось твердое, горячее, он уже не мог двигаться дальше, возчик загнал его в жаркий железный угол; тогда Миронов сделал последнюю попытку спастись от Столяра,— он опустился на четвереньки и пополз встречу Артамону, но тот схватил его поперек тела, приподнял, опрокинул вниз головою и рявкнул:

— Поймал!

Миронов ударился головою о жесткую пыльную тьму, тело его как бы растаяло, разрушилось.

Потом тьма медленно расплылась, Миронов почувствовал, что лежит на чем-то мягком и качается, летит, ноги и руки у него отломлены, голова неестественно

раздулась и стала так тяжела, что нет сил поднять ее; в ней кружились, стирая друг друга, светлые и черные пятна, чуть слышно звучала мелодия песенки отца:

Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Над ним ослепительно сияло голубое, в мягком этом свете плыли белые, неясных форм, фигуры, увлекая его; вот две из них склонились над ним, умело и быстро приделали ему новые, очень слабые руки и ноги, вычистили голову, сделав ее легкой, точно пустой, и, качая, понесли его выше, в голубое. Миронов понял, что бог услышал его и похитил с земли, послав за ним ангелов. Так это и было: вот он, бог, сам явился пред ним, белый, высокий, в золотых очках, он ответил на радостный крик Миронова безмолвным, но ласковым кивком головы и проплыл мимо, опахнув лицо его прохладным веянием и запахом цветов.

Восхищение Миронова было тем сильнее, что он видел не простого, старого бога обыкновенных людей, но настоящего, мудрого создателя бесконечной певучей тишины. В его мире всё было тихо, ласково; необыкновенно прозрачная, почти невидимая вода омыла Миронова, и когда создатель голубой тишины снова явился пред ним, Миронов уже знал, что с этим богом необходимо говорить на языке Парижа.

— Je vous remercie, mon Dieu,— сказал он,— je vous remercie, que vous... [1]

У него не нашлось больше слов, и он продолжал по-русски:

— Вы извините, я еще плохо знаю язык, мне трудно. Мне было страшно трудно! Тот, старый, простой бог не имел силы помочь мне. Я не люблю его, я хотел к вам, давно уже...

— А — как давно? — спросил создатель голубой тишины, отечески ласково глядя в глаза его, поверх очков.

---

[1] Благодарю тебя, боже, благодарю, что ты... *(Франц.)*

— Toujours — всегда,— сказал Миронов и спросил: — Я ведь не опоздал?

— О нет! — улыбнулся создатель. — Ко мне — вообще — не торопятся.

Миронову послышалось, что это сказано с грустью, с упреком.

— Oui[1], — согласился он, чувствуя, что голубые мысли и слова меркнут в голове его, тревога покалывает сердце,— тревога, что не успеет он сказать всё, что нужно.— Да, да,— они там не торопятся; они все женятся на отличных девицах, на Фимках, на Серафимках, чёрт их возьми — pardon![2] Они там, знаете, как собаки,— ужасное бесстыдство! Потом — рожают, едят моченые яблоки и жадничают, жадничают невероятно! А я — вы это знаете — ничего не хочу... Бог,— тот, обыкновенный, их бог,— не обращает на них никакого внимания, и всем командует Столяр, вы, конечно, знаете! Вы знаете — я первый понял Столяра, он — дьявол пустяков, кутерьмы, дьявол кавардака. Он выдумал свадьбы, моченые яблоки, пьянство, пироги с рыбой, игру в карты и всё, чего я не люблю, не хочу, не хочу...

Вспомнив о проклятом Столяре, Миронов рассердился, начал кричать, но создатель голубой тишины взял его за руку и, перелистывая другою рукой книгу законов своих, спросил ласково:

— А голова — часто болит?

«Голова — la tête»,— вспомнил Миронов и, подняв руки, пощупал голову свою,— она была гладкая, холодная, как глобус.

«Предполагается, что это висит в воздухе»,— вспомнил он, сжимая голову ладонями, пробормотал эти слова вслух и жалобно запел:

Чижик, чижик,— где ты был?

— Много присочинил? — спросил я доктора Александра Алексина, когда он рассказал мне историю этой болезни.

---

[1] Да *(франц.)*.
[2] извините! *(Франц.)*

— Конечно, ты бы присочинил больше*,— ответил он, усмехаясь. — Историю эту рассказал мне коллега, когда я лечил перелом руки Миронова. Миронов этот выбросился из окна, увидав столяра, который пришел навестить его. А на днях я снова встретил Миронова, он явился ко мне с бронхитом. Разговорились, вспомнили друг друга. Его трудно забыть,— рожа незабвенная. Он, кажется, большой жох, хотя вид у него кисленький. Это его «Переплетное заведение» на Морской...

Константин Дмитриевич Миронов заглянул скучным темным глазом на дно стакана, усмотрел там нерастаявший сахар, тщательно выскреб его чайной ложкой, отправил в рот и, облизнув жесткие усы, вздохнул.

— Да, вот какой случай вывиха разума! Что ж,— приступим к делу?

Тонкими пальцами очень длинных рук он взял карандаш, кусок бумаги.

— По рекомендации уважаемого доктора Алексина и как вы сами тоже книжный человек, я вам поставлю за кожу... за коленкор... Дорого? Ну что вы! Как раз в меру стоимости...

Он подробно рассказал о ценах материала, о капризах рабочих, о тяжести налогов и о многом другом, что должно было убедить меня в его бескорыстии. Говорил и гладил ладонью свой бугроватый, по-татарски обритый череп, с большими ушами, они оттопырились, напоминая ручки чемодана. Большой серый нос опускался на жесткие щетки подстриженных усов. Скулы его странно двигались, глуховатый голос звучал однотонно, бесцветно, казалось, что Миронов жует и сосет свои слова. В маленькой, тесной комнатке очень душно от запаха кожи, клея и машинного масла. Где-то в углу, над шкафом с книгами, неохотно погибала муха.

— Скажите,— как вы почувствовали, что разум возвращается к вам?

По столу, щупая бумаги, цепко ползают пальцы правой руки с черными ногтями. Глядя тусклым косым

---

* Кажется, я так и сделал.

глазом в угол, где погибала муха, Миронов неохотно говорит:

— Я ведь почти забыл всё это, да вот доктор понудил вспомнить. Неинтересно и стыдно несколько; даже — обидно, если подумать, что люди сходят с ума вообще на чем-нибудь умном, например — царями воображают себя, зверями,— вообще что-нибудь возвышенное или смешное затемняет душу, а у меня — глупость! Там был один инженер, так он вообразил себя шахматным конем, прыгает перед дверью направо, налево, а в дверь не может попасть,— смешно. Когда тамошний доктор рассказал мне, что я его за бога принял,— очень неприятно было мне слышать это, хотя доктор — человек приличный. Но все-таки...

— Столяр? Столяр, конечно, помер; впрочем — не особенно давно, года четыре тому назад, когда я уже здесь жил; я ведь здесь девятый год по случаю слабости груди. Он предварительно спился, столяр. Пришлось мне судиться с ним,— за одиннадцать месяцев, покамест я хворал, он, своевольно управляя моим имуществом, такого нагородил!.. Он был действительно безумный, вроде вот этих писателей — поэтов...

Миронов ткнул пальцем в какую-то книгу,— обложка с нее была сорвана,— покашлял, погладил горло.

— Как же, книги я читаю в свободное время. Больше — на ночь. Нет, книги на меня не действуют. Да и неинтересно пишут теперь. Любовь, любовь, но ведь не все в этом нуждаются.

— Французский язык полезен для корешков; французских книг переплетаю немало. Итак: тринадцать томов в кожу.— Библия, конечно, по другой цене, это книга толстая...

— Что это, как вас столяр интересует? — спросил Миронов как будто обиженно и продолжал вялым тоном:

— Обыкновенный субъект, вполне достойный своей участи. Был у него расчет женить меня на племяннице своей, вот он и кавардачил, глядя на мое, как уж на свое. Ну, я с Розановым, тестем моим, довольно основательно прижал его, он Розанову за лесной материал сильно должен был.

Слушая неохотную речь Константина Миронова, я испытывал настойчивое желание вновь свести его с ума. А он говорил, вежливо покашливая:

— Лизавета Ивановна скончалась, родила мне мертвенькую девочку и сама — вслед за нею. Я теперь на здешней женился. Ничего, благодарю вас, живу спокойно; хотя мать у нее гречанка, но сама она оказалась женщиной приличной. А с той — откровенно скажу — я не нашел покоя; была она капризна, слезлива и вообще — тяжелого характера. Притом — богобоязненна, даже, извиняюсь, до смешного, всё у нее крестики, иконки, разговоры о чудесах. Смерти боялась.

Кашлянув, Миронов нахмурился и сказал поучительно:

— Хотя — чего же тут бояться? Надо помнить казацкую поговорку: «Пока я есть — смерти нет, смерть придет — меня не будет». Очень правильно. К этому добавляется: «Раньше смерти — не умрешь».

Он усмехнулся, Миронов, показав ровный, мертвый ряд вставных зубов.

— На именины мои, представьте, Лизавета Ивановна подарила мне кольцо с черепом, а я терпеть не могу человеческих костей! Тоже фантастическая была, вроде безумной. С Розановым после смерти ее пришлось мне судиться из-за приданого. Он, конечно, почтенный человек, но уж очень жаден... Продолжим? «Дон-Кихот», два тома — в кожу?

— Нет, вы уж не торгуйтесь! Ведь рассказ о временном несчастии моем, наверное, даст вам заработать...

— Вы и это учитываете?

— А — почему нет? — спросил Миронов не без удивления. — Всё надо учитывать. Жизнь требует точности, кто ее в этом слушает, к тому и богиня Фортуна благосклонна.

«Нет,— подумал я,— Константина Дмитриевича Миронова уже никто и ничто не сведет с ума».

И спросил:

— А глобус — сохранился у вас?

Глядя на бумажку с цифрами, поглаживая затылок, Миронов ответил:

— Глобус столяр, должно быть, хотел исправить, но окончательно сломал всю музыку...

РАССКАЗ О НЕОБЫКНОВЕННОМ

В одном из княжеских дворцов на берегу Невы, в пестрой комнатке «мавританского» стиля, загрязненной, неуютной и холодной, сидит, покачиваясь, человек, туго одетый в серый, солдатского сукна кафтан. Ему за сорок лет, он коренастый, плотный и хром на левую ногу. Сидит он, вытянув ее, на ней тяжелый рыжий сапог. Правую ногу он крепко поставил на паркет и, в сильных местах речи своей, притопывает каблуком, широким, точно лошадиное копыто.

На черепе его встрепаны сухие волосы мочального цвета, на скулах и подбородке торчат небогатые кустики желтых редких волос, под неуклюжим носом топырятся подрезанные усы, напоминая вытертую зубную щетку.

Большеротое, зубастое лицо этого человека не интересно, такие щучьи лица, серые, угловатые, с глазами неопределенной окраски,— обычны в центральных губерниях России. Такие лица обычно освещаются небольшими глазами; глаза эти смотрят в землю, в небо и, почти всегда, мимо человека; во взгляде их чувствуешь некоторую духовную косоватость и недоверие существа, многократно обманутого людьми. Но нередко где-то в глубине зрачка таких глаз сверкает холодное острие, как иглою неожиданно пронзающее наблюдателя искусно скрытой силой разума. Этот острый блеск глаз и вызвал у меня Диогеново стремление, свойственное каждому литератору,— я упросил зубастого человека рассказать мне его жизнь.

И вот он говорит не торопясь, «откалывая» слова, давая мне понять, что он уверен в своей значительности и не впервые удивляет слушателя рассказом своим. Порою его речь звучит задорно, и серые волосы усов шеве-

лятся, обнажая насмешливо изогнутую темную губу. А иногда слова угрюмы, печальны, он сурово морщит лоб, и без того обильный морщинами, белки его глаз приобретают влажный и странный оттенок жемчуга, зрачки не то испуганно, не то удивленно расширяются.

Оставляя больную ногу неподвижной, он всё время вертится, и это не совпадает с размеренным течением его сказки. Темные руки беспокойно шевелятся, гладят колени, передвигают на столе папку бумаг, чернильницу, пепельницу, щупают деревянную вставку для пера. Передвинув вещи с одного места на другое, он, прищурясь, оглядывает их и снова перекладывает в иной порядок. Потом, с явной досадой оттолкнув от себя все их, гладит ладонью или ковыряет пальцем пеструю — золотую, красную, синюю — стену, изрезанную по штукатурке затейливыми арабесками.

Кажется, что ему тесно в этой необыкновенной комнате. Круто поворотив голову, он минуты две молча смотрит в окно, мелко изрезанное угловатым узором переплета рамы, ищет чего-то на широкой темной полосе пустынной Невы. Расстегивая и вновь застегивая крючки кафтана, он как будто хочет раздеться, встряхнуться, сбросить с себя какую-то внешнюю, накожную тяжесть.

Голос его звучит глуховато, отдаленно, глубоко из груди.

— По месту жизни, по бумагам — я сибиряк, а по рождению — русский, рязанец из-под Саватьмы. Слово это — Саватьма — осталось у меня с детства, от родителей, они, бывало, объясняли: «Мы из-под Саватьмы».

— Лет до семнадцати я говорил не Саватьма, а Саматьма, и думал, что это — река, а вода в ней необыкновенно черная, однако никому об этом,— даже товарищам, ребятишкам,— не сказывал, не хвастался, а даже, пожалуй, стыдился этого: в Сибири реки светлые. Потом торговец сельскими машинами поправил ошибку мою, грубо сказал: «Дурак, не Саматьма, а — Саватьма, и не река, а — город, уезд».

— Я ему сразу поверил, приятно мне было узнать, что ничего необыкновенного в Саватьме этой — нет.

— Деревню свою — не помню, деревня, наверно, обыкновенная. А помню какое-то село над рекой, на угорье, и монастырь за селом, в полукружии леса; это село я и по сей день вижу, только как будто не человеческое жилье, а игрушку; есть такие игрушки: домики, церковки, скот, всё вырезано из дерева, а деревья сделаны из моха, окрашены зеленой краской. В детстве очень манило меня это село.

— Родители мои переселились в Сибирь, когда мне было годов десять, что ли. Дорогой мать и братишка, меньше меня, вывалились из вагона, убились, отец тоже вскоре помер от случайности — объелся рыбой. Пошел я по миру, по деревням, со старичком одним, старичок спокойный, не бил меня. С год ходил я с ним, а потом, в городке каком-то, на базаре приметил меня мужик, старовер Трофим Боев, дал старичку целковый, что ли, старичок и уступил меня Боеву.

— Это был человечище кряжистый, характера тяжелого, скопидом и богомол из таких, которые живут фальшиво, как приказчики на отчете у бога: сами грехом не брезгуют, а людям около них дышать нечем. Я его и всех, всю семью, сразу невзлюбил за строгость ко мне, за жадность, за всё и, еще будучи подростком, увидал бессмысленность необыкновенного труда. Шесть лошадей было у него, семнадцать коров, свой бык, овцы, птица, всего вдоволь, а работал он и людей заставлял работать — каторжно. Ели противно: уж сыты, нет охоты есть, а всё еще едят, покраснеют, надуются, а всё чавкают, против воли. Непосильная работа да чрезмерная еда — в этом заключалась вся их жизнь. А в праздники отлично нарядятся и всем стадом — гонят в церковь, за двенадцать верст.

— Семья большая: сам, трое сыновей от первой жены,— один в солдатах,— две снохи, зять-вдовец, немой, откусил язык, упав с воза. От второй жены — дочь Любаша, года на два моложе меня. Жена — зверь-баба, глазищи лошадиные, сила мужичья. Был еще батрак Максим, тоже русский, этот спать любил, даже стоя спать мог. Потом еще старухи какие-то, вроде крыс.

— Когда мне минуло лет семнадцать, Максим, нечаянно, проколол мне бедро навозными вилами; с год болело бедро, гноилось; начал я прихрамывать.

— Однажды, за ужином, старший сын, Сергей, говорит Боеву: «Ходить Яшка тихо стал, надо бы полечить ему ногу-то». А тот отвечает: «Заживет и без того. А охромеет — выгода, в солдаты не возьмут».

— Это меня обидело; я был парень здоровый, хромать мне стыдно перед девками, они уж смеются надо мной. Тут я задумал уйти от Боева. Сказал Любаше, она тоже советует: «Конечно — уходи, а то заморят они тебя работой. Ты видишь: они — окаянные».

— Любаша была плохого здоровья, грустная девушка. Совсем бессильная, масло пахтать машиной и то не могла. Была она мне сердечной подругой, грамоте научила меня почти насильно. И одежу починит и рубахи пошьет. Братья, невестки не любили ее, смеялись над нашей дружбой: «Какой он тебе жених, когда хромой!»

— А у нее этого и в мыслях не было, просто она помогала мне жить. Была она девушка честная, к баловству брезгливая. Худенькая, глаза, как у матери, большие и свет внутри их. Смеялась — редко, а улыбнется — сразу легче станет мне. И не плакала; побьют ее, она только осунется вся, дрожит, прикрыв глаза. Самая умная в семье, а считалась недоумком и порченой. Однако — злая, мелкий скот, собак, кошек любила мучить, а особо приятно было ей цыплят давить; поймает цыпленка, стиснет его в ладонях и задавит. «Зачем ты это?» Не сказывала, только плечиками поведет. Наверное, она гнев свой на людей так вымещала, что ли. Весною простился я с нею и ушел. Боев пробовал препятствовать, пачпорта не давал мне долго. Любаша и тут помогла.

— Года два жил я вполне благополучно, так, что и рассказать не о чем. Жил в Барнауле у доктора, он мне и ногу залечил, хотя хромоту оставил. Скажу так: до двадцати лет жил я как во сне, ничего необыкновенного не видя. Иной раз, в скуке, вспомню село, подумаю: «Надо там жить».

— А где это село — не знаю. И опять забуду. Любашу только не забывал. Однова даже письмо послал ей, не ответила.

— У доктора, Александра Кириллыча, было мне спокойно. Работы — мало: дров наколоть, печи истопить, кухарке помочь, сапоги, одежу почистить, потом возить его по больным. Человек я непьющий, ну, стакан, два могу допустить выпить для здоровья; в карты играл осторожно, бабы меня даром любили. Характером я был нелюдим. Считался придурковатым. Накопил денег несколько.

— И сразу, точно под гору покатился, началась необыкновенная жизнь. По соседству убили двух, мужа и жену, а я в ту ночь не дома ночевал. Заарестовали меня, и тут оказалось, что у меня пачпорт испорчен, буквы перепутаны: настоящее имя-прозвище мое Яков Зыков, а в пачпорте стоит Яков Языкóв. Тогда, на грех, японская война начиналась. Следователь и говорит: «Ты сам сознался, что по чужому виду живешь; значит — скрываешься от воинской повинности али от чего-то и еще хуже».

— Указываю: ведь в пачпорте, в приметах, объявлено — хромой, стало быть, это я и есть, Зыков.

— В Сибири никто никому не верит. «Может, говорит, к убийству ты и не причастен, а все-таки надо собрать справки о тебе».

— Доктора в те дни дома не было, он в Томск уехал и в Казань; заступиться за меня некому. Посадили в тюрьму, в тюрьме воры смеются надо мной: «Вовсе ты не Зыков и не Языков, а — Язёв, потому что у тебя морда рыбья». Так и прозвали: Язёв.

— Обидела меня эта необыкновенная глупость; ночей не сплю, всё думаю: как это допускается —морить человека в тюрьме за пустяковую ошибку на бумаге? Жалуюсь богу; я в то время сильно богомолен был, хотя в тюрьме не молился: там над верой смеются. Бывало, спать ложась, только перекрещусь незаметно, а лежа прочитаю, в мыслях, молитвы две-три,— тут и всё. А привык я молиться истово, на коленках стоя. «Верую», «Отче наш» читал по разу. «Богородицу-деву» — трижды. Акафист ей знал наизусть. Любаша

многому научила меня. Писать учился шилом на бересте сначала.

— Конечно, вера — глупость, но я тогда молодой был и, кроме бога, посторонних интересов не имел.

— Валялось в камере, кроме меня, еще семеро,— четверо воров, конокрад чахоточный задыхался, старик-бродяга и слесарь с железной дороги, его гнали этапом куда-то в Россию. Воры целыми днями в карты играли, песни пели, а старик со слесарем держались в стороне от них и всё спорили. Старик — высокий, тощий, длинноволосый, как поп, нос у него кривой, глаза строгие, злые, очень неприятный. Был аккуратен; утром проснется раньше всех, вытрет лицо чистенькой тряпочкой, намочив ее водою, расчешет голову, бороду, застегнется весь и долго стоит, молится не крестясь, не шевелясь; смотрит не в угол, где икона, а в окно, на свет, на небо. Сектант, конечно, а оказалось — умный сектант.

— Слесарь — черный, как цыган или еврей, лет на десять старше меня. Речистый, и речь у него необыкновенная, даже слушать не хотелось. Голова ежом острижена, зубы блестят, усики чернеют. Глаза — как у киргиза. Лощеный весь и на тюленя похож, на ученого, каких в цирке показывают. Свистеть любил.

— Вот однова, когда воры заснули, слышу я — старик ворчит: «Простота нужна. Все люди запутались в пустяках, оттого друг друга и давят. Упрощение жизни надо сделать».

— Слесарь — досадует, бормочет: «И я про то же говорю». — «Врешь. Ты — вчерашнего дня поклонник. Я такого не первого вижу. Все вы обманщики. Ты — особенности добиваешься, необыкновенности, ты себя отделить от людей хочешь. А беда-то, грех-то жизни в том и скрыт, что каждый хочет быть особенным, отличия ищет. Тут — горе! Отсюда и пошло всякое барство, начальство, команда и насильство. Отсюда все необыкновенности в пище, одеже, все различия между людей. Это всё надо — прочь, вот как надо! Где особенное, там и власть, а где власть — там вражда, непримиримость и всякое безумство. Оттого и враждуете, безумцы. Человек должен владеть только самим собой, а другими вла-

деть он не должен. Вот — пришили тебя к бумаге и гонят куда хотят, а сам ты ни горю, ни радости не владыка».

— Слышу я — правду говорит старик, слова его таковы, как будто я сам надумал их. Когда правда настоящая твоя, она тебе на всё отвечает, у нее естество густое, ее хоть руками бери.

— Воры меня осмеивали, считая парнем убогого ума, да я и сам дурачком притворялся. Так — спокойнее и людей скорее понимаешь, при дураках они не стесняются. Спорщики эти тоже глядят на меня, как на пустое место, и всё ярятся, бормочут, а я — слушаю. И понимаю так, что спорить им будто бы не о чем, одинаково согласны: всё на свете надобно сравнять, особенное, необыкновенное — уничтожить, никаких отличий ни в чем не допускать, тогда все люди между собой— хотят, не хотят — поравняются и всё станет просто, легко. Обратить всех жителей земли в обыкновенных людей, а сословия,— попов, купцов, чиновников и вообще господ,— запретить, уничтожить особым законом. И чтобы никто не мог купить у меня ни хлеба, ни работы, ни совести.

— «Душу окрылить надо,— доказывал старик.— Главное — свобода души, без этого нет человека!»

— Я все эти мысли проглотил, как стакан водки с устатка, и действительно душа у меня сразу окрылилась ясностью. Думаю: «Господи Исусе, какая простота святая живет между людьми, а они всю жизнь маются!» Думаю и даже улыбаюсь, а воры еще больше смеются надо мной: «Глядите, Язёв о невесте думает!»

— Молчу, того больше притворяюсь дурачком, а сам, знаешь, всё слушаю, слушаю. Расходились спорщики только в одном: слесарь дразнил, что и бога не надо, а старик, понятно, сердился на него за это, да и мне досадно было слушать слесаря, резко говорил он, а в то время бог еще был недугом моим. Вред господства оба они бесстрашно понимали.

— Вскоре погнали меня этапом на место приписки; там, конечно, Боево семейство удостоверило мою личность. Сам он, Боев, лежал, умирал, лошадь его разбила, что ли. Однако предлагает: «Живи у меня, Яков;

ты человек смирный, с придурью, бродяжить тебе не годится».

— Отказал я ему. Я уже кое-чего нагляделся, мысли в голове шевелились, в город тянуло, да и Любаша советует: «Иди, иди, Яков, ищи свое счастье».

— Конечно, я рассказал ей всё, до чего дошел, целую ночь рассказывал и даже сам удивлялся, как плотно сложились мысли мои, как гладко идут. Любаша соглашается: «Всё — верно. Так и надо». Я — ей: «Шла бы ты со мной, Любаша!»

— Забоялась: «Чем я тебе буду? Обузой. Здоровье у меня плохое. Да и чужих людей не люблю, а здесь я уж привыкла».

— Н-да. Не пошла. Была она, говорю, девушка грустная. Тонкая девушка и приветлива душой. В душе ее я себя видел, как в зеркале. Прощалась — заплакала, однако...

— Вернулся я снова в Барнаул, к доктору. Это был человек хороший, даже почти совсем умный, только умный по-старому, а не по-моему. Был он характера резкого и на барина разве по привычкам похож, даже обличье имел мужицкое: плотный, коренастый, ходил солидно, как гусь, зря руками не махал; лицо большое, красное, борода. В ремесле своем был удачлив, лечил ловко. Водку пил помногу, а пьян не бывал. Больше водки — красное вино любил пить. Глаза у него прямые, с усмешечкой внутри, он ею будто говорил каждому: «Не притворяйся, я твое уродство вижу».

— Однако, хотя и бабы его любили и сам он был до них жаден, а я видел, что жить ему скушно, хмурится доктор, кряхтит, песенки сквозь зубы поет и всё отхаркивается, будто гнилого поел. Нравился он мне простотой своей, а усмешечку его не любил я, показывала она, что доктор и меня дураком считает и ни на грош не верит мне. Обидно было. И — побаивался я его.

— Встретил он меня хорошо, шутит: «Ага, явился, мешок кишок!»

— Это у него любимая поговорка была — мешок кишок, он со всеми говорил шутливо, как с малыми детьми, сунет руки в карманы и — шутит. Поднес мне

водки стакан, приказал старухе самовар согреть, сам пришел на кухню: «Ну, говорит, рассказывай!»

— Было это зимней порой, к ночи, вьюга крутила, гудела, сижу я с доктором за столом, как будто в трактире с приятелем, рассказываю, а он слушает, папиросы курит, бороду щупает,— борода небольшая, куриным хвостом.

— До этого вечера я ни с кем, кроме Любаши, открыто не говорил, а тут разманило, возмутился во мне смелый дух. Сидя в тюрьме да по дороге я научился думать обо всем даже до того, что задумаюсь и — будто нет меня, только одна душа в воздухе живет. Говорил так бойко, что сам себе удивлялся: вот бы Любаша послушала!

— Рассказал, конечно, про старика, про слесаря — доктор хохочет: «Ишь ты, говорит, как тебя вывихнуло! Ну, это хорошо: дураку жить — легче, умному — забавнее. Теперь тебе, Яков, надобно книжки читать. Ну, только в книжках доказано наоборот: управляет нами закон, который всё простое дробит на особенное. В дочеловеческие времена, говорит, земля была сплошь камень и родить не могла ничего, до поры, пока не раздробилась на песок, глину, потом — чернозем. В незапамятных веках был один зверь, одна птица, а теперь от них разродились тысячи разных птиц и зверей. Также и все древние люди: сначала все были мужики, потом от них пошли князья, цари, купцы, чиновники, машинисты, доктора. Это — закон!»

— Ловко говорил: будто в мешок зашивает меня.

— И, конечно, шутит: «Надо, говорит, смотреть на всё с этой кочки, в нашем болоте она самая высокая».

— Сильно огорчил он меня словами своими и даже на время сбил с пути. Дал мне, хитрый, книжек, однако я тотчас вижу: это не те книжки, которые он сам читает. Его книжки — толстые, в переплетах, их два шкафа, а эти — тоненькие, детского вида, с картинками. Читаю. Назначение книжки имеют, чтобы отвести меня в сторону от моих мыслей; рассказывают, как люди жили в старину, а я, значит, должен понимать, что в старину жили хуже. Успокоительные книжки. Однако я соображаю: «Как мне знать, правильно ли

тут написано? Это было не при мне. К тому же я человек сегодняшний, какое мне дело до прошедшей жизни? Вчерашний день лучше не сделаешь, ты меня научи, как надобно завтра жить».

— Доктор спрашивает: «Читаешь?» — «Читаю». — «Интересно?» — «Интересно».

— Молчу, конечно, что книжки его не по душе мне, не объясняю, что мне интересно не то, что там написано, а — для чего писалось. Писалось же, говорю, для успокоения моего.

— Однако — читать я привык; наклонишься над книжкой, глядишь в нее, как в омут, текут, колеблются разные слова, и незаметно проходят часы; очнешься — удивительно! Будто тебя и не было на земле в часы эти. Слов книжных я не люблю помнить, не умею, да они мне и не нужны, у меня свои слова есть. Некоторые слова и вовсе не понимал: шелестит слово, а для меня ничего не обозначает. А суть книжки мне всегда легко давалась. Чужие мысли очень просто понять, когда свои в голове есть. Своя мысль — честный огонь, при нем чужую фальшь сразу видишь. От моей мысли всякая чужая прячется, как клоп от свечки. Этим я могу похвастать.

— Гораздо больше, чем от книжек, видел я пользы для себя от бесед с доктором. Бывало — после работы в больнице и объезда недужных по городу скинет доктор пиджак, ботинки, наденет туфли, ляжет на диван, около него бутылка красного вина, лежит он, курит, посасывает кислое винцо это, ухмыляется, балагурит, всё об одном: мы-де присуждены жить под властью прошедших времен, корни пустяков вросли глубоко, корчевать их надо осторожно, а то весь плодородный слой земли испортишь. Сегодняшним днем командует вчерашний, а настоящая жизнь обязательно будет командовать будущей, и от этой канители не увернешься, как ты ни вертись.

— Но иной раз одолеет его скука, покинет осторожность, и тут доктор обмолвится: «Конечно, лучше бы всё сразу к чёрту послать...» Однако — сейчас же и прибавит: «Ну — это невозможно!»

— Досадно мне слушать его. «Ведь вот, думаю, и

умен человек, и знает всё, чего надо и не надо знать, и видно, что жизнью своей недоволен, а простого решения боится». А я уж решения достиг и остановился на нем твердо: ежели райская птица, человечья свобода, запутана сетью фальшивых пустяков до того туго, что совсем задыхается,— режь сеть, рви ее!

— Я даже намекал доктору, подсказывал ему, что нет другого способа освобождения человеку, а прямо сказать ему это не хотел: не то боялся — осмеет он меня, не то — по другой причине. Очень уважал я его за простоту со мной, за эти вечерние беседы, и если он, бывало, грубил мне, кричал на меня за какой-нибудь беспорядок — я на него не сердился.

— От книжек его и разговоров с ним мне та польза была, что незаметно потерял я веру в бога, как незаметно лысеют: еще вчера щупал макушку — были волосья, а вдруг — хвать — на макушке голó! Да. Не то чтобы стало мне боязно, а почувствовал я эдакий холодок в душе неприятный. Ненадолго, однако. Вскоре догадался, что до этого жил я на земле, как в чужой стороне, глядя на всё из-за бога, как из темного угла, а теперь сразу развернулся предо мной простор, явилась безбоязненность и эдакая легкость разума. Простился я с богом, прямо скажу, без жалости. После окончательно увидал, что в бога верует только негодница людская, враги наши.

— Крючки, которыми меня к чужому делу пристегнули, я научился видеть везде, куда их ни спрячь, и видел всё мелкое, пустяковое, всю скорлупу наружную в жизни доктора. Много он лишнего накопил: книг, мебели, одежи, разных необыкновенных штучек. Доказывал, что необыкновенное нужно для красоты жизни,— для красоты пожалуйте в лес, в поле, там цветы, травы и никакой пыли. Звезды. Звезды тряпкой вытирать не требуется. А от этих разного вида земных бляшек — только вредное засорение жизни и каторга мелкой работы.

— Доктор одевался, умывался — скажем — пять минут, а запонки в рубаху втыкал и галстук завязывал тоже не меньше времени. Втыкает, завязывает, а сам по-матерному ругается, как мужик. Тоже и ботинки

с пуговицами — сколько времени требуют? А простой русский сапог одним махом на ногу насаживаешь. Понимаете? Все эти галстуки, застежки, ленты, кружева и всякие фигурки украшения естества жизни я отчисляю от человека. Обставься крупной вещью — и сам крупнее будешь. А игрушки — прочь, игрушки надобно вымести вон...

— Господскую привычку к пустякам я видел и в речах доктора. Кажется — правильно говорит человек, а отказаться от бляшек не хватает у него разума. И не видит он, что всё господство пустяками держится: книжками, игрушками, машинками — бумажной цепью оплело людей. Конечно, видеть это ему и пользы нет,— он сам соучастник господства. И выходило в речах у него так, что, ударив раз, два топором, он это же самое рубленое место паутиной разных словечек прикрывает, всё насчет осторожности, дескать — сразу хорошо не сделаешь. Запнулся человек сам за себя. Даже иной раз жалко было мне его.

— Между прочим, связался я с одной; была в больнице сиделка, рыжая, с зеленым глазом; в левый глаз ей скорняк, любовник, иглой ткнул, глаз вытек довольно аккуратно, веко опустилось плотно, и особенного безобразия лицу ее этот случай не принес. Лицо — худощавое. Нос был несколько велик, нос тоже не мешал мне. Жила она прищурясь, молчаливая такая, строгая, а говорили про нее, что распутна. И вот потянуло меня к ней, чувствую, что зеленый глазок ее разжигает плоть мою, как этого никогда не было со мной. Хотя я и хромой, а, видишь, мужик крепкий. Рожа у меня в ту пору еще добродушнее была. Бабы очень нахваливали глаза мои. Даже Любаша однова сказала: «Глаза у тебя, Яков, как у барышни».

— Однако при всем этом Татьяна отвергает меня. Говорю ей: «Ты — кривая, я — хромой, давай вместе любовь крутить».— «Нет, говорит, не хочу, устала я от вашего брата».

— Упрямство это еще больше распалило меня. Тогда поставил я игру на туза червей, на́ сердце, одолел бабу, и — точно в кипяток меня бросило; дико жадна и горяча была на ласку эта женщина! Любовь у нее

была похожа на драку: я скоро приметил, что ей не столько любовь приятна, сколько приятно лишать меня силы, замаять до бесчувствия. Не выйдет это у нее, не одолеет — сердится.

— И замечательного прямодушия была; спрашиваю ее: «Обманывать меня будешь?» — «Не буду», говорит. А подумав несколько, вдруг — довесила: «Только, видишь ли...» И — как по уху ударила: «Буду».

— Я ее чуть не избил, да она так вздохнула и так виновато поглядела единым глазом на меня, как будто не в ее воле обманывать мужиков. Огорчился я, конечно, любовь — дело опасное, того и гляди, что заразишься стыдной болезнью. А все-таки прямота ее понравилась мне. Вскоре увидал я, что и по душе она — сестра мне и разум у нее не спит.

— Характером была трудная; чуть заденешь ее, так вся и вспыхнет, а из каждого слова злоба брызжет, и глазок горит нехорошо, ненавистно. В ласковый час спросил ее: «Чего ты такая злая?»

— Тут рассказала она мне необыкновенную историю: жила сиротой у сестры, а сестрин муж, машинист, выпивши, изнасиловал ее, когда ей шел еще шестнадцатый год; месяца два она, от стыда и страха, молчала об этом, терпела насильство, ну, а потом сестра догадалась и выгнала ее из дома. Года три жила она проституткой, потом избили ее пьяные, легла в больницу, доктор присмотрелся к ней и нанял в сиделки. Был скандал, требовали, чтоб он прогнал ее, но он не согласился.

— «Жила ты с ним?» — спрашиваю; она, прикрыв глазок, говорит насмешливо: «Где уж нам уж выйти замуж за такого зверя! Ни раза и не дотронулся».— «Что ж ты, говорю, насмехаешься? Тебе его благодарить надо». Облизала губы и ворчит: «Я еще поблагодарю».

— Просто говоря, была она женщина редкая, это потом увидите. Тело тонкое, ловка, как белка, одевалась в свободные дни хоть и не богато, а достойно настоящей женщины из благородных. Да. Любаша была миловиднее лицом, а телом — неуклюжа.

— Вот — живу я, обтачиваю сам себя потихоньку, а война всё разыгрывается, глотает людей, как печь

дрова. Позвали на войну и доктора, он говорит: «Ну, мешок кишок, едем, что ли, изломанных дураков чинить?»

— Поехали. Татьяну тоже взяли сестрой, она фыркает: «И — верно: дураки! Поломали бы ружья, пушки, вагоны — вот вам и война».

— Известно, что на войне у нас ни удачи, ни порядка не было. Гоняют наш поезд со станции на станцию, катаемся без дела, а мимо нас тучами едут солдаты; туда едут — песни поют, оттуда ползут — стонут. Доктор сердится, бумаги пишет, телеграммы, требует, чтоб его допустили к делу. Говорит мне: «Гляди, мешок кишок, как с народом обращаются!»

Посерел, скулы обострились, рычит на всех и без оглядки ругает начальство, войну, беспорядок жизни. Очень я удивлялся смелости его: зачем рискует? Указываю Татьяне: «Вот как дерзко человек к делу рвется!» А она, прикрыв глазок, цедит сквозь злые зубы: «Ему за это чины, ордена дадут». — «Ну, нет, думаю, тут должен быть другой расчет!»

— Доктор говорил обо всем честно, правильно, как трезвой жизни сын про отца пьяницу, как наследник хозяйству. Служащие на станции, солдаты охраны и весь мелкий народ слушает его речи с полной верой. Даже жандармы соглашаются — плохо, всё плохо! Мне хотелось предупредить Александра Кириллыча, чтоб он говорил осторожней, ну, не нашел я подходящей для этого минуты, да и подойти к нему опасно было, того и жди, что простым порядком в морду ударит, совсем освирепел.

— Вдруг выскочил на станцию легавый старичок, с красным крестом на рукаве, в шинели на красной подкладке, инспектор что ли, выпучил глаза и завертелся, закружился, орет на доктора: «Под суд, под суд!» Доктор в дятлов нос ему бумаги тычет: «Это что?»

— Ну, для начальства бумага — не закон, как для богомаза икона — не святыня. Арестовали доктора, посадили к жандармам,— Татьяна моя начала бунтовать станцию. Тут я впервые увидал, до чего смела баба, так и лезет на всех, так и кидается. Некоторые смеются над ней: «Что он, доктор, любовник тебе?»

— И надо мной смеются. Мне — конфузно. Хоть и не замечал я, что она обманывала меня с доктором, да ведь разве это заметишь? Дело тихое, минутное, а у баб и одежа лучше нашей приспособлена для блуда. Утешаюсь: «Это она из благодарности за доктора старается».

— Не знаю, как бы разыгрался Татьянин бунт, в те дни необыкновенное летало над землей, как вороньё на закате солнца. Жандармы на станции с ног сбились, револьверами машут, угрожают стрелять. В эти самые минуты началась революция — побежал солдат с войны.

— Ворвался к нам поезд, да так, что мимо станции версты на полторы продрал, ни кондукторов, ни машиниста не было на нем, одни солдаты. Высыпались они на станцию, и начался крутёж, такую пыль подняли — рассказать невозможно. Начальника станции — за горло: «Давай машиниста!»

— Старика жандарма ушибли до́ смерти,— злой был старичок. Всё побили, поломали, расточили, схватили машиниста водокачки и — дальше! Остались мы, как на пожарище, ходим, обалдев, битое стекло под ногами хрустит; доктор освободился, сунул руки в карманы, мигает, как только что спал да проснулся.

— «Нам бы уехать отсюда»,— говорю. Он мне кулак показал: «Я те уеду!»

— Приказал избитых, раненых в наши вагоны таскать, только что мы успели собрать их — еще поезд гремит, тоже полон сумасшедшей солдатней, и — пошло, покатило, стал народ вывертываться наизнанку. Тут рассказывать нечего, вам известно, какая тогда человеческая метель буянила.

— Страха в те дни испытал я на всю жизнь. Особо страшно было, когда наш поезд угнали солдаты; фельдшер, сестры, санитары разбежались, и осталось нас трое: доктор, да я с Татьяной, да станционные, совсем уже обезумевший народ. А мимо нас всё едут, едут с воем, с гиком,— подумайте, каково было ночами! Станция небольшая, место глухое, леса кругом, невдалеке прижалась к лесу деревенька поселенцев; зажгут огни в деревне, а огни, как волчьи глаза,— жуть! Прожи-

вещь в темной тишине, как в яме, часок-другой, и снова слышно: гремит, воет, катится одичалый солдат, будто черти гонят его.

— Дней десять в этом страхе торчали мы, а — зачем? Этого я не мог понять. Больных у нас было всего девять человек, четверо померло, а остальные не так хворы, как напуганы. Доктор всем говорит, что началась революция и должна быть перемена господства власти. Я — соображаю: «Значит: другую узду на людскую нужду».

— Догадка эта в ту пору у меня хорошо отлежалась, дэ плотности камня. Татьяна слушает доктора въедчиво.

— Остался в памяти моей об этих днях один мелкий случай: подхожу я к жандармской квартире, где больные прятались, слышу Татьянин сухой голос: «Брезгуете?» Заглянул в окно, стоит она перед доктором, струной вытянулась, а он сидит, курит, бормочет, глядя под ноги ей: «Иди, иди...»

— Вышла кривая на крыльцо, вытирает руки подолом халата, говорит: «Жить нам тут незачем». Смеюсь внутри себя, соглашаюсь: «Конечно, незачем».

— Я за ней очень следил,— хотелось мне поймать ее с доктором. Тогда бы избил я ее, потому что горда была она со мной, несчастной прошлой жизнью своей гордилась. А так, без вины бить ее,— не было у меня случая. И надоела она мне несколько.

— Простились с доктором и пошли куда глаза глядят, ехать Татьяна не согласилась, понимая, что она для солдат — мышам сало. Шли вдоль железной дороги, зайдем в деревню — накормят нас, напоят. Жить можно. Крестьянство насторожилось, любопытствует: чего ждать? Татьяна докторовы слова говорит, я тоже, при хорошем случае, скажу тому, другому: «Упрощения жизни ждать надо, вот чего. Слабеет сила господства, иссякает; вон они и воевать разучились. Пустяками они держат нас под собой. Глядите,— надвигается наше время».

— Отдохнем и опять шагаем, беседуем. Вижу я, что хоть у Татьяны кипит великая злоба против доктора, а речам его она поверила, революцию эту прини-

мает как праздник свой. Говорю ей: «Ты, дурочка, одно помни: без лакеев господа не живут». Фыркает, не слушает меня.

— Потом приснастились мы к смирному поезду и приехали в город Читу, а там идет крутёж во всю силу, на улицах, на площадях шумит народ, шевелится, вроде раков в корзине, у заборов китайцы прилипли, ухмыляются. Между прочим, скажу: китаец — человек умный, он со всеми согласен, а никому не верит. В карты играть с китайцем — не пробуй, обыграет.

— Татьяна — у праздника. Блестит зеленым глазом, оскалила мелкие зубы свои, кричит всем: «Довольно господа брезговали нами, будет!»

— Гляжу я на нее и тоже ухмыляюсь китайской манерой. Мне какая выгода, что некоторые шашки в дамки прошли? Пристроился газетой торговать, хожу, поглядываю. Завел знакомство с парнем одним,— политический, только что со ссылки бежал, силач, ручищи длинные, а — смешно сказать — человек мелкого дела, часовщик. Состоял в окрошке этой, которая власть в городе забрала. Бунт понимал так, что-де это первый шаг к народной свободе. Я ему говорю: «Ты — шире шагай! Ты шагни через окрошку эту. Ты, мол, не ликуй, что в Думе рядом с господами сидишь. «Погоди,— обещает,— шагнем!»

— Хороший был парень, а — простоват. Заторопился поверить в партию, а тогда — какая партия была! Я знаю, что была и рабочая, и крестьянская, и господских не одна, да только все они тогда дело крутили на власть, не на интерес народа, а против царя. Это вот теперь наша партия правильно идет.

— При мне и началось там необыкновенное истребление народа, явился генерал с солдатами, и вся затея рассыпалась прахом. Великое неистовство было. Рассказывал доктор, как в Петербурге народ били, ну, я думаю, это пустяки, в Петербурге-то. В Чите народ истребляли, как кедровые орешки, где застигнут, там и бьют, без всякой волокиты. Так торопились убивать людей, как только можно от великого страха. Страх этот на всех рожах был: у солдат, у штатских. Взглянешь мельком — глаза человека будто остеклели, как

у слепого или покойника, а присмотришься — дрожат глаза.

— Был у часовщика приятель Петр, резкого ума парень, моряк какой-то, тоже беглый; на левой руке у него шесть пальцев; хотела его полиция убить, а он откупился за семнадцать рублей и говорит: «Вот, глядите, товарищи: словами мы всё разрушаем, а на деле крысу убить стыдимся, не то что городового, и если убьем кого, так нам это противно, а они нас бьют, как японцы тюленей».

— Это — верно сказано: я сам видел, как у политических длинна дорога от большого слова к маленькому делу. Вообще читинское время было для меня довольно поучительное, насмотрелся, надумался я и окреп в своих мыслях еще больше.

— Я, счастливым случаем, уцелел от смертной расправы; арестовали меня с этим часовщиком и повели расстреливать; вдруг унтер присматривается ко мне, спрашивает: «Ты, хромой, откуда — не из Барнаула ли? Ну,— говорит солдатам,—я его знаю, это — дурак! Я его очень хорошо знаю, он у доктора в кучерах жил». Я — обрадовался, шучу: «Дураков зачем убивать? Это умников перебить надобно, чтоб они нам, дуракам, простую жизнь нашу не путали». Унтер толкнул меня в переулок, кричит: «Ступай прочь, сукин сын, моли бога за нашу доброту».

— Убежал я, а часовщика расстреляли. Татьяна ходила смотреть на него, лежит, сказывала, как живой, горсть земли в руке зажал, а сапоги сняты.

— С Татьяной я простился. Наклевалась она, длинным-то носом, политических мыслей у моряка и давай учить меня. Ну, а я уж видел, что политические — мелкий народ, разум у них вывихнут книжками и не понимают они, что такое настоящее упрощение жизни. Я всякого человека насквозь вижу, я вам говорю: вернее своей мысли — меры нет! Политика — это тоже направление к господству, к насильству. Видел я, как партийные состязаются друг с другом, а у всех — одна цель: показать себя умнее другого.

— Татьяна говорит мне: «Я знаю, что надо делать, а ты только чадишь и, кроме себя, ничего не склонен видеть».

— Глупо говорила; она стала еще злей, а со зла люди всегда глупеют. И глаз у нее стал острее, травянистый глаз, вроде как бы медь окисла в зрачке, и такой стал ядовито мокренький глазок. В голосе — тоже медь звенит. Подурнела, еще боле усохла, нос вытянулся, губы истончились.

— Да. «Кроме себя, говорит, ничего не видишь».— «Каждый из нас, дуреха, живет в своей коже, она ему всего и дороже. А кожа просит тепла, мягкости. Вот — святые, они будто на камнях спали, а оказалось, что святые-то и не надобны никому».

— Стала мне эта женщина окончательно противна, ушел я от нее и нанялся сторожем на станцию одну,— название у нее смешное, вроде Потаскун. Живу, оглядываюсь. Поникли люди, сердце упало у всех. Прикинулся дурачком, дело свое делаю аккуратно, стараюсь всем угодить и говорю глупые мои слова: людей надо уравнять, жизнь упростить. Это — все понимают. Говорю бесстрашно и даже при жандарме,— жандарм там был хохол Кириенко, огромный мужик, морда — как у сома, усы китайские. Этот — действительный дурак. Вытаращит глазищи, слушает и сопит, а ночами — я ночным был — придет ко мне, упрекает: «Ты говоришь то самое, за что вашего брата насмерть бьют. Это тебя политические научили». А я ему в простоте душевной отвечаю: «Политические, Осип Григорьич, не учителя простецам, а — враги. Они хотят власти, а нам нужна свобода души». Сопит Кириенко: «Очень приятны твои слова, после того, что случилось. Все-таки ты будь осторожнее, потому что хошь ты и блаженный, ну, на это не посмотрят. Я, говорит, вижу, речи твои по Евангелию, но теперь и это не годится».

— Коротко сказать — стал мне Кириенко добрым дружком, и это мне очень помогало, потому что речи мои так по сердцу людям пришлись, что даже с других станций стали приезжать послушать меня, а некоторые и учить, в партию звать. Перед этими я дурака крутил во всю силу разума, и ничего, кроме досады, они от меня не получали, а Кириенке разика два сказал: «Поглядывай!»

— И всё бы у меня шло хорошо, и жил бы я там спокойно года́,— вдруг чёрт сунул на мою дорогу Сеньку Курнашева, был такой смазчик, кудрявый, рожа пестрая, как у маляра, веснушками обрызгана, плясун, гармонист. Вроде паяца, а — шустрый, учение мое сразу принял. Однако — другие люди научили его не добру. Как-то весенней ночью слышу я — бах, бах! Стреляют за станцией, около казармы; бегу туда, не торопясь, первому-то прибежать — расчета нет; вижу — Сенька мчится к водокачке, на его счастье — не окрикнул я Сеньку, думал: не он, а в него стреляли. Кричат: «Кириенку убили!»

— Действительно: лежит Кириенко поперек тропы, головой в кусты, руки вперед головы выкинул. Служащие сбежались, опасливо увещевают друг друга: «Не трогайте тело».

— Все поблекли, испугались, в ту пору за убийства взыскивалось очень строго: убьют одного, а вешают за это троих, пятерых. Сенька прибежал с молотком в руке, знаете — молоток на длинной ручке, которым по вагонным колесам стучат? Вот с таким. Суетится Сенька больше всех и твердит: «Я — на водокачке был, — вдруг слышу — палят, а я на водокачке...»— «Ах ты, думаю, дерзкая мышь!»

— А в это время другой жандарм, старичок Васильев, кричит: «Браунинг нашел, и от него нефтью пахнет, прошу всех помнить — пахнет!» Люди нюхают оружие, и Сенька тоже понюхал, усмехается: «Верно, пахнет!». А Васильев и объявляет ему: «Нефтью пачкаются у нас двое — ты да Мицкевич, поэтому я вас подозреваю».

— Глупый был старичок, ему бы молчать. Заявляю, что я в минуту выстрела видел Сеньку около водокачки,— мне парня жалко, — а Васильев свое твердит: «Тут, главное,— нефть и рукоятка сальная. Тебя, Яков, я тоже арестую, ты сторож и должен был видеть».

— Сенька отпрыгнул от него да с размаха как свистнет старичка молотком-то по виску, тот и не охнул. Конечно, Семена схватили, связали, меня — тоже, да еще Мицкевича, машиниста с водокачки, заперли нас

в зале третьего класса, сторожат, под окнами ходят, палки в руках у всех.

— Мицкевич поплакал, поныл и заснул, а я шепотком говорю Сеньке: «Зачем ты это сделал, дурак?»

— Не сознается, пыхтит; я его живо согнул в дугу, поник парнишко и рассказал, что его партийные уговорили на это дело, потому что Кириенко донес на некоторых, которые ко мне приезжали. Ну, в этом деле и моей вины был кусок, успокоил я парня, уговорил: «Молчи!»

— Тогда суд был строгий,— найди виноватого где хочешь, а — подай сюда! Наказали парня смертью, велели повесить, хотя я и настаивал, что он в этом деле не участник и что я его видел у водокачки. Обвиняющий офицер отвергнул меня, заявил, что: «Всеми здесь указано, что сторож этот — полуумный, верить ему нельзя».

— Мицкевича вовсе не судили, а меня оправдали. Приятели очень удивлялись: «До того опасно ты дурака крутил, что мы думали: затрет тебя суд!»

— Со станции меня, конечно, рассчитали, и лет семь я прожил цыганом,— где только не носило меня! На Урале, на Волге, в Москве два раза, в Рязани, по Оке ездил, матросом на буксире, Саватьму эту видел,— нищий городок. Живу, гляжу на всё, а душа беспокойна и упрямо ждет: должно что-то случиться.

— В Рязани зиму я легковым извозчиком был, конечно — от хозяина. Вот однова еду порожнем по улице, гляжу — монашенка идет, и это — Любаша! Даже испугался, остановил лошадь, кричу: «Любаша!»

— И точно обожгло меня — не она! Даже и не похожа — лицо гунявое, глаза сонные. С того часа обняла меня тревога еще больше и потянуло в Сибирь. Вы, может, так понимаете, что это — баловство, Любаша? Нет, тут другая музыка, тут, я думаю, детское играло в душе. Есть в миру такой особенный, первый человек, встретишь его, и — будто снова родился, вся жизнь твоя иначе окрашена. Жил я в Перми у инженера дворником, инженер этот пушки сверлил, человек суровый, было ему уже за сорок лет, дети у него, жена, а первый человек в доме — нянька. Ей лет восемьдесят, едва хо-

дит, злая, тленом пахла, а ему была она вместо матери. Да и не всякую мать эдак-то уважают, как он — няньку.

— В конце весны очутился я в Томске, пошел в больницу наниматься и сразу наткнулся на доктора, Александра Кириллыча. Очень обрадовался, хоша встречи с людями, которых раньше видел, не по душе мне: намекают они, что ты всё на одном месте вертишься. Доктор — поседел, щеки желтые, зубы в золоте; он тоже обрадовался, руку мне жмет, по плечу хлопает, как приятеля; конечно, шутит: «Ну что, мешок кишок, много ли истребил необыкновенного?»

— Принял меня на службу к себе, и опять я заведую порядком его жизни. Жил он при больнице, во флигельке, окнами в сад, две комнаты, кухня. И снова рассказываю я ему, как старуха внуку, про всё, что видел, говорю и сам слушаю: очень интересно! И пользу вижу для себя,— как будто всё лишнее с души в чулан складываю, прячу, и — очищается настоящая суть души. Рассказывать — очень полезно, рассказал, забыл и — снова чист пред собой. Про Татьяну рассказал, хотел испытать: заденет это доктора? Никак не задело. Дымит табаком, ухмыляется: «А ведь не просто всё это, Яков, а?»

— Вижу, что ума доктор не потерял, а в мыслях никуда не подвинулся. Досадно было слушать, как он старается зашить меня в мешок, доказывая, какие петли везде заплетены, и не мог я понять: зачем это нужно ему? Трудно мне было с ним.

— Вдруг — всё понял: верные мысли приходят внезапно. Случилось это в цирке, я всё в цирк ходил, глядеть на борцов; очень удивлял меня один чухонец. Не великой был он силы, не велик и телом, а одолевал людей и тяжеле и сильнее себя, одолевал необыкновенной своей ловкостью, тонкой выучкой. И вот смотрю я, как он охаживает здоровенного борца, русского, и сразу, как проснулся, догадываюсь: «Выучка — вот главная фальшь, в ней спрятан вред жизни».

— Даже в пот ударило меня и будто все косточки мои, вздрогнув, выпрямились. В двух словах клад для души и ключ к жизни: «Выучка — вред».

— Ею одолевает слабый сильного, ею народ лишен свободы. До слепоты ясно озарило меня, что отсюда идет всё необыкновенное и здесь начало дробления людей. Значит: дело так стоит, что надобно всех равномерно выучить или — объявить выучку запрещенной. Помню — шел домой осторожно, будто корзину сырых яиц на голове нес, и был я, как выпимши.

— Попросил доктора, чтобы дал он мне те книжки, которые в Барнауле давал, читаю и вижу вполне ясно: раскол людям от выучки. С той поры я окончательно выправился и отвердел сам в себе на всю жизнь. Я правильно говорю: своя мысль — море, а чужие — реки, сколько их стекает в морской-то водоем, а вода морская всё соленая.

— К доктору гости приходили, всё люди солидные, вели они политический разговор, не стесняясь меня; это было лестно мне. Изредка являлся осторожный старик, серый такой, в очках. Сутулый, шея у него не двигалась, так что головой он ворочал по-волчьи, вместе с туловищем, и голос у него подвывал голодным, зимним воем. Приходил он всегда с вокзала с чемоданчиком, потрет руки, лысину, бороду и требует отчета: «Ну-с, как живем?»

— К старикам у меня нет уважения, старики — вроде адвокатов, все грехи, поступки готовы защищать. Кроме того, бродяги, я не встречал ни единого старика с твердым умом. Конечно, я понимал, что этот — опасно политический волк, а после Читы политика мне была вполне понятна.

— Вот, летней ночью, приходит он с чемоданчиком, точно из печки вылез, закоптел весь, высох, поставил чемоданчик на пол и вместо — здравствуй! — говорит: «Ну-с, будет война».

— Действительно: прорвало глупость нашу, снова заварили войну. Крестный ход, колокольный звон, ура кричат на свою погибель; доктор подмигивает: «Вот тебе, мешок кишок, упрощение жизни!».

— Приуныл я. В ту пору никто не мог понять, какую пользу эта война принести может, хотя старик и доказывал доктору, что война обязательно кончится революцией, однако в этом я утешения не видел. Рево-

люция — была, а толку не родила; после нее еще хуже стало.

— Доктора потребовали в армию, а он был до того ушиблен этой войной, что сказал волковатому старику: «Пожалуй, честнее будет, если я пулю в лоб себе всажу».

— Старик — свое твердит: «Разобьют нас в три месяца, и будет революция».

— Говорить о времени войны этой — нечего. Вавилонское безумие и суета сумасшедших. Мужиков сибирских тысячами гонят в Россию, а оттуда на их место гонят чехов, венгерцев, немцев и — чёрт их знает, каких еще. Разноязычие, болезни, стон, смешение кровей. Бабы одичали. Прямо скажу — оробел я. Доктора гоняют из города в город, из лагеря в лагерь,— он по пленным делам был. Отойти от него я не решался, он меня от солдатства освободил. Замечательный человек,— ночей не спит, пить-есть время не находит, очень восхищался я трудами его. Непонятно было: что доброго сделали ему люди, из какого расчета заботился он о них? Да и люди-то чужие. На себя надежд нет у него, чинов, орденов — не ищет, с начальством — зуб за зуб. Был такой случай: загнали куда-то пленников и забыли про них, явился к нам прапорщик — жалуется, люди у него замерзают, дохнут с голода. Доктор своей властью от первого же поезда велел конвойным солдатам отцепить два вагона муки, гороха и разбазарил на пленников. Его — под суд за это. Однако — отложили суд до конца войны. Вообще он неистово законы нарушал в заботах о людях.

— В Тюмени встретил я Татьяну, кружится около пленников, одета в краснокрестный халат, темные очки на носу, пополнела, урядливая. Сказала, что она, еще до войны, выучилась на фельдшерицу. Доктор, само собою разумеется, поднял меня на смех: «Выучка, Яков, а? Никакого упрощения жизни не заметно, а?»

— А я и сам в то время,— от усталости, что ли,— поколебался в этих мыслях, потускнел разум у меня.

— Вдруг — как будто приостановилась чёртова мельница: по дороге в Тобольск, на какой-то станции подали доктору депешу, прочитал он ее, зажал в кулак,

побелел весь и говорит, гладя горло: «Яков — царя прогнали...»

— Меня тоже покачнули эти слова. Никогда я не думал о царе серьезно, и если говорили, что от него всё зло,— не верил в это. Зло — везде видел я. А теперь подумалось: а что, как и в самом деле царь и был головой господства? И вот — оторвали голову.

— Доктор шумит, помощник его, Окунев, чуть не пляшет, и у всех вижу радость. Неужели — доехали и, значит, выпрягайся, народ? Вижу — так оно и есть, ощетинился народ ежом, вцепился в землю, как ярый парень в девку, и видать, что того, что было десять лет назад, он теперь не допустит, нет! С войны люди побежали, не теряя разума, хозяйственно, с винтовками, а у некоторых и пулеметы и весь воинский снаряд. А главное — что им ни говори, всё понимают: верно — кричат — довольно с нас, терпели до конца. За этот год я, пожалуй, говорил больше, чем за все свои сорок три. В грудях у меня колокол гудел. Великие радости испытал я в тот год, большое уважение от людей ко мне видел!

— Пространства там огромные, места глухие, не то, что здесь, в тесноте, где деревня деревню в бок толкает, вся земля дорогами исхлестана и на каждых десяти верстах село, на каждой сотне — город. Там, сквозь леса, не всё доходило до нас вовремя, так что когда начался крутёж назад, к старым порядкам,— я этому сначала не поверил.

— От доктора я отказался, его в Иркутск угнали, живу в селе, под Николаевском, вдруг — конники приезжают, приказывают: пожалуйте воевать! С кем? Почему? Офицер, кудрявый такой, большелобый, объясняет: с Москвой, там будто какие-то немецкие наемники господство захватили. Говорил он довольно разумно, а — не верилось ему. В Сибири Москву не любят. Покряхтели мужики и пошли, а человек двадцать отговорил я: война эта — дело непонятное нам, кто ее затеял — мы не знаем, прячься, ребята, в леса, выжидай, что будет, гляди, где господа.

— Тут, на мое счастье, точно с облака спрыгнули двое городских парней и сразу объяснили нам господ-

ские затеи: «Эта война — против народа, вас зовут могилы рыть самим себе. Это, говорят, змея недодавленная подняла голову. А вам, крестьяне, надо держаться Москвы, там честно думают. Идите за большевиками, бейте господ по затылкам, по тылам,— вот ваше дело».

— Говорили они замечательно. Мужики видят, что я тоже одинаково с ними думаю, очень довольны мной. «Ты, просят, не уходи от нас, твоя голова нам полезна».

— А кольчаковские всё нажимают на деревни, на мужиков, поборы пошли, грабеж, хлеб тащат, скот уводят, сено — всё! Слышим — кое-где мужики в драку пошли, отстаивая свое хозяйство, а рабочие помогают им. Явился и к нам рабочий отряд, девять человек, начальник у них кочегар, Ивков, черный, сухой парень, длинный, сядет на лошадь — ноги до земли. Просят нас парни эти помочь им побить грабителей, их человек сорок, конных, верстах в тридцати в деревне бесчинствуют. Наши, тоже неоднократно обиженные, согласились, собралось шестьдесят семь человек, всё больше солдаты, даже и старичье пошло. Не в охоту было это мне, однако и я тоже винтовочку взял, иду.

— Подобрались к деревне по свету и дали бой. Ну, бой был невелик, троих подстрелили до смерти, человек пять поранили, у нас тоже один был убит, другой в колодезь свалился, утоп. Четверых пулями задело, в том числе и меня, по неосторожности моей, чкнула пуля в плечо, в мякоть. Стрелок я был никакой, охотой никогда не занимался, а однако распалило и меня; ружье — инструмент задорный, ты его только наведи, оно само стреляет. Делом этим мужики очень возгордились, хвастаются друг пред другом, домой шли — песни пели.

— А как подошли к своему-то селу — глядь, там тоже кольчаки озоруют, пожар в двух местах, вой, крик бабий. Ну, тут Ивков этот, кочегар, показал себя достойным воякой, разделил он нас на две части, обошел село, и — нагрянули мы врасплох. Тут дрались сердито, одних убитых оказалось с обеих-то сторон тридцать семь. Зато — досталась нам пушка, два пу-

лемета, ружья и множество всякого снаряда, да одиннадцать кольчаковцев на нашу сторону перешло.

— После этого решили мы совсем в лес уйти и жить на военном положении; ушли, пятьдесят семь человек. Живем на вольном воздухе, людей бьем, песенки поем. Да.

— Во всякой форме жизни есть свой недостаток; явился недостаток и у нас: начали привыкать люди к бродячей жизни по лесам да полям, ленятся. Рваные, драные, а пошиться — неохота. Доносишь свое донельзя — с мертвого снимаешь, а мертвый тоже не барином одет. Отбивается народ от своей настоящей, избяной жизни. Скушно мне; ночами — думаю: когда конец этому крутежу? И мертвого духа нанюхался я много. Да и людей жалко — много людей погибало от глупости своей, ой, много!

— Хоть я человек не боевой, а тоже раззадорился, стрелял и колол с большой охотой, однако вижу: война — занятие глупое и дорогое. Главное тут —огромнейший расход на пули,— сотни пуль истрачены, а людей убито десяток, остальные разбежались. Кроме того — война вредное занятие: портит людей.

— У нас был парнишко один, Петька, так он до того избаловался, что, бывало, наберем пленников, он обязательно пристает — давайте расстреляем! Просит Ивкова: дозвольте пристрелить! Глазенки горят, рожица красная. Миловидный был и с виду тихий. Запретит ему Ивков, а он все-таки застрелит пленника и оправдывается: «Это я — нечаянно!». Или скажет: «Да он всё равно раненый был, не выжил бы!»

— Раза два бил его Ивков за эти штуки. Таких, набалованных на убийство, у нас не один Петька был.

— Ивков, начальник наш, был характера угрюмого, ума не видного и всё моря хвалил,— он был кочегаром на военном судне, потом, за политику, на Амуре работал, в каторге. Человек бесстрашный,— потом оказалось, оттого бесстрашен, что незначительно умен. Любил он вперед всех выезжать, выедет, грозит ружьем, как дубиной, и матерно ругается, а в него — стреляют. Людей — не жалел. «Честные люди — они на море живут, говорил, а на земле основалась сволочь».

— Вообще же больше молчал, всё покряхтывал, спина у него болела, били его в катóрге, что ли. Нахватаем пленников, он посылает к ним меня: «Ну-ко, Язёв-Князёв, безобразие, поди усовести их, чтобы к нам переходили, а не согласятся,— расстреляем, скажи».

— Вот эдак-то захватили мы разъезд, пять человек солдат конных, и один, пораненный в руку и в голову, начал спорить со мной, да так, что прямо конфузит меня. Вижу — не простой человек. Спрашиваю: «Из господ будешь?» Сознался: офицер, подпоручик, да еще к тому — попов сын. Я ему угрожаю: «Мы тебя застрелим».

— Он — гордый, бравый такой, складный, лицо серьезное, и большой силы; когда брали его — оборонялся замечательно. Смотрит прямо, глаза хорошие, хотя и сердиты. «Конечно, говорит, расстрелять надо, это такая война, без пощады, без жалости».

— Как он это сказал — мне его жалко стало. Говорил я с ним долго, очень захотелось переманить к нам. А он ругает нас, особенно же Ивкова, оказалось, он за тем и ездил, чтоб Ивкова, наш отряд выследить, у них, кольчаковцев, пошла про нас слава нехорошая. «Погубит, говорит, всех вас дурак, начальник ваш».

— И так ловко обличил он Ивкова за то, что тот не умеет людей беречь, и за многое, что я сразу вижу: всё — правда, дурак Ивков. И вижу, что офицер этот,— Успенский-Кутырский фамилия его,— обозлился на всех и ничего ему не надо, только бы драться. Вроде нашего Петьки. Говорю ему шутя: «Драться хотите? Так идите к нам, бейте своих».

— Он только бровью пошевелил. Рассказал я про него Ивкову, хвалю — хорош человек!

— Ивков ворчит: «На них нельзя надеяться». — «Вояки-то мы плохие», говорю.— «Это — верно; силы много, а уменья нет. Поговори с ним еще. Расстрелять успеем».

— Угостил я его благородие господина Кутырского самогоном, накормил, чаем напоил, говорю ему: правда на нашей стороне. «А чёрт ее знает, где она! — бормочет

господин Кутырский.— Может, и с вами правда. У нас ее — нет, это я знаю».

— Коротко сказать — согласился Кутырский на должность помощника Ивкову, вроде начальника штаба стал у нас, если по-военному сказать. Ну, этот оказался мастером своего дела. Он так начал жучить нас, так закомандовал, что иной раз каялся я: напрасно не застрелили парня. И все у нас нахмурились, но тут пошли такие удачи, такие хитрости, что все мы поняли: это — молодчина! Он вперед, напоказ не совался, никакой храбрости не обнаруживал, он брал лисьей ухваткой, тихонько, крадучись, и действительно берег людей, не только в драке, а и на отдыхе. Он и ноги у всех оглядит, не стерты ли, и купаться приказывает часто, и стрелять учит неумеющих, на разведки гоняет, просто беда, покоя нет! «Кто вшей разведет — того драть буду!» — объявил.

— Ивкова и не видно за ним. Старые солдаты очень хвалили его, а молодежь недолюбливала.

— Было нас под ружьем шестьдесят семь человек, и вот в эдаком-то числе он водил нас на такие дела, что мы диву давались — как дешево удача нам стоила.

— Вначале он много разговаривал со мной, но скоро отстал,— ничего не может понять, натура не позволяла ему. «Ты, говорит, Зыков, с ума сошел».

— Чужих людей он не любил, поляков, чехов разных, немцев, а русских несколько жалел. Суров был. Нахмурится, зубы оскалит, и — каюк пленникам! Это уже — после, когда он Ивкова заменил; Ивкова убили. Он, Петька да солдат японской войны купались в речке, а на наш стан наткнулась компания офицеров, человек десять. Услыхал Ивков пальбу и вместо того, чтоб спрятаться в кусты, побежал к нам, а офицеры бегут от нас, встречу ему,— застрелил его конник. Петрушке голову разрубили, тоже помер. Признаться, так Петьку и не жалко было, надоел он баловством своим.

— А Ивкова как сейчас вижу: лежит на траве, растянулся в сажень, руки раскинул крестом — летит! В одной рубахе, около руки — наган револьвер. Его все пожалели, даже сам Кутырский присел на корточки, рубаху застегнул ему, ворот. Долго сидел. Потом сказал

нам хвалебную речь: это, дескать, был великий страдалец за правду и настоящий герой.

— Он с Ивковым очень подружился, они и спали рядом. Оба не говоруны, помалкивают, а всегда вместе и берегут друг друга. А меня Кутырский — не любил и даже — я так думаю — боялся. Бояться меня он должен был, потому что я все-таки не верил ему. Ивков правильно сказал: не полагается верить таким, которые от своих уходят.

— Так вот, значит, так и жили мы, вояки. Через пленников известно было нам, что поблизости ищут нас кольчаковские,— сильно надоели мы им. Кутырский, который умел всё выспрашивать, повел нас к Ново-Николаевску, и тут по дороге случилась неприятная встреча: наткнулись на обоз, отбили двадцать девять коней и, с тем вместе, санитарных пять телег да девять человек пленных нашей стороны, партизанщев.

— И вот оказалось: в одной телеге лежит доктор, Александр Кириллыч, а между пленниками этот читинский матрос, Петр, так избитый, что я его признал только по лишнему пальцу на руке. А доктора я и совсем не признал, он сам меня окрикнул: «Эй, мешок кишок!»

— Гляжу — лежит старик, опух весь, борода седая, лысый, глаза недвижимы и уж — больше не шутит. Приказал, чтоб я ему табачку достал; хрипит: «Трое суток не курил, чёрт вас возьми...»

— А закурив, все-таки спрашивает: «Упрощаешь?»

— Вижу я, что хоть он и доктор, а — не жилец на земле. Даже говорить ему трудно.

— А матрос спрашивает: помню ли я Татьяну? Оказалось, что она в Николаевске прячется и ему нужно видеть ее по делам разным. Упросил Кутырского послать за нею человека — послали. Мне любопытно: что будет? На третьи сутки прикатила она в шарабане, встретила меня как будто радостно. «Большевик?» — «Ну да,— говорю.— Конечно».

— Хотя я тогда еще не очень большевикам доверял. Собрала она всех наших и речь сказала: Кольчаково дело — плохо, надо скорее добивать его и наладить мирную жизнь. Кричит, руками машет, щека у нее дер-

гается, очки блестят. Постарела, усохла, лицо темное в цвет очкам, голодное лицо, а голос визгливый. Очень неприятная. Вечером рассказывала мне, что она давно настоящая партийная и даже в тюрьме сидела два раза. С моряком встретилась всего три месяца тому назад, когда он, раненый, в больнице лежал. Ну, это не мое дело. Спрашивает: «А знаешь, что доктор-то, хозяин твой, тоже с кольчаковцами?» Тут я говорю ей: «Вон он, доктор, в холодке лежит, под кустом».

— Так ее и передернуло всю,— жаль, не видно было, за очками, как ее глазок играет; не могла она забыть, что пренебрег доктор ейной бабьей слабостью, не могла! Я это давно знал, а в ту минуту совсем удостоверился. Смеюсь, конечно, над ней, а она доказывает, что доктор — враг. Пошел я к нему, говорю: «Тут — Татьяна!» Он только усы языком поправил; хрипит: «Вот как...»

— И больше ни слова не сказал. Следил я весь вечер: не подойдет ли она к нему, не разговорятся ли? Нет, ходит она сторонкой, прутиком помахивает; подойдет к матросу своему,— он на телеге лежал,— перекинется с ним словечком и опять ходит, как часовой. Я к доктору раза два подходил — спит он будто бы, не откликается. Будить — жалко, а хотел я сказать ему что-нибудь. Даже при луне заметно было, какое красное, раскаленное лицо у него,— у здоровых людей при луне-то рожи синие.

— К полуночи начали мы собираться дальше в путь. Спрашиваю Кутырского: «Чего будем делать, Матвей Николаич, с пленниками?» Шестеро было их: офицер поляк, трое солдат, все раненые, доктор да женщина еврейка, эта тоже умирала, уже и глаза у нее под лоб ушли. Кутырский — кричит: «На кой они чёрт?» Мужики предлагают добить всех, а Кутырский лошади своей морду гладит и торопит: «Собирайся!»

— Уговорил я сложить больных на берегу речки и оставить. Офицера, конечно, застрелили. А доктор, на прощанье, пошутил, через силу: «Тебе бы, мешок кишок, надо упростить меня».

— А я говорю: «Сам скоро помрешь, Александр Кириллыч».

— Все-таки жалко было мне его, много раз умилял он меня простотой своей. Хороший человек. Его, однако, убили; старик солдат, которого Японцем звали, да еще один охотник, медвежатник. Отстали от нас незаметно, а потом Японец, догнав, говорит мне: «Пришиб я доктора твоего, не люблю докторов».

— Они там всех добили, прикладами, чтоб не шуметь. Попенял я им, поругался немножко,— Кутырский сконфузил меня: «А если б, говорит, на них на живых разведчики наткнулись?»

— Н-да. Конечно,— убивать людей — окаянное занятие. Иной раз, может, легче бы себя убить,— ну, этого должность не позволяет. Тут — не вывернешься. Начата окончательная война против жестокости жизни, а глупая жестокость эта в кости человеку вросла,— как тут быть? Многие совсем неисцелимо заражены и живут ради того, чтоб других заражать. Нет, здесь ничего не поделаешь, бить друг друга мы будем долго, до полной победы простоты.

— Признаться — подумал я: не Татьяна ли посоветовала Японцу доктора добить? Потому что у Японца табаку не было, а тут вдруг он папиросы курит и по знакам на коробке вижу я, что папиросы — Татьянины дружка. Может быть, она это — из жалости, чтоб зря не мучился доктор. Бывало и так — убивали жалеючи.

— Вот вы видите: я человек кроткий, а, однако, своей рукой прикончил беззащитного старичка, положим — не из жалости, а по другой причине. Я ведь говорил, что стариков — не люблю, считаю их вредными. Своим парням я всегда говорил: «Стариков — не жалейте, они — вредные, от упрямства, от дряхлости. Молодой — переменится, а старикам перемениться — некуда. Они — самолюбы, сами собой любуются; каждый думает: я — стар, я и — прав! Они — люди вчерашнего дня, о завтрее старики боятся думать; он на завтра смерти ждет, старик». Тоже и насчет разных хозяйственных вещей я учил: «Крупную вещь — шкафы, сундуки, кровати — не ломай, не круши; а мелкое, пустяки разные,— бей в пыль! От пустяков всё горе наше».

— Да. Так вот — пришлось мне соткнуться с одним ядовитым старичком. Началось с того, что заболел я тифом, сложили меня в селе одном, у хорошего хозяина, и провалялся я почти всю зиму. Сильно болел, всю память выжгло у меня, очнулся — ничего не понимаю, как будто года прошли мимо меня. Мужики, слышу, рычат, костят Москву, большевиков матерщиной кроют. В чем дело? И — нет-нет, а шмыгнет селом старик в папахе, с палочкой в руке, быстрый такой старикашка, глазки у него темненькие, мохнатые и шевелятся в морщинках, как жуки,— есть такой жучок, крылья у него будто железные. Одет старик этот не отлично, а издали приметен.

— Время — весеннее, я кое-как хожу, отдыхаю, присматриваюсь к людям,— другие люди, совсем чужие, кто уныло глядит, кто сердито, а бойкости, твердости — нет. Жалуются на поборы, на комиссаров. Я, конечно, разговариваю их, объясняю, хотя сам не очень понимал: в чем суть? И вот, сижу однова за селом, у поскотины, катится по дороге старик этот, землю палочкой меряет, углядел меня, отвернулся в сторону и плюнул. Стало это мне любопытно. Спрашиваю хозяина избы, где жил: «Это кто же у вас?» — «Это, говорит, человек праведный и умный; он обмана не терпит». Говорит — нехотя, сурово.

— Был там один человек, Никола Раскатов, инвалид войны, молодой парень, без ноги, без пальцев на левой руке, он мне подробно рассказал: «Это — вредный старик, он тут у нас давно живет, ссыльно-поселенец; раньше — пчел разводил, а теперь построился в лесу, живет отшельником, ложки режет, святым притворяется. Он с начала революции бубнил против ее, а когда у него пасеку разорили — совсем обозлился. Теперь стал на всю округу известен, к нему издаля, верст за сто, приходят, советы дает, рассказывает, что в Москве разбойники и неверы командуют, и всю чепуху, как заведено: сопротивляться велит».

— И рассказал такой случай: воротились в одно село красноармейские солдаты, двое, а старики собрали сходку и говорят: «Это — злодеи. У этого его товарищи отца, мать убили, а у этого родительский дом сожгли,

хозяйство разорили, так что родители его теперь в городе нищенствуют; будут эти ребята наших парней смущать, и предлагаем их казнить, чтобы дети наши видели: озорству — конец!» Связали голубчиков, положили головы ихние на бревно, и дядя красноармейца оттяпал головы им топором.

— «Вот куда метнуло»,— думаю. Приуныл даже. Кроме Раскатова, было там еще с десяток парней новой веры, однако они, по молодости да со скуки, только с девками озорничали. Да и нечего кроме делать им,— отцы, деды наблюдают за ними, как за ворами, и — чуть что не по-прежнему парнишки затеют,—бьют их. Я внушаю им: «Разве не видите, где злой узел завязан?» Боятся, говорят: «Перебьют нас».—«Эх, думаю, черти не нашего бога!»

— Решил я сам поговорить с этим стариком значительным, понимаю, что затевает он крутёж в обратную сторону, хочет годы назад повернуть. А я очень хорошо знаю, что деревенские люди — глупые, я к этому присмотрелся. У мужика для всех терпенья хватает, только для себя он потерпеть не хочет. Всё торопится покрепче сесть да побольше съесть.

— Старик основался верстах в семи от села, на пригорке, у опушки леса; избенка у него, как сторожка, в одно окно, огородишко не великий, гряд шесть, три колоды пчел, собачонка лохматенькая — в этом всё его хозяйство. Пришел я к нему светлым днем, сидит старик на пеньке у костра, над костром в камнях котел кипит,— в котле чурбаки мякнут; на изгороди вершинки елок висят, лыком связаны,— мутовки будут, значит. Рукодельный старичок согнулся, ложки режет, не глядит на меня. Одета на нем посконь синяя, ноги — босые. Лысина светится, над правым ухом шишка торчит, вроде бы зародыша еще другой головы, что ли. Чувствую — шишечка эта особенно злит мою душу: вот, мол, пришел я потолковать с тобой.— «Толкуй».

— И — молчит. Действует ножом быстро, стружка так и брызжет на коленки, на ноги ему. Чурбаки сырые, режутся, как масло, от ножа никакого скрипа нет. В котле вода булькает, обок старика собака лает. А все-таки — тихо кругом старика.

— «Чего ради ты людей мутишь? — спрашиваю.— Какая твоя вера, какая затея?»

— Молчит. Опустил голову и даже глаз не поднимает на меня, как будто и нет перед ним человека. Ковыряет чурбак ножом и молчит, подобно глухому. Собачонка излаялась на меня до того, что дудкой свистит, а он и собаку унять не хочет. Сидит и только руками шевелит, да правое плечико играет у него, а кроме этого — весь недвижим, словно синий камень. Хорошо, спокойно вокруг его, старого чёрта; за избенкой — пахучий лес, перед ней, внизу — долина, речка бежит, солнышко играет.

— «Ишь ты, думаю, как ловко отделился от людей, колдун».

— Очень досадно мне было. И ругал я его, и грозил ему — ничего не добился, ни единого слова не сказал он мне, так я дураком и ушел. Иду, оглядываюсь: на пригорке костер светит. Соображаю: «Действительно — это вредный зверь, старик!»

— Не скрою: задел он меня за душу нарочитой глухотой ко мне. Меня многие сотни людей слушали, а тут — на-ко!

— Через сутки, что ли, хозяин, глядя в землю быком, говорит мне: «Что ж, Князёв, отлежался ты, шел бы теперь куда тебе надо».

— И жена его, и обе снохи, и батрак-немец — все глядят на меня уж неласково, говорят со мной грубо,— понял я, что старик рассказал им про меня. Да и все на селе избычились, будто не видят меня, а еще недавно сами на разговор со мной лезли. Задумался я: человек одинокий, убрать меня в землю — очень просто. Кого это обидит? Кто на это пожалуется в такие строгие к человеку дни? И тут — вскипело у меня сердце.

— Пошел к Раскатову, говорю: «Ну-ко, спрячь ты меня дня на три в незаметное местечко».

— Простился я с хозяевами честь честью и будто бы на свету ушел из села, а Раскатов запер меня в бане у себя, на чердаке. Сутки сижу, двое сижу и третьи сижу. А на четвертые дождался ночи потемнее и пошел. Завязал голыш в полотенце, вышло это орудие вроде кистеня. Был у меня и револьверт, я его Раскатову

продал; для одинокого человека в дороге это инструмент опасный,— он характер жизни выдает.

— Пришел к старику, стучусь смело, думаю: он к ночным гостям, наверно, привык, не испугается. Верно: открыл он дверь, хоть и держится рукой за скобу, ну, я, конечно, ногу вставил между дверью и колодой и это — зря; старик сразу понял, что чужой пришел. Храпит со сна: «Кто таков? Чего надо?»

— Собачка его вцепилась в ногу мне, тут я старика — по руке, а собаку — пинком; собаку надо бить под морду, снизу вверх, эдак ей сразу голову с позвонка сшибешь.

— Вошел в избу, дверь засовом запер, а старик, то ли еще не узнал меня, то ли испугался,— бормочет: «Почто собаку-то...»

— Шаркает спичками. Тут бы мне и ударить его, да это, видишь ли, не больно просто делается, к тому же и темно мне. Ну, засветил он лампу, а всё не глядит на меня, от беззаботности, что ли, а может, от страха. Это и мне жутко было, даже ноги тряслись, особенно — когда он, из-под ладони, взглянул на меня, подался, сел на лавку, уперся в нее руками и — молчит, а глаза большие, бабьи, жалобные. И мне тоже будто жаль его, что ли. Однако говорю: «Ну, старик, жизнь твоя кончена...» А рука у меня не поднимается. Он бормочет, хрипит: «Не боюсь. Не себя жалко — людей жалко,— не будет им утешения, когда я умру...» — «Утешение твое, говорю, это обман. Богу молиться будешь или как?»

— Встал он на колени, тут я его и ударил. Неприятно было — тошнота в грудях, и весь трясусь. До того одурел, что чуть не решился разбить лампу и поджечь избенку,— был бы мне тогда — каюк! Прискакали бы на огонь мужики и догнали меня, нашли бы в лесу-то. Место мне незнакомое, далеко не уйдешь. А так я прикрыл дверь и пошел лесом в гору, до солнцато верст двадцать отшагал, лег спать, а на сонного на меня набрели белые разведчики, что ли, девятеро. Проснулся — готов! Сейчас, конечно, закричали: шпион, вешать! Побили немного. Я говорю: «Что вы деретесь? Что кричите? Тут, верстах в семи, большевики

под горой стоят, сотни полторы, я от них сбежал, мобилизовать хотели...» Испугались, а — верят, вижу. «Отчего кровь на онучах?» — «Это, говорю, рядом со мной человеку голову разбили прикладом, обрызгало меня».

— Ну,— обманул я их и напугал. Пошли быстро прочь и меня с собой ведут. Хорошая у меня привычка была — дурака крутить в опасный час, несчетно выручала она меня. К утру я с ними был на ровной ноге, совсем оболванил солдат. А-яй, до чего люди глупы, когда знаешь их! Во всем глупы: и в делах, и в забавах, и в грехе, и в святости.

— Хотя бы старик этот... Ну, про него — будет. Это мне неохота вспоминать. Твердый старик был, однако...

— Да, да,— глупы люди-то... А всё — почему? Необыкновенного хотят и не могут понять, что спасение их — в простоте. Мне вот это необыкновенное до того холку натерло, что ежели бы я не знал, как надобно жить, да в бога веровал,— в кроты бы просился я у господа бога, чтобы под землей жить. Вот до чего натерпелся.

— Ну, теперь вся эта чёртова постройка надломилась, разваливается, и скоро надо ждать — приведут себя люди в легкий порядок. Все начали понимать, что премудрость жизни в простоте, а жестокие наши особенности надо прочь отмести, вон... Необыкновенное — чёрт выдумал на погибель нашу...

— Так-то, браток...

ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Андреева — М. Ф. Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы. Изд. 3. М., «Искусство», 1968.

Архив $Г_{III}$ — Архив А. М. Горького, т. III. Повести, воспоминания, публицистика. Статьи о литературе. М., Гослитиздат, 1951.

Архив $Г_{VI}$ — Архив А. М. Горького, т. VI. Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке, 1957.

Архив $Г_{VIII-XIII}$ — Архив А. М. Горького, т. VIII. Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., Изд-во АН СССР, 1961; т. IX. Письма к Е. П. Пешковой. М., Гослитиздат, 1966; т. X. М. Горький и советская печать. М., «Наука», кн. 1, 1964; кн. 2, 1965; т. XI. Переписка А. М. Горького с И. А. Груздевым, 1966; т. XII. Художественные произведения. Статьи. Заметки, 1969; т. XIII. Горький и сын. Письма. Воспоминания, 1970.

ВН — М. Горький в воспоминаниях нижегородцев. Горький, 1968.

Воровский — В. В. Воровский. Литературно-критические статьи. М., Гослитиздат, 1956.

Воронский — А. Воронский. Литературно-критические статьи. М., «Советский писатель», 1963.

ВС — М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955.

Г и его время — И. А. Груздев. Горький и его время. М., Гослитиздат, 1962.

Г, Материалы — М. Горький. Материалы и исследования, т. I. Л., Изд-во АН СССР, 1934.

Г-30 — М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах. М., Гослитиздат, 1949—1953.

Г Чтения, 1961—1968 — Горьковские чтения, 1958—1959. М., Изд-во АН СССР, 1961; Горьковские чтения. М., «Наука», 1968.

К — М. Горький. Собрание сочинений, тт. 1—21. Berlin, Verlag «Kniga», 1923—1928.

ЛЖТ$_{I-IV}$ — Летопись жизни и творчества А. М. Горького, вып. I—IV. М., Изд-во АН СССР, 1958—1960.

ЛБГ — Личная библиотека М. Горького.

Лит Насл — Горький и советские писатели. «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963; М. Горький и Л. Андреев. «Литературное наследство», т. 72. М., «Наука», 1965.

Муратова — К. Д. Муратова. М. Горький в борьбе за развитие советской литературы. М.— Л., 1958.

Нижегородский край — «Нижегородский край. Адресная и справочная книга г. Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии». Нижний Новгород, 1901.

В семнадцатый том настоящего издания вошли «Заметки из дневника. Воспоминания», написанные Горьким в период с 1922 по 1924 год, и «Рассказы 1922—1924 годов». Названные произведения после первой публикации были напечатаны отдельными изданиями в *К* и включены автором в Собрание сочинений, т. 17, *К*.

Тексты включенных в том произведений подготовили и примечания к ним составили: *Л. Г. Бухарцева* («Отшельник», «Рассказ о безответной любви», «Рассказ о герое», «Рассказ о необыкновенном»); *И. И. Вайнберг* («Рассказ об одном романе», «Карамора», «Анекдот», «Репетиция», «Голубая жизнь»); *А. М. Крюкова* («Заметки из дневника. Воспоминания»).

Заметка, предваряющая комментарии к отдельным произведениям, составившим книгу «Рассказы 1922—1924 годов», написана *А. И. Овчаренко*.

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством *В. С. Нечаевой*.

В научном редактировании тома принимал участие *Н. Н. Жегалов*.

«ЗАМЕТКИ ИЗ ДНЕВНИКА. ВОСПОМИНАНИЯ»

(Стр. 5)

Впервые как единое целое напечатано отдельной книгой: М. Горький. Заметки из дневника. Воспоминания. Berlin, Verlag «Kniga», 1924. Кроме восьми произведений («Учитель чистописания», «Монархист», «Петербургские типы», «Отработанный пар», «Быт», «Из письма», «Митя Павлов», «Вместо послесловия»), все «заметки» и «воспоминания» были опубликованы в 1923—1924 годах в журналах «Беседа», «Красная новь», «Русский современник», «Прожектор»[1] (см. ниже примечания к отдельным произведениям). Некоторые из них до русской публикации были напечатаны в переводе на французский язык в журнале «Europe», 1923, № 2, 15 марта, стр. 180—200. Здесь, под заглавием «Images de Russie» («Образы России»), появились в переводе Мишеля Дюмениля де Грамона «Заметки о Льве Толстом», «Могильщик», «Смешное», «А. А. Блок», «Паук», «Люди наедине сами с собою» [2]. «Палач» и «Могильщик», до появления их в отдельном издании *К*, были напечатаны, в обратном переводе с французского, под заглавием «Русские портреты. Из неизданных в России рассказов М. Горького», в «Красной газете», 1924, № 8, 10 января.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Оригинал набора первого отдельного издания *К (ОН)*, включающий в себя публикации журнала «Беседа» и машинописи всех остальных произведений, за исключением очерка «Н. А. Бугров». К оригиналу набора приложено оглавление, написанное автором позднее, по-видимому, в верстке (ХПГ-30-1-1).

2. Гранки того же издания (*Грн*), правленные автором (ХПГ-30-1-2).

3. Верстка *(Врст)* трех произведений: «Н. А. Бугров» (с авторской правкой), «Палач», «Испытатели» (ХПГ-30-1-3).

---

[1] Непосредственного участия в этих публикациях автор не принимал — см. его письмо А. К. Воронскому, редактору «Красной нови», от 19 февраля 1924 г. (*Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 11—12).

[2] Последнее под заглавием «Редкости» было напечатано также в «La Nouvelle Revue Française», 1923, № CXVI, стр. 848—849.

4. Автографы произведений: «Знахарка» — *ЧА* (ХПГ-31-3-1) и «Вместо послесловия» (ХПГ-6-1-1).

5. Авторизованная машинопись *(АМ)* произведений, напечатанных в журнале «Беседа», 1923, № 1 (ХПГ-30-1-4).

6. Две авторизованные машинописи *($АМ_1$* и *$АМ_2$)* очерка «Н. А. Бугров» (ХПГ-1-8-1, 2).

Печатается по тексту первого отдельного издания *К* со следующими исправлениями:

Стр. 9, строка 6: «Усердный» вместо «Усердный лекарь» (по *Грн*).

Стр. 12, строки 23—24: «из его сиденья торчат клочья волоса» вместо «из его сиденья торчат клочья, волоса́» (по *ОН* и *Грн*).

Стр. 62, строки 2—3: «Доктор Аркадий Рюминский, фамилия от рюмки» вместо «Доктор Аркадий Рюминский, или Рюмин, фамилия от рюмки» (по *Грн*).

Стр. 81, строка 2: «показалось, что час истек» вместо «показалось, час истек» (по *ЧА*).

Стр. 82, строки 6—7: «Иваниха громко грызет сахар» вместо «Иваниха грызет сахар» (по *ЧА*).

Стр. 86, строка 35: «Бог правду видит» вместо «Бог правду любит» (по *ЧА*).

Стр. 87, строка 26: «к темным пятнам окон» вместо «к темным пятнам икон» (по *ЧА*).

Стр. 96, строки 4—5: «за книгу о Гордееве» вместо «за книгу Гордеева» (по *$АМ_2$*).

Стр. 99, строка 20: «как бы нарочно подчеркнутым» вместо «как бы нарочито подчеркнутым» (по *$АМ_2$*).

Стр. 100, строка 17: «маленький, горбатый человечек» вместо «маленький, горбатый человек» (по *$АМ_{1,2}$*).

Стр. 100, строки 19—20: «ложился спать» вместо «он ложился спать» (по *$АМ_1$*).

Стр. 100, строка 26: «уставленного мебелью» вместо «установленного мебелью» (по *$АМ_{1,2}$*).

Стр. 108, строка 11: «трудно жить» вместо «вам трудно жить» (по *$АМ_{1,2}$*).

Стр. 119, строка 34: «говоришь — это законно» вместо «говоришь — что законно» (по *$АМ_{1,2}$*).

Стр. 138, строка 12: «претерпел несколько» вместо «протерпел несколько» (по *АМ*).

Стр. 169, строка 24: «показывала луне острый алый язычок» вместо «показывала луне острый, злой язычок» (по *АМ*).

Стр. 173, строка 21: «пыльный шум» вместо «пьяный шум» (по *АМ*).

Стр. 184, строки 2—3: «Грейман хрипел, присвистывая» вместо «Грейман хрипел» (по *АМ*).

Стр. 193, строка 41: «Встал и, точно стихи читая, проговорил в два удара» вместо «Встал и проговорил в два удара» (по *ОН*).

Стр. 211, строки 37—38: «человечек этот» вместо «человек этот» (по *ОН*).

Стр. 213, строка 17: «их у нас» вместо «ну у нас» (по *ОН*).

Замысел книги «Заметки из дневника. Воспоминания» относится, предположительно, к 1922 г. Первое упоминание о нем содержится в письме Горького Р. Роллану от 7 декабря 1922 г. Перечислив последние произведения, которые он, по просьбе Роллана, мог бы предложить издательству Эмиля Ронигера в Швейцарии — воспоминания о Чехове, Толстом, Андрееве и Короленко, «Мои университеты», «О любви» (см. в настоящем томе стр. 607—608),— Горький замечал: «Как видите — работаю много. Затеваю книгу „Русские люди". Эта книга, наверное, будет интересна для Европы, всё же вышеназванное — едва ли. . .» (Архив А. М. Горького, ПГ-ин-60-6-75).

Произведения, положившие начало книге, создавались в процессе организации Горьким журнала «Беседа».

В период работы над первым номером этого журнала к писателю обратился Р. Роллан с просьбой принять участие в организуемом издательством «Ридер» в Париже журнале «Europe» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-ф-5-1-12). Горький ответил согласием и 29 января 1923 г. отправил Р. Роллану рукопись своего нового произведения. «Посылаю Вам для „Europe",— писал он,— несколько заметок о Льве Толстом и отрывки моего дневника. Очень прошу Вас отправить мою рукопись господину Дюменилю де Грамону ⟨. . .⟩ ибо я разрешил ему переводить все мои произведения на французский язык ⟨. . .⟩ То, что я предлагаю Вам, еще не было опубликовано и будет напечатано по-русски в апрельском номере ⟨т. е. в № 1⟩ русского журнала „Беседа" в Берлине» (Архив А. М. Горького, ПГ-ин-60-6-77).

21 февраля 1923 г. Горький сообщал Г. Уэллсу: «Первая книга ⟨журнала⟩ уже набирается» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 73). В мае 1923 г. «Беседа» вышла в свет. Цикл, опубликованный в первом номере журнала, включал в себя, кроме заметок о Толстом, двенадцать отрывков, из которых десять позднее вошли в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания» под заглавиями: «Могильщик», «Смешное», «Мечта», «А. А. Блок» (последний отрывок), «Паук», «Люди наедине сами с собою», «Палач», «Испытатели» (первая часть).

Во втором номере «Беседы» (август 1923 г.) Горький поместил новый цикл заметок. Бо́льшая часть их вошла в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания» под заглавиями: «А. А. Блок» (первые три отрывка), «Из дневника», «Чужие люди», «Садовник», «Неудавшийся писатель», «Ветеринар», «Герой», «Законник».

К этому времени у Горького, вероятно, окончательно выкристаллизовался замысел серии заметок и воспоминаний именно как целостной книги: в письме Ф. А. Брауну от 5 июля 1923 г. он уже называет свою новую книгу в числе тех, которые предназначались для перевода на немецкий язык (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-6-35-15). Месяц спустя, 6 августа, Горький сообщал Р. Роллану: «Бешено работаю. Использовал часть своего „Дневника"; кажется, из этого получится оригинальная книжка» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 337).

Летом 1923 г. помощники писателя по изданию его произведений ставят перед ним вопрос о подготовке отдельной книги

заметок. В связи с этим 7 августа Горький пишет П. П. Крючкову: «М. И. ⟨Будберг⟩ написала мне, чтоб я выслал вам все „Заметки", но не объяснила: для какой цели? Издавать их хотите? Это, пожалуй, рано, да они еще и не вполне готовы для печати. Но часть их я мог бы прислать и теперь. Их надо бы напечатать на машинке,— можно?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-26). Спустя три дня, 10 августа 1923 г., Горький отправил рукопись своего нового произведения Крючкову: «...посылаю 44 листа — 176 страниц — „Заметок" и очень прошу Вас немедля — если это можно — распорядиться, чтоб их напечатали на машинке и тотчас же прислали мне два экземпляра.

Очень прошу Вас: скажите, чтоб каждую „заметку" печатали отдельно, придерживаясь моей нумерации страниц и оставляя между каждой пропуски» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-27). Рукопись содержала все произведения, составившие книгу, кроме очерка «Н. А. Бугров», включенного в нее несколько позже. На этом автор считал свою работу законченной. «Заметки бросил»,— сообщил он В. Ф. Ходасевичу 21 августа 1923 г. («Новый журнал», Нью-Йорк, 1952, кн. 30, стр. 191).

Однако, готовя книгу к печати, Горький еще раз перечитал и стилистически отредактировал ее. Об этом можно судить по той правке, которая сделана рукой М. И. Будберг на машинописных страницах оригинала набора отдельного издания. По характеру правки можно предположить, что она делалась по указаниям автора или перенесена в сохранившуюся машинопись с недошедшего до нас авторского экземпляра. «Заметки все нумерованы, приведены в порядок, недостающие вложены — ручаюсь головой! Сданы в печать»,— сообщала М. И. Будберг Горькому в начале сентября 1923 г. (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-157-47).

Существенной была работа автора и в верстке — именно тогда в книгу был включен очерк «Н. А. Бугров» и составлено оглавление ее, определившее окончательный состав и композицию всей книги.

Книга набиралась в ноябре — декабре 1923 г.— на листах верстки стоят даты: 21 ноября — 10 декабря 1923 г. В конце декабря 1923 г. Горький писал Крючкову: «...посылаю: корректуру „Заметок", кое-где надо бы поправить знаки препинания, в „Знахарке" вместо Ерзи набрано Ерги...» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-36).

В июне 1924 г. книга «Заметки из дневника. Воспоминания» вышла в свет (см.: Maxim Gorki in Deutschland. Berlin, 1968, стр. 159).

К своему новому произведению Горький относился очень неровно. В цитированном выше письме Ходасевичу от 21 августа 1923 г. он замечал: «Второй № ⟨„Беседы"⟩ несколько тяжел, скучноват. Очень скучны „Заметки"» («Новый журнал», 1952, кн. 30, стр. 191). Но был доволен, получив от М. Ф. Андреевой письмо с положительной оценкой «Заметок». «Спасибо за отзыв о Горьком,— отвечал он ей.— Я, кажется, сам понимать начинаю, что этот может писать недурно ⟨...⟩ Значит, „Заметочки"

нравятся Вам? Надеюсь в 3-й номер 〈„Беседы“〉 дать лучше» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-37).

7 октября 1923 г., когда книга «Заметки из дневника. Воспоминания» находилась в производстве, Горький писал М. Ф. Андреевой:

«Очень тронут твоей, друг мой, похвалою „Заметкам“, очень тронут и сердечно благодарю, хотя должен сказать, что лично я значения им не придаю: это — мусор, который необходимо было выбросить из души и памяти, чтоб он не мешал работать. Гораздо больше значения „Заметки“ имеют как уроки „чистописания“, которые я сам себе даю, желая выучиться писать без лишних слов и готовясь к серьезной работе. Мне пора научиться писать хорошо, не правда ли?» (*Андреева*, стр. 352).

«Заметки из дневника. Воспоминания» были высоко оценены читателями, вызвали острые споры в критике.

«...не знаю, какими словами выразить Вам свое восхищение перед последними Вашими произведениями в „Красной нови“ и в „Беседе“, просто скажу, это теперь лучше всего, и у Вас лучше всего прежнего»,— писал Горькому М. М. Пришвин 3 ноября 1923 г. (*Лит Насл*, т. 70, стр. 325).

Восторженно отозвался о «Заметках из дневника. Воспоминаниях» и «Рассказах 1922—1924 годов», как о совершенно новых книгах, К. А. Федин (см. в наст. томе, стр. 604—605).

Мысль о «новом Горьком» содержится во многих критических отзывах. «Горький остается большим, интереснейшим художником даже в набросках, даже в отрывистой, недоработанной еще, незаконченной вполне прозе; ибо он умеет и имеет, что сказать, и поэтому его книга 〈. . .〉 остается большой художественной ценностью. „Новый Горький“ — вторая, великолепная его молодость — налицо» (И. Веров. М. Горький. Воспоминания. Заметки из дневника.— «Новый мир», 1925, № 9, стр. 148).

«Новый Горький» — назвал свою статью о писателе В. Шкловский. Он увидел в его произведениях последних лет прообраз литературы будущего и, в частности, приветствовал «Заметки» как возрождение и обновление старого жанра «документальной прозы» («Россия», 1924, № 2, стр. 204).

Книга Горького была с интересом встречена в среде молодых советских писателей. Так, Л. М. Леонов писал автору 11 ноября 1924 г.: «Ведь мы Вас, Алексей Максимыч, очень любим, по-настоящему, а об „Воспоминаниях и заметках из дневника“ очень и очень часто говорим» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 248).

«Последние Ваши произведения у писателей самых различных направлений, молодых и старых — пользуются большим успехом,— говорится в письме П. Низового Горькому от 10 марта 1925 г.— Мне недавно пришлось разговаривать с группой молодых поэтов из Брюсовского института. В прошлом году они не признавали ни Гоголя, ни Толстого, а теперь говорят о Ваших „Пожарах“, что это написано изумительно» (цит. по кн.: *Муратова*, стр. 248).

Наряду с признанием высоких художественных достоинств книги многие критики отмечали ее «незлободневность» (см.: А. Воронский. О Горьком.— «Красная новь», 1926, № 4, стр. 210). В художественном осмыслении Горьким прошлого с позиций настоящего авторы некоторых статей увидели сознательный уход писателя от современных событий: «Человек перестал звучать гордо, буревестник перестал радоваться буре. И в этом усталом безверии — центр, самое существенное в новом Горьком» (И. Веров. Цит. выше рецензия). В авторской оценке событий критики усмотрели, с одной стороны, «европейский демократизм», неуместный, с их точки зрения, в революционную эпоху (см. «Октябрь», 1926, № 7—8, стр. 217), а с другой — чрезмерное подчеркивание отрицательных сторон отечественного прошлого. (Наиболее концентрированно эта мысль выражена в статье В. Вешнева «Горькое лакомство».— «На литературном посту», 1927, № 20, стр. 53—55).

При всем том критики почти единодушно подчеркивали глубокий гуманистический смысл книги Горького. «Славную галерею русских национальных типов он пополнил новыми свежими образцами,— писал А. Воронский.— Прекрасные силы этих озорников расходовались напропалую, зря, нелепо и неразумно, но наличие их свидетельствует о больших творческих дарах „народной стихии“» (А. Воронский. О Горьком.— «Красная новь», 1926, № 4, стр. 213).

Именно эта сторона произведения в сочетании с художественной законченностью привлекла к нему внимание и зарубежного читателя. Например, базельская газета «National Zeitung» в номере от 11 декабря 1927 г. указывала, что книга Горького, состоящая из «отдельных прозаических отрывков, дает более наглядную картину подлинно человеческого в своих крайностях, чем иные аккуратно построенные, современные западноевропейские романы» (цит. по кн.: И. Груздев. Современный Запад о Горьком. Л., 1930, стр. 123). «Художник ваяет отдельные типы окружающей его народной среды пластически ясно, в метких и сжатых фразах. Даже внутренне ему совершенно чужие и далекие явления рисует его острое перо с такой безжалостной остротой и ясностью, что этот сборник по праву может быть причислен к шедеврам искусства наблюдения и рассказа»,— констатировал рецензент газеты «Hessischer Kurier» 20 марта 1928 г. (там же, стр. 123—124).

ГОРОДОК. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь — февраль, стр. 100—106.

В произведении отразились впечатления, связанные с пребыванием писателя в Арзамасе (см. наст. том, стр. 14), куда он был выслан, после освобождения из Нижегородской тюрьмы, «под гласный надзор полиции» (*Г-30*, т. 28, стр. 497). 8 или 9 (21 или 22) мая 1902 г. Горький писал К. П. Пятницкому: «Вот

я в Арзамасе [1] и очень доволен этим. Славный город. 36 церквей и — ни одной библиотеки. По улицам, мощенным огромными обломками каких-то серых скал, ходят свиньи, полицейские и обыватели, ходят медленно, имея вид существ, совершенно лишенных каких-либо активных намерений.

Уличная жизнь очень развита — обыватели бьют жен своих на тротуарах 〈. . .〉

Тихо здесь, славно. Окрестности — мне нравятся, широко, гладко» (там же, стр. 242—243).

Стр. 7. *...ими терзали людей, зарытых здесь, на холмах.*— Имеется в виду расправа, устроенная близ Арзамаса князем Ю. А. Долгоруким над разинцами (см. т. IX наст. изд., стр. 586).

Стр. 7. *...казаки Степана Разина ∽ мордва и чуваши Емельяна Пугача ∽ Мы при обоих бунтовали...*— Речь идет об участии мордовского и чувашского населения, проживавшего на территории Среднего и Нижнего Поволжья, в крестьянских войнах под руководством Степана Разина в 1670—1671 гг. и Емельяна Пугачева в 1773—1775 гг. (см.: «История СССР», т. 3. М., 1967, стр. 93—97, 475—480, а также «Пугачевщина», т. 2. Из следственных материалов и официальной переписки. М.— Л., 1929, стр. 304, 306—308.— *ЛБГ*).

Стр. 8. *...слобода эта принадлежала знаменитой Салтычихе...*— По-видимому, село Выездная слобода в Арзамасском уезде, владение Салтыкова (см.: «Список населенных мест Нижегородской губернии». Нижний Новгород, 1911, стр. 126).— *Салтычиха* — Д. Н. Салтыкова (ум. 1801), вдова ротмистра конной гвардии Глеба Салтыкова; помещица, истязала и убивала крепостных крестьян (см.: С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, т. 27. М., 1877, стр. 151—153).

Стр. 10—11. *...«Кровавая рука» ∽ капитан Лакузон...* — Какой роман имеется здесь в виду — не установлено. Возможно, речь идет о произведении, посвященном событиям из истории Франции первой половины XVII века. В 1628 г. войска короля Людовика XIII по приказу кардинала Ришелье осадили и взяли главный оплот гугенотов (протестантов) — крепость Ла-Рошель. *Лакузон* (псевдоним, настоящее имя Claude Prost, 1607—1681), предводитель партизан Франш-Конте (в то время провинция Испании), действовавших против французских войск (см.: R. Fonville. Lacuson. Marque-Mailarro, 1955).

Стр. 11. *Не люблю я этих земских ∽ Они считают.*— Земства — выборные органы местного управления, созданные в России по земской реформе 1864 г. Доходы земских учреждений

---

[1] «Арзамас — древнейший мордовский поселок в Нижегородской губернии, уездный город с 1779 г. 〈. . .〉 Жителей имеет 10631 〈. . .〉 Имеется 31 церковь и 3 монастыря» (*Нижегородский край*, стр. 23.— *ЛБГ*).

(в том числе статистических) создавались главным образом за счет обложений налогами крестьянских наделов.

Стр. 11. *Сива птичечка, синичка...*— Вероятно, пародия на распространенную песню о «сизом голубочке», бытовавшую во многих вариантах, — см., например, «Собрание отборных, старых и новых, российских песен». СПб., 1803, стр. 4, 15, 18.

Стр. 14. *Здесь Лев Толстой со «арзамасский», мордовский ужас...*— Горький имеет в виду факт биографии Л. Толстого, рассказанный им в письме к С. А. Толстой от 4 сентября 1869 г.: «Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было 2 часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал...» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 83, стр. 167). Об «арзамасском ужасе» Л. Толстого Горький вспоминает и в произведении «Лев Толстой» (см. т. XVI наст. изд., стр. 291).

Стр. 14. *...от времени Ивана Грозного...*— Арзамас основан в 1578 г., когда царем на Руси был Иван IV.

ПОЖАРЫ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Красная новь», 1924, № 2, март, стр. 3—25.

В основу произведения положены реальные события (см. ниже); к некоторым из них Горький обращался и раньше. Так, о пожаре на Суетинском съезде в Нижнем Новгороде повествуется в рассказе «Пожар» (1915)— см. в т. XI наст. изд.

29 января 1935 г. Горький писал Д. В. Кузнецову по поводу его рассказа о пожаре: «...эту борьбу ⟨людей против стихии⟩ Вы и покажите, как борьбу хозяев за свое хозяйство, как ряд подвигов бесстрашия и мужества, как работу героическую, опьяняющую.[1] Иными словами: дайте то, чего в моих „Пожарах“ — нет, ибо в них чужие люди неохотно, из-под палки гасили огонь, пожиравший чужое—казенное — добро...» (*Г-30*, т. 30, стр. 373).

В 30-е годы Горький высказал неудовлетворенность «„Пожарами“ 22 года», так же, впрочем, как и рассказом 1915 г. (см. т. XI наст. изд., стр. 562).

Стр. 15. *...на Ошарскую площадь...*— в Нижнем Новгороде.

Стр. 18. «*Дом трудолюбия*» — благотворительное учреждение; такие *дома* появились в России с 80-х годов прошлого века, с целью «оказывать нуждающимся срочную, по возможности недолговременную, помощь путем предоставления им работы и приюта, впредь до более прочного устройства их судьбы» («Нива», 1897, № 35, стр. 832).

---

[1] Именно так изобразил сам Горький борьбу советских людей с пожарами на Бакинских нефтяных промыслах в очерках «По Союзу Советов».

Стр. 18. *В 96-м году в Нижнем Новгороде горел «Дом трудолюбия»...* — Этот пожар произошел, вероятно, в 1892—1893 гг. (см. «Нижегородский листок», 1896, № 200, 22 июля).

Стр. 19. *...у адвоката Венского.* — М. А. Венский, нижегородский присяжный поверенный (В. Е. Чешихин ⟨Г. Ветринский⟩. Люди нижегородского Поволжья, вып. 1. Краткий словарь писателей-нижегородцев. Нижний Новгород, 1915, стр. 10).

Стр. 22. *Начал читать ∽ Дю-Преля...* — Эммануил *Сведенборг* (1688—1772) — шведский ученый-натуралист, автор религиозно-мистических сочинений: «Небесные тайны», «О небе, аде и мире духов». Его книга «Увеселения премудрости о любви супружественной» (М., 1914) имеется в *ЛБГ*. *Якоб Бёме* (1575—1624) — немецкий философ-пантеист, мистик. Книга Бёме «Аврора, или утренняя заря в восхождении» (М., 1914) также имеется в *ЛБГ*. Карл *Дю-Прель* (1839—1900) — немецкий философ-мистик и беллетрист, автор книг «Спиритизм. Тайна человека» (М., 1892), «Философия мистики или двойственность человеческого существа» (1893).

Стр. 24. *Священник Золотницкий ∽ одиночном заключении...* — Священник П. Ф. Золотницкий «за переход к старообрядцам-беглопоповцам просидел в Суздальской крепости с 23 декабря 1865 г. по 3 апреля 1897 г. Понятно, что столь долгое одиночное заключение не могло не отразиться на нем самым печальным образом: он заболел психическим расстройством...» (А. С. Пругавин. Монастырские тюрьмы в борьбе с сектантством. М., 1905, стр. 119). О Золотницком Горький упоминает и в очерке о С. А. Толстой (см. т. XVI наст. изд., стр. 363—364).

Стр. 25. *Иже везде сый.* — Выражение из «начинательной» молитвы (Молитвослов. СПб., 1907, стр. 4).

Стр. 25. *...тебе слава, купина...* — «Купина неопалимая» — согласно библейской мифологии, горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором бог явился Моисею.

Стр. 26. *...Мой патрон А. И. Ланин...* — У нижегородского адвоката А. И. Ланина (1845—1906) Горький работал письмоводителем с октября 1889 до апреля 1891 г. и с октября 1892 по февраль 1895 г.

Стр. 26. *...председательствующий В. В. Бер...* — Член Нижегородского суда В. Б. Бер (В. И. Виноградов. Нижегородский иллюстрированный календарь на 1894 г., стр. 14). В «Нижегородском листке» (1896, № 199, 21 июля) он упоминается как «помощник управляющего делами в суде».

Стр. 29. *В 93-м или 94-м году за Волгой ∽ горели леса...* — В очерке В. Г. Короленко «В голодный год» эти события датируются 1890—1892 гг. (В. Г. Короленко. Собрание сочинений в 10 томах, т. 9. М., 1955, стр. 100, 102).

Стр. 30. *Село Бор* — напротив Нижнего Новгорода, на противоположном берегу Волги.

Стр. 39. *...плавал на пароходах «Добровольного флота»...* — Частное общество, образованное в 1878 г. в военных целях; в 1879 г. передано в ведение министерства финансов и стало

чисто коммерческим. К 1880 г. «Добровольный флот» имел 4 парохода; один из них, называвшийся «Нижний Новгород», совершал рейсы на Сахалин (см.: «К. П. Победоносцев и его корреспонденты...», т. I, полутом 1-й. М.—Пг., 1923, стр. 7, 377—378).

А. Н. ШМИТ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Красная новь», 1924, № 4, июнь — июль, стр. 16—25.

События, описываемые в произведении, относятся к 1896—1901 годам, когда Горький работал в газете «Нижегородский листок». А. Н. Шмидт (1851—1905) с конца 1894 по 1905 г. вела в этой газете земскую хронику, писала отчеты о земских собраниях, о концертах, оперных и драматических спектаклях. Она же — автор мистических сочинений, напечатанных после ее смерти в книге: «Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. О Будущности.— Третий завет.— Из дневника.— Письма и пр. С письмами к ней Вл. Соловьева». 〈М.〉, 1916. Экземпляр книги имеется в *ЛБГ*.

3 ноября 1926 г. О. Д. Форш писала Горькому: «Если не трудно, прошу Вас сообщить мне что-либо об А. Н. Шмидт. Кроме ее книги и удивительно воссозданного Вами ее чисто внешнего образа,— ничего не знаю. Неужто ни в чем не было значительности? Хоть неприятное, но большое какое-то (не знаю, как его и назвать) у нее дарование несомненно» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 591). Горький ответил 13 ноября 1926 г.: «Об А. Н. Шмит мне Вам, Ольга Дмитриевна, нечего добавить; в ту пору, когда я встречался с нею, я был к людям неласков и жестоко убежден, что все они живут не туда, куда следует жить, и не те книги читают, и не о том говорят 〈. . .〉 А. Н. была для меня человек прежде всего — смешной, затем наянливый и как-то очень мешавший мне своим христолюбием 〈. . .〉 Так что понимать „Аннушку" у меня не было ни времени, ни охоты» (там же, стр. 590).

Стр. 45. *Большая Покровка* — ныне улица Свердлова; на Б. Покровке, в д. 24 помещалась редакция «Нижегородского листка».

Стр. 46. *Яровицкий* А. В. (1876—1903) — сотрудник «Нижегородского листка» с 1901 г., видный деятель нижегородского большевистского подполья, один из организаторов Нижегородского комитета РСДРП, писатель (псевдоним — А. Корнев), друг Горького.

Стр. 47—48. *Священник Ф. — отец Александр...*— В тот период, о котором идет речь, в Нижегородской губернии проживали: в Ардатовском уезде — отец Александр Флоринский, в Княгининском — отец Александр Фаминский, в Лукояновском — отец Александр Флориапов (*Нижегородский край*, стр. 112, 116, 117). Кто из них имеется здесь в виду, установить не удалось.

Стр. 48. *...роль правоверного еврея в пьесе «Уриэль Акоста».*— Очевидно, доктор де Сильва, один из персонажей пьесы немецкого

драматурга К. Гуцкова; де Сильва, по закону своей веры, по наперекор собственным симпатиям, должен предать осуждению религиозно-философский трактат своего ученика Уриэля Акосты.

Стр. 48. *...Шмит находится в переписке с философом Владимиром Соловьевым...*— С В. С. Соловьевым (1853—1900), философом-идеалистом, автором религиозно-мистических сочинений, А. Н. Шмидт познакомилась в апреле 1900 г.; к этому году и относится переписка их: 26 писем Шмидт и 7 ответных писем Вл. Соловьева.

Стр. 48. *...коего справедливо обвиняют в уклоне к ереси католической...*— В своей социально-религиозной утопии, предусматривавшей воссоединение православия, протестантизма и католичества, якобы призванных образовать «вселенскую церковь», Вл. Соловьев склонялся к идее духовной гегемонии Ватикана, за что представители казенной церкви обвиняли его в «папизме» («Русское обозрение», 1901, № 1, стр. 110—116).

Стр. 48. *...беспоповцем был...*— См. прим. к стр. 96.

Стр. 49. *По-твоему — как надо Христа понимать? ☞ Логос?* — В речах Луки Симакова нашли своеобразное отражение некоторые идеи Владимира Соловьева, а также его последователей — В. Эрна, С. Н. Трубецкого, Анны Шмидт и других мистиков и идеалистов конца XIX — начала XX в. Для них было характерно стремление восстановить древние мистико-религиозные учения, в частности — учение о «божественном Логосе», которое разрабатывалось представителем иудейско-александрийской философской школы Филоном (I в.), гностиками (см. примеч. к стр. 51), последователями Платона («неоплатониками»), христианскими богословами и средневековыми схоластами (например, Эригеной, IX в.). «*Логос*» (греч., букв. «слово»; в расширительном значении — «мысль», «разум», «закон») обозначал у мистиков определенные атрибуты божества, формы его обнаружения, через которые оно соприкасается с земным миром («божественное слово», «божественный разум»). Понятие это было родственным понятию «София» (см. примеч. к стр. 51). Христос рассматривался «отцами церкви» как живое воплощение «Логоса». Вл. Соловьев писал, что Христос «есть и Логос и София» (В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 3. СПб., 1896, стр. 115).

Стр. 49. ... *Христос — жив, живет в Москве, на Арбате.*— В. С. Соловьев, приезжая в Москву, останавливался иногда у своих приятелей Мартыновых, «живших в весьма „чистом“ переулке стародворянского района» (В. Л. Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. Изд. 2. СПб., 1903, стр. 150). В другом исследовании упоминается о том, что В. Соловьев в 1887 г. жил «у Троицы в Москве» (Э. Л. Радлов. Владимир Соловьев, Жизнь и учение. СПб., 1913, стр. 24). Среди многочисленных церквей Троицы была в Москве такая церковь и «на Арбате, у Смоленского рынка» (И. К. Кондратьев. Седая старина Москвы... М., 1893, стр. 532).

Стр. 50. «*Мир мирови твоему даруй...*» — Из молитвы на литургии Иоанна Златоуста (Служебник. СПб., 1900, л. 175).

Стр. 51. *...воплощение одной из жен-мироносиц...*— Жены-мироносицы — женщины, пришедшие ко гробу распятого Иисуса, чтобы, согласно обряду, «помазать его» принесенными «ароматами», т. е. ароматическим маслом («мúро») (Евангелие от Марка, гл. 16, стихи 1, 2; Евангелие от Луки, гл. 23, стих 56 и гл. 24, стих 1).

Стр. 51. *...воплощением Софии, Вечной Премудрости.*— София (греч. Sophia, мудрость, знание) — одно из мистико-фантастических понятий-образов, употреблявшихся в гностицизме (см. ниже). Софией гностики называли «премудрость божию», которая в сложной серии «эманаций» (выделений божеством различных сил и начал) как бы обретает самостоятельное существование. По Вл. Соловьеву, София — «субстанциональная Премудрость бога» (Владимир Соловьев. Россия и вселенская церковь. М., 1911, стр. 371), «душа мира или идеальное ⟨т. е. идеально-христианское⟩ человечество» (В. С. Соловьев. Собрание сочинений, т. 3. СПб., 1896, стр. 106—118, 140).

Стр. 51. *...о гностиках, о Василиде и Эпойе...*— *Гностики* — представители гностицизма (от греч. gnosis—знание), религиозно-философского и мистического течения I—III вв. н. э., соединившего христианскую теологию с религиями Востока и с учениями греческих философов-идеалистов. Главные представители гностицизма: *Валентин* из Египта (II в.) и *Василид* из Сирии (II в.). *Эпойя* (Эннойя) — так называлась в гностических учениях первоначальная мысль, идея, рожденная разумом бога и ставшая матерью других идей, более частных отражений этого высшего разума; некоторые гностики полагали, что Эннойя время от времени находит свое воплощение в какой-нибудь женщине.

Стр. 52. *...в одном Соловьев цитировал слова Фридриха Великого...*— В опубликованных письмах Вл. Соловьева к А. Н. Шмидт этих слов нет. В книге И. Шерра, сохранившейся в *ЛВГ*, с многочисленными пометками писателя, на стр. 523 Горьким отмечено следующее место: «...при Коллине он ⟨Фридрих Великий⟩ вернул в огонь своих отступавших гренадеров словами: „Ракальи, что вы, вечно что ли хотите жить?“» (И. Ш е р р. История цивилизации Германии. СПб., 1868).

Стр. 52. *В лесу — болото...*— Это четверостишие приводится в письме Вл. Соловьева Э. Л. Радлову (1895). Вторая строка у Соловьева: «А также мох» («Письма В. С. Соловьева», т. I. СПб., 1908, стр. 254).

Стр. 53. *«Под камнем сим лежит...*— Ср. там же, стр. 198 (письмо к В. Л. Величко, 1892 г.):

«Владимир Соловьев лежит на месте этом. Сперва был философ, а ныне стал шкелетом.

Иным любезен быв, он многим был и враг. Но без умэ любив, сам ввергнулся в овраг.

Он душу потерял, не говоря о теле: Ее диавол взял, его ж собаки съели.

Прохожий! научись из этого примера, Сколь пагубна любовь и сколь полезна вера».

Сохранился отзыв Горького: «Сейчас прочитал письма Со-

ловьева Вл., изд. „Время“ ⟨это издание: Пг., 1923 — имеется в *ЛБГ*; на стр. 228 Горький отчеркнул комментируемое стихотворение⟩,— писал Горький С. Т. Григорьеву 15 марта 1926 г.— Вот нигилист! И — как он сух, какой плоский. Я всегда думал о нем не похвально, а после этих писем нахожу, что вся его „теология“, идея соединения церквей, апологетика и т. д.— мастеровое дело, т. е.—бездушное. Но — диалектик превосходный. Шахматист» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 136).

Стр. 53. *...даже самого Христа Дьявол соблазнял славою земной.*— Евангелие от Матфея, гл. 4, стихи 8—9.

Стр. 53. *Святой Грааль* — «чаша благодати», святой сосуд, в который, согласно апокрифической легенде, Иосиф Аримафейский (тайный ученик Христа) собрал кровь Христа при распятии его.

Стр. 55. *...Христос скрылся под Москвой, на станции Петушки.*— Вл. Соловьев, начиная с 1884 г., в течение продолжительного времени жил не в Петушках, а в Пустыньке, имении Толстых (родственников поэта Алексея Толстого), под Петербургом, близ станции Саблино (см.: Сергей Соловьев. Биография Вл. Соловьева.— В кн.: Владимир Соловьев. Стихотворения, изд. 6. М., 1915, стр. 12, 20—22. Книга имеется в *ЛБГ*).

Стр. 56. *Церквы разрушить хочет ∽ помнишь, в Ерусалиме?* — Имеется в виду предсказание Иисуса о разрушении храма в Иерусалиме, о войнах и бедствиях (Евангелие от Матфея, гл. 24).

Стр. 56. «*Сон богородицы*» — стихотворный апокриф о вещем сне богородицы, в котором предсказывалось распятие Христа и его воскресение (см.: П. Бессонов, Калеки перехожие, вып. VI; в *ЛБГ* сохранилось несколько изданий этой книги, самое раннее — М., 1863; «Сон богородицы» — на стр. 175—235).

Стр. 56. *...от пророка Еноха, который был не еврей, а грек.*— Енох — библейский персонаж, один из десяти «допотопных» (т. е. живших до потопа) патриархов (Библия, Первая книга Моисея, гл. 5, стихи 18—24). Ему приписывается авторство «Книги Еноха», не вошедшей в канонический состав Библии, но весьма ценимой христианскими «отцами церкви». В «Опыте Российской библиографии» В. С. Сопикова (ч. 4, СПб., 1908, стр. 3) с обозначением «редка» названа книга «Образ жития Енохова, или Род и способ хождения с богом», соч. английского Богослова Иосифа. М., 1784. «Книга Еноха» в русском переводе А. Смирнова издана в Казани в 1888 г.

Стр. 57. *Вскоре, заболев, я уехал в Крым...*— Горький говорит, видимо, о своем отъезде в Крым в ноябре 1901 г.

ЧУЖИЕ ЛЮДИ. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, стр. 30—53.

Стр. 58. *В журнале «Врач» ∽ А. П. Рюминский.*— В газете «Врач», 1898, № 46 (в переплете за полугодие — т. XIX. Пб., 1898, стр. 1368), сообщено в разделе «Умерли»: «1) Во Владиво-

стоке среди босяков, Александр Петрович Рюменский, родившийся в 1859 году, а звание врача получивший в 1884 г.» Далее — текст: «Когда несчастный заболел...» и т. д.

Стр. 58. *Я дважды встречал этого человека...* — Первая встреча с А. П. Рюменским могла произойти в середине сентября 1891 г., когда будущий писатель во время своего первого странствия по Руси шел от Майкопа на Беслан (см.: *Г и его время*, стр. 343). Вторая встреча, по-видимому, состоялась весной 1897 г.[1] в Крыму, когда Горький находился здесь на лечении. (О пребывании Горького в Крыму в этот период см. воспоминания А. Е. Богдановича в кн.: *ВН*, стр. 88—89).

Стр. 60. *...не встретив Д. Н. Мамина-Сибиряка в городском саду Ялты ∽ я пошел к нему в пансион...* — Осенью 1896 г. и весной 1897 г. Мамин-Сибиряк лечился в Крыму от туберкулеза легких[2]. Встреча писателей, очевидно, относится к 1897 г.

Стр. 63. «*Записки из могилы*» — «Замогильные записки Шатобриана». 1768—1815. (Пер. с франц.). СПб., 1851; имеется в *ЛБГ*. Цитируемых слов в этой книге нет.

Стр. 63. «*Счастье — пустынный остров...* — По-видимому, трансформация некоторых образов книги Шатобриана «Рене» (СПб., 1894). Ср. также: «Для него ⟨Рене⟩ общество — „обширная людская пустыня". Он влюблен в грезу, в мечту, в призрак, созданный его фантазией...» (Гр. Ф. де Ла-Барт. Литературное движение на Западе в первой трети XIX столетия. М., 1914, стр. 116.— *ЛБГ*, отчеркнуто Горьким).

Стр. 65. *Мышление — функционально ∽ один английский епископ...* — Вероятно, речь идет об английском философе-идеалисте епископе Дж. Беркли (1685—1753). Однако у Беркли такого высказывания нет. Мысли, близкие к той, которую приводит Рюменский, содержатся у Фихте: «Мысль наша не только не независима от нашего стремления или инстинкта и от наших наклонностей, а напротив, в них самих имеет свой корень...» (Иоганн-Готтлиб Фихте. О назначении человека. СПб., 1880, стр. 218). «Воображение — это чудодейственная сила, без которой мы ничего не могли бы объяснить из того, что касается человеческого духа» (цит. по кн.: Гр. Ф. де Ла-Барт. Литературное движение на Западе в первой трети XIX столетия. М., 1914, стр. 14).

Стр. 67. *Мамин-Сибиряк написал рассказ...* — «У теплого моря» («Русское богатство», 1898, № 11, стр. 5—32).

Стр. 68. *...но в 905 году пакет ∽ был потерян в Петроградском жандармском управлении.* — В связи с событиями 1905 г. Горький был заключен в Петропавловскую крепость. Накануне

---

[1] Горький относит свою вторую встречу с Рюменским к 1900—1901 гг. ошибочно: к этому времени Рюменский уже умер.

[2] Даты пребывания писателя в Крыму устанавливаются на основании его очерка «У теплого моря».

ареста, 11 февраля 1905 г., у него состоялся обыск. В списке вещей, отобранных у «арестованного Горького», этот пакет не указан; возможно, он находился в «дорожном саквояже» или «чемодане», названных в списке (Архив А. М. Горького, ЖД-7-16).

Стр. 68. *...видел на постройке железной дороги Беслан — Петровск.*— В сентябре 1891 г. будущий писатель некоторое время работал кашеваром на постройке железной дороги Беслан — Петровск (см.: К. А. Иеропольский. Максим Горький в нашем крае. Ростов-на-Дону, 1935, стр. 17—18).

Стр. 71. *...статью Потебни «О доле и сродных с нею существах»...*—Эта статья была опубликована в книге: «Древности», т. II. Труды Московского археологического общества. 〈М.〉, 1865. Горький читал статью в этом издании. Позднее вошла в книгу: А. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии, 2 изд. Харьков, 1914. Обе книги имеются в *ЛБГ*.

Стр. 72. *...о камне Алатыре...*— «Белый Латырь-камень» — образ, часто встречающийся в произведениях устно-поэтического творчества, например, в заговорах (от пореза, сглаза и т. п.). «Большая часть заговоров начинается словами: На море на океане — и во многих поминается бел-горюч камень-алатырь 〈. . .〉 Иные полагали, что это должен быть янтарь, но, кажется, это неосновательная догадка» (В. Даль. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб.— М., 1880, стр. 38—39. Ср. также: П. Бессонов. Калеки перехожие, вып. I. М., 1861, стр. 290—291, и «Сказания русского народа», собранные И. Сахаровым, т. I, кн. 2, изд. 3. СПб., 1841, стр. 27. Эти книги имеются в *ЛБГ*).

Стр. 74. *...«разумное, доброе, вечное»...*— Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям» (1876).

Стр. 76. *...я ушел по дороге во Владикавказ* — в октябре 1891 г. («Красный архив», 1936, № 5, стр. 28)

ЗНАХАРКА. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь — февраль, стр. 106—114.

Стр. 78. *...я приехал от адвоката, по делу деревни с князьями Голицыными...*— Описываемые события относятся, по-видимому, к 1894 г. В июне и сентябре этого года будущий писатель, служивший письмоводителем у присяжного поверенного А. И. Ланина, выезжал в села Болобаново, Воронцово и Березники Сергачского уезда Нижегородской губернии [1] по судебному делу крестьян с князьями Голицыными. Сохранившееся в Архиве Московской судебной палаты «дело» называется: «О взыскании князьями Голицыными и Муромцевой 〈урожденной Голицыной〉 с обществ крестьян Воронцово и Болобаново 2187 р. и 261 р. оброчных

[1] В настоящее время эти села входят в Юрьевский сельсовет Гагинского района Горьковской области.

платежей» (ЦГИАМ, ф. 131, оп. 59, д. 2905). Существо «дела» заключалось в требовании князей Голицыных к крестьянам названных деревень уплатить оброчные платежи за 1882 г.— последний год платы за землю по реформе 1863 и 1881 г. Впервые этот иск слушался в суде 11 ноября 1885 г. В 1885 г., после обследования экономического положения крестьян, «дело» было отложено на неопределенный срок (см.: Р. Вуль. Где она, Березянка? — «Горьковская правда», 1971, № 37, 13 февраля. О «деле» упоминается также в «Мордовском этнографическом сборнике». СПб., 1910, стр. 25—33; сборник имеется в *ЛБГ*).

Стр. 79. *...мордовского движения сороковых годов.* — См.: «Очерки по истории Мордовской АССР», т. I. Саранск, 1955, стр. 257—263.

Стр. 79. *...самому Кузьке со приятелем был...* — Кузьме, или «Кузьке, мордовскому богу» посвящен ряд статей и книга, вышедшая в Нижнем Новгороде в 1898 г. Критический обзор этой литературы дан в журнале «Русское богатство», 1898, № 5, отд. II, стр. 41—44. Наиболее достоверным является исследование В. Снежневского «Кузьма, пророк мордвы-терюхан» («Русский вестник», 1892, т. 50, стр. 124—145). «„Кузька, мордовский бог“ — реальное лицо, Кузьма Алексеев, крепостной графини Сен-При,— писал Снежневский.— В 1808 г. Кузьме было 45 лет от роду» (там же, стр. 130). Он жил в Нижегородском уезде.

Насильственное обращение мордовских племен в христианскую веру, предпринятое в 40-х годах XVIII в. по приказу царских властей, вызвало возмущение и бунты мордвы. К началу XIX в. крещение нижегородской мордвы было в основном закончено, но она не смирилась со своим положением. Именно этим объясняется популярность в народе Кузьмы Алексеева, предложившего новую религию: «Христос стар стал и чин этот с себя сложил 〈. . .〉 чин его препоручен другому 〈. . .〉 будет конец света. И тут весь свет примет мордовский закон, и будут все ходить в мордовском платье. Мордва будут первые люди, не будут принадлежать господам и платить оброку...» (там же, стр. 138). В «пророчестве» Кузьмы на первый план выдвигалось социальное, антикрепостническое начало. Оно и позволило ему в 1808—1809 годах объединить тысячи людей. Кузьма был арестован. Дело его слушалось 11 января 1810 г. в нижегородской палате уголовного суда. Его присудили к 80 ударам плетьми и высылке на поселение в Иркутскую губернию (см.: там же, стр. 143—144).

Стр. 82. *Кереметь* — в мордовской и чувашской языческой религии «злой, грозный» бог, «самый популярный объект поклонения из всего сонма больших и малых богов» («Чуваши». Этнографическое исследование, ч. 2. Чебоксары, 1970, стр. 150).

ПАУК. Впервые напечатано в журнале «Веседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 187—192.

Стр. 88. *...жалованный ковш целовальника...*— Принадлежность «целовальников», должностных лиц, служивших в кабаках

в качестве «верных» людей, помогавших успешному ходу водочной торговли. В знак особой заслуги целовальники иногда награждались дорогостоящими ковшами из царской казны (см.: И. Прыжов. История кабаков в России в связи с историей русского народа. СПб.— М., 1868, стр. 82—83; К. Д. Головщиков. История города Ярославля. Ярославль, 1889, стр. 143—146.— *ЛБГ*).

Стр. 89. *«Номера» Бубнова* — гостиница в Нижнем Новгороде, находилась на набережной Волги, в районе босяков и «золоторотцев», на Миллионной улице.

МОГИЛЬЩИК. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 182—184.

Стр. 92. *...девочки Николаевой...*— В воспоминаниях брата этой девочки рассказывается о дружбе Горького с семьей Николаевых: «Максимыч, так же как и мы, ⟨жил⟩ на Акулининой слободке, на углу Полевой улицы, в доме какого-то священника» (Н. Н-ев. «Максимыч»,— журн. «Пламя», 1919, № 49, 13 апреля, стр. 7). В доме священника Прилежаева на углу Полевой улицы Горький переехал 9 (21) декабря 1893 г. и прожил здесь до весны 1895 г. (А. В. Сигорский. По горьковским местам. Горький, 1953, стр. 91—95).

Н. А. БУГРОВ. Впервые напечатано одновременно в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Красная новь», 1924, № 2, март, стр. 26—52.

В воспоминаниях А. Е. Богдановича содержится упоминание об интересе Горького к личности «миллионера-мукомола Н. А. Бугрова» еще до знакомства с ним; писатель «знал про него много рассказов и охотно передавал их, оттеняя главным образом странные или оригинальные поступки» (*ВН*, стр. 79). В. Я. Шишков в своих воспоминаниях приводит слышанный им от Горького в конце 1915 г. рассказ о Бугрове (см.: *ВС*, стр. 349—351).

Документальные упоминания о намерении Горького написать произведение о нижегородском миллионере относятся к 1919 г. 18 мая этого года писатель, «по совету В. А. Десницкого», обратился к И. И. Вишневскому, «знатоку нижегородской жизни», со следующей просьбой: «Не дадите ли Вы мне каких-либо материалов, касающихся Н. А. Бугрова? Нет ли у вас доклада Победоносцева о нижегородском старообрядчестве и сектантстве, нет ли еще чего, и не подберете ли вы мне некрологи нижегородских газет, а также статьи, явившиеся по смерти Бугрова? Очень прошу Вас об этом! Я с В. А. ⟨Десницким⟩ становлюсь во главе одного издательства, которое, между прочим, предполагает дать биографии наиболее крупных промышленников, начиная — примерно — со Строгановых. Бугров должен найти себе место в этой серии» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-8-32-1).

Речь здесь идет о задуманной издательством З. И. Гржебина библиотеке «Жизнь мира». В каталогах этого издательства, относящихся к сентябрю — ноябрю 1919 г., «Н. Бугров — М. Горького» упоминается неоднократно. В частности, он указан в разделе: «Готовятся к печати и печатаются» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-15-21-1—2, 15-54-1).

Можно предполагать, однако, что до декабря 1919 г. произведение о Бугрове написано не было. Во всяком случае, закончено оно не ранее конца 1922 г. В письме Горького М. Ф. Андреевой, относящемся ко времени пребывания писателя в Саарове, под Берлином (он поселился здесь 25 сентября 1922 г.), сообщалось: «Написал рассказы о Бугрове и о Савве Морозове» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-29). Эти рассказы, получившие первоначально одно заглавие — «Два купца» (см.: Архив А. М. Горького, ХПГ-1-8-1 и ХПГ-1-8-2), предназначались для книги «Мои университеты», над которой автор тогда работал (письмо Горького Крючкову от 15 февраля 1923 г.— Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-20).

До включения в названную книгу Горький предполагал напечатать новое произведение в журнале «Летопись революции», организованном в Берлине издательством Гржебина. Редактор журнала Б. Николаевский в письме от 24 сентября 1922 г. просил Горького «дать что-нибудь во второй номер»: «Вы говорили про воспоминания о 1905 годе в дни свободы или про Савву Морозова. И то и другое было бы дивно хорошо» (Архив А. М. Горького, КГ-п-53-20-26). В рекламном объявлении, появившемся в журнале, сообщалось: «В ближайших номерах будут помещены статьи и воспоминания: ⟨. . .⟩ М. Горький. „Два купца: Н. А. Бугров и С. Т. Морозов“ и „1905 год“» («Летопись революции», 1923, № 1, стр. 319). Судя по сохранившимся в Архиве А. М. Горького письмам Николаевского, он получил новое произведение от Горького не ранее конца января 1923 г. 20 января Николаевский запрашивал Горького: «Как Ваши воспоминания о Бугрове и Морозове? Скоро их дадите?» (Архив А. М. Горького, КГ-п-53-20-10). В ответ Горький, по-видимому, послал ему авторизованную машинопись произведения. Но опубликовать ее в «Летописи революции» Николаевский не смог, так как журнал был закрыт. «Как быть с Вашей рукописью ⟨очерка о Бугрове⟩? — спрашивал он автора в письме от 25 июня 1923 г.— З. И. ⟨Гржебин⟩ хотел бы издать ее отдельно» (Архив А. М. Горького, КГ-п-53-20-18). Намерение Николаевского напечатать произведение в историческом сборнике (Архив А. М. Горького, КГ-п-53-20-21—22) также не осуществилось.

Между тем автор еще в начале 1923 г. решил судьбу своего произведения следующим образом: «Бугрова и Морозова,— писал он 15 февраля 1923 г. Крючкову,— не надо включать в книгу „Мои университеты“ — очень прошу Вас! Морозова я вообще печатать не буду, а Бугров войдет в книгу „Русские люди“, которую я сейчас пишу» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-20).

В соответствии с этим указанием автора произведение «Два купца» было изъято из книги «Мои университеты» во время ее

верстки. Первая часть его — под заглавием «Н. А. Бугров» — вошла в книгу «Заметки из дневника. Воспоминания» (тоже на этапе ее верстки), а вторая увидела свет лишь после смерти писателя.

Стр. 93. *...В 901-м году, выпустив меня из тюрьмы ∽ домашний арест.*— 17 (30) мая 1901 г. Горький был освобожден из Нижегородской тюрьмы и до 3 (16) июня находился под домашним арестом, живя в доме Лемке на Канатной улице (теперь ул. Короленко, д. № 1) (см.: *Г-30*, т. 28, стр. 164).

Стр. 94. *Зарубин* А. А.— нижегородский водочный заводчик. О нем подробнее см.: «Время Короленко» (т. XVI наст. изд.), «Беседы о ремесле» (*Г-30*, т. 25, стр. 302).

Стр. 96. *Башкиров* Яков Емельянович (1839—?) — богатый волжский хлеботорговец, владелец крупной паровой мельницы в Нижнем Новгороде, с 1909 г. директор-распорядитель «Мукомольного т-ва Я. Е. Башкирова»(газета «Судоходец», 1909, № 314, 29 марта).

Стр. 96. *Бугров* Н. А. (1837—1911) — богатейший нижегородский купец. «Именем Бугрова Нижний весь полон: в лавках кули с мукой. Чьи? Бугровские; на набережной дома — опять бугровские; баржи бугровские, бугровские же пароходы 〈. . .〉 Желая дать приблизительное понятие о бугровском богатстве, говорят: „У него одного леса шестьдесят семь тысяч десятин“...» (А. Зенгер (Вукол). Старое солнце. 〈б. м.〉, 1907, стр. 93. Имеется в *ЛБГ*). В книге *Нижегородский край* (стр. 147) названо «Бугрова Н. А. т-во» в разделе «Мукомолы» и «Торговцы хлебом».

Стр. 96. *Старообрядец «беспоповского согласия»...*— Старообрядчество — церковно-религиозное течение, возникшее в России в середине XVII века. Раскол церкви на сторонников нововведений в религиозных обрядах по образцу греческой церкви, возглавляемых патриархом Никоном, и защитников «древлего благочестия» во главе с протопопом Аввакумом породил в среде последних множество «толков» (или «согласий»), главные из которых — «беспоповцы» и «поповцы». Церковные требы выполняются у «поповцев» лицами, посвященными в сан, у «беспоповцев» — «мирянами».

Стр. 96. *...по 103 статье «Уложения о наказаниях уголовных»...*— Имеется в виду статья 215 уголовного кодекса, гласящая: «За заведение раскольнических скитов 〈. . .〉 за обращение крестьянских изб в публичные молельни виновные приговариваются к заключению в тюрьме на время от одного года до двух лет, смотря по мере вины» («Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». СПб., 1845, стр. 76—77).

Стр. 97. *...тайные сектантские скиты в лесах Керженца и на Иргизе...*— Керженец и Иргиз (Большой и Малый Иргиз) — левые притоки Волги, на берегах которых издавна находились поселения (скиты и монастыри) старообрядцев. По правительственному указу 1853 г. эти скиты были закрыты, но деятельность свою еще долгое время продолжали тайно.

Стр. 97. *...Константин Победоносцев, писал...*— Доклад Николаю II, о котором упоминается здесь, найти не удалось. Известно письмо Победоносцева будущему царю Николаю II от февраля 1891 г. о мерах борьбы с раскольниками: «С расколом до последнего времени у нас не умели обращаться. Правительства действовали более механическими мерами запрещений, нежели путем убеждения и бесед...» («Письма Победоносцева к Александру III», т. II, «Новая Москва», 1926, стр. 301).

Стр. 97. *...в 96 году, на Всероссийской выставке...*— Имеется в виду 16-я Всероссийская промышленная и художественная выставка, открывшаяся в Нижнем Новгороде 28 мая (9 июня) 1896 г. На открытии присутствовали С. Ю. Витте (1849—1915) — в те годы министр финансов в правительстве Николая II, граф И. И. Воронцов-Дашков (1837—1916) — министр императорского двора и уделов.

Стр. 97. *...изобразил отца Бугрова...*— Возможно, имеется в виду Патап Максимыч Чапурин — герой романа «В лесах» (1875), прототипом которого был дед Н. А. Бугрова. Еще «до появления своего романа „В лесах" Мельников описал такого старообрядца в „Отчете о современном положении раскола" в лице Петра Егоровича Бугрова, имевшего в 1853 г. 65 лет от роду ⟨. . .⟩ Он был поповцем рогожского согласия и жил в Нижнем Новгороде, где занимался казенными подрядами и хлебною торговлею...» (И. Усов. Павел Иванович Мельников (Андрей Печерский). СПб.— М., ⟨б. г.⟩, стр. 152—153. Книга с пометками Горького имеется в *ЛБГ*).

Стр. 97. *...на самарском голоде начала восьмидесятых годов.* — Возможно, подразумевается голод в Самарской губернии в 1873 г.

Стр. 99. *...автор очень хорошего рассказа о жизни пернатых хищников...*— Вероятно, имеется в виду рассказ «Четыре зори на токах» П. Н. Листова («Природа и охота», 1900, № 8, стр. 155—172; № 9, стр. 80—99; № 10, стр. 32—42).

Стр. 100. *...ее близкий друг заболел в далекой ссылке, у Полярного круга.*— Речь идет, по-видимому, об А. А. Дивильковском (1873—1922). Член РСДРП с 1898 г., принимавший активное участие в работе Нижегородского комитета РСДРП, он был арестован 21 июля (3 августа) 1903 г. и в 1904 г. выслан в Архангельск, где у него обострился туберкулез легких. Горький знал Дивильковского по Нижнему Новгороду как «замечательно хорошего и даровитого человека» (*Г-30*, т. 28, стр. 176), помогал ему материально и находился с ним в дружеских отношениях в последующие годы. Дивильковский — автор большой статьи о Горьком, напечатанной в 1905 г. в журнале «Правда» (№№ 2, 3, 4).

Стр. 100. *Митрофан Рукавишников* (ум. 1911) — из нижегородского купеческого рода Рукавишниковых. Дом на Печорке (ныне ул. Лядова), в котором он жил, сохранился. Митрофан Рукавишников изображен в биографическом романе И. С. Рукавишникова «Проклятый род» под именем Доримедонта — об этом вспоминал Горький в «Беседах о ремесле» (*Г-30*, т. 25, стр. 305).

Стр. 100. *Девэссент* — герцог Жан дез'Эссент — герой романа французского писателя Ж.-К. Гюисманса «Дилетант. Кн. первая. Наоборот». М., 1906, пер. М. А. Головкиной (имеется в *ЛБГ*).

Стр. 101. *«Биржевая» гостиница* — в Нижнем Новгороде, на Рождественской улице (теперь ул. Маяковского); здание сохранилось.

Стр. 104. *...подрядчик ᔕ Сумароков по фамилии...*— Дмитрий Сумароков; вероятно, потомок поэта и драматурга А. П. Сумарокова (1713—1777). В личном архиве Горького сохранилась вырезка из нижегородской газеты с некрологом о Дмитрии Сумарокове: «Он был подрядчиком артели крючников ‹. . .› принадлежал к русскому именитому барству, и до могилы он сохранил все лучшие черты этого барства, сделав в себе и его недостатки симпатичными» (Архив А. М. Горького, ГЖВ-2-5-9).

Стр. 106. *Роза Бонёр* (1822—1899) — французская художница.

Стр. 109. *Когда приезжал к нам, в Нижний, отец Николая...*— Имеется в виду посещение Александром III Нижнего Новгорода 29 июля (10 августа) 1881 г. (Н. Мельников. Император Александр III в Нижнем Новгороде.— «Нижегородский листок», 1894, № 302, 5 ноября).

Стр. 111. *Городец* — село на левом берегу Волги, в 48 верстах от Нижнего.

Стр. 113. *«Яр»* — ресторан в Москве.

Стр. 115. *Сироткин* Д. В. (1865—1946) — крупный нижегородский промышленник, миллионер, «нижегородский городской голова ‹в 1913—1916 гг.›, гласный Нижегородской городской думы, председатель Нижегородского биржевого комитета...» («Судоходец», 1915, № 995, 15 января). В Архиве А. М. Горького сохранилась вырезка из этой газеты с двумя статьями о Сироткине (ГЖВ-2-5-8). Сироткин был издателем газет «Нижегородская биржа», «Волжское судоходство», журнала «Церковь». После Октябрьской революции эмигрировал. О Сироткине и о знакомстве Горького с ним см. сб.: «Егор Булычов и другие». Материалы и исследования. М., 1970, стр. 133—142.

Стр. 115. *...старообрядец, кажется, «австрийского согласия»...*— «Австрийское согласие», или «Белокриницкая иерархия» — основное «согласие» (объединение) в старообрядчестве «поповского» направления. Название произошло от центра старообрядческой митрополии — села Белая Криница в Буковине, на территории Австрии. В дальнейшем центр «согласия» переместился в Москву (Рогожская община).

Стр. 115. *...впоследствии — епископ...*— Д. В. Сироткин в сан епископа возведен не был, однако считался «головой» местных «австриаков» (газета «Козьма Минин», Нижний Новгород, 1913, № 24, 15 мая).

Стр. 116. *«Столбы»* — чайная для босяков, устроенная в 1901 г. Д. В. Сироткиным в Нижнем Новгороде по инициативе Горького («Волгарь», 1901, № 320, 22 ноября; см. также *Г-30*, т. 28, стр. 193).

Стр. 117. *Вот Гордей Чернов бросил всё свое богатство...*— История нижегородского купца Г. И. Чернова (1842— ?), внезапно оставившего дела, уехавшего в 1892 г. из Нижнего Новгорода и объявившегося вскоре монахом на Афоне, была хорошо известна Горькому (возможно, от А. И. Ланина, женатого на дочери Чернова); писатель не раз возвращался к ней — см. «Беседы о ремесле» (*Г-30*, т. 25, стр. 300—302, а также т. IV наст. изд., стр. 591). В воспоминаниях А. Е. Богдановича приводится рассказ Горького о том, как Гордей Чернов погубил свое «дело» в припадке обиды на то, что в одну из навиганий цены на бирже были сделаны без него (*ВН*, стр. 81). О Г. И. Чернове см. сб.: «Егор Булычов и другие». Материалы и исследования. М., 1970, стр. 125—131.

Стр. 117. *...на Афон, в самую строгость.*— Афон (или Старый Афон), полуостров в Эгейском море, принадлежит Греции; древний религиозный центр, населенный монахами разных национальностей. Начиная с XI века на Афоне стали строиться русские монастыри.

Стр. 117. *Мешков* Николай Васильевич (1851—1933) — крупный пермский капиталист. По свидетельству Л. А. Фотиевой (работавшей в первые годы революции секретарем В. И. Ленина), «размер капитала ⟨Мешкова⟩ называли около 16 млн. рублей. За границей его знали, писали о нем, называя его королем Урала». «Но, конечно, не этим привлекал нас к себе Николай Васильевич,— вспоминала Л. А. Фотиева,— а своей отзывчивостью, сердечным отношением к молодежи, горячим интересом и сочувствием ко всему прогрессивному, передовому. Он был крупным общественным деятелем. В Перми он построил и содержал „проходные бани“ ⟨. . .⟩ Построил дом-дворец на берегу Камы, передал его университету. В этом доме он жил, принимал революционных работников. Поначалу он плохо разбирался в партиях, его охаживали эсеры ⟨. . .⟩ Позже он понял, что эсеры не та партия, которой надо помогать, и одно время давал деньги меньшевикам, потом разобрался и стал систематически помогать большевикам. С ним были связаны члены ЦК нашей подпольной партии ⟨. . .⟩ Ленин знал Мешкова еще до революции, не встречался с ним, но знал о нем и об его деятельности, и назначение Н. В. Мешкова консультантом НКПС было сделано с полного согласия Ленина, если не ошибаюсь, по инициативе Л. Б. Красина...» (Письмо Л. А. Фотиевой Ю. А. Орлову от 14 июня 1965 г.— Цит. по копии, хранящейся в Государственном архиве Пермской области).

Стр. 117. *...к Тестову в трактир...*— Ресторан Тестова на Театральной площади в Москве (теперь площадь Свердлова).

Стр. 119. *Жандарм нижегородский...*— В то время, о котором идет речь, начальником Нижегородского губернского жандармского управления был генерал-майор В. Я. Шеманин (*Нижегородский край*, стр. 102).

Стр. 119. *...в Сормове, на Выксе и у меня на Сейме...*— Фабрично-заводские пригороды Нижнего Новгорода.

Стр. 120. *...князь один, Кропоткин, что ли...*— Имеется

в виду П. А. Кропоткин (1842—1921), князь, ученый-географ, порвавший со своим классом (в 1872 г.) и ставший крупным деятелем и теоретиком анархизма.

Стр. 121. *...Китеж-озеро...*— См. в наст. изд. т. IV, стр. 623—624.

Стр. 123. *Светел месяц в небеси,— светел!..*— Возможно, вариант скопческой песни:

Ты свети, свети, свет светел месяц,
Обогрей ты нас, красно солнышко!
Прикатился к нам государь-батюшка,
Со восточной, государь, со сторонушки...

(см.: «Скопческие духовные песни...». Лейпциг, 1879, стр. 59. Книга имеется в *ЛБГ*).

Стр. 124. «*Винограды*» — см. в т. XV наст. изд. примеч. к стр. 398.

Стр. 125. *Воздух* — покрывало на священный сосуд.

Стр. 125. «*Был у Христа-младенца сад*».—Романс П. И. Чайковского «Легенда» на стихи А. Н. Плещеева.

Стр. 126. «*Кольцо души-деви-и-и-цы...*» — Романс А. А. Алябьева на слова В. А. Жуковского.

Стр. 128. *Оскорбительна для женщины разрешительная молитва на сороковой день после родов...*— По религиозным представлениям, женщина не имела права посещать церковь в течение 40 дней после рождения сына (а после дочери — вдвое дольше). По истечении этого срока она должна была принять «очистительную молитву».

Стр. 129. *Он умер, кажется, в десятом году...*— Н. А. Бугров умер 16 (29) апреля 1911 г. («Утро России», 1911, № 87, 17 апреля).

ПАЛАЧ. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 198—200.

Стр. 129. *Начальник нижегородского охранного отделения Грешнер...*— Жандармский ротмистр А. В. Грешнер появился в Нижнем Новгороде в 1902 г. Как «начальник охранного отделения» указан в «Путеводителе по Нижнему Новгороду», 1904 г.

Стр. 129. *...Грешнер был поэт...*— Стихотворные сочинения Грешнера «Речка и месяц», «Сонет», «Два сознания» были напечатаны в «Ежемесячных литературных приложениях к журналу „Нива“ на 1897 г.», январь, стр. 152—154.

Стр. 129. *Грешнера застрелил...*— Грешнер был застрелен в ночь на 28 апреля 1905 г., возле своей квартиры в доме на Дворянской улице (см.: «Нижегородский листок», 1905, № 112, 29 апреля, а также: Дм. Кузьмин. А. Л. Никифоров и дело Грешнера.— «Каторга и ссылка», 1928, кн. 41, стр. 49—51).

Стр. 129. *...юноша Александр Никифоров* — сын Л. П. Никифорова и Е. И. Засулич, сестры Веры Засулич; в марте 1904 г.

был выслан из Москвы в Нижний Новгород. Грешнера он убил по заданию террористической организации. 6 августа 1905 г. осужден военным судом и 12 августа того же года повешен во дворе Нижегородской тюрьмы (см.: «Нижегородский листок», 1905, № 312, 20 ноября и № 314, 22 ноября).

Стр. 129. *Никифоров* Л. П. (ум. 1917) — отец А. Л. Никифорова. «Типичный народник 60—70-х годов ⟨. . .⟩ В 80-х годах пережил увлечение толстовством» («Каторга и ссылка», 1928, кн. 41, стр. 39).

Стр. 130. *...полицейский пристав Пуаре...* (ум. 1910) — «Становой пристав Арзамасского полицейского управления А. Я. Пуаре» указан в книге *Нижегородский край*, стр. 103. В «Путеводителе по Нижнему Новгороду» 1904 г. он назван как «Пристав 1-ой Кремлевской части».

Стр. 130. *Каран д'Аш* — псевдоним французского художника-карикатуриста Эммануила Пуаре (1858—1909), родившегося и некоторое время жившего в Москве.

Стр. 130. *Кевдин* — пристав конно-полицейской стражи И. М. Кевдин (см. «Путеводитель по Нижнему Новгороду», 1904 г.);«занимал место при полицейском управлении по политической части». После смерти Грешнера стал «на первое, по крайней мере, время его заместителем» («Каторга и ссылка», 1928, кн. 41, стр. 43, 51).

Стр. 130. *...к доктору Смирнову...*— Уездный врач Н. Н. Смирнов назван в книге *Нижегородский край*, стр. 127.

Стр. 131. *Долгополов* Н. И. (1857—1922) — заведовал Бабушкинской городской больницей в Нижнем Новгороде (с 1897 г.); общественный деятель, связанный с революционными кругами; близкий знакомый Горького.

ИСПЫТАТЕЛИ. Первая часть (о Прохорове) впервые напечатана в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 201—210; полностью — в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Русский современник», 1924, № 1, стр. 42—54.

Замысел произведения относится, вероятно, к 1919 г. В «Каталоге издательства З. И. Гржебина на 1-е декабря 1919 года» в разделе «Русская литература» среди других произведений Горького значится «„Испытатель“ — новый роман» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-15-54-1). В «Каталоге», составленном на 1-е марта 1920 г., указано другое заглавие, по-видимому, этого же произведения — «Мечтатель», но степень его готовности к изданию составителю «Каталога» неизвестна (там же). В недатированном «Списке книг, подготовленных издательством Гржебина к печати» (возможно, 1920—1921 гг.), в разделе «Готово и готовятся к печати», вновь указано: «М. Горький. Испытатель — новый роман» (Архив А. М. Горького, КГ-изд-15-10-1д). Можно предположить, что к этому замыслу относятся хранящиеся в Архиве А. М. Горького заметки под заглавием «Испытатель» (см. варианты).

Стр. 131. *В курорте Сестрорецк был банщик Степан Прохоров...*— В очерке «Леонид Красин» упоминается «банщик Прохоров», с которым Горький был знаком, живя в Сестрорецке (февраль — апрель 1904 г.).

Стр. 132 — 133. *Маркевич* Б. М. (1822 — 1884)—автор романов, направленных против революционного и демократического движения.

Стр. 133. *Пурсам* — вероятно, персонаж романа Маркевича «Типы прошлого» — Крусанов.

Стр. 137. *Так, значит, следователь...*— Первоначально Горький называл фамилию следователя — «А. И. Святухин»,— но при подготовке произведения к первой публикации вычеркнул ее (Архив А. М. Горького, ХПГ-30-1-4). Возможно, здесь и ниже имеется в виду нижегородский судебный пристав А. И. Святухин (ум. 1910) (*Нижегородский край*, стр. 109). Горький упоминает о нем в одной из заметок (*Архив* $Г_{VI}$, стр. 203).

УЧИТЕЛЬ ЧИСТОПИСАНИЯ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

Стр. 144. *А. А. Я.*— Далее из текста следует, что это Яровицкий. Звали его не Алексеем Алексеевичем, а Александром Васильевичем.

Стр. 145. *«Господи, владыко живота моего»* — молитва Ефрема Сирина (Молитвослов, стр. 103).

Стр. 145. *...уходит в институт...*— Нижегородский дворянский институт на улице Варварке.

Стр. 146. *Скоро оказалось... ∽ Из письма Плиния императору Траяну.*— Ср.: «До сих пор с христианами, па которых были доносы, я поступал таким образом: спрашивал их: действительно ли они христиане? 〈. . .〉 упорствовавших казнить я приказывал 〈. . .〉 Вскоре после сего, как это обыкновенно бывает, преступление распространилось и приняло многие, различные виды. Был получен мною безымянный донос, заключавший в себе имена многих...» («Переписка Младшего Плиния с императором Траяном». СПб., 1863, стр. 10—11).

Стр. 146. *Аполлон Коринфский* (1868—1937) — русский поэт, печатался в журналах «Нива», «Родина» (в 1900—1904 гг.) и в других популярных изданиях.

Стр. 147. *Князь Владимир Галицкий ездил служить венгерскому королю...*— В результате междоусобиц князь Галицкий Владимир Ярославич (1151—1198) лишился в 1188 г. престола и бежал с дружиной и семейством в Венгрию, к королю Беле.

Стр. 148. *Мысовская* А. Д. (1840—1912) — поэтесса, жила в Нижнем Новгороде; печаталась в журнале «Отечественные записки». В ее доме по пятницам собиралась местная интеллигенция, бывал и Горький.

НЕУДАВШИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, стр. 56—62.

Стр. 150. *«Нива»* — журнал для «семейного чтения», выходил в Петербурге в 1870—1918 гг.

Стр. 152. *Все пташки-канарейки...*— Пародия на песню «Разлука» (ср.: «Бродяга. Новейший сборник русских песен». М., 1909, стр. 47).

ВЕТЕРИНАР. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, стр. 62—67.

Стр. 154. *Я познакомился с ним в 903 году в Седлеце, у М. А. Ромася...*— Михаил Антонович Ромась (1859—1920) — революционер, народник. Горький был знаком с ним с лета 1888 г. 24 сентября 1902 г. он писал Пятницкому: «Я — ужасно обрадован сегодня! Возвратился из Якутской области ⟨где — во второй раз — отбывал десятилетнюю ссылку⟩ хохол ⟨М. А. Ромась⟩, тот, с которым я торговал яблоками. Это, знаете, чудесный человек, редкой крепости машина! Узнав, где он,— поеду к нему» (*Архив Г*$_{IV}$, стр. 99). Это намерение Горький осуществил, посетив в первых числах июня 1903 г. Ромася в городе Седлеце, под Нижним Новгородом.

Стр. 157. *Юзова — знаете? Каблица?* — И. И. Каблиц (псевдоним — Юзов, 1848—1893) — один из идеологов либерального народничества, много писавший на тему «интеллигенция и народ». Горький не раз упоминает его имя, говоря об ограниченности народнической идеологии (см., например: *Г-30*, т. 24, стр. 65).

ПАСТУХ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май, стр. 3—7.

Стр. 158. *Вышенки* — села Большие Вишенки и Малые Вишенки в Нижегородском уезде, принадлежавшие помещицам Аболешевой и Матвеевой («Список населенных мест Нижегородской губернии». Нижний Новгород, 1911, стр. 115).

Стр. 164. *...блажен муж...*— Псалтырь, псалом I, стих 1.

ДОРА. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Прожектор», 1924, № 4, 29 февраля, стр. 2—7.

Стр. 165. *...патолог Штрюмпель со «надгождой фтивиков».*— А. Э. Штрюмпель (1853—1925), немецкий ученый, врач-терапевт и невропатолог. Горький читал, по всей вероятности, учебник Штрюмпеля (см. *Г-30*, т. 28, стр. 36). «Общеизвестно,—

писал Штрюмпель,— оптимистическое и полное надежд настроение многих чахоточных, до последних стадиев болезни не сознающих угрожающей им опасности» (Адольф Штрюмпель. Учебник частной патологии и терапии внутренних болезней, в 3 томах, пер. с немецкого, т. I, изд. 2. СПб., 1896, стр. 343).

Стр. 165. *...в одном из пансионов Крыма...*— Это указание позволяет датировать описываемые события февралем — апрелем 1897 г., когда Горький, заболев туберкулезом легких, жил и лечился в пансионе Е. И. Токмаковой в Алупке, на южном берегу Крыма.

ЛЮДИ НАЕДИНЕ САМИ С СОБОЮ. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 192—197.

Стр. 169. *Рондаль* Гарри (1860—1923) — актер мюзик-холла, гастролировал в России в 1890-х годах.

Стр. 170. «*Солнце пахнет травами?*» — из стихотворения К. Д. Бальмонта «Аромат солнца» (1899).

Стр. 170. *...видел, как А. Чехов ∽ Л. Н. Толстой тихонько спрашивал...*— С 12 (25) ноября 1901 по 23 апреля (6 мая) 1902 г. Горький находился в Ялте и часто бывал у живших тогда в Крыму Л. Толстого и Чехова; к этому времени относится личное знакомство Горького с Бальмонтом и встречи всех названных писателей.

Сохранилось следующее свидетельство Бальмонта, относящееся к 22 ноября (5 декабря) 1901 г.: «〈Л. Н. Толстой〉 попросил меня что-нибудь прочесть. Я ему прочел „Аромат Солнца“, а он, тихонько покачиваясь на кресле, беззвучно посмеивался и приговаривал: „Ах, какой вздор! Аромат Солнца...“» («Весы», 1908, № 3, стр. 82).

Стр. 170. *...по дороге в Дюльбер...*— в Крыму, неподалеку от Гаспры.

Стр. 170. *Профессор М. М. Тихвинский, химик...*— М. М. Тихвинский (1864—1921), профессор Киевского политехнического института по кафедре органической технологии, с 1917 г.— профессор Петербургского технологического института. В декабре 1905 г. часто бывал у Горького в Москве, в доме на углу улиц Моховой и Воздвиженки (д. 4/7, кв. 20), где занимался изготовлением бомб для участников декабрьского вооруженного восстания.

Стр. 171. *Ф. Владимирский.*— См. в т. XVI наст. изд. очерк «Леонид Андреев» и примеч. к нему.

Стр. 172. «*Княжий двор*» — гостиница в Москве.

Стр. 173. *А. А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной литературе»...*— А. А. Блок начал работу в издательстве «Всемирная литература» в марте 1919 г., входил в состав редакционной коллегии, ведал сектором немецкой литературы.

ИЗ ДНЕВНИКА. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, стр. 28—30.

В «Записной книжке» Горького 1910—1914 годов сохранился черновой набросок стихотворения, сделанный, вероятно, в первые месяцы мировой империалистической войны, по содержанию совпадающий с комментируемым произведением (см. т. XI наст. изд., стр. 509—510).

Стр. 174. *Убийственно тоскливы ночи финской осени.*— В 1914—1916 годах Горький подолгу жил в Финляндии; в первые месяцы войны — в деревне Кирьявала, вблизи станции Мустамяки.

СМЕШНОЕ. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 184—185.

ГЕРОЙ. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, стр. 67—70.

О ВОЙНЕ И РЕВОЛЮЦИИ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания» и в журнале «Прожектор», 1924, № 3, 16 февраля, стр. 2—6.

В Архиве А. М. Горького хранятся заметки, по содержанию примыкающие к циклу «О войне и революции» (ХПГ-30-1-5, ХПГ-30-1-7, ХПГ-30-1-6; последняя из них опубликована в книге: *Архив Г*$_{VI}$, стр. 119).

Стр. 180. *...при императрице Елизавете нами даже Берлин был взят.*— В Семилетней войне (1756—1763 гг.) русская армия под командованием генерала П. А. Салтыкова 28 сентября ст. ст. 1760 г. заняла Берлин.

Стр. 180. *...в прошлом году, после объявления войны...*— После 1 августа 1914 г. На этом основании события, описанные в заметке, можно датировать 1915 г.

Стр. 180. *В саду, против Народного дома...*— «Народный дом Попечительства о народной трезвости имени Николая II» в петроградском Александровском парке (ныне кинотеатр «Великан» в парке имени В. И. Ленина). Рядом с парком находится Кронверкский проспект (ныне проспект М. Горького); здесь в д. 23 (кв. 7) жил Горький с марта 1914 г. до отъезда за границу в 1921 г.

Стр. 181. *...о партийцах, как, например, П. А. Скороходов.*— Александр Касторович Скороходов (1880—1919) [1] — ни-

[1] Подпольные клички Скороходова — Касторыч и Алексей (Г. Л. Тонин. Большевик-революционер Скороходов Александр Касторович. Л., 1927, стр. 8). Горький привел его инициалы неверно.

жегородский рабочий, активный участник вооруженного восстания в Сормове в декабре 1905 г.; член РСДРП с 1906 г.; с 1916 г.— работал на заводе Дека в Петрограде, член подпольного Петербургского комитета РСДРП (б), участник революционных событий Февраля и Октября 1917 г. С июля 1917 г.— Председатель Петроградского районного Совета. Позднее работал в ВЧК. Погиб в сентябре 1919 г. от рук белогвардейцев (см. кн.: «Герои Октября», т. 2. Л., 1967, стр. 388—391).

Стр. 181. *На днях он рассуждал...*— Беседы Горького со Скороходовым происходили, вероятно, в октябре — декабре 1916 г., когда, по инициативе членов Петербургского комитета большевиков, были организованы лекции-собеседования для рабочих, в которых дважды принял участие Горький (см.: М. Г. Скородников. Александр Касторович Скороходов. Л., 1965, стр. 137).

Стр. 181. *Недавно у нас, на Сампсониевском...*— Проспект в Петрограде (ныне — проспект Карла Маркса).

Стр. 182. *Профессор З., бактериолог...*— Одна из заметок Горького, по содержанию совпадающая с комментируемым текстом, *озаглавлена* «Беседа *проф.* Заболотного с Брусиловым» (Архив А. М. Горького, ХПГ-30-1-7). Имеется в виду Заболотный Д. К. (1866—1929) — русский микробиолог и эпидемиолог. Горький был знаком с ним по совместной работе весной 1917 г. в «Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук».

Стр. 182. *...в присутствии генерала Б. ...*— Имеется в виду А. А. Брусилов (1853—1926). В период первой мировой войны командовал Румынским фронтом, с мая 1917 г.— верховный главнокомандующий русской армией.

Стр. 182. *...шпионы...*— В связи с поражением русских армий на фронтах первой мировой войны, с конца 1914 г. начали распространяться слухи о немецко-еврейском шпионаже в армии и в тылу, усиленно раздуваемые правящими кругами. Все газеты помещали многочисленные материалы на эту тему,— см., например, «Новое время», 1915, № 14090, 3 июня; «Биржевые ведомости», 1915, № 14798, 21 апреля и № 14814, 29 апреля; «Московские ведомости», 1915, № 88, 18 апреля. В одном из писем, относящихся к этому времени, Горький писал: «Вы не можете представить, что теперь делают с еврейским населением Польши! Уже выслано до полумиллиона 〈. . .〉 Говорят, что массовое обвинение евреев в измене, предательстве вызвано желанием объяснить наши военные неудачи и затушевать действительное предательство Мясоедовых и К°» (*Г-30*, т. 29, стр. 336—337).

Стр. 183. *...издал книжку или две...*— Имеется в виду книга Павла Вейнберга «Сцены из еврейского быта» (*Пб.*, 1874), выдержавшая несколько изданий. Экземпляр ее шестого издания, под заглавием «Сцены из еврейского и армянского быта» (СПб., 1878), имеется в *ЛБГ*.

Стр. 184. *Горит здание окружного суда.*— Здание старого Арсенала на Литейном проспекте, в котором находился Петроградский окружной суд, сгорело в ночь с 26 на 27 февраля

1917 г. («Известия революционной недели», 〈1917〉, № 1, 27 февраля).

Стр. 184. *...пушек орудийного завода ∽ вытянуты в сторону Государственной думы...*— Орудийный завод находился на Кронверкском проспекте; Государственная дума — в Таврическом дворце, на Шпалерной улице. Район этот был одним из центров революционного восстания в феврале 1917 г.

Стр. 185. *...в эту ночь поворота России на новый, еще более трудный, героический путь.*— В ночь с 26 на 27 февраля 1917 г., когда совершилась Февральская буржуазно-демократическая революция в России.

Стр. 185. *Теперь, летом, речи на эту тему звучат всё тверже и чаще.*— Горький имеет в виду усиление антивоенных и революционных настроений в народных массах в мае — июне 1917 г. (см.: «История СССР», т. 7, стр. 52, 78—80).

Стр. 185. *...после митинга в Народном доме...*— В период с февраля по октябрь 1917 г. Народный дом являлся местом многочисленных митингов и собраний. В данном случае, по-видимому, речь идет об организованном «1-ым Революционным народным пулеметным полком» митинге, который состоялся 2 июля 1917 г. и был направлен «против политики грубейшего насилия Временного правительства» («Правда», 1917, № 98, 17 (4) июля).

Стр. 186. *...опять наступай, опять воюй.*— Речь идет о ноте Временного правительства союзным державам от 18 апреля 1917 г., в которой заявлялось о «всенародном» стремлении довести мировую войну до решительной победы («Вестник Временного правительства», 1917, № 35, 20 апреля).

Стр. 186. *...в цирке «Модерн»...*— На Кронверкском проспекте, д. 11; здание не сохранилось. В 1917 г. здесь проходили многочисленные митинги и собрания — см., например, «Правда» (под загл. «Рабочий и солдат»), 1917, № 4, 27 (14) июля; «Правда» (под загл. «Пролетарий»), 1917, № 9, 20 (7) августа.

САДОВНИК. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, стр. 53—56.

Стр. 187. *...работает садовник...*— По воспоминаниям Е. П. Пешковой, в основе произведения лежат реальные события: «...садовник — лицо не вымышленное, Алексей Максимович наблюдал его в 1917 году, и он произвел на него большое впечатление своим отношением и любовью к работе» («Василий Иванович Качалов. Сборник статей, воспоминаний, писем». М., 1954, стр. 415).

Стр. 187. *...пришел из Ораниенбаума какой-то неисчислимый пулеметный полк...*— 2-ой пулеметный полк [1] гарнизона

[1] В современном исследовании назван «1-й пулеметный полк», прибывший из Ораниенбаума в Петроград «почти в полном составе», «во главе с большевиком-агитатором С. И. Петриковским» («История СССР», т. 6, стр. 643—644).

Ораниенбаума (теперь г. Ломоносов) восстал 27 февраля 1917 г.: «...к 8 часам вечера 〈. . .〉 весь гарнизон Ораниенбаума присоединился к революционному народу 〈. . .〉 Войска, шедшие в Петербург 〈. . .〉 утром 28 февраля 〈. . .〉 вступили в Петербург» («Правда», 1917, № 2, 7 марта; также «Известия революционной недели», 1917, № 3, 1 марта). Полк «в составе до 17 000 человек разместился в Народном доме» (С. М. Левидова. От Февраля к Октябрю. Л., 1957, стр. 44).

Стр. 187. *Солдаты ∞ вызванные с фронта, окружают Петропавловскую крепость...*— Речь идет о событиях 6 июля 1917 г. После разгрома мирной демонстрации 3—4 июля в Петрограде Временное правительство 6 июля предложило большевикам «очистить дворец Кшесинской. Большевики решили уйти из дворца в Петропавловскую крепость во избежание кровопролития. 〈В тот же день〉 в Петроград прибыли вызванные правительством с фронта: 14-я Кавказская дивизия, 14-й Донской казачий полк, Уланская дивизия 〈. . .〉 и другие воинские части» («Великая Октябрьская социалистическая революция». Хроника событий, т. 2. М., 1959, стр. 509—510). «Прибывшие с фронта войска окружили районы Петропавловки и дворца Кшесинской 〈. . .〉 дворец Кшесинской был подвергнут разгрому» (И. И. Минц. История Великого Октября, т. 2. М., 1968, стр. 609).

ЗАКОННИК. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 2, июль — август, стр. 70—74.

Стр. 189. *А. В. Пешехонов* (1867—1933) — политический деятель, публицист; в мае 1917 г. вошел от партии «народных социалистов» во Временное коалиционное правительство в качестве министра продовольствия.

МОНАРХИСТ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

В письме от 4 августа 1925 г. Горький спрашивал А. Е. Богдановича, старого друга и родственника: «А о В. И. Брееве читали? В „Заметках“?» (*Г-30*, т. 29, стр. 436). Еще раньше, 2 мая 1925 г., Богданович писал автору об этом рассказе: «...хороши у Вас Бугров, Анна Николаевна, Бреев, особенно Бреев. Я его мало знал и совсем не встречал в последний период его жизни, который Вы описываете и где он наиболее интересен, и поэтому не могу судить — насколько он портретен 〈. . .〉 но как образ, но как психологический тип — он превосходен и весьма любопытен...» (Архив А. М. Горького, КГ-п-10-1-1).

22 июля 1928 г. В. И. Бреев написал Горькому письмо с просьбой об аудиенции в Баку, куда приехал писатель. Бреев собирался «поговорить об одной неправде», будто бы допущенной Горьким «по отношению „Монархиста“» (Архив А. М. Горького, КГ-рл-4-26-2). Состоялась ли эта встреча, не установлено.

Стр. 192. *...поставил «ларек» в углублении церковной стены...*— Лавка Бреева примыкала к стене Рождественской (Строгановской) церкви. В «Путеводителе по Нижнему Новгороду» 1904 г. указана «Торговля В. И. Бреева: книги, канцелярские принадлежности и писчебумажные товары», на Рождественской улице, д. 18 (ныне ул. Маяковского).

Стр. 192. *...розовенькая книжонка...*— Возможно, имеется в виду брошюра «Сказание о жизни и подвигах Федора Кузьмича» (Пб., 1891; 2 изд.— 1892). Жизнь «старца», под именем которого якобы скрывался Александр I, была предметом многочисленных легенд и исторических разысканий (см., например, «Исторический вестник», 1895, т. LX, стр. 550—554; т. LXI, стр. 245—246). У Л. Толстого есть незаконченное произведение: «Посмертные записки старца Федора Кузмича, умершего 20 января 1864 года в Сибири, близ Томска, на заимке купца Храмова» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 59—74).

Стр. 194. *...нечто вроде моей биографии.*— «Знаменитый босяк (Черты из жизни Максима Горького)». Издание В. И. Бреева. Н. Новгород — М., тип. И. Д. Сытина, 1904.

Стр. 194. *...кажется, в 910 году, Бреев прислал мне на остров Капри письмо...*— В Архиве А. М. Горького сохранилось письмо Бреева от 21 октября ст. ст. 1911 г. (КГ-рл-4-26-1), которое, вероятно, и имеется здесь в виду.

Вскоре после получения письма Бреева Горький писал сыну, М. Пешкову: «...посылаю тебе открытки с картин из истории Нижнего, их прислал мне один из тамошних черносотенцев, прислал вместе с длинным письмом, в котором уговаривает меня вернуться в Россию — вот как! Он написал от души, письмо — доброе, но он очень глупый, и мне надо будет отвечать ему в ласковом тоне, боюсь, что не сумею» (*Архив Г*$_{XIII}$, стр. 103).

Стр. 194. *...ответ мой был кем-то напечатан...*— Ответ Горького, под заглавием «Письмо монархисту», напечатан в газете «L'Avenir» (Будущее), Париж, 1911, № 6, 25 ноября, стр. 2—3; в пер. на англ. яз.—в газете «The Manchester Gurdian», 1912, 1 марта. Сокращенный вариант — в кн.: *Г, Материалы*, т. I, стр. 53—60.

В своем ответе Горький показал, «почему для России особенно вреден принцип монархизма», и заключал: «Но — что бы Вы ни делали,—революция неизбежна, и закон 9-го ноября, который Вы так хвалите,— ускорит ее» (*Г, Материалы*, т. I, стр. 60). «Николая II Вы назвали „доброделателем“,— писал Горький,— это ошибка Вашего невежества, а вернее — это лицемерие и цинизм. Этот человек в глазах всех честных людей мира стоит как самое мрачное, лживое и кровавое явление конца XIX — начала XX века» (там же, стр. 59).

Стр. 194. *В 14 году, возвратясь в Россию...*— Горький возвратился в Россию, после семилетнего пребывания за границей, 30 декабря 1913 г. (12 января 1914 г.).

Стр. 195. *...искусные доильцы — это англичане на Лене...*— Золотые прииски на притоках реки Лены — Олекме и Витиме

с 1908 года принадлежали английскому акционерному обществу «Lena — Goldfields».

Стр. 195. *...города, которому вся Россия обязана о спасением...*— Имеется в виду Нижний Новгород. Нижегородское военное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву в сентябре 1612 г. от иноземной интервенции.

Стр. 198. *...мы, «черная сотня»...*— Имеется в виду монархический черносотенный «Союз русского народа» (председателем его отделения в Нижнем Новгороде был Бреев).

Стр. 198. *...знакомого вашего, аптекаря Гейнце.*— «Аптека Гейнце А. К. на Рождественской улице, дом 26» указывалась в «Путеводителях по Нижнему Новгороду», начиная с 1901 г.

Гейнце А. К. (1874—1905) участвовал в общественной жизни города. 9 июля 1905 г., случайно оказавшись на Острожной площади во время демонстрации, был смертельно избит черносотенцами и умер («Нижегородский листок», 1905, № 185, 14 июля).

Стр. 198. *...союз с французами...*— Франко-русский военно-политический союз, сложившийся в 1891—1893 годах и просуществовавший до 1917 года.

Стр. 199. *...доказывать народу, будто Романовы — немцы...*— В «Письме монархисту» Горький указывал, что правящая династия «на протяжении сотни лет с лишком безжалостно истощает нашу страну и трижды за сто лет доводила ее почти до национальных катастроф. Я говорю о потомках голштинского принца Карла-Ульриха, который царствовал в России под именем Петра III, и жены его, Цербстской принцессы Софии Августовны, тоже царствовавшей — под именем Екатерины II» (*Г, Материалы*, т. I, стр. 57).

Стр. 199. *...губернатору Хвостову...*— А. Н. Хвостов (1872—1918), нижегородский губернатор в 1912—1915 гг., впоследствии министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов; член IV Государственной думы.

Стр. 200. *...у нас парламентик шумит, и господин Милюков в президенты насыкается.*— Имеется в виду Временное буржуазное правительство, созданное 2 марта 1917 г. в результате победы Февральской революции 1917 г. П. Н. Милюков (1859—1943) был министром иностранных дел в этом правительстве.

Стр. 200. *...«12-й год», музыку Чайковского...*— «1812 год» — торжественная увертюра П. И. Чайковского, написана в 1880 г.

Стр. 201. *«Пиши, ребята, картины из жизни Нижнего Новгорода в 613 году...»* — Такие картины были действительно написаны. В числе материалов организованной В. И. Бреевым выставки названа «История Нижнего Новгорода в картинах, исполненных по специальному заказу пенсионерами императорской Академии художеств» (Архив А. М. Горького, КГ-рл-4-26-1). Судьба картин неизвестна. Репродукции с них Бреев послал Горькому в 1911 г. вместе с письмом (см.: *Архив Г* $_{XIII}$, стр. 103).

Стр. 201. *...известный содержатель цирков, Аким Никитин...*— А. А. Никитин (1849—1917) в 1911 г. выстроил в Москве, на Большой Садовой улице, свой цирк и ежегодно гастролировал с ним на Нижегородской ярмарке. Горький был знаком с Никити-

ным. Сохранилась запись Горького, сделанная им 25 августа 1902 г. в альбоме Никитина: «Люблю цирк и его артистов — людей, которые ежедневно и спокойно рискуют жизнью» (ЦГАЛИ, ф. 2607, оп. 1, ед. хр. 104). См. также воспоминания В. А. Гиляровского в кн.: *ВН*, стр. 173—174.

Стр. 202. *Портрет царя Ивана Грозного работы художника Васнецова...*— Картина «Иван Грозный» написана В. В. Васнецовым в 1897 г., хранится в Третьяковской галерее.

Стр. 204. *...а Федор-то ведь Филарет! — отец Михаила Романова!..*— Михаил Федорович Романов (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых, сын боярина Федора Никитича Романова (1554?—1633), в монашестве — Филарета. С 1619 г. Филарет был патриархом и фактически правил государством.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТИПЫ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

Стр. 204. *В эту весну...*— 1917 года.

Стр. 205. *На Семионовской улице...*— В Петрограде (ныне ул. Белинского).

Стр. 212. *Нет господ в Библии! ∞ И сам бог приказывал избивать племена, в которых господа были...*— «Приказания» бога об истреблении племен, городов и вообще больших человеческих контингентов, действительно, нередко встречаются в Библии, но эти «приказания» направлены не против «господ» и не против рабовладельческого общества. Гибель городов, племен или определенных семей и групп обычно объясняется в Библии «гневом божиим» против тех, кто поклонялся идолам и нарушал нравственные законы, якобы установленные богом (например: история уничтожения Содома и Гоморры — Бытие, гл. 13, стих 13; гл. 18 и 19; история разгрома хананаанских племен израильтянами — Числа, гл. 18, стихи 24—25; гл. 20, стих 23; Иисус Навин, гл. 6, стих 20, главы 8, 10, 11 и др.).

Стр. 212. «*Дневник горничной*» — роман французского писателя Октава Мирбо (1848—1917), русск. пер.— 1907 г.

МЕЧТА. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 185—186.

ОТРАБОТАННЫЙ ПАР. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

Стр. 214. *...как зверски били людей в Орловской тюрьме...*— Имеется в виду Орловский каторжный централ, построенный царским правительством в 1908 г. для политических заключенных. О режиме и репрессиях в нем см. в кн.: М. Н. Гернет. История царской тюрьмы в 5 томах, т. 5. М., 1963, стр. 264—272.

Стр. 216. *«Отцы ели кислый виноград...»* — Библия, Книга пророка Иеремии, гл. 31, стих 29.

Стр. 216. *...после опубликования тезисов Ленина.*— Имеются в виду «Апрельские тезисы» В. И. Ленина — тезисы доклада «О задачах пролетариата в данной революции»; впервые опубликованы в газете «Правда», 1917, № 26, 7 апреля (26 марта).

Стр. 216. *Чека* — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, орган государственной безопасности, действовавший в период с 7 (20) декабря 1917 по декабрь 1921 г.

Стр. 216. *...погиб на фронте Юденича...*— Под Петроградом в мае или сентябре — октябре 1919 г.

БЫТ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

Стр. 217. *«Над серебряной рекой...»* — Песня на слова Федора Глинки (см.: «Северный певец, или Собрание новейших и отличнейших романсов и песен...», ч. I. М., 1830, стр. 13).

Стр. 218. *Стой,— не гранд-ром, а — как его?* — Вероятно, гран-па (франц. «большой танец») — заключительный танец, в котором принимают участие все танцующие.

ИЗ ПИСЬМА. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

МИТЯ ПАВЛОВ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

Стр. 220. *...Митя Павлов, земляк мой...*— Д. А. Павлов (1880—1920), революционер-большевик, член Нижегородского комитета РСДРП с 1899 г., активный участник революции 1905 года и Великой Октябрьской социалистической революции. Горький был знаком с ним со времени жизни в Нижнем Новгороде; через него, по воспоминаниям В. А. Десницкого, писатель поддерживал связи с нижегородской партийной организацией (*ВС*, стр. 130). Дружеские отношения между Горьким и Павловым сохранялись до смерти последнего. «С тех пор, как я с Вами виделся, а этому будет скоро год, где я только не был, и чем только не был,— писал Павлов Горькому 6 января 1919 г.— Как Вы знаете, секретарем Народной Комиссии торговли и промышленности 〈. . .〉 потом председателем Чрезвычайной Комиссии по разгрузке и эвакуации металлов 〈. . .〉 По приезде сюда я, как председатель 〈. . .〉 первым делом занялся отсылкой товарищей агитаторов в деревни...» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-6-17-1).

После выхода в свет книги «Заметки из дневника. Воспоминания» Горький получил письмо от А. А. Кленова, в котором, в частности, сообщалось: «Я знаю Дмитрия Александровича Пав-

лова, с которым встречался в годы гражданской войны в Москве, в Ельце, на деникинском фронте. Это светлая личность, герой, массовик, борец‹...› Дмитрий Александрович умер от тифа в ноябре 1919 года [1] и похоронен в станице Раздорской б. Донской области. Он умер военным комиссаром 2-ой бригады 21 дивизии, бывшей в составе IX-й Красной Армии» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-3-23-1).

Описываемый Горьким эпизод относится, по-видимому, ко времени декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 г. «Д. А. Павлов встретился с Горьким в Петербурге 7 декабря ‹1905 г.› ‹. . .› поручение на доставку боеприпасов он получил ‹. . .› от боевой группы при ЦК ‹. . .› он появился на квартире Горького в Москве с бикфордовым шнуром и коробкой капсюлей 10—11 декабря 1905 г.» (письмо сына Д. А. Павлова — В. Д. Павлова — Редакции наст. изд. от 30 августа 1970 г.).

Стр. 221. *М. М. Тихвинский...*— См. выше, примеч. к стр. 170.

А. А. БЛОК. Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 186—187 и № 2, июль — август, стр. 12—20.

Стр. 221. *«О, мои грустные опыты!..»* — «Уединенное В. Розанова. Почти на праве рукописи». СПб., 1912, стр. 158; запись 1911 г. Книга имеется в *ЛБГ*.

Стр. 221. *«Сознание — величайшее моральное зло...»* — У Л. Толстого: «Сознание есть величайшее моральное зло, которое может постичь человека» («Дневник молодости Льва Николаевича Толстого», т. I (1847—1852). М., 1917, стр. 74; запись от 4 июля 1851 г.).

Стр. 221. *«...слишком сознавать...»* — У Ф. М. Достоевского: «...слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь... Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание — болезнь. Я стою на том» (цит. по изд., хранящемуся в *ЛБГ*: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 3, изд. 6. СПб., 1905, стр. 318). Горький подчеркнул эти слова героя «Записок из подполья» в книге, хранящейся в *ЛБГ*: В. Розанов. Легенда о великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Берлин, 1924, стр. 36.

Стр. 222. *«В разуме есть что-то от шпиона...»* — Вероятно, Горький приводит устное высказывание Л. Андреева. Оно совпадает с трактовкой Горьким проблемы разума в творчестве Андреева: см. его предисловие к роману Андреева «Сашка Жегулев» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 400—406), а также воспоминания о писателе: «Леонид воспринимал мысль, как „злую шутку дьявола над человеком“; она казалась ему лживой и враждебной» (там же, стр. 373).

---

[1] По другим источникам — в 1920 г.

Стр. 222. *П. Ф. Николаев* (1845—1912) — писатель и политический деятель. Горький был знаком с ним, по-видимому, со времени его участия как переводчика в работе издательства «Знание» (письмо П. Ф. Николаева Горькому, б. д.— Архив А. М. Горького, КГ-п-53-19). Книга «Активный прогресс и экономический материализм. Социологический этюд П. Николаева» вышла в 1892 г. (М., изд. К. Т. Солдатенкова).

Стр. 222. *«К чему вооружаемся мы тщетным знанием? ∽ незнание и простота сердца».*— Эти слова Монтеня Горький цитирует по переводу Д. Мережковского в книге: Д. Мережковский. Вечные спутники. Монтень. Флобер. Изд. 3. СПб., 1908 (книга имеется в *ЛБГ*). Ср.: «К чему вооружаемся мы усилиями тщетного знания? Посмотрим вниз, на землю: вот бедные люди, которые рассеяны по ней, с головою, склоненною над работой, которые не знают ни Аристотеля, ни Катона 〈. . .〉 а между тем каждый день природа показывает нам среди них более высокие и удивительные примеры стойкости и терпения, чем те, о которых повествует нам история...» (указ. изд., стр. 43). И далее: «Самое мудрое — в полной простоте отдаться природе. О, какое сладостное, благодатное и мягкое изголовье для избранных — незнание и простота сердца!» (там же, стр. 44).

Стр. 222. *Он объяснял долголетие дикарей их незнанием наук и религии...*— Ср.: «...эти народы мне кажутся дикими оттого только, что на них очень мало имел влияния человеческий ум, и оттого, что они еще очень близки к природной наивности 〈. . .〉 там редко встретить больного человека 〈. . .〉 никого не видали в лихорадке, без зубов, с больными глазами или сгорбленного от старости...» (Мишель де Монтень. Опыты. СПб., 1891, стр. 241—242).

Стр. 222. *...каннибализм дикарей не так отвратителен, как пытки инквизиции.*— Ср.: «Я думаю, более варварства есть живого человека, чем мертвого; терзать мучениями и адскими муками тело живое 〈. . .〉 чем жарить и есть его, когда он умер...» (там же, стр. 245).

Стр. 223. *...Лев Толстой сказал о нем: «Монтэнь — пошл».*— Возможно, Горький приводит устное высказывание Л. Толстого: в печатных источниках содержится иная, противоположная характеристика Монтеня Л. Толстым (см.: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., справочный том, стр. 363).

Стр. 223. *...он всегда помнил слова Тертуллиана ∽ «Мысль есть зло».*— В произведении «Лев Толстой» Горький приводит это высказывание древнехристианского писателя К.-С. Тертуллиана как продолжение мысли самого Толстого (см. в наст. изд. т. XVI, стр. 285). Слова Тертуллиана Горький заимствует, по-видимому, из книги Игнация Матушевского: «Тертуллиан говорит: „Зло — это мысль. Осужденный, еретик, наконец, та великолепная скотина (glorial animal), которая называется философом,— одно и то же“» (Игнаций Матушевский. Дьявол в поэзии. М., 1901, стр. 177).

Стр. 223. *«Азазел же научил людей...»* — Горький приводит текст из апокрифической «Книги Еноха», по-видимому, по ука-

занному выше сочинению Игнация Матушевского, в котором, на стр. 62—63, в связи с Азазелом, дана отсылка к Библии (Бытие, гл. 6, стихи 1—4), а ниже приводится выдержка из «Книги Еноха», полностью совпадающая с цитируемым Горьким текстом.

Об интересе к Азазелу свидетельствуют пометки Горького на книге Н. Н. Евреинова «Азазел и Дионис»; в частности, им отмечено следующее утверждение: «Азазел,— предводитель допотопных гигантов, восставших против бога ⟨. . .⟩ он научил мужчин войне и изготовлению смертоносного оружия, а женщин — искусству обмана ⟨. . .⟩ он испортил нравы и обучил людей разврату». Против этих слов Горький написал: «Гигантомания. Дьявол на Брокене» (Н. Н. Евреинов. Азазел и Дионис. Л., 1924, стр. 6—7.— *ЛБГ*).

Стр. 223. *...после ∽ беседы с А. Блоком ∽ по поводу его «Крушения гуманизма» ∽ он читал на эту тему нечто вроде доклада...*— Статья «Крушение гуманизма» была прочитана А. А. Блоком 9 апреля 1919 г. на собрании сотрудников издательства «Всемирная литература». Поводом к написанию статьи послужила беседа с Горьким о другом докладе Блока — «Гейне в России», прочитанном несколькими днями раньше также во «Всемирной литературе». В «Дневнике» Блок записал 26 марта 1919 г.: «Вчера— большой день. Я прочел доклад о Гейне ⟨. . .⟩ затронув в нем тему о крушении гуманизма и либерализма ⟨. . .⟩

Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит новое, перед чем гуманизму, в смысле „христианского отношения“ и т. д., придется временно стушеваться ⟨. . .⟩ В заключение говорит мне с той же милой улыбкой: „Между нами — дистанция огромного размера, я — бытовик такой, но мне это понятно, что вы говорите, я нахожу доклад пророческим, извиняюсь, что говорю так при вас...“

Горький предлагает посвятить этому вопросу отдельное заседание...» (цит. по книге, хранящейся в *ЛБГ*: «Дневник Ал. Блока. 1917—1921». Л., 1928, стр. 150—151; в книге много пометок Горького; отмечены им и приведенные выше слова).

Стр. 223. *«Цивилизовать массу ∽ Открытия уступают место изобретениям».*— У Блока: «Цивилизовать массу не только невозможно, но и не нужно ⟨. . .⟩ Творческий труд сменяется безрадостной работой, открытия уступают первое место изобретениям» (А. А. Блок. Собрание сочинений, т. 6. М.— Л., 1962, стр. 99 и 107).

Стр. 225. *...может быть, прав Ламеннэ...*— По всей вероятности, здесь своеобразно интерпретируется идеалистическое утверждение французского философа Ф.-Р. Ламеннэ (1782—1854) о бессилии времени уничтожить «божественный принцип», заключенный в телесной оболочке, и о том, что, когда последняя разрушается, этот «принцип» находит для себя «новое, более совершенное» воплощение (см.: «Le Livre du Peuple du passé et de l'avenir du peuple par F. Lamennais». Paris, 1866, p. 158). В *ЛБГ* хранится книга: Н. Анцыферов. Ламеннэ. Берлин —

Пб.,—М., 1922; в ней излагается и содержание указанной выше «Книги народа...» Ламеннэ.

Стр. 227. *...матрос Балтфлота В...*— В одной из заметок, относящихся к очерку «А. А. Блок», Горький называет фамилию матроса — Васильев (Архив А. М. Горького, ХПГ-30-1-8).

Стр. 228. *В ресторане «Пекарь»...*— В связи с этим эпизодом В. Б. Шкловский вспоминал: «Рассказ о Блоке и о проститутке настоящий рассказ. В передаче Алексея Максимовича я слышал его несколько раз.

Рассказ изменялся: Блок становился сентиментальным. Он уже закачивал женщину» (Виктор Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького. Заккнига, 1926, стр. 15).

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Впервые напечатано в книге «Заметки из дневника. Воспоминания».

Стр. 229. *...в 901 году, в Арзамасе, протоиерей Феодор Владимирский...*— См. т. XVI наст. изд., стр. 338—342.

Стр. 335. *Вильям Джемс* (1842—1910) — американский ученый, психолог, философ, один из основоположников прагматизма. Горький познакомился с Джемсом в августе 1906 г. во время своего пребывания в Америке (см. *Г-30*, т. 28, стр. 431). Тогда же Горький писал Е. П. Пешковой: «Недалеко от нас ⟨писатель жил в то время в Адирондаке⟩ философская школа ⟨. . .⟩ Ее основал профессор Дюи ⟨. . .⟩ Недавно читал Джемс, психолог, которого здесь чтут как звезду первой величины» (там же, стр. 437). Приведенная Горьким характеристика русского народа могла содержаться либо в лекции Джемса, либо в его беседе с писателем. Она совпадает с другими высказываниями Джемса о русском народе и русских писателях. 20 августа 1906 г. В. Джемс писал Горькому: «...есть природа более высокая — международное сплочение свободных умов, „интеллектуалов"; внутри себя это объединение организуется все более прочно, отсюда возьмут начало решающие тенденции будущего. Вы, русские писатели, с вашим поразительным гением человеческого сочувствия, состоите среди самых могущественных организаторов этого более истинного и широкого сплочения умов...» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-а-1-73-1. Пер. с англ. Д. М. Урнова). В статье „О писателях-самоучках" (1911) Горький приводит слова Джемса: «Я мало знаю русскую литературу, но всё, что знаю, рисует русских изумительно, бешено талантливыми людьми» (*Г-30*, т. 24, стр. 136).

РАССКАЗЫ 1922—1924 ГОДОВ

(Стр. 223)

Над произведениями, составившими книгу, озаглавленную самим автором «Рассказы 1922—1924 годов», работа длилась с лета 1922 до мая 1924 г. включительно. Ко времени, когда было написано около половины произведений, у автора стал складываться замысел именно книги рассказов. К концу 1923 г. этот замысел оформился окончательно. Отвечая на вопрос чешского корреспондента: «Каковы Ваши литературные планы?», Горький сказал в марте 1924 г.: «Работаю над книгой рассказов; я очень занят работой» («Rudé právo», 1924, 23 марта.— Цит. по кн.: *Муратова*, стр. 127). В письме к П. П. Крючкову от 2 апреля 1924 г. Горький сообщил следующий состав книги: «„Отшельник“, „Рассказ о ⟨безответной⟩ любви“, „Рассказ о герое“, „Карамора“, „Анекдот“, „Голубая жизнь“, „Сон“, „Рассказ ⟨об одном⟩ о романе“, „Репетиция“, „Рассказ о необыкновенном“». При этом он заметил: «Кажется, книжка будет довольно вкусная?» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-44).

Летом 1924 г. рукопись была подготовлена для набора. В нее вошли все из названных выше рассказов, кроме «Сна». Определилась и композиция. В письме Крючкову Горький напоминал: «Пожалуйста: „Рассказ о необыкновенном“ — в конец книги, это совершенно необходимо, книга начинается „Отшельником“ и будет кончена убийством отшельника. Не забудьте об этом!» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-52). 23 августа автор просмотрел первую корректуру и в письме Крючкову уточнил заглавие — «Рассказы 1922—1924 годов» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-51), а 17 ноября того же года просмотрел вторую корректуру книги. Видимо, к этому времени относится его заявление одному иностранному корреспонденту: «Какую из моих книг я считаю самой лучшей? Она еще не написана мною ⟨. . .⟩ Скоро напечатаю книгу рассказов, написанных мною в 23—24 годах» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 116).

Критика отнеслась к новой книге Горького в общем положительно (см. примечания к отдельным произведениям). Сам же писатель рассматривал ее в плане подготовки к работе над «Жизнью Клима Самгина». 25 марта 1928 г. он писал В. Я. Зазуб-

рину: «„Рассказы 22—24-го гг.“— моя попытка обрить некоторую внутреннюю лохматость Горького и, в то же время, это — ряд поисков иной формы, иного тона для „Клима Самгина“,— работы очень трудной и ответственной. Лично для меня поиски эти я считаю очень полезными...» (*Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 351).

ОТШЕЛЬНИК

(Стр. 235)

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 1, май — июнь, стр. 11—42.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Авторизованная машинопись с незначительной правкой — *А М* (ХПГ-42-7-1).

2. Страница гранок набора для «Беседы» с карандашной надписью рукой Горького: «Из „Отшельника“?» (ХПГ-42-7-2).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *А М:*

Стр. 241, строка 26: «дочери я тебе не выдам» вместо «дочери тебе не выдам».

Стр. 253, строки 2—3: «сказал мужик, шумно вздохнув» вместо «сказал мужик шумно» (*Ред.*).

Стр. 254, строка 12: «между старухой и парнем и долго» вместо «между старухой и долго» (*Ред.*).

Стр. 255, строки 7—8: «взрастил на радость» вместо «взрастил на радости».

Стр. 258, строка 22: «рука его еле взмахивала» вместо «рука его взмахивала».

«Отшельник» написан в 1922 г., не позднее ранней осени: в сентябре Горький уже читал его в Герингсдорфе А. Н. Толстому. «...недавно я был у М. Горького в Heringsdorf'e,—писал Толстой в статье „Великая страсть“.— М. Горький читал свою последнюю повесть — „Отшельник“. Она поразила меня свежестью и силой формы и новым поворотом души его. Выше всего над людьми, над делами, над событиями горит огонь любви, в ней раскрывается последняя свобода. В ней человек — человек» («Накануне», 1922, № 20, приложение к № 148, 1 октября, стр. 9).

Не менее высокую оценку рассказу давали и другие писатели. Федин в обширном письме к Горькому от 16 января 1926 г. рассказывал: «...незадолго до Рождества я получил, наконец, от „Междунар〈одной〉 книги“ Ваши рассказы (1922—24), а на днях приобрел и вышедшие недавно тома XVII и XVIII Вашего Собрания в издании здешнем („Рассказы“, изд〈атель〉ства „Kniga“ — XVIII том Собрания). За исключением двух-трех рассказов, книги эти для меня совершенно новы — в буквальном и всяком ином смысле. Я не только Ваш „старый“ ученик, но и старый читатель 〈. . .〉 Так вот на правах читателя (очень сомнительных, впрочем, правах) хочется мне сказать Вам, что никогда еще не испытывал я такого изумления перед Вашими книгами, как

теперь 〈. . .〉 По книгам, напросто, ходят люди,— так ощутимы телесны герои повестей! И — другое: даже там, где автор ведет повествование от своего лица, он не стесняет меня — читателя — своим отношением к герою. Я остаюсь совершенно свободным в своей связи с героем повести, в своем понимании его. Особенно это касается XVIII тома, и особенно — „Отшельника“. Здесь я ощутил героев буквально, т. е. на ощупь 〈. . .〉 Книга эта нова для меня (так нова была только книга о Толстом), и Вас я почувствовал после нее еще шире, чем раньше» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 498).

Восторженно отозвался о рассказе «Отшельник» М. М. Пришвин в письме к Горькому от 31 января 1926 г.:

«Пришли Ваши книги, дорогой Алексей Максимович, читали „Отшельника“ вслух, это был праздник с радостными слезами. Сын мой Лева, почти комсомолец, сказал: „Вот в этого бога и я верю!“, а Павловна моя (народный человек): „написал, и нам есть на что оглянуться“ 〈. . .〉 Особенно мне понравилось, что старец себе куклу купил. Как у вас там произошло, не знаю, но точь-в-точь такой человек живет под кряжем на Шельне» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 328, 329).

В ответ 11 февраля 1926 г. Горький писал Пришвину: «Я очень взволнован Вашим письмом, Михаил Михайлович, я прочитал его с великой радостью. Вы поймете ее, если я скажу Вам, что, давно считая Вас оригинальнейшим русским художником и глубоким знатоком духа языка нашего, я давно хотел знать Ваше мнение о моих книгах 〈. . .〉 Теперь Вам должно быть понятно, почему я так обрадован Вашей похвалою „Отшельнику“» (там же, стр. 329).

Редактор «Беседы» Ф. А. Браун писал 5 мая 1923 г. Горькому: «...„Отшельник“ мне очень понравился. Новый и правдивый тип и — Русью пахнет в самом лучшем смысле этого слова» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-3-30-21).

Переводивший «Отшельника» и другие произведения Горького на французский язык М. Дюмениль де Грамон 28 сентября 1924 г. писал Горькому: «Считаю большой честью для себя, что способствую, пусть даже в самой незначительной степени, тому, что французский читатель ближе узнает и полюбит Ваше творчество» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 397).

Критика восприняла «Отшельника» и другие новые рассказы Горького как доказательство его крепнущего мастерства, хотя иногда и сопровождала похвалы упреками или недоумением по поводу того, что тематика писателя всё еще связана с прошлым.

В. Б. Шкловский отнесся к новой книге Горького скептически: «„Отшельник“ и „Рассказ о любви безответной“ не совсем удались М. Горькому.

„Отшельник“ почти без сюжета и напоминает собрание пророчеств оракула. „Рассказ о любви безответной“ страдает старым недостатком русских новелл,— неверной схематической композицией» (Виктор Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького. Заккнига, 1926, стр. 48). Но это мнение никто из критиков не поддержал.

Высоко оценил «Рассказы 1922—1924 годов» Ник. Смирнов. Он писал: «Эта книга удивляет своим глубоким спокойствием, замечательными по живости человеческими образами, прекрасной простотой языка. Творчество Горького последних лет, послереволюционной эпохи — свидетельство непрестанно цветущего таланта, непрерывно растущего мастерства» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1925, № 279, 6 декабря). Критик подчеркивал, что новая книга «должна быть отнесена к числу лучших горьковских книг 〈. . .〉 Формально все рассказы, за исключением последнего,— рассказы о прошлом. Но их основная движущая сила — упорно-волевое стремление к иной, лучшей жизни, настойчивые, неугасающие поиски счастья — неизменно соприкасает их с нашей современностью». К числу лучших критик относил произведения: «Отшельник», «Рассказ о безответной любви» и «Голубая жизнь». «В рассказе „Отшельник“,— отмечал Смирнов,— столько теплоты, красок, звуков и лирической приподнятости, что он может служить образцом лучшей, вполне законченной поэмы. Здесь всё— и фигура Савелия, живущего в пещере, над которой склонились три прекрасных дерева: липа, береза и клен, и фигуры приходящих к Савелию деревенских женщин, и его речи, „насыщенные ликующей нежностью“,— всё выдержано в сияющих тонах четкости, сжатости и целостности. Образ Савелия, спокойного и хитрого мужика, не отказывающегося в своем уединении ни от женских ласк, ни от водочной бутыли, удивительно живой, подвижный и реальный образ» (там же).

В статье «Новые вещи Горького» Л. Войтоловский писал: «Это вещи замечательной стройности и силы. Чудесный, свежий язык. Великолепное построение. Четкие и законченные характеры. Много ярких афоризмов и счастливых словечек. Всё поражает богатством, широтой и завершенностью мощного таланта» («Новый мир», 1926, № 4, стр. 155). Критик особо выделил «Отшельника» и «Рассказ о необыкновенном»: «По красоте сюжетного построения, отчетливой вычерченности деталей и лингвистическому богатству эти рассказы не знают себе равных в нашей новейшей литературе и редкой силой художественного обаяния с первых строк подчиняют себе читателя» (там же, стр. 157). Вместе с тем, Л. Войтоловскому казалось, что «новая Россия видится сейчас Горькому сквозь элегическую дымку разлуки», что «тоской одиночества и оторванности сейчас, как будто, отравлено творчество Горького. Щемящая оторванность дает себя чувствовать в каждом рассказе» (там же, стр. 155). Вот почему герои Горького, по мнению критика, «какие-то старомодные, опоздавшие родиться; странные люди, отшельники, чудаки, с корнем вырванные из жизни» (там же).

Рецензируя «Рассказы 1922—1924 годов», А. К. Воронский утверждал: «Горький был и остается большим и по-своему единственным и неповторимым писателем. Приходилось слышать мнения, преимущественно со стороны „левых“ товарищей, что последние произведения М. Горького имеют не столько художественную, сколько мемуарную ценность. Мнения эти ошибочны. За эти годы писатель возвысился до уравновешенного и законченного мастер-

ства» (*Воронский*, стр. 378). Критик говорил о новом этапе в творчестве Горького: «Внимательное отношение к слову доведено до высочайшей строгости, его изобразительность походит на золотую осеннюю пышность наших лесов и садов...» (там же, стр. 378). Подчеркнув, что «можно говорить о новом Горьком» (там же, стр. 379), отнеся к числу лучших произведений «Отшельника» и в целом положительно оценив «Рассказы 1922—1924 годов», Воронский, однако, тоже не удержался от того, чтобы не упрекнуть писателя: «О Павлах и новой обстановке он молчит, зато с исключительным стараньем отыскивает странное, чудное и озорное» (там же, стр. 375).

Стр. 236. *Сказывают: первый водку сварил — бес.*— Существует легенда о том, что сатана, обеспокоенный распространением христианства, «озлившись от зависти», приказал одному их своих бесов «смутить» зельем («еже есть хмель») род человеческий (см.: «Памятники старинной русской литературы. Сказания, легенды, повести, сказки и притчи», под редакцией Н. Костомарова, вып. I. СПб., 1860, стр. 137).

Стр. 240. *Даже святой один с дочерьми жил...*—Савел имеет в виду библейскую легенду о Лоте (Бытие, гл. 19, стихи 30—38).

Стр. 245. *Почаевская лавра* — православный монастырь на Волыни (Тернопольская область); основан в 1597 г.

Стр. 260. *...о блудном сыне...*— Евангелие от Луки, гл. 15, стихи 11—32.

РАССКАЗ О БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ

(Стр. 261)

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1923, № 3, сентябрь — октябрь, стр. 15—72.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-44-6-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *БА:*

Стр. 273, строки 27—28: «осень неустанно сеяла дождь» вместо «осень — неустанно сеял дождь».

Стр. 286, строка 35: «обнаженно» вместо «обиженно».

Стр. 294, строки 8—9: «какие-то канатоходцы» вместо «какие канатоходцы» (по *ПТ*).

Стр. 296, строка 21: «у стола, в капоте» вместо «устало, в капоте».

Стр. 299, строка 19: «А я говорю: „Вижу, что Ларисе Антоновне...“» вместо «— Вижу, что Ларисе Антоновне».

Стр. 305, строка 30: «— Не однажды» вместо «но однажды».

«Рассказ о безответной любви» написан, по-видимому, в первой половине 1923 г.: 7 декабря 1922 г. Горький сообщал Р. Роллану, что пишет «О любви» — «три рассказа на темы о любви к лю-

дям, к женщине, о любви женщины к миру», и добавлял, что два «уже готовы 〈„Отшельник“, „О первой любви“〉, а третий будет написан к весне» (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 303). Вероятно, этим третьим и являлся «Рассказ о безответной любви». 18 августа 1923 г. М. И. Будберг сообщала Горькому: «...сейчас перевожу посланную мне Гржебиным рукопись о древней русской иконописи. Затем возьмусь за „Рассказ о безответной любви“» (Архив А. М. Горького, КГ-рзн-1-157-43). В воспоминаниях С. Ф. Ольденбурга содержится свидетельство: «Сидел вчера 〈17 октября 1923 г.〉 до 12, и он 〈Горький〉 прочитал мне свой новый рассказ „Безответная любовь“» (*ЛЖТ*$_{III}$, стр. 344).

Уже после завершения работы над «Рассказом о безответной любви» Горький прочел новеллу С. Цвейга «Улица в лунном свете» и нашел немало общего между ними. 6 ноября 1923 г. он писал С. Цвейгу: «Посылаю Вам корректуру перевода Вашего прелестного „Переулка лунного света“ и вскоре пришлю журнал, в котором он появится. Любопытно, что Ваша тема похожа на мой рассказ о любви, который тоже будет напечатан в этом журнале» (*Г-30*, т. 29, стр. 417). О том же он писал 6 ноября 1923 г. и Р. Роллану: «Вчера прочитал его 〈Цвейга〉 рассказ „Переулок лунного света“, рассказ совпадает по теме с моим „О безответной любви“ и написан, видимо, очень красиво» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 339) [1].

«Рассказ о безответной любви» высоко оценили писатели, переводчики, друзья Горького, его корреспонденты. 28 сентября 1924 г. М. Дюмениль де Грамон, переводивший на французский язык рассказы Горького, составившие книгу «Первая любовь» (в нее вошел и «Рассказ о безответной любви»), сообщал писателю: «Критика единодушно встретила эту книгу с глубоким волнением: меня это не удивило, но доставило большую радость» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 397).

В связи с книгой «Рассказы 1922—1924 годов» Д. А. Лутохин писал 5 апреля 1925 г. Горькому: «Не за себя, а за читателя нашего Вам кланяюсь. Хорошую книгу Вы снова дали, даже для самого себя» (Архив А. М. Горького, КГ-п-46а-1-46).

В обширном письме М. М. Пришвина, отправленном Горькому 10 декабря 1925 г., говорилось:

«...был у меня из Москвы гость и так сказал о Вас: „Вот Горький, мне кажется, как на бегах бывает конь, всё сбои дает, а под конец добирает и первый приходит к столбу“.

---

[1] По позднейшим воспоминаниям И. С. Шкапы, весной 1934 г. Горький в беседе с группой педагогов говорил: «Да, рассказец мой против вакханалии сердца... Я хотел сделать эпиграфом к нему слова Ларисы Добрыниной: „Изо всех насмешек судьбы над человеком — нет убийственнее безответной любви...“ Не вредно их помнить и мужчинам, чтобы из человека не превращаться в раба. Эта мысль — основная в рассказе 〈...〉 „Рассказ о безответной любви“ — моя полемика с „Браслетом“ Куприна» (*Илья Шкапа*. «Кумир для сердца своего...»—«Комсомольская правда», 1967, № 38, 14 февраля).

Он указал мне на „Любовь“ и „Отшельника“. Читал в газете, что есть книга с этими рассказами, приложить усилия — достал бы, но захотелось хотя одну бы книгу Вашу иметь от Вас» (Архив А. М. Горького, КГ-п-61-6-7). Получив книгу от Горького, Пришвин восторженно оценил рассказ «Отшельник», чем необычайно обрадовал Горького. Благодаря за отзыв, Горький заметил в письме от 11 февраля 1926 г.: «Мне кажется, что в книге только еще два недурных рассказа: „О любви“ и „О необыкновенном“» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 329). Пришвин ответил на это своеобразно. 10 апреля 1926 г. он писал Горькому: «...глубокий колодец, из которого Вы черпаете свои соки, обязывает Вас оставаться всегда при своем роднике. Даже прежний рассказ „О любви“, имевший у нас большой успех,— все-таки думаешь о нем: это могли бы написать и французы» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 330).[1]

В письме к К. Федину от 23 апреля 1926 г. Горький так отозвался на это замечание Пришвина: «Он по поводу „Безответной любви“ пишет мне: „Это и французы написали бы“. Чувствуете высоту тона? Знай наших! А для меня его „и французы“ — лучший комплимент, какой я когда-либо слышал» (*Г-30*, т. 29, стр. 462).

«Рассказ о безответной любви» получил положительную оценку и в печати. За исключением упоминавшегося выше скептического отзыва В. Б. Шкловского, все другие характеризуют рассказ как несомненную удачу писателя. Относя его к лучшим рассказам в книге, Ник. Смирнов писал, что здесь «читатель встречается с людьми и бытом, чрезвычайно редко привлекавшими внимание писателя», что «неразделенная любовь подчеркнута в рассказе изумительно меткими, короткими и в то же время обобщающими подробностями», что героиня рассказа «Лариса останется в литературе наравне с чеховской Арнадной» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1925, № 279, 6 декабря).

Сложность взаимоотношений героев «Рассказа о безответной любви» Л. Войтоловский пытался объяснить «тоской одиночества и оторванности» самого Горького, который, дескать, живет «в мире далеких воспоминаний, погруженный в глубокую задумчивость. Оттого и герои его последних рассказов,— писал критик,— так мучительно предаются воспоминаниям у чужого окна и в этой тоскливой позе проводят большую часть бытия, дарованного им автором» («Новый мир», 1926, № 4, стр. 155).

А. К. Воронский обращал внимание на гуманистическое звучание новых произведений Горького: «Опорой во вселенной является только человек. Отсюда у писателя такое острое, напряженное внимание, любознательность и жадное любопытство к человеку и ко всему, что он делает» (*Воронский*, стр. 371).

---

[1] В ранней редакции этого письма, относящейся к 1 апреля 1926 г. и также отправленной Горькому, Пришвин писал: «В рассказах равного Отшельнику я не нашел, очень *хороша Любовь, но этот рассказ могут написать и французы*» (цит. по кн.: *Муратова*, стр. 247).

Стр. 263. *Горталов* Ф. М. (1839—1877) — майор 61-го пехотного Владимирского полка, погиб 31 августа 1877 г. при защите редута Казанлык под Плевной («Памятник Восточной войны 1877—1878 гг.» Сост. А. А. Старчевский. СПб., 1878, стр. 66).

Стр. 270. *Аяров* — А. Г. Мельхер (1866—1917), провинциальный актер и режиссер.

Стр. 283. «*Чародейка*» — пьеса И. В. Шпажинского (1848—1917).

Стр. 283. «*Будем как солнце!*» — Название сборника стихотворений К. Д. Бальмонта — «Будем как солнце. Книга символов». М., «Скорпион», 1903.

Стр. 289. *Понапрасну, мальчик, ходишь...* — См.: «Около тысячи песен». Сборник новейших песен, романсов и куплетов, изд. 10. СПб., 1911, стр. 94.

Стр. 291. «*...не мечите перед свиньями бисера души вашей*».— Перефразировка евангельского изречения (Евангелие от Матфея, гл. 7, стих 6).

Стр. 292. *Я — и нож и — вместе — рана...* — Строка из стихотворения Шарля Бодлера «Héautontimorouménos» («Самобичевание»).— См.: Стихотворения Бодлера. М., 1895, стр. 69—70. Книга имеется в *ЛБГ*.

Стр. 293. *Сент-Эстеп* — видимо, Сент-Эстеф (от Saint Estephes — винодельческий район во Франции) — бордоское красное вино.

Стр. 304. *Сан-Себастьяно* — итальянский городок на западном склоне вулкана Везувия, в 5 км от Неаполитанской бухты (Неаполитанского залива).

РАССКАЗ О ГЕРОЕ

(Стр. 307)

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1924, № 4, март, стр. 9—50.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф *(БА)*, озаглавленный «Рассказ о страхе» (ХПГ-44-8-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *БА:*

Стр. 312, строка 20: «Он жил во флигеле, среди сада» вместо «Он жил во флигеле сада».

Стр. 330, строка 27: «должен бы» вместо «должен был».

Стр. 333, строка 27: «не трусость ли» вместо «не трусливость ли».

Стр. 334, строки 30—31: «дня,— это изумляло» вместо «дня, что изумляло».

Стр. 334, строка 35: «не замечает» вместо «замечает».

Стр. 335, строки 7—8: «он испугался» вместо «испугался» *(Ред.)*.

Стр. 337, строка 23: «действенного» вместо «действительного».

«Рассказ о герое» написан летом 1923 г. 6 августа Горький сообщал Р. Роллану: «Написал злой „Рассказ бандита“» (*Архив Г*$_{VIII}$, стр. 337).

Отношение критики к «Рассказу о герое» было противоречивым. А. Лежнев (А. З. Горелик) отозвался о нем отрицательно. Характеризуя номер журнала «Беседа», в котором был напечатан рассказ, он писал: «Довольно крупная вещь Горького „Рассказ о герое“ — рассудочна, надумана и бледна» («Красная новь», 1924, № 4, июнь — июль, стр. 312).

А. К. Воронский, на основе «Рассказа об одном герое», говорил о пессимистическом восприятии окружающего мира, якобы присущем Горькому (см.: *Воронский*, стр. 370). В 1928 г., в статье «Вопросы художественного творчества» (подписанной псевдонимом Л. Анисимов), критик в таком же духе рассматривал все позднейшие произведения Горького: «Едва ли будет ошибочным утверждение,— писал он,— что основная эмоциональная доминанта, преобладающее ощущение Горького как художника, сводится к восприятию мира как ненадежного, коварного и страшного хаоса» («Сибирские огни», 1928, № 1, стр. 177).

Горький решительно опротестовал подобную трактовку своих произведений и в частности «Рассказов 1922—1924 годов». В статье «О себе (письмо Л. Анисимову)» он писал: «Нет, я убежден, что мир достаточно прочен и что в нем можно работать, не смущаясь размышлениями о гибели его. Что же касается природы, на мой взгляд, она — сырой материал, который обрабатывается и должен обрабатываться всё более активно, более умело нашей волей, интуицией, воображением, разумом в интересах нашего обогащения ее „дарами“,— ее энергиями» («Сибирские огни», 1928, № 2, стр. 186—187). Ср. также: *Архив Г*$_{X}$, кн. 2, стр. 62—63).

Стр. 311. ...*инстинктивную вражду дикарей Густава Эмара к европейцам*.— Гюстав Эмар (Оливье Глу, 1818—1883) — французский писатель, автор остросюжетных романов («Твердая рука», «Текучая вода», «Розас», «Поклонники змеи», «Курумилла» и др.) о борьбе индейских племен с белыми завоевателями, о путешествиях и географических открытиях.

Стр. 313. «*Герои и героическое в истории*» — книга английского философа Томаса Карлейля (1795—1881). Первое русское издание: «Герои и героическое в истории. Публичные беседы Томаса Карлейля». Пер. с англ. В. И. Яковенко. С прил. статьи переводчика о Карлейле. СПб., 1891.

Стр. 317. *Лактанций* Люций Целий Фирмиан (ок. 250—330), христианский писатель и ритор. Русское издание: «Творения Лактанция, писателя в начале четвертого века, прозванного христианским Цицероном», ч. I. Пер. Е. Карнеева, СПб., 1848.

Стр. 319. ...*был полицией загнан вместе с табуном студентов в московский манеж*...— Имеется в виду сходка московских студентов 23 февраля 1901 г. (см.: А. А. Титов. Из воспоминаний о студенческом движении 1901 г. М., изд. В. М. Саблина, 1906, стр. 21, а также: «Красный архив», 1936, № 2, стр. 85).

Стр. 324. *...глупую песню о черной галке.*— Существует несколько вариантов песни о галке и соколе, который ее ловит (см.: «Труды Владимирского губернского статистического комитета», вып. IX, под редакцией секретаря комитета К. Тихонравова. Владимир, 1871, стр. 154).

Стр. 324. *...сторонники конституции...*— Земские деятели, буржуазная интеллигенция, торгово-промышленная буржуазия, стремившаяся, по выражению В. И. Ленина, «...совершить преобразование государства по-буржуазному, *реформистски*, а не революционно, сохраняя по возможности и монархию и помещичье землевладение и т. п.» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 306).

Стр. 334. *...агент охраны государственного спокойствия застрелил министра...*— Имеется в виду убийство премьер-министра П. А. Столыпина, совершенное 1 (14) сентября 1911 г. в Киеве агентом охранки Д. Богровым.

Стр. 334. *...новый министр кокетничает с оппозицией.*— Преемником Столыпина на посту председателя Совета министров стал В. Н. Коковцов (1853—1943). В области внутренней политики он продолжал столыпинский курс, но крайние черносотенцы (В. М. Пуришкевич, А. В. Кривошеин, И. Г. Щегловитов) обвиняли его в заигрывании с Государственной думой. В январе 1914 г. Коковцов вышел в отставку.

Стр. 336. *...о кошмаре этой дьявольской войны...*— Имеется в виду мировая война 1914—1918 годов.

Стр. 336. *...союзы городов, земств...*— Всероссийский союз городов и Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам — общероссийские организации либеральных помещиков и буржуазии, созданные в целях помощи правительству в ведении империалистической войны. Союз городов основан 8—9 августа 1914 г. в Москве на съезде городских голов; этой организацией руководил московский городской голова М. В. Челноков. Земский союз учрежден 30 июля 1914 г. в Москве на съезде уполномоченных губернских земств; во главе союза стоял кн. Г. Е. Львов. 4(17) января 1918 г. декретом СНК эти и другие союзы, участвовавшие в организации заговоров против Советской власти, были распущены.

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ РОМАНЕ

(Стр. 340)

Впервые, под заглавием «Рассказ о романе», напечатано в журнале «Беседа», 1924, № 4, март, стр. 117—148. Подпись: Василий Сизов.

В Архиве А. М. Горького хранятся:

1. Автограф со значительной правкой. Заглавие («Рассказ об одном романе») написано на обложке рукой автора (ХПГ-44-9-1).

2. Отрывок на листке из блокнота (ХПГ-44-9-2), автограф,

перечеркнут карандашом, в печатный текст рассказа вошел в иной редакции (см. варианты).

3. Машинописная вставка в печатный текст на одном листе — несколько строк, имеющихся в автографе, но пропущенных в журнальной публикации (ХПГ-44-9-4).

Печатается по тексту *К* с исправлением по *ПТ:* «что вы — человек, плохо различающий добро и зло» *(стр. 125, строка 34)* вместо «что вы, человек, плохо различаете добро и зло».

Рассказ, по-видимому, написан в конце 1922 — сентябре 1923 г. В мемуарной заметке от 16 октября 1937 г. Н. А. Пешкова и И. Н. Ракицкий сообщали: «О сюжете рассказа Алексей Максимович говорил еще в Петрограде, на Кронверкском, 23, в 1919 году. Рассказ был написан и прочтен А. М. в Саарове — около Берлина в 1922 г.» (Архив А. М. Горького, Ком-1-33-3). В Сааров Горький приехал из Герингсдорфа в конце сентября 1922 г. и прожил там до начала июня 1923 г. Вполне возможно, однако, что авторы сообщения связали хорошо памятное им место чтения Горьким «Рассказа об одном романе» с датой приезда его туда. Во всяком случае, до октября 1923 г. никаких сведений о написании этого рассказа в других материалах не встречается. Можно допустить, что в 1922 г. рассказ был набросан вчерне и Горький продолжал над ним работу. 7 октября 1923 г. он сообщал М. Ф. Андреевой: «Петр Петрович ⟨Крючков⟩ взял у меня для переписки на машинке четыре новых больших рассказа; когда их перепишут, ты, может быть, найдешь время прочитать? Прочитай и скажи — как понравятся?» (*Андреева*, стр. 352). Сопоставление всего написанного Горьким в это время позволяет предположить, что этими «большими рассказами» могли быть: «Рассказ о герое», «Рассказ об одном романе», «Карамора» и «Анекдот». Что касается псевдонима, которым подписана первая публикация «Рассказа об одном романе», то им Горький подписывал и свои произведения в «домашнем» журнале «Сорренто-ская правда» (*Архив Г*$_{IX}$, стр. 400).

«Рассказ об одном романе» был положительно оценен читателями и критикой.

Д. А. Лутохин 5 апреля 1925 г. писал Горькому, что выход книги «Рассказы 1922—1924 годов» для него «волнующее событие»: «Прочел книгу и стыдно стало, что в Василии Сизове не узнал в свое время Вас» (Архив А. М. Горького, КР-п-46а-1-46).

В рецензии Ник. Смирнова «Рассказ об одном романе» оценивался как «попытка мудро-шутливого повествования», как «способ нарочито подчеркнутого обнажения сюжета» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1925, № 279, 6 декабря).

Л. Войтоловский в рецензии на книгу «Рассказы 1922—1924 годов» выделил «Рассказ об одном романе». «Особенно четко и саркастически,— писал он,— сделана фигура беллетриста Фомина ⟨. . .⟩ или его двойника—драматурга Павла Федоровича Креаторова ⟨. . .⟩ «В сборном лице этих двух писателей Горький как бы набрасывает символический образ тех обще-

ственных групп, мысль которых, не согретая эмоциональным порывом, тщетно извивается в акробатических корчах, бесцельно подбирает и перемешивает случайные факты и равнодушно „играет с человеком, как проститутка“» («Новый мир», 1926, № 4, стр. 156).

По поводу «Рассказа об одном романе» у Горького возникла переписка с психиатром И. Б. Галантом. Прочитав рассказ, Галант писал Горькому 20 сентября 1926 г.: «Вы здесь интереснейшим образом изображаете *галлюцинирующую женщину*, и мне необходимо знать, насколько эта женщина *реальное лицо* и вообще какова „история“ этого рассказа, т. е. как Вы набрели на эту тему 〈. . .〉 Напишите поэтому, А. М., *подробную историю* Вашего рассказа, и Вы окажете науке большую услугу» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-4-2-16).

Горький счел выводы Галанта псевдонаучными и не без иронии указывал в ответном письме от 28 сентября 1926 г.: «В „рассказе о романе“ женщина, Вас интересующая, выдумана мною. Как видите — она играет только роль „приемника“ некоторых мыслей автора о судьбе детей его фантазии, беспризорных детей. Иногда хочется пошутить. Вот и всё» (там же, ПГ-рл-10-3-13). И в последующих письмах тому же адресату Горький настойчиво подчеркивал, что «героиня „Рассказа об одном романе“» — совершенная «выдумка» (там же, ПГ-рл-10-3-14).

Стр. 358. *«Это — проще того, что сделано Пигмалионом»...* — Имеется в виду древнегреческий миф о ваятеле Пигмалионе, которого богиня Афродита за его презрение к женщинам заставила влюбиться в им же созданную статую молодой девушки. Любовь Пигмалиона оказалась настолько сильной, что оживила статую. Сюжет этот получил отражение в «Метаморфозах» римского поэта Овидия и в пьесе Б. Шоу «Пигмалион» (1912).

Стр. 361. *Синими очами океанов // Смотришь ты, земля моя родная...* — Стихи Горького (см. т. VI наст. изд., стр. 381 и 556—557).

Стр. 361. *...взял взаймы у В. Гюго.* — Вероятно, имеются в виду стихи В. Гюго, в которых земля с «очами океанов» то противостоит, то уподобляется звездам «в синеве небесной» («Что слышится в горах», «Грусть Олимпио», «Когда вокруг меня все спит, сижу часами» и т. п.).

Стр. 361. *Волхвы Ориона* — три яркие звезды, входящие в созвездие Ориона.

Стр. 363. *...«как Диоген искал человека»...* — Существует легенда о греческом философе Диогене (IV в. до н. э.), который однажды зажег днем фонарь и, расхаживая с ним, говорил: «Я ищу человека».

КАРАМОРА

(Стр. 366)

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1924, № 5, июнь, стр. 9—56.

В Архиве А. М. Горького хранится черновой автограф *(ЧА)* рассказа с большой правкой (ХПГ-35-4-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *ЧА:*

Стр. 374, строка 12: «настигала» вместо «постигала».

Стр. 375, строка 3: «точно горели и таяли» вместо «точно таяли».

Стр. 377, строка 33: «торопился» вместо «торопится».

Стр. 386, строка 37: «безмыслие» вместо «бессмыслие».

Рассказ написан летом 1923 г. Об этом свидетельствует письмо Горького В. Ф. Ходасевичу от 17 августа 1923 г.: «Написал рассказ. Кажется — страшный. Назвал — „Карамора“» («Новый журнал». Нью-Йорк, 1952, кн. 30, стр. 190). А перед тем — 6 августа 1923 г.— Горький, сообщая Р. Роллану, что работает над рассказом, так раскрывал свой замысел:

«Пишу о некоем русском герое, искреннем революционере, который, в то же время, был искренним провокатором и посылал друзей своих на виселицу. Это не Азеф, которого я знал и который был, мне кажется, просто скотом, жадным на удовольствия. Нет, мой герой хуже: он действительно совершал подвиги самоотвержения, но однажды ему „захотелось совершить подлость“, как он дал объяснение, когда его судили.

Мучает меня эта загадка — человеческая, русская душа. За четыре года революции она так страшно и широко развернулась, так ярко вспыхнула. Что же — сгорит и останется только пепел — или?» (*Архив* $Г_{VIII}$, стр. 337).

Это письмо, отражая настроение Горького тех лет, его раздумья о революции и тревогу за ее судьбу, тревогу, как он потом сам признавал, необоснованную, одновременно показывает стремление художника исследовать социально-психологические корни ренегатства.

Р. Роллан с интересом отнесся к замыслу Горького и в ответном письме от 28 августа 1923 г. спрашивал: «Часто ли встречается у Вас в России этот тип героя, „который хочет однажды совершить подлость“? Во Франции я встречал этот тип только среди нескольких интеллигентов-дилетантов, которые тешат себя тем, что подражают (в миниатюре) великому распутству итальянского Возрождения. Но я не сомневаюсь в том, что это чудовищное желание, в тине подсознательного, зреет у очень многих людей. На Западе оно бóльшую часть времени скрыто под тиной,— и лишь революционные потрясения или социальные кризисы заставляют пруд всколыхнуться...» (там же, стр. 337—338).

Рассказ «Карамора» вызвал противоречивые отклики и даже недоумения читателей. М. Ф. Андреева в письме от 24 апреля 1925 г. сообщала Горькому об одном читателе, который увлекся рассказом «Карамора» и, вместе с тем, выражал удивление по поводу того, что герой этого произведения — провокатор — мог происходить из рабочих (см.: *Андреева*, стр. 367—368).

Горький 5 мая того же года, отвечая М. Ф. Андреевой, писал об этом читателе: «Его удивляет „Карамора“? Напомни

ему, что Окладский, тоже рабочий, товарищ Желябова, вместе с ним пытался взорвать Александра II-го, а затем послал на виселицу и Желябова и всех террористов „Нар〈одной〉 воли“ и 37 лет жил провокатором. Сын того царя, которого он хотел взорвать, наградил его званием „почетного гражданина“[1]. Это более похоже на сказку, чем „Карамора“, человек, который запнулся за пустяковую мыслишку: „На каждой борющейся стороне — свои герои“, а русский нигилизм, не чуждый и верующему россиянину, еще более смутил и запутал его, подсказав, что интереснее быть героем на стороне меньшинства. Эта романтика — авантюристская психика еще не изжита» (Архив А. М. Горького, ИГ-рл-2а-1-50).

Настороженно и по существу отрицательно встретила рассказ критика.

А. К. Воронский утверждал, что Горький «любит запутанных людей, и в нем уживается много противоречий». Приписывая Горькому «нецельность», критик хотел бы видеть в ней заслугу художника: «...именно благодаря нецельности и сложности своей натуры Горький и стал большим, огромным, честным и интересным писателем» («Правда», 1926, № 79, 7 апреля; *Воронский*, стр. 378).

Однако «Карамору» Воронский находил «неудачной вещью». «Рассказ,— писал критик,— возбуждает чувство недоумения и досады. Есть в нем много от настроений Достоевского: „позвольте подлость сделать“, и ненароком герой рассказа — провокатор — говорит, что он теперь хорошо чувствует Достоевского. И потом, нельзя так двойственно писать о провокаторах, нельзя, особенно у нас в России» (там же, стр. 379).

О «влиянии Достоевского» говорил в связи с «Рассказами 1922—1924 годов» и В. Я. Зазубрин. В письме от 9 марта 1928 г. он признавался Горькому: «Помню, я испытывал величайшие затруднения с оценкой Вашего сборника рассказов 1922—1924 гг. Мне казалось, что в нем Вы пошли какой-то новой дорогой. Мне почудилось, что у Вас отросла борода того самого писателя, которого Вы так не любите,— борода Ф. М. Достоевского. Если Вас не обижает такая постановка вопроса, то напишите коротенько. Для меня этот вопрос далеко не праздный. Я работаю над вещью 〈имеется в виду роман о чекистах „Щепка“〉 〈. . .〉 От одного Вашего рассказа нити идут именно сюда» (*Архив Г*$_{к}$, ки. 2, стр. 349).

Отвечая Зазубрину, Горький писал 25 марта 1928 г.: «Для многих, да, кажется, и для Вас, все „Рассказы“ окрашены одним — „Караморой“. Это — неверно. „Рассказ о романе“, „О не-

---

[1] О провокаторе И. Ф. Окладском см.: Н. Тючев. Судьба Окладского.— «Былое», 1918, № 10—11; «Дело провокатора Окладского. 37 лет в охранке». Л., 1924 (книга имеется в *ЛБГ*); Н. В. Крыленко. Судебные речи. Избранное. М., 1964, стр. 299—327.

обыкновенном", „Репетиция" в моем представлении с „Караморой" не совпадают» (там же, стр. 351).

В последующие годы критики и литературоведы почти не обращались к «Рассказам 1922—1924 годов» вообще, к «Караморе» в частности. Лишь в самые последние годы, не отрицая, что на этой книге, так же как и на других, написанных Горьким в начале 1920-х годов, заметен отпечаток некоторых заблуждений, испытанных писателем на раннем этапе социалистической революции,— советские ученые раскрыли глубину содержания и художественные достоинства этих произведений Горького [1].

Стр. 366. *Вы знаете ∞ статья Н. Осиповского.*— Цитируется статья Н. Осиповича «Как тайное стало явным?» («Былое», 1922, № 22, стр. 269—277). Раскрывая псевдонимы тайных сотрудников охранки, специальная комиссия установила, что Захарий Григорьевич Михайлов («Старик»), рабочий, член социал-демократической партии, был провокатором. Приведенная Горьким фраза произнесена Михайловым в «частной беседе» с членом комиссии Н. Осиповичем (см.: там же, стр. 275).

Стр. 366. *Иногда — ни с того ни с сего приходят мысли плохие и подлые...*— Не совсем точная цитата из дневников Н. И. Пирогова («Вопросы жизни. Дневник старого врача».— Сочинения Н. И. Пирогова, т. I. СПб., 1887, стр. 6).

Стр. 366. *Позвольте подлость сделать!* — Персонаж пьесы А. Н. Островского «Волки и овцы» (1875) Клавдий Горецкий обращается к Глафире Алексеевне с просьбой: «...позвольте для вас какую-нибудь подлость сделать» (д. 3, явл. 7).

Стр. 366. *Подлость...*— Цитируемое Горьким письмо Л. Андреева не найдено.

Стр. 366. *У русского человека мозги набекрень.*— О принадлежности этой мысли Тургеневу свидетельствовал Белинский, сообщавший в одном из писем (апрель 1843 г.) В. П. Боткину: «У Т〈ургенева〉 много юмору. Я, кажется, уже писал тебе, что раз, в споре против меня за немцев, он сказал мне: да что ваш русский человек, который не только шапку, да и мозг-то свой носит набекрень!..» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. XII. М., 1956, стр. 154).

Стр. 373. *...и, видимо, равнодушен к добру и злу, а «постыдно» ли такое равнодушие...*— Перифраз стихотворения М. Ю. Лермонтова «Дума» (1838).

Стр. 373. *Я отчаянным родился...* — Широко распространенная частушка; ср. ее варианты: В. К. Симаков. Сборник деревенских частушек. Ярославль, 1913, стр. 555; «Сборник

---

[1] См.: Б. Бялик. М. Горький — литературный критик. М., 1960, стр. 279—281; А. Овчаренко. М. Горький и литературные искания XX столетия. М., 1971, стр. 67—103; Виктор Панков. М. Горький и советская действительность. М., 1968, стр. 100—102; Е. Б. Тагер. Творчество Горького советской эпохи. М., 1964, стр. 202—206.

великорусских частушек», под ред. Е. Н. Елеонской. М., 1914, стр. 258.

Стр. 379. *Впрочем, один богач, мукомол, собрал больше пятисот замков...*— По-видимому, речь идет об одном из братьев, Н. М. или В. М., Башкировых, крупных волжских торговцев хлебом, миллионеров.

Стр. 380. *Некоторые, захотев пожить в свое удовольствие, стали бандитами...*— Имеются в виду массовые налеты и экспроприации, проводившиеся анархистами и деклассированными элементами после поражения первой русской революции. Из крупных экспроприаций, совершенных эсерами-максималистами, можно, к примеру, назвать нападение в 1906 г. на Московское купеческое общество взаимного кредита, где было захвачено 875 тыс. руб., на Гельсингфорсский банк, на Уманское казначейство.

Стр. 383. *И началась у нас «любовь», с великим удовольствием, но «без радости»*.— Перифраз стихотворения М. Ю. Лермонтова: «Была без радостей любовь, / Разлука будет без печали» («Договор», 1841).

Стр. 382. *...я жил в «эпоху провокаторов»*.— См.: В. Бурцев. В погоне за провокаторами. М.— Л., 1928.

Стр. 386. *«Смирись, гордый человек!» ∞ не прежде всего.*— В речи о Пушкине, произнесенной 8 июня 1880 г. на торжественном заседании Общества любителей российской словесности по случаю открытия памятника поэту в Москве, Достоевский заявил: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве» (Ф. М. Достоевский. Собр. соч. в 10 томах, т. 10. М., 1958, стр. 446).

Стр. 395. *...как немец-меннонит...*— Меннониты — христианская секта, основанная в первой половине XVI века в Германии проповедником Менно Симонсом. На юге России, среди немцев-колонистов, было много меннонитов.

Стр. 397. *Есть очень злая сказка...*— Сказка Х.-К. Андерсена (1805—1875) «Новое платье короля» (1837).

Стр. 398. *В седьмом и четырнадцатом годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих верований...*— Имеется в виду поворот либеральной буржуазной интеллигенции в период реакции от революции и демократии к защите самодержавия, а также предательство вождей II Интернационала, французских и германских социал-шовинистов (Вивиани, Вандервельде, Шейдемана и др.), русских меньшевиков, выступавших с поддержкой своих правительств в 1914 г., когда началась мировая война.

АНЕКДОТ

(Стр. 404)

Впервые напечатано в журнале «Русский современник», 1924, № 3, стр. 45—73.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-1-3).

Печатается по тексту *К* с исправлениями по *БА:*

Стр. 422, строка 37: «обида против жизни» вместо «обида жизни».

Стр. 428, строка 12: «смысл ее притупился» вместо «смысл ее притуплялся».

Рассказ написан не позднее конца 1923 г. Как следует из письма редактора журнала «Русский современник» А. Н. Тихонова Горькому от 22 января 1924 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-76-1-21), уже в начале этого года «Анекдот» находился в редакции «Русского современника», но журнал, по просьбе Горького, отложил публикацию до издания нового произведения за рубежом.

«Анекдот» был положительно оценен критикой. А. В. Луначарский характеризовал рассказ как «хорошо сделанный и значительный» («Литературные силуэты», 1925, стр. 150); яркость и жизненность персонажей рассказа отметил Л. Войтоловский (см.: «Новый мир», 1926, № 4, стр. 155).

Стр. 404. *Ени-Загра* — турецкое название города Нова-Загора в Болгарии, при реке Азмаке (приток Марицы).

Стр. 413. *...будьте, как дети...*— Евангелие от Матфея, гл. 18, стих 3; Евангелие от Марка, гл. 10, стих 15.

Стр. 413. *...любите ближнего, как самого себя.*— Библия. Левит, гл. 19, стих 18; Евангелие от Матфея, гл. 19, стих 19, и гл. 22, стих 39.

Стр. 414. *В Гефсиманском саду и Христос тоже на судьбу свою жаловался...*— Согласно Евангелию, Христос ночью в Гефсиманском саду «тосковал» и «скорбел», зная о предстоявшей ему участи (Евангелие от Матфея, гл. 26).

Стр. 417. *Сказано: не сей ветер, пожнешь бурю!* — Библия, Книга пророка Осии, гл. 8, стих 7.

Стр. 418. *...во время турецкой кампании...*— Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 годов.

Стр. 418. *Тогда они даже пытались убить царя, но, опоздав, убили после войны.*— Речь, очевидно, идет о неудавшемся покушении на Александра II, совершенном А. К. Соловьевым 2 апреля 1879 г. После этого народовольцы два года «охотились» за царем и убили его 1 марта 1881 г.

Стр. 418. *Исус Навин воевал; царь Давид кроток был, Псалтырь писал, а тоже войны не мог избежать.— Иисус Навин*, по Библии, пророк, вождь израильского народа, преемник Моисея. Он будто бы привел древних евреев в Ханаанскую землю, одержав победу над населявшими ее народами. История его жизни рассказана в библейской книге, носящей его имя. *Давид*, по библейскому преданию, второй израильский царь (XI в. до н. э.). Библия изображает его жестоким деспотом и одновременно прославляет как праведника. Ему приписывается авторство произведений, составляющих Псалтырь. История его жизни и военных

«подвигов» запечатлена в трех «Книгах царств», входящих в Библию.

Стр. 420. *...идет по траве, царем Навухудоносором, на четвереньках...*— Навуходоносор — библейский персонаж, царь вавилонский; согласно библейской легенде, за свои грехи был наказан богом — «отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною...» (Книга пророка Даниила, гл. 4, стих 30).

РЕПЕТИЦИЯ

(Стр. 434)

Впервые, с большими сокращениями, напечатано в «Красной газете» (веч. вып.), Ленинград, 1925, №№ 104—108, 3—7 мая. Полностью в книге: М. Горький. Рассказы 1922—1924 годов. Berlin, Verlag «Kniga», 1925.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф *(БА)* без заглавия (ХПГ-45-4-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *БА:*

Стр. 448, строка 19: «подпрыгивал» вместо «подрыгивая».

Стр. 450, строки 28—29: «уделяя режиссеру часть своего раздражения против автора» вместо «уделяя часть своего раздражения против режиссера».

Стр. 462, строка 3: «как трубочисты и пошляки» вместо «как трубочист и пошляки».

Рассказ написан не позднее марта 1924 г. В конце февраля — начале марта 1924 г. Горький сообщал М. Ф. Андреевой: «Пишу. Написал еще рассказ, рукопись у П⟨етра⟩ П⟨етровича⟩. Говорят — не плохо» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-40). Судя по тому, что до этого, 7 октября 1923 г., Горький сообщал М. Ф. Андреевой о «четырех новых больших рассказах», в которые «Репетиция» не входила (см. примеч. к «Рассказу об одном романе»), можно полагать, что здесь речь идет о рассказе «Репетиция». Этот же рассказ, вероятно, имеется в виду и в письме Горького М. Ф. Андреевой от 20 марта 1924 г.: «Говорят — написал хороший рассказ. Посмотрим» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-2а-1-75). В письме к П. П. Крючкову от 2 апреля 1924 г., намечая состав книги «Рассказы 1922—1924 годов», Горький назвал и «Репетицию» (см.: Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-44).

Прочитав «Репетицию» еще до ее публикации, М. Ф. Андреева писала Горькому 29 апреля 1924 г. из Берлина:

«Очень интересно. Но мне захотелось, чтобы в каждом ⟨персонаже⟩ текли две встречные струи мыслей и чувств, что и есть у тебя, но не так полно, как это, наверное, было бы на самом деле ⟨. . .⟩ И жестоко же ты с актрисами расправляешься,

надо тебе отдать справедливость, а вот справедливо это не всегда... То есть не справедливо, этого и не надо, а не совсем — правда: в жизни играют охотно плохие актрисы. Хорошие, которых я знала, часто одергивают себя, даже когда искренне сильно ощущают какое-либо чувство, стыдясь выражать себя так, как хочется, потому что это похоже на какую-нибудь играную сцену, чтобы не было „как на сцене", и это, может быть, тоже фальшиво, уж по одному тому, что, когда сильно чувствуют, должно быть, не думают!» (*Андреева*, стр. 359—360).

В своем ответе М. Ф. Андреевой Горький 5 мая 1924 г. писал: «Актрис я не обижал, нет. Лидочка — еще не актриса, а молодая змея, неизвестно, кого она ужалит, и где, и как. А „героиня" — не обижена мной; в момент, когда нужно было забыть свое, личное, в отношении к „автору", она это сделала. Нет, она хорошая. Автор немножко самонадеян и втайне считает себя почти равным богу; но уж они все такие, эти „авторы". Бог — тоже немножко „автор". Очень хорошо, что его нет, а то — хвастался бы: смотрите, жулики, какое я вам устроил море и вообще как ловко сделан мною пейзаж. И, хвастаясь пейзажем, он заставлял бы нас забывать, что жанр у него выходит всё более скверно...» (там же, стр. 360).

В печати рассказ большого резонанса не вызвал. Театральный деятель Г. Ге считал его неправдоподобным в «разговорах и чувствах» героев, архаичным и трафаретным в описаниях аксессуаров сцены и кулис. «Большой художник Горький, когда не сочиняет, а когда он пишет об актерах, он сочиняет и сочиняет очень примитивно 〈. . .〉 сочиняет интересно, подчас остроумно, с присущими ему яркими блестками сравнений и образов,— но это не жизнь, это маскарад подлинной жизни» («Красная газета», веч. вып., 1925, № 114, 13 мая).

Шире и глубже подошел к рассказу Л. Войтоловский в рецензии на книгу «Рассказы 1922—1924 годов». Отметив, что в книге «особенно четко и саркастически» сделаны фигуры писателя Фомина и драматурга Креаторова, он характеризовал их как людей «вечно занятых и опьяненных „неразумной игрою своего воображения, — игрою многих в себе одном"» («Новый мир», 1926, № 4, стр. 156).

Стр. 436. *Медея* — героиня одноименной трагедии древнегреческого драматурга Еврипида.

Стр. 438. *Креаторов! ∽ Ты слышишь, Иван, какова тут претензия?* — Фамилия «Креаторов» произведена от латинского слова creator (творец, создатель).

Стр. 438. *Сирано де Бержерак, Моор...— Сирано де Бержерак*— герой одноименной стихотворной пьесы (1897) французского драматурга-романтика Э. Ростана (1864—1918); Горький ценил творчество Ростана, особенно ему нравилась эта пьеса и ее задорный, жизнерадостный герой (см.: *Г-30*, т. 23, стр. 303—312). Карл *Моор* — герой пьесы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781).

Стр. 441. *...помнить, что художник равен богу не только потому, что «создает миры»...*— Во взятых в кавычки словах,

возможно, намек на стихотворение Федора Сологуба «Не я воздвиг ограду» (из цикла «Восхождения», 1901):

И что мне помешает
Воздвигнуть все миры,
Которых пожелает
Закон моей игры?

Стр. 443.— *К чёрту вселенную! ∽ Германом Гейне!* — Имеется в виду следующее место из «Путевых картин» Генриха Гейне (часть III, гл. XXX): «Ведь каждый отдельный человек — целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем — история целого мира».

Стр. 448. *И о сыне человеческом ∽ законом любви.*— Речь идет о Христе, называвшем себя «сыном человеческим» (Евангелие от Матфея, гл. 16, стих 27).

Стр. 458. *...фальшивую монету ∽ Ахейцы в Италии...*— В Архиве А. М. Горького среди заметок и набросков к художественным произведениям сохранилась аналогичная запись: «— Ха-ха,— говорит он, отбросив газету, потирая руки. [— Ты знаешь— фальшивую монету делали уже за 580 л⟨ет⟩ до Р. Х. Да. Ахейцы в Италии]» (*Архив Г*$_{XII}$, стр. 30). См.: А. К. Марков. Древняя нумизматика, ч. 1. СПб., 1901, стр. 19, 67.

Стр. 460. *...будем помнить только радостный крик Архимеда...*— Имеется в виду приписываемое величайшему из математиков древности восклицание «Эврика!» («Я нашел!»), которое у него вырвалось, когда он открыл основной закон гидростатики.

Стр. 460. *...веселый танец безумного Ницше.*— Вражда к объективному, научному познанию, к разуму, культ иррационального облекались Фридрихом Ницше в тона апологии непосредственной, стихийной жизни. Им был прославлен древнегреческий бог Дионис как воплощение трагического веселья, блаженного экстаза, в котором «я» перестает мучиться ужасами и скорбями бытия, погружается в некое самозабвение. Самую философию Ницше определил как «Die fröhliche Wissenschaft» («Веселая наука» — название одной из его книг). «Я не знаю иного способа общения с великими проблемами, кроме веселья: это признак величия»,— писал Ницше («Ecce homo». М., 1911, стр. 54). Порой философствование уподобляется им танцу (см.: «Так говорил Заратустра», ч. II, главы «Песнь пляска» и «Другая песнь пляска»).

Стр. 461. *Тимон Афинский* — богатый житель Афин (2-я половина V в. до н. э.), мизантроп; имя его стало нарицательным.

Стр. 461. *Пер Гюнт* — герой одноименной драмы (1867) Г. Ибсена.

ГОЛУБАЯ ЖИЗНЬ

(Стр. 464)

Впервые, в переводе на итальянский язык, напечатано отдельной книгой: M. Gorki. La vita azzurra. Trad. dal manoscritto russo e introd. di E. Lo Gatto. Roma, Stock, 1925; в переводе на

Хр 1925 лит

английский вошло в сборник: M. Gorky. The Story of a Novel and other Stories. Authorized translation by M. Zakrevsky. New York, 1925. На русском языке: М. Горький. Рассказы 1922—1924 годов. Berlin, Verlag «Kniga», 1925.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф *(БА)* без заглавия (ХПГ-7-2).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *БА:*

Стр. 469, строки 12—13: «стальные шпеньки» вместо «стальные шпильки».

Стр. 488, строки 1—2: «диалог из пьесы» вместо «диалог пьесы».

Стр. 517, строка 7: «сияло голубое» вместо «сияло голубое небо».

Рассказ написан весной 1924 г. В письме П. П. Крючкову от 2 апреля 1924 г., намечая состав книги «Рассказы 1922—1924 годов», Горький включил и «Голубую жизнь». Но к этому времени рассказ, вероятно, еще не был закончен. Месяц спустя, 5 мая 1924 г., Горький сообщал М. Ф. Андреевой: «Получил твое — интересное — письмо, ответить несколько запоздал, очень много работаю и боюсь отрываться для писем, не кончив рассказа. Теперь — кончил, называется „Голубая жизнь". Вышло, кажется, очень плохо. Переезды помешали, чёрт их возьми» (*Андреева*, стр. 360). О том, что им написана „Голубая жизнь", Горький уведомлял и В. Ф. Ходасевича в письме от 13 июля 1924 г.: «Написал рассказ, в котором глобус, примерное изображение земного шара, вертясь вокруг оси, наигрывает: „Чижик, чижик, где ты был?"» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1952, кн. 31, стр. 195).

Текст первой публикации рассказа имеет некоторые разночтения с автографом: автор правил рассказ в корректуре. 17 ноября 1924 г. он писал Крючкову: «Возвращаю корректуру. Очень прошу корректора внимательно прочитать „Голубую жизнь" и выкинуть на страницах 260—61-й этого рассказа всё, зачеркнутое синим карандашом» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-56). После первой публикации рассказ автором больше не правился.

В 1931 г. «Голубая жизнь» вышла отдельным изданием. Как рассказывал И. А. Груздев, решение о выпуске ее отдельной книгой было принято в 1930 г. Издательством писателей в Ленинграде (см.: «Звезда», 1961, № 1, стр. 156). Горький ответил согласием (письмо Крючкову от 7 сентября 1930 г.— Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-325). Груздев попросил его назвать художника, на что Горький ответил ему в середине августа 1930 г.: «В „Голубой жизни" интересен только глобус, который играет чижика. Художника указать — не решаюсь, но думаю, что хорош был бы некто с уклоном к юмору» (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 245). В 1931 г. книга вышла в свет с автолитографиями художника В. М. Конашевича.

Читатели и критика откликнулись на рассказ «Голубая жизнь» положительно.

«Меня очень увлек рассказ „Голубая жизнь“,— сообщал автору 10 апреля 1926 г. М. М. Пришвин,— один момент я стал трепетать за Вас, и вдруг всё перешло в медицину — конечно, я выругался. Но замечательная там наметилась фигура *Столяра*, вроде как бы чёрта, особенного, Вашего, естественного чёрта. Да, у Вас, конечно, есть свой чёрт, как и у Ремизова, только у того мистически-условный, а у Вас естественный и очень уж читаемый чёрт. Но я так много думал об этом, что рассказать могу только постепенно в других письмах» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 330).

О символическом, обобщенно-философском смысле рассказа, отмеченном Пришвиным, не однажды говорил и сам автор. «Сергей Николаевич,— писал он 5 февраля 1928 г. Сергееву-Ценскому,— ей-богу, это блестящая идея: отправить богиню справедливости в сумасшедший дом! Оцените! А в другом рассказе, „Голубая жизнь“, у меня глобус — сиречь земной шар — „Чижика“ играет. Считают, что это тоже не плохо» (*Г-30*, т. 30, стр. 71).

20 ноября 1926 г. психиатр И. Б. Галант писал Горькому, что для статьи ему очень нужна «подлинная» история болезни Миронова (Архив А. М. Горького, КГ-уч-4-2-20). Отвечая на это письмо 28 ноября 1926 г., Горький подчеркивал:

«Миронов „Голубой жизни“ такая же „выдумка“, как и героиня „Рассказа об одном романе“.

Реальным лицом „Голубой жизни“ является ялтинский переплетчик, но он имеет к моему рассказу о Миронове только внешнее отношение и введен мною в рассказ для придания ему бо́льшей „реальности“, если хотите.

Я не уверен, сходил ли переплетчик „с ума“, но, думаю, что если б Миронов выздоровел, он был бы похож на этого переплетчика. Вот и всё.

Значит: ни в одной психиатрической лечебнице не может существовать истории болезни Миронова, по той причине, что Миронова — не было.

Не верьте беллетристам, Иван Борисович, они всё выдумывают. Я совершенно уверен, что истории болезни гоголевского сумасшедшего — тоже не существует» (там же, ПГ-рл-10-3-14).

Символический характер образов столяра и Миронова отмечал в статье о Горьком А. Воронский: «Очень своеобразен и интересен один из последних рассказов писателя — „Голубая жизнь“, не лучший из всего написанного Горьким, но, пожалуй, самый характерный 〈. . .〉 И Миронов и столяр при всем их реализме символичны; они воплощают в себе два человеческих начала: косность и озорное чудачество» («Правда», 1926, № 79, 7 апреля; *Воронский*, стр. 372—373).

Стр. 465. *Рокамболь* — герой цикла авантюрных романов французского писателя Пьера Алексиса Понсона дю Террайля (1829—1871). Рокамболь стал нарицательным именем ловкого, вездесущего, неуловимого авантюриста.

Стр. 465. *Квазимодо* — персонаж романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери».

Стр. 465. «*Рыцарь курятника*» — историко-авантюрный роман французского писателя Эрнеста Капандю (1826—1868); русск. пер.— СПб., 1877 и 1897.

Стр. 465. *Д'Арвиль* — герой романа французского писателя Люка Шардалля «Три любимца Анны Австрийской»; русск. пер.— СПб., 1870 и 1873.

Стр. 467. *...о туркменах и генерале Скобелеве...*— М. Д. Скобелев (1848—1882) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; в 1880—1881 гг. возглавлял военную экспедицию в Средней Азии, в результате которой был занят Ашхабад.

Стр. 468. *...кадриль «Вьюшки»...*—Название, вероятно, происходит от плясовой песни, входившей в репертуар цыганских ансамблей. Такова, например, цыганская песня «Деревенские мужики (Вьюшки)» (см. «Любимые песни московских цыган», изд. 2. М., 〈1873〉. Ср.: «Русские народные песни», собранные Н. А. Львовым; напевы записал и гармонизировал Иван Прач. СПб., 〈1896〉, стр. 66).

Стр. 468. «*Матушка-голубушка*» — популярная песня А. Л. Гурилева, слова Никомского; впервые опубликована в «Библиотеке для чтения», т. XXIX. СПб., 1838, стр. 51.

Стр. 468. «*Коль славен наш господь*».— Церковный гимн «Коль славен наш господь в Сионе», музыка Д. С. Бортнянского (1751—1825).

Стр. 469. *Семь су / Семь су / Что нам делать на семь су?* — из мелодрамы Ф. А. Деннери «Материнское благословение», пер. Н. А. Перепельского (псевдоним Н. А. Некрасова).

Стр. 500. *По улице довольно грязной...*— Один из вариантов песни, созданной, очевидно, в семинаристской среде. Об этом говорит в статье «Народные песни» Н. Михайлов, записавший песню в Смоленской губернии («Смоленский вестник», 1888, № 34, 20 марта). В письме к И. А. Груздеву 13 января 1929 г. Горький, относя песню к студенческому фольклору, отмечал ее бытование в среде проституток (*Архив Г*$_{XI}$, стр. 188).

Стр. 500. *Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...*— Народная песня; одна из ранних записей — в песеннике «Парням на веселье, девкам на утешенье» (М., 1878). Под названием «Стрелок» опубликована в сборнике русских песен и стихотворений «Уж ты сад ли, мой сад» (М., 1914).

Стр. 514. *...был бы похож на воскресшего Лазаря.*— Имеется в виду евангельская легенда о Лазаре из Вифании, которого воскресил из мертвых Иисус Христос (Евангелие от Иоанна, гл. 11, стихи 1—45).

РАССКАЗ О НЕОБЫКНОВЕННОМ

(Стр. 522)

Впервые напечатано в журнале «Беседа», 1925, № 6—7, март, стр. 9—57.

В Архиве А. М. Горького хранится беловой автограф — *БА* (ХПГ-44-7-1).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями по *БА:*

Стр. 547, строка 35: «А как подошли» вместо «А как подошли-то».

Стр. 552, строка 23: «к доктору раза два» вместо «к доктору два раза».

Стр. 553, строка 36: «о завтрее» вместо «о завтре».

Стр. 554, строка 22: «Стало это мне любопытно» вместо «Стало мне это любопытно».

Стр. 555, строка 12: «затеют» вместо «затевают».

Стр. 558, строка 19: «в кроты бы просился» вместо «в кроты просился».

«Рассказ о необыкновенном» написан в конце 1923 — начале 1924 г. «...занят весьма сложным рассказом,— сообщал Горький М. Ф. Андреевой 27 декабря 1923 г.,— и ничего не могу делать, ни о чем не думаю, кроме Якова Язева» (*Андреева*, стр. 353).

В августе — ноябре 1924 г., дважды просмотрев корректуру рассказа для отдельного издания *К*, Горький писал П. П. Крючкову о необходимости поставить «„Рассказ о необыкновенном“— в конец книги», открывающейся «Отшельником» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-21а-1-52).

Наличие определенного авторского замысла в композиции «Рассказов 1922—1924 годов» ощущали критики. Л. Войтоловский в статье «Новые вещи Горького» писал: «Герой первого очерка, Савёл Пильщик,— мужик, вычеркнувший себя из жизни и ставший отшельником. Герой второго очерка — мужик, утверждающий новую жизнь, большевик Яков Зыков, солдат японской и империалистической войны. Несмотря на несходство положений, в большевике Якове и в отшельнике Савёле много сходственных черт. Оба они резко действенные натуры и, как взрывчатой силой, начинены глубокой эмоциональностью и любовью к жизни. В лице этих двух героев старая дооктябрьская мужицкая Россия как бы протягивает руку, через головы нытиков и хлюпиков, новой революционной деревне» («Новый мир», 1926, № 4, стр. 157). Л. Войтоловский считал, что «это — рассказы огромной социально-психологической емкости» и поэтому надолго займут «внимание наших критических журналов» (там же).

Более сдержанно отнесся к «Рассказу о необыкновенном» А. Воронский. В статье «О Горьком» он писал: «...в революции, в революционных типах Горький увидел разумное и целесообразное направление творческих сил человека. Это так, но с большими оговорками, ибо здесь мы встречаемся с неожиданными и скептическими мыслями писателя» (*Воронский*, стр. 374). Критик ссылался на Якова Язева из «Рассказа о необыкновенном»: «...участник революционной борьбы, прошедший сложный и тяжкий жизненный путь партизан, утверждает: всё зло на земле и несправедливость оттого, что люди хотят необыкновенного и не могут понять, что спасение в простоте. Каждый хочет быть особенным. Отсюда —

сословия, классы, насилие. Революция всё это должна сравнять, уничтожить, запретить особенное, отличное, чтобы не было никаких отличий» (там же, стр. 374). Воронский приходил к заключению, будто Горький «несомненно 〈. . .〉 побаивается, как бы революция не привела к новой окуровщине» (там же, стр. 375).

В рецензии Н. Смирнова «Рассказ о необыкновенном» характеризовался так: «Человек, действующий в нем,— наследник старых горьковских героев, всё тот же странник, „взыскующий града“, но перенесенный в иные условия, в условия гражданской войны». «В рассказе много ценных картин партизанского быта, много интересных человеческих фигур. Особенно хорош доктор Александр Кирилыч...» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1925, № 279, 6 декабря).

По-своему оценил «Рассказ о необыкновенном» М. М. Пришвин. 1 апреля 1926 г. он писал Горькому: «Фигура в рассказе о необыкновенном здорово вырублена и ходила долго за мной, гравировка Ваша диалогами народной мудрости явление единственное в русской художественной литературе (иным, я слышал, это не нравится, а я так смотрю), но при всей значительности рассказ о необыкновенном мешковатый, перегруженный, не прозрачный и стройный, как Отшельник...» (цит. по кн.: *Муратова*, стр. 247). Однако в другом варианте этого письма М. М. Пришвин определил свое отношение к рассказу несколько иначе: «...довольно неуклюжий „Рассказ о необыкновенном“ опять Ваш собственный, и та серая фигура хромого человека — когда еще я читал! — а всё еще ходит за мной» (*Лит Насл*, т. 70, стр. 330).

Стр. 522. *...Диогеново стремление...*—См. примеч. к стр. 363.

Стр. 526. *...японская война начиналась.*— 24 января (6 февраля) 1904 г. Япония разорвала дипломатические отношения с Россией, в тот же день на Желтом море японский флот начал боевые действия.

Стр. 538. *...приехали в город Читу ↄ крутеж во всю силу...*— Речь идет, по-видимому, о начале всеобщей железнодорожной забастовки в Сибири в середине октября 1905 г. 14 октября началась забастовка в Чите. По призыву Читинского комитета РСДРП, первыми выступили рабочие железнодорожных мастерских, к ним присоединились рабочие и служащие других предприятий города. У здания мастерских ежедневно происходили митинги, на которых присутствовало до 3—4 тысяч человек. Агитация велась под лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует вооруженное восстание!» (см.: М. К. Ветошкин. Забайкальские большевики и Читинское вооруженное восстание 1905—1906 гг. Чита, 1949, стр. 188—189).

Стр. 538. *...которая власть в городе забрала.*— Нараставшее с лета 1905 года революционное движение в Чите привело к тому, что с конца ноября там началось массовое вооружение рабочих. Читинский комитет РСДРП, Совет солдатских и казачь-

их депутатов, стачечные комитеты по линии железной дороги и профсоюзы фактически взяли власть в свои руки. Читинское движение возглавили революционеры-большевики И. В. Бабушкин, В. К. Курнатовский, А. А. Костюшко-Валюжанич (Григорович). 7 декабря 1905 г. Читинский комитет РСДРП стал издавать в Чите легально газету «Забайкальский рабочий», редактор — В. К. Курнатовский (1868—1912).

Стр. 538. *...в Думе рядом с господами сидишь.*— В Чите 21 декабря 1905 г. состоялось заседание Читинской думы с участием рабочих, граждан города и представителей местных профсоюзных и партийных организаций. Дума поддержала Всероссийскую стачку работников почты и телеграфа, начатую 16 ноября 1905 г. По ее решению 22 декабря 1905 г. телеграфные служащие города захватили почтово-телеграфную контору.

Стр. 538. *...началось там необыкновенное истребление народа...*— 13 декабря 1905 г. царь Николай II послал в Читу шифрованную телеграмму главнокомандующему Линевичу с предписанием «безотлагательно» возложить на генерал-лейтенанта Ренненкампфа подавление революционного движения на Забайкальской и Сибирской железных дорогах и требовал подавить Читинское восстание «с беспощадною строгостью и всяческими мерами» (сб. «Карательные экспедиции в Сибири в 1905—1906 гг.». М. Соцэкгиз, 1932, стр. 95, 96). 20 декабря 1905 г. царь приказал командировать в Читу второго карателя: генерал-лейтенанта барона Меллер-Закомельского. Расправа носила бандитский характер. Каратели пороли розгами, производили массовые аресты, расстреливали безоружных. На станции Мысовая солдатами Меллер-Закомельского был расстрелян один из руководителей восстания И. В. Бабушкин.

Стр. 538. *...в Петербурге народ били...*— Имеется в виду расстрел у Зимнего дворца 9 (22) января 1905 г.

Стр. 538. *В Чите народ истребляли...*— С января по март месяц 1906 г. над восставшими чинилась расправа. Революционно настроенные рабочие предавались временному военному суду. 27 января на ст. Борзя 7 человек были приговорены к тюремному заключению, 10 февраля в Верхнеудинске 9 человек — к смертной казни, 16 февраля на ст. Хилок казнены трое, 17 февраля — еще 7 рабочих, 16 марта военному суду были преданы 46 солдат 3-го резервного железнодорожного батальона, 28 февраля казнены четверо революционеров, среди которых был Костюшко-Валюжанич (Григорович) («Карательные экспедиции в Сибири в 1905—1906 гг.», стр. 384).

Стр. 544. *...снова заварили войну.*—Имеется в виду мировая война 1914 — 1918 годов.

Стр. 546. *Новониколаевск* — ныне Новосибирск.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. М. Горький. Фотопортрет с дарственной надписью «Школе в Порубе». Мариенбад, 1924 г. 4

«Заметки из дневника. Воспоминания». Часть гранки отдельного издания с правкой М. Горького 77

«Заметки из дневника. Воспоминания». Страница верстки очерка «Н. А. Бугров» с правкой М. Горького . . . 95

«Рассказ о безответной любви». Страница автографа . . 303

«Рассказ об одном романе». Страница автографа 351

«Голубая жизнь». Страница чернового автографа . . . 495

СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
Заметки из дневника. Воспоминания	5	564
Городок	7	569
Пожары	15	571
А. Н. Шмит	45	573
Чужие люди	58	576
Знахарка	76	578
Паук	88	579
Могильщик	92	580
Н. А. Бугров	93	580
Палач	129	586
Испытатели	131	587
Учитель чистописания	144	588
Неудавшийся писатель	149	589
Ветеринар	154	589
Пастух	158	589
Дора	164	589
Люди наедине сами с собою	169	590
Из дневника	174	591
Смешное	176	591
Герой	176	591
О войне и революции	179	591
Садовник	186	593
Закопник	189	594
Монархист	191	594
Петербургские типы	204	597
Мечта	213	597
Отработанный пар	213	597
Быт	217	598
Из письма	220	598
Митя Павлов	220	598

	Текст	Примечания
А. А. Блок	221	599
Вместо послесловия	229	602
Рассказы 1922—1924 годов	233	603
Отшельник	235	604
Рассказ о безответной любви	261	607
Рассказ о герое	307	610
Рассказ об одном романе	340	612
Карамора	366	614
Анекдот	404	618
Репетиция	434	620
Голубая жизнь	464	622
Рассказ о необыкновенном	522	625
ПРИМЕЧАНИЯ	559—628	
Условные сокращения	561	
Вступительная заметка	563	
Список иллюстраций	629	

Печатается по решению
Президиума Академии наук СССР
и Комитета по печати
при Совете Министров СССР

*
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА,
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),
В. М. ОЗЕРОВ, Б. Л. СУЧКОВ, Е. Б. ТАГЕР,
К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА

Тексты подготовили и комментарии составили
Л. Г. Бухарцева, И. И. Вайнберг и *А. М. Крюкова*

Ответственный секретарь издания *М. А. Семашкина*

Редактор семнадцатого тома *В. Р. Щербина*

*

Редакторы издательства *А. И. Корчагин* и *М. Б. Покровская*
Оформление художника *Н. А. Седельникова*
Технический редактор *С. Г. Тихомирова*
Корректоры *В. Г. Богословский* и *Т. А. Пономарева*

*

Сдано в набор 11/VIII 1972 г. Подписано к печати 23/IV 1973 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 1. Усл. печ. л. 33,28.
Уч.-изд. л. 32,6 Тираж 298 400 экз.
Тип. зак. № 3234.
Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Наука» 103717 ГСП
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28